

БУЛАТ ОКУДЖАВА ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ

БУЛАТ ОКУДЖАВА



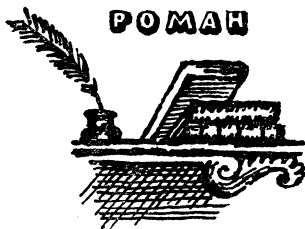
ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ



**БУЛАТ
ОКУДЖАВА**
**ПУТЕШЕСТВИЕ
ДИЛЕТАНТОВ**

**ИЗ ЗАПИСОК ОПСШАВ-
НОГО ПОРУЧИКА
*АМИРАНА АМИЛАХВАРИ***

РОМАН

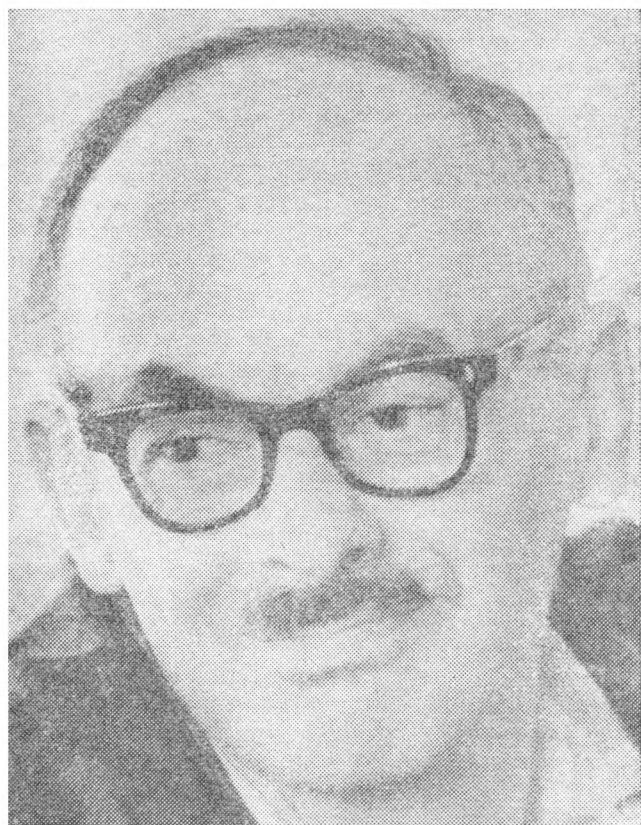


МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • 1980

Булат Окуджава, известный советский поэт, не впервые выступает в жанре прозы.

Действие романа «Путешествие дилетантов» относится ко времени последнего десятилетия царствования Николая I — к 1845—1855 годам. Еще живы некоторые декабристы, живо воспоминание об убийствах Пушкина и Лермонтова, герои романа были свидетелями и участниками Крымской кампании. Все это составляет фон повествования, на котором развивается романтическая история любви, сметающей все преграды на своем пути.

Художник М. П. Клячко



...Ибо природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо...

Марк Тулий Цицерон

...Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть.

Правила хорошего тона

Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет.

Лавиния Ладимировская



К Н И Г А П Е Р В А Я

1

Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты; время этому придет. Во всяком случае, причиной была сущая безделица, да и дуэли, как говорится, давно отшумели и вышли из моды, и поэтому все происходящее напоминало игру и не могло не вызывать улыбки.

Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены и этот индюк возьмет да и грянет взаправду. Однако оба пистолета грянули в осеннее небо, и поединок закончился. Соперники протянули друг другу руки. При этом конногвардеец глядел все так же грозно, а князь попытался улыбнуться, скривил губы и густо покраснел.

Пора было расходиться. В этом пустынном месте, как ни было оно пустынно, все же могли появиться посторонние люди, а так как им всегда до всего есть дело, то встреча с ними не сулила ничего хорошего.

Стояла трогательная тишина позднего октябрьского утра. Минувший поединок казался пустой фантазией.

Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медленно и бесшумно покатила по желтой траве.

2

Мы были знакомы уже много лет, с десяток, пожалуй, или даже поболее, точнее, с того злополучного года, когда в кавказском поединке от пули недавнего товарища по

какому-то там недоразумению пал молодой, но уже знаменитый поэт.

Князь Мятлев был секундантом у одного из них, у кого точно, не берусь утверждать, но эта трагедия как-то сразу его надломила. Рассказывали, что до того происшествия он был повесой, и дуэлянт, и сорвиголовой, но мне он достался уже другим. То есть не то чтобы желание пошуметь, попроказить охладело в нем совершенно, но оно было уже не постоянным, как когда-то, а лишь изредка в нем вспыхивало и скорее напоминало агонию юности.

О погибшем поэте князь говорить избегал, даже почти не упоминал его имени, а ежели кто по неведению все-таки лез со своими домыслами и соболезнованиями, я видел, как друг мой страдает. Поэтому и я не стану называть имя несчастного, памятуя о молчаливом сговоре между мной и князем.

3

...Наша коляска медленно приближалась к Петербургу. Мы молчали. Нынче князю было уже тридцать пять. Молодость давно миновала, да и все с нею связанное отлетело прочь. Как говорится, румянец сошел со щек и звонкий смех угас. В молодости он казался красивым, хотя и сейчас была немалая толпа былых его почитателей, вернее даже почитательниц, не отступающих от своих восторгов. Он был выше среднего роста, чуть повыше, не широк в плечах, с лицом вытянутым несколько, теперь уже украшенным очками, из-под которых глядела его недоумевающая душа. Темно-каштановые кудри слегка поредели, поблекли.

4

...Наконец мы въехали в пыльные окраины Петербурга, и двухэтажные строения обступили нас. Я снова глянул на князя. Он сидел все так же неподвижно. Я вспомнил его на дымчатом утреннем лугу с нелепым пистолетом в руке: черный сюртук, серые панталоны, галстук почему-то в левой руке, воротник белой сорочки распахнут, в

неподвижной фигуре что-то стремительное, изящное, сильное, хотя рука вскидывает пистолет лениво, губы кажутся тонкими и сухими. Теперь же он сидел сгорбившись, так и не повязав галстук, держа его по-прежнему в кулаке.

Колеса экипажа коснулись первых торцов. Руки князя покоились на коленях. Узкие запястья, длинные пальцы, перстень с изумрудом неправильной формы — память о минувших днях. Князь особенно дорожил этим перстнем, всегда о нем помнил и в минуты раздумий или душевного смятения внимательно его разглядывал. На камне имелось маленькое рыжеватое пятнышко: то ли вкрапление железа, то ли след древнего существа. Мятлев говорил мне, что за многие годы научился различать в пятнышке некие особые замысловатые очертания, и утверждал, что они подвержены переменам в зависимости от времени года и еще от чего-то, кажется, даже от состояния духа. Он называл его Валерик в память о знаменитом месте нашей печальной славы и о человеке, который надел этот перстень Мятлеву на палец. Там, у реки Валерик, в группе охотников князь совершил вылазку. Предприятие было удачным, но в последнюю минуту горская пуля все-таки его достала. В тяжелом состоянии, без надежд вынесли его на наш берег. Долгое время жизнь князя висела на волоске. Но упал он на прибрежные камни уже обладателем этого перстня, который перед вылазкой вручил ему старик Распевин — солдат линейного батальона. Бедный старик с отвислыми усами на худом лице! Особые обстоятельства вынудили его проситься в группу охотников, ибо от успеха предприятия зависела для него жизнь. В прошлом блистательный поручик, умница, человек широкой души и самых благородных нравов, полный радужных надежд, поддавшись велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок со злом, был повержен, сломлен, лишен всяких прав и вместе с соучастниками закован в цепи. Его противники позаботились о нем. Они даровали ему жизнь, то есть возможность физического существования, тем самым усугубив его пытку. Бог весть сколько железной руды выгреб он из сибирской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, куда наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие войска солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками открылся

Валерик, мысль о смерти не возникала у него. Напротив, он просто бредил удачей и скорейшим возвращением в прежнее свое качество. Но судьба тайно делала свое дело. Это она заставила его с радостной поспешностью одаривать своих друзей всякими милыми мелочами, будто бы в память о их совместной удаче, а вышло — в память о нем самом, ибо он был убит в самом начале дела. Вечный persiflage¹.

...Мы сделали небольшой крюк, проехали по Каменно-островскому, затем свернули чуть влево, на Малую Невку. Здесь снова потянулись пригородные особняки, теперь, правда, уже входящие в черту города. Это были роскошные постройки екатерининских времен, когда господствовало согласие богатства и вкуса, русской широты и западной утонченности. Одна за другой проплывали эти прекрасные постройки, свидетельницы недавнего блистательного прошлого столицы, полусокрытые стволами, но все же отчетливо видные сквозь кружева опадающей листвы. И вот наконец из-за поворота показалось прекрасное деревянное сооружение в три этажа с куполом, окруженное высоким кустарником. Поблекшее от времени и непогоды, оно все еще поражало строгостью форм и в то же время легкостью и приветливым видом.

Коляска въехала за чугунную ограду и остановилась.

Дом князя Мятлева был знаменит на весь Петербург. Злые языки рассказывали, что в нем со времен Александра Благословенного поселились и проживают привидения. Но это нисколько не снижало репутацию дома, а, наоборот, придавало ему таинственности, что в глубине души многим нравится.

В прохладном вестибюле великолепные копии с античных шедевров окружили нас привычной толпой. Но мы поднялись вверх, хотя они и простирали к нам свои холодные руки. Несколько темных старинных полотен, повешенных бог знает когда, усугубляли полумрак, царивший в этом зале. Обитатели дома здесь обычно не задерживались, и я, посещая князя, тоже привык стремительно взбегать по широкой лестнице вверх, вверх, туда, где в просторной комнате третьего этажа Сергей Мятлев облюбовал себе жилище. Иному из наших сибаритов здесь

¹ Насмешка (франц.).

показалось бы неудобно: широкая тахта, служившая князю одновременно и кроватью; покойные и располагающие к беседе кресла с несколько потертым голландским ситцем, где диковинные тропические птицы упрямо глядели в одну сторону; небольшой столик овальной формы и с восточной инкрустацией; красный рояль с пожелтевшей клавиатурой, вызывающей печальные воспоминания.

Этот рояль появился в доме уже на памяти князя, и тогда же пятилетний мальчик прикоснулся впервые к белой холодной планке, которая внезапно простонала под его пальцами. Мертвый полированный ящик был не так уж мертв. Стоило лишь возбудить его, как в нем тотчас возникала жизнь и ящик превращался в некое трехное, теплое, вздрагивающее от прикосновения, кричащее от боли, ликующее, ухающее, свистящее, то яростно-неукротимое, то вдруг покладистое, как старая собака.

Мальчик придумал такую затею: он осторожно ступает по затихшему дому, запретив гувернеру сопровождать себя. Он подкрадывается к двери гостиной и внезапно распахивает ее. Неведомое, страшное трехное, громадное и молчаливое, неподвижно стоит посреди гостиной, обратив широкую оскаленную морду к окну. Мальчик засовывает руку в пасть животному, и оно ревет басом от ярости и боли, и бледное лицо гувернера, словно луна, повисает в дверях. Мальчик жмурится от страха, но не отступает. Осторожное прикосновение, легкое поглаживание, несколько участливых слов, и чудовище преображается. Оно обвивает своим длинным хвостом шею мальчика, мурлычет, скалит в улыбке громадную многозубую пасть, дрожит от благоговения, попискивает, напевает без слов: «Оле-ле-ле, ле-ле, ли-ля-лю-ли...» Лицо гувернера розовеет и скрывается.

Интерес ребенка был замечен. Игра взрослых усугубила его пристрастие, и вскоре учитель музыки, дрессируя мальчика, выучил его дрессировать трехное. Овладев в весьма короткие сроки нелегким искусством, уже юношей он не раз поражал знакомых меломанов и даже пробовал сочинять, что ему вполне удалось. Грустная странная пьеска в духе немецких мастеров минувшего столетия с тревожным *andante*, с мятущимся, неистовым финалом, внезапно обрывающимся на пронзительном затухающем восклицании, принесла ему успех в узком кру-

гу. Все, казалось, сопутствовало дальнейшему взлету. На офицерских вечеринках под его аккомпанемент хорошо пелось; когда барышни умоляли его подыграть им, он с охотою это делал, и их манерное трепещущее сопрано пронзительно страдало в модном «Колокольчике».

Однажды Петербург посетил знаменитый европейский гений. Он играл в нескольких домах, покуда не дошла очередь и до дворца. Гений был невысок, плечист, встрепан, на его апоплексическом лице мясника то и дело вспыхивала холодная учтивая улыбка, его смуглые жилистые руки с непомерно длинными пальцами хлестали по клавиатуре, словно обидчика по щекам... Его сочинение поразило слушателей своим великолепием, и восхищению не было конца. Затем начался бал.

Уже к его исходу, устав и взвинтившись, Мятлев пробрался в малую гостиную к роялю и принялся музицировать, пользуясь одиночеством. Несколько усталых гостей остановились в дверях, снисходительно улыбаясь. К ним присоединился и гений. Он уже собрался было уйти, но вдруг брови его взлетели изумленно, по красному лицу пошли белые пятна, глаза полузакрылись. Наконец он спросил шепотом: «Чье это сочинение?» Ему указали на Мятлева. «Кто же этот божественный музыкант?!» — «Князь Мятлев». — «Офицер?!» Дождавшись конца игры, он подошел к Мятлеву и обнял его. Князь покраснел, поблагодарил, отправился в буфетную и спросил водки. Спустя полчаса он слышал краем уха, как гений восторженно исповедовался кому-то о выдающихся способностях князя, на что его собеседник сказал: «Несомненно, маэстро. Но князь — представитель очень знатного рода, и было бы полезнее, если бы он с его именем послужил обществу, ну, скажем, на политическом поприще или, ну, скажем, утвердил бы себя в военном искусстве...» Мятлев снова отправился в буфетную и вскоре уснул.

С тех пор он почти перестал играть, когда его просили, морщился и отказывался, но так, чтобы, чего доброго, его нежелание не выглядело кокетством.

И с тех пор полированное животное с пожелтевшими зубами неподвижно и молча доживало свой век, уже без надежды на ласку.

Из комнаты Мятлева небольшая дверь вела в бывшую комнату его старшего брата Александра, ныне постоянно проживающего в Модене со своей женой итальянкой.

В этой комнате князь оборудовал себе библиотеку, собрав в ней любимые книги, отгородив место для дивана, большого стола и секретера.

Достопримечательностью главной комнаты кроме рояля было громадное полотно в тяжелой позолоченной раме, написанное неизвестным художником, то ли Кравцовым, то ли Копейкиным, весьма посредственно живописующее сошествие на американский берег первых конкистадоров. Завоеватели в руках держали копья и мечи, что было явной данью невежеству. Перед ними на глинистом берегу стояла группа туземцев с открытыми доверчивыми лицами и многочисленными подарками. Где-то вдалеке за ними, у предвечернего горизонта, угадывались огни костров, видимо, там расположилось все племя, не помышляющее о скором и неминуемом своем конце. Плохо выполненное, безвкусное, это полотно в нелепой раме никак не гармонировало со скромной, но исполненной изящества обстановкой комнаты. Однако вот уже без малого двадцать лет украшало оно бессменно комнату, вызывая молчаливое недоумение редких посетителей. Меня с первого дня поражало лицо одного из туземцев, стоящего в глубине толпы. Оно было светлее, чем лица его собратьев, менее раскосо и скуласто; пронзительный, исполненный силы и страданий умный взгляд останавливал внимание; какое-то высшее благородство сквозило в высокой стройной фигуре. Презирая убогого маляра, я восхищался этим единственным портретом, словно родившимся помимо желания его творца. Множество грустных мыслей вызывала эта фигура, и в то же время гордость за человеческий род вспыхивала во мне, стоило лишь остановить на ней взгляд. Я знал его имя, хотя вслух оно давно уже не упоминалось.

5

Когда-то дом этот блистал и наполнился шумом многочисленной семьи и еще более многочисленных гостей. Генерал-адъютант князь Мятлев был человеком, значительно приближенным к государю, и отпечаток принадлежности к самой высшей касте лежал в этом доме на всем. Однако желание блистать, к счастью, распространялось не только на времяпрепровождение. В доме Мятлевых все было с

иглочки: лучшие гувернеры и лучшие учителя, великолепная библиотека и частые поездки за границу. Поэтому, когда пришла пора служить, сразу же по выходе из пажеского корпуса молодой князь был определен корнетом именно в кавалергардский полк. Там со всей юношеской страстностью окунулся он в неистовства, принятые в этой среде. Служба была не обременительна. Развлечения и проказы раз от разу становились все изощреннее. Государь гневался, но вполсилы, будучи благосклонен к старому князю и пока границы шалостей отстояли от дворца на почтительном расстоянии. Однако в скором времени, после на шумевшей истории с графиней Барановой, все переменилось. Графиня была немолода, некрасива и неумна. Положение фрейлины одной из великих княгинь многое ей позволяло. Она, к сожалению, часто использовала свое преимущественное положение, чтобы сводить с людьми, ей неугодными, мелкие счеты. Неугодными же ей были люди, в основном, красивые, молодые и умные. И вот однажды два молодых красавца (один из которых был наш юный князь), закутавшись в белые простыни, прокрались во фрейлинскую к графине, упрятались под кровать, а когда она появилась, продефилировали перед нею, повергнув ее в глубочайший обморок. Но на этом не кончились их фантазии, и они отнесли несчастную даму в нижние покои дворца, кажется, в кордегардию, которая оказалась пуста, и усадили ее на лавке со старинной алебардой в руках. Но и на этом все не кончилось, ибо любопытство пересиливало в них возможные опасения, и они спрятались там же, в темном углу. Вошел лейб-медик Ребров и тут же грянулся бездыханным. Шалуны благополучно исчезли, но вскоре их разоблачили. Разбирательство продолжалось недолго, и Сергея Мятлева перевели в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, подальше от Петербурга, и даже старый князь был бессилен что-либо сделать.

Обстоятельства же этого наказания вскрылись, как обычно, спустя долгое время. Рассказывали, будто государь, узнав об этой шалости, только и сказал: «Не мешало бы напомнить князю, что он уже не мальчик...» — сказал и уехал, но верноподданные его слуги, а может быть, и враги старого князя поспешили раздуть пожар, да такой, что Сергей Мятлев и сам поверил, что это катастрофа.

Столица, как говорится, отдалилась; местечко, где стоял юный Мятлев со своим эскадроном, было препакастное: ничего, кроме старой грязной корчмы да нескольких офицерских дочек, одуревших от тоски. Командир полка барон Р., человек-машина, чуть не ежедневно устраивал смотры с непременно затем придирадками. Луга вокруг местечка были испохаблены конскими копытами, хамство процветало и поощрялось, офицерские дочки были готовы на все с любым, мало-мальски похожим на мужчину. Пожилые офицеры пили до умопомрачения, вистовали до полного идиотизма и с помощью жен плели интриги против офицерской молодежи. *La maladie éternelle*¹. Барон, видимо, сошел с ума на почве смотров. Молодые аристократы, не привыкшие к провинциальной солдатчине, возмутились. В один прекрасный день через местечко протянулась похоронная процессия. На простой телеге стоял закрытый гроб. За телегой шли несколько офицеров, предводительствуемые Мятлевым. За ними пол-эскадрона спешенных гусар. Печальное шествие замыкал полковой оркестр. У ворот всех домов толпились жители. Вдруг из-за угла выскочила коляска, и все увидели знакомое лицо командира полка.

— Что за похороны? — спросил барон.

Процессия остановилась. Оркестр умолк. Все оборотилось к Мятлеву. Князь Сергей, прикусив добела губы, торжественно, насколько позволяла грязь, подошел к коляске барона.

— Корнет, что все это значит? — шепотом спросил командир полка. — Что это... кто это... кого вы хороните?

— Вас, ваше превосходительство! — звонко отрапортовал юный князь. — Все огорчены. Прошу принять наши соболезнования...

Буря разразилась мгновенно, но то ли командир полка не был в числе любимцев у государя, то ли расстояние до Петербурга рассеяло удар, во всяком случае грома прогрохотали в вышине, а Мятлев получил новое предписание, сел в карету вместе с поваром и слугой Афанасием и отправился на Кавказ. О боевых делах он рассказывал неохотно, но мне-то было известно со стороны, как он там играл со смертью. Тяжелая рана принесла ему прощение.

¹ Вечная болезнь (франц.).

Внезапная смерть старого князя смягчила сердца богов, и Сергей Мятлев, словно блудный сын, вернулся под кавалергардский кров.

Кстати, о тяжелой ране. С нее-то, кажется, и начались внезапные и неведомые приступы дурноты, время от времени овладевавшие Мятлевым. Предугадать их было невозможно, сколько мы ни пытались. Врачи, пользовавшие его в разные периоды, единодушно отвергали мысль о возможной падучей. Да и течение приступа нисколько не напоминало известную и отвратительную болезнь. Начиналось это с бледности, которая мгновенно покрывала все лицо, на губах появлялась виноватая улыбка, взгляд тускнел, безволие сковывало члены. Он говорил невпопад, шел, куда не намеревался, соглашался со всем, что бы ему ни говорили, и при этом настойчиво старался вручить собеседнику деньги, какие при нем были... Однако это продолжалось обычно не более минуты и исчезало почти бесследно, если не считать робкого желания остаться в одиночестве, наедине с графинчиком водки.

Не страдая никакими недугами, я жалел князя и советовал ему взять отпуск и укатить в мою благословенную Грузию, но он лишь посмеивался в ответ, в то же время не отказываясь от услуг бесполезных и бессильных врачей.

Я стал бывать в его доме. Там еще продолжало кружиться по инерции хлебосольное колесо празднеств и развлечений, но обороты его становились все реже и реже. Старое поколение покинуло этот мир или устало, новое имело другие наклонности. Мы быстро сошлись с Мятлевым. Служба в лейб-гвардии Павловском полку тоже не слишком меня обременяла. В союзе кавалергарда и павловца не было ничего взорного, и мы обратили всю свою энергию на то, чтобы хоть как-то, как нам казалось, замедлить быстротекущую жизнь и попридержать покидающую нас юность. Не смею утверждать, дабы не прослыть искажителем истины, что лишь одни проказы и удовольствия занимали наши мысли и время. Нет, возраст коснулся и нас своей ладонью, образумливая и утишая. Лишь иногда теперь мы все же словно срывались с цепи и в каком-то не слишком веселом неистовстве принимались за осуществление своих фантазий, покуда снова не приходили в себя... Но это случалось все реже и реже, и все реже и реже князь появлялся в свете.

Золотое это племя давно успело показать ему свою пустую душу и острые коготки, и в его забавах Мятлев уже не находил себе утешения. Что же было делать человеку незаурядному, ежели заурядность одна признавалась в этом племени и одна не была гонима? Раствориться в нем и отдаться на волю волн? Этого князь не мог. Сам того не осознавая, он старался выплыть и барахтался в бездушном океане, иногда мстя ему в меру своих сил. Ах, эта месть — игра, да и только! Не велика беда для твоих хулителей — пьяное твое ожесточение, когда все кажется мало, мало, и фантазия уже граничит с безумством, и ты видишь мир поверженным и наказанным... Ан это ты сам, налилавшись, ровно мастеровой, полный бессилия и отрицания, тешишь себя вином. И все мало, мало, мало... Сначала пилось в больших компаниях, но круг сужался... Бывало, что князь прикладывался и в одиночестве. За ним уже успела установиться репутация человека опасного, отрезанного ломтя, изгой, насмешника, способного на любой неожиданный поступок. Известно было, что государь его не одобряет, помнит его проказы и что, ежели разговор вдруг заходит о князе, откровенно морщится.

6

Вот каковы были обстоятельства, когда мы окончательно сблизились. Мы жили сегодняшним днем, не ожидая от будущего ничего, кроме мелких пакостей. Но жизнь есть жизнь. И, едва став почти безраздельным владельцем большого дома, Мятлев тотчас принялся устраниваться в нем по-своему.

В сапогах, в белой кружевной сорочке с распахнутым воротом, полный священного огня созидания, подобный вдохновенному зодчему, мелькал он то здесь, то там по дому. Он начал с третьего этажа и переоборудовал его, как я уже рассказывал. Второй этаж был оставлен в прежнем виде. Он состоял из нескольких помещений разной величины. Самое крупное — большая гостиная. Она имела овальную форму. Громадная витая бронзовая люстра нависала над ее центром. Четыре потускневших зеркала аккуратно располагались по стенам вперемежку со сливочными колоннами; удобные диваны минувшего сто-

летия, обитые вишневым французским бархатом, опоясывали гостиную; великолепный паркет блистал, будто вчера натертый. Гостиная казалась пустой, лишенная рояля и кресел, зато она открывала теперь свое пространство, годное для фехтования и одиночества. В малую гостиную были теперь снесены все карточные столы, и она напоминала классы, покинутые учениками навсегда. Я не спрашивал князя, что побуждало его перестраивать свой быт так, а не иначе, но, судя по его возбуждению и по смеху, с которым он все это проделывал, можно было предположить, что это неспроста и какой-то очень тонкий, едва уловимый расчет руководит новым хозяином дома. Наконец пришло время экзекуции первого этажа. Он велел заколотить все двери жилых покоев, пощадив лишь службы и людскую, и навсегда, как ему казалось, отгородил себя от монументального кабинета-библиотеки отца, предварительно опустошив его по своему вкусу. Были заколочены двери в спальни отца и давно умершей матери, хотя все там, внутри, было оставлено в неприкосновенности. Освободившись таким странным образом от своего же прошлого, он распорядился втрое сократить количество прислуги, возвратив сокращенных в их деревни, чему они не были рады; оставил себе повара, кухарку, фрейтора, лакея, садовников и круглолицего Афанасия в качестве камердинера, мажордома или дворецкого, или адъютанта, ибо в лице этого деревенского чудака и ровесника успел за многие годы приобрести человека, как ему казалось, преданного, надежного и оригинального.

И вот, совершив все вышепоименованное, он продолжал жить уже как бы в новом качестве. И, видимо, в связи со всеми этими новшествами, о которых зловещий слух не замедлил разлететься, и заехала к нему как-то его сестра, фрейлина великой княгини Елены Павловны — Елизавета Васильевна, похожая на натянутую струну. Не снимая шубы, в зловещем молчании проследовала она на третий этаж. В комнате не пожелала сесть, стояла в дверях, брезгливо вглядываясь в прихотливое ничтожество княжеского убранства. С виноватой улыбкой Мятлев выслушивал ее расточительный гнев, не желая понимать своей вины, которая была ужасна хотя бы тем, что напоминала вызов, ибо все эти преобразования и стиль поведения... Он безуспешно пытался вставить хоть слово, но она повелительным жестом прерывала его и говорила все

сама, сама, сама... И он кивал ей, будто бы соглашаясь, но она-то знала, как мало согласия в мягких кивках этого сумасброда... Она не намерена краснеть за него и видеть недоумение и осуждение в глазах людей, окружающих ее, и выслушивать их соболезнования!.. Больше ее нога... бесчинство... гнев государя... забвение...

7

Пока он судорожно растрчивал свою молодость, женщины не были для него объектом пристального внимания. Их образ не вырастал над привычными пристрастиями. Влюбчивость же, как он думал, минула еще в ранней юности. Воспоминание о первой любви было смешным и далеким. В бытность свою в пажеском корпусе он повстречался на детском балу у Шереметевых с Машенькой Стрекаловой. Голова у него слегка закружилась при звуках ее капризного голоса. Он понял, что не сможет забыть ее, и после первого же танца ускользнул с нею в пустую буфетную. Там они присели на лавку, и Сережа Мятлев, наклонившись к ней, увидел в вырезе ее платья два неких розовых бугорка, две едва заметные припухлости, что-то такое нежное и живое... Он поцеловал ее в круглое плечо, а сам, целуя, все косился туда, в полумрак, где это вздымалось и опадало тревожно и часто.

— Ах, — сказала она, не отстраняясь, — вам следует поговорить с татап!

— О чем? — спросил он, не понимая. — Я люблю вас навеки...

— Тем более, — сказала она. — Если вы просите моей руки, как же можно, минуя татап? Как она скажет, так и будет. Вы мне тоже приятны, не скрою, но как же без татап?

Они вернулись к танцам, никем не замеченные. Позже Мятлев уехал домой. И уже в карете, засыпая на плече гувернера, подумал, что не знает, о чем говорить с Машенькиной матерью и как говорить, и еще подумал о том, что девочка вовсе не так хороша, хотя это у нее было такое нежное и, наверное, горячее, что хотелось прикоснуться.

И все-таки это был уже опыт, на который он опирал-

ся впоследствии в разговорах с бывалыми кавалергардами.

Потом он соблазнил, едучи как-то в свое костромское имение, молодую розовощекую поповну. Вернее, она соблазнила его. От нее пахло молодостью, рекой и луком, и это запомнилось Мятлеву на всю жизнь. Переполненный любовным опытом, он некоторое время скептически относился к женщинам, покуда кавалергардская фортуна не обязала его придерживаться установленных правил. В этой звонкой среде все было на виду, на ладони. Донжуаны в кирасах исповедовались друг другу с жаром отправляющихся в последнюю битву или на эшафот. История следовала за историей, любовные приключения сменяли друг друга. Кавалергардская казарма гудела. У начинающих кружились головы и захватывало дух. Послушать разговоры, так могло показаться, что все женщины Петербурга, сойдя с ума, поклялись в вечной неверности своим мужьям и с легкостью устремились в объятия скачущих офицеров. Наверное, в этом был свой резон. Умение как ни в чем не бывало дружить с мужем своей любовницы — вот что было высшим и тончайшим признаком совершенства. Захотелось испытать и это, словно попробовать холодную воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в нее с головой. Удобный случай не заставил себя долго ждать, ибо он всегда возле нас и тотчас объявляется, лишь прояви мы к нему расположение.

8

Жене барона Фредерикса, действительного тайного советника и камергера, Анне Михайловне Фредерикс, урожденной Глебовой, перевалило за тридцать, но она продолжала оставаться все той же пленительной Анетой, с внешностью юной креолки, с движениями, исполненными чарующей грации. Она редко бывала в свете, что придавало ее имени оттенок таинственности, а молчаливость усиливала это впечатление в глазах окружающих ее людей. Мятлев встречал ее и раньше, но положение замужней дамы и натуральная сдержанность в ней, граничащая с холодностью, не располагала его к чувствам. Однако время шло, и они встретились на большом балу, кажется, на рождество, а может, несколько раньше, и он впервые

танцевал с ней. Что-то вдруг словно ожгло его, едва он коснулся ее руки, тонкий надменный аромат исходил от ее розового шелка и черных локонов. Ее большие сливовидные глаза были неотрывно устремлены на него, но выражали больше равнодушия, нежели интереса. Танцевала она легко, но без страсти и азарта молоденьких барышень, несмотря на то, что Мятлев с непонятным волнением пытался передать ей хоть малую искру бального вдохновения.

— Вы редко выезжаете, — проговорил он, чтобы не быть в одиночестве.

Она не ответила, лишь снисходительно улыбнулась.

Неожиданно он понял, что она неописуемо хороша, пленительна и что случится непоправимое, ежели он не сможет отныне видеть ее часто. Это было в нем так сильно, как никогда до того. Он старался не глядеть на нее, чтобы не быть убитым наповал, смеялся в душе, пытаясь залить бушующее пламя, но попытки были напрасны. Глубокие ее глаза и розовый шелк платья казались ему грозным небом. Дышалось трудно, с ужасом. Она, видимо, не испытывала ничего подобного, так как, стоило ему взглянуть на нее, он встречал ее спокойный взгляд и все ту же снисходительную улыбку.

— Вы будете у Бобринских в следующий четверг? — задыхаясь, спросил он.

Она пожала плечиками, не отводя взгляда.

В душе Мятлева бушевала буря. Он искал ее ко второму танцу, но не мог найти. Наконец ему сказали, что она уехала. Он был в смятении, однако, возвращаясь домой, вдруг ощутил себя здоровым и спокойным, объяснил это собственной каменностью и в раздражении на себя самого за эту каменность и черствость пытался взвинтить себя. Начал было письмо к ней, но слова выходили слишком прохладны. Наступил четверг. Он летел в карете и думал: «Как стыдно, как я безобразно спокоен! Что это со мной?.. Нет, я люблю ее! Вот именно люблю...» Вошел в залу. Ее не было... Вдруг она появилась со своим мужем, уже немолодым рыжим человеком, который тотчас удалился к таким же, как он, играть или делиться впечатлениями дня, кто знает. Как только он ее увидел, нешуточная страсть вспыхнула в нем. «Ага!» — позлорадствовал он над самим собой. Она была милостива. Узнала. Они танцевали. Взгляд ее был уже без прежней снисхо-

дительности. Напротив, что-то даже теплое и располагающее промелькнуло в нем и в выражении ее лица, так что Мятлев вдруг освободился от кошмаров, преследовавших его целую неделю.

— Я все время думал о вас, — признался он.

Она не ответила, но поглядела на него с интересом.

— Побудьте подольше, — попросил он. — А то вы исчезаете...

И она исчезла, не дождавшись середины бала, и снова оставила его в пустоте и неопределенности. И тут же, к его досаде, пламя начало угасать. Он еще цеплялся за него, раздувал, припоминая ее плечи, щеки и тепло, идущее от них, вечное, обольстительное и проклятое. Он еще вдальблывал себе в голову мысль о своей невероятной любви, но говорил об этом уже сдержаннее, видя перед собой четкий контур адюльтера.

Вдруг от Фредериксов пришло приглашение посетить их! Так просто и изысканно выглядел надушенный конверт, что мой князь восторженно и отправился к ней за два часа до намеченного срока. Он отпустил карету. Спихватился, но было уже поздно. И, пока не наступила минута, позволяющая войти, не нарушая приличий, он около полутора часов фланировал невдалеке от особняка Фредериксов. И вот наконец он вступил на спасительный берег, где был совсем иной порядок, иные нравы, иные страсти. Не так шуршал под ногами ковер, не так потрескивали свечи, неведомый сквозняк овеивал его, покуда он, замирая, переступал по лестнице деревянными ногами. Почти угасший огонь вновь бушевал в нем. Он снова любил и был счастлив. Все, что он еще мог увидеть вокруг себя, приводило его в умиление, на всем он видел легкое касание ее руки, дыхания, взгляда. Мраморная лестница казалась нескончаемой, и неожиданные листья живой смоквицы сочлились сквозь белые перила неизвестно откуда, и почему-то в голове вертелся вздорный мотив и первая строчка: «Я сорвал для тебя этот цветик лесной...» Что там было дальше, Мятлев не помнил, лишь старательно повторял эту строчку. Перед распахнутой дверью в гостиную он зажмурился. Она пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, князь. Мы рады вас видеть, — сказала она, и он впервые услышал ее голос. Ноги приобрели прежнюю упругость и устойчивость. Он поцеловал ее руку. Вдруг ему показалось, будто нечто мягкое, темное, неоп-

ределенное выдвинулось из глубины гостиной и на мгновение заслонило свет. Затем оно осторожно приблизилось и остановилось неподалеку.

— Знакомьтесь, — услышал он над собой. — Вот и наш славный князь.

Перед Мятлевым стоял сам Фредерикс в простом полуфраке. Мятлев машинально сравнил их обоих.

— Я очень рад, — сказал камергер. — Анна Михайловна не ошиблась, вы действительно милы.

Князь растерялся и не знал, что это: учтивый выпад или признание.

«Нет, это невозможно, — подумал он, вновь мельком оглядывая их обоих и сравнивая, — это ошибка...»

— Ну, что же вы остановились, князь, — сказала она. — Пожалуйста.

— Пожалуйста, — повторил камергер.

Бедный князь! Что чувства делают с человеком! Их избыток так же вреден, как и нехватка. Подумать только, взбираться на такую головокружительную высоту, чтобы убедиться, что она не высота, а лишь предгорье, а главное там, дальше, и достичь до него — невысказанная затея.

— Я вижу в вас черты вашей матушки, — сказал камергер, когда они устроились в креслах. — Я помню ее, она была несравненно хороша.

— Все Мятлевы красивы, — сказала Анета.

Князь покраснел.

— Воистину, — отозвался Фредерикс, — уж вы, князь, должны к этому привыкнуть. Анна Михайловна просто очарована вами, и я теперь вижу, как она права. Все князь да князь, князь да князь...

Мятлев покраснел.

«Я люблю ее!» — подумал он упрямо.

Камергеру было за пятьдесят. Гладко выбритое, цветущее его лицо дышало здоровьем и покоем. Говорил он уверенно, почти не разжимая по-юношески ярких губ. Да, уверенно, но деликатно.

— Теперь я наконец смог познакомиться с вами. О вас много говорят и уже давно. Вы, князь, тайна. Что же до меня, то я люблю прозрачность. Тайна для меня обременительна. Вы улыбаетесь, князь, и слава богу. Вы, я вижу, слишком умны и, может быть, не обижайтесь, несколько ленивы, чтобы предаваться амбиции. Кажется, я угадал... Я имею в виду не праздную лень посредствен-

ности, а способность не быть суетным, вот что я имею в виду. Ваш приход, князь, большая честь для меня...

— Вам понравилось в четверг? — обратилась Анета к Мятлеву. — Не правда ли, там было мило?

— О да, — торопливо откликнулся князь Сергей, — но со второй половины стало скучнее.

— А мы как раз уехали, — мягко напомнил Фредерикс, — у Анны Михайловны начались головные боли. Мы уехали.

Мятлев вновь покраснел и тут же заметил легкое неодобрение с ее стороны.

— А кстати, — сказал камергер, — однажды я проезжал мимо вашего дома; это прекрасный дом, хотя в некоторой запущенности. Впрочем, это ему идет. Я не люблю новые дома. Они мне кажутся самонадеянными. У них слишком вызывающая внешность, они буквально лопаются от самодовольства, очевидно по-своему считая, что им все можно. Меня это приводит в негодование. Позвольте, думаю я, с какой стати вы так самонадеянны? С первой же встречи вы пытаетесь убедить меня в собственной значительности и в том, что у вас все права и вообще все. А не боитесь ошибиться? Хочется спросить у них: не боитесь? А ведь ошибка страшнее преступления. И, кроме того, мне отвратительно видеть ваше недоумение, когда вы попадаете впросак... Да, ваш дом мне приятен именно тем, что не самонадеян, а стало быть, великодушен. Есть высшее благородство в молчании и в умении не искушать судьбу для осуществления каких-то утопий. Вы согласны со мной? Ну, естественно...

Теперь покраснела она.

— Некоторые ощущения, — продолжал камергер, — требуют того, чтобы их превозмогать. Не правда ли?.. Не хотите ли трубку, князь? Как вам понравилась смоковница возле лестницы? Анна Михайловна потратила множество усилий, чтобы это библейское растение украсило старый дом.

«Я сорвал для тебя этот цветик лесной...» — пропел про себя Мятлев.

— Вы, я слышал, отличились на Кавказе... И рана была тяжела? — продолжал Фредерикс. — Вот вам парадокс: русский кавалергард (тогда вы не были кавалергардом?), русский офицер, по своему историческому характеру существо домашнее, великодушное, склонное к

неге и расточительству, лежит на диком берегу азиатской речки со вспоротым животом, вы извините, князь, за натуральность, но ведь так?.. А разве вам приходилось там задумываться о значительности вашей миссии? Нет? Вот видите... Для юнца это — приключение, для человека средних лет и заурядного — парадокс, для личности, мыслящей государственными категориями, — единственно разумный образ действия, а не каприз кого-то для чего-то. Вот Анна Михайловна делает мне знаки в том смысле, что я говорю несуразности. Я не буду больше говорить несуразности, я только хочу сказать вам, что существует ход истории, а наше дело ему споспешествовать.

— Да, — сказал Мятлев, как в полусне, — много крови и слишком много оправдательных документов.

— Видите ли, князь, — улыбнулся Фредерикс, — и снова парадокс, но уже истинный: жизнь возвышается только жертвами.

Он сидел в кресле, покойно откинувшись. Анета с загадочной улыбкой глядела на Мятлева. Князь же все ждал чего-то, все чего-то ждал, вслушиваясь в ровный, уверенный, неторопливый голос камергера. Постепенно он перестал понимать весь смысл, а улавливал лишь отдельные слова, затем ненадолго ясность восприятия восстанавливалась, но тут же пропадала снова. И это его не беспокоило. Беспокоило другое, что он ждал чего-то, а оно не наступало.

— ...или, например, — говорил камергер, — западное славянство ни в коей мере не заслуживает нашего участия, ибо мы без него устроили наше государство, без него возвеличились и страдали, и оно... зависимости... ничего... историческое существование...

Мятлев улыбнулся ей, она не изменила своего напряженного выражения. Он дал ей понять, что он сгорает, для него все кончено; как-то он это попытался ей объяснить, внушить. Видимо, это ему удалось, и, видимо, она чувствовала, что все напрасно, ибо ничего не предпринимала.

Время визита подходило к концу.

— ...как все люди с чрезмерным самолюбием, — продолжал Фредерикс, — которые страшатся неудач, в финансовых делах этот граф был ужасно застенчив. Это его и погубило... получив... занесло... прельстившись...

Согласно кивая Фредериксу, проникновенно морща

лоб и с мнимой многозначительностью барабаня пальцами по колену, Мятлев все же успевал мельком взглядывать на нее и рассматривать ее как бы впервые. Она была уже не та: уже без надменности и будто бы не так смугла и не так загадочна. Что-то в ней появилось домашнее... Ах, вот она какая?.. «Значит, вот она какая?» — с удивлением думал Мятлев.

— ...когда просвещение блеснет перед полуварварами,— продолжал камергер, — то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети... огонь... смысла... повседневное...

— Мы всегда будем рады видеть вас, — сказала она Мятлеву, когда он поднялся.

— Да, да, — подтвердил Фредерикс, также вставая.— Весьма.

Она провожала его одна, без своего камергера, который как-то незаметно исчез, переполненный внезапными озарениями. На белой мраморной лестнице они были совершенно одни, и Мятлев обернул к ней страдающее лицо, обрамленное листьями смоковницы, словно пытался выяснить наконец, какова же его участь отныне.

— Ваша горячность, князь, — она приложила палец к губам и засмеялась, — не делает вам чести... Надеюсь, вам было не скучно? — Пока он целовал у нее руку. — Надеюсь, вам было не скучно?

Легко ей было говорить, она видела перед собой кавалергарда, красивого и притягательного, чуть робеющего то ли от неуверенности, то ли из изощренного плутовства, а он меж тем ощущал себя пилигримом в рубище, добравшимся наконец до мировой тайны и понявшим всю тщету трагических своих усилий.

— Бедный князь,— проговорила она шепотом,— приезжайте, ну, хоть завтра... Я буду ждать вас...— и глядела ему вслед, как он сходит по белым ступеням, как лакей подает ему шубу, как он хочет обернуться, чтобы взглянуть на нее, и как сдерживается, чтобы не обернуться.

9

«Завтра» — какое ехидное понятие. Как много надежд рождает оно для рода людского, ничем в результате не отдаивая. Воистину прав был Вольтер, с горечью ут-

верждая, что мы не живем, а только надеемся, что будем жить. Зачем? Зачем? Пустота этого слова заманчива. Оно, как порожняя винная бочка, гудит, надрывается, многозначительно ухаёт, покуда не развалится и не обнажит давно истлевшие доски. Зачем? Зачем? Уж ежели доверять, то лишь нынешнему дню, лишь этому мгновению, а не призрачным фантазиям, чтобы потом не плакать горько, чтобы не раскаиваться... Неужели прошлое ничему нас не учит?

Она сказала: «Завтра». Эх, князь! Ты не одобрял моей насмешливости и почитал меня не в меру злоязычным, когда я пытался предостеречь тебя от твоих надежд.

— Мне сладко, и голова кружится, — ответил ты. — Завтра все решится. — И снова принялся бубнить себе. «Я люблю ее! Ах, как я люблю!»

Однако сон был спокоен. Утром он накинул шубу и вышел в парк.

Не знаю, насколько можно было величать парком это запущенное царство корней, ветвей и листьев на краю Петербурга. Во всяком случае, затеряться там было легко. Уже давно никто не занимался этим пространством земли, дав ему однажды полную свободу жить как заблагорассудится. Со стороны фасада еще удивляла воображение чугунная решетка, строго отделяя заросли от улицы, от мира. Но с других сторон затейливые дощатые заборы пришли в ветхость и постепенно обратились в прах, и все смешалось, переплелось, аллеи заросли, лишь кое-где змеились тропинки, проторенные случайными людьми или бездомными псами. Еще в ту пору, когда жив был старый князь, корни и листья начали свою неукротимую борьбу с человеком и одолели его, и теперь уже трудно было установить истинные границы парка, да никому до этого не было дела, так что, выйди теперь князь и предъяви свои права на это пространство, его бы осмеяли. В летние вечера все чаще и чаще среди необозримых зарослей находили себе приют влюбленные и бродяги, а в праздничные дни горластые семейки мастеровых устраивали свои нехитрые пикники, и тогда шло ауканье, как в заправском лесу.

Зима делала этот бывший парк прозрачнее и светлее, исчезали таинственные закоулки, потухали неведомые голоса, тучи пернатых перекликались где-то на далеком юге,

и лишь тяжелые вороны вскрикивали среди голых ветвей и неизвестные следы синели на ровном снегу.

Этот парк и деревья вызывали в памяти воспоминания об одном кратковременном эпизоде в его жизни.

Однажды, присутствуя на невообразимом кавалергардском пикнике в самый разгар лета в каком-то забытом лесу, обалдев от вина и от ненасытной суетности роскошных своих собратьев, Мятлев скрылся за деревьями, нашел тихий уголок, повалился в густую высокую траву и уснул. Когда он открыл глаза, возникший перед ним мир показался ему незнакомым. Пестрые заросли окружали его, скрывая от неба чуть сырую первозданную землю; какие-то неуклюжие существа на кривых ножках медленно преодолевали чудовищные препятствия; они были снабжены то изысканными рожками, то устрашающими рогами, то прозрачными крыльями; и у всех были громадные выпуклые глаза, переполненные тысячелетней грустью и свирепостью. Некоторые из них приближались к Мятлеву, к его лицу и удивленно застывали, видя перед собой это уродливое гигантское порождение природы. Над ним склонялись цветы, служащие им пищей, жильем и дорогой; ни ветры, ни звуки иной жизни не проникали к ним... И вдруг среди фантастического этого мира, в самой его глубине, под раскидистыми листьями неведомого растения Мятлев увидел человечка. Неподвижный и одинокий, изваянный из сосновой веточки, занесенный сюда неизвестно кем, он стоял, прислонившись к прозрачному стеблю растения, вскинув восторженные ручки, задрав вдохновенную головку, с выражением счастья и покоя на деревянном лице. Мятлев протянул руку, с благоговением прикоснулся к этому чуду и взял его на ладонь. Человечек, одетый в полупрозрачную золотистую сосновую пленку, и на ладони князя все так же восхищенно и счастливо глядел перед собой.

Мятлев не дождался конца пикника и уехал, увозя чудесного найденыша. Дома, вооружившись старым дамасским ножом, он выточил из чурбачка небольшой пьедестальчик и водрузил на него свою находку. Лихорадочная страсть охватила князя. Словно одержимый, обшаривал он парк, прилегающий к дому, уезжал в леса, таскался по болотам и искал, искал, искал... Он вырывал с корнями едва народившиеся елочки, сосны, вереск и березки, стряхивал с корней землю и часами вглядывался в хитро-

сплетение ног, рук, голов и тел, страдающих, танцующих, влюбленных, разгневанных и больных. И тогда, ежели находил то, что его поражало, отсекал дамасским кинжалом от ствола, чистил, соскабливал лишнее, складывал в кожаный баул и увозил домой. Вскоре мраморные подоконники были сплошь заселены этим лесным племенем, обремененным страстями и молчанием. Обнаженные русалки тянули к нам свои деревянные небезопасные ручки, безголовые солдаты шагали неизвестно куда, прекрасные женщины задыхались в объятиях своих возлюбленных, слившись с ними навечно, танцовщицы изысканно приседали, кружились и кланялись, купальщицы осторожно касались воды кончиками пальцев, и был Христос, сгибающийся под тяжестью креста, и был Христос распятый, но еще живой, напрягший мускулистое тело, и Христос, уже обмякший... И среди племени людей возлежали змеи с бычьими головами, суетились бесы, черные и наглые, птица с женской грудью, ведьма в обнимку с неведомым вальяжным и бесстыдным многоруким чудовищем...

Это был праздник природы и человеческого вдохновения, а восторженные свидетели на несколько минут превращались в тайных соучастников, но, расставшись с князем, недоумевали и посмеивались над ним. Через несколько месяцев он внезапно остыл к своему пристрастию, горничная вымела из комнаты сухой пахучий мусор, а запылившееся племя, украшавшее комнату, постепенно куда-то исчезло, словно отправилось на поиски утраченного своего отечества...

И вот он ходил по парку, по единственной утоптанной дорожке, радуясь предстоящему свиданию и тайно мучаясь, потому что маленькая капелька яда, пролитая мной, делала свое дело.

Дорожка вводила от заднего крыльца большого княжеского дома к столетней липе, обегала ее толстенный ствол и устремлялась в глубину парка по направлению к Невке, словно надеялась пересечь парк и реку, и весь мир, но у единственной уцелевшей скамьи внезапно прерывалась, потонув в сугробе.

Вдруг ему почудилось за спиной скамьи легкое движение. Он шагнул туда.

Перед ним стоял хмурый розовощекий мальчик в крестьянской поддевочке, в черных валенках. Нежданный этот маленький гость стоял с вызывающим видом, заго-

родившись деревянным мечом. Меч дрожал в тонкой озябшей ручке, пальцы другой сжимали ветку рябины, и багряные ягоды на ней переливались, как ярмарочные стекляшки.

Мальчик был не из людской, за это князь мог поручиться. Видимо, он пришел издалека, из глубины зарослей, из другого мира, утопая в рыхлом снегу, опираясь на деревянное оружие, как на посох.

— Откуда ты, мальчик? — тихо спросил Мятлев и повернулся было кликнуть Афанасия, отвести мальчишку обогреть, дать чаю, спровадить...

— А не хочешь собственной кровью залиться? — крикнул мальчик.

— Вот как? — растерялся Мятлев. — А для чего же вам рябинка?

Мальчик дерзко рассмеялся и погрозил мечом. Морозный ветер стал заметнее. Ручка, сжимавшая меч, посинела и напряглась, но та, в которой была ветка рябины, поразила Мятлева — так изысканно был отставлен мизинец, будто маленький ангел с оливковой ветвью стоял перед князем — и князь смутился за свой вопрос.

— Какая еще рябинка? — спросил мальчик презрительно. — Где ты увидел рябинку, несчастный?.. А хочешь, я пощекочу у тебя в брюхе вот этим! — и он снова потряс мечом.

— Рябинка на что? — спросил Мятлев. — Веточка...

— На могилку твою положу, — сказал мальчик звонко и вызывающе.

— Вот как? — еще пуще растерялся князь. — А как зовут вас, сударь?

— Я из благородного рода ван Шонховен, — сказал мальчик замершим ртом.

— А разве можно маленьким мальчикам одним... в пустом парке...

Мальчик засмеялся в ответ.

Князь решительно направился к дому.

— Трус! — крикнул мальчик, потрясая мечом. — Вот ужо!.. — и заковылял в сторону зарослей, проваливаясь в снег, опираясь на меч, и вскоре скрылся из виду.

Еще долго серые глаза маячили перед Мятлевым, и он все воображал, как прячет маленькую озябшую ручку в своих ладонях, однако к вечеру мальчик больше не вспоминался, и князь был готов торопиться к своей Анете,

пренебрегши моими предостережениями. Час пробил, и он помчался. Однако уже в вестибюле Мятлев по каким-то едва уловимым признакам догадался, что что-то произошло: то ли смоковница не казалась ему по-прежнему пышной, то ли мрамор лестницы крошился и на всем вокруг лежала мелкая розовая пыль.

Ему сказали, что баронессы нет дома. Как так? А вот так. Они давно уехали-с, а когда будут, не сказывали. Князь Мятлев? Непременно, ваше сиятельство... Господин камергер? Как с утра уехавши, так до сей поры-с не объявлялись...

Тут надо было на него посмотреть, на моего князя. Моих предупреждений он, естественно, не вспоминал, когда мчался через Петербург в свою трехэтажную крепость.

О, если бы судьба занесла его к нам в Грузию и он смог бы однажды на рассвете вдохнуть синий воздух, пахнувший снегом и персиками, и увидел бы мою сестру Марию Амилахвари — все будущие беды отступили бы от него и боль разом бы утихла.

10

Князь баронессу не любил, я в этом более чем уверен. Уж эти мне капризы... Просто он распался, получив отказ, а любому мужчине понятно, что это значит. И, пребывая в полубреду отчаяния и хмеля, он даже пытался писать ей...

Внезапно, черт знает с чего, ему сделалось легче. Он выглянул в окно, там было много снега и солнца, и обида, нанесенная баронессой, потускнела и почти прошла. Стало даже скучно вспоминать это происшествие и себя вспоминать его участником. «Какая еще любовь? — подумал он, усмехаясь. — Когда бы она бесстыдно явилась сама, и плакала бы, и валялась в ногах, я со страху взобрался бы на подоконник, словно барышня, спасающая свою невинность, вот тогда бы в этом порыве страсти, преисполненные сумасбродства, мы еще могли бы говорить о любви...» И тут он осекся — под вековой липой стоял давешний мальчик, и князю стало совсем легко. Вот вам и баронесса, вот вам и любовь! Будто я этого не предчувствовал.

Солнце сияло, небо было бледно-голубым. Мальчик медленно приближался к дому. Наконец он подошел уже

так близко, что можно было различить его розовые щеки и пуговицы на армячке... Вот вам и любовь к баронессе... Ежели она и была, любовь, так что ж она так рано поту-скнела? Мальчик подошел уже к самому дому, стоял возле крыльца и озирался. Мятлев крикнул Афанасия и велел пригласить путешественника. И вот уже через секунду, одетый в латаный ливрейный фрак, обутый в худые валяные сапоги, с идиотским цилиндром на макушке, Афанасий распахивал перед маленьким гостем тяжелую дверь и призывно вытягивал руку, и скалился, и притап-тывал снег.

Наконец мальчик вошел в комнату. Меча не было. Пухлые губы едва шевелились в растерянной улыбке. Князю вспомнилось странное имя.

— Господин ван Шонховен?

И он, дружелюбно распахнув руки, пошел навстречу гостю, так и не успев прикрыть халатом истерзанной кружевной рубашки.

— Ах! — воскликнул мальчик и быстро отвернулся.

«Действительно, — спохватился князь, — и туалет и рожа с похмелья».

Афанасий удалился за дверь. Князю захотелось приободрить мальчика, сказать непринужденно: «Ты чего, дурачок? Ну, хочешь, я тебе покажу раскрашенные картинки?» Но мальчик рассмеялся, сверкнув белыми зубами, взгромоздился, в чем был, в кресло и спокойно глянул на хозяина дома: «Ну-с?»

— Теперь так, — сказал Мятлев, глупо улыбаясь, — не хотите ли щей?

Мальчик, видимо, совсем освоился, да и суетливость Мятлева придавала ему бодрости, будто это он был хозяином дома и князь к нему заявился, неизвестно для чего.

— Матап даже не догадывается, где я, — сказал гость. — А вы меня испугались тогда? Вы думали, что я вас могу ударить мечом?.. Нет?

— Господин ван Шонховен, — сказал Мятлев, — что же побудило вас искать со мною встречи?

Гость засмеялся. Быстро накатывали сумерки. За окнами заголубело. Издалека слышались колокола.

— Просто так, — сказал мальчик и прищелкнул языком. — О вас много говорят, — и снова прищелкнул, — а я думаю, дай-ка погляжу.

— Что же говорят?

— Разное.

— Кто же это говорит? — удивился Мятлев. — Да разве жизнь стариков должна интересовать маленьких мальчиков?

— А ведь интересно, — засмеялся мальчик.

— Ничего интересного, — обиделся Мятлев и велел Афанасию проводить шалуна.

Однако гость забрался под стол и отказывался оттуда выходить, и потому бессильный Афанасий скакал вокруг козлом, причитал, выдумывал:

— ...а вот мы вас... а вот я сейчас... а где моя плеточка?.. Хватай его, неслуха... — Потом взмолился: — Сударь, а вас-то ищут. Пять лакеев да семь солдат, все с фонариками, с факелами, с алебардами бегают по двору, их ваша матушка, сударь, послали...

Мальчику нравилась игра, и он смеялся, покуда два взрослых человека выуживали его из-под стола. Наконец это удалось, и Афанасий, приговаривая, повел гостя из комнаты.

— Я к вам еще приду, — сказал на прощание мальчик и худенькой ручкой застегнул пуговицы на армячке. — Вы меня не бойтесь...

Едва дверь за ними затворилась, как образ недоступной Анеты проступил из полумрака, черт бы его побрал! Она бесшумно проскользнула по комнате и остановилась возле, сопровождаемая столь же молчаливой толпой счастливых удальцов, для которых не существовало ни раздумий, ни раскаяний, ни бесплодных восклицаний и ни навивных надежд. Они стояли тесным полукругом, сытые, надушенные, покрытые гладкой блестящей чешуей, словно новые кресла праздничными чехлами. Они улыбались все одновременно, лениво и легко, и были столь облагодетельствованы природой, что пренебрегали даже малыми ухищрениями, чтобы выпросить у нее какие-нибудь дополнительные блага. И это, вероятно, следовало ценить в них и даже поощрять, оставаясь безвыходно в своей высокомерной тени, откуда все так хорошо видно.

Его не удивило ее внезапное появление. Напротив, с несвойственной ему деловитостью он пустился с нею в рассуждения о самых низменных и будничных страстях, словно канцелярист о писчей бумаге, в которой нынче множество мусору: щепочек, палочек, опилочек, прочей

шелухи-с, об которые тупятся перья и бывают кляксы... «Ты пришла, так отправь своих красавцев прочь, вели им выйти, и давай займемся скучным вздором (ведь никто не смог придумать ничего нового), чтобы было что вспомнить завтра».

«Хорошо, — сказала она и велела всем удалиться. — Вы довольны? Однако вам должно быть известно, что моя жизнь все-таки зависит от них, как бы я тому не противилась. Я — цветок. Они же — мои пчелы. Сейчас я с вами, а они там, за окнами, гудят и мечутся, и мы это называем безумием, отчаянием; страстью, гибелью...»

11

«...горечь, граничащая с отвращением, и тут же восторженное преклонение. Безвкусица, готовая свесть с ума, и крайняя утонченность... Нет, тут что-то есть! Я готов биться об заклад, что я именно влюблен, как ни в кого еще доселе, но сомнения мешают мне быть твердым».

Так записал Мятлев в своем дневнике 3 декабря 1844 года.

«...Нет, это не любовь. Я боюсь встретиться с нею. И что мне эти пошлые разговоры о бароне и прочих чудесах?.. Вчера вечером случился дождь, от зимы ничего не осталось. «Помнишь ли труб заунывные звуки...» Откуда это?.. «...брызги дождя, полусвет, полутьму?..» Не понимаю, откуда, но, кажется, слышу звуки этих труб, а заслышав, готов встрепнуться даже... да не напрасно ли?.. Нынче утром под окнами носился господин ван Шонховен. Я обрадовался ему, как родному, звал, манил, но он не внял...» — это уже 6 декабря.

«9 декабря

...сказала, что я не такой, как все. Будто это плохо. Нет, я такой же, но в этом есть известное неудобство, с которым она может мириться, а я нет. «Зачем вы так переделали дом и почти не бываете в свете?» Ну и что же?.. Будто бы я умышленно бросаю им вызов и тому подобное...»

«11 декабря

...Еще не столь я оскудел умом, чтоб новых благ и пользы домогаться... Прямолинейная честность древних

умиляет, но каждое время пользуется своими средствами выражения ее... Зришь ныне свет, но будешь видеть мрак... Скажите, пожалуйста, какая новость. Гений Амилахвари в том, что, все понимая, он ничего не предпринимает. Он жалуется на лень, но жалуется с гордостью за себя. Граф С. рассказал мне по секрету, что недавно в узком кругу Царь благосклонно упоминал моего отца, но тут же помрачнел и сказал, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы все слышали, имея в виду меня: «Вот вам пример увядания рода: яблоко упало далеко от яблони. Лишь пьянство и разврат. Мы еще услышим о нем. Я предвижу самое худшее...» Какое свинство!.. Теперь остается подать в отставку и к черту! Наберу книг и уеду с Афанасием на Кавказ... О Анета!..»

«14 декабря

Печальный день! Почти двадцать лет заточения минуло. Великолепные мои предшественники превратились в дряхлых инвалидов или умерли, а конца их пребыванию в Сибири не видно. Их боятся до сих пор; их боятся, меня презирают, хромоножку ненавидят... Тем временем я сгораю от вожделения. Сгораю, как прыщавый мальчик. Боже, какая у нее кожа! Неужели еще возможны открытия?..»

«16 декабря

...Добродетели — плод нашего воображения, с их помощью мы облегчаем наше совместное существование... Есть грубая прелесть в додонских жрецах (селлах), в их обязанности не мыть ног и спать на голой земле... Вчера я был зван к Фредериксам. Сердце трепетало, но через полчаса ее заурядный тон успокоил мою кровь. Барон делает вид, что ему вообще наплевать на все, кроме его государственных доктрин. Он утверждает, что интересы личности не могут возвышаться над интересами государства... Все зависит от сварения желудка; у меня так, а у него эдак...»

«17 декабря

Государь глядит на меня волком, каждый считает своим долгом при встрече со мной дать мне понять, что я бяка...»

Наше блистательное увлечение письменным словом началось в середине екатерининского царствования. Некто вездесущий смог вдруг уразуметь, что посредством этого инструмента можно не только отдавать распоряжения, или сообщать сведения о своем здоровье, или признаваться в любви, но и с лихвой тешить свое тщеславие, всласть высказываясь перед себе подобными. Боль, страдания, радости, неосуществимые надежды, мнимые подвиги и многое другое — все это хлынуло нескончаемым потоком на бумагу и полетело во все стороны в разноцветных конвертах. Наши деды и бабки научились так пространно и изысканно самоутверждаться посредством слова, а наши матери и отцы в александровскую пору довели это умение до таких совершенств, что писание писем перестало быть просто бытовым подспорьем, а превратилось в целое литературное направление, имеющее свои законы, своих Моцартов и Сальери. И вот, когда бушующее это море достигло крайней своей высоты и мощи, опять некто вездесущий зачерпнул из этого моря небольшую толику и выпустил ее в свет в виде книги в богатом переплете телячьей кожи с золотым обрезом. Семейная тайна выплеснулась наружу, наделав много шума, причинив много горя, озолотив вездесущего ловкача. Затем, так как во всяком цивилизованном обществе дурной пример заразителен, появились уже целые толпы ловкачей, пустивших по рукам множество подобных книг, сделав общественным достоянием множество надушенных интимных листков бумаги, где души вывернуты наизнанку. С одной стороны, это не было смертельно, ибо огонек тщеславия терзает всех, кто хотя бы раз исповедался в письме, но, с другой стороны, конечно, письма предназначались узкому кругу завистников или доброжелателей, а не всей читающей публике, любящей, как известно, высмеивать чужие слабости тем яростнее, чем больше их у нее самой... Но этого мало. Высокопарная болтливость человечества была приманкой для любителей чужих секретов, для любителей, состоящих на государственной службе. Они тут же научились процеживать суть из эпистолярных мук сограждан, поставив дело на широкую ногу и придав ему научный характер. Из этого нового многообещающего искусства родились Черные кабинеты, в которых тайные служители

читали мысли наших отцов, радуясь их наивным откровениям. Перлюстраторов было мало, но они успевали читать целые горы писем, аккуратно и добропорядочно заклеивая конверты и не оставляя на них следов своих изысканных щупалец. Однако как всякая тайна, так и эта постепенно выползла на свет божий, повергнув человечество в возмущение и трепет. Шокированные авторы приуныли, литературное направление погасло, исчезла божья искра, и эпистолярный жанр теперь существовал лишь в узкопрактическом смысле.

Однако мысль уже была разбужена. Сердца бились гулко, потребность в выворачивании себя наизнанку клочкотала и мучала. Куда было ее обратиться? Тут снова нашелся некто, который надоумил своих собратьев заполнять чистые листы исповедями без боязни, что эти листы предстанут перед судом современников или будут осквернены щупальцами деятелей Черных кабинетов. И началась вакханалия! Так родились дневники. Конечно, это вовсе не значит, что в былые времена пренебрегали этой возможностью: и в былые времена провинциальные барышни или Вертеры доверяли бумаге свои сердечные волнения, а напомаженные дипломаты описывали впрок повадки королей или собственное ловкачество. Но в подлинное искусство дневники превратились совсем недавно, и боюсь, что лет эдак через пятьдесят, когда действующие лица современных записей будут мертвы, издателям не отбиться от нагловатых внуков нынешних скромных исповедников.

Они писали для себя, сгорая на медленном огне своих страстей или антипатий, они тщательно оберегали свои детища от посторонних взоров в сундуках и в укладках, в секретных ящиках столов и в стенных тайниках, на сеновалах и в земле, но при этом, как бы они ни старались уверить самих себя, что это все должно умереть вместе с ними, они, не признаваясь в этом себе, исподволь кокетничали с будущим, представляя, как опять некто вездесущий много лет спустя обнаружит в густой чердачной пыли эти скромные листки, изъеденные ржавчиной, и прочтет, и разрыдается, восхищаясь страстной откровенностью своего пращура. Ведь не сжигали они листки, исписав их и выговорившись, и не развеивали пепел по ветру, а покупали толстенные альбомы в сафьяне и приспособляли медные дощечки, на которых искусный мастер гра-

вировал их имена, и звания, и даты рождения, за которыми следовала некая черточка — маленькая, скромная, но уверенная надежда, что кто-то позаботится и проставит печальную дату расставания с этим миром. Вот что такое дневники и их авторы в нынешний век. Правда, мой князь и все, коих я люблю и любил, были счастливым или несчастливым исключением из правила, хотя также отдали дань сему искусству, но не придавая особого значения форме, не заботясь об изысканности стиля, не задумываясь о происхождении этого популярного в наш век жанра и не надеясь на горячую заинтересованность потомков в их судьбе.

13

«19 декабря 1844 года

...хромоножка прискакал в Петербург из своей глуши. Ему не разрешено проживать в северной столице после парижского скандала, — так он нагрянул, подобно шпиону, с накладной бородой, в почтовой карете. Хромает еще пуще. Весь кипит от злости и грозит Государю скандальными разоблачениями. Его острый ум мне близок, но злоба делает его смешным, а необузданное тщеславие и заносчивость — труднодоступным. «Я с моим умом создан для больших свершений, а не для того, чтобы гнить в глуши... Нет, при Николае вмешиваться в политику — значит угодить в Сибирь. Кому от этого польза?..» Действительно, какая уж тут политика. Мне наскучили мои сотрапезники и пустая болтовня. Есть три кита, на которых покоится нынешнее мое существование: книги великих скептиков, молчаливое распивание водки с Амираном Амилахвари и размышления об Анете: придет или не придет?.. Нынче господин ван Шонховен швырял снежки в окно, покуда Афанасий за ним не погнался!..»

Упомянутая же им баронесса приблизительно в те же дни записывала в альбоме следующее:

«...декабря

...Барон слишком погружен в свои политические изыскания, чтобы придавать серьезное значение такой мелочи,

как наш брак. Он забывает порой, что женщина — это стихия. Его безукоризненность крайне удобна, но, странно, огорчает. Сегодня у нас обедали князь А., протоиерей Московский; генерал Ч., дальний родственник поэта Т. Барон, как обычно, характеризовал текущие события и втягивал присутствующих в политические разговоры, что не все принимали с полной охотой... Мужское притворство незаметно лишь им самим. Я в этом убедилась, наблюдая за Мятлевым... Я бы не поверила рассказам, ежели бы сама не ощутила благосклонности Государя ко мне. В последний раз он так открыто и долго смотрел на меня, словно запоминал. Я сказала об этом барону. Он, как всегда, притворился дремлющим. Зинаида влюбилась в генерала П. Процесс этот в ней так бурен, что призывали врача, т. к. ей было плохо от страданий. Самое ужасное, что это все вполне искренне. А ведь так нетрудно и стогреть. Нужно ли все это?»

«...декабря

...Нынче утром барон уехал сопровождать Государя в Тверь. Когда я представляю Его высокую фигуру и улыбку снисходительного божества, мне становится не по себе. Я должна встретиться с Мятлевым и дать ему понять... подготовить его... Надеюсь, в обмороке он не будет. Не забыть бы заказать у Плюшара «Живописный сборник». Времени не хватает ни на что...»

«...декабря

...Нынче у меня завтракали г. Л. и граф Н. с супругой. Граф Н. сказал, что у нас самая сильная армия в мире. Этого следовало ожидать. В нынешние времена Наполеоны невозможны. У нас не может быть равных соперников. У меня страшная мигрень после вчерашней ночи. Мятлев с его умом и происхождением мог бы достичь многого, но лень, пренебрежение к жизни и отсутствие всяких общественных добродетелей погубят его. Барон воротился из Твери в задумчивости. Может быть, там решалась моя судьба?..»

«...декабря

...Я не жалею, что была снисходительна к Мятлеву. Он притворялся. Я не пыталась его разоблачить. Однако я замечаю, как сквозь притворство вырисовывается под-

линная страсть... Вчера Государь как бы вскользь поинтересовался у барона, отчего он прячет меня... Вот странно! «Что же вы ответили Государю?» — спросила я, глядя на его растерянное лицо. Приятно видеть его растерянным! И жалко... «Я сказал, что мне лестно проявление его интереса», — ответил он. Что же последует?.. Нынче я отказалась ехать в оперу под предлогом мигрени. Барон был совсем растерян и поехал один...»

14

Да, резон в моих опасениях был, и не случайный. Расставляя перед Мятлевым свои потешные и не слишком притязательные сети, баронесса не забывала и о главной цели и только и ждала благоприятного сигнала от нее. Она никак не могла забыть, как однажды на балу, после того как государь протанцевал с нею, его взгляд всякий раз отыскивал ее в самой гуще упоенных дам и кавалеров и мягкий свет его больших глаз достигал ее и не велел о нем забывать. В торжественном и жадном легкомыслии двора это не могло остаться незамеченным и вскоре стало достоянием многих. Почувствовав угрозу, я и попытался как-нибудь потоньше намекнуть моему князю, что ситуация складывается не в его пользу. Он не придал значения моим намекам. Они не охладили его, даже напротив — распалили, однако развязка обещала быть скорой.

Действительно, как я и предполагал, вскоре прелестный, но ненадежный экипаж любви, в котором князь катил со своей страстью, ринулся с крутой горы и разбился в щепки. Мятлев посетовал вслух на свою неудачу, не забыв упомянуть имени своего соперника на исповеди, рассказав священнику о мучавшем его чувстве ненависти к некоему Николаю.

— Кто сей муж?

— Мой сосед и дворянин, — ответствовал Мятлев шепотом.

— Смирись и прости его.

Выходя из церкви, Мятлев горько рассмеялся. Прodelка отдавала мальчишеством, а свежей раны не залечила. Князь почувствовал себя еще более униженным. Из церкви он отправился пешком, чтобы охладиться на январском морозе. Однако, хоть и было солнечно, ветер проникал в

душу, и шинель, подбитая мехом, почти не спасала от ледяных игл. Вдобавок ко всему, усиливая сумятицу в чувствах, все явственней раздавался за спиной тяжелый скрип чьих-то шагов, словно тайный соглядатай неотступно брел следом. Пешеходов было мало. Мятлев несколько раз оборачивался, скрип тотчас прекращался. Он останавливался на миг, шаги смолкали. Двигался дальше, и они возникали вновь, ни ближе, ни дальше, и звучали они отчетливо и тяжело и вразнобой с его собственными, нечеткими и торопливыми. Он крикнул извозчика, прикрыл озябшие ноги ветхой стеганой полстью и, едва лошадь тронулась, вновь услышал знакомый скрип. Лошадь побежала — шаги зачастили. Он в отчаянии обернулся, и они отстали и заглохли.

Дома он распорядился запереть двери покрепче и никого не принимать, кроме разве «той дамы», меня да хромоножки, ежели вдруг объявится в Петербурге.

Он словно предчувствовал: хромоножка не замедлил явиться, в комнате швырнул шубу Афанасию, а когда тот удалился, сорвал накладную бороду, чмокнул князя в бледную щеку и при этом усмехнулся.

— Целую вас в щечку. Примите скромный дар изгнанника. В этом государстве, чтобы не сказать хуже, вы единственный, кого мне не противно целовать... Хотя это — не самое приятное, что можно подарить такому прекрасному одиночке, как вы... Да у меня и нет ничего кроме этого. Одно достоинство, чтоб не сказать хуже...

Он выслушал рассказ Мятлева о злополучной его любви и скривился.

— Я вас любил за то, что вы холодны ко двору, а вы, чтоб не сказать гаже, сунулись в это стойло. Или вы в самом деле испытываете восторг? Вы ходили к этой даме напомаженным? Да?.. Болтали вздор? Ради чего? У нее что, бюст хорош?.. (Действительно хорош, подумал Мятлев.) И вы там мямлили всякую околесицу... А этот, чтоб не сказать хуже, наместник бога на земле, блюститель нравственности и морали, наш Медведь, который больше всего боится ограничения собственной власти, этот-то, вы знаете, как он разговаривает с женщинами, с женщиной, которая, чтоб не сказать хуже, ему приглянулась? «Подойди ко мне, милашка (князь ловко скопировал позу Николая Павловича). Ну-ка, ну-ка, покажись. Да ты прелесть! Где это тебя до сих пор прятали? Ха-ха... Уж не от меня

ли?» — «Я счастлива, ваше величество!..» — «Разве от меня можно спрятаться? Ну-ка отвечай...» — «О, ваше величество!..» — «Ну, ладно, ладно, вижу, как ты сгораешь... За чем же дело стало? Идем ко мне в комнаты... Только, пожалуйста, сделай вид, что ты идешь познакомиться с моими портретами...» — «О, ваше величество!..» — «Ты бывала у меня в комнатах? Нет? Так смотри же, как скромн твой монарх. Подойди поближе, поближе, я тебе говорю... Это что у тебя там, а?..» — «Ах, ваше величество!..» (Мятлев расхохотался). И тому подобное, чтоб не сказать хуже. А прекрасный князь льет слезы, представляя, как его даму ведут к тирану под штыками... Да они все потаскушки и только и ждут счастливо-го случая. Им нужна грязь... Они все там — смесь монгольской дикости, византийской подлости, прикрытых европейским платьем. Смесь необразованности с самоуверенностью. А вы-то!..

История князя Андрея Владимировича Приемкова, или хромоножки, как за глаза и беззлобно называл его Мятлев, была поучительна.

Представитель одного из древнейших родов, обладатель значительного состояния, он был человеком, обойденным судьбой и потому глубоко несчастным. Высокий ум в соединении с заносчивостью, стремление к знаниям и самонадеянность, безумный огонь тщеславия и неказистая внешность в сочетании с давней хромотой, апломб и одновременно манера держать себя без достаточного достоинства — какое сумасбродство природы! Учился он блестяще, в нужный момент не сумел угодить, и фортуна от него отвернулась, уже в ранней молодости прервав его стремительную карьеру, ибо в нашем высшем кругу, как известно, по одежке встречают, а по уму выпроваживают... Женщины им пренебрегали, политическая карьера сияла другим. Он решил посвятить себя науке, ибо занятия политикой при независимости суждений были чреваты опасностями. За что же он принялся? Великолепная память, действительно незаурядные способности и жгучая обида на двор, презревший его, привели молодого князя к изучению генеалогий дворянских родов России, к проникновению в подноготную их. Описание родословных древ было занятием любопытным и до известной степени безопасным.

Наконец появился в свет сборник заметок, именуемый

«Российские древа», что было замечено обществом с удивлением и одобрением. Маленький успех вскружил голову молодому гению. Окрыленный, он отправился в Париж, где титул и научные изыскания сделали его на первых порах желанным в высших кругах французского общества. Под псевдонимом он издал книгу, в которой поделился с французской публикой сведениями о важнейших дворянских родах, используя всевозможные запрещенные факты, не лишённые политической остроты. Распоясавшийся молодой гений был счастлив, что сумел сообщить в своих изысканиях замалчиваемую подробность о Михаиле Романове, который в семнадцатом веке под присягой принял конституционную хартию, предложенную ему земским собором. И она просуществовала в России в течение шести лет! Кроме того, он проехался по адресу безнравственности Петра Великого и его окружения, то есть задев прадедов нынешних своих врагов, не забыл упомянуть и современных вельмож, имевших в жизни своей касательство, с одной стороны, к убийству Павла I, а с другой — к осуждению декабристов. Короче, разразился невообразимый скандал. Одни были возмущены его политическими разоблачениями, другие — антипатриотизмом, третьи же, как это ни смешно, гневались, что их фамилий не оказалось в скандальной хронике. Ему велено было вернуться в Россию. С тайным страхом в сердце князь отправился в Петербург, где его судьба внезапно разрешилась сравнительно мягко. Современники ожидали для молодого автора, по крайней мере, сибирской каторги, а ему всемилостивейше было разрешено проживать в государстве, во всех его частях, за исключением, правда, северной столицы. «Его величество не упускает из памяти, с какой готовностью вы воротились из Парижа», — заявили князю в Третьем отделении. Однако, радуясь легкому наказанию, князь знал, что помогло ему: именно в это же время известный Головин прислал из Парижа составленный в очень резкой форме отказ вернуться на родину.

Теперь, проживая в тульском своем имении, князь изредка навещал запретную столицу, пользуясь накладной бородой, глубокой шапкой и наемным экипажем. Он приезжал на короткие сроки, обязательно навещал Мятлева, видя в нем возможного единомышленника, и, не объявляясь, уносился обратно, обогащенный отрицательными впечатлениями.

— Барон Фредерикс?.. Ах, этот... — скривился хромоножка. — Он не из германских Фредериксов, а из курляндских. Титул свой он унаследовал от двоюродного деда, чтоб не сказать хуже. Там была какая-то история... Но он обыкновенный прихлебатель, нет, не шпион, а прихлебатель, шпионство ему не с руки, чтоб не сказать хуже... Вы знаете мое отношение к нынешнему правлению, и я был бы рад услышать, что каждый второй обыкновенный шпион, но я стараюсь быть справедливым. В науке нельзя руководствоваться личными антипатиями. Хотя не исключено, что нас подслушивают... — хромоножка усмехнулся, — ваш человек, к примеру, или некто, висящий в дымоходной трубе вниз головой, — он выглянул в окно, слегка отогнув штору, — или вон тот одинокий мечтатель, который мерзнет под вашими окнами...

По улице, за оградой, действительно прохаживалась смутная фигура в длинном пальто, закутанная в башлык.

Мятлев нервно рассмеялся, вспомнив преследовавшие его тяжелые шаги.

— Что касается Афанасия, — сказал он твердо, — то вы дали маху.

Внешность Приемкова была далека от совершенства. Невысокий, худой, со впалой грудью, с лицом отчаявшегося монаха, с маленькими пронзительными, все отмечающими глазками, одетый в последней моды парижский костюм, отменно новый, но уже непоправимо измятый, Приемков являл собой зрелище незаурядное и грустное. Он любил поговорить, высказываясь и выплескивая накопившийся в душе яд, при этом отчаянно жестикулируя, однако передвигаться приучил себя медленно, скрывая хромоту.

— Ладно, ладно, Афанасий-Расфанасий, — сказал он, морщась, — я имею в виду шпионов вообще. Шпионаж в России — явление не новое, но крайне своеобразное. Европейский шпион — это, если хотите, чиновник известного ведомства. Вот и все. У нас же, кроме шпионов подобного типа (мы ведь тоже Европа, черт подери!), главную массу составляют шпионы по любительству, шпионы — бессребреники, совмещающие основную благородную службу с доношением и слезкой, готовые лететь с замирающим сердцем на Фонтанку и сладострастно, чтоб не сказать хуже, докладывать самому Дубельту о чьей-то там неблагонамеренности. Шпионство у нас — не служба, а

форма существования, внушенная в детстве, и не людьми, а воздухом империи. Конечно, ежели им за это ко всему же дают деньги, они не отказываются, хотя в большинстве своем, закладывая чужие души, делают это безвозмездно, из патриотизма и из патриотизма лезут в чужие дымоходы и висят там вниз головой, угорая, но запоминая каждое слово.

— У нас голландки облицованы мощным старинным изразцом, — засмеялся Мятлев. — Сквозь него не проникают звуки. Послушать вас, и жить нельзя.

Зерно, брошенное случайно, медленно проросло, и его бледные побеги уже показались из почвы, и Мятлев, как бы играя, притронулся к горячим малиновым изразцам, выпуклым и витиеватым. Он начал со стыдливой улыбкой выстукивать их костяшками пальцев, словно молодой и неопытный врач грудь обнаженной красотки, и ощутил, как что-то отозвалось в печной глубине, как будто вздрогнуло, словно и впрямь было молодым живым телом.

— Ну, вы прямо волшебник, — сказал он хромоножке, — там, кажется, действительно кто-то есть...

— Что? Кто? — встрепнулся Приемков. — Да вы что?.. А-а-а, так велите затопить все печи да ветоши туда, ветоши побольше, шишек хорошо бы, шишек бы! — Он проковылял к окну, отогнул штору. — Ну вот, и этот на месте. Вот черт!

— Послушайте! — вдруг крикнул Мятлев, кивая на печь. — Да вы только послушайте...

За плотной чешуей малиновых изразцов, где-то в самой глубине дымохода, что-то отчетливо зашуршало, заплескалось, треснуло.

Приемков прислушался, скривился по своему обыкновению и уставился на Мятлева пронзительными глазами.

— Ну, знаете... Да вы сошли с ума, чтоб не сказать хуже!

Мятлев хотел рассмеяться, но не смог. Он распахнул тяжелую дубовую дверь и выглянул в коридор. Из печной топки вылетали языки огня, освещая мрак. Афанасий, весь в красном, точь-в-точь дьявол, с красною же книгой в руках, поблескивал красными же зрачками и скалился в улыбке. Князь наговорил ему с полсотни торопливых слов, издеваясь над самим собой и топча себя, умолил его: немедленно, сейчас же, не откладывая, придумать что-ни-

будь, какую-нибудь дурацкую штуку, а они с хромоножкой тем временем понаблюдает сверху; только сию же минуту, мгновенно, покуда этот, внизу, еще не исчез и не оставил их в мучительной неизвестности.

Афанасий тут же оценил ситуацию, изысканно поклонился и, не переставая скалиться, исчез в красном дыму. Оба князя, задув в комнате все свечи, припали к окнам. Ранние зимние сумерки не успели еще загустеть, и все было хорошо видно. Неизвестный в башлыке продолжал медленно прогуливаться вдоль чугунной ограды, не обращая внимания на дом, словно погрузившись в какие-то несладкие раздумья. Из этого состояния вывел его стук калитки. Он вздрогнул и обомлел — перед ним стоял господин странного вида. Он был в легкой черной крылатке, в стоптанных валенках, на голове возвышался старинный поношенный цилиндр с высокой тульей, руки были в белых летних перчатках, тяжелая трость с набалдашником усугубляла его неправдоподобие.

Он снял цилиндр, приветствуя незнакомца в башлыке. Тот поклонился и проследовал дальше. Так они разошлись, дошли каждый до своего конца ограды, повернулись и начали сходитьсь вновь. У калитки они поравнялись, и господин снова приподнял цилиндр. Так повторилось несколько раз, покуда Афанасий (а это был он) не сказал человеку в башлыке:

— Как странно, если позволите, который уж год прогуливаюсь здесь, для моциону, а вас, сударь, вижу, если позволите, впервые.

Человек в башлыке нехотя остановился, пошмыгал красным носом, смахнул с него капельку, покрутил головой, но ничего не ответил.

— Уж не новый ли сосед? — продолжал меж тем Афанасий как ни в чем не бывало. — Вот мой дом, если позволите. Рад буду видеть вас у себя... Мне врач прописал моцион от сгущения крови. Когда на вечерней заре совершаешь его, кровь разжижается. И для печени, если позволите, очень полезно... — Он приподнял цилиндр. — Маркиз Труайя... С кем имею честь?

— Здесь князь Мятлев проживают, — мрачно сказал человек в башлыке.

— А я что говорю? — с достоинством отпарировал Афанасий. — Я что говорю? Поверите ли, сударь, три года назад печень моя была на вершок шире, чем ей по-

лагается... Все ухищрения врачей не дали никаких результатов. Дворцовый врач, немец, если позволите, господин статский советник Кунце приказал мне совершать моцион на вечерней заре... Сразу полегчало... Да, с кем же имею честь?

Человек в башлыке был обут в потрескавшиеся холодные сапоги. Он, видимо, отчаянно замерз, ибо беспрерывно пристукивал ногами, приплясывал, топтался, взглядывая на Афанасия то со злобным отчаянием, то с испугом, то с мольбой.

— А после моциону, если позволите, — продолжал Афанасий, — я тотчас бегу в дом, к печке, принимаю бодрящих напитков, грею спину и душу. С кем же имею честь?

— Каких напитков? — спросил окоченевший незнакомец и стряхнул новую капельку с носа..

Афанасий не торопился. Он взял несчастного под руку, подтолкнул и медленно повел вдоль ограды.

— Я, если позволите, водку эту не люблю, — сказал он доверительно. — От водки мигрени по утрам, опять же вздутие и прочая чертовщина. После моциону, когда вас морозцем пробрало, вам надлежит принять грог...

— Не слышал, — сказал незнакомец, сотрясаясь от холода.

— Сударь, — остановился Афанасий, — не лучше ли нам пройти в дом, где я напою вас грогом? Клянусь, не пожалеете. (Незнакомец поспешно отдернул локоть.) Впрочем, ежели вам нынче недосуг, мы совершим это завтра. Ведь вы, если позволите, теперь каждодневно будете здесь прогуливаться, и я тоже... Давайте уж запросто пососедски. (Человек в башлыке отступил на несколько шагов.) А вы мне нравитесь.

— До свиданья, — прохрипел незнакомец, — премного благодарны, — и двинулся прочь, почти побежал.

Оба князя с нетерпением ждали Афанасия. Они потребовали подробного рассказа о свидании и горячо одобрили поведение Афанасия, и посмеялись над незадачливым шпионом.

— Знай наших, — сказал хромоножка восхищенно. — Ай да Фонарсий!

— Афанасий, если позволите, сударь, — поправил слуга, церемонно откланялся и вышел.

— Вот видите, князь Сергей, — проговорил хромоножка вдохновенно, — вот видите, какая живая иллюстрация к моему рассказу. А вы растяпа, чтоб не сказать хуже.

15

...Кстати, после той идиотской дуэли мы расположились с Мятлевым в его комнате в покойных креслах, обитых голландским ситцем, пружины в которых уютно и отдаленно позванивали, в комнате, где пять венецианских окон горели под осенним солнцем и на золотом фигурном паркете пылало пять бесшумных костров, в которые были погружены наши ноги.

Мы сидели, подобно кочевникам, изогнувшись, расслабленно раскинув руки, полуприкрыв глаза, и пили ледяную водку, и крепенькие молодые огурчики свежего посола с хрустом раскалывались на наших зубах. Мы молчали, заново, уже в который раз переживая собственную жизнь, выуживая со дна сознания те ее блестящие осколки, которые уже начинали тускнеть, подернувшись ряской забвения. Изредка мы взглядывали друг на друга, и тогда передо мной вспыхивала внезапная обворожительная и чуть-чуть виноватая его улыбка, словно мы одновременно думали об одном и том же, и он стыдился своих воспоминаний.

О, если бы возможно было чудо!.. Но мы, люди просвещенные, не склонны к суевериям и надежд на чудеса как будто не возлагаем, хотя, покопайся в наших душах, в них обязательно отыщется нечто, заимствованное нами от наивных и темных наших предков, нет-нет да и мелькнет в холодном и расчетливом сознании надежда на возможное чудо. Вот так и я, понимая, что моя далекая обожаемая сестра никогда не может стать княгиней Мятлевой, ибо это ничего ей, кроме несчастья, не принесет, втайне иногда представлял, что внезапное исцеление моего князя, пересечение земных путей, благоприятное расположение светил и благорасположение господне вдруг соединит их сердца и очистит их души. Действительно, когда бы не вечное и неизделимое смятение Мятлева и не обет Марии, обрекший ее на пожизненное одиночество после гибели в Чечне любимого ею Котэ Орбелиани, ког-

да бы он способен был полюбить глубоко и сильно, а она позволила бы себе отказаться от клятвы... но чудес не бывает.

Над нами простиралась по всей стене чужая, далекая страна, и давно минувшее время завершало свой горестный оборот, и горсточка обреченных скуластых туземцев все так же не помышляла о своем скором и неминуемом конце. И там, в этой обреченной толпе, по-прежнему выделялся человек с европейским лицом, высоколобый, со взглядом, исполненным благородства, но в этом взгляде уже таилось предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью природы. Конкистадоры со злодейскими физиономиями подкрадывались к ним с левого края полотна. Им уже мерещились запоздалые крики раненых и стоны умирающих, и смуглые остывшие тела. Они уже в мечтах распределили между собой добро туземцев, которое должно было попасть к ним в лапы: тяжелые золотые слитки и нечистоплотные индейские жены, которых они мысленно уже обнимали, не брезгуя, ибо сами имели еще смутное представление о чистоплотности. Грязные, вшивые сорочки с кружевными воротниками и башмаки с деревянными пряжками вызывали в них чувство превосходства и придавали им храбрости. Их бородатые и невымытые лица казались им верхом совершенства. Холопы у себя на родине, привыкшие зависеть и повиноваться, не раз битые кнутом и терпевшие насмешки аристократов, они сладострастно мечтали о власти и с упоением торопились заполучить ее хотя бы здесь, на этом чужом беспомощном берегу. Лишь миг оставался до того момента, когда должна была удовлетвориться их беспощадная жажда насилия и власти, а те, по-детски доверчивые, гостеприимно протягивали к ним свои смуглые руки, не подозревая, что уже обречены и что райские врата — это единственное, на что они могут рассчитывать.

Господа, наша высокородность и изощренный состав крови, утонченное воспитание и изысканность манер, наша приверженность к философии и благородный блеск глаз, даже и это все не ограждает нас от ненасытного микроба холопства, проникающего в наши души самыми невероятными путями. Где же защитные средства от него и что сулит нам избавление? Неужели род человеческий, совершенствуясь, не в силах противостоять этому ничтожному существу, разъедающему племя людей? По-

глядите вокруг и на самих себя. В самонадеянном своем раже мы проглядели, что и нас уже коснулась эта зараза и мы в наш-то золотой век, когда корабли движутся с помощью пара и уже локомотивы дымят и мчат нас вместо медленных, капризных и хрупких экипажей, когда мысль человечества устремляется в небеса, надеясь снабдить нас прозрачными крыльями, в наш-то золотой век, когда литература уже достигла обнадеживающих высот в строках Александра Пушкина и ныне здравствующего господина Тургенева, выше которых уже ничто не возможно, — неужели в наш-то золотой век мы, подобно темным предкам, с тайной ненавистью к собрату своему тоже стремимся самоутвердиться за его счет; и зависть, и злоба, и страсть подавлять — неужели это все, чем мы владеем? Так где же совершенство? В чем оно? В изяществе нарядов? В умении приподнять цилиндр? Пусты наши души и холодны глаза перед лицом чужой жизни. С самого раннего детства мы точим оружие друг против друга, и каждый тайно надеется, что именно ему повезет и судьба именно его великодушно и торжественно возведет надо всеми. И этот ничтожный микроб, разъедая наши внутренности, принуждает нас лицемерить и лгать, изворачиваться и подобострастничать, чтобы приблизиться и наконец вонзить нож в мягкую спину врага, а после, поплясав на трупе, провозгласить себя единственным... И для этого, только для этого мы не ленимся ковать стальное смертоносное оружие, и мы с восторгом изучаем искусство владения им и поощряем сами себя в этом, с восхитительной наглостью утверждая, что это якобы в целях самозащиты. Когда же нам удастся использовать его, мы используем его с легкостью и торжествуем, видя себя еще на шаг продвинувшимися к заветной цели. Но этого нам кажется мало, и рядом со стальным оружием мы носим при себе набор прекрасных и испытанных средств: ложь, клевету, угодничество, которые страшнее кинжала. И так всегда. Что же цивилизация? Почему же она не облагораживает и не очищает, и не излечивает нас?.. Во все века и времена рождаются одинокие гении, которых не заботит жажда власти и насилия над другими, но они сами становятся жертвами собственных собратьев, которые клянутся впоследствии их святостью, собираясь на очередное темное дело. История идет вперед, цивилизация хорошеет и самодовольно показывает себя со стороны фасада, за

которым по темным углам продолжают убивать беспомощных гениев, выжимая их и беря у них для собственных удобств плоды их мучительной, вдохновенной и короткой жизни.

16

«...Как вам понравится известие о том, что этот человек, пренебрегая приличиями, пролез в семью всеми уважаемого господина барона Фредерикса и оставил там весьма недвусмысленные следы своего злодеяния? Конечно, госпоже Фредерикс следовало бы относиться к его притязаниям с большей сдержанностью, но это лишь усугубляет его вину, подчеркивая его настырность и отсутствие всяких устоев. Мало того, он так задурил ей голову, что она почти открыто навещала этого человека в его развратном доме.

Почему я пишу об этом? Казалось, мне не следовало бы совать свой нос в чужую личную жизнь, но отчего же, позвольте спросить, в то время как большинство верно-подданных старается из последних сил принести пользу своему отечеству, такие, как этот человек, противопоставляя себя остальным, погрязают в разврате, в ничегонеделанье, разрушая святые устои нашей жизни?..»

(Из анонимного письма министру двора его величества)

17

Мятлев молчал, отсиживался дома, почитывал своих греков и как будто не вспоминал злополучную историю. Лишь однажды наедине с собой попытался позлословить на эту тему, но саркастическое искусство хромоножки было ему чуждо и его легкие стрелы относил ветром.

Сразу же после разрыва с баронессой Мятлев испросил себе полугодовой отпуск, ссылаясь на старую рану. Прощение пошло по инстанции и достигло государя. Мы с замирающими сердцами ждали решения. Но, к счастью, все произошло без осложнений и даже, напротив, слишком поспешно, словно кому-то доставляло удовольствие хоть на время вычеркнуть князя из списка самых блистательных представителей гвардии. Тогда мы долго ломали голову, размышляя, что бы это могло значить, но потом

согласились, что при всех тяжелых и угнетающих свойствах характера государя нельзя все же отказывать ему в стремлении хоть изредка быть великодушным. Однако при всем этом можно было, конечно, не сомневаться, что его орлиный взор достает далеко, добродетельное сердце горит не напрасно, а бодрствующий ум все помнит отменно.

— Вы еще молоды, — говорили Мятлеву, — а государь может воспринять это как вызов...

Но корабль уже отвалил от берега, и не рисковать было невозможно.

Наступила весна. Все вокруг расцветало, набухало, радовалось. Невероятные ароматы земли и свежей зелени устремлялись в небо, и хотелось воспринимать мир с одной лишь прекрасной стороны. Однако Мятлев начал жаловаться вдруг на дурной сон, на постоянное предчувствие несчастья.

— Мне надо уехать, — сказал он, — куда-нибудь подальше, найти какой-нибудь прелестный уголок, где никого нету... Жить там, собирать гербарии.

О, где вы, прелестные уголки, куда не ступала нога человека и где можно собирать гербарии?

Кстати, эти уголки становились почти неуловимы, и чем дальше, тем все меньше надежд оставалось их обнаружить, и, словно затем, чтобы рассеять жалкие остатки маячащего миража, поздним вечером в трехэтажной деревянной крепости Мятлева объявился неожиданный гость.

Мятлев принял гостя, как и полагалось старому несчастливому холостяку принять представителя иной, счастливой жизни, обремененного благополучием, благорасположением высших сил, обладателя ясных целей, здоровых мыслей и изящной самоуверенности.

Он приготовился увидеть знакомое невысокое рыжеватое сооружение из мундира и звезд, однако барон Фредерикс оказался в темном сюртуке да к тому же со странным клетчатым шарфом на шее.

Все оказалось проще, чем можно было бы предположить, и через десять минут они уже беседовали как старые знакомые, и барон не отказался от чая с ликером, а затем как-то незаметно перешел на водку, которую предпочитал хозяин.

— Вот видите,— сказал барон, удовлетворенно жмурясь,— как вы располагаете... Я уже не говорю об обеде, который у меня скромен и трезв и начинается с ботвиньи, а оканчивается апельсинами, что же касается до ужина, то его у меня попросту нет. Вот видите.

Мятлев не воспринял этих слов как полное ему прощение, однако настроенность его не усилилась. Во всяком случае сказанное бароном можно было вполне понимать как то, что он, произнося все это, не намерен примитивно сводить счеты. Какие уж тут счеты?

После второй рюмочки Мятлев смог позволить себе даже расслабиться и почувствовать себя равноправным в неторопливой мужской беседе. Уж если гость был не во фраке и не при звездах, если он не начал с упреков или сетований, да если к тому же был тих и даже печален, словно сам провинился перед хозяином, так чего же было опасаться? Капризная тень баронессы не витала над ними. Разговор обходил ее стороной и готов был влиться в уже знакомое русло политических предчувствий, как вдруг с поблекших и будничных уст барона сорвались как бы ничего не значащие слова.

— Вот видите,— сказал барон,— здравомыслие позволяет нам с вами быть справедливыми и не прибегать к решительным мерам, тем более что решительные меры в подобных деликатных обстоятельствах обычно ничего не решают,— он засмеялся. — Мы теперь с вами одинаково отставлены, подобно двум старым стульям, которым предпочли кресло... Будем же расценивать это не как укор нашим с вами несовершенствам, а как гимн нашей заурядности. Лично я не обольщаюсь на свой счет... — И он впился своими полузакрытыми глазами в лицо князя.

Тут Мятлев понял, что от разговора не уйти, что это и есть тот самый разговор и что барон, еще более налакавшись, начнет выкладывать все и, не дай бог, пустит слезу... И Мятлев отхлебнул как следует из своей посуды, чтобы нападение не застало его врасплох, но барон, как ни странно, заговорил о другом, уже более не упоминая ни баронессы, ни случившегося злополучного треугольника, в котором кто-то четвертый повисал в воздухе, не имея своего угла. И чем больше барон отхлебывал, тем все больше отдалялся в своем монологе от первоначальных страстей, и все больше розовело его свежее здо-

ровое лицо, и, наконец, когда оно словно окончательно поюнело, приобретя однозначный вид, при котором море по колено, а слава нужна не для денег, а для души, барон сказал:

— Я всегда симпатизировал вам... печальные темы, над которыми трудно шутить, мы предаем забвению... Как сказала однажды одна умная дама: постоянство — это продолжительность вкусов. Что?.. Вот видите, мы с вами можем оказаться в качестве свидетелей еще одного подтверждения этой истины. Но не будем примитивно откровенны, а лучше прикинемся безумцами, чтобы не лишать себя права говорить.

В этом свободном, очаровательном и маловразумительном потоке признаний Мятлев усмотрел некоторый камуфляж, которым владелец незабвенной Анеты пытался прикрыть расстройство чувств. «Он, и верно, прикидывается безумцем, чтобы выговорить мне все и даже задеть меня... Да я не понимаю...» — подумал Мятлев.

Внезапно, прервав себя на полуслове, барон исчез, так же, как и появился.

В течение нескольких дней воспоминания об этой встрече продолжали беспокоить Мятлева, однако все погасло, как стало известно, что у баронессы с государем ничего не вышло. То ли она ему не угодила, то ли он был не таков, каким его рисовали злые языки. Во всяком случае, невразумительные сетования барона утратили свой смысл и его потуги на самопожертвование представлялись изда- лека еще суетней и еще печальней.

18

Однажды на углу Большой Морской Мятлев отпустил коляску и пошел по Невскому, намереваясь посетить книжную лавку.

Стоял великолепный полдень середины весны, из тех редчайших полдней, которые особенно ценимы в суровом Петербурге.

Публики было довольно много, одежды были преимущественно ярких тонов, наполовину уже летних; оживленный говор бодрил. О печальном думать не хотелось.

Внимание князя было привлечено одной молодой дамой, которая заметно выделялась в толпе. Она двигалась

навстречу князю слишком поспешно, обгоняя медленно текущий людской поток. На ней в отличие от толпы было глухое черное платье. Шляпа не покрывала ее голову, и светлые волосы свободно опускались на плечи. Неподвижный взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно она двигалась вслепую. Дама была довольно высока, стройна, легкая сутуловатость придавала ее облику отчаяние. Лицо ее показалось Мятлеву прекрасным и полным скорби. Он обернулся, провожая ее взглядом, но она как возникла, так и исчезла, смешавшись с весенней публикой.

Внезапно, как это тоже случается в Петербурге, косая тень откуда ни возьмись напозла на беззащитное солнце, краски кругом померкли, и крупные капли дождя забарабанили по мостовой, по тротуарам, прибывая пыль и распугивая прохожих.

Послышались восклицания, смех, краски перемешались, всадники пришпорили коней, экипажи затарахтели оглушительней, кое-где над головами вспыхнули зонты, но дождь усилился, и все пешеходы ринулись в ворота домов, попрятались по магазинам, по кофейням, спасаясь среди случайных укрытий, кто где мог. А дождь все усиливался, и уже не капли, а стремительные струи со свистом впивались в землю. Начинался ливень, и где-то вдалеке прогрехотал гром.

При первых же каплях Мятлев забежал в кондитерскую и через стекло витрины стал наблюдать, как спасаются остальные. Невский, насколько хватало глаз, вымер. Разбушевавшаяся стихия одна господствовала на нем, да кое-где виднелись одинокие извозчики, которым некуда было укрыться.

И тут он снова увидел ту самую давешнюю молодую даму. Теперь она возвращалась обратно, не замечая потоков воды, не слыша грома; вода окружала ее сплошной стеной, отяжелевшее черное платье еще плотнее облегалo ее тонкое тело, еще заметнее обозначилась сутулость, но прекрасная голова теперь уже была опущена, и ступала молодая дама медленно, словно надобность торопиться отпала, охлажденная дождем.

Впрочем, дождь ли был тому причиною? Какие несчастья согнули это худенькое стройное тело? Какая жестокая тайна была сокрыта в глубине ее души?

«Ах,— подумал Мятлев по возможности спокойно,— еще одна жертва доверчивости...» Но молодая печальная

дама медленно проплывала за стеклом витрины, окруженная потоками ливня, и нельзя было без боли глядеть ей вслед.

Чей-то пронзительный крик раздался неизвестно где: то ли в кофейне, то ли на проспекте. В зале смолк оживленный говор, и все стихло. Прогрохотал гром. Белое пламя лизнуло витрину. Тяжелая карета, единоборствуя со стихией, разваливаясь на ходу, вынырнула из-за угла. Четверка серых лошадей колотила копытами по воде.

Какая сила толкнула Мятлева из уютной кондитерской, непонятно, но он выбежал на проспект и тут же вымок до нитки. Карета стремительно накатила, Мятлев успел увидеть дикие глаза лошади, разинутую пасть форейтора, протянул руки и обхватил тонкое тело молодой дамы и потащил его прочь, хотя оно сопротивлялось, извивалось, билось, а ливень бушевал, молния сверкала, удары грома слились в непрерывный грохот, пахло холодом, пена хлопотала вокруг них, и каждый их шаг казался шагом в бездну.

— Сударыня, — позвал Мятлев, пытаясь ее образумить, но даже сам себя не расслышал. — Сударыня! — крикнул он во всю силу, но крик прозвучал едва различимо, будто захлебнулся в потоке воды.

Весь прочий мир утвердился в кондитерских и воротах домов и выглядывал оттуда с любопытством и отчуждением. Мятлев ухватил ее покрепче.

— Оставьте меня! — крикнула она.

Было мгновение, когда ему показалось, что она осиливает его. Они извивались под дождем в обнимку, и чаши весов застыли на одном уровне. Затем он с внезапным ожесточением, и сам уже полурастворенный в ливне, сумел одолеть ее и потащил за собой к спасительной трактирной двери, так счастливо вдруг проглянувшей сквозь мрак и вихрь. Он не ощущал ее сопротивления, не слышал, что она такое выкрикивала: угрозы, мольбы или слова благодарности. С упорством маньяка он втолкнул ее в дверь, раздвигая плечами толпящихся на пороге людей, давил им ноги, попадал локтями им в ребра, не слышал проклятий и все продвигался, пробивался с таинственной своей добычей туда, в самую глубину, мимо обомлевшего швейцара, который вдруг узнал князя и попытался ему поклониться, но не успел, так как безумный князь и вымокшая орущая ведьма пронесли мимо, прямо на

хозяйскую половину, и дверь захлопнулась за ними с оглушительным стоном.

Через мгновение в тесной душной гостиной оказалась прелестная компания: сам хозяин трактира Савелий Егоров, похожий на резво скачущий шарик, с наглостью и подобострастием во взоре; его чахоточная испуганная жена в напрасных папиюточках; его молодящаяся разбухшая дочь, напоминающая формами отца, в голубом переднике и с подносом в пухлых руках; служанка с рябым лицом, и жандармский полковник фон Мюфлинг в мундире, изрядно пьяный; и еще какие-то люди, напоминающие одновременно и ближайших родственников хозяина, и случайных прохожих.

Савелий Егоров тотчас признал Мятлева по прежним его буйствам, и, хотя князь показался ему на сей раз невеняемым, он принялся резво кататься, кружиться, выкрикивать хриплым голосом распоряжения, и все вокруг него завертелось, загомонило, появилась вода в стакане на случай обморока, и уксус, и полотенца, и теплый халат, и грелка, и еще халат.

— Водки! — крикнул Мятлев, с силой усаживая свою разгневанную пленницу на диван кровавого цвета. — Да сядьте же!..

— Господа, выйдите отсюда, — сказала жена хозяина остальным.

Служанка подала рюмку водки, и Мятлев поднес ее неизвестной, сотрясаемой ознобом и рыданиями.

— Ваше сиятельство, — подкатился к Мятлеву Егоров, — сдается мне, барышне бы лучше на женскую половину перейти...

— Конечно, — согласился Мятлев, — да вы сначала выпейте, сударыня...

Незнакомка. Не трогайте меня...

Фон Мюфлинг (икая). Б'дняжка...

Жена хозяина. Прошу всех выйти, прошу всех...

Мятлев. Выпейте, да пейте же...

Незнакомка. Подите прочь...

Фон Мюфлинг. Б'дняжка...

Дочь Егорова помогала выпроваживать публику. Незнакомка, не утирая слез, не опуская голову, молча рыдала, отталкивая рюмку с водкой. Тут снова ожесточение обуяло князя. Он кивнул хозяину, и они вдвоем запрокинули голову худенькому существу и влили ей в рот водку,

— Нет!— крикнула она и ударила себя маленьким кулачком по колену.— Нет, нет!— и снова ударила, да так сильно, по-мужски, и еще раз, и еще, била и кричала: — Ну что вам от меня надо? Господибожемой, злодеи, разве я вас просила?.. Да не лезьте вы с вашими благодеяниями!.. Как вы смеете принуждать меня, господибожемой!..

— Сударыня, сударыня, — просил Егоров, с ужасом глядя на князя, — сударыня, позвольте проводить вас... в комнату, сударыня... к моей супруге... Там вам будет удобнее обсушиться... Сударыня...

— Господибожемой, какой ужас!— кричала незнакомка, ударяя себя по колену.

Но теперь уж Мятлев был исполнен такой решимости, что никакие мольбы и проклятия не в силах были его колебать. По его властному знаку присутствующие женщины подхватили под руки это побледневшее, встрепанное, мокрое, рыдающее создание и, окружив плотным кольцом, повели утешать и обсушивать. Она уже не сопротивлялась.

«Господибожемой! Господибожемой!..» — звенело в ушах у князя, пока он сам, покинутый всеми, приводил себя в порядок. Действительно, «господибожемой», — поглядеть со стороны, какое насилие над бедной женщиной, какое свинство, «господибожемой»...

Вдруг дверь растворилась, и ввалился фон Мюфлинг. В его голубых мутноватых глазах плавало сосредоточенное недоумение.

— Князь,— проговорил он с трудом,— сдается, что эта несчастная дама ждет в помщи... Я гтов...

— О, спасибо, благодарю вас,— заторопился Мятлев,— все будет отлично, не беспокойтесь, я тронут, это очень трогательно с вашей стороны...

— Првда?— сказал фон Мюфлинг.— Оч-ч-нь хшо, — и вышел, не сгибая колен.

Мятлева кликнули наверх, и он поднялся по шатким ступенькам в кружевную, канареечного цвета комнату супруги Егорова, где на кружевном диване, завернувшись в стеганный халат, сидела его дама. Входя, он очень боялся услышать ее негодующий крик, увидеть бледное лицо и взгляд, полный ужаса и презрения, но ничего подобного не случилось. Напротив, легкий румянец бежал по щекам, большие серые глаза со спокойным удивлением глядели

на Мятлева, длинные светлые волосы, высохшие и густые, свободно покоились на острых плечах.

— Надеюсь, вам лучше?— спросил он осторожно.

— А ведь я пьяна,— сказала она просто, как старая знакомая, и засмеялась, и тут же прозрачное мягкое тепло заструилось из ее глаз.

— Вот история,— сказал Мятлев. — Вы так дрожали вся, вся были в ознобе... Нельзя было вас не пожалеть.

— С чего бы это?— усмехнулась она не слишком доброжелательно.

Голос у нее был низкий, цыганский, густой. В движениях исчезла торопливость. Казалось, что безмятежность никогда не покидала ее, а все, что произошло, произошло не с нею, и лишь то, как она придерживала халат, этот сжатый кулачок, похожий на детский, вцепившийся в материнскую юбку, лишь это настораживало: нет-нет, а где-то там что-то там кипело и каждую секунду могло вырваться, и чачоточная супруга Егорова пересчитывала в углу серебряные ложки и не думала уходить, и дочь Егорова, взгромоздив свое рыхлое тело на стул и приоткрыв рот, бесстыдно взирала то на князя, то на его даму.

Ложки звенели и мешали ей слушать разговор.

— Маменька, — морщилась она, — да будет вам!

— С чего бы ему меня жалеть? — сказала незнакомка. — Вы садьте. Вот сюда можно, рядом, вы мне не помешаете. Я совсем пьяна, господибожемой... — и засмеялась. — Ну, что же мы будем делать дальше? Как вы намерены со мной?.. Что вы намерены?.. Он опять будет хватать... Вы опять будете хватать меня за руку, или я могу поступать как мне заблагорассудится? — и нахмурилась.

— Пожалуйста,— торопливо сказал Мятлев, — я хотел вам помочь... Разве так уж предосудительно мое желание оказать вам помощь, вам помочь?..

— С чего бы это ему мне помогать? Разве я его просила?.. Да я сроду его не просила, господибожемой... Я вас и не знаю, милостивый государь. Да что это с вами: схватили за руку на виду у всех. Вы что, всех так хватаете?

— Нет, не всех,— сказал Мятлев, как мальчик.

— Ах, не всех! Значит, я ему показалась... Значит,

ему показалось... Ну, сударь, извините. Господибожемой, влили водку! Этого еще не хватало.

Вдруг он понял, что она замечательно хороша, просто чертовски хороша, особенно здесь, среди этих кружев, и этих женщин, и этих серебряных ложек, под этими низкими потолками, не ведомая никому, притворяющаяся, что опьянела; а надо было уходить, но она была так хороша, что это мешало откланяться и выйти.

Супруга Егорова все быстрее, все лихорадочнее пересчитывала ложки. Они уже звенели так, что слова были еле слышны. Подобны серебряным рыбкам, они, оглушительно грохоча и сверкая, пересыпались из ладони в ладонь, затем почему-то в миску, затем почему-то в ящик, и снова на ладонь, и из ладони в ладонь...

— Маменька, да будет же вам...

В раскрытую дверь вошел фон Мюфлинг на негнувшихся ногах. Его голубой мундир на фоне канареечной стены сиял, словно кусочек неба в обрамлении увядшего лета.

— Я свершенно рстерян, — сказал он, пытаюсь улыбнуться. — Обспокоен... Н-н-не нужно ли чво?

Незнакомка взглянула на Мятлева испытующе. Затем решительно прошла за ширмы.

— Оч-ч-чнь хшо, — удовлетворенно выговорил фон Мюфлинг. — Я велю пзвать извз... вз... звз... чка... — потом кивнул на ширму: — Бдняжка... — и исчез.

— Я вас прошу, — нараспев сказала она из-за ширмы, — прошу вас выйти вместе со мной... Уж ежели вы так добры и великодушны, так отчего бы вам не выйти?... Отчего бы ему не выйти со мной?

— Да я жду вас, — обрадовался Мятлев, что все само собой разрешилось и видя в этом какой-то тайный сигнал.

— Интересно, с чего бы это ему меня ждать... — бубнила она, одеваясь. — Какой странный, господибожемой... — и кашлянула.

Медленно и торжественно, сопровождаемые тишиной (ибо серебряный водопад внезапно замер), они спустились с душных кружевных небес и пошли сквозь любопытную толпу по живому коридору. Ей снова пришлось облачиться в сырое платье, и тело ее начинал бить озноб. Егоров с аккуратной почтительностью катился вслед за чими.

Ливень давно прекратился, но тяжелые тучи висели

над городом. Дул резкий холодный ветер, и уже не было вокруг радостной пестрой толпы, а лишь, венчая окончание присутственного дня, растекался теперь, куда ни глянь, поток серолицых людей в поношенных темных мундирах с медными пуговицами. Движения их были однообразны, походка шаркающая; запах подгорелого лука висел над проспектом, растекался по городу, возносился к небу, запах подгорелого лука, квашеной капусты и пота... Их тусклые глаза сливались в один, и в нем, этом громадном глазе, на самом дне его громадного тусклого зрачка шевелилось невзрачное счастье от предвкушения каждодневных благ, навеваемого запахом подгорелого лука.

На мостовой перед трактирной дверью уже стояла наемная карета с предусмотрительно распахнутыми дверцами. Возле нее покачивался, расплывшись в туманной улыбке, фон Мюфлинг, словно встречал гостей на пороге собственного дома.

— Пршу...— и подал незнакомке руку, и помог ей взобраться в экипаж, сам едва не упав при этом.

Мятлев поблагодарил его, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Савелий Егоров тронул князя за плечо и шепнул ему по-свойски:

— Ваше сиятельство, вы не гневайтесь, однако мои дамы говорят, будто знают вашу даму: знаем, мол, ее... Ее будто все уже знают в том смысле, что она, мол, э-э... Ну, знаете, как про это говорят. То есть не только мои дамы, а и прочие... А я ведь знаю вашу доброту... — и засмеялся.— Знаем вас, ваше сиятельство...

— Бдняжка,— сказал фон Мюфлинг, поклонился и на негнущихся ногах зашагал обратно в трактир.

В экипаже она, не стесняясь, прижалась к Мятлеву содрогающимся телом; голову, пахнущую дождем, склонила ему на плечо, и ему ничего уже не оставалось, как обнять ее, и он обнял.

— Господибожемой, куда мы едем?

— Вы едете ко мне,— с твердой решительностью сказал он.— Буду до конца бесцеремонным.

Протеста не последовало, наоборот, какой уж тут протест. Она лишь вскинула голову, чтобы незаметно мельком заглянуть ему в глаза.

— Какой странный, даже не спросил имя... Какие у него руки, горячие, господибожемой! Нет, нет, не убирайте... Да что это с вами? Не убирайте, я прошу вас... Дол-

го ли нам ехать?.. И печь, и чай с вареньем?! Господи-божемой, это ему ничего не стоит!... И платье высушим?.. Какой странный: затащил в трактир, чуть руку не вывернул, напоил водкой насильно, напустил на меня каких-то грязных чудовищ, а теперь обнял... и теперь тепло, и еще обещает чаем напоить... — Она счастливо засмеялась.— Да полно, уж не сон ли?.. Ах, если бы грудь прикрыть от ветра...

Мятлев с поспешностью юнца обнял ее другой рукой. — Какой странный, — засмеялась она, еще пуше к нему прижимаясь. — Даже не спросит, где я живу и не надо ли проводить меня домой... — Это она произнесла уже шепотом, и еще что-то вроде: самоуверенность, насилие, истязание, наглость...

19

Так бормотала, словно засыпая в железных объятиях счастливого Мятлева, двадцатидвухлетняя Александрина Жильцова, мало заботясь, куда ее может завести наемная петербургская карета.

Ее отец, Модест Викторович Жильцов, был похоронен живо среди толстых тюремных стен далекого Зерентуя после известного события на Сенатской площади в декабре 1825 года. Неумолимая судьба сыграла с ним злую шутку, разлучив его, безвинного, с молодой женой, двухлетней дочерью и спокойной, добропорядочной жизнью.

13 декабря 25 года, за день до печального происшествия, прикатил он в Санкт-Петербург из своего калужского далека хлопотать по имению, которому грозили всякие беды. Будучи человеком общительным и добрым и имея множество друзей среди гвардейских офицеров, с которыми еще недавно служил перед тем, как выйти в отставку, он не преминул тотчас же по приезде навестить их. Не застав некоторых из них дома, он перенес визиты на следующий день и как раз четырнадцатого декабря сел в сани и отправился по адресам. На Сенатской площади он вдруг увидел каре Московского полка, окруженное толпами любопытных. Решив, что это очередное построение или смотр, и разглядев среди офицеров, разгуливавших перед каре, старых своих знакомых, он выскочил из саней и бросился к ним. Когда же наконец, по прошествии некоторо-

го времени он вдруг понял, что происходит, ибо, оторванный от всего в своей глуши, не мог предполагать ничего подобного, было уже поздно. Войска, которыми предводительствовал сам молодой император, окружили каре. Жильцов в ужасе перед происходящим успел кинуться прочь и благополучно добрался до гостиницы с одной-единственной мыслью побыстрее уложиться и на утренней заре гнать обратно в имение. И он действительно уложился, но покинуть столицу опоздал. Кто-то его увидел, кто-то сообщил, пошли слухи, и за ним явились. Видя в том несчастное недоразумение, Жильцов не спорил, надеясь на быстрое разбирательство. Его препроводили на гауптвахту, где он очутился в соседстве с незнакомым ему интендантом, также арестованным в связи с событиями. Через два дня интендант был приглашен для допроса, а возвратился сияющий и возбужденный. Оказалось, что его дело счастливо завершилось, ибо, как он рассказывал, выложил чистую правду, а те, мол, что пытались выкручиваться и оправдываться, о судьбе их даже страшно подумать.

— Так моя чистая правда — это полное неведение, — сказал, улыбаясь, Жильцов.

— Э-э-э, батенька, — засмеялся интендант, — все запираются, сказываясь несведущими. А запирательство знаете чем грозит?

Действительно, на следующий день интенданта выпустили, а Жильцова повезли допрашивать. Конечно, он и не думал по врожденной порядочности и благородству отрицать, что в злополучный день оказался среди мятежников, так ведь это вот как получилось. Его попросили назвать имена знакомых офицеров, и он простодушно и даже с радостью их перечислил, ибо их все видели, а молчание могли расценить как запирательство.

— Имели ли вы сами когда-нибудь случай высказываться неодобрительно в адрес нынешних законоположений? — спросили его.

— Никогда! — с ужасом выкрикнул он.

Тогда его отправили обратно на гауптвахту, посоветовав ему не запирается, а, напротив, все тщательно припомнить, описать и тем самым облегчить свою участь.

Он пометался по своей тюрьме, пострадал, попричитал, размышляя о своей молодой жене, проклиная день, когда решился ехать в Петербург, который схватил его,

безвинного, неумолимой пятерней, и принялся писать, припоминая все, что когда-либо думал о различных преобразованиях, которые помогли бы его отечеству еще более расцвести. Признание было отправлено, и о нем позабыли.

В течение долгих месяцев он напряженно ждал, что вот-вот за ним явятся, чтобы объявить ему о полной его невиновности, и представлял, как будет все это рассказывать и объяснять своей жене, которой он никак ничего не мог сообщить и которая, по всей вероятности, была в полнейшем отчаянии.

Наконец наступило лето, и в комендантском доме Петропавловской крепости он с ужасом узнал, что лишен дворянства и осужден на двадцатилетнюю каторгу.

В течение нескольких дней после сентенции он пребывал как бы не в себе: никого не узнавал, к еде не притрагивался, разговаривал сам с собой и все время ходил из угла в угол, потеряв сон.

Его молодая жена, кое-как сводя концы с концами в маленьком имении, заложенном и перезаложенном, узнала наконец о судьбе, постигшей ее несчастного супруга, и пришла в сильное расстройство, так что уже никакие доктора и никакие снадобья не могли вернуть ей прежнего здоровья.

Заботы и хлопоты по воспитанию маленькой дочери еще придавали ей сил, а с мыслью о том, что он действительно тайно от нее участвовал в заговоре и теперь должен расплачиваться за тяжкие свои грехи, с мыслью этой она кое-как примирилась. Теперь она жила ради маленькой Александрины, стараясь дать ей приличное образование, как ни была стеснена в средствах.

Так пролетело несколько лет, как вдруг от него пришло предлинное письмо, и не официальной почтой, а переданное через десятые руки и, таким образом, миновавшее бдительные очи цензуры. И тут она узнала, как все воистину случилось с ее несчастным мужем и что он пострадал невинно и теперь, невинный, осужден на такие нечеловеческие муки. И это, и сознание собственной беспомощности перед лицом государства с его запутанными и сложными делами и намерениями — все это явилось последней каплей. В несколько дней она угасла. Имение вскоре было продано за долги, Александрину взяла в Москву дальняя и единственная родственница их семьи, и девочка начала новую жизнь, все время помня об отце,

о котором столько слышала от матери, и мучительно надеясь на скорое его возвращение.

В Москве ей жилось неплохо. Ее жалели и многое ей позволяли. Она была несколько замкнута, но зато пристрастилась к серьезному чтению, любила музыку. У родственницы в доме проживал родной племянник, единственный ее наследник, милый юноша, студент университета. Шестнадцатилетняя Александрина внезапно и пылко влюбилась в него. Он отвечал ей взаимностью, и все бы, верно, сложилось хорошо, когда бы потерпеть злым силам и дать возможность молодым людям созреть и окрепнуть для совместного счастья, но отвратительный рок, облюбовавший себе семью Жильцовых, даже в московской неразберихе и суете нашел свою жертву. После каких-то происшествий в университете несколько студентов, в том числе и возлюбленный Александрины, были отданы в солдаты. Спустя месяц на Кавказе в очередной перестрелке с горцами он был сражен насмерть, и Александрина в отчаянной откровенности призналась, что ждет ребенка. Случилась буря. Отношения с родственницей были порваны. Девушке было предложено покинуть дом, ибо ее поведение было расценено как посягательство на наследство.

Гордая Александрина хлопнула дверью, имея при себе небольшой сундучок с нехитрым скарбом и горькие воспоминания. Идти было некуда. Накрапывал холодный осенний дождь. Лишиться всех надежд и крова в шестнадцать лет — могло ли быть что-либо ужаснее? Она решила дожидаться вечера, а дождавшись, торопливо побегала к Москве-реке по не менее торопливым и неоригинальным следам многочисленных своих предшественниц.

Неизвестно, можно ли было считать это счастьем, но чья-то сильная рука помешала ей осуществить трагическое намерение. Человек, спасший ее, оказался профессором медицины. Он дал ей выплакаться, девичье горе недолговечно, и вот перед ней, как по мановению волшебной палочки, открылась дивная страна. Профессор был вдовец, уже не первой молодости. Он жил в хорошей квартире на Пречистенке со своей маленькой дочерью. Им прислуживали горничная и кухарка. Он предложил Александрине поселиться в его доме, где у нее будет своя комната и все права члена семьи. За это она должна была заниматься с его дочерью музыкой и француз-

ским языком. После того как она уже стояла на пороге смерти, это предложение показалось ей столь неправдоподобным в этом суровом мире, что за него следовало платить только своей жизнью. Однако мысль о том, что она не призналась ему в главной своей тайне, вынудила ее отказать ему. Он не отступился. Он принял ее отказ, но все-таки уговорил Александрину поехать к нему хотя бы на сутки, чтобы привести себя в порядок, а там уж что бог даст. Она была в таком состоянии, что не воспользоваться такой не унижительной возможностью было бы глупо. И она согласилась.

Уже за полночь они вошли в его квартиру. Дочь спала. Горничная, ни о чем не расспрашивая, приготовила ей комнату. В ней было тепло, уютно, пахло горячим воском и свежими простынями. Они поужинали вдвоем. Он был предупредителен и деликатен. Тогда она, набравшись смелости, раскрыла ему свою тайну. «Ах, это? — рассмеялся он. — И только?.. А я-то на что? Да вы и мигнуть не успеете, как ничего не будет». И она осталась.

Через неделю она была совершенно здорова. Чудесное снадобье лишило ее последнего, что осталось ей от прежней ее жизни.

Вскоре в одну из ночей он появился у нее в комнате в халате и со свечой. Она испугалась, попыталась сопротивляться, просила, но он молча скинул халат и грузно привалился рядом.

Шло время. Она занималась с девочкой, привыкла постепенно к своему жилью и к ночным посещениям пожилого мужчины. Профессор был высок, с приятной внешностью, со сдержанными, благородными манерами. По воскресеньям они посещали церковь, а затем гуляли по бульварам либо отправлялись в Сокольники.

Его ночные посещения, объятия, ласковые слова, которые он произносил торопливым шепотом, уже не пугали ее. Она даже видела в своем сожительстве с ним непрременную плату за свое спасение. Однако его страсть постепенно распалась, туманные намеки облекались в плоть, он становился раздражительней, обычное спокойствие изменяло ему, и, наконец, стыдясь и путая слова, он признался, что любит ее. Странно, но она не ощутила ни мимолетного торжества, ни даже легкого упоения победой. Напротив, его пылкое признание снова напугало ее, и она тоже путала слова, пытаясь образумить его, но в

глубине души все в ней было спокойно, и ровно, и безразлично, и угрызения совести не мучили ее.

Ей было уже семнадцать, когда прекрасным майским днем, гуляя со своей воспитанницей по бульвару, она заметила, что некий незнакомый красивый офицер неотступно следует за нею. Спустя час он решительно подошел к ней и представился. Он ей понравился. Несколько раз после этого они встречались на том же бульваре, а однажды договорились встретиться без свидетелей. Он повез ее на свою холостяцкую квартиру, и так случилось, что она, не выходя оттуда, прожила там неделю. Профессору было отправлено прощальное письмо, а офицер предложил ей руку и сердце, взял отпуск и увез ее в свою подмосковную.

Там они жили несколько месяцев, но разговоры о свадьбе постепенно затухали, она почувствовала, что он охладел к ней и тяготился их связью, и, наверное, поэтому сильно пьет, и, лишь выпив, воспаляется вновь. И тогда, ни о чем не сожалея, она незаметно покинула его и возвратилась в Москву.

Что было потом? Ей подвернулось место гувернантки в купеческой семье, и она жила там, не переставая надеяться на скорое свидание с несчастным своим отцом, как вдруг прихотливая и недобрая ее судьба ввалилась к ней как-то ночью в образе хозяина дома. Молодая женщина решила защищаться. На крик явилась супруга купца, хорошо знакомая с тайными вкусами мужа, надавала Александрине пощечин и велела ей немедленно... сию же минуту...

Когда это случилось, Александрине шел девятнадцатый год. Она была хороша собой, следы пережитого еще не успели испортить ее чистого лица. Большие серые глаза останавливали не одного прохожего. Она бегала по частным урокам и зарабатывала и гордилась своей независимостью, хотя деньги были ничтожные и появлялись у нее в руках неаккуратно.

Профессор медицины встретился с нею случайно. Он очень постарел и обрюзг. Он едва не заплакал, увидев ее. Он просил ее вернуться, но она даже вздрогнула при мысли об этом и осталась непреклонна.

Она снимала небольшую грустную комнату в четырехэтажном доходном доме у Николая на Песках. Комната располагалась почти под самой крышей, отчего зимой в

ней трудно было сохранить тепло, а жарким летом духота доводила до одурения. Зато она имела одно великолепное преимущество, на которое и польстилась Александрина: комната находилась в стороне от прочих квартир и имела отдельный выход на лестницу. В доме проживала всякая ничтожная мразь, пьяная, жадная, вороватая и завистливая, но Александрина держалась особняком, лишь к ночи украдкой пробираясь в свое логово. Она была бы, пожалуй, полностью счастлива среди всех этих тягостных несовершенств, будто бы умышленно созданных человечеством, когда бы не постоянные домогательства со стороны трактирного полового, жившего на той же лестнице. Почти каждую ночь, убедившись, что семья его спит, он пробирался к ее дверям, сопел за ними и возился, пытаясь войти в комнату, где молодая женщина изнывала от бессилия и отвращения. Иногда он встречал ее на лестнице и, дыша перегаром, спрашивал: «Нынче я приду? Да?.. Пожалеешь меня?» Но и это было бы ничего, ибо она научилась не обижаться на притязания мужчин, различая за их горделивыми могучими плечами хилые души и слабые тела. Пугал ее косой, затаенный взгляд жены ее домогателя, и Александрина женским чутьем угадывала в нем приближающуюся грозу.

Повзрослев, она стала понимать с большей ясностью, что живет лишь благодаря надежде на возвращение отца и что эта надежда, возгоревшаяся в ней в детстве, стала теперь ее плотью и кровью. Все эти годы она сочиняла в письмах к своему мифическому отцу длинную сказку о своей восхитительной жизни, и он в редких ответах восторгался ее удачливостью и благодарил бога за его великодушие к сиротке. До той поры он никогда ее ни о чем не просил, но, видимо уверовав в ее процветание и оказавшись в крайности, попросил ее написать государю слезную просьбу о помиловании старого, верноподданного и безвинного инвалида. А еще он впервые попросил у нее денег.

Проплакав над этой весточкой, Александрина послала ему все, что у нее было, а было у нее немного, пообещав вскоре выслать гораздо больше, и принялась сочинять письмо к государю. Письмо получилось длинное, полное отчаяния, и полетело в Петербург, слившись по пути с могучей стаей таких же длинных отчаянных и напрасных призывов к милосердию.

Теперь она с удвоенной энергией бросилась на поиски новых заработков, но деньги — такой предмет, который всегда торопится не к тем, кому он необходим крайне. Она недоедала и недосыпала, мокла под осенним дождем, мерзла в холода, но денег оказывалось почти столько же, сколько и было. Отчаяние охватило ее с новой силой, и стыд перед отцом сжигал и мучил, стоило лишь ей представить, как он там ждет, как надеется, что наконец и ему перепадет от ее фантастических удач.

Изнурительная борьба подорвала ее здоровье. Легкий румянец, покашливание, непрерывный озноб были дурным предзнаменованием.

Дом, в котором она жила, становился все враждебнее, возбуждаемый, очевидно, женой трактирного полового. Уже откровенные, как пение малиновок, раздавались по свистывания ей вслед, когда она пересекала темный двор и взбегала по грязной лестнице. И все чаще и чаще думала она об оставленном профессоре медицины, но, странное дело, когда думала, представляла себе не ночь, не постель, не отвращение к его объятиям, а доброе его лицо, и сдержанные его манеры, и тепло, и свет, и покой... А мифический отец ждал ее богатств, надеялся на милость государя, и, позабыв иной мир, кроме каторжного, он и представить себе не мог, что там, в ином мире, где проживает его благородная и удачливая дочь, могут быть грязные доходные дома, пьяные половые, чахотка и по свистывание вслед.

Когда она в редкие дни позволяла себе оставаться дома, чтобы отлежаться и отогреться, появлялась жена трактирного полового. Она распахивала дверь и, не переступая порога, долго и презрительно из-под рыжих ресниц глядела на бьющуюся в лихорадке Александрину. Пришлось дверь и днем держать на запоре, чтобы обезопасить свой дом от чужих глаз. Все складывалось так, что единственным выходом было бегство, но она оттягивала эту минуту, ибо берегла убывающие силы.

Однако, уж ежели гроза заклубилась, гром грянет непременно, и однажды поздним вечером, возвращаясь домой, она почувствовала на лестнице сильный запах дегтя. Пахло так, словно все жильцы этого проклятого дома по праздничному вымазали дегтем свои сапоги. На верхней площадке запах был уже невыносим, а когда она чиркнула спичку, чтобы справиться с замком, увидела на своей

двери громадное расплзающееся черное жирное пятно. Страх, брезгливость и обида охватили ее. Отвратительный запах душил. Она вбежала к себе, затворила дверь на засов, чтобы отгородиться от этого ужаса, но оскорбительная вонь дегтя в комнате даже усилилась, и при свете свечи она обнаружила и на внутренней стороне двери тот же черный растекающийся знак и на белой стене над своей кроватью. Даже на подушке и на одеяле лежали жирные плевки дегтя, и даже весь пол был окроплен чьей-то безумной злобной кистью. И это был уже предел, и, сдерживая рыдания, она собрала свои пожитки и покинула этот мрачный вертеп.

Отчаяние привело ее на Пречистенку, в знакомую квартиру профессора медицины. Он страшно обрадовался ее возвращению, целовал ей руки и плакал. Его потухший взор вновь возгорелся, согнутые плечи расправились... В эту минуту все в этом доме показалось ей неизменным, и впервые за много лет она вздохнула с облегчением, ибо теперь уже не боялась ничего. Она поселилась в прежней своей комнате, где с тех самых пор все сохранялось, как было, лежала на прежней кровати и думала, как она правильно поступила, откинув девичьи свои предрассудки, когда считала себя униженной его прикосновениями, как правильно поступила, вернувшись обратно к любящему и страдающему без нее человеку, и потому, когда открылась дверь и он вошел в халате и со свечой, она улыбнулась ему грустно, кивнула и закрыла глаза. Всю ночь они не спали, и ей даже показалось, что и она любит этого старого доброго своего любовника. Он узнал о ее мытарствах, о ее отце, целовал ее и плакал и пытался утешить. Ей начинало казаться, что она никогда не покидала его, что это ее дом и что профессор — единственный, на кого она может теперь надеяться.

Однако утром же она заметила в квартире резкие перемены, которых не видела вечером при встрече. Квартира выглядела потускневшей и заброшенной, горничной давно уже не было, мебель пришла в ветхость, кухарка оставалась еще по старой привязанности, просто не имея места, куда уйти. Дочь заметно подросла и с Александриной была холодна. Оказалось, что профессор давно уже отстранен от чтения лекций, так как с уходом Александрины пристрастился к вину, и лишь изредка теперь приглашался в частные дома в качестве врача, получая

скромные гонорары. Надежда на сытость, уют, тепло и денежную помощь отцу рухнула, но отступить было поздно и страшно, ибо одиночество страшнее нищеты, и Александрина вновь засучив рукава принялась бегать по урокам.

Их отношения упростились. Он уже не таился, приходя к ней на ночь и выходя по утрам из ее комнаты. Известие о ее болезни потрясло его, и, плача (теперь это случалось с ним часто), он поклялся, что вылечит ее, что ради этого пересилит себя, будет опять много работать, они поедут в Швейцарию и там, в этом раю, она почувствует себя вновь рожденной. Она верила ему, потому что хотела выздороветь и потому, что видела, как он ее любит. Но спустя несколько часов в тот же вечер он напился с каким-то отчаянным неистовством, и на следующий вечер тоже, и все последующие вечера. И, напившись, он вваливался в ее комнату, кидался к ней, требуя любви. Она пробовала его успокоить, усыпить, образумливая его, но он был упрям и настойчив. Она пыталась сопротивляться, вновь начав испытывать отвращение к его домогательствам, но он осиливал ее. По утрам он плакал, гладил ее трясущимися руками, называл себя мучителем и мерзавцем и расточал легкомысленные клятвы.

Тем временем на ее письмо пришел ответ, подписанный самим Бенкендорфом, в котором с холодной любезностью сообщалось, что государь при всей своей доброте не считает возможным помиловать опасного государственного преступника, ибо подобное помилование может выглядеть актом несправедливости по отношению к прочим отбывающим наказание преступникам, а посему следует смириться и ждать общих законных оснований.

Переборов невыносимую боль, причиненную этим известием, она решила отправиться в Петербург и броситься Бенкендорфу в ноги. Решение было твердым, но несчастный профессор умолял ее не уезжать и не бросать его одного, он рыдал, как дитя, обнимая ее колени, целуя ее руки, кричал в отчаянии, что он тоже имеет право на ее великодушие. Она жалела его и откладывала отъезд. Странно, но ее окаянный рок внезапно сжалился над ней, хотя и весьма жестоко, по своему обыкновению: в один из ранних весенних дней он толкнул пьяного профессора под колеса тяжелого экипажа, избавив его от страданий, а Александрина от его любви. Новый удар подкосил ее.

Болезнь разгорелась ярким пламенем. О поездке в Петербург нечего было и думать. Как раненый зверь торопится укрыться в своем логове, как перелетные птицы, устав от мытарств перелета, стремятся, напрягая последние силы, добраться до прошлогоднего своего гнезда, где они родились и окрепли, так и она, иссушаемая болезнью, вспомнила о своем детстве и отправилась в Калужскую губернию, в бывшую деревню своего отца, где, как она знала, проживала ее старая кормилица.

Действительно, все вокруг было таким же, как она помнила. И старая кормилица была жива и узнала Александрина. Она обрадовалась ей и поселила ее у себя в маленькой избе, где жила одиноко. Она поила Александрина молоком, всячески жалела ее, оберегала от мрачных раздумий. Молодая женщина гуляла в окрестностях, помогала старухе по хозяйству. Так прошло два месяца, и она под воздействием покоя, чистого воздуха и ласки начала приходить в себя. Былые ужасы и раны мучили ее все меньше и меньше, как вдруг совсем неожиданно пожаловал к ней молодой господин, оказавшийся сыном нынешней владелицы бывшего имения Жильцовых. Он держался с достоинством, говорил медленно, но Александрина ясно видела, что он волнуется. Слова его ударяли ее в самое сердце, ибо в них она снова слышала голос своей ненасытной судьбы. Он узнал, что она здесь, и счел своим долгом представиться. Долго ли она намерена пробыть в этих краях? Не имеет ли она каких-нибудь видов на их с маменькой имение? Она успокоила его, уверяя, что и в мыслях не держала ничего подобного. «Да и все это было так давно, что я ничего и не помню». — «Что ж, очень рад, — сказал он бесстрастно, — однако маменьку крайне волнует ваше длительное и непонятное пребывание в нашей деревне». Он учтиво поклонился и исчез, но теперь уже Александрина не нужно было предупреждать дважды. Она знала, что человеческая фантазия изощрена крайне и способна придумать нечто более значительное, чем вымазанная дегтем дверь. Это был сигнал, сигнал недвусмысленный, и она, обняв плачущую кормилицу, отправилась в Петербург.

Она была так угнетена всем происходящим с нею, что в течение первого дня пребывания в Петербурге ни разу не подумала о том, где находится. Лишь на следующий день, словно очнувшись, увидела вокруг себя северную

столицу. И тут она поняла, как долго и как напрасно тратила время в Москве вместо того, чтобы бороться с мрачными силами жизни, находясь здесь, ощущая спиною холодную, но твердую поддержку царственного петербургского гранита. Так она думала, готовя себя к последнему отчаянному поединку со всемогущим графом Бенкендорфом.

По приезде в Петербург она наконец подала прошение в III отделение с просьбой позволить ей посетить графа, а сама в ожидании ответа принялась устраивать свою жизнь.

К тому времени ей исполнился двадцать один год. Она была, как это говорится, в самом расцвете, да и надежда не совсем ее покинула. Болезнь, развивающаяся в глубине, не тронула ее красоту, легкий румянец делал ее еще более привлекательной, в больших серых глазах каким-то чудом сохранились спокойствие и тайна, и никто не догадывался, что бушевало в ее исстрадавшейся душе.

Она в эти дни особенно усердно молилась богу, прося его смилостивиться, быть ей великодушным заступником. И, наверное, ее молитвы были услышаны, ибо ей не пришлось долгое время подыскивать себе занятие. Казалось бы, совершенно случайно, что особенно ее поразило, она устроилась в дом к одной богатой вдове некоего статского советника, пожилой, лишенной родственников, праздной даме, в качестве компаньонки, или развлекательницы, или поверенной. Она читала вдове душеспасительные французские романы, гуляла с ней, выслушивала жалобы на жизнь и утомительные рассказы о ее замужестве с мелочами, с деталями, со всякими тонкостями, которые вдова хорошо помнила. Жизнь протекала однообразно, монотонно, без празднеств, но и без драм, что Александрина крайне устраивало. И вообще Петербург казался ей в первое время более сдержанным и ровным, более надежным и даже более участливым, нежели хлопотливая, суматошная, сумасбродная Москва со своим откровенным любопытством и горячий, бьющей через край безучастностью. Казалось, что никто ничем, кроме себя, не интересуется, и это было очень удобно и привлекательно для такого израненного человека, как Александрина.

Но так, к сожалению, продолжалось недолго, ибо один человек, оказавшись в соседстве с другим человеком, уже не может оставаться спокойным и сосредоточенным, а дол-

жен влиять, воздействовать, поучать и даже подавлять соседа.

«Вам нравится лето? — спросила вдова через месяц или два их совместного существования. — Странно, странно. Но согласитесь, что весна — лучшее время года. Да что с вами, моя милая? Как это можно сравнивать?» Затем последовало: «Вы пьете какими-то мелкими глотками, и у вас все что-то булькает... Привычка? Но это ужасно, это мне досаждают. Надо пить не так, а вот так...» И затем: «Почему вы не заплетаете косы? Ведь косы — это же лучше, чем то, что у вас». И на следующий день: «Я уверена, что коса вам была бы к лицу». И через день: «Вы считаете, что я неправа? Нет, коса — это украшение. Это известно каждому». И еще через день: «Я уже устала твердить вам одно и то же. И мне крайне обидно, что я хлопочу об вас, хочу, чтобы в а м было лучше, а вы...» И Александрина заплела косу. Вслед за этим последовало: «Вы ему нравитесь. Он очень достойный человек. Почему бы вам... что значит не склонны? Во всяком случае, вы могли бы быть с ним любезнее». И еще: «Да что с вами, моя милая? Я ведь не настаиваю на замужестве, поступайте как знаете, но отказывать ему неприлично...» И наконец: «Вы бы могли, наконец, прогуляться с ним, он вас не укусит». — «Мадам, — тихо, но твердо сказала Александрина, — это невозможно». Вдова обиделась и сказала, что Александрина слишком несносна. Александрина попробовала объяснить вдове, что у нее есть свои привычки и желания и что она не может носить косу, когда ей это не нравится, и пить чай крупными глотками и обжигать себе непривычное горло, и вообще она не может носить платье с таким количеством рюшей, на чем настояла в свое время мадам, если она помнит... На что вдова заявила, что она платит деньги и за свои деньги... «И потом, — добавила она, — вы кашляете».

И тотчас Александрине послышался отдаленный звон: это ее маленькая надежда разлетелась вдребезги по дубовому паркету чужого дома.

Деньги подходили к концу. Устроиться ей никуда не удавалось. Она вновь пыталась обращаться к богу, но он был глух к ее призывам. А тут еще появилось извещение о преждевременной кончине графа Бенкендорфа, и это означало, что наступает тьма. Удар следовал за ударом. Нигде не было видно ни малейшего проблеска. Но внезап-

но, словно в последнюю насмешку, ей было сообщено, что преемник графа Бенкендорфа готов ее принять. Задолго до назначенного часа она уже находилась в приемной графа Орлова. Волнение ее было столь сильно, что все вокруг казалось погруженным в туман, и она двигалась на ощупь. То, что ей говорили, западало в сознание, но она этого не понимала, а также не видела и того, кто с нею говорил, хотя смотрела на него большими серыми, широко распахнутыми глазами, и даже понимающе кивала в нужных местах, и даже что-то такое произнесла густым, цыганским голосом нараспев. Когда она вышла и направилась по набережной Фонтанки после разговора, ей все казалось почему-то, что разговор этот еще предстоит, и она, как урок, повторяла слова, которые должна будет сказать графу. Наконец она вышла на Невский. Был солнечный майский день. Публики было много. Наряды отличались пестротой. И тут она отчетливо вспомнила весь разговор и поняла, что ее несчастный отец, которого она никогда не видела, скончался в сибирской ссылке. Медленное, ленивое, благополучное шествие, открывшееся ее взору, так не соответствовало всему, что она ощущала в эту минуту, что ей захотелось закричать на них, затопать ногами, но она лишь ускорила шаги и почти побежала, сама не зная куда. Ударил гром, хлынул ливень. Яркая, словно молния, мысль озарила ее: все кончено и спешить некуда. Тогда она остановилась, постояла и медленно двинулась в обратном направлении. Вместе с ливнем на проспект обрушился ветер. Легкое и обманчивое весеннее тепло исчезло. Ветхое, промокшее насквозь платье холодило еще пуще. Но Александрина ничего этого не чувствовала и, наверное, так бы и шла, как вдруг тяжелая карета заторопилась к ней, спасая, и она простерла к ней руки и тут же очутилась в объятиях Мятлева.

20

Экипаж подкатывал к дому. Ветер становился пронзительней. «Господибожемой,— подумала Александрина,— хоть бы не останавливаться!» «Хоть бы не останавливаться...» — подумал Мятлев, прижимая к себе ее худенькое податливое тело.

Старый дом встретил их торжественной тишиной и цер-

ковным полумраком, в котором, как в тумане, колыхались бессловесные мраморные изваяния, сплетаясь, падая, единоробствуя, исповедуясь друг перед другом на языке жестов, не замечая вошедшей гостьи, восхищенно уставившейся на них. Тут Мятлеву снова пришлось применить легкое насилие, ибо молодая женщина тотчас затерялась среди статуй, поглаживая их, обнимая, прижимаясь к ним щеками, всем телом, и через мгновение ее уже трудно было отличить от них, стройную, гибкую, с рассыпавшимися по плечам волосами, подобную Эрифиле, о которой сказал поэт: «Пленницу эту в дом введи с приветом... В ярме же рабском зложелателен узник...» Он окликнул ее, затем попытался поймать, но она ловко ускользала с тихим смехом и скрывалась за обнаженными соплеменниками. Дом словно вымер, прирученный Мятлевым к невозмутимому безмолвию, и лишь они вдвоем мелькали в этом мире, никем, кроме них, не населенном. О, этот мир, не требующий твоих страданий, не жаждущий твоей покорности, не настаивающий на твоём рабстве! О, этот мир, исполненный благодати и доверия! Отзовись...

Наконец ему удалось настичь ее именно в тот момент, когда легкая стрела беззвучно вошла в сердце Минотавра и он изогнулся от боли, повернувшись к людям пустыми страдающими глазницами, словно предупреждая, что обольщения не менее опасны, чем смертельные раны, наносимые судьбой.

— Александрина,— сказал Мятлев, стараясь ее увести,— скорей, скорей. Что это вы расшалились? (Она кашлянула.) Вот видите?..

— Куда мы идем?— спросила она, слегка упираясь.— Опять в трактир?

Они поднялись на второй этаж. Она стала покорной, словно погасла. Уже ничто не занимало ее. Он вел ее за руку, как слепую, через пустынную залу, через вымершую гостиную, по лестнице, ведущей в его крепость. Внезапно она остановилась. Перед ними на площадке третьего этажа, учтиво приподняв старомодный поношенный цилиндр, с легкой улыбкой Одиссея на круглом, исполненном достоинства лице стоял Афанасий, подобный богу гостеприимства. Мятлеву пришлось по сердцу эта молчаливая сцена, он ввел свою даму в комнату и усадил ее в кресло. Она пребывала в оцепенении.

Тем временем бог в образе Афанасия ловко, но с до-

стоинством принялся оборудовать жилье, где князь вознамерился устроить Александрина Жильцову, то ли подпав под обаяние ее красоты, то ли мучимый жалостью к несчастной жертве неумолимого рока.

Комнату свою со всем, что в ней имелось, он предоставил в полное ее распоряжение, страстно надеясь в душе, что она останется надолго и тогда получит настоящее жилье, приличествующее ее красоте и страданиям. Для себя же велел обставить библиотеку.

Повару приказано было постараться, и в недрах дома, недоступных простому глазу, закипели уже почти остывшие страсти.

Покуда князь отдавал распоряжения, Александрина, несколько прибодрившись, привела себя в порядок, выпила горячего молока, поданного Афанасием, затем повалилась в приготовленную для нее постель и мгновенно уснула.

Мятлев, затаившись, лежал у себя в библиотеке с томиком Августина, раскрытым на случайной странице, и старался вникнуть в смысл прыгающих перед глазами строк. Происшедшее с ним нынче было, как снег на голову, внезапно и неправдоподобно. Сначала все это походило на игру, странную и нелегкую, требующую напряжения, с фантастическими правилами и неведомыми условиями, однако вскоре выяснилось, что игры-то и нету, и есть женщина, с прекрасным лицом, кричащая от боли и маленьким кулачком бьющая себя по колену, затем этот экипаж и ее содрогающееся тело у вас в руках, горячее, молодое тело у вас в руках, влажные, слипшиеся ее волосы у вас на плече и щеке, и горячее тело у вас в руках... «Грудь заслонить от ветра...» Да, и маленькая горячая упругая грудь, и ваша ладонь, ощущающая ее сквозь тонкое, ветхое, холодное и сырое платье... Какая же это игра? И «господибожемой, господибожемой...» как призыв о помощи... Какая же это игра? Да игра ли это?.. Но молодая женщина с горячим гибким телом спит, разметавшись, за дубовой дверью, в пяти шагах отсюда, что само по себе не должно удивлять, но не удивлять не может, ибо если ее молодое горячее тело было у вас в руках, горячее гибкое тело и волосы, пахнувшие дождем... «Сомнением, о мать, смутился ум...» Однако неужели вы в состоянии войти туда, к ней, в халате и со свечой, бормоча кавалергардские пошлости?.. Сначала это походило на игру, игру в спасе-

ние, но после того, как ее молодое горячее тело... А что она скажет, увидев вас в халате и со свечой? Но если она позволила себя обнимать, и приехала к вам, и легла в вашу постель в вашей ночной сорочке, и лежит, разметавшись, в вашей ночной сорочке в пяти саженьях отсюда... Э-э-э, да что вы, в самом деле, с вашими сложностями! Она не спит, а молча презирает вас, как презирала вас Анета Фредерикс... И, конечно, теперь, когда минуло уже несколько часов и она махнула рукой, а вы вдруг являетесь в халате и со свечой, уж тут, знаете ли... «Не знал отец, что дочь его царевна от Феба носит бремя...» И Мятлев даже присвистнул в смятении.

Александрина проснулась, услышав свист. Она не сразу поняла, где находится, но потом вспомнила. Через полуоткрытую дверь из библиотеки пробивался желтый колеблющийся свет.

Конечно, ее положение двусмысленно, но в чьих глазах? И он хочет, чтобы она жила в этом трехэтажном деревянном дворце и была здорова и счастлива, этот князь, господибожемой, с цепкими руками и виноватой улыбкой. Когда он заслонил ее от ветра, как серый аист своими нервными крыльями упавшую с неба аистиху, разве уже тогда она не знала, как все должно было случиться? Разве она не знала? Разве не скребся о дверь и не пробивал головой стену пропитанный сивухой трактирный половой? И разве, протянув ей руку помощи, печальный профессор медицины мог пренебречь ее юной благодарностью? И разве не она, благоговая, приникала к своему несчастному студенту? И разве не знала, чем добр случайный офицер на Пречистенском бульваре? И когда она заглянула в библиотеку, где ему была приготовлена постель, разве не ей стоило большого труда не рассмеяться, ибо его безупречное притворство было как на ладони?.. И разве она не знала, что, стоит ей упасть в теплую княжескую постель, и он войдет в халате и со свечой? И, проваливаясь в тяжелый сон, успела помолиться, чтобы этого не было, не случилось, не произошло, чтобы сейчас это не произошло, потом, потом, не нынче... господибожемой... разрушение... долг... красота... неминуемость... жар...

Что это был за жар? Жар болезни или жар неизбежности, вечный, неугасимый жар, поддерживаемый, словно жрецами, ее наивным студентом, и одичавшим в одиночестве профессором медицины, и франтом в зеленом мунди-

ре, и скотоподобным трактирным половым; вечный жар, презирающий стыд, ниспосланный небом, восхитительно чистый и оскверненный зловонием и грязью, осененный дрожащим сиянием догорающей свечи, не знающий высокомерия, но высокопарный, придающий обнаженным телам божественное совершенство, опаляющий нас на протяжении всей нашей короткой, счастливой, отвратительной, горемычной и царственной жизни, покуда не останется от нас холодная капелька воска... Что же это было?

Свист не повторялся. Недоуменная тишина расплывалась по комнате. На низком столе громоздился остывший ужин. От изразцов голландки тянуло райским теплом. Она вскочила с постели, взмахнула широченными рукавами его ночной сорочки, бесшумная, словно валькирия, пересекла комнату и заглянула в библиотеку. Он спал, подложив руки под голову, выронив бесполезную книгу.

21

«18 июля 1846 года

...Здоровье моей Александрины лучше, и доктор Шванбах весьма теперь доволен. Да я и сам вижу, что она расцвела. Угроза, кажется, миновала. Однако доктор сообщил мне все это, как обычно, с выражением грусти в саксонских глазах. Где-то в глубине души хитроумный эскулап все-таки что-то утаивает. Мой намек на желаемую отставку вызвал там целую бурю пересудов, и толков, и недоброжелательных восклицаний. Неужели я опять должен следовать общим правилам, прожив большую половину жизни? Вот так мы губим все лучшее в себе, все самые прекрасные порывы наших душ, служа молве, подчиняясь приличиям и чужим вкусам. Моя богоподобная сестра сколотила целую партию из подобных себе и, пользуясь своим положением, возбуждает против меня общественное мнение. Я уверен, что дойдет черед и до Александрины, и тогда гроза будет ужасна. Сестра уже разговаривает со мной на «вы».

«20 июля...

...Из Михайловки пришли неутешительные вести. Большой дом за четыре года подгнил и осел, требует чуть ли не перестройки. Малый давно уже ветхий. Хотя, если его

хорошенько промыть да просушить, мы с Александриной вполне могли бы обойтись летом, а там, глядишь, и большой будет готов. А там, глядишь, может, и сокроюсь от твоих пашей... Я распорядился, чтобы большой дом привели к осени в порядок. Управляющий клянется, что так оно и будет. Значит, следует ожидать к следующему лету, не раньше. Я рассказываю все это Александрине и вижу в ее глазах испуг. Она боится стать княгиней Мятлевой. Она хочет быть со мной, но боится стать княгиней Мятлевой, это ее пугает. После всего, что она пережила, она считает себя недостойной ни этого пустого титула, ни меня... Впрочем, она также боится несбыточности этого. Она не хочет крушения иллюзий! Ей все кажется, что мой Рок, сопящий, серый, бесформенный, топчущийся во мраке, неумолимый, требующий жертвы, что он не только мой, но и ее, и что он не позволит ей быть по-настоящему счастливой».

«26 июля...

...Она была права: кашель внезапно усилился и снова появился небольшой жар. Упрямец Шванебах твердит, что это летняя духота тому виною и что если выехать в Михайловку, то природа окажет благотворное воздействие. Весь день прошел в хлопотах, но добиться ничего не удалось. Вопрос с отставкой остался открытым, а время идет, и Петербург — не лучшее место для поправления здоровья. Чтобы отвлечь Александрину от грустных раздумий, которым она предается тайком от меня, и чтобы несколько разнообразить хотя бы на первое время ее туалет, я предложил ей ехать в Гостиный Двор за покупками. Она совершенно неожиданно обрадовалась, как девочка. С отчаянной поспешностью мы полетели туда. Она закружилась среди материй, и лент, и кружев, выбирая, примеряя, отвергая, ликуя. Затем внезапно охладела ко всему. От духоты ли магазина, но ей стало плохо. Потом ей уже все было немило, и она ничего не хотела выбирать, и мне стоило большого труда убедить ее взять хоть что-нибудь, и я пошло шутил что-то такое насчет моих ночных сорочек, которые пришли в ветхость. После обеда случилось маленькое происшествие. Болван Афанасий имел как-то неосторожность рассказать ей о проклятых привидениях, которые населяют наш дом. С тех пор я замечал, как она по вечерам прислушивается к звукам

дома, а нынче прибежала в библиотеку, уверяя, что видела, как некто в белом возник перед нею и растаял. На ней не было лица. «Поменьше слушала бы этого идиота», — сказал я. «Господибожемой, я же не утверждаю, что оно было, — сказала она, пытаюсь улыбаться, — я же не утверждаю...»

«28 июля...»

...Управляющий предложил привезти Александрину в имение, чтобы она пожила там, покуда я здесь все улажу. Она наотрез отказалась ехать без меня. Я этому про себя обрадовался, хотя бурно негодовал, бушевал и всячески лицемерил. Она, конечно, все это понимает, но прощает меня. «Господибожемой, как он меня любит!» Вчера был Амилахвари. Она его сразу очаровала, да иначе и быть не могло: она действительно трогательна и прелестна, а он готов пригреть любую раненую птицу, а уж такую, как она... Она меня спросила: «Тебе не кажется иногда, что я угождаю тебе ради того, чтобы жить в сытости?» — «Опомнись, Александрина, — сказал я, — видит бог, я ничего такого никогда...» — «Какой странный, — пропела она, — он думает, что я не могу бояться нищеты и ради этого... Да кто ему сказал? Как будто я... Да я же тебе рассказывала! Я ведь тебе рассказывала, я тебе обо всем рассказывала...» И тому подобное... Кстати, о позавчерашней истории с привидениями. «Я же не утверждаю...» — сказала она. Тогда я позвал Афанасия. Он явился в каком-то дурацком шарфе на шее, весь нашпигованный Вальтером Скоттом, лоснящийся от сытости, но с благородной синевой под глазами. Я выговорил ему за то, что он распускает всякие вздорные слухи и вот напугал Александрину. «А как же, — с достоинством ответил он, — не я придумал. Исторические, если позволите, легенды». Чтобы убедить меня, он принес обрывок старой простыни, утверждая, что сам однажды отхватил этот кусок от покрывала привидения, пытаюсь задержать его. «Оно, если позволите, совсем бестелесное, не ухватишь. А покрывало вот тонкого полотна». Все это, в общем, произвело на Александрину удручающее впечатление...

...Звуки трубы, полусвет, полутьма — бесчинство природы или человеческое создание, горькое, как сам создатель?»

...Отвратительный день... Богоподобная моя сестра не замедлила свалиться на нашу голову именно в тот момент, когда Александрина отдыхала после обеда. Бедная девочка, наслышанная о фрейлине, вскопчила, начала судорожно приводить себя в порядок, но сестра сделала вид, что не замечает ее, и прошла ко мне в библиотеку. У нас состоялся следующий разговор.

Она. Я все знаю. Можете не оправдываться.

Я. Я и не думаю оправдываться. Мне не в чем оправдываться. И потом, Лиза, ты могла бы врваться в мой дом не так стремительно.

Она. Помимо того, что вы своими выходками взбудоражили весь Петербург.

Я. Тебе бы следовало сначала...

Она. ...Я уже не говорю о дворе, вы позволили себе унизиться настолько, что привезли даму из трактира...

Я. Что ты говоришь, опомнись!

Она. ...помимо этого вы тащили ее на виду у всех, и весь Петербург теперь открыто говорит об этом... Вы уже так скомпрометировали себя....

Я. Послушай, Лиза...

Она. ...что восстановить свою репутацию вам теперь не удастся, но почему вы...

Я. Не оскорбляй меня... Выслушай меня...

Она. ...почему вы не думаете обо мне и репутации нашей фамилии?! Вы превратили дом в трактир и сами выглядите как прислуга, даже ваш камердинер более *comme il faut*¹, чем вы...

Я. Дело в том, что я не желаю, чтобы кто-нибудь...

Она. Вы могли бы, в конце концов, снять себе квартиру для свиданий, а не превращать в публичное зрелище...

Я. ...вмешивался в мою жизнь! Я, кажется, уже дал понять и тебе и остальным...

Она. ...публичное зрелище ваши недвусмысленные отношения неизвестно с кем. Когда-нибудь вы очнетесь, но будет поздно... Но будет поздно! Вы не смеете, наконец...

¹ Порядочный, элегантный (франц.).

Я. ...что намереваюсь поступать по собственному усмотрению...

Она. ...приносить в жертву вашему эгоизму наше положение в обществе. Я вынуждена буду...

Я. ...нию, черт возьми!..

Она. ...прибегнуть к помощи моих друзей, чтобы они образумили вас и, если понадобится...

Я. Передайте вашим друзьям...

Она. ...принудили вас вести приличный образ жизни. От вас отвернулись... Вас не посещают... Вас презирают... Вы этого хотели?.. Мне даже страшно подумать...

Я. Передайте вашим друзьям...

Она. ...что будет, когда государь в довершение ко всем огорчениям, которые вы ему причинили...

Я. Передайте вашим друзьям...

Она. ...вы ему причинили, услышит еще об этом!

Я. Передайте вашим друзьям...

Но она кинулась из библиотеки, понимая, что Александрина могла все расслышать, и рассчитывая добить ее окончательно всем своим разгневанным обликом. Я кинулся следом, но опасения мои были напрасны. Александрина стояла лицом к окну и даже не шевельнулась, когда злобешая Кассандра демонстративно простучала каблуками у нее за спиной и не менее демонстративно хлопнула дверью.

Я кинулся следом, чтобы выкрикнуть ей на прощание что-нибудь изысканное и запоминающееся. Оказывается, в вестибюле ее дожидались. Это была графиня Румянцева, подруга Кассандры, двадцатитрехлетняя обольстительница наших героев. Невероятно, чтобы эта особа, подобно горничной, топталась внизу! Какая это была ничтожная дамская демонстрация...

— Наталья Андреевна! — картинно поразился я. — Вы-то какими судьбами? Да почему же не поднялись?..

Графиня была очень хороша собой, а в полумраке вестибюля просто обворожительна. Но я знал, что она неумна, и это было написано на ее прекрасном лице. Она не ответила мне, лишь грациозно тонкими пальчиками прикоснулась к локону, сумев при этом выразить мне свою неприязнь, но взгляд не отвела. Я чуть было не рассмеялся, но от этой окончательной бестактности удержало меня что-то жалкое, почти коровье, мелькнувшее в ее изумительных глубоких глазах.

Я позабыл, что минуту тому назад пикировался с Елизаветой Васильевной. Передо мной было только два этих темных глаза, молящих о тайном сострадании.

Она медленно повернулась и пошла за подругой к выходу. Я стоял и смотрел ей вслед, словно впервые видел. Петербург еще ни в ком не знал столь безукоризненных форм...»

«2 августа...

... отвергают всех, кто мыслит иначе, чем они. Мало того, они пытаются их подавить высокомерием, презрением, даже силой. Это след их пятерни на челе Александрины. Даже голубой фон Мюфлинг позволил себе быть снисходительней. Сестра моя, ты притворщица! Твоя безупречность кровожадна... Александрина никак не справится с недугом, который усугубило посещение фрейлины. Доктор Шванебах отводит глаза. Бедная девочка лежит и, когда я вхожу, улыбается, и слегка кивает мне с видом заговорщицы, видя мое вытянутое от огорчения, лошадиное лицо... А я приношу ее в жертву собственной нерешительности. Она меня ввергла в сомнение, чертова Касандра! Если мы с Александриной укатим в Михайловку именно теперь, они непременно придумают какую-нибудь пакость. Благородный Амилахвари, сострадая, посоветовал удрать куда-нибудь подальше, но ей пока запрещено подыматься... Да и куда подальше? Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей?.. В том-то и дело, что «быть может», а ведь может и не быть. Вчера я подвел Александрину к окну, чтобы вместе полюбоваться на сгущающиеся сумерки, как вдруг увидел остановившуюся за оградой коляску. Из нее вышел голубой мундир и последовал в дом. Через минуту Афанасий доложил, что меня спрашивает поручик Катакази. Я спустился к нему с дурными предчувствиями, и мы разговаривали прямо в вестибюле. Всем своим видом я дал ему понять, что не расположен тратить время на официальные разговоры. Но его это не смутило. Он сказал мне, что в жандармском управлении обеспокоены известием о проживании в Петербурге без видов на жительство некоего господина Труайя. Я выразил недоумение. «Тем более, князь,—сказал Катакази,— что, по поступившим сведениям, господин Труайя проживает в вашем доме». Я собрался было сказать ему резкость в ответ на его самоуверенность, но

тут же вспомнил таинственного человека в башлыке, которого зимой мистифицировал Афанасий, и, не сдержавшись, расхохотался. «Очень сожалею, — сказал я, — очень сожалею». Лицо его не дрогнуло, и он удалился... «Что так обрадовало тебя?» — полюбопытствовала Александрина, до которой донеслось мое невольное похихивание. Я рассказал ей, смеясь, глупую зимнюю историю, но она восприняла это слишком всерьез, и я с опозданием спохватился. Наконец я догадался, что напоминают мне ее глаза! Они напоминают мне глаза пропавшего господина ван Шонховена».

22

Напряжение, поселившееся в трехэтажном мятлевском доме, не убывало ни на минуту, и чем сильнее становился жар болезни Александрины, тем чаще содрогалась она от кашля, тем неистовее метался по дому Мятлев с успокоительной улыбкой на растерянном лице, тем это напряжение становилось все заметнее и мучительнее.

Во-первых, он распорядился нанять двух горничных к Александрине; два бессловесных создания, одно рыжеволосое, по имени Аглая, другое с черной косой, по имени Стеша, закружились по дому, подхваченные ожесточенным вихрем, подавая, убирая, причесывая; кланяясь, возникая в нужную минуту и исчезая, заставив Афанасия сменить походку увальня на торжественный шаг мажордома, вызвав на его круглом лице выражение глубокой тайны и снисходительности, особенно когда он успевал поудобнее ухватить в коридоре одну из зазевавшихся девушек.

Во-вторых, в доме застучали молотки, зазвенели пилы, к ужасу доктора Шванебаха; со второго этажа, где срочно приводились в надлежащий вид три комнаты, предназначенные Александрине, поползли вместе с шумом душные ароматы свежей стружки, кожи и красок — так Мятлев единоборствовал с общественным мнением и утверждал в его глазах свои серьезные намерения в отношении Александрины; и, хотя доктор Шванебах пытался доказать, что все это не способствует выздоровлению бедной больной женщины, безумие, охватившее Мятлева, было непреклонным.

В довершение ко всему под влиянием разговоров с Александриной о бездушном неотвязном роке, преследующем ее, Мятлеву и впрямь начинало казаться, что он и сам не только допускает мысль о существовании этого злодея, но и ощущает его, и даже видит, как между ними двумя, между их любовью и страданием пирует и бесчинствует этот прожорливый вымогатель, как он развязно живет, как оглушительно хохочет, как дерзко и самоуверенно потешается над слабостью своей жертвы. Все тот же таинственный сопящий, топчущийся на одном месте бестелесный и отвратительный гений, рожденный нашими страстями. «И все, кто добры со мной, все они страдают от него», — говорила Александрина.

Этот ежедневный поединок заканчивался обычно поздним вечером, когда больная, устав за день, погружалась в беспокойный сон, и тогда Мятлев, выпив водки, усаживался у распахнутого окна, вдыхая ароматы летней ночи, отупевший от борьбы.

Казалась ли ему эта борьба напрасной? Не знаю. Он был не очень откровенен в эти дни, а на прямые вопросы отвечал усмешкой. В сражении за жизнь дорогого человека скепсис и мольбы — плохие помощники. Лишь неистовство и любовь способны творить чудеса, хотя, правда, эти чудеса зачастую бывают кратковременны.

Внезапно, несмотря на все предостережения доктора Шванебаха, жестокая пятерня, вцепившаяся в горло Александрины, разжалась и молодая женщина, проснувшись однажды утром, почувствовала себя выздоравливающей. Через некоторое время ей было позволено встать, а затем в один из прекрасных дней конца июля большой старинный овальный стол Мятлевых был приготовлен к обеду на открытой веранде, выходящей в парк с задней стороны дома. Мы с доктором уже находились возле него, когда скрипнула стеклянная дверь и Мятлев вывел Александрину. Она была восхитительна в новом платье светло-коричневого шелка. Легкая мягкая шаль покрывала ее острые плечики, возвращая им утерянную округлость. Мне показалось, что я вижу слезы в ее глазах, но, взглядевшись, понял, что ошибся. Она улыбалась с детской непосредственностью, чувствуя себя окруженной друзьями. Она напоминала маленькую девочку, которой впервые было позволено обедать за взрослым столом. Я давно уже не видел Мятлева таким торжественным и спокойным. Он

подавал знак, и стол словно ожил. Звон рюмок и бокалов, легкое летнее журчание вина, аромат кореньев в супе, рассыпчатое тесто крошечных пирожков, красноватая кожица телячьего жаркого, фантастические цвета подливок и соусов, сверкание тяжелых серебряных приборов с княжеской монограммой — все это перемешивалось, звеня, дрожа и благоухая. Лакей неторопливо разливал суп.

Казалось, ну чего еще? О чем можно мечтать после всего, что свалилось на их плечи? Но, приученные жизнью к превратностям и к мысли, что бессмертие — не их удел, эти, сидящие за столом, с ястребиной зоркостью присматривались друг к другу, не упуская ни одного жеста, ни случайного вздоха, в которых могло бы сквозить хоть малейшее подтверждение печальному несовершенству их судеб и кратковременности земного существования.

Александрина несколько раз прижимала худенький кулачок к вырезу платья, Мятлев ел преувеличенно спокойно, словно в ожидании выстрела, доктор Шванебах был рассеян и несколько раз подносил ко рту порожнюю ложку. И только слова, произносимые за столом, не выдавали сидящих. Спасительные звуки речи заглушали всякий непрошенный вздох, а смысл сказанного служил ширмой, за которой таились сомнения.

— А почему бы нам не побывать в опере? — спросил Мятлев. — Теперь все сходится так, что нам надо развлекаться.

— Господибожемой, — засмеялась Александрина, зная его отвращение к выездам и публичным развлечениям, — я ни разу не была в опере! За всю свою жизнь... Но ведь теперь лето...

— Доктор, — сказал Мятлев и выпил водки, — вы благословляете?

— Благословлять — не моя профессия, — сказал доктор Шванебах, глядя в сторону. — В опере смрад. Погуляйте по парку или съездите на острова. Впрочем, какая опера летом?

— Тем лучше, — согласилась Александрина, — теперь, после того, как я познакомилась с княжной Елизаветой Васильевной, — она слегка кашлянула, — с княжной Мятлевой, это было бы, наверно, не очень пристойно... Да? Не очень пристойно? Если бы мы появились в опере...

— Опера вам не грозит, — сказал я. — Сейчас лето. Если, правда, в Царском...

— Да нет же, — сказал Мятлев и осушил рюмку, — при чем это? Действительно, четыре часа в духоте... Вот что... Там декольтированные лисицы, медведи в эполетах, бородатые зайцы в тужурках на галерке... Ах да, ведь лето... Ну, может, и в Царском. Но там такая безупречность, что нас прогонят... Тебе в самом деле не хочется?

— Не хочется, — сказала Александрина твердо, без сожаления.

— А то мы можем пренебречь советами доктора... — И он осушил еще одну рюмку. — Да, как же насчет Михайловки?

— Теперь, я думаю, можно, — сказал доктор Шванбах, глядя в сторону, — через недельку.

Мятлев наполнил новую рюмку и подмигнул Александре. Она ему улыбнулась печально.

...Помнишь ли труб заунывные звуки,
брызги дождя, полусвет, полутьму?..

Какие по отдельности нескладные, вялые слова, а в целом это страшный эпизод из чьей-то жизни, и от звучания этих слов избавиться нельзя... «...полусвет, полутьма...»

Веранду окружала часть парка, превращенная искусными садовниками в разросшийся и торжественный сад с красными дорожками, с зеленой лужайкой, уставленной белыми скамьями. Во имя Александрины создавали свои благоухающие творения мастера, благополучно единоборствуя с природой. В белом, уже изрядно поношенном полуфраке с княжеского плеча, но тщательно отутюженном, с невероятным каким-то шарфом на шее, круглолицый и кривоногий, с ореховой тростью в руке, Афанасий медленно кружил в некотором отдалении от веранды, с точностью определяя именно такое расстояние, которое позволяло ему не быть свидетелем господской беседы и одновременно в нужный момент улавливать любые желания князя. Его медленный отрешенный танец как нельзя более соответствовал духу, царившему за столом; духу, выражавшему себя не в торопливых, беспомощных и как бы случайных фразах, а в сдержанных, напряженных движе-

ниях, в ускользящих взглядах и улыбках, с напрасным усердием пытающихся скрыть печаль.

Чем чаще и чем ненасытнее припадал к рюмке Мятлев, чем грустнее была вспыхивающая на лице Александрины благопристойная улыбка, чем сильнее отводил в сторону глаза беспомощный доктор Шванебах, тем четче, но и сложнее был рисунок танца, исполняемого Афанасием, тем быстрее и энергичнее становились его движения, подстегиваемые лихорадкой, возраставшей за овальным столом.

— В конце концов, при таком рвении, — сказал доктор Шванебах Мятлеву, глядя на кривоногого камердинера, плывущего по красной дорожке, — при такой энергии и целеустремленности вы, я убежден, добьетесь своего, и они вынуждены будут принести вам свои извинения...

— Ха, — усмехнулся Мятлев, — вы обольщаетесь, господин Шванебах. Вы обольщаетесь, представляя себе, что они и могут поступиться хоть капелькой своих причуд... нет, я не то сказал — своих привилегий, нет, своих страстей... своего бешенства... Сумасбродства... — Он отхлебнул из рюмки. — Хотите знать, что отвратило меня от них? Скука, доктор... Мой мозг высыхал от общения с ними, я это чувствовал... от общения с ними мой мозг... это вам хорошо: вы эскулап и вы переполнены профессиональными тайнами... вы за ними скрываетесь, как за каменной стеной... А вы говорите... — Он допил водку и потянулся за графинчиком. — Вы знаете их поодиночке, а я всех вместе... Для вас они носители недугов, а для меня одно чудовище... один большой злодей. И я откупаюсь от них вот уже большую половину своей жизни и отбиваюсь как могу, и мое сердце уже не вмещает всей боли и всех могол...

Это все случилось с ним в один год. Сначала пуля сразила его товарища, и тот лежал, уже чужой, уже остывший, на холодном камне, распластавшись, словно летел со скалы, обиженно поджав губы; затем его похоронили, увезя на родину, но Мятлев похоронил его в своем сердце, усвоив, чем оканчиваются попытки навязать своре собратьев свои собственные пристрастия. Тот погибший товарищ, тот коротконогий гусарский поручик с громадным лбом гения и с отчаянием беспомощности в недоумевающих бархатных глазах, с неприятными, задевающими манерами злого ребенка, раздраженный завистью

и потому упорно презирующий все вокруг и страдающий; тот, чьи кровавые капли были перемешаны с крупными каплями пота, из которых родились, выплеснулись, выкрикнулись проклятия, заклинания, молитвы, слова, которые были под стать разве что Пушкину, он был похоронен в сердце Мятлева, где уже были похоронены многие другие, удостоившиеся в прошлом чести висеть, быть приставленными к стенке, гнить в рудниках, разбивать головы о двери казематов. И от этого сердце было разбухшим, но еще и от мысли, что коротконогий гусарский поручик с простоватостью пастуха лез на рожон, спотыкаясь, падая, вместо того, чтобы откупиться, и не смертью, а всем, чем угодно: притворством, деньгами, слепотой... Так вот, сначала было это, а после сражение, нет, короткая случайная стычка с горсткой загнанных в ущелье, обезумевших бритоголовых горцев, и твердая уверенность, что меткость, храбрость и ненависть к этим умолкнувшим за камнями смертникам — это и есть наивысшая точка твоего предназначения и главный смысл всего сущего, хотя и это было звериным безумством, но безумством не отчаяния, а холопского самодовольства. И вот они нажимали послушные курки своих проржавевших ружей — и те и эти, и те и эти — до тех пор, пока пуля Мятлева не погрузилась в горячий живот бритоголового врага, и он видел, как тот, скорчившись, падает за камень, и слышал визгливые проклятия на незнакомом языке, и затем чья-то ответная пуля, шипя, ударила Мятлева, и он опрокинулся, успевая ощутить, что эта громадная грязная пуля рассекла его пополам, вырвала у него внутренности и расшвыряла их по всему ущелью.

В бреду на лазаретной койке, откуда боль была невыносима, ему мерещилось одно и то же: скучная дорога в горах и он с невыносимой болью движется по ней к спасению, но силы оставляют его. Осталось несколько шагов, а там чья-то милосердная рука вырвет боль из его тела... но он лежит на дороге, беззвучно разевая рот... Он лежит на дороге, а рядом стоит понурый маленький ослик, запряженный в маленькую тележку, и грустно высматривает вокруг траву, но кругом все голо... Голодный, он не повезет, не тронется с места... И тогда Мятлев в отчаянии, с криком вырывает из своего живота и из своей груди сочные пучки густой альпийской травы и скармливает их ослику, и ослик, медленно жуя, медленно тащит тележку,

на которой лежит Мятлев и вырывает, вырывает из своего тела весенние стебли и подносит их к пересохшим губам животного...

— Нет, господин Шванебах, — сказал Мятлев, — вы никогда не установите истины, ибо она вне ваших возможностей. Хуже другое, доктор, — сказал он с тоской, — даже вы не можете определить природу моего недуга, и никто... Вы утверждаете, что это последствия ранения... хорошо, допустим... Но согласитесь, милый доктор, что от раны в бедро не может возникнуть желание уползать в нору, и пить водку, и сорить деньгами... — Он рассмеялся. — В этом есть нелепость, а?.. Нет, вы представьте: какой-то грязный разбойник всаживает в меня свою пулю, а я... и это... Нет, это невероятно!.. Наследственность? Но мой отец был здоров как бык, а моя богоподобная сестра решительно ничем не страдает, если не считать ее излишней приверженности к этикету. И вы, господин Шванебах, никогда не сможете установить истины, ибо она вне сферы ваших представлений о человеке... — И он сделал движение, будто вырвал траву из своей груди.

Афанасий стремительно кружился вдалеке на зеленой лужайке, резко наклоняясь к подножиям деревьев, будто проверял, а надежны ли корни.

— Господибожемой, — простонала вдруг Александрина, — все это оттого, что каждый считает себя вправе распоряжаться мной, оказывать мне благодеяния!.. Или велеть! Знать!.. Мазать дегтем... — она раскашлялась, — господибожемой... хватать за руку...

— Вам нехорошо? — наклонился к ней Шванебах.

— Мне прекрасно!

— Как думаете, доктор, — оборотившись к Шванебаху, спросил Мятлев, — а что, если воздвигнуть вместо чугунной ограды глухую кирпичную стену в два моих роста?

Обильно смоченная туалетной водой голова доктора Шванебаха поворачивалась в сторону сада, куда наконец подбородок не коснулся плеча. И Мятлев, стараясь заглянуть ему в глаза, наткнулся на волосатое розовое ушко, которому и улыбался и от которого ждал ответа. Но оно, розовея все стремительнее и ярче, ускользало от князя, негодовало, отмахивалось, умоляло: «Ах, да оставьте меня, не надоедайте с вашим притворством!..» — ибо доктор Шванебах уже видел пропасть, на краю которой

раскачивалась Александрина, такая юная и прекрасная, обойденная жизненными уладами, со страхом в сердце, который ему тоже удавалось прослушивать с помощью своей черной трубочки, а кроме того, в добром и высокомерном лице доктора, в его саксонских голубых глазах, которые внимали лишь ее сигналам, в интонациях, с которыми он обращался к ней, заключалось нечто большее, чем простая профессиональная озабоченность. И он, небогатый эскулап с немецкими предками, начинал ощущать себя гением, способным спасти молодую женщину, не только отведя ее от пропасти, но и поделившись с ней целительными богатствами своего сердца. А Александрина, выкрикнув свою проклятую боль, теперь сосредоточилась на хлебном мякише, пытаясь вылепить из него фигурку животного, чтобы, посадив его на ладонь, преподнести Мятлеву. Она очень старалась, но выходило все что-то невозможное и уродливое, и так оно и поплыло к нему на ладони, не имея ни ног, ни туловища, ни названия. «Ха!» — сказал он и поцеловал ее руку, и тут же скомкал злополучный шедевр, и, выпив водки, положил его в рот. И тут, наверное, шевельнулось в душе молодой женщины «господибожемой», но, конечно, не имеющее отношения к хлебному шарикю, а опять связанное с тем же, все с тем же: а что же завтра...

Теперь Афанасий скрылся за кустами роз, хотя его белый костюм отчетливо просматривался сквозь листву, мельтешил там, раздражая доктора Шванебаха и мешая ему спокойно сосредоточиться. Да, конечно, думал доктор, такая поверхностность и легковесность не могут сослужить доброй службы. Потакая своим минутным капризам, нельзя излечить чужих ран. Половое влечение — это еще не любовь. Алкоголь — не лекарство от сомнений и смятения. Чувство ответственности не развито у представителей богатых классов, его заменяют жалость и каприз.

— Или мне уехать? — спросил Мятлев. — То есть нам уехать? — И он потянулся губами к худенькой ручке Александрины. — Хотя кто позволит?..

Конечно, думал доктор Шванебах, не считая нужным отвечать на праздные вопросы, конечно, за большие деньги можно позволить себе сомневаться и спрашивать глупости или проглотить такое прелестное существо из хлебного мякиша, имеющее такую трогательную головку и так трогательно поднесенное на ладони. Конечно...

Из-за розового куста выпорхнула рыжеволосая Аглая, торопливо оправляя белый кружевной воротничок на пурпурном платье, и затерялась среди деревьев. Афанасий, появившись вслед за ней, продолжал придирчиво осматривать свои владения, кружа по-прежнему.

— Все-таки, если построить стену, — сказал Мятлев, — это многое даст... Ха, представляю некоторые лица...

Доктор Шванебах предложил перейти в комнаты. Солнце начинало медленно садиться, и доктор беспокоился за Александрину, но в этот момент лакей доложил, что приехала ее сиятельство княжна и желает видеть их сиятельство. Мятлев, скривившись, направился было в дом, но фрейлина уже показалась за стеклянной дверью. Она надвигалась стремительно и распахнула дверь, не обращая внимания на предупреждающие таинственные сигналы брата. Доктор Шванебах вскочил, опрокинув рюмку. Александрина медленно обернулась. В дальнем конце сада живописно застыл Афанасий. Фрейлина счастливо улыбалась. Она подошла к Александрине и поцеловала ее в холодный лоб.

— Ну вот, — сказала она по-домашнему, — я вырвалась из Царского, чтобы повидаться с вами, мои дорогие, — и уселась в подставленное лакеем кресло. — В городе невыносимо. Я все время думала о вас, Alexandrine, как вам в вашем состоянии следует беречься. Но я вижу, что все уже хорошо? — Она обвела взглядом молчащих мужчин. — Серж, — голос ее зазвучал официально, — я привезла вам известие о благополучном решении вашего дела: вам позволена отставка. Государь был так добр, что поинтересовался вашей жизнью. Мне пришлось рассказать о многих ваших добродетелях, о которых вы и сами, наверное, не имеете ни малейшего представления... Alexandrine, вы выглядите чудесно. Я рада. Вы знаете, ваше имение в Киевской губернии можно откупить... Сержу следует заняться этим...

— Не понимаю, — пробубнил ее брат, — это мне непонятно...

Александрина посмотрела на Мятлева. Мой князь безуспешно пытался проникнуть сквозь туман хмеля в эти невероятные перспективы. Афанасий медленно приближался.

— Пожалуй, пора перейти в комнаты, — сказал доктор, не сводя с него взгляда.

— Нет, — упрямо возразил Мятлев. — Мы будем здесь. Здесь, на веранде... Здесь лучше... Но я не могу понять...

— Вы же из киевских Жильцовых? — продолжала меж тем княжна. — Я знаю... Я установила это...

— Из калужских, — сказала Александрина и кашлянула.

— Нет, нет, из киевских. Вы были маленькой девочкой, и вы успели позабыть. Из киевских. — Она обернулась к брату. — Это, знаете, из тех Жильцовых, которые... Доктор, вы помните Панина? Нет, не теперешнего, а того, берлинского, Никиту Петровича?.. Этот Жильцов, отец нашей Alexandrine, был женат на сестре жены того, берлинского, то есть матушка Alexandrine... ваша матушка, Alexandrine, была сестрой...

Александрина покачала головой.

— Нет, — сказал Мятлев, — вздор. Этого не было... Но я вот что хотел бы понять... Как-то вы приезжали ко мне, и с вами притащилась Natalie Румянцева и разглядывала меня осуждающими коровьими глазами. (Елизавета Васильевна в отчаянии отмахнулась от брата.) Значит ли это, что это было выражением мнения вашего общества обо мне? Или, быть может, она ничего не знает и случайно подвернулась вам у самых моих дверей?

— Серж, — наставительно произнесла сестра, — вы злоупотребляете вином. Вы погубите себя и Alexandrine.

— Ха, — сказал Мятлев, — наконец-то! Я догадался... Я все понял... Я понял, что это должно обозначать... Ах, дорогая сестра... Ах, ты, моя дорогая...

— Он действительно напился, — сказала фрейлина Александрине, смеясь. — Да, я забыла вам рассказать, что произошло у нас. У нас случилось вот что... — У фрейлины было довольно милое лицо, которое несколько портили легкий желтоватый оттенок кожи и несколько более, чем нужно, выпученные глаза, которые придавали ее облику неукротимость, что не соответствовало ее природе, но, очевидно, постепенно, с течением времени все-таки произвело воздействие на ее характер, и в тоне княжны начали иногда проскакивать свирепые нотки. Мятлев же просто не переносил этих выпученных глаз, особенно когда она выходила из себя. Отсутствие большого ума всегда усугубляет всевозможные физические несовершенства, и добрая княжна была классической иллюстрацией к этому

нехитрому положению. Что касается доктора Шванебаха, так тот считал ее истеричкой по призванию, а потому не знал способов облегчить ее страдания... — А у нас случилось вот что, — сказала она, — известная вам госпожа Юрко всякими путями добивалась расположения красавца Марио — этого, из итальянской труппы, — и вот почему ее экипаж часто заставляли на Мойке (а он жил там), а его видели выходящим из ее подъезда совершенно нагло... вскоре все выяснилось, а государь (он последнее время особенно нетерпим к проявлениям безнравственности) велел выслать тенора, да, да, он уже уехал... вот только что... Госпожа Юрко в отчаянии, при дворе ее не принимают... тяжким... гнусны... скудный умом... холодность...

— Я нахожусь среди двух миров: тот мне чужой, а тот недостижим, — процитировал Мятлев и погладил нежной ладонью Александрина.

— Я как врач настаиваю на необходимости перейти в комнаты, — заявил наконец Шванебах и поклонился княжне.

Александрина, прямая и молчаливая, с бледным остановившимся лицом, с кулачком, прижатым к груди, поднялась, взяла доктора под руку.

— Почему бы вам не отвезти Alexandrine в Карлсбад? — спросила фрейлина у брата.

— Мы поедем в Михайловку, — сказал Мятлев, прожывая взглядом удаляющуюся Александрина.

— Какая глупость! — удивилась сестра. — Я уверена, что ей будет лучше в Карлсбаде...

— Ха, — сказал Мятлев, — ну и ну... Я все понял... Ну и ну. Тебе бы не следовало приезжать, вот что...

— Вы глупец, Серж, я еще не все вам сказала, — жестко произнесла фрейлина. — И к тому же вы пьяны. Все вас покинули. Вы всех раздражаете и отпугиваете.

— А я сделаю так, что ты... не сможешь сюда... ездить... Я все понял.

Она направилась к двери.

— Постой, — сказал Мятлев, — послушай, Елизавета... Знаешь, Лиза, я велю... А известно ли тебе, что я... распорядился воздвигнуть вокруг дома стену из кирпича... в два моих роста... Ну?.. И без ворот, и без щелочки... представляешь?

Она взвилась в небо, как мыльный пузырь, и исчезла,

а Мятлев свалился в кресло, лишившись сил и разума, и тупо старался совместить носок своей лакированной туфли с красной дорожкой сада.

Там, где кончалась дорожка и поднимались кусты роз, вновь начиналось таинственное движение, мелькание, воздевание рук, молчаливое действие, живые картины, где белые хитоны перемежались с пурпурными гиматиями во славу любви, и беззвучные хоровые песнопения проникали в самую душу, и не было ни судьбы, ни поражения, ни зловещих предзнаменований — лишь вечно заходящее солнце и стремление друг к другу...

Разбудил Мятлева скрип двери, и тотчас расплывчатая картина приобрела четкость, грани слились, и уже можно было с легкостью догадаться, что Афанасий не отказался от решительных намерений по отношению к рыжеволосой Аглае, и тут же из распахнутого окна третьего этажа, знаменуя возвращение на землю, донеслось покашливание Александрины, и доктор Шванебах, очутившийся на веранде, сказал, пристально вглядываясь в трогательную садовую пастораль:

— Вам следует уехать с Александриной как можно быстрее... Нельзя терять ни минуты.

— А вы? — спросил Мятлев. — Разве вы не поедете с нами?

— Через неделю может быть поздно, — сказал Шванебах.

— Через неделю будут готовы комнаты для Александрины, а там, в Михайловке, гнилые полы... я знаю... — пояснил Мятлев. — Вы полагаете, это ей не повредит?

После этого невразумительного разговора, проводив доктора и умывшись ледяной водой, Мятлев, опомнившись, бросился к Александрине, но застал ее спящей.

Красота — слово жеманное, претенциозное, расплывчатое. Что может обозначать «она была красива», кроме того, что все в ней соответствовало известным нормам? Да, она была красива, и нос ее отличался безукоризненностью, и ровно очерченная округлость лба радовала взор, и громадные серые глаза, на самом дне которых переливались и посверкивали заманивающие грани темных хрусталиков, и слегка насмешливые, свежие, сочные губы, произносящие круглые теплые слова, губы, прикосновение которых вызывает сладкое замирание, и волосы, ниспадающие на худенькие нервные плечи не по моде ее сча-

стливых подруг, — все, все это была ее красота. Но если бы в этих громадных серых глазах, на самом дне которых переливались заманивающие грани темных хрусталиков, не бушевало отчаяние гибнущей оленихи; и если бы ее слегка насмешливые, сочные губы не исторгали пронзительные «господибожемой!» и каждое прикосновение их не казалось бы последним; и если бы ее кулачок не прижимался бы к груди, а потом во внезапном исступлении не начал бы ударять по острому колену, словно маленький молот по глухой наковальне, пытаясь выстучать более сносную надежду... была бы она красива, эта перелетная птица, сеющая вокруг себя любовь, смуту и отчаяние?..

Она спала, свернувшись калачиком. За дверью журчал и переливался тонкий отдаленный хохоток Аглаи. Кто-то тяжело вздохнул у Мятлева за спиной. Он обернулся. Доктор Шванебах вскинул две ладони, призывая не шуметь.

— Нам надо объясниться, — сказал он шепотом и без приглашения проследовал в библиотеку. — Я не уходил, я был там, внизу. Нам надо объясниться... Видите ли, состояние девочки ухудшается... Вам это известно... (Мятлева покорила бесцеремонность, но доктора извиняло его официальное положение.) Теперь у вас есть отставка, и ничто не должно удерживать вас от поездки (действительно отставка!). Вам не следует медлить (что за тон!)... Иначе все может кончиться катастрофой... И потом... И затем... Однако, если вы не можете или вам не хочется... Впрочем, я хотел бы... мне необходимо поставить вас в известность... я должен... — что-то мешало доктору закончить его мысль — то ли увиденное в окне, то ли он заметил на вытянутом лице князя недоумение, нежелание прислушаться. — Я бы хотел, чтобы то, что я вам скажу (Мятлев начинал сердиться)... что я вам скажу... Видите ли, девочке необходим покой, полный покой... — Он мял свои пальцы, как тенор, которому не удавалось взять нужную ноту. Внезапно он спросил: — Вы, надеюсь, ночуете у себя?

— Э-э-э? — поперхнулся Мятлев. — Какое?..

— Видите ли, — продолжал доктор с отчаянием, — я бы мог ее спасти, я бы мог ее спасти... но для этого ей необходима полная отрешенность... Я бы мог ее спасти, если бы я имел... она этого хочет, мы говорили с ней об

этом... В ней борются чувство долга, благодарности и желание выжить... (Когда это они успели говорить?) И она, я понял это, она мне верит... Но вы должны помочь ей отрешиться...

— Послушайте, — засмеялся Мятлев, — да что с вами? Я ее люблю и сделаю все, что нужно.

— Вот именно, — сказал доктор Шванебах, скорбно кивая, — поймите меня правильно. Я, конечно, не могу соперничать с вами ни в знатности, ни в капитале, но, поймите меня правильно, ваша помощь должна заключаться в том, то есть вы должны (опять должен!)... Вы понимаете, речь ведь идет не о благотворительности, благотворительность — это вздор, даже ничтожная жертвенность выше благотворительности, но в данном случае... Но если вы хотите, но если вы действительно хотите... обеспокоены и хотите, чтобы бедная девочка... — Происходящее за окном, видимо, чрезвычайно захватило доктора Шванебаха, ибо его лоб почти упирался в оконное стекло, а пальцы лихорадочно и невообразимо сплетались, словно уже были лишены костей...

...Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, в одну из ночей, когда еще не было ни доктора Шванебаха, ни кашля, ни смутной тревоги, а жар болезни воспринимался как жар любви, и она маленькой, слегка влажной, цепкой ладонью сдавливала его плечо, а ее насмешливые, сочные, утомленные губы нашептывали теплые круглые торопливые слова: «Господибожемой... если бы он только мог себе представить, как я, старая женщина, его люблю, да, да, и не смеялся бы при этом... И не смеялся бы при этом, и не мешал бы мне говорить... И это горячее огромное доброе тело, если бы оно только знало, господибожемой, если бы оно только знало, как я молюсь, чтобы эта ночь никогда не кончалась... Мне не стыдно, мне не стыдно, вот какая радость случилась, что мне не стыдно, мне не стыдно... Я, старая, старая, соблазнила такого юного, нежного, несчастного, великолепного фантазера... И он, мало того, что терпелив, он еще, какой странный, снисходителен, великодушен, доверчив, как заяц, как маленький сурок, как крошечный воробей, и благороден, как старый лохматый медведь, и безупречен, как воздух, господибожемой...»

— Я люблю ее и сделаю все, что нужно, — сказал Мятлев, теряя терпение. — Ну? Что же нужно?

— Вот именно, вот именно, — горестно пропел доктор, — вот именно, вот именно... Она страстно хочет жить, и для этого... и потому... свободно... опасения... признаваться... высокую цену...

...И в другую ночь: «Мне так хочется выздороветь, я так стараюсь, у меня нет больше сил... Ну скажи этому доктору, ну прикажи ему, пусть он меня вылечит, и скажи ему, что я не верю в его трубочку, которой он тычет мне в грудь и в спину. Пусть он совершит невозможное!.. Я так трудно к тебе пробиралась...» — «Это я к тебе пробирался, — сказал Мятлев, — под дождем, хватал за руку, поил водкой, это я...»

— Вы меня слушаете? — поинтересовался доктор Шванебах. — Так вот, если вас это не оскорбляет, если это вам не кажется... Лично я уверен, но, что касается вас, я же не могу... Видите ли, кроме того, ваше положение в обществе, я прошу понять меня правильно, оно в некотором смысле препятствует вашим намерениям, я же вижу... О, я все понимаю, — бледная улыбка в профиль, — но ей нужен покой, полный покой... Если река колеблется, она не затягивается льдом. Ее сиятельство княжна Елизавета Васильевна безупречна, но вы не можете полагаться...

«Как мне все-таки хорошо, — подумал Мятлев, глядя на доктора, — и как ему, наверное, нехорошо с толстой его немкой, распухшей от скуки и картофеля».

...И в другую ночь: «Я согласна выбирать между жизнью и смертью. Подумаешь, сложности... Но там, внутри меня, есть что-то такое, что не согласно, понимаешь?.. Ты понимаешь?.. Ты понимаешь?..»

— ...Много ли нам надо? — как из тумана, провозгласил доктор Шванебах, в упор глядя на Мятлева. — В мой сорок лет это не проблема. И потом, вы, надеюсь, знаете мне цену... — Спокойствие и рассудительность вернулись к нему. — Чистый воздух, здоровая, простая пища, полный покой, никаких воспоминаний, полный покой и небольшая доза участия, и полный покой... полный покой...

«Какой странный, — нараспев подумал Мятлев, подражая Александрине. — Что же такое он наговорил? — и пошел провожать доктора, машинально изучая крепкий немецкий затылок и сильную шею, подпертую безупречным воротничком.

Вставная глава

Чай пили, как всегда, в пять часов вечера в малой гостиной у теплого камина, под портретом императрицы Екатерины. Полотно это было не совсем обычно, ибо главное место в нем занимал архитектурный вид с колоннадой, удаляющимися зданиями, арками и прочим; в левом углу этого пейзажа внизу был написан портрет Екатерины в профиль на темном фоне зеленой драпировки, странно повисшей в воздухе, не имеющей, по-видимому, никакого отношения к расположенной рядом колоннаде. Императрица сидела, облокотившись правой рукой на спинку кресла, одетая в серо-синее платье, поверх которого красная накидка с рукавами по локоть; на волосах головной убор, едва различаемый; на спинке кресла и под локтем желтая ткань; тонкие губы едва тронуты улыбкой, имеющей откровенно не государственный смысл.

Чай разливала Александра Федоровна, уже бабушка.

Семья разрослась, и за небольшим привычным квадратным столом уместиться было трудно, однако до сухариков и фарфоровой сахарницы дотягивались все и не роптали.

На рисунке неизвестного художника это чаепитие выглядит несколько неестественно, поскольку дед изображен спиной к зрителю, а старший сын Саша в стороне от стола, будто он не зван или уже откушал, хотя дед любил замкнутый дисциплинированный круг. Художник вознамерился передать панорамное изображение чаевничающей семьи, но где-то, благоговей, перестарался, и потому в каждой фигуре ощущается излишняя торжественность и напряженность. И все-таки впечатление интимности и беседы не исчезло, а если домыслить, то и вовсе могло показаться, что и вы, как ни в чем не бывало, присутствуете при сем обычном частном семейном чаепитии.

Дед был в расположении. Внуки ползали под ногами по потускневшему ковру и боролись, и повизгивали, и хватали деда за штанины, и инстинкт безошибочно подсказывал маленьким зверенышам, что окрика не последует. Все сидящие за столом тоже понимали это, но были чуть-чуть настоroje, ибо обладали многолетним опытом.

В свои пятьдесят с немногим лет дед выглядел еще

достаточно молодо и свежо и сам сознавал это, и гордился этим, и требовал от всех сыновей, а особенно от Саши, как от старшего и наследника, просыпаться на заре, вскакивать без промедления и ходить, ходить, ходить, а спать на жестком и не стесняться ледяной воды. Ледяная вода обжигает, кровь начинает двигаться пуше, а это самое главное, а кроме того, можно не бояться простуд ни на охоте, ни на биваке, можно ночевать на болоте, вымокать под осенним дождем, и хоть бы что. Кроме того, крайне полезно спать даже зимой с приотворенным окном, не распахнутым, а слегка приотворенным, чтобы был доступ свежему воздуху. Для него самого это правило было свято, и все кругом поражались, как он строен в свои годы, крепок, как работоспособен, как ясна его голова, как всю жизнь это физическое здоровье хорошо влияет на нравственность, на понимание долга, на все, все вокруг.

С недавних пор у деда появилось брюшко, и, хотя в том не было ничего предосудительного, он массировал его с ожесточением и тщательно затягивался, и не любил разговоров на эту тему.

Слева от него, как всегда, сидел второй сын, Костя, тайная его любовь. Костя здоровьем не пренебрегал, был невысок, но ладен. Но главное, что нравилось в нем отцу, был резкий ум и внутренняя сила. Правда, как и отец, он иногда бывал вспыльчив, и это огорчало, но зтайне отец любовался сыном, даже его наполеоновский профиль был ему мил, и он машинально сравнивал Костю с Сашей и сожалел, что в старшем сыне мягкости и нежности больше, чем следовало бы для его будущего, и больше в нем умения уйти от спора, но от чего это было — от ума или от вялости, — понять не мог. Его почтительность безукоризненна, но что за нею — только ли сыновняя любовь или сдержанность и сознание долга?

Дед не любил горячего чая, но не пользовался блюдечком, а приглашал кого-нибудь из внуков подуть в чашку, и они наперебой старались перед ним отличиться. На этот раз в чашку дул маленький Саша, сын Саши-большого, смешно приподымаясь на носках и раздувая щеки. Брызги разлетались по скатерти, и бабушка, Александра Федоровна, смеясь, пыталась отвести чашку, да дед не позволял. «Сашка, — говорил дед, — да не дуй сильно, вот дурачок. Эдак ты мне весь сюртук забрызжешь...» А Сани, жена Кости, с прелестной непосредственностью моло-

дой женщины, которой пока все дозволено, откровенно поощряла Сашу на разбой. Ей было девятнадцать лет, и у нее еще не было своих детей, и потому она была преисполнена душевной щедрости к племянникам и, очевидно, лучше, чем все остальные, более взрослые, понимала и сочувствовала им. И когда она собирала их в кружок, и играла с ними, то, глядя, как они радуются и счастливы, и сама бывала почти столь же счастлива. Когда тетя Санни уводила детей, следовало ожидать возни, шума, громкого пения, взрывов смеха... Деду это нравилось. Невесткой он был доволен, тем более что она была чрезвычайно хороша собой. Правда, по его лицу иногда пробегало облачко огорчения от манер Санни, не слишком изысканных для того положения, которое она занимала, или от ее плохого французского.

Эти вечерние чаепития с пяти часов и до шести были единственным временем, когда семья собиралась без посторонних и можно было смеяться и говорить чепуху, не очень заботясь, какое это производит впечатление, тем более, что говорить о делах было не принято. Расстегнутый сюртук деда, будничные чепцы на Александре Федоровне и на тете Санни, помятые штанишки на внуках — все это было возможно за вечерним чаем, и если не поощрялось, то уж не осуждалось ни в коем случае.

Дед отхлебывал из чашки, а затем отставлял ее изысканно, непринужденно и в то же время удивительно величественно, как только он умел, так что всякий раз это с молчаливым одобрением отмечалось всеми присутствующими. Хотя в утонченности и благовоспитанности нельзя было отказать ни одному из них, дед проделывал это с чашкой, да и сидел на стуле, и поворачивал голову, и кланялся, и улыбался, и хмурился, и вообще все, все, каждое движение, которое он себе позволял, были и утонченней, и изысканней, и безукоризненней, чем у них у всех. И они знали, что это умение деда — целая система, выработанная им, сознательно усвоенная; и они хорошо знали, как он гордился своим искусством и как его большие, слегка навывкате голубые глаза зорко наблюдают за ними за всеми, подмечая досадные промахи и ошибки, и лишь к тете Санни он был снисходителен, словно, пораженный ее красотой, начинал сомневаться в правилах своей жизни. Но все это, конечно, относилось к любому времени дня или ночи, и только за вечерним чаем, с пяти

часов и до шести, он позволял своим большим голубым глазам умерять присущую им зоркость.

Он не пришел к этому случайно. С того самого злополучного дня, с той самой минуты, когда ему пришлось неожиданно и нежданно взвалить на свои плечи тяжкий груз забот, он понял, что все подчиненные ему люди и даже те, что от него независимы, что вообще люди, вообще человечество оценивает и будет оценивать его впредь в первую очередь не по тому, что он для него совершит, и не по тому, что он ему скажет... и не по степени его доброты или зла, или справедливости, или бесчинств, а по тому, каким он предстанет перед ним, он и его ближайшее окружение. Недостатком ли ума или мудрой проницательностью объяснялось все это, судить не нам, но он знал, что божий промысл лежит в основе всех его поступков, и все окружающие его должны быть подобны ему хоть в самой малой степени, а отступление смерти подобно.

Последние годы дед болел, но тщательно скрывал это, и лишь самые близкие были посвящены в его тайну. Впрочем, даже самые тяжкие приступы любого недуга, казалось, не могли бы помешать деду предстать перед людьми таким, каким они привыкли, да и желали его видеть. И Костя, поглядывая на отца, как раз и думал о том, как этот человек, пока он не остался наедине с собой, старается, что бы с ним ни происходило, выглядеть сильным, молодым, почти бессмертным. И тут вспомнился въезд в Вену, и даже он, Костя, уже повидавший и ко всему привыкший, был поражен, созерцая отца во всем блеске мундира, мужественной красоты, величия всей его гигантской фигуры; прямого, надменного, возвышающегося над всеми окружающими его князьями, флигель-адъютантами, камергерами; и он не мог оторвать от него взгляда, и ему казалось, что он видит полубога, и хотелось кричать, ликовать и неистовствовать со всеми вместе. Затем, спустя самое малое время, он, минуя комнаты, отведенные их семье, внезапно увидел отца вновь: тот сидел, сгорбившись, с осунувшимся скорбным лицом, неузнаваемый, наполовину уменьшившийся, как бы упавший с высоты своего величия в пучину отчаяния, и был уже не полубогом, а жалким, страдающим, пожилым человеком. Возле него суетился врач, и Костя скользнул мимо, зная, как отец тщательно оберегает свою тайну.

Да, Костя понимал, и это пришло к нему в самом дет-

стве, что даже невольное соглядатайство с его стороны было бы расценено как предательство и что лучше мнимое неведение, чем обращенные на него, умеющие быть свинцовыми, неподвижные и казнящие глаза отца. Поэтому ни он и никто иной из членов этой счастливой семьи никогда, ни при каких обстоятельствах не решились бы быть судьями деяниям своего могущественного главы. Впрочем, даже робкое сомнение в его правоте, выраженное вслух, было несовместимо с их врожденными представлениями о его правах и власти. Все это могло быть и происходило лишь в глубине души, на самом ее дне, так глубоко и тайно, чтобы никакое наивное движение — дрожание руки, трепетание ресниц, расширенный зрачок, ни интонация, ни походка — не смогло бы их выдать. «Да, — думал Костя, — он так могуществен и так привык к этому, что уже не может видеть маленьких недоразумений, и ничтожных несчастий, и каких-то там несовершенств, которые случаются вокруг, ибо, если напрячься и увидеть их, значит, признать, что и его жизнь, и его мудрость полны всевозможных изъянов. А ведь, пока он верит в собственную непогрешимость, многое вокруг разрушается и многое терпит крах... Но как сказать ему об этом, чтобы не прослыть его врагом?..»

И вот они все сидели за привычным столом будто бы в произвольных позах, как будто непринужденно и даже расслабленно, однако в той степени, в какой это не выглядело бы в их глазах развязным. Кровь, воспитание, ответственность, положение, опыт — все это скрепляло нервы, цементировало позвоночки, придавая непроницаемость их глазам и царственность позам.

Им всем, например, было хорошо известно, что Екатерина приобрела привычку и сохранила ее на всю жизнь — высоко держать голову при народе, благодаря чему она всегда казалась выше ростом. И это искусство, в котором она была несравненна, укоренилось по традиции и в их семье. Однако великая бабка не почиталась за образец, и портрет ее в малой гостиной был единственным, который терпели. Остальные лежали в подвалах, а уж изображения всех ее любимцев и вовсе были пущены с молотка.

Сухарики похрустывали на зубах. Маленький Саша, вытянув шейку, дул что было силы в чашку деда, но то разбрызгивал чай, то вовсе не попадал в чашку.

— Дурачок, — говорил дед, — не верти головой и не

суетись... А ну-ка еще раз. Вот так. И еще. Вот так... Ну вот, ну вот, теперь посмотрите все, как Саша хорошо дует в дедушкину чашку....

Маленький Саша был пунцов от усилий и похвалы. Дед отхлебнул глоток и отставил чашку.

— Ну вот, — сказал он, — вот ты и добился своего. Теперь я не смогу без тебя обходиться.

Тетя Санни всплеснула руками. Саша-большой поцеловал сына в потный лобик. Тот снова потянулся к чашке.

— Нет уж, теперь достаточно, — сказал дед. — Благодарю тебя, ты молодец.

За окнами бушевала вьюга. От камина разливалось благотворное тепло. За столом царили умиротворенность и добросердечие.

— Что Marie? — спросил дед. — Она, верно, измучилась. Эти головные боли у женщины могут свести с ума. Была бы моя воля, — он засмеялся и поцеловал томную белую руку Александры Федоровны, — я бы обязал всех женщин по утрам обливаться холодной водой и спать на жестком.

— Какой ужас! — воскликнула бабушка. — Нет уж, вы забудьте о нас. Вы же сами первый отвернетесь от такого чудовища с обветренной кожей.

— Marie не столько страдает от головной боли, — сказал Саша-большой, — сколько оттого, что не может быть с нами. Она мечтает, чтобы вы, татап, навестили ее, — и он почтительно поцеловал руку матери.

— Забавно было бы посмотреть, как татап будет влезать по утрам в ванну с ледяной водой, — вдруг сказала тетя Санни.

Наступила минутная пауза. Бабушка слегка покраснела. Костя растерянно посмотрел на отца.

— Санни, — сказал дед мягко, — да разве это возможно? Да разве мы дадим татап в обиду? — И он снова с еще большим почтением, чем сын, поцеловал руку жены.

Несмотря на бестактность младшей невестки, дед на нее не сердился. Она была, конечно, не очень тонко воспитана, но ее молодость, чистосердечие и изумительная красота восполняли недостатки воспитания. В ней было столько веселого изящества и добродушной распушенности, что сердиться было просто невозможно. Сын Костя был

влюблен в нее, она обожала своего мужа, а дед умел ценить чистоту чувств, и его большие голубые зоркие глаза с удовольствием отмечали ее малейшее проявление во всех, а особенно в близких ему людях.

Он любил своих невесток. Он был рад, что бог послал его сыновьям истинную любовь. Да, он сам руководил выбором и он сам одобрял невест для своих сыновей, но именно потому, что его действиями руководило Небо, он не ошибался в выборе и польза сочеталась с любовью. Он любил своих невесток, и было огорчительно пить чай нынче вечером в отсутствие Marie, старшей из них. Он отхлебывал чай, а сам представлял ее лицо, не столько красивое, сколь прекрасное, осененное кротким и проникновенным светом громадных внимательных глаз; он представлял ее тонкий рот со сжатыми губами, свидетельствующий о сдержанности, и легкую ироническую улыбку, так контрастировавшую с выражением глаз. Он любил ее, как мог любить прекрасную женщину, избранную его старшим сыном, хотя в этом выборе была тайная доля его участия, и он уважал невестку и ценил каждое сказанное ею редкое слово.

— Твоя татапа нездорова, — сказал дед самому младшему внуку Владимиру, — а ты так расшалился... Ну? Ты понял, что я тебе твержу?..

— Понял, — сказал маленький Владимир и принялся щипать деда за ногу.

— Ах, какой шалун, — сказала бабушка Александра Федоровна. — Но разве можно наказать такого красавчика? Это невозможно...

— Вы любите его? — спросил дед, обернувшись к мальчику. — За что же?

— Как же его не любить, — сказала бабушка, — он ведь такой славный мальчик, и он очень любит свою бедную татапа, и вас, и меня...

— Вот как? — удивился дед. — А я-то думал, что он просто шалун.

— Он просто глупый, — сказал Саша-маленький.

— Я всех люблю, — сказал Владимир. — И Сашу...

«Он в таком возрасте, — подумал дед, — что его любовь пока еще стоит многого, хотя она и коротка».

Когда наступал час чаепития, вся большая семья деда сходилась в малую гостиную, испытывая особые чувства, которых никто из них, пожалуй, не сумел бы объяснить и

над которыми они никогда не задумывались. Положение этой семьи в обществе было столь высоко, а потому и жизнь ее была столь не похожа на жизнь окружающих ее людей, что каждый из членов этой семьи, сам того не замечая, с малых лет начинал ощущать себя подвластным законам некоей высшей идеи, рядом с которой бессильны и ничтожны все твои маленькие и робкие пристрастия. С малых лет они принимали на плечи тяжкий груз и сурового регламента, подчиняющего себе даже их сновидения, и фантастических ритуалов, которыми становилось все: походка и одевание, еда и веселье, брачная жизнь и чтение книг, выбор друзей и выражение чувств; и даже их смерть не выходила за рамки приличествующего их семье и сама тоже была не просто кончиной, а трагическим торжественным ритуалом. С малых лет они становились рабами непререкаемых установлений и невероятных условностей, с беспощадностью вычеркивающих из их жизни все непредусмотренное, и они без сожаления расставались с непосредственностью и слабостями, которые с удивительной бестактностью время от времени все же навязывала им их человеческая природа.

Изредка совершая великие дела, они в большинстве случаев старались, чтобы даже житейские мелочи выглядели великими делами, и потому их завтраки, прогулки, молитвы приобретали высочайшее значение и требовали не меньше усилий, чем свершение великих дел. Бьют часы — им надо быть на параде, в театре, на приеме, на прогулке, не считаясь с тем, что у них в сердце. И горе тому, кто отважится на безумство противопоставить себя им или попытается усомниться в целесообразности такого существования. Лишь с пяти до шести вечера они становились почти самими собой, насколько позволяло им вьвшееся в их кровь и души представление о высоком своем предназначении да отсутствие посторонних глаз. И потому они с непонятным себе самим удовольствием сходились среди тихих стен благоухающей покоем малой гостиной.

Александра Федоровна заметила устремленный на нее взгляд мужа, исполненный участия и тепла, и постаралась незаметно улыбнуться ему в ответ. Однако ее улыбка не укрылась от Саши-большого, и он снова (ах, папан!) прикоснулся губами к ее руке. Но это участие во взгляде мужа было не случайным, ибо легкая тень озабоченности

даже в эти мирные часы не покидала лица жены. Он объяснял это переутомленностью и душевной тревогой от предчувствия неумолимо наступающей старости и старался приободрить ее. А Александра Федоровна, улыбаясь ему, думала, что если бы он узнал истинную причину ее печали, то ни его джентльменство, и ни его любовь к ней, и ни правила приличий, и ничто на свете не смогло бы помешать разразиться грозе.

Дело было в том, что их дочь Мария, любимица отца, была выдана семнадцати лет за красивого молодого и весьма знатного человека, кутилу и игрока, который, чтобы пользоваться большей свободой, постарался привить жене более легкий взгляд на нравственность, и вот она, потеряв точку опоры, сошлась с графом Григорием Строгановым, человеком, правда, серьезным и достойным, но, с точки зрения ее семьи, допустив тем самым мезальянс, влюбилась в него, и вместо легких, ни к чему взаимно не обязывающих отношений началась трудная, полная опасностей жизнь. А эта жизнь ежеминутно могла стать достоянием жадного до новостей общества и грозила дойти наконец до самого отца, который имел достаточно высокое представление о своем положении, чтобы в гневе ни перед чем не остановиться.

Дед кивнул на портрет Екатерины и сказал неизвестно к чему:

— Между прочим, когда чистили фуляр, которым она обертывала голову на сон грядущий, то видели, как из него сыпались искры.

Кстати, думала Александра Федоровна, Екатерина-то уж была в том известном смысле крайне одарена, но это ведь вызывало тогда, да и в нынешние времена вызывает более восхищение, нежели неприязнь или хотя бы недоумение. А бедная Мария ждет грозы, и ей не на что надеяться.

— Искры сыпались не только из ее фуляра, — сказала тетя Санны как ни в чем не бывало, — но даже из ее простыней...

— Возможно, — сухо согласился дед и отпил глоток.

Конечно, очаровательной и несравненной невестке следовало бы поостеречься и не растравлять семейных ран с милой и оскорбительной непосредственностью ребенка, но она была пришлой, и посвящение в их общую беду могло совершиться не сразу.

Конечно, в этой семье, состоящей из живых и здоровых людей, не пренебрегали сердечными страстями и не отказывались от любовных утех, и не отвергали любой возможности получить наслаждение, и сами с безупречностью бывалых мастеров вязали хитрые узлы, предоставляя потомкам их распутывать, а сами любовались собственным умением и плакали от собственных несовершенств. Но благопристойность, которую они при этом сохраняли, и легкая изысканная тайна, которою они скрывали свои вожеления, — все это было тоже их неизменным ритуалом, которого не смел нарушать никто. И потому, воздавая должное государственным заслугам Екатерины, они не могли без смятения и ужаса вспомнить об эротической буре, явной и почти узаконенной, бесчинствовавшей над Россией и их домом в течение тридцати лет в нарушение этого ритуала. И потому все они, а особенно дед, где только возможно, с ожесточением стирали порочные следы любвеобильной, бесстыдной, едва навеки их не опозорившей великой императрицы.

Но не только положение Марии мучало Александру Федоровну, разливающую по чашкам не слишком крепкий и не слишком горячий чай. Несколько дней назад старуха Волконская, бывшая фрейлина покойной императрицы, доживавшая век в прежних своих апартаментах, просила ее за князя Мятлева, всем хорошо известного своей наглостью и многими скандальными выходками. Она просила Александру Федоровну повлиять на мужа и смягчить его, и Александра Федоровна, преисполненная добрых намерений, не смогла, как всегда, отказать старухе, но, пообещав, поняла, что взялась за невыполнимое.

Невыполнимым это было потому, что хотя муж и обожал ее и она это ежеминутно ощущала, ибо любая ее прихоть исполнялась им мгновенно с расточительной щедростью любви и волшебства, однако это касалось лишь того фантастического карнавала, в котором она жила, и не должно было выходить за его рамки, а кроме того, все, в чем можно было бы усмотреть малейший намек на ошибочность его мнений, ожесточало и отдаляло его. И тогда он говорил в каком-то отчуждении: «Вы же знаете, что это не в моих правилах. Вы судите об этом под воздействием вашего доброго слабого женского сердца, я же руководствуюсь государственными интересами, и разве все вокруг не есть доказательство моей правоты?» И она,

любившая мир и благополучие в своей большой семье, молча сожалела о легкомысленном своем обещании.

Но даже если бы все было не так и он, распространяя свое обожание на все, что находилось и за доступными ей пределами, снизошел бы к ее просьбе, то и тогда она не смогла бы просить за этого князя, потому что видела его не однажды и не могла одобрять его поведение, и просто он был ей неприятен — сухощавый, несколько сутулый, в очках, со взглядом не то чтобы дерзким, но недружелюбным, со странной манерой ускользать, растворяться, не дожидаться конца, примазываться где-то сбоку, выискивать грязь и не отвечать за свои поступки.

«Какое большое пространство, — думала в этот момент тетя Санни, — все эти Петербург, Москва... Гатчина... и этот... Ревель, и эта Сибирь, и он все знает и все видит», — и посмотрела на свекра. Ей нравилось, что он к ней снисходителен, потому что с недавнего дня своего замужества видела пока только его снисходительность.

— Кстати, — сказал Саша-большой, — что это за история с французским врачом, о которой все говорят? Он что, действительно питался человеческим мясом? В этом есть что-то чудовищное...

— Эти ученые — сумасброды, — засмеялся Костя. — Он отправился в Америку к диким племенам, жил среди них и старался следовать их образу жизни... Когда они поедили своих врагов, француз заставил себя присоединиться к пирующим, но, кажется, отравился...

— Зачем ему понадобился этот ужас? — спросила Александра Федоровна, переглянувшись с мужем.

— Это действительно сумасброд, — сказал дед мрачно. — Его бы следовало посадить на цепь. Я не возражаю против научных экспериментов, без них невозможно, но тут уж просто какое-то безумие. Ведь есть же какие-то границы дозволенного. Эти французы вечно что-нибудь выкидывают и возбуждают общество. Правительство не должно быть безучастным ко всяким нелепым фантазиям. Какая мерзость...

— Неужели есть такие дикари, — снова ужаснулась Александра Федоровна, — которые способны... ну, которые могут...

— Сколько угодно, — сказал Костя.

— Это позволяет нам не забывать о наших совершенствах, — засмеялась тетя Санни.

— Мы совершенны ровно настолько, насколько это угодно богу, — сказал дед недружелюбно. — И, чтобы в этом убедиться, вовсе не следует уподобляться дикарям. Ты говоришь, француз отравился? — спросил он у Кости. — Ну, вот видите...

— Представляю, как он сожалел о своем поступке, — сказала тетя Санни. — Даже не верится...

— Хватит об этом, — сказал дед, и все замолчали.

Стенные часы привычно и глухо пробили половину шестого, и встрепанная пожилая деревянная кукушка попыталась, выскочив из перламутрового домика, пропеть «Коль славен», но поперхнулась, захлопнула желтый клюв и удалилась в свои апартаменты. Все засмеялись над ее выходкой, которую она демонстрировала ежевечерне. Видимо, когда-то что-то там такое разладилось в сложном механизме, и однажды даже собирались приказать исправить, да дед раздумал: дети, а потом и внуки очень радовались всякий раз, когда возникала эта встрепанная чудачка с фальшивым голосом и странными манерами. Потом к ней привыкли, как к дальней родственнице, поселившейся в их доме, у которой множество причуд, но которая добра и необходима, и называли ее мадам Куку.

— У покойной Екатерины в чертах лица было что-то мужское, — сказала Александра Федоровна, махнув на кукушку рукой. — Вы не находите? Наверное, потому она так сильно румянилась и так высоко взбивала волосы.

— У нее было трудное положение, — сказал Константин. — Она была женщиной и самодержицей. И это надо было совмещать. Правда, ра-а?

— Пожалуй, — согласился отец, — но женщины, сдаются мне, в ней было все-таки меньше. Она была одинока и скрашивала свое одиночество несколько своеобразно...

— Какая прелесть! — засмеялась тетя Санни, и ее племянники, устав от возни, захохотали следом.

— Вот именно, — отчеканил дед. — Я не оговорился, вы что думаете?.. Вот истинная женщина, — сказал он, целуя руку жене, — она ваша мать и бабушка, и все вы растете под ее распростертыми крыльями, и она моя супруга, и моя жизнь зависит от нее стократно, она добра, она всех нас объединяет, и она ангел... Разве вы в этом не убедились?

— Рара́, — сказал Саша-большой, — я восхищаюсь вами, и ваша любовь к папап — самый достойный образец любви.

Дед не лукавил, произнося свои высокопарности. Он любил Александру Федоровну и питал к ней, к этому хрупкому, легкомысленному и изящному созданию, страстное и непререкаемое обожание натуры сильной к существованию слабому. Он с фанатической настойчивостью создавал ее культ, который начинал приобретать грандиозные размеры и без которого уже не могли обходиться ни он сам, ни вся его семья и ни многие, многие, населяющие те обширные пространства, о которых с таким восхищением думала тетя Санни.

Но, обожая жену, превращая ее жизнь в грандиозный фестиваль богатства, роскоши, изысканности и безоблачности, он позволял себе все-таки видеть других женщин, и отмечать их своим вниманием, и тянуться к ним; и в то же время, почитая их как идею, воздавая им должное с внешним рыцарским великолепием, он никогда не обольщался на их счет.

Их было немало в его жизни, и он умел запоминать и был зорек, и поэтому ничто в их поведении не могло укрыться от него. Он обогащал свой опыт за их счет легко и стремительно, не оскверняя семейных святынь. Он хорошо знал, какие многослойные прожекты зреют за их очаровательным простодушием, какая неукротимая жажда владеть распирает их робкие души и обременяет их изысканные пальчики, какой наглый расчет таится в прекрасных глазах, переполненных слезами слабости и благоговения, и какие неправдоподобные жертвы приносят они себялюбию — этому сумасбродному божеству своей природы. Он знал и об исключительном коварстве, на которое они способны, и, конечно, неспроста писал своему брату Константину в Варшаву в давно минувшие времена польского мятежа о том, как следует опасаться прекрасных полячек, которые, с врожденной изощренностью обольщая русских офицеров, дезорганизуют армию. Он всегда поражался отсутствию в них чувства меры, но то, что оскорбляло его в других, восхищало в представительницах собственной семьи, ибо семья, она тоже была для него ритуалом среди множества прочих ритуалов, на которых он был вскормлен.

То была семья, а те, иные, вызывали в нем легкое пре-

небрежение, когда он с ними сталкивался, и почти забывались, когда отсутствовали.

Теперь он лишь изредка позволял себе снисходить к ним, наблюдая, как они тотчас вспыхивают и теряют рассудок, наподобие баронессы Фредерикс, этой гордой и недоступной Анеты, которая опустилась до того, как поговаривали, что открыто посещала князя Мятлева в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив манящие сигналы деда, и как заторопилась к нему, теряя свое обаяние, словно перышки. Он забавлялся.

В давние времена случались истории попрелестней, и о некоторых из них он любил рассказывать в тесном кругу, не боясь изображать себя в невыгодном свете, ибо далекое прошлое, как он полагал, уже прощено, а его, деда, идеи и правила неприкосновенны.

И за нынешним чаем ему вдруг вспомнился нелепый случай, происшедший с ним лет около двадцати назад, и ему захотелось поделиться, и он сказал сидящим вокруг него:

— Однажды со мной произошла прелестная история лет двадцать тому назад, папап о ней знает, она смешна и поучительна, и я хочу вам ее рассказать... Это о той музыкантше, — сказал он Александре Федоровне, — вы помните, конечно, — и поцеловал руку жене.

Однажды, в том далеком январе, прогуливаясь, как обычно, по набережной (а вставал он на рассвете, занимался делами, кушал чай, около восьми утра принимал первые доклады и ровно в девять выходил на прогулку), на мостике у Зимней канавки он заметил идущую ему навстречу молодую девушку, скромную, но очень мило одетую, с большой нотной папкой в руках.

Он пристально взглянул на нее, отметив про себя ее достоинства, и прошел мимо, и, верно, позабыл бы о ней, ежели бы на следующее утро снова они не повстречались на том же месте.

Его это заинтересовало, тем более что молодая особа была прехорошенькая, но держалась чрезвычайно скромно и порядочно. Она, видимо, тоже обратила внимание на молодого красивого офицера-измайловца и поэтому, когда на третий или четвертый день он приветливо ей улыбнулся, ответила ему не менее приветливой улыбкой. Затем обмен дружескими поклонами, а затем и более или менее откровенные разговоры. Так продолжалось око-

ло месяца. Его крайне забавляло, что она не догадывалась вовсе, с кем имеет дело, и держала себя с ним на равных.

Избегая говорить о себе, он узнал всю несложную биографию незнакомки. Оказалось, что она дочь бывшего учителя немецкого языка, оставившего свои занятия вследствие полной глухоты, что она дает уроки музыки, что мать ее занимается хозяйством и почти все делает сама, так как они могут держать только одну прислугу. Наконец он узнал, что живут они на Гороховой, в доме бывшего провиантмейстера, и занимают небольшую квартиру в четырех комнатах.

От откровенных разговоров о житье-бытье собеседники перешли к более интимным темам, и он осторожно навел речь на желание свое ближе познакомиться с молодой учительницей.

Отказа не последовало. Девушка легко согласилась, чтобы новый знакомый посетил ее и познакомился с ее отцом и матерью, которые, по ее словам, будут очень польщены этим знакомством.

Назначен был день и час первого визита, и в этот день по окончании обеда он объявил дома, что пойдет пройтись по улице...

Ни о каких охранах в те времена еще не было речи... Он свободно гулял где и когда хотел, и то, что впоследствии, при его потомках, считалось заботой и зачислялось за необходимую и полезную службу, явилось бы в те времена дерзким и непростительным шпионством.

И вот, подняв воротник шинели, торопливо шагал он по темным уже улицам, с легким нетерпением ожидая близкого свидания. На углу Гороховой он, как бывалый ловелас, оглянулся с осторожностью во все стороны и направился к указанному ему дому. У ворот он осведомился у дворника, туда ли попал, и, пройдя двор, стал подниматься по довольно узкой деревянной лестнице. Против всякого ожидания, лестница оказалась освещенной. Правда, все освещение ограничивалось тусклым фонарем со вставленным в него оплывшим огарком, но для Гороховой улицы того времени и это было роскошью.

Осторожно поднимаясь по грязным и скользким ступеням, он еще издали услышал звуки фортепьян и ощутил какой-то странный запах — смесь подгорелого масла и дешевого одеколona. В довершение ко всем странностям пе-

ред нужной ему дверью горел такой же фонарь. Удивление его все возрастало. Но что же делать? Не уходить же обратно, как самому простому из смертных. Он опустил воротник шинели и смело дернул за железную ручку звонка, болтавшуюся поверх совершенно ободранной клеенки. Дверь распахнулась, стремительное облако дурмана нахлынуло на него, и он увидел медно-красную рожу служанки.

— Кого вам? — неприветливо спросила она.

Он назвал фамилию хозяина.

— Дома нету! Вдругорядь приходите... — И она попыталась захлопнуть дверь, но он помешал ей.

— А барышня?..

— Сказано вам, никого... Экие неотвязные, прости господи!

— Но как же?.. Мне сказали... меня ждут...

На ней был ситцевый сарафан и сальный подоткнутый фартук. Вонь от лука становилась невыносимой.

— Ждут, да не вас! — крикнула она. — Нынче нам не до простых гостей...

— Так, стало быть, господа дома? — спросил он, озадаченный.

— Дома, дома, — сказала она страшным шепотом, — только пускать никого не приказано... Самого ампиатора ждут в гости!..

— Кого?

— Ампиатора... Так что вы по своему офицерскому чину ступайте подобру-поздорову, покуда вас честью просят... Поняли?

— Понял, — сказал он послушно, — только ты мне скажи, ради бога, кто это вам сказал, что сам император должен пожаловать?

— Барышня наша сказала... У нас как есть все приготовлено: и закуска, и ужин... и фрухты куплены!

— И всем этим твоя барышня распорядилась?

— А как же... Сами-с...

— Ну, так скажи своей барышне, что она дура! — проговорил он в сердцах и, подняв воротник, заторопился прочь.

Кухарка выкрикивала вслед какие-то непристойности, фортепяна звучали насмешливо, а он уже выскакивал со двора...

— И вы ее не проучили? — смеясь, поразился Костя.

— Господи, — сказал отец, довольный произведенным эффектом, — простая грязная баба... Да в этом же и вся пикантность.

— О, пожалуйста, — попросила тетя Санни, — расскажите что-нибудь еще о своих ухаживаниях.

— Санни, — сказала шокированная Александра Федоровна, — не хотите ли еще чаю?

Дед посмотрел на часы. Большая стрелка приближалась к шести. Скоро-скоро появится взбалмошная мадам Куку, чтобы прохрипеть свое последнее «прости».

— О, пожалуйста, — повторила Санни, но тут же смолкла, ибо лицо свекра уже не выражало желания потешать их историями из собственной жизни. Оно стало строже, и едва заметная складка на лбу потемнела и словно углубилась. Глаза глядели мимо них, куда-то туда, за окна, за которыми январская метель выделявала черт знает что. Он был уже не с ними, и потому все, даже внуки, заметно напряглись, замолчали, будто готовились навсегда распрощаться с этой уютной и привычной гостиной.

— Ты не забыл, что я буду ждать тебя ровно в половине седьмого? — спросил отец у старшего сына, и Саша-большой почтительно склонил голову.

Затем под причитания облезлой мадам Куку он вновь приложился к руке жены, коротко кивнул всем остальным и первым покинул гостиную.

Он шел по коридору, высоко подняв голову, правая рука за бортом сюртука, левая за спиной, весь — долг и величие, и рослые гвардейцы с горящими взорами замирали на своих постах.

24

Иногда болезнь вовсе покидала Александрину, и все вокруг будто озарялось, и тогда старый немощный хищник с пожелтевшими зубами, забытый Мятлевым, но еще живой, начинал исторгать такие восхитительные юные мелодии под ее маленькими пальцами, так мягко содрогался при каждом ее прикосновении, так сладко постанывал от переизбытка удовольствия и неги, что все, до кого долетали его звуки, тотчас начинали ощущать себя и сильнее, и богаче, и счастливее. Тогда возникали всякие sacramентальные мысли о вечности и бессмертии, и о благо-

приятном расположении светил, и о справедливой цене за жизнь, и о благополучном завершении страданий.

В такие дни Мятлева оставляли дурные предчувствия, Афанасий наряжался в свой дурацкий цилиндр и церемонно раскланивался со всеми на каждом шагу, будучи уверен, что доставляет этим огромное удовольствие присутствующим, и еще безумнее устремлялся за увертливой тепленькой Аглаей, сохраняя при этом каменное спокойствие на круглом лице. Фрейлина Елизавета Васильевна, расточая надуманные ласки, говорила брату с надеждой: «Вы устали, мой милый брат, вы устали... Только подумать, какое бремя вы взвалили себе на плечи!.. Какую боль вы должны испытывать, сгорая в этих великодушных заботах!» И доктор Шванебах, сидя напротив Александрины, не спускал своих голубых саксонских глаз с ее вдохновенного, прекрасного лица, с профессиональной зоркостью изучая и запоминая ее черты и вздрагивая при каждой ее улыбке, отпущенной ему.

Но кратковременная фантастическая эта пора сменялась новыми приступами, и болезненный жар усиливался. Александрину бил озноб, ее худенькое тело тонуло в одеялах и грелках, и княжна говорила брату, пожимая плечами: «Отчего бы вам не отправиться с Alexandrine в Карлсбад? Ну что же теперь делать, если это будет не так воспринято? Теперь, когда на вас махнули рукой... Теперь, когда вы уже погрязли во всем этом...» И Александрина из своих подушек, грелок и одеял, не сводя с фрейлины глаз, бормотала сквозь кашель что-то насмешливое о дегте и о насилии... Мятлев погружался в страх и неопределенность, выслушивая наставления сестры и наблюдая, как доктор Шванебах, распространяя парфюмерные запахи, склоняется над Александриной, прижимается щекой к ее груди, раздувая крупные ноздри и замирая.

И тогда же, особенно по ночам, перед тоскливым взором больной проплывали видения прошлых лет, и белый распоясавшийся призрак сновал по комнате с наглостью летучей мыши, и горничные с синяками у глаз от бессонных ночей отгоняли его прочь и взбивали подушки, и носились по дому, с ловкостью увертываясь от цепких лап невозмутимого камердинера. И снова приезжал доктор Шванебах, всегда свежий и напряженный, и вновь припадал к ее груди, и опытная его ладонь медленно скользила по ее влажному лицу от лба и до подбородка.

Так было и в эту ночь, как вдруг она оттолкнула доктора и села в постели, свесив босые ноги. «Да что вы в меня вцепились, господибожемой!.. — и зарыдала, и ее тугой худенький кулачок ударил по колену. — Не хватайте меня за руку!.. Вы не смеете... не смеете!.. Я не позволю!.. — и зарыдала сильнее. — Вы не смеете... не смеете. И вы... И ты! — крикнула она Мятлеву. — Какие странные, господибожемой... они даже не спрашивают меня... Не смеете!.. Они даже не спрашивают меня, господибожемой!.. Да я благодарна вам, благодарна! Я благодарю вас, слышите?.. Благодарна... Я задыхаюсь от благодарности... преисполнена, господибожемой... — рыдания душили ее. — ...подкарауливать, хватать за руку!.. Да они еще и до дегтя додумаются... Это им ничего не стоит... Да как вы смеете!.. Да откуда у вас это право... благодетельствовать... и даже не спрашивать, господибожемой... мой... мой... мой...»

«Да в чем же моя вина? — подумал Мятлев с тоской. — Бедная моя Александрина».

И смотрел, как доктор Шванебах, подобный доброму сказочному псу, припадает к ней, избегая ее кулачка, как прижимается губами к ее уху, торопливо нашептывая ей что-то, как, раздувая ноздри, тычется мордой в ее плечи, шею, грудь и усыпляет, обнадеживает, голубоглазый саксонец, враль, торопыга...

Потом она уснула. К утру жар спал. Она виновато улыбнулась Мятлеву, и поцеловала его шероховатыми губами, и помахала ему худенькой ручкой, так как ему пора было отправляться.

Он был приглашен к бывшему своему полковому командиру по случаю именин его дочери и попал в окружение однополчан, о которых уже почти перестал вспоминать. Позванивающие, посверкивающие, благовоспитанные, породистые, словоохотливые, они встретили Мятлева с искренней радостью и объятиями, и разговоры потекли рекой. Однако их голоса погромыхивали где-то там, в отдалении, и бесполезные вопросы повисали в воздухе недвижимо, теряя смысл. Вскоре им, видимо, надоела его потусторонность и виноватая улыбка на неподвижном вытянутом лице, и его глухой, не праздничный, хоть и изысканный английский сюртук, и тут они, словно прозрев, вспомнили, что он отрезанный ломоть, да еще окруженный нехитрой тайной, шитой белыми нитками, пред-

мет неудовольствия и пересудов, тот самый, от которого сбежала Анета Фредерикс (многозначительное перемигивание: по какой причине женщина убегает от мужчины?), а он в припадке отчаяния покорил сердце некоей тра... та... та... которая ему теперь тру... ту... ту... отчего он (сокрушенные вздохи и покачивание головами)... И тайна его уже не была им интересна, поскольку ее достоинства были ничтожны рядом с их тайнами и их развлечениями. Ему оставалось только пить с ними да подмаргивать, стараясь, чтобы они скорее о нем позабыли. А когда они снова оботротились друг к другу, как живые к живым, он незаметно исчез.

Он медленно возвращался домой в открытой удобной своей коляске. По-летнему вымерший Петербург казался захолустным. Наверное, под воздействием выпитого Мятлеву захотелось зимы, пара, людских толп, инея... Где ты, зимняя вечерняя синева, пробиваемая золотыми неверными пятнами фонарей? Бледная душная пыль завивалась змейками под колесами экипажа и оседала на лице и плечах. Ни одного знакомого лица. Ни звука знакомого голоса. Ни слова участия... Однако и этот Петербург еще не умер. Его сонное увядающее тело еще, оказывается, дышало и вздрагивало, стоило только получше приглядеться, и трезвый фон Мюфлинг в голубом мундире стоял, навалясь на парапет, узнал Мятлева и низко поклонился. И у входа в трактир Савелия Егорова стоял сам хозяин со всей своей семьей, неодобрительно провожая взглядом коляску князя. И господин Катакази в цивильном костюме прогуливался у книжной лавки, делая вид, что с Мятлевым незнаком. И еще один господин в голубом сюртуке и полосатых панталонах, с наглыми рыжими усиками, прошел, незаметно поклонившись Катакази (ах, уж это пристрастие к голубому!), и другой в голубом же сошел на мостовую, ища извозчика... Но это был опять фон Мюфлинг! Как ему удалось опередить Мятлева и очутиться на Английской набережной? За спиной послышались частые шаги бегущего человека. Мятлев обернулся и увидел, что Катакази преследует его, утирая пот и ежеминутно спотыкаясь о булыжники. Коляска понеслась быстрее, Катакази стал отставать. Мятлев показал ему язык и отвернулся, но подумал, что поступил гадко. Лошадь пошла галопом. «Не надо!» — крикнул Мятлев, хватаясь за сердце, но кучер, как ни старался, ничего не

мог поделаться. Петербург давно остался позади, солнце село, а сумасшедшая лошадь, разбрызгивая клочья пены, летела и летела и тащила за собой непрочный, легкомысленный экипаж. Дело принимало дурной оборот. Мятлев решил было выброситься на ходу, но тут, откуда ни возьмись, появился фон Мюфлинг и одной рукой остановил лошадь. Наступила тишина. «Железная рука, — похвастался жандарм, — скажите спасибо, — и потрепал лошадь по морде. — А тебе не стыдно, бедняжка?» — «Благодарю вас, — сказал Мятлев, — вечно вы меня выручаете... Хотелось бы узнать, где мы?» Фон Мюфлинг взобрался на козлы и оттуда, ерничая, сказал голосом кучера: «Домой приехали-с...»

Мятлев открыл глаза. Действительно, коляска стояла у дома.

Афанасий с перекошенным лицом бежал навстречу. Дурацкий шарф сползал с его шеи. Руки выделявали черт знает что. Князь замер.

— Что случилось?! — крикнул он тоненьким голосом.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство, — захлебываясь и трясясь, проплакал камердинер, — мадмазель Александрина, если позволите... ваше сиятельство...

— Доктора! — приказал Мятлев и побежал к Александрине.

Тонкий тоскливый вой обрушился на него, окружил, заполнил уши, то прибывал, то убавлялся, свисал с потолков, исходил от стен, поднимался с пола, подобный туману, клубился, доходил до визга, затухал, едва доносился, вновь усиливался, гремел, разрывал грудь, жаловался, проклинал, молил. Две горничные, Стеша и Аглая, семенили вслед за Мятлевым, не утирая слез. Дверь в комнату была распахнута, одеяло на постели было откинута, постель была пуста.

— Молчать! — заорал Мятлев, и вой прекратился. — Молчать... Где Александрина?.. Перестаньте всхлипывать... Где Александрина?..

Он кинулся в библиотеку, горничные, лакей и Афанасий последовали за ним. Библиотека была пуста. Тихие всхлипывания снова начинали переходить в вой.

— Молчать!

— Ваше сиятельство, — выдавил Афанасий, — надо бы, если позволите, на речку бежать... Надо бы, ваше сиятельство... На речку... На Невку... надо бы, ваше сия-

тельство... На Невку... — и так он повторял, пока все они, предводительствуемые безумным князем, пересекали парк по прямой линии, вытаптывая траву, сминая кусты роз, тараща глаза, с бледными лицами, исхлестанными ветками, опутанные паутиной, задыхающиеся. — На Невку, если позволите... на речку, ваше сиятельство... они, как уходили, так и сказали... Им больше некуда, если позволите, они сказали, ваше сиятельство... на Невку... на Невку... на Невку...

«Не может быть, — подумал Мятлев, — этого не может быть! Это было бы несправедливо...»

На берегу реки уже собралась толпа, окружив неподвижно лежащее женское тело. Обе горничные разом запричитали, но Мятлев прикрикнул на них.

«Господибожемой, — подумал князь с ужасом, — господибожемой!»

Вдруг Афанасий коснулся его руки.

— Ваше сиятельство, да это ж чужая!

Мятлев взгляделся и не поверил: перед ним, раскинув по траве бессильные руки, лежала утопленница в мокром крестьянском платье, с лицом скуластым и спокойным, будто спала.

Чужая, чужая, совсем чужая, не ведомая никому из собравшихся и никому из живущих поблизости, и вдали, и в других городах, в другом мире, погружившая свое ненужное чужое тело в мутные быстрые воды по чьему-то там велению или прихоти, чтобы лежать потом на прибрежной траве со спокойным лицом среди живых, не чувствующих себя чужими.

«Не может быть, — облегченно подумал Мятлев, возвращаясь через парк, — не может быть... Это было бы несправедливо».

— Ваше сиятельство, — проговорил Афанасий, продолжая всхлипывать, — так ведь мадмазель Александрина ушли, ушли, совсем ушли, из дому ушли... Они быстро так по лестнице побежали... и побежали, побежали... Ваше сиятельство, они через парк побежали... вот по этому самому пути, если позволите...

— Да что ты мелешь! — обозлился князь, но прибавил шагу.

— Они все про себя говорили, куда им идти... Ну куда им идти?.. И побежали через парк... А там река, ваше сиятельство.

Мятлев заторопился сильней. Афанасий семенил рядом, заглядывая ему в лицо. Завидев дом, они снова побежали, и лестница затарахтела, зашлепала под их ногами. Маленький их отряд ворвался на третий этаж, но Александрины не было.

— Может, она в город поехала, черт? — спросил Мятлев без надежды.

— Да нет же, ваше сиятельство, они прямо через парк побежали... а там речка... Они плакали очень, жаловались, если позволите, а после побежали...

— Да ты же видел, болван, кого из реки достали!

— Видел, видел, ваше сиятельство... чужую даму... из простых, если позволите... Но мадамзель Александрина тоже к речке побежали... прямо через парк...

Никто не заметил, как вошел доктор Шванебах, но насмешливый дух туалетной воды выдал его присутствие, и Мятлев велел Афанасию вновь повторить свой горестный рассказ.

Доктор слушал весьма сосредоточенно, слегка склонив голову и полуприкрыв свои голубые саксонские глаза.

— А что, — спросил он, не теряя мужества, — ты что, видел, как она добежала до реки? До самой реки?.. Или ты видел, как она побежала через парк?.. Это ведь разные вещи, — улыбнулся он сдержанно.

— Господин Шванебах, — взволнованно произнес Мятлев, — время не ждет. Мы теряем драгоценные минуты.

Горничные начали всхлипывать снова.

— Если она просто шла через парк, — самоуверенно продолжал доктор, — то это еще не дает нам оснований подозревать ее в трагических намерениях, — при этом он внимательно вглядывался в окно, словно там вот-вот должна была показаться Александрина, — если даже, предположим, ты (он сказал это Афанасию) видел, что она была на берегу, то это тоже еще ничего не значит, ибо, устав от болезни, могла захотеть просто прогуляться. Я полагаю...

— А слезы? А ее слова?.. А бегство?.. — мрачно спросил Мятлев.

Доктор пожал плечами.

— Они совсем ушли, ваше сиятельство, — заторопился Афанасий, — плакали и так и сказали, если позволите, что им больше некуда... на Невку торопились... Я говорил,

если позволите, куда же вы? Зачем такое, мадамзель? А они: да оставь меня, господибожемой!..

— Вот видите! — закричал Мятлев. — И ты, болван, не мог схватить ее за руку, удержать?! Вот видите, господин Шванебах, как это было? Теперь-то вы видите?

И вот уже с доктором они снова устремились к реке по горячим следам, проложенным бедной молодой страдальцей, но берег был тих, река мутна и пустынна, и их нелепые фигуры казались дикими изваяниями среди ранних сумерек...

Затем, продолжая умопомрачительную борьбу с темными силами природы, Мятлев и доктор Шванебах уселись в коляску и, отворотившись друг от друга, носились по городу, по всем полицейским частям, покуда наконец судьба не жалилась над ними. (Но какая это была опять жестокая жалость!) Вдруг выяснилось, что в анатомический театр Мариинского госпиталя несколько часов назад свезли молодую утопленницу, тело которой было извлечено, «да, да, из Невки... Молодая особа благородного вида... да, да, длинные светлые волосы... да, стройна и весьма...».

Уже окончательно расшатавшая и пропыленная коляска полетела к Мариинскому госпиталю, где пожилой оператор повел обоих мужчин к леднику. Трудно описать состояние, в каком князь Мятлев переступил порог этого мрачного логова. Он вошел, сделал шаг и остановился в полной прострации. Он пытался разглядеть, что лежит на деревянном топчане в углу помещения, но не мог разомкнуть век. Вдруг он услышал, как доктор Шванебах произнес с облегчением: «Я так и знал, так и знал. Это не могла быть Александрина». Мятлев чуть не зарыдал и сквозь пелену набежавших слез увидел на деревянном топчане полуприкрытое рогожей тело давешней утопленницы.

— Ну вот, — сказал доктор Шванебах, когда они уселись в коляску, — вам бы следовало мне верить. Психическое состояние Александрины было еще не настолько плохо, чтобы она могла решиться... Молодой организм, знаете ли... — и уставился на князя.

— Да, конечно, — сказал Мятлев, уязвленный спокойствием саксонца. — Но что же с ней стряслось?

— Гадать — не моя профессия, — проговорил доктор. — Тут я бессилен. Но полагаю, что худшее позади... — И он с достоинством улыбнулся. — Вам бы, од-

нако, не следовало медлить тогда, в те дни, когда у вас все было еще хорошо... Да-с, вот так... А теперь что ж.

— Но Александрина... — вскрикнул Мятлев, — она побежала к реке... она побежала к Невке... через парк... она плакала...

— Еще бы, — ответил господин Шванебах с профессиональным спокойствием, — я этого и не отрицаю. По всей вероятности, ее тело зацепилось за что-нибудь под водой... Но мы бессильны, ваше сиятельство...

25

Прошло несколько месяцев. Началась зима. Реки остановились.

Мой князь после всего происшедшего искал забвения где только мог: пустился было во все тяжкие по старой памяти, прибившись к прежним своим соратникам по шалостям и шалопайству, но вскоре отошел от них, ибо нельзя человеку дважды вступать в один поток, хотя он все же успел добавить к печальному своему послужному списку не одну шумевшую историю, не раз возмущив и огорчив окружающих и даже самого государя. Затем, не найдя в том забвения, отправился в свою Михайловку, где нашел хаос и запустение, устроил нагоняй ленивому управляющему, хотя сам нагоняй был также ленив и беспомощен, побродил в одиночестве по заснеженным лесам, поскучал в обществе одичавших и несносных соседей, вдруг пристрастился к писанию различных историй, иногда из собственной жизни, но чаще придуманных, достиг в этом даже некоторых успехов, внезапно почувствовал себя лучше, спокойнее и воротился в Петербург.

Тут снова с чудовищной изысканностью встретил его круглолицый Афанасий, напьяливший по случаю приезда князя поношенный цилиндр, и несколько притихшая рыжеволосая Аглая испуганно улыбнулась ему, оправляя все то же пурпурное платье. И снова знакомые вещи и стены подступили к глазам, напоминая не только о былых обидах, но и о минувших празднествах. Все уравнилось, улеглось, утихло. Однако это, очевидно, лишь казалось, ибо если мы не осознаем кратковременности своего земного пребывания, то наша природа сама, на свой страх и риск, вынуждена руководить нами, заставляя нас все-таки

совершить то самое, что определено нам свыше. И вот будто все улеглось, уравновесилось, утихло, а на самом деле ничто не улеглось и ничто не уравновесилось, а лишь усовершенствовалось, чтобы кружить и мучать, и испытывать нас снова.

И потому, преодолев отвращение к длительным поездкам, в отчаянии ринулся он в Паспортную экспедицию выхлопотать себе разрешение на заграничную поездку, придумав укатить в Англию, а оттуда в Новый свет, где иные берега, иные нравы, менее губительные, чем среди этих болот, но ему опять не повезло, ибо его решение совпало уже со вторичным отказом проклятого господина Головина вернуться в Россию, и потому резолюция, начертанная на его прошении, была холодна и недвусмысленна.

Наконец он вспомнил о моей благословенной теплой стране, голубоватой с рассветом и розовой на закате, и образ Марии Амилахвари встрепенулся в его сознании как исцеление от скорбей, но силы уже оставили его, и он махнул рукой, позволяя провидению поступать как ему заблагорассудится.

Без внутреннего содрогания, с легкой грустью прошелся Мятлев по комнатам второго этажа, успевшим покрыться пылью и растерявшим ароматы свежих кож, и дерева, и красок. Это были отличные комнаты, еще недавно сооружаемые с любовью для жизни, но которые теперь напоминали всего лишь добротню сработанные, живописные полотна, где тщательно выписана и продумана каждая мелочь, но в которых невозможно поселиться.

Грустью пустыни веяло от этого холодного жилья, не будя воспоминаний, ибо нога Александрины не ступала по этим прекрасным и обновленным полам и руки ее не касались столь же прекрасных молчаливых предметов.

Побродив по комнатам и не найдя в них отклика своим чувствам, Мятлев велел заколотить и эти двери, чтобы не возвращаться в прошлое.

Снова все тот же persiflage.

Однако прошлое, как бы оно ни отдалялось, живет ведь в нас, ибо оно и есть наш злополучный опыт, который и придает нам сознание нашего исключительного значения и ощущение нашего удивительного ничтожества и делает нас людьми. И это прошлое обожает иногда являться к нам в различных облициях, чтобы напомнить о

себе легким прикосновением и помешать нам окончательно свихнуться от нынешних удач и от нынешних страданий.

Да, так вот, стоило лишь Мятлеву воротиться в Петербург по первому снежку к своим пелатам, стоило лишь избавиться от страшных воспоминаний, заколотить лишние двери, взять в руки остывшую было книгу с описанием чужих трагедий и чужих страстей, как Афанасий доложил, что госпожа Шванебах умоляет принять ее по неотложному делу.

Ничего не подозревая, он велел Афанасию впустить к себе сунругу странного эскулапа, приготовившись к лицезрению толстой самоуверенной немки, и был поражен, увидев перед собой еще довольно молодую, изысканно, с тонким вкусом одетую женщину, такую же голубоглазую, как и ее сунруг, с целым выводком таких же голубоглазых, как и она сама, мальчиков с крепкими шеями и мощными затылками, которые поклонились князю с благопристойным достоинством.

После всевозможных извинений и необходимых при встрече фраз, после выражений всяческих соболезнований по поводу летнего происшествия, что Мятлев воспринимал вполуха, она сказала:

— Дело в том, ваше сиятельство, что доктор Шванебах покинул нас... Да, да. Нет, это случилось не нынче, я бы не стала вас обременять, мало ли что случается в жизни между сунругами... Ах, да совсем же, совсем... И не нынче, а тогда, в гот раз, именно сразу же за той печальной историей, после которой и вы сами, ваше сиятельство, в скором времени покинули Петербург. Я понимаю, как это было, наверное, невыносимо после всего, что произошло. Я не имела чести знать ту женщину, но господин Шванебах всегда так обстоятельно делился со мной своей работой и так всегда рассказывал о своих делах, что я ощущала себя знакомой с той женщиной и искренне сочувствовала и ей, и вам, и господину Шванебаху, ибо он крайне нервничал и дошел до полного душевного истощения за время болезни той женщины. Когда же случилось это, а об этом я узнала от господина Шванебаха, я, зная о его привязанности к той женщине, ожидала переживаний, даже слез, наконец, нервного оцепенения, как это бывает, но случилось то, к чему я никак не была готова, а именно — доктор Шванебах был совершенно спокоен,

словно ничего не произошло, слегка рассеян, что на него не походило, и очень деловит. Мне показалось, что он даже несколько помешался в рассудке, и я, и мои мальчики всячески за ним ухаживали, чтобы успокоить его, потому что если бы он, ваше сиятельство, поплакал, то этого с ним не случилось бы, но он никогда не плакал и, видимо, напряжение ударило в голову... Так я предполагала, ваше сиятельство, и не отходила от него, ибо сильные люди в отчаянье готовы на самые решительные поступки... И вот, ваше сиятельство, он все-таки сумел как-то ускользнуть от нас и исчез...

«Бедный доктор, — подумал Мятлев, — как было велико его отчаяние, если он смог наложить на себя руки и оставить таких мальчиков и такую прелестную супругу».

— Да, в нем было что-то лихорадочное последние дни, — сказал он с участием, — помню... Я помню, как он распался, накаливался, странно говорил, и вообще я помню, какой он был... Да, я помню, я теперь понимаю, отчего он так отводил глаза, когда говорил со мною, и как он нервничал и, когда ее выслушивал и выстукивал, как он при этом обреченно к ней склонялся, как будто он там что-то такое про себя уже наметил тайне...

— Так вот, ваше сиятельство, — продолжала госпожа Шванебах, не слишком внимая князю, — он исчез. Я была в отчаянии, мои мальчики сбились с ног, отыскивая его самого или хотя бы его тело, ведь в таком состоянии сильный человек способен на все, но все наши поиски оставались безуспешными и скорби нашей не было границ, как вдруг, ваше сиятельство, я, окаменевшая от горя, обнаружила, что вместе с господином Шванебахом исчезли некоторые вещи, без которых он никогда не обходился. Это были такие вещи, которые не берут с собою, если решаются расстаться с жизнью. Это был не носовой платок, ваше сиятельство, который можно унести в кармане, и не табакерка, и не кошелек с мелочью... Ну-ка, мальчики, перечислите предметы, которых мы не обнаружили...

— Английская бритва со всеми бритвенными принадлежностями, — сказал первый мальчик вполголоса.

— Это была отличная бритва, подаренная господину

Шванебаху его старшим братом, которою он очень дорожил, — пояснила госпожа Шванебах. — Дальше...

— Несколько пар хорошего голландского белья, — доложил второй мальчик.

— Видите? — сказала госпожа Шванебах. — Четыре пары!..

— Два больших медицинских справочника, по восемь фунтов каждый, — сказал третий.

— Ну вот видите? — развела руками госпожа Шванебах. — Шестнадцать фунтов бумаги!.. Не слишком ли много для ут пленника? — и прищурила свои голубые саксонские глаза.

— Еще плед, — сказал первый мальчик.

— Да, еще плед, — вставила госпожа Шванебах. — Это был его любимый плед, — и она горько засмеялась. — Было бы странно, если бы он ушел без него... Теперь вы видите? Ну, и наконец, он взял ровно половину наших денег... Когда я все это увидела, я поняла, что доктор Шванебах жив. Но что это все должно значить, ваше сиятельство?

Действительно, что бы это могло значить? А какое дело ему, Мятлеву, до исчезновения доктора Шванебаха, человека неопределенного, смутного, уже позабытого, позволявшего себе всяческие намеки, недомолвки; человека с мощной шеей, подпертой безупречным воротничком, распространявшего тошнотворное благоухание туалетной воды, плохо воспитанного и постороннего?.. Действительно, что бы это могло значить?.. Уж не значило ли это то, что доктор Шванебах и не помышлял о смерти, просто улизнул от каких-то своих трудностей, своих сложностей к каким-то своим радостям, до поры сохраняемым в тайне?.. Да мало ли мужчин, бегущих прочь из рая, основанного ими же самими?.. Чего же она хочет?.. А может быть, этот изысканный саксонец пришел в ужас, увидев однажды себя самого в этих трех голубоглазых своих наследниках, педантичных и подчеркнута благородных?.. Бедная Александрина!.. Как он замирал, слушая ее игру, и как он прижимал свое ухо к ее груди, когда она и не думала даже кашлянуть или задыхаться, и как он, прибегая по утрам, тотчас же прижимался к ней, ощупывал ее своими короткими сильными пальцами, обнажая ее плечи, грудь, откидывал одеяло небрежным жестом хозяина... Бедная Александрина!

— Ваше сиятельство, — по-деловому осведомилась госпожа Шванебах, — а вы сами видели тело той женщины? Или его так и не удалось обнаружить?.. Вы больше не предпринимали... вы не интересовались впоследствии... я понимаю, что оно могло зацепиться за что-нибудь, но ведь могло быть и так, что впоследствии... да, перед тем, как реке остановиться... Да, я понимаю, что сейчас лед толст, конечно... Но если бы вы при ваших связях похлопотали бы о поисках этого тела... Вы знаете, ваше сиятельство, я подумала, что ведь могло быть и так... сохранил... спор... владений... документы... курительного табака...

Бедная Александрина. Он пообещает госпоже Шванебах все, что в его силах... Но что это даст? Он понимает ее состояние, разделяет ее горе, но что это даст? Уж если она обеспечена и ей не грозит нищета, что ей этот обезумевший саксонец, бежавший в неизвестность под сенью собственного плеча?.. Бедная Александрина...

Сначала Мятлев всеми силами старался сдержать данное госпоже Шванебах слово, пытался связаться с нужными людьми, но все как-то не удавалось, он откладывал, госпожа Шванебах не напоминала, затея показалась пустой, начала раздражать его, и он уgomонился.

26

«...но этого ему было мало. Он подобрал на улице подозрительную девицу, пообещал сделать ее княгиней Мятлевой (как титулы обесценились!), всячески по своему обыкновению надругался над нею, а затем отвернулся.

Несчастное создание утопилось, а он как ни в чем не бывало продолжает злодействовать, всячески пренебрегая общественным мнением.

Известный своими антиправительственными взглядами князь Приимков, несмотря на положительный запрет посещать столицы, прокрадывается в Петербург и останавливается, у кого бы Вы думали? Да все у него же, у этого человека.

Слуга этого человека появляется на улице в вечернее время в самом предосудительном виде: в шляпе черт знает какого фасона, в валяных сапогах и в манишке, пугая тем самым приличную публику...»

(Из анонимного письма министру двора его величества.)

Как-то, когда морозный день склонялся к сумеркам, а сумерки в зимнем Петербурге кратковременны и сизы, за чугунной оградой вновь возникла знакомая фигура в длинном пальто и башлыке.

Фигура эта возникла, как и в прошлый раз, внезапно, напоминая праздным жителям земли, что общество бодрствует и о них печется. Не позволяя себе ничего непристойного, господин в башлыке совершал свой медлительный моцион, покуда наконец Мятлев, сгорая от любопытства, не вытолкал упирающегося Афанасия прогуляться по морозу.

— Ваше сиятельство, — сказал Афанасий, натягивая валенки и нахлобучивая цилиндр, — я, если позволите, не против того, чтобы погулять, да ведь этот народ шутить не любит, ваше сиятельство...

И, торжественно переставляя кривые ноги, мнимый господин Труайя отправился заключить в объятия своего мнимого соседа. Однако случилось так, что человек в башлыке на этот раз вел себя значительно натуральнее, без опаски и, не дожидаясь намеков со стороны Афанасия, сам приступил к делу, пожаловавшись на мороз и ветер. Афанасий, обрадовавшись возможности спастись от утомительного и холодного гуляния, не замедлил пригласить его в дом. И Мятлев увидел, как восхитительная парочка проследовала на крыльцо.

Камердинер поил гостя чаем, угостил ромом, но, как ни старался, гость ко второй рюмочке не притронулся. Отрекомендовался он Свербеевым, сообщил, что служит по ремесленной части. Афанасий дал ему лет сорок — сорок пять. У него было морщинистое обветренное лицо, маленькие печальные глазки и такие же печальные свисающие усы. Разговор шел ненавязчивый и пустой — о ценах, о погоде, — и Афанасию, как он докладывал утром Мятлеву, хотелось зевать, да и только, если бы гость, как бы между прочим, не обмолвился о летнем происшествии и если бы, уже уходя, не выразил удивления об образе жизни князя.

— Что же его удивило? — спросил Мятлев.

— А вот что, ваше сиятельство, — сказал Афанасий. — Как же это так, говорит он, князь ваш, если позволите, одиноко живет? Наверное, у него и друзья такие

же одинокие все?.. Что ж, он так все и читает, и читает?.. Да, говорю, представьте... А к нему, говорит, из провинции, например, не заезжает никто? Или еще откуда-нибудь?.. Нет, говорю, не заезжают... Что ж это он, говорит, так все и читает, и читает? А потом говорит: конечно, князь... чего ж ему не читать... А когда уходил, спросил: может, говорит, из Тульской губернии кто приезжает? Да что вы, говорю, почему из Тульской?.. К примеру, говорит.

Могучий дух бессильного хромоножки витал над Петербургом. Это он заставлял печального господина Свербеева совершать предосудительные моционы, превосходя все возможные нормы пребывания человека на холоду, и он приводил поручика Катакази в трехэтажный деревянный княжеский дом, пользующийся сомнительной репутацией, где поручика не пускали дальше вестибюля, терзая его амбицию, и это он, этот дух, вынуждал натягиваться, дрожать и звенеть тонкую крепкую и невидимую ниточку, связывающую именование хромоножки со штабом всероссийских следопытов, по которой определялись настроения и поползновения опального князя.

Что заставляло этот совершенный механизм прислушиваться так напряженно: а нет ли предосудительных звуков среди его колесиков, смазанных с умопомрачительным расчетом и старанием? Ведь волна, всплеснувшаяся однажды на Сенатской площади, давно утихла, и Герцен проживал в изгнании. И орды тупых невымытых студентов с отвращением истинных верноподданных отрещивались ото всего, что могло бы смутить их дух, и пели свои несуразные гимны во славу чревоугодия и безобидных для государства шалостей с продажными женщинами. И уж больше ничего не оставалось мало-мальски стоящего пресечения, и, наверное, потому на фоне общего благоденствия могучий дух бессильного хромоножки казался более угрожающим, чем тайные заговоры минувших времен.

А мой князь? Ему-то что за дело было до всех этих сложностей своего времени? Да и не сложностей даже, а ухищрений, годных, пожалуй, лишь на то, чтобы приниженное ровное течение жизни не нарушалось ни вздохами, ни словами и ни поступками. Да что он и мог-то? Он знал, что ничего, а потому и не требовал себе пьедестала. И с грустной усмешкой сравнивал себя со студентами, ибо если они пели гимны чревоугодию, то и он пел, хоть его

стол отличался бóльшим обилием, и если они, не желая умерщвлять свою плоть, обнимали своих невымытых женщин, то ведь и он тоже, хоть его дамы иногда были утонченней и от них не пахло клопами и сыростью. Он так и вступил в сознательный возраст, не помышляя о больших возможностях, даже будто не подозревая об их существовании, и, угождая общему благополучному уровню, даже не прослыл консерватором. И только внезапная усмешка озаряла его вытянутое лицо, когда он слушал пространные и чудовищные рассуждения Андрея Владимировича, ибо соглашаться с хромоножкой — значило причислить себя к пустым говорунам, а обосновывать свой скепсис было бесполезно.

Бушуйте, изрыгайте проклятия, похваляйтесь своим безрассудством, а машина будет монотонно гудеть, перемалывая вас вместе с вашими фантазиями, и неведомая вам сила будет вас увлекать за собою вместе с другими счастливыми туда, туда, куда ей надобно, куда она желает. Она растоптала уже всех дерзких поэтов и всех молодых офицеров, поверивших было в самих себя, и бедную Александрину, как она ни противилась и как ни стучала маленьким кулачком по колену, и господина Шванебаха, и многих других, и многих других...

Ну, допустим. И все же уподобление червю, тому дождевому, розовому, мягкому, — это ли наш удел? Вот в чем вопрос... Душа, как и тело, должна быть упругой и неподатливой... Ах, князь, не слишком ли ты обмяк!..

...И все было именно так, как вдруг из заиндеветших зарослей опять потянулись к дому торопливые маленькие лукавые следы. Кого бы, вы думали?.. Они стремительно пересекли лужайку, потоптались за кустами роз, замерли на мгновение и тут же посыпались, как из рога изобилия, выстрелили по заснеженной веранде, обогнули дом и устремились к крыльцу.

— Вас спрашивают, — зашептал Афанасий, изображая на круглом лице подобие улыбки. И распахнул двери.

— Господи, — удивился Мятлев, — это вы?

— Вот вам и господа, — засмеялся господин ван Шонховен, пунцовая, — а вы думали... кто же?

Мальчик заметно подрос за долгую разлуку. На нем был все тот же армячок, но постаревший и укоротившийся, все те же черные валенки и шапочка из малинового сукна. И удлинившиеся худенькие ручки тянулись вдоль

тела, словно маленький солдатик собирался отпрапортовать о своем счастливом прибытии. Темно-русые волосы самоуверенно выбивались из-под шапочки, большие серые, удивительно знакомые глаза открыто изучали князя.

— А вы все в том же калате, — сказал мальчик, — будто и не снимали, — и уселся в кресло, и поболтал ногами. — Мы с татап успели за лето побывать в Италии, — сообщил он, — в Риме и Генуе, и купались в море. Затем мы обосновались у нас в деревне, думали там провести всю зиму, но мои слезы.. — он засмеялся, — и татап, для которой деревня — ужас, а она решила там сидеть, чтобы проучить Калерию, это моя тетка, длинноносая пигалица, но мои слезы, и бледный вид, и страдания, — он снова засмеялся, показывая ровные белые зубки с детскими зазубринками по краям, — эй, запрягайте лошадей, да поживее, да несите вещи, да пеките пироги!.. За нами волки бежали, — сообщил он, тараща глаза, — вам не страшно? Правда, правда, четыре облезлых волка, и мы им скормили кучу хлеба и костей... Страшно, да?.. У-у-у, татап ругала меня всю дорогу, а у меня в голове было одно: приезжаем и я бегу через парк к вам... Вы рады? — и снова запунцовел.

— Давно ли вы приехали? — спросил Мятлев, радуясь появлению господина ван Шонховена. — И как хорошо, что вы ко мне прибежали... Ах, третьего дня?.. Надо было бы сразу, сразу. Как приехали, надо было бы сразу ко мне...

— Легко сказать, — засмеялся господин ван Шонховен, — сразу... Тут нужно было подготовиться, сударь, все учесть, взвесить... сразу. У мадам Жаклин, у моей гувернантки, вдруг начался жар, прямо с неба свалился, такая удача... сильный жар... инфлуэнца... Надо было пошарить в сундуке, куда же этот проклятый армяк запропастился?.. «Ты что это там ищешь?..» — «Ах, татап, здесь ленточка была...» — Он вдруг потупился. — Конечно, мне бы следовало известить вас, а не врываться без предупреждения, да что поделатъ, князь?..

— А теперь, господин ван Шонховен, — сказал Мятлев, — раздевайтесь, устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, беседа не оскорбит вас. Я велю подать чаю...

— Э-э-э, что за глупости, — рассердился мальчик, — вечно вы с какими-то церемониями... Далась вам моя одежда. Мне и так хорошо... Впрочем, ежели это вас шо-

кирует, извольте, — и господин ван Шонховен стянул с головы малиновую шапочку и резко швырнул ее в угол.— Извольте, коли так, — и темно-русые волосы рассыпались по плечам.

Мятлев рассмеялся и велел подать чаю и, пока распорядился, поглядывал на господина ван Шонховена краем глаза, мучительно соображая, кого же ему напоминает это худенькое произведение природы.

— А я был бы рад получить от вас письмо, — сказал он. — Что ж вы не решились?

— А о чем писать-то? — засмеялся мальчик. — Выезжаю — встречайте? Да?.. Представляю удивление татап, когда б она узнала, что я пишу в ам... Как, отчего? Да оттого что я никому не пишу, а тут вдруг пожалуйста... — сказал господин ван Шонховен, попадая рукавом в варенье. — Ну вот... — расстроился он и принялся вытирать рукав салфеткой, — о вас и так всякие разговоры, и вдруг я вам пишу...

— Господин ван Шонховен, — сказал Мятлев, мрачней, — ежели общение со мной расценивается как предосудительное, то вам бы не следовало...

— Да, может, лестные разговоры, — забормотал мальчик смущенно, — может, вовсе и не предосудительное... почем вам знать? — и снова влез в варенье, и снова смешался.

— Снимите этот армяк, ради бога! — взмолился Мятлев. — Чего зря мучиться?

Господин ван Шонховен, не подымая пунцового лица, торопливо и послушно скинул армячок, швырнул и его куда-то, и остался в подобии гусарского мундирчика, очень ему идущего, и вновь уткнулся в чашку.

«Ба! — подумал Мятлев. — Что такое! Что такое?..»

Действительно, что-то такое вдруг произошло, что-то изменилось непонятным образом в облике господина ван Шонховена, в том, как он наклонился над чашкой, сужая худенькие плечи, и темно-русые волосы хлынули, скрыв пунцовое лицо, когда он поднес чашку к губам.

— А знаете, — сказал Мятлев, ничего не понимая, — я ведь вспоминал о вас, ей-богу, у меня даже в дневнике есть об том запись. Вот видите, как я помнил о вас...

— Э-э-э, — сказал мальчик, — будет вам, сударь, утешать меня. Я не ребенок.

Конечно, господин ван Шонховен заметно повзрослел.

Это бросалось в глаза при первом же взгляде. Не только рост, но и осанка, и жесты, и манера изъясняться, что так свойственно мальчикам в пору созревания, когда они начинают осознавать себя маленькими мужчинами и пытаются под небрежностью интонаций скрыть рвущуюся из глубин непосредственность, — все это говорило о том, что господин ван Шонховен перевалил известный рубеж и теперь ему предстоит, освободившись от детских пут, отшвырнув их от себя, как шапочку малинового сукна, приобщаться к главной жизни, спотыкаясь, падая и подымаясь вновь, ибо все, что было, оно как бы не было вовсе, и считаться с ним смешно и стыдно, тем более перед лицом предстоящего. Конечно, господин ван Шонховен заметно повзрослел, и все-таки не это, не это теперь заботило Мятлева, поглядывавшего на мальчика украдкой. Что-то такое произошло, что требовало объяснения, а что, понять было невозможно. Оно ускользало, вырывалось, таяло в руках и в сознании, словно первый ненадежный снег. И Мятлев усиленно старался распутать клубок, слушая торопливый рассказ господина ван Шонховена о вчерашнем утреннике в одном доме, где он впервые танцевал и где в первом же танце ему достался толстый и скучный четырнадцатилетний мальчик, и как это все было с первой минуты весело и «даже захватывало дух», но потом господин ван Шонховен «заскучал, заскучал», ибо все девочки были жеманны и несносны, а мальчики «глупы и ленивы и задавали дурацкие вопросы»... Потом пили чай со свежими булками и свежим маслом, «очень вкусно», и было много конфет и лотерея, но господину ван Шонховену все это «безумно надоело», и он потребовал, чтобы «несносная Калерия» увезла его домой...

— Когда бы вы там были! — вздохнул господин ван Шонховен.

Тут он отставил пустую чашку и размягченно откинулся на стуле, изображая сытость и довольство. Да, но кого он напоминал при этом, тонкими ручками оправляя непослушные темно-русые волосы, ниспадающие на узкие плечи, широко распахивая серые глубокие глаза, расточающие мягкий свет? Нет, он не наш, он из другой страны, Эолов сын, погруженный теперь в созерцание неуклюжего шедевра, повисшего перед ним на стене, или делающий вид; танцевавший вчера на детском балу, где девочки были несносно глупы и жеманны... да неужели все?

— Ну да, одна несноснее другой, — подтвердил господин ван Шонховен, — уж будто вы не знаете. Уж вам ли не знать... Все — маленькие калерии... и маленькие тапап.

— И вам ни одна из девочек не понравилась? Да вы Синяя Борода, господин ван Шонховен!

— Когда придет весна, — сказал мальчик, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, — давайте отправимся вместе смотреть, как на большой Неве ломается лед?..

Да, это будет чудесная прогулка, если, конечно, не помешает Калерия или какая-нибудь мадам Жаклин, но неужели это возможно, чтобы господину ван Шонховену не понравилась ни одна девочка? Он помнит, что когда ему самому было... э-э-э?

— Тринадцать, сударь, тринадцать...

...да, когда ему было тринадцать, он не был Синей Бородой и любил дарить девочкам, ну, например, цветы, и он защищал их от посягательств всяких толстых и наглых мальчишек... и...

Тут господин ван Шонховен всплеснул руками и расхохотался. Ах, какой недотепа этот Мятлев! Ну можно ли быть таким недотепой? Да кому же он, ван Шонховен, может преподнести цветы?.. Какая чепуха!.. Какая чепуха!..

Он вскочил со своего стула, покатываясь от смеха, утирая слезы, слабея, хватаясь за стол, за подоконник, за живот, — стройный мальчик в гусарском мундирчике, такой прелестный хохотун, фантазер, шалунишка, танцевавший (только подумать!) с толстым четырнадцатилетним увальнем, который и на ноги наступал, и позволял себе говорить глупости...

Наконец господин ван Шонховен отсмеялся и замер у окна. Теперь его изысканный силуэт отчетливо темнел на белом морозном стекле. И Мятлев уже догадывался обо всем, уже догадывался, но он не позволял себе быть первым: это могло прозвучать грубо, а грубость в подобных случаях — преступление. Следовало набраться терпения, пока эта восхитительная мистификация не развеется сама собой.

— Мадам Жаклин сбилась с ног, — сказал господин ван Шонховен глухо, не оборачиваясь, — тапап меня порицает, Калерия приготовила отравленные стрелы... Те-

перь еще не скоро мадам Жаклин вновь почувствует себя дурно: она здоровá, как лошадь, — тяжкий вздох долетел до окна. — Вы обещаете взять меня весной на ледоход? (Мятлев пообещал.) Если хотите, я напишу вам письмо, ну, что-нибудь, если хотите... если вам это не покажется смешным... Ах, да это глупости...

— Помилуйте, — тихо сказал Мятлев, чувствуя развязку, стараясь не спугнуть погрузневшего господина ван Шонховена, — я буду даже рад... Мне скучно одному, и я вам отвечу... Но зачем письма? Отчего бы вам не забежать ко мне на чай?

— Князь, — с трудом проговорил господин ван Шонховен, — я хочу открыть вам ужасную тайну. Но вы поклянитесь, что не будете смеяться и презирать меня... Перекреститесь... вот так...

— Господин ван Шонховен, — еще тише произнес Мятлев, — можете мне верить... Так это правда?

Мальчик повернулся к Мятлеву. Теперь он стоял к нему лицом, вытянув ручки по швам, и старался не отводить взгляда. Он кивнул.

— Как же ваше подлинное имя?

— Лавиния... Вы меня прощаете?

Теперь уже не мальчик, а маленькая девочка прощалась с хозяином дома, и даже вовсе не маленькая, такая стройная тростиночка, начинающая барышня. Теперь уж в каждом жесте, в каждом движении сквозило это, и как Мятлев сразу не мог догадаться? Все, все выдавало ее, и лишь когда под шапочкой малинового сукна укрылись темно-русые пряди, смутный образ господина ван Шонховена возник на мгновение, но тут же растаял. Лавиния — жена Энея! Лавиния Бравура — дочь выходца из Польши. Она родилась после его смерти, и ее удочерил генерал Тучков. Сам же он скончался совсем недавно от апоплексического удара. Молодая вдова пыталась исклопотать себе право вернуть первую фамилию, но это было невозможно, да и чревато неприятностями, поэтому, оставаясь Тучковой, говорила «Мы — Бравуры», воздавая тем самым должное своей первой любви.

— Мамап никогда не говорит о генерале, — пояснила Лавиния на прощание, — как будто его и не было, — и засмеялась. — Бедный генерал... Зато портреты моего отца висят везде, и тетя Калерия очень опасается, что это плохо кончится...

Господин ван Шонховен?.. Это просто так. Ну, просто картина... Ну, у нее в комнате висит такая картина, на которой госпожа ван Шонховен... Ну, просто голландская дама. И, когда она была маленькой, ей хотелось быть похожей на эту голландскую даму. Да, очень красивая, в таком белом переднике, представляете? И в таком высоком капоре... И очень спокойный взгляд, как будто госпожа ван Шонховен достигла самого высшего... Чего? Ну, она не знает, что самое высшее, но ведь оно есть? Когда его достигают, оно открывается... Не-е-е-ет, папап до этого еще далеко!.. Уже пора, и пусть смешной человек Мятлева проводит ее до крыльца...

Она была рада, что князь пошел провожать ее сам.

Они вышли из комнаты и медленно спускались по лестнице. Дом был тих, словно необитаем. Лишь легкое потрескивание старого дерева раздавалось иногда, да откуда-то снизу долетало едва слышное бормотание, чья-то неразборчивая, глухая речь.

На втором этаже они миновали грубо заколоченную дверь в комнаты бедной Александрины.

— Вам не страшно одному в доме? — шепотом спросила Лавиния, словно незримая тень погибшей женщины коснулась ее плеча.

Внизу звуки жизни усилились. Теперь бормотание слышалось отчетливее. Золотоволосая Аглая, ловко обходя мраморные изваяния, проследовала с самоваром в комнатку Афанасия. Она смущенно поклонилась Мятлеву и скрылась за дверью. Сквозь маленькие окна вестибюля пробивались солнечные лучи.

— Все, — сказала Лавиния. — Дальше я сама. Вы меня прощаете?

И она бесстрашно устремилась в обратный путь через залитый зимним солнцем необитаемый парк, утопая в снегу, вскидывая худенькие ручки, оставив Мятлева недоумевать и восхищаться.

Возвращаясь через вестибюль, Мятлев краем глаза заглянул в полуотворенную дверь комнатки Афанасия. Камердинер сидел за столом без кафтана, в одной рубашке, с чайным блюдцем в растопыренных пальцах и с неизменным Вальтером Скоттом в другой руке. Ярко-красный шейный платок не первой свежести изобличал в нем откровенную пошлость и нескрываемое пристрастие дурить головы своим собратьям, которые видели в нем

почти что аристократа, если и не по происхождению, то уж, во всяком случае, по повадкам.

Перед ним возвышался самовар, а слева от него, вальяжно раскинувшись в старом, отслужившем барском кресле, восседал господин Свербеев собственной персоной и окунал в блюдечко длинные усы.

«Какое неприятное лицо, — подумал Мятлев о Свербееве, отходя от двери. — Вот уж действительно феномен».

И все же он не мог не рассмеяться над увиденной идиллией и не одобрить действий ловкого камердинера.

Усатая птичка была в руках и, обжигая крылышки о самовар, надеялась угодить своим высоким покровителям, ни о чем не беспокоясь. Постепенно лицо шпиона потускнело, а вместо него в сознании возник образ хромоножки, связанного со шпионом невидимыми узами. Мятлев вдруг понял, что опальный князь — единственный, кто может понять его и оценить ситуацию. И он написал ему странное письмо, в котором были и такие строки:

«...что поделаешь, дорогой Андрей Владимирович? Блеск и независимость александровского поколения не для нас с Вами. Это теперь воспринимается как сказка, как восхитительная идиллия. Знаем лишь понаслышке. Наш удел — прозябание. Я уже не вижу, ради чего жить, не существовать, а жить, с вдохновением и надеждами. Был человек, которому я намеревался служить, бедная прекрасная женщина (Вы знаете), но и она стала жертвой все той же силы, которая безраздельно гнетет и нас.

Теперь благодаря Вам, а может быть, и некоторым моим былым «сумасбродствам», я взят под подозрение и обложен, ровно медведь в берлоге, и мне, поверьте, даже протестовать не хочется. Что мой протест? Тот самый шпион, которого Вы обнаружили однажды висящим в печной трубе вниз головой, теперь посещает мой дом на правах близкого приятеля Афанасия и пьет с ним чай из самовара. Представьте себе на минуту, что хозяин этого дома не я, махнувший рукой на добро и зло, а мой отец со своими принципами, с понятиями чести, с представлениями о долге в просвещенном государстве. Да он бы взял палку и вышвырнул шпиона, да еще не преминул бы прибить шпионского начальника, посмеявшегося додуматься до такого фарса. Впрочем, в те времена разве могло бы случиться что-нибудь подобное? Тогда и шпио-

ны-то были благородней, не то что нынешние голубые, многочисленные, полуграмотные, все сомнительного происхождения. Я уж не говорю о господах свербеевых, об этой низшей ступени шпионства, которые и мерзнуть готовы, и в дымоходах висеть.

Что же остается? Я любил женщину — она погибла. Офицерская служба мне не удалась, она не для меня. Служение общественному благу мне отвратительно, ибо я в него не верю, да и вообще официальные соблазны меня не влекут. За это в меня тычут пальцами и осыпают упреками, а теперь и вовсе приставили шпиона. Вам кажется, что Вы крайне значительны в своих разоблачительных писаниях, дай Вам бог, как говорится, но я не вижу в сем проку.

Быть может, мне следовало бы жениться и зажить помещиком? Да вы-то верите в сей путь? И на ком? Что-то я их не вижу... Едва я в шутку заикнулся об этом моей сестре, как она тотчас подсунула мне свою высокородную подопечную красавицу с коровьими глазами. Вы бы посмотрели на это чудовище! Нет, князь, увольте.

Я было вздумал удрать (это давно уже меня мучает), уехал в деревню, а там еще хуже. В столице мы хоть научились (опять же по слабости) прикрывать свою беспомощность мишурой и блеском, видимостью цивилизации, а там все обнажено и потому отвратительно.

Ходят слухи о каких-то реформах, да разве они возможны, ежели каждый третий — переодетый полицейский?..

Вчера со мной опять случился мой приступ. Я гулял возле дворца Прасковьи, когда почувствовал его наступление. Видимо, он продолжался дольше обычного, так как, когда все прошло, я находился уже на Большом проспекте. Пустой извозчик ехал рядом со мной и с ужасом на меня поглядывал. Я уселся к нему и отправился домой. По дороге он рассказал, будто я совал ассигнации проходящему, который принимать их от меня отказывался, хотя я о том его просил и шел за ним по пятам, покуда не очутился на Большом проспекте. Мне же помнилось, что я встретился с генералом Балмашевым. (Вы, по своим занятиям, не можете его не знать), который почему-то вручил мне свой английский микроскоп, а денег брать не хотел.

Говорят, в Москве есть доктор Моринари, пользующийся подобными таинственными недуги...»

...Закончив письмо, Мятлев задумался и вдруг услышал странные звуки: то ли хоровое пение, то ли горький плач, и все это под аккомпанемент хлопающих дверей. Он вышел из комнаты. Несколько разноцветных фонариков мерцало по лестнице и по переходам, почти не рассеивая мрака. Внизу, там, где неподвижно страдал мраморный нарощ, простирая в мольбе навстречу друг другу холодные руки, металась чья-то непонятная, бестолковая тень, спотыкаясь, и падая, и поднимаясь вновь с глухими стонами и причитаниями... Это была тень незнакомого двуногого, и она с тупым усердием в непонятной тоске, запутавшись в мраморном лабиринте, кружилась, подвывая.

Внезапно из полумрака вывалилась рыжеволосая Аглая в белом переднике, вздымающемся на животе.

«Что такое? — подумал князь, пораженный размерами ее живота. — Вот новости!»

Живот и в самом деле был велик и тучен и расплзался, подобно опаре, так что Аглая тоненькими ручками с трудом придерживала его, но при этом дерзко глядела на Мятлева.

— Что это? — глупо спросил он. — Это что у тебя? Ты что?

— Обыкновенное дело, — ответила она непочтительно.

— Так ведь это живот, — поперхнулся князь. — Вон он какой. Как же это ты?..

— Обыкновенное дело, — повторила она и вдруг запричитала: — Ваше сиятельство, что ж теперь будет? Куда ж я такая, ваше сиятельство?.. Кабы вы ему внушение сделали!..

В бывших комнатах Александрины, за дверью, что-то упало, покатилося, зашлепало. Там, видимо, душа несчастной страдальцы, возмущенная открывшейся ей несправедливостью, застонала, заметалась. Мятлев заорал, призывая Афанасия, но слуга уже был тут как тут, в парадной ливрее с оторванным галуном, босой, с выражением отчаяния на глупой роже. За ним возвышался господин Свербеев. Он поклонился по-трактирному, хмельно и низко, и пошел прочь из дома, не затворив за собой дверей.

— Я, — сказал Афанасий, — осмелюсь доложить, им сказывал неоднократно: вы, мол, о чем думаете? У меня их сиятельство на руках, я человек обремененный. А они?.. Да ты, мол, что?.. Да ничего... да ты, мол, не бойся... да поди, мол, сюда... Да все меня в темень норовили... Ух-

валят и валят, и валят, бесстыжие глаза! Я им: опомнитесь, мол, сударыня, я вас не люблю...

«Какая прелесть!» — подумал Мятлев.

Босые ноги Афанасия пришепывали по паркету, оторванный галун болтался, будто маятник, указательный палец угрожающе тыкал в Аглаин живот, и дурацкий взгляд, полный отчаяния, был направлен туда же.

— Я им говорил: куда вы меня, мол, все валите, куда?.. Вы, мол, осмелюсь доложить, не представляете себе последствий.. Я не люблю вас! Я люблю другую! Но они не слушали голоса разума, не внимали, окаянные!..

Волнение оставило Мятлева, лишь расточительная скука да ощущение напрасности жизни повисло вокруг прозрачным облачком. Отдельные фразы еще достигали его слуха, и их неясный смысл еще проникал в мозг, но был безвреден. Мятлеву захотелось бежать из опостылевшего дома и не возвращаться до утра, но Аглая заголосила звонче, а в доводах Афанасия появились новые раздражающие нотки.

— Господь милосердный, — причитал он, — разве вы не помните, ваше сиятельство, как они гонялись за мной среди розовых кустов в тот самый день, когда ваша сестрица, их сиятельство, сами пожаловали к нам на веранду в обед, и доктор, немец этот, все с вами спорили... Уж как они за мной бегали, ваше сиятельство, без стыда и совести, а ведь я им шептал: опомнитесь, мол, отстаньте, сумасбродка, отцепитесь! Я другую люблю!..

— Ой-ей-ей!.. — голосила Аглая и горячим животом толкала Мятлева.

— Молчать! — заорал князь, подобно унтеру, и приотпнул ногой.

Несмотря на все мои уговоры, Мятлев в каком-то полубезумии предпринял самое ужасное: он решил обвенчать эту нелепую пару и тем самым восстановить, как ему казалось, поправную справедливость. (Заботы о восстановлении справедливости всегда благородны, однако не всегда справедливы, ибо насилие — плохое оправдание самым безукоризненным и законным порывам, к тому же и торопливость, как известно, — сестра неудач, а пылкость — сестра слепоты... Какая уж тут справедливость?)

Он решил это сгоряча. Буквально тут же передумал, хотел уже отступить, но что-то такое в нем щелкнуло, повернулось, и судьба несчастного Афанасия была решена.

Рыжеволосая Аглая торжествовала, а камердинер в отчаянии дошел даже до того, что, пренебрегши благоприобретенным апломбом, кинулся Мятлеву в ноги.

Князь понял, что поступил отвратительно, но отступить уже был бессилён. Надо было видеть, как он, затянутый в безукоризненный фрак, сопровождал несчастную пару в церковь. Лицо его было бледно и выражало плохо скрытое страдание. Что ж ты, князь?.. Как же ты это?.. Пристало ли тебе быть судьей неумолимым?.. «А судьи кто?» — как сказал поэт.

— Господибожемой! — прошелестел под венцом Афанасий, ломая руки.

Молодые поселились в уже знакомой комнате дворцового. Спустя недолгое время рыжеволосая Аглая разрешилась от бремени худосочным младенцем. Князь, мучимый угрызениями, загорелся было назваться восприемником, да младенец помер, так и не раскрыв глаз.

Жизнь продолжалась. Афанасий был молчалив, официален, подчеркнуто услужлив, весь — немой укор. Аглая пуще расцвела, подрагивала тугими бедрами и не отводила дерзкого взгляда, разговаривая с князем... Господин Свербеев продолжал захаживать теперь уже на семейный самовар, и они там за дверью скрипели стульями, шуршали, позванивали, позвякивали, так что суетливое эхо начинало метаться по дому, покуда не замирало в бывших покоях Александрины.

С некоторых пор Мятлев стал замечать, что к привычным звукам его полупустого обиталища начали прибавляться новые, еще неведомые, невесть откуда взявшиеся. То днем, а то и глубокой ночью раздавался непонятный треск, гул, какое-то постанывание, кряхтение, далекий замирающий крик. Мятлев срывался с постели, выскакивал из комнаты, прислушивался, но странные звуки прекращались, чтобы возникнуть уже днем на краткое мгновение, в самое непредвиденное время.словно воистину привидения, о которых гуляла молва, с короткими проклятиями проносились по пустым комнатам, на ходу отрывая старые доски или раскачивая стропила, а может, шайка разбойников хозяйничала среди чердачных переплетов, каждым неосторожным движением сея тоску и страх.

Наконец, потеряв терпение, Мятлев, сопровождаемый Афанасием, вооружившись фонарем и пистолетом, обследовал нежилые части дома и забитый вязкой пылью чер-

дак, но не обнаружил ничего подозрительного. Однако едва они воротились обратно, как тотчас где-то над головами, а может быть, сбоку, словно в насмешку, взвизгнуло нечто, как ржавый гвоздь, вырванный из гнезда, и забубнили какие-то голоса, запричитали... И вновь все смолкло.

Приближалась очередная зима, и дождь пополам со снегом, и низкие мрачные небеса — все это не способствовало душевному успокоению, а тут еще вакханалия зловещих звуков, так что Мятлеву увиделось вдруг синее поле, и желтый песок, и скала, поросшая лесом, и Мария Амилахвари на громадном, прогретом солнцем балконе, которой неведом Петербург в октябре... «Уехать! Уехать! — вновь воскликнул он про себя, как старый лебедь взмахивая слабыми крыльями. — Бежать, укрыться!..»

И я, старый дурень, поддерживал в князе эти желания, ибо видел, что затворничество и смутная тоска до добра не доведут.

28

Обычно в минуты меланхолии, когда слова вызывали у него отвращение, когда апельсины источали запах скипидара, пылинки ранили дыхательные пути, а прикосновение к шелку вызывало боль и он, чтобы предотвратить появление дурноты, выпивал несколько торопливых рюмок водки, в такие минуты окружающий мир переставал существовать: сады опадали, улицы глохли, соотечественники лишь предполагались.

Но однажды все нарушилось, и провидение надоумило Мятлева выйти из крепости, пересечь ров, миновать ворота, обмануть стражу и вновь окунуться в петербургский содом.

Сначала он испытывал странное, неудобное чувство неслитности с окружающим, но это не огорчало его, как должно бы было огорчать, и его улыбающаяся физиономия в очках стала привлекать внимание. Затем он вдруг почувствовал, будто вошел в воду и вода не холодна, а в самый раз: идти было легко, мягко, бесшумно. Затем он остановил извозчика и назвал первый попавшийся, как ему показалось, адрес.

Он ехал, и ничто не предвещало бури, но тайные силы делали свое дело. Внезапно он отпустил извозчика, словно увидел кого-то, идущего где-то там, впереди, ради ко-

того весь этот день, и поездка, и нарушение привычного хода жизни; и он, как ему показалось, побежал, взмахивая руками, едва касаясь носками мостовой, вытянув шею, всматриваясь и принюхиваясь... Наконец он увидел, как женщина вышла из кареты и направилась к парадному подъезду... Он летел что было сил... Она медленно, с трудом оглянулась. Ее прекрасное надменное лицо дрогнуло, глубокие темные глаза распахнулись... Она увидела приближающегося к ней князя Мятлева и успела заметить, что улица пустынна, что князь почти красив, несмотря на слегка впалые щеки и очки, что однобортный синий сюртук бледнит его, а серая шляпа слишком сдвинута к затылку, но в его спокойной, слишком спокойной походке есть какой-то отчаянный шарм; что у него глаза мудреца и улыбка прелюбодея.. И что там за вечные истории вокруг него?! И женщина, которая из-за него кинулась в Неву, — что это все значит?

Он неловко приподнял шляпу. Она неловко кивнула ему. На самом деле он не улыбался.

— Natalie? — сказал он просто. — Я будто знал, что вас встречу.

Графиня Румянцева оглядела улицу. Улица была пустынна.

— Надеюсь, вас это не очень огорчает? — спросила с удивленной благодарностью.

«Почему она всегда казалась неумной? — подумал он. — Она очаровательна, ей-богу...»

Злосчастное провидение с лихорадочной поспешностью ткало свою паутинку. Это оно заставило графиню беспомощно улыбнуться и проговорить несколько ничего не значащих фраз о каких-то своих делах, на что он тоже ответил, не придавая серьезного значения словам, но почти откровенно изучая ее и поражаясь все более и более ее совершенствам...

Они очнулись минут через сорок.

Она оглянулась. Улица была пустынна.

— Да разве я осуждала вас? — спросила она, продолжая разговор. — Это вам показалось... Напротив, мне... я всегда... в вас столько тайны и обаяния, князь... — Она покраснела, но продолжала исповедоваться: — Они не любят вас, а я почти люблю...

Неторопливый кучер задал лошадям овса.

М я т л е в. Почему-то мне казалось, что вы...

Наталья. Одиночество играет с вами злую шутку...

Мятлев. Пожалуй... Погодите... Мне бы хотелось...

Вы уходите? Я бы хотел продолжить нашу беседу...

Наталья. Что?.. Что вы имеете в виду?

Мятлев. Видите ли, Natalie, случилось так, что я...

Наталья. Нетушки, князь... Нынче это невозможно, вы же видите...

Мятлев. Можно было бы, например...

Наталья. Вы чем-то взволнованы...

Мятлев. Это вы взволнованы... Я не понимаю: вы такая молодая, прекрасная... мы с вами давно знакомы... мы садимся в карету... Я не понимаю...

Наталья. Мы садимся в карету, и что же?

Мятлев. Ну, кружим по городу...

Наталья. А-а-а, понимаю...

Мятлев. Да вы не понимаете. Куда вы все смотрите?.. Мы кружим по городу... Или, если хотите...

Лошади старательно доели овес.

Она огляделась. Улица была пустынна.

— Как с вами трудно, — сказала она в волнении. — Что-то вы все говорите, требуете... Я перестала понимать вас...

— Послушайте, Natalie, — сказал он совсем спокойно, почти вплотную подойдя к ней, — ну, хорошо, давайте сделаем так...

В этот момент из парадного с шумом вывалились два странных человека. Один был невысок, строен, безумно кудряв, совсем юн, в длинном мешковатом сюртуке, какие лишь начали входить в моду, с влажными губами, с блестящими глазами, с толстой бамбуковой тростью под мышкой.

Второй постарше, в преображенском мундире, поручик, высокий, несколько полноватый, губки бантиком, водянистые глаза, в левом кулаке громадная красная роза, свесившая головку без половины лепестков.

— Вот они где! — радостно крикнул тот, что в цивильном.

— Ах, — сказала Наталья, — вот шарлатаны... как из-под земли... Мои племянники, — сказала она Мятлеву.

— Михаил Берг-третий, — с напускной мрачностью представился поручик. — Двоюродный племянник...

— А это Коко Тетенборн, — сказала Наталья.

— Да, Тетенборн, — засмеялся кудрявый, — вот именно, и тоже племянник. Но я Тетенборн-второй, это во-первых,

во-вторых, племянник я троюродный, это в отличие от поручика Мишки: он Берг-третий, зато племянник двоюродный. В этом и разница. А кроме того, он бравый ландскнехт, а я, презирающий мечи и латы, титулярный советник, и в почтовом ведомстве нет лучшего знатока...

— Успокойтесь, Коко, — сказала Наталья. — Они вам нравятся? — спросила она у Мятлева. — Не правда ли, они милые?

Возбуждение не покидало князя, пока он выслушивал признания молодых людей. Он все не сводил глаз с Натальи и восхищался ею, да и юноши эти, такие разные, но, по всему, добрые, а дерзкие — так в меру, показались ему и впрямь очаровательными...

— У вас восхитительные племянники, — сказал он.

И вообще все кругом было хорошо: и полдень раннего лета, и пустынная, неумолимая Сергиевская, и серые в яблоках лошади перед каретой, и два невероятных племянника, и, наконец, сама Наталья, о которой он всегда почему-то думал дурно и уничижительно, а она, оказывается, мало того что красива, но полна всяких удивительных достоинств, которым не сразу и название-то подыщешь.

— Мы там сидим, — крикнул Коко Тетенборн, — а они, видите ли, здесь, под самыми окнами... Впрочем, мы наблюдали за вами сверху, — признался он. — О чем можно говорить в течение двух часов? А? Ну о чем?.. Ваша мама спрашивает нас: о чем это Natalie так долго, так продолжительно, так грациозно и так нервно беседует с князем?.. Как о чем? Да мало ли о чем... Временичко идет, а беседа течет, не правда ли?.. Но самое поразительное, как вы ловко договорились о встрече! Не успели вы выйти из кареты, а князь тут как тут..

Наталья слегка покраснела.

— А не заехать ли нам в какой-нибудь второсортный трактир, где грязь, дым, пьяные рожи и миазмы? — мрачно осведомился поручик Берг.

— Фу, — засмеялась Наталья. — Какое чудовище...

— Мой брат называет это очищением, — пояснил Коко. — Я же предпочитаю очищаться в приличном месте, в каком-нибудь приличном, благообразном патриархальном гостеприимном доме, на хорошей кушетке, с шампанским, чтобы рядом была моя тетушка, да, Natalie?.. И чтобы ваша мама не знала, где мы...

«А ведь и вправду хорошо бы завалиться в трактир, —

подумал Мятлев, — или еще куда-нибудь... Лишь бы не расставаться».

Глаза Натальи лихорадочно блестели. Возбуждение охватило всех.

— Да, да, — сказала она, подавая Мятлеву руку, — едемте, едемте скорее куда-нибудь, хоть в трактир... хоть в грязный...

«Какие они восхитительные! — подумал Мятлев, разглядывая своих новых друзей. — Надо ехать, надо мчаться, нельзя терять ни минуты...»

По какому-то тайному сигналу они разом устремились к карете. Рассаживаясь, суетились, пыхтели, смеялись, наступали друг другу на ноги. Мятлев пытался усесться рядом с Натальей, но, когда лошади тронулись, получилось как-то так, что она оказалась на заднем сиденье, сжатая с обоих боков своими племянниками, а Мятлеву досталось переднее сиденье, где он устроился в одиночестве.

— Едем! Едем! — закричал Коко, целуя руки тетушке.

Она неотрывно глядела на Мятлева. Темные, глубокие, прекрасные ее глаза немного пугали его, уж так, едва-едва, самую малость.

Мятлев и не заметил, как приказал кучеру ехать к себе. И сидящие напротив не выразили никакого недоумения по этому поводу, словно давно сговаривались ехать именно туда, в трехэтажную деревянную крепость князя.

— Тетушка, — закричал Коко Тетенборн, продолжая осыпать поцелуями ее руки, — какая вы, однако, шалунья! Как вы ловко это все устроили! Вот именно, с каким вдохновением... Что скажешь, Берг?

Но поручик Берг мрачно молчал, прижимаясь к тетушке. Его коротко остриженная светловолосая голова покачивалась на ее круглом плече. Позабытая ободранная роза терлась о дверцу кареты и теряла последние лепестки.

— Мы очень любим нашу тетю, — продолжал между тем разглагольствовать Тетенборн, — мы ее просто обожаем... Она наш кумир, князь. И не только потому, что красива (мало ли красивых, черт их всех подери!), но и умна, и мягкосердечна, и не капризна, и душечка, и плутовочка, и королевочка...

Лошади летели во весь опор, карету мягко встряхивало, светловолосая голова поручика Мишки сползала с круглого плеча прекрасной молодой женщины. Он спал. А Коко тем временем распоясывался все сильнее и отчаян-

нее, и кричал всякую несусветицу, и хохотал, и целовал Натальины руки, мягкие локотки, водил губами по ее плечу, подмигивал Мятлеву, и Мятлев отвечал ему тем же, хотя в другое время и выскочил бы из кареты на всем ходу, не сдерживая неприязни, а тут ничего, и все из-за Натальи, из-за ее глубоких, темных и вечных глаз, устремленных на него неотрывно.

Провидение продолжало плести свои хитроумные кружева, и на одной какой-то застарелой выбоине их так трягнуло, что, казалось, гибель неминуема, что карета летит в Неву, но все обошлось, колеса вновь застучали, копыта зацокали, а Наталья оказалась сидящей рядом с Мятлевым, поручик Михаил Берг медленно поднимался с пола, а Коко Тетенборн скалил крупные белые зубы и продолжал, как ни в чем не бывало, нести вздор и околе-сицу.

— Поддерживайте же меня, — попросила Наталья шепотом. — Иначе я упаду.

И Мятлеву ничего не оставалось, как обхватить ее покрепче.

— Тетушка, — крикнул Коко, — скажите по чести, вы просили кучера, чтобы он тряхнул?.. Ну, знаешь, какова ловкачка! Мы с братцем вам этого не забудем, тем более, что Мишка ткнулся носом в пол... Глядите, князь Сергей Васильевич, как бы она и вас носом не уронила, держите ее покрепче! — и захохотал. — Как приятно сжимать даму в своих объятиях, клянусь честью. О, какое блаженство!

Графиня была тепла, тонка и упруга, и Мятлев обхватил ее еще сильнее.

— Ос-то-рож-но... — шепнула она, но не отодвинулась.

— Вот я, например, обожаю экспромты, — сказал Тетенборн. — Вот если бы заранее сговорились, ничего путного у нас не получилось бы, ей-богу... Сговариваешься, сговариваешься, глядь, а все наоборот, и неудачи все какие-то, и какие-то вертепы не те, не те, и рожки постней и пакостней, не правда ли, королевочка?..

«Какие же они братья? — подумал Мятлев. — Такие разные...»

Но это мимолетное сомнение тотчас оставило его, ибо карета остановилась и они шумной вереницей потянулись в мятлевский дом.

В вестибюле застали они уморительную картину: че-

лядь, высыпавшая на грохот и голоса, картинно оцепенела среди мраморных туловищ, давно отвыкнув от лицемерия разнузданных орд в стенах умирающего дома. Рыжеволосая Аглая, подобно Диане Эфесской, с разведенными руками стояла, прислонившись спиной к Латеранскому Марсию; Афанасий выглядывал из-за плеча Аполлона Кифареда, словно раненый галл, пытающийся напрасно прикрыться ладошкой; и остальные — то ли лакеи, то ли поверженные лапифы, то ли живые, то ли изваяния — виднелись там и сям...

«Какая прелесть!» — подумал Мятлев, мучительно пытаясь остановиться. И потащил Наталью по лестнице, надеясь, что удивительные племянники затеряются и исчезнут, тем более что, как он успел заметить, Коко Тетенборн уже повис на рыжеволосой Аглае, делая вид, что принимает ее за мраморную фигуру, а его братец тем временем провалился неизвестно куда.

— Скорей, скорей, Natalie! — задыхаясь, проговорил Мятлев, и они стремительно миновали первый пролет. — Скорей, скорей... — они взлетели еще выше, не замечая, как следом за ними, вынырнув неизвестно откуда, подавшись вперед всем телом, громадными прыжками устремился поручик Мишка Берг.

Мятлев усадил графиню и лишь отворотился, чтобы крикнуть Афанасия, как внизу истошно запричитала Аглая, и князь вернулся к Наталье. Графиня, неотрывно глядя на него, сидела на широкой кушетке, окруженная счастливыми раскрасневшимися племянниками. У поручика Берга в кулаке была зажата красная, обтрепанная, потерявшая почти все лепестки роза..

— Как у вас весело! — крикнул Коко. — Ай да Сергей Васильевич!

— А не найдется ли шампанского? — спросил Берг.

Но уже появился стол и извлеченный бог знает откуда, посеревший от пыли кружевной саксонский фарфор; зеленели бутылки с шампанским; перезрелые фрукты распространили по комнате душный запах, бокалы тонко звякали... Графинчик с водкой встал перед Мятлевым, и он, не дожидаясь общих тостов, жадно выпил рюмочку.

Наталья не отводила от него взгляда. Он улыбнулся ей через головы племянников, словно попытался сказать: «Я опять разлучен с вами. Это невыносимо». Она пожалала плечами, что должно было означать: «А что я могу? Вы

же видите...» — «Да,— показал он движением бровей,— хотите, я убью их?» — «Мужайтесь...» — прочел он в ее глазах.

Поручик Берг что-то шепнул ей, и она расхохоталась.

Афанасий застыл у самых дверей.

— Ступай, ступай, — велел Коко Тетенборн, — мы позовем.

Камердинер удалился с оскорбленным видом. Мятлев отправился за ним распорядиться о чем-то, о чем помнил, но уже успел позабыть. Он вернулся в комнату, и тишина поразила его. Коко Тетенборн отхлебывал шампанское и плакал. Графини и поручика не было. На столе творилось черт знает что: фрукты были раздавлены, бутылки пусты.

«Когда же это мы успели?» — с ужасом подумал Мятлев. Но за окнами были уже сумерки и свечи были зажжены... Он выпил водки...

— Здравствуйте, я ваша тетя... — засмеялся Коко и вздохнул.

— Действительно, — сказал Мятлев в раздражении, — где же ваша тетушка?

Коко указал глазами на дверь библиотеки. Мятлев в два прыжка очутился возле нее и вошел. Наталья, побледневшая и строгая, сидела в кресле. Поручик Берг стоял перед ней на коленях. Она погладила его по голове.

— Бедный племянничек, — выговорила она с трудом. — Ну вставай же, вставай, нас приглашают, — и уставилась на князя.

«Нельзя ли наконец сделать так, чтобы они убралась?» — спросил он одними глазами. Она развела ладони.

Стол вновь был чист и звонок, хотя пыль на кружевном саксонском фарфоре оставалась лежать толстым слоем.

— Поручик, — вдруг сказал Тетенборн жестко, — надеюсь, вы не забыли, что должны мне?..

Это «вы» заставило Мятлева вздрогнуть. «Да они вовсе не братья!» — подумал он и ощутил, что голова слегка прояснилась.

— Вы рады, что я пришла к вам? — не таясь, торопливо спросила графиня, и Мятлев увидел, что она пьяна, но обрадовался, что она оставила своих племянников и обратилась к нему по-человечески, все же она была неописуемо хороша. Она улыбнулась Мятлеву, и все поплыло у него перед глазами, закружилось, засвистело; ее громадные зрачки были неподвижны, и огни тысячи свечей сияли в них. Она протянула ему руку, и он принял к ней.

Графиня уже сидела с ним рядом. Далеко, едва различимые и едва слышимые, ссорились племянники. Афанасий стоял у дверей, странно колеблясь. На его круглой дурацкой преданной роже застыло выражение тревоги...

— Natalie, — сказал Мятлев, не выпуская ее руки, — почему я так дурно думал о вас?

Она вздохнула.

— Где вы нашли этих племянников?

Наталья. Ах, это вчера совершенно случайно в одном доме. Они меня очень потешали... Мы играли... Знаете, есть такая игра...

Мятлев. Знаю...

Наталья. Ну вот, мы играли, играли и заигрались... И нынче все продолжали...

Мятлев. Чего же они не поделили?

Наталья. Меня...

Мятлев. И сейчас они делят?

Наталья. О, разве я могла предполагать, что буду сидеть с вами в вашем доме, рядом...

Мятлев. Давайте избавимся от них...

Наталья. Не ускоряйте событий... У нас еще есть время, да?.. Я вижу в ваших глазах безумство... Вы хотите, чтобы я тоже утопилась? Нетушки, князь, этого не случится.

Мятлев. Господь с вами!

Наталья. У нас еще есть время... Но я хочу знать, слышите ли вы? Я хочу знать, как мы с вами все это... Вы слышите меня?..

Мятлев не заметил, как исчезли племянники. Это его настолько заинтересовало, что он на мгновение позабыл о Наталье. Голова кружилась, пламя свечей раздваивалось. Вдруг он явственно услышал голос Тетенборна.

— Как вы все не можете успокоиться и распинаете меня, будто это преднамеренное злодейство, — сказал Коко непонятно откуда. — Да в конце концов, не вам судить о моей нравственности...

— Вы опять уводите разговор в сторону, — вяло откликнулся голос поручика Берга. — Мы же уговорились...

— Не вам судить, не вам... И без вас вон сколько судей, вон их сколько...

— Но мы же уговорились...

— А вы хотите, чтобы я так вот просто и отказался от своих прав?

— К черту права! — раздраженно воскликнул голос поручика Берга. — Да вы в своем уме?.. Мы же уговорились...

Мятлев тряхнул головой. Племянники оказались сидящими на прежних местах, будто ничего не было выпито, и вели оживленный разговор.

— Господа, — сказал Мятлев. — Вы скучаете?.. Но я немного болен и не знаю, как вас развлечь...

Они не обратили внимания на его слова и даже не обернулись в его сторону. Тем временем исчезла Наталья. Мятлев в отчаянии вглядывался в колеблющиеся перед ним предметы, как вдруг увидел ее сидящей в кресле в библиотеке. Она позвала его легким кивком. Племянники продолжали пикироваться.

— Natalie, — сказал он, обнимая ее, — теперь-то вы от меня не улизнете.

— Молчите, — шепнула она, — нынче не до шуток.

— А эти?..

— Они уберутся, уберутся.. Молчите.. Их уже нет.

И действительно, за дверью стояла тишина, если не считать отдаленного поскрипывания медленно разрушающихся стен и лестниц. В открытое окно проникала сырость светлой петербургской ночи. Погасшие свечи продолжали источать едва уловимый аромат сгоревшего воска.

Прошло время... Уставшие любовники спали без снов и угрызений совести. Уже приближалось утро. Какой-то страдающий бессонницей петух, не дождавшись назначенного часа, выкрикнул безответную молитву.

Наталья исчезла, оставив на подушке сиротливо и жеманно закрутившийся одинокий каштановый волосок. Подушка была холодна. В дверях стоял Афанасий, и он поведал дальнейшее.

Не просто разрушались стены, а происходила жаркая схватка между двумя племянниками. Сначала они, не смея тревожить покой влюбленных, бросились по дому в поисках предметов, с помощью которых смогли бы укоротить и без того короткие свои дни. Они обыскали весь дом, увлекши для этого и Афанасия и доверчивую рыжеволосую Аглаю, которые, не очень-то понимая изощренное вдохновение господ, старались им услужить, но все, что они ни предлагали, было смехотворно и неприемлемо. Наконец племянники, понося друг друга, обнаружили в зале второго этажа старинные мечи, висящие на стене как ук-

рашение и дань былым достославным временам. Под крики Аглаи и мольбы Афанасия они принялись сражаться, и вскоре поручик Берг получил удар в грудь и, заливаясь кровью, был отнесен Афанасием в его комнату и уложен на топчан, где ему была оказана Аглаей необходимая помощь. Затем Афанасий бросился помочь Коко Тетенборну, которого также не миновали кровавые раны. Коко был перевязан и отправился восвояси, даже не спросив о судьбе своего недавнего товарища. Вернувшись, Афанасий увидел, что раненый поручик облапил его ненаглядную супругу и, прижимая ее к кровоточащим ранам, склоняет к самому худшему. Тут Афанасий не сдержался и, приведя поручика в беспамятство ударом табуретки, выволок его на улицу, оттащил от дома и прислонил к чужому забору. Милый человек, господин Свербеев, который в этот ранний час оказался случайно прогуливающимся по улице, по-родственному принял участие в трагедии, оттащил поручика еще дальше, неизвестно куда. Аглая, вся в синяках и кровоподтеках, тоже пыталась рассказать Мятлеву о нападении на нее, но Мятлев в полном отчаянии отмахнулся от нее и велел Афанасию продолжать. Далее произошло следующее: Афанасий поднялся, чтобы предупредить их сиятельство о кровопролитии, как тут же увидел, что их сиятельство графиня выходят из библиотеки, заспанные все такие и неприбранные, и торопятся уехать, а где двери, понять не в состоянии. Пришлось бежать на улицу, и кликать извозчика, и отправлять их сиятельство, которые все были недовольны и бранились... А чего были недовольны? Будто не в доме их сиятельства князя изволили ночевать, куда и госпожа баронесса Фредерикс сами, бывало, приезжали... Затем уже и в самом деле наступило утро, и он, Афанасий, решил предстать перед их сиятельством князем, чтобы поведать о ночных происшествиях.

Все это было столь фантастично и нелепо, что Мятлеву захотелось убедиться в том, что это был не сон, что племянники действительно тузили друг друга, а Наталья была снисходительна... В субботу вечером он не отказался отправиться в один из домов, где почти забытые им его соплеменники, оказывается, с прежним первобытным упорством предавались все тем же утомительным и однообразным удовольствиям. Он надеялся увидеть графиню Румянцеву и, может быть, даже из ее уст услышать под-

тверждение случившемуся. Она была там, окруженная своими подругами, из которых старшинством и многоопытностью выделялась Кассандра. Мятлеву показалось, что едва он вошел, как музыка тотчас прервалась и взоры всех оборотились в его сторону. «Эге, — подумал он с неприязнью, — какой пассаж!» Было похоже, как будто его раздели и окунули в бассейн с ледяной водой. Он нашел среди мужчин нескольких знакомых и присоединился к их группе. Разговор тотчас переключился на события минувшей ночи. Не слышал ли князь, что поручик Берг был жестоко избит кем-то в каком-то доме? Говорят, что Natalie Румянцева замешана в эту чудовищную историю... Мятлеву стоило больших усилий сохранять самообладание. Он улыбался, кивал и одновременно пытался сообщить Наталье свое непереносимое желание видеть ее, спросить, сказать, удостовериться... Но взгляд ее блуждал и на нем никак не останавливался. Наконец терпение его истощилось, и он незаметно выскользнул из зала. В дверях он еще раз обернулся. Глубокие темные глаза графини Румянцевой, полные тягучей коровьей печали, были устремлены в его сторону.

Через несколько дней пришло короткое письмо, и из сумбура упреков и восклицаний до сознания дошло несколько строк: «...теперь я опозорена. Моя любовь к вам стала достоянием общества. Моя честь запятнана, и только вы один в состоянии спасти меня. Спасите меня!... Я надеюсь, что не буду вынуждена искать защиты на стороне. Снизойдите к моим мольбам...»

Мятлеву слышалось в письме интонации Кассандры. Он заторопился к себе в Михайловку, подальше от сумасбродного Петербурга. Перспектива спасти графиню Румянцеву столь неоригинальным способом, на который она намекала, не улыбалась ему. Он взял с собой Афанасия и Аглаю, был с ними добр, учтив и словоохотлив, и все — чтобы как-то оправдаться перед самим собой и утишить большую совесть. За всю дорогу супруги, однако, не обмолвились почти ни словом, и, что Мятлев ни предпринимал, чтобы хоть как-то сблизить их, они оставались друг к другу холодны и безучастны.

Не успели они приехать, разместиться, надышаться ароматом хвои, свежего сена, прогретого летним солнцем, почти забытого дома, как из Петербурга пришло предписание князю Мятлеву поспешать обратно в столицу. Граф

Алексей Федорович Орлов, жандармский командир, как его именовал хромоножка, и старый приятель отца Мятлева, просил не медлить.

Мятлев и не медлил, ибо сборы были легки, и приглашение всесильного помощника государя непрекословно. И они воротились к пенатам.

— Я уж и не знаю, как вас величать, — улыбнулся седеющий граф, — когда-то вы были для меня просто Сережей... А теперь вы не так уж и молоды... В вас есть что-то от отца, впрочем немного. Лично я никогда бы не осмелился нарушить вашу поездку. Мы живем в обществе слухов. О вас их ныне более всего. Следовало бы не придавать им значения. Но, когда их слишком много, тут впору и растеряться. Вы ведь живете все там же? Как крепко строили в былые дни. Поглядите-ка, деревянный дом, а стоит — не шелохнется. Я бывал в этом доме. Хотя не знаю, по нынешним представлениям о комфорте, не очень ли он устарел?.. Это кто же у вас там утопился, дворовая? Говорят, даже будто дама... У вашего батюшки дом был всегда полон. Вы любите уединение... Да, теперь эти два шалопаю, говорят, дубасили друг друга старыми мечами в кровь... Государю, конечно, это стало известно. Он о вас имеет свое представление, хотя, может быть, несколько преувеличенное или даже искаженное...

Граф Алексей Федорович беседовал стоя. Природа наделила его высоким ростом. К старости он обрюзг, но за собой следил, подражая Николаю Павловичу. Природа постаралась и обрамила его широкое лицо роскошной седеющей гривой, чтобы придать ему сходство со львом, но она не забыла также слегка заострить его крупный породистый нос, намекая тем самым на малую толику лисьего, свойственного ему, как и всякому высоко взлетевшему сыну человеческого племени; а многотрудный и изощренный опыт наполнил его глаза сиянием мудрости; и все это вместе с крупным ртом, тронутым едва заметной улыбкой, впечатляло...

— В наши обязанности не входит наблюдать за частными пристрастиями жителей империи, — сказал старый лев, — однако государю было угодно, чтобы я разобрался в этом во всем и сделал вам внушение. Его императорское величество не пожелал лично беседовать с вами. Благо, скажу вам, благо. Я было сперва оторопел, предвидя такую возможность, чем все это могло бы кончиться...

Нисколько не посягая на ваши склонности, я хочу, чтобы вы поняли всю степень ответственности, лежащей на плечах государя, за благоустройство подданных... в меру своих сил... как-то... ситуация... больше... меньше...

И тут граф обомлел. Князь Мятлев, виновато улыбаясь, глядя в сторону отрешенно, извлек смятые ассигнации и протянул их шефу жандармов.

— Что с вами?! — возмутился Орлов, отступая. — Вы что?.. — Он хотел было вызвать адъютанта, но чрезвычайная бледность, распространившаяся по лицу Мятлева, удержала его, и он подставил князю кресло.

— Вы меня очень обяжете, — пролепетал Мятлев в прострации и уселся в кресло, — прошу вас...

Старый лев заметался, но внезапно все миновало так же, как и началось, и лицо Мятлева приобрело прежний вид, и он поднялся.

— Вот так, таким образом, — сказал Орлов с ужасом, делая вид, что роется в бумагах, однако наблюдая, как Мятлев с видом затравленного волка озирается по сторонам. — Вот так, мой милый князь, — повторил шеф жандармов, возвращаясь к разговору, — не смею задерживать вас и надеюсь, что вы постараетесь впредь держать свои дела en ordre¹...

Покинув графа Орлова, Мятлев поклялся не подавать более повода к столь унижительным для его самолюбия свиданиям, в мыслях не имея даже, что коварная судьба еще не раз столкнет его с графом при еще более печальных обстоятельствах.

Прошло несколько дней, и, казалось, ничто уже не предвещало грозы, как вдруг пришло новое письмо от Натальи Румянцевой, белый надушенный конверт — белое легкое облачко, предшествующее тучам. Самих туч Мятлев еще не видел, однако ощутил, как пахнуло сыростью, и душа его затрепетала, подобно кленовому листу.

В письме были такие строчки: «...Князь, Вы предали меня. Разве не Вы клялись мне в любви? Не Вы ли обещали мне свое покровительство? Я брошена Вами на произвол судьбы... Боюсь самого худшего. Откликнитесь...»

Впервые щепетильность и благородные чувства Мятлева не дрогнули даже от этого отчаянного сигнала. Но история на этом не завершилась...

¹ В порядке (франц.).

(Из Москвы в Петербург, от Лавинии — Мятлеву)

«...Пишет Вам человек, о коем Вы, верно, давно позабыли, а он Вас не забыл и не забывал никогда. Мы живем теперь в Москве, и бог знает, сколько еще проживем. Мы живем в Арбатской части в Старокоиюшенном, в доме господина Ладимировского.

Когда он меня встречает, сразу начинает улыбаться и спрашивает про мою жизнь в Петербурге, а моих ответов не слушает. Или берет меня за руку и говорит: «Какая ручка, совсем как у взрослой барышни... Впрочем, вы и есть взрослая барышня...» Мамап нервничает, когда это видит. Вообще, когда она видит, что мужчины оказывают мне внимание, у нее начинаются приятные сердцебиения, но в этом случае она нервничает и даже просила господина Ладимировского руки мне не пожимать. Вообще все они липкие люди...

В январе мне исполнилось пятнадцать лет, и вдруг выяснилось, что я для мамап—гетовая невеста. Это меня даже не оскорбило, а удивило. Она мне сказала: «Ты разговариваешь с мужчинами так, как будто ты перед ними в чем-то виновата, а ты должна разговаривать с ними так, как будто они тебе должны». Я сажусь перед зеркалом, вспоминаю Петербург, Вас и говорю ей, которая там, внутри: «Что ж ты, дурачок, ван Шонховен, пригорюнилась? Держись, дурачок...» Это мне всегда помогает.

Самое ужасное, что моя тетка Калерия ходит за мной по пятам и сопровождает меня всюду, даже в пансион и из него. На масленицу был бал в Благородном. Там было довольно весело, лотерея и фанты, но, когда собирались туда, мамап очень нервничала, что я худа и невыразительна.

Господи, как я разболталась. Мне стоило большого труда решиться Вам написать, а как села — не остановиться. Но ведь я пишу Вам, как моему старшему другу, просто все описываю из моей жизни, вот и все.

Господин ван Шонховен».

(Из Петербурга в Москву, от Мятлева — Лавинии)

«...Господин ван Шонховен, что же с Вами приключилось?! Где же Ваш меч и щит? А ко всему — Вам уже и пятнадцать!

В один прекрасный вторник, не успев позавтракать, как Афанасий подал мне Ваше письмо, которое меня очень обрадовало, и показалось, будто вспыхнул свет в этом беспросветном мраке.

Я часто думал о Вас, а особенно в трудные минуты. Мне казалось, что вот-вот Вы появитесь и мрак рассеется. Какие это силы занесли Вас в Москву? Долго ли еще вам мучиться в Первопрестольной?

Что касается господина Ладимировского, то вот Вам мой совет: поглядывайте на него иронически — это его сильно озадачит, и он лишится наглости.

Ваша тапап, видимо, как все тапап: они только и мечтают, как бы поудачнее выдать дочерей, особенно когда единственная.

В одну из печальных минут я попробовал, памятуя о Вашем опыте, тоже усесться перед зеркалом и попенять тому, который там, внутри, на его слишком досадную беззащитность. Я сел. Но что же я увидел? Передо мной расположился почти старик и глядел на меня отчужденно. Я принялся было уговаривать его и убеждать, но он только криво усмехнулся и стал глядеть мимо.

Иное дело Вы. Ваша *vis-à-vis* молода, стройна, красива, на нее и глядеть-то приятно, ее и уговаривать лестно. А тут?

В Петербурге все без изменений, если не считать Вашего отсутствия. Парк совсем зарос. Нева мутна. Дом мой прогнил окончательно. Общество разъехалось по дачам и деревням. Теперь по Неве ходят пароходы до Царского. Я совершил массу глупостей, впрочем, как всякий нормальный человек, но за это, как оказалось, я должен расплачиваться, и не перед самим собою, а перед обществом...»

30

Но история не завершилась отчаянным воплем обманутой графини, и в один прекрасный день Наталья Румянцева потребовала свидания. Как это часто случается (то ли день был хорош, то ли совестливая натура Мятлева оттаяла, то ли отдаленные намеки на возможные сложности в судьбе графини возымели свое действие), он внезапно ощутил в себе прилив бодрости, горячее раскаяние затопило его окаменевшую душу, и ему захотелось, как

говорится, положить свою надежную ладонь на ее хрупкое доверчивое плечико.

Наталья была обворожительна пуще прежнего. Ее сдержанность понравилась ему. Он вообще в этот день был склонен восхищаться. Ее лицо, более бледное, чем обычно, показалось ему безукоризненным. В первую минуту она оглядела его с легким любопытством, и он понимающе улыбнулся в ответ, но тут же она словно его забыла, а князя охватила легкая растерянность.

— Я надеюсь, — сказал он снисходительно, — что вы не сошли с ума, чтобы мечтать о потере независимости в обмен на жизнь по образцу ваших подруг, притворяющихся счастливыми.

На это она ничего не ответила и даже не обернулась в его сторону, отчего растерянность его усилилась. Когда он скашивал глаза, он видел ее профиль, и в нем было что-то такое, что могло толкнуть на безрассудство. «А не мешало бы ей быть попроще, — подумал он. — После всего, что произошло, она могла бы и умерить свое кокетство», Но эта мысль не успокоила его, ибо рядом с ним шла женщина, сгорающая, как он догадывался, от тоски, с фанатичностью уверовавшая в свое будущее.

Они медленно следовали вдоль ограды Летнего сада, и прохладный ветерок с Невы был бессилён охладить их возбужденные души.

— Кроме того, — продолжал он, окончательно теряясь, — вы думаете, что?.. Вы что думаете?.. Что общество сможет правильно оценить ваши пристрастия?.. Вы думаете?.. Вы надеетесь?..

Ему показалось, что она усмехнулась. Ему захотелось заглянуть в ее глубокие темные глаза и поцеловать мягкие горячие губы. Ее профиль был, как всегда, слегка надменен. Вдруг он вспомнил ее записочки, разговоры в свете, свои собственные домыслы — и сказанное им нынче выглядело нелепо. Власть приобретается в обмен на чужую независимость, а он несет пустопорожний вздор.

Они остановились у парапета. Внизу лениво текла Нева. Деревянный пароход торопился мимо, офицеры и дамы махали с палубы зонтами, фуражками, перчатками неизвестно кому. Набережная была пустынна, если не считать мужика, несущего на спине бочку. Лицо его было залито потом, и на расстоянии ощущался сильный и тошнотворный запах рыбы не то от него, не то от бочки.

— Ну? — сказала женщина, стоящая рядом с Мятлевым.

Он суетливо обнял ее за талию. Она прижалась к нему, предварительно оглядевшись. Набережная была пустынна.

— Вы все еще думаете, что я принесу вам несчастье?

Она оборотилась к нему. Ее глубокие темные глаза покачивались перед ним. Он слышал ее прерывистое дыхание, и ее маленькая настойчивая ручка прикасалась к его затылку легким нервным прикосновением.

Когда нас начинают обуревать страсти, как увлажняются наши глаза, каким голубым туманом подергиваются безумные зрачки, как лихорадочно бьется о зубы кончик языка, будто зверек, изготовившийся к прыжку; и тело наклоняется вперед, и шея становится длиннее и напряженнее. Если взглянуть со стороны, потеха, да и только: это двуногое, кажущееся олицетворением самоуверенности и даже наглости, истерзанное болезнями, законами, унижением, преследуемое ужасом и сомнениями, густо припудренное, чтобы хоть как-нибудь скрыть землистый оттенок лица, завитое и напomaженное; это существо, обутое в широченные ботфорты или втиснутое в кринолин, а все для того, чтобы не видны были тонкие кривые ножки, с помощью которых оно бежит неизвестно куда; это высшее среди движущихся, не отказывающее себе в удовольствии совершать грехи, чтобы потом долго и утомительно раскаиваться в них, втайне кичащееся собой и презирающее своих собратьев, а наяву распинающееся в любви к ним и в отвращении к себе самому; владеющее сомнительным опытом любви и обремененное переизбытком коварства, как оно воспламеняется, когда его обуревают страсть обладать, властвовать, повелевать, благодетельствовать или вызывать к себе жалость.

Мужик уронил бочку. Наталья вздрогнула. Мятлев поспешил отдернуть руку. Из бочки вывалилась перламутровая безголовая рыбина.

— Ваши письма, Natalie, — сказал Мятлев, — повергли меня в уныние. Ну что это, в самом деле, что это вы вздумали, Natalie, писать мне эти письма? Разве я похожу на жениха? Позвольте... Может быть, этот самый Коко или этот самый в ш поручик Берг... позвольте... С чего это вы могли меня так представить себе?

Внезапно раздалось цоканье подков. Старая, облупившаяся коляска не спеша проследовала мимо. На заднем сиденье, томно откинувшись, покоился поручик Катакази в голубом мундире. Он спал.

— Он спит, — сказал Мятлев, провожая коляску взглядом.

— Не могли бы вы крикнуть мне извозчика? — спросила графиня холодно. Ее лицо было крайне бледно, и оттого она казалась еще неотразимей, чем когда-либо.

— Мы можем доехать до меня, — сказал Мятлев. — У вас мигрень?

— Я сама о себе позабочусь, — прошептала она. — Я хотела услышать от вас слова утешения и дружбы, но вместо этого... Я пришла поплакаться вам о моем несчастье, а вы оттолкнули меня, как шантажистку...

Деревянный пароход возвращался обратно. Весь сотрясаясь, он летел по невскому простору. Уже другие счастливики стояли на его ветреной палубе, и там среди них Мятлев увидел себя рядом с графиней Румянцевой. Она была в розовом платье, он же в безукоризненном сюртуке из китайской чесучи, и широкая улыбка не покидала лицо бывшего кавалергарда.

Она торопливо уселась в подвернувшийся экипаж, бледная и надменная, но в глубоких глазах вновь промелькнуло что-то жалкое, и еще что-то в ее лице вдруг показалось Мятлеву несовместимым с представлениями о ее красоте.

В течение нескольких дней он отсиживался в своей разрушающейся крепости, но любовь графини Румянцевой оказалась столь велика, безбрежна и прихотлива, что он просыпался по ночам, воображая, как она прекрасна и одинока. И поэтому, когда она, пренебрегая приличиями и возможными кривотолками, вдруг явилась к нему, минуя все ворота, запоры, цепные мосты, обвораживая стражу и голодных львов, он даже не удивился...

— Я очень тороплюсь, — сказала она, возникая на пороге его обители, — я привезла вам приглашение к обеду, папап будет очень рада видеть вас, — она говорила легко, как в сказке; в столь же легких движениях ее сквозила уверенность. — Я не доверилась лакею и привезла приглашение сама. Так надежнее. Вы рады?

Розовый конверт скользнул на стол, словно прилетел

сам, а она исчезла, успев подарить ему одну из своих самых многозначительных улыбок.

Когда я подтрунил над ним, он вдруг вспыхнул и заявил, сам себе не веря:

— Это все, чтобы не потерять моего расположения, я ей нравлюсь. Теперь ей ужасно возвращаться к этим тетенборнам и бергам, да потом, я ей нравлюсь... Я у них обедал, и все было мило. Чего же еще?

Она подарила ему прелестное небольшое полотно работы Натугара, на котором лукавый изнеженный Амур натачивал грубую стрелу, вполне пригодную для подлинного убийства. Затем ее хлопотливые ловкие руки поставили на его столик витиеватый серебряный подсвечник — печальный остаток уничтоженного знаменитого «орловского сервиза». «О, какое сумасшествие!» — содрогнулся он, но не подал виду. Затем изысканно, как могла, она отобрала у него невзрачный перстень — грустную память о старике Распевине, рожденном на Сенатской площади и кончившем свои дни при Валерике. Мятлев пытался было отстоять свою честь, но Наталья, преисполненная любви, заверила его, смеясь, что она не посягает на фамильные реликвии.

— Тем более, — шепнула она убежденно, — что это подарила женщина.

Он, досадуя, рассказал ей историю старика Распевина. Она прослезилась, жалея старика, но перстень не вернула.

— Нетушки, князь, — погрозила пальцем, — это трогательно, но не убедительно. Не получите.

При этом было множество samozабвенных поцелуев, и ничтожных колких поцелуечиков, и объятий, и прикосновений, и всяческих намеков. Афанасий и Аглая с вытянутыми лицами кружились тут же, стараясь ей угодить. Дом трещал сильнее. Господин Свербеев встречал ее внизу в распахнутой рубашке, весь в поту от чая и сосредоточенности. Это он водил ее среди мраморных фигур, терпеливо разъясняя их достоинства, а когда она пожелала все это сдвинуть во мрак, чтобы вестибюль был шире и элегантней, смеялся вместе с ней, наблюдая, как молчаливые слуги, надрываясь, исполняют ее волю.

Когда Мятлев пытался вступить за бессловесный мраморный народец, она тотчас пресекала его попытки:

— Нетушки, топ chere, это все разместится там, а здесь должно быть пространство.

— Пространство, — поддакивал господин Свербеев.

— Вы к этому так уже привыкли, что не видите, как это дурно, — продолжала она. — Посмотрите, ведь теперь лучше?

— Они вас жалеют, — поддерживал благородный шпион.

И Мятлев разводил руками и получал свою долю стремительных поцелуев, каждый из которых закреплял маленькие достижения ее любви.

Так прекрасная конкистадорша, попробовавшая мятлевской крови, все шла и шла в глубь его территории, и он отступал с кучкой своих бронзоволицых братьев, и их изысканные стрелы были бессильны против ее мушкета.

«Любовь это или притворство? — думал Мятлев, прихлебывая из рюмочки. — Любовь или притворство?..»

Неистовствуя в разрушающемся доме, Наталья, словно обезумевшая лань, все время натыкалась на гигантское полотно, где ее настойчивые предки теснили наивных туземцев во имя совершенства грядущего, и всякий раз облик печального европейца среди коричневых тел приостанавливал ее разбой. Наконец она не выдержала, и Мятлев, слегка расслабленный водкой, выдал фамилию знаменитого государственного преступника, воскрешенного на полотне усилиями лукавого мазила.

— Господи, какая чушь, — поразились она, не придавая значения фамилии. — Это шутка? Он жив?.. Да вы с преступниками общаетесь...

— Видите ли, Natalie, — сказал он серьезно, — этот человек казнен в давние годы, но я хочу иметь его портрет. Вы меня очень обяжете, если никто об этом...

— Я слышала, — сказала она, — это было в год моего рождения... Он жив?

— Он казнен...

— Ах да, вы же говорили...

Он снова всматривался в ее прекрасное лицо, не понимая, что в нем могло вызывать досадное ощущение несовершенства. Линии были так безукоризненны, каждая деталь так пропорциональна, что трудно было объяснить это внезапное раздражающее чувство. Сначала он поду-

мал, что это вызвано ее чрезмерной бледностью, но в то же время, когда б не она, это лицо было бы просто сверхъестественным. Наконец ему все-таки удалось обнаружить в этом чуде природы крохотный изъян, который вот уже много дней ускользал от его затуманенного взора, не давался, но постепенно проступил явственней, и Мятлеву уже не стоило большого труда определить его. Нижняя челюсть графини, чуть более крупная, чем было нужно, едва заметно утяжеляла это восхитительное лицо, и не глубокие темные глаза, оказывается, придавали ему царственную надменность, так удивлявшую Мятлева, а именно она, эта несущественная деталька, просмотренная природой.

— Охота вам хранить память об этом, — засмеялась она, кивая на полотно, — это ему не поможет...

И Мятлев увидел, что изъян, обнаруженный в ее лице, значительней, чем показался в первую минуту.

«Я мог бы отправиться в Москву, развеяться и затеряться, — подумал Мятлев, — любой московский булочник счастливее меня».

— Все по дачам, и лишь вы один в пекле, — сказала она. — Приезжайте к нам... приезжайте к нам... приезжайте к нам...

— Только и жить в Петербурге, когда все по дачам, Natalie, только и жить...

— Когда мы будем вместе, я не позволю вам раскидаться, — сказала она без тени смущения. — Я хочу, чтобы вы были счастливы... — Тут он счел своим долгом поцеловать эту молодую самоуверенную постороннюю даму. Она приняла это как должное и сказала: — Я хочу вас обрадовать — у нас будет очаровательный baby.

Мятлев ощутил сердечный удар, и дыхание на минуту оборвалось. Предполагать, что виновником этой радости мог быть какой-нибудь поручик Мишка Берг или Коко Тетенборн, было бы чудовищным, и он подумал в отчаянии: «Господибожемой!» — но сказал очень спокойно, играючись, даже, кажется, улыбнувшись:

— Natalie, вы шутите, я не гожусь для роли, которую вы мне предназначили, — и отхлебнул водки.

Ее карачковые застоявшиеся жеребцы подхватили коляску и понеслись, не касаясь земли, вместе со своей хозяйкой, слишком надменной, чтобы позволить себе разры-

даться, и слишком красивой, чтобы поверить, что она может быть нелюбимой или отвергнутой.

«Женщина с тяжелым подбородком не может не быть деспотичной», — записал он в своем дневнике и решил, не откладывая, отправиться в Москву на прием к знаменитому доктору Моринари с единственной целью успокоить свою совесть, ибо не верил в способность медицины избавить его от печального последствия тяжелой раны, полученной при Валерике.

31

В течение, пожалуй, десяти дней Петербург был спокоен и молчалив. Графиня Румянцева, эта шалунья, не подавала признаков жизни, то ли смирившись с его решительностью, то ли готовя новые козни. Как бы там ни было, Мятлев, посвежевший и помолодевший, наверное, оттого, что появилась хоть какая-то идея, выправил бумаги, велел заложить карету, нетерпеливым жестом указал Афанасию на ее дверцы, уселся сам, и они покатили на юг, к Москве, оставив Северную Пальмиру в гордом одиночестве.

Покуда продолжалось их путешествие, Лавиния, собравшись с духом, писала князю ответное письмо, высунув кончик языка от непривычного усердия. В письме, если отвлечься от приличествующих этому жанру обязательных условностей, были и такие строки:

«...Ваше письмо было подобно бомбе. Несносная Калерия, конечно, пробралась в мою комнату, увидела его, прочтала, побежала к тапап. Я требовала, чтобы они отдали мне его, но они и слышать ничего не хотели. «Ах, ах, кто он? Почему? С каких пор?! Ты себя позоришь! Какое легкомыслие!.. Я буду жаловаться государю!..»

Я ушла к себе и заперлась. Они бушевали за дверью. После всего меня посадили на длинную тяжелую цепь, чтобы я не вздумала жить по-своему.

Пусть Вас это не смущает. Пожалуйста, пишите мне. Пишите на имя моей подруги Екатерины Балашовой в Кривоколенном, в собственном доме.

Теперь забудем о неприятном. Я очень смеялась, когда читала, как Вы усаживались перед зеркалом. Да разве

Вы старик? И почему тот, внутри, от Вас отворачивался? Мне Вас стало очень жалко, потому что Вам этот способ не подходит.

Мы пробудем в Москве до Рождества. Так говорит мамап. У нее тут какие-то дела, в которые она меня не посвящает. Представляете, все лето в жаркой и пыльной Москве из-за чего-то такого, что, наверное, не очень-то и нужно, если не считать вишневого варенья, с которого я снимаю пенки. И все-таки мне сдается, что мамап твердо решила устроить мое счастье и за моей спиной об том хлопочет. Мне даже подумать страшно. Конечно, я бессильна спорить с ней, но, если это случится, я тут же утоплюсь или приму яд. Впрочем, я ничего этого не сделаю, а попросту убегу из дому с каким-нибудь веселым гусаром.

Вам, наверное, смешно читать мои письма. Наверное, было лучше, когда я была ван Шонховеном. Я бы так хотела явиться к Вам снова в армячке и с мечом и видеть, как Вы недоумеваете. Но что же делать? Возврата нет.

Представляю, когда даст бог свидетелься, каким я Вам покажусь страшилищем. Видеть себя не могу! Какой сюрприз было Ваше письмо. Теперь мамап все время рассказывает о Вас всякие ужасы.

У нас был доктор, который посоветовал мне купаться и вылеживать на солнце. Мы для того ездили на Фили. Когда ехали через лес, видели волка, такого же тощего, как я. Он убежал.

Все-таки из всех, кого я знаю, Вы самый умный и самый приятный. А уж когда господин Ладимировский встречается, тут даже и сравнивать невозможно. Вот что значит дурное воспитание. Мамап утверждает, что у меня тоже дурные склонности, так как я осмелилась с Вами переписываться. Считаете ли Вы, что это дурно? Вам хоть немножечко приятно получать от меня письма?..

Господин ван Шонховен.

P. S. Если случится Вам попасть в Москву и Вы ненароком пройдете мимо нашего дома и услышите из-за ограды лай, не пугайтесь: это я сижу посреди двора на цепи и лаю от тоски и отчаяния».

В Москве дышалось легче, чем в Петербурге: дворцовые флюиды достигали Первопрестольной с опозданием и в ослабленном виде, однако и здесь вершился произвол, ибо господин ван Шонховен, старинный друг, сидел на цепи. И хотя Мятлев не успел получить этого отчаянного и смешного письма, но чем ближе экипаж приближался к Москве, тем все отчетливее виделись нехитрые способы, с помощью которых бойкие одиночки должны были утрачивать свою бойкость. Бедная Лавиния!

И он представлял себе нелепый дом господина Ладимировского и грязно-зеленый забор, за которым в пыльном дворе, прямо посередине, закрыв ладонями лицо, рыдает господин ван Шонховен с ошейником на тонком горле.

Картина эта не повергла его в ужас, он даже рассмеялся, вступая на Арбат, уже издавлек ощущая сильный запах вишневых пенек и слыша, как позванивает цепь.

В те дни Москва была еще наполовину пустыня, но уже кружилась ранняя осень и первые осторожные караваны, звеня колокольчиками, стекались к столице из ближних и отдаленных поместий. Это было самое время жить среди соплеменников, не задевая их локтями, жаловаться богу, не боясь, что тебя освищут, и освобождать посаженных на цепь.

Покуда Афанасий бил мух в гостинице у Охотного ряда, Мятлев торжественно вступал в Староконюшенный переулок, радуясь, что эдакая проказливая фантазия вдруг овладела им в Петербурге и теперь водит, подобно лешему.

О докторе Моринари, который был предуведомлен и ждал его, Мятлев старался не думать, полагая, как уже неоднократно бывало за долгие годы, что болезненный приступ авось больше не повторится, а ежели и повторится, то это все так малообременительно и, в сущности, неопасно, что, право же, нет смысла связывать себя хождением по эскулапам, дуряя от карболки, долго и мучительно объяснять свои сомнительные болячки, вместо того чтобы наслаждаться поездкой и представившейся возможностью пофантазировать...

Дом господина Ладимировского возвышался за кокетливой чугунной оградой и вовсе не походил на жалкое

строение, созданное лихорадочным воображением князя. Это был просторный двухэтажный дом, построенный со вкусом и любовью, с ложной колоннадой в самых изысканных традициях русского ампира, с колоссальными окнами второго этажа, распахнутыми на солнце, с нарядным подъездом, выходящим в тенистый сад, где знаменитые московские липы росли, окруженные гигантскими кистями душистого табака, а по отличным английским дорожкам прохаживалась молодая особа в розовом платье и такой же шляпе с непомерно широкими полями — розовое облачко в зеленой тени.

Теперь он спрашивает, кажется, госпожу Тучкову... Кажется, так. И господин ван Шонховен, появляясь в дверях, делает большие глаза... Молодая особа приблизилась к ограде и сделала большие глаза.

— Это вы? — изумилась она нараспев, и Мятлеву ничего не оставалось, как вбежать в сад.

Какое удивительное зрелище — эта барышня в розовом платье с большими серыми глазами, прижавшая к груди два кулачка, как некогда... Господибожемой!.. Уж вы не дочь ли той бедной женщины? Не сестра ли?.. Еще не дама, но уже и не господин ван Шонховен. И этот ампир, и ограда, и чистые окна, за которыми покой, и безупречные английские дорожки — уж не обман ли все это? А помните ли вы, как именно вы пожаловали ко мне в несколько потасканном армячке, как я теперь понимаю, с дворового мальчишки? А как мы распивали чай? А помните ли вы, как вы уходили одна по глубокому снегу, размахивая мечом, и ваши следы ложились ровно, цепочкой, подобно стреле (признак удачливости), да, да... А я вот в свои тридцать три года по-прежнему неудачник и приехал специально затем, чтобы пожаловаться вам, моему старому другу, а кроме того, я предполагал, что возьму вас за руку и мы отправимся, ну, например, в зверинец или на карусели, но вы так повзростели, что это теперь смешно — брать вас за руку и вести в зверинец. Правда, вы такая худенькая, почти такая же, как вы мне писали, и щечки у вас несколько впали, но московский климат вам, видимо, впору: вон вы как повзростели, как вы стройны, как многозначительно расположились ваши уже не детские ключицы и в выражении вашего лица появилось нечто такое, что уж вас за руку не возьмешь и на карусели не сводишь, а настоящие молодые люди, я имею

в виду настоящих молодых людей, не смогут вас не заметить, и теперь вам предстоят сложные дни... А я по-прежнему в плену обманутых надежд и все почитаю за безделицу, кроме, пожалуй, того, что мне недоступно... А помните? А помните?.. Я-то думал, вы посреди печального двора прикованы цепью, а у вас тут английский сад и такая прелесть вокруг, что мне, пожалуй, можно было бы и не спешить...

— Неужели это вы? — засмеялась Лавиния, краснея. — Какой сюрприз!

..И все же в вашей улыбке не столько радость, сколько недоумение, и, конечно, могу себе представить, как нелепо мое появление, ибо быть вашим опекуном как-то уже неловко: вон вы какая взрослая, вас в зверинец не поведешь...

— И вы приехали, чтобы увидеть меня? Какие шутки, — сказала она нараспев.

— Какие уж тут шутки, — усмехнулся Мятлев, трезвея от собственной бестактности. — Впрочем, если вам угодно, я действительно приехал по делам и, проходя, увидел вас за оградой. Всегда приятно встретить старого друга...

Она поминутно оглядывалась на дом, и он понял, что нужно уходить, покауда несносная Калерия не вывалилась из грозовых туч с молниями и громом.

— Как жаль, — сказала она с досадой, — завтра у нас пикник... А вот кто-то уже идет... Мы сейчас едем... мы приглашены... впрочем, вы их не знаете... Вы еще придете? — спросила вежливо.

— Как сложатся дела, господин ван Шонховен, как сложатся дела.

— А-а-а, — протянула она и сделала шаг назад.

За оградой остановились три поместительные коляски, каждая четверней. Кучера в малиновых шляпах, один другого безупречней, усталились с козел на дом господина Ладимировского.

— Ну вот, — сказала она, снова отступая на шаг, — вот все и идут.

Это прозвучало как сигнал к бегству, но, удивительное дело, убежать не хотелось, а было озорное любопытство, перемешанное со стыдом и горечью напрасных сожалений о глупых петербургских фантазиях, погнавших его в дорогу.

И вот дверь дома распахнулась, и из нее в зеленую мглу липового сада вытекла пестрая вереница незнакомых мужчин и женщин и потекла по аккуратной дугообразной дорожке, так что Мятлев очутился как бы в центре этой дуги, и все невольно оборотились в его сторону. Поняв, что бегство бесполезно и унизительно, он приготовился к самому худшему, однако бури не последовало. Напротив, госпожа Тучкова, оказавшаяся обворожительной полячкой, едва ли старше Мятлева, а по виду даже уступающая в возрасте, поклонилась ему благосклонно и подошла без всяких церемоний, с радушной улыбкой. Пестрая элегантная вереница тотчас смешалась, и все с любопытством окружили князя. Среди присутствующих он узнал поручика Мишку Берга и Коко Тетенборна, одетых с иголочки в цивильное. Они сухо поклонились ему, будто и не были знакомы. Он хотел расхохотаться, вспомнив их незадачливый поединок, как вдруг увидел, что Лавиния, оставшаяся несколько поодаль, приподнялась на цыпочки и с напряжением всматривается в его сторону. Присутствие этих великосветских прощелыг показалось ему подозрительным, и действительно, в тот же момент поручик подошел к пунцовой Лавинии и демонстративно подал ей зонт.

— Представьте, тапан, — задыхаясь, проговорила Лавиния, — князь Сергей Васильевич проходил по делам и увидел меня за оградой.

— Давно ли вы в Москве? — поинтересовалась госпожа Тучкова, не придавая значения словам дочери. — Мы были бы рады видеть вас завтра на пикнике. Нынче мы, к сожалению, уезжаем.

Гости, насмотревшись на знаменитого возбудителя пикантных слухов, медленно рассаживались по экипажам. Поручик Берг и Коко Тетенборн увели Лавинию, которая, как показалось Мятлеву, пыталась оглянуться. Госпожа Тучкова и Мятлев остались вдвоем.

— Как странно, — сказала она, — в Петербурге мы живем по соседству, а случай не сводил нас, и именно здесь, в этом гигантском муравейнике, вам удалось столкнуться с Лавинией, — и при этом посмотрела на Мятлева, будто хотела сказать: «Не лгите, князь, я знаю обо всем». — Как вы ее нашли? Не правда ли, повзрослела?.. Вот этот, слева, это Михаил Берг... Месяц назад он пал мне в ноги... Но, я думаю, от этого не умирают, и Лави-

нии следует обождать еще годик-другой. Я вдова, мне нужно быть осмотрительной... — И, показывая превосходные зубы, она рассмеялась.

Вдова была еще в самом соку, так что ее покойный генерал, видимо, не без сожалений расставался с жизнью.

— А что этот Берг? — спросил Мятлев. — Он что... вы его хорошо знаете?

— О князь, — снова рассмеялась она, — в моих руках все обретает надлежащий вид. — И, наклонившись к нему, добавила кокетливым шепотом: — Конечно, его не сравнить с вами, и, если бы вам не предстояло связать себя с очаровательной графиней Румянцевой, кто знает, князь, кто знает...

— Мне показалось, что мое письмо к вашей девочке и мой приезд в Москву, — сказал князь растерянно, — вы как-то связываете, и я...

— Как вы можете!.. — поразилась она, вскидывая брови. — У меня и в мыслях не было ничего подобного. И сказанное мной, что если бы не ваш скорый брак... Неужели вы могли усмотреть неискренность?.. — И снова тихий, самоуверенный смех. — Впрочем, я лгу, я притворяюсь, не судите меня строго. Хотите начистоту? Я читала ваше письмо к Лавинии, и в этом письме я, именно я, а никто другой, смогла уловить, чего бы никто другой не уловил, еле слышимые интонации вашего одиночества и расположения к моей дочери... Погодите, кто-нибудь другой и не заметил бы, но я, князь, верьте мне, это уловила... погодите... потому что, когда дело касается моей дочери, я слышу, как растет трава и о чем говорят между собой рыбы... Я колдунья, князь... — И она расхохоталась, довольная произведенным эффектом. — Да вы не качайте головой, не отрицайте попусту... Мне ведь ваше мнение неинтересно, мне важно, что я сама слышу. Я даже могу с вами согласиться из учтивости, но это ведь ничего не означает, если я слышу так, а не иначе...

Веселый поезд давно скрылся из виду, а оцепенение не покидало Мятлева. Наконец он нашел в себе силы вернуться в гостиницу и, разбудив опухшего Афанасия, приказал ему позаботиться об обеде. Когда все было съедено, а водка успокоила его натянутые нервы, он сказал сонному слуге:

— Она очаровательное создание, претендующее именоваться философом, но вся полна предрассудков и

даже, если хотите, пороков. Я показался ей непорядочным, то есть она попыталась меня изобразить таковым, но, видите ли, сударь, я-то предполагал, что ее дочь сидит на цепи и что я могу спасти ее от произвола...

— Вы так думаете? — лениво осведомился Афанасий.

— А вы думаете иначе? Не кажется ли вам, что ее деятельность направлена не на то, чтобы превратить свою дочь в капельку бриллианта, придав ей тем самым истинную ценность, а на то, чтобы, поименовав ее бриллиантом, вставить в собственную корону?

— Вы думаете? — удивился Афанасий, напрягаясь.

— Я попал в глупое положение, сударь. Меня заподозрили, и у меня не нашлось аргументов. Впрочем, эта дама весьма, как вы говорите, умны-с. И я испытываю непреодолимое желание с ней сразиться, чтобы хоть как-то очиститься перед самим собой. Но это невозможно, и завтра мы покинем этот негостеприимный город.

— Ваше сиятельство, — сказал Афанасий, пользуясь расположением Мятлева, — зачем же вы, если позволите, меня ожените, а, ваше сиятельство?

— Действительно, — ответил Мятлев. — Но разве тебе так уж не нравится твоя жена?

— Глупы-с, — отвечивал камердинер. — Ведь я ее бью, ваше сиятельство, а она мне ручки целует, терпит-с, если позволите, прощает-с.

— Госпожа Тучкова, — продолжал Мятлев, отмахиваясь, — перенасыщена волнениями плоти, отчего у нее однообразное представление об окружающем ее человечестве. Она полагает, что то же самое должен испытывать и я, и потому я, имея роман с графиней Румянцевой, не могу отказать себе в удовольствии разнообразить и обогатить ее скудные ласки за счет маленьких девочек с острыми ключицами, вы слышите, сударь? Вот к чему привели мое простодушие и моя доверчивость. И теперь уже всем известно, что я вступаю в брак с графиней, всем, кроме меня... И если бы она там, в Петербурге, прослышала бы о том, ее лихорадка достигла бы таких высот, с каких можно было бы упасть и сломать себе шею.

— Очень при этом собачий жир помогает, — заметил Афанасий.

Беседуя, Мятлев остывал, и тем больше ему хотелось попасть на злополучный пикник, чтобы свести счеты с госпожой Тучковой и доказать ей, что Лавиния не имеет

ко всему этому ни малейшего отношения. Проснувшись поутру, он почувствовал, что желание это так уже в нем окрепло, что осуществлению его не сможет помешать даже опасение прослыть смешным и навязчивым. Правда, в экипаже его несносная беспокойная совесть напомнила ему о цели его приезда в Москву, и отвергнутая тень великого доктора Моринари качнулась с укоризной, но погода была хороша, графиня Румянцева почти позабыта, чувствовать себя авантюристом доставляло удовольствие, и, думал он, жалки те, кто, считая себя ценителем талантов, почитают ничтожным великий дар — вливать в сонную кровь человечества каплю возбуждающих обманов.

Эта мысль до такой степени взбудрила его и возвысила в собственных глазах, что он впервые за много лет подумал о себе хорошо и даже поклялся нарушить свое милое затворничество и походить по земле, внезапно поверив, что климат ее и ее нравы губительны лишь для тех, кто их отвергает.

Где-то за Всехсвятским, поздно, когда солнце уже покинуло зенит и вода в реке приобрела сиреневый оттенок, Мятлеву почти случайно удалось обнаружить в великолепном месте, возле покинутой полуразрушенной мельницы, вчерашнее общество. Пиршество тоже, видимо, подходило к концу, ибо часть гостей разбрелась по лугу, молодые люди играли в серсо, слуги носились около громадного ковра, покрытого не менее громадной белой скатертью, вокруг в беспорядке валялись разноцветные шелковые подушки, на которых еще недавно возлежали господа.

Появлению Мятлева никто не удивился или сделал вид, и лишь госпожа Тучкова, придерживая голубое платье, сверх меры обтягивающее ее почти юную талию, пошла к нему навстречу по желтеющей сентябрьской траве.

— Как я ошиблась, — сказала она, с заметным интересом разглядывая Мятлева, — я-то считала, что вы не приедете, что вас задержат дела...

— Я заглянул на минутку, — солгал он. — Вчера мне показалось, что вы хотели мне что-то сказать и не успели... — Он присматривался к обществу. Лавинии не было видно нигде. — Но сейчас я вижу, что у вас самый разгар веселья, и я тихонечко улизну, чтобы не прерывать его...

— Лавиния отправилась к бабушке, она не пожелала

ехать с нами, — пояснила госпожа Тучкова, ослепительно улыбаясь. — Как жаль, что вы торопитесь...

— Разве вы позволяете ей поступать, как она вздумает? — спросил Мятлев, раздражаясь.

— О да, — сказала она, — ведь ей шестнадцатый и у нее свои интересы.

Слуги заново уставляли скатерть блюдами, напитками и хрусталем. Госпожа Тучкова сделала приглашающий жест, однако больше из вежливости. Сколько ни вглядывался Мятлев в гостей, он не видел нигде и поручика Мишу Берга, и его кудрявого приятеля.

— Господин Берг с приятелем тоже игнорировали нас, — усмехнулась госпожа Тучкова, — они отправились на бега, считая, что мы для них слишком стары... Значит, вы нас покидаете?

— Нынче я отправляюсь в Петербург, — сказал Мятлев. — Мне очень жаль.

— Мне очень жаль, — словно эхо, подхватила госпожа Тучкова, — прощайте...

Этот, казалось бы, пустопорожний диалог, в котором, однако, было много скрытого смысла для тех, кто в нем участвовал, был прерван звоном серебряного подноса, уроненного нерасторопным лакеем.

— Ну вот, — сказала госпожа Тучкова облегченно, — вот видите? — и помахала ручкой.

Ощущая устремленные на себя взгляды, Мятлев торопливо добрался до фаэтона, ожидавшего его в стороне, и велел ехать в Москву, в Староконюшенный переулок, да поживей. Кучер погнался с радостью. Негодование бушевало в Мятлеве, хотя явных причин к тому и не было. Природа рождает людей безупречными, но ложные принципы, господствующие в окружающей среде, делают их дурными. Когда-то это маленькое очаровательное существо с синими глазками и ангельскими кудряшками было исполнено любви и добра, но время и окружение позаботились о нем по-своему, и оно превратилось в госпожу Тучкову. Порок в великолепной оболочке! Щепотка яда в позолоченной обертке... В поединке природы с обществом природе выигрывать еще не удавалось, она всегда оказывалась побежденной, но в вознаграждение за проигрыш ей позволялось заботиться о человеческой оболочке, тогда как победителю доставалась душа, которую он и приспособлял к своим нравам. Так думал Мятлев, му-

чимый бешенством, хотя не имел к тому никаких причин, кроме, пожалуй, досады на самого себя за собственную опрометчивость. Что же касается госпожи Тучковой, она (и это он с огорчением признавал) была не только хороша собой, но в достаточной степени наделена зоркостью и ироническим складом ума, что Мятлеву не могло не нравиться.

Так, мучимый сомнениями, раскаянием, угрызениями совести и вульгарной злостью, он домчался до Староконюшенного уже в сумерки, отпустил экипаж и направился к дому господина Ладимировского. Стемнело, сад за оградой был пустынен. Зато за громадными окнами второго этажа, распахнутыми настежь, слышались голоса и пламя множества свечей единоборствовало с густеющими сумерками.

Мятлев был так напряжен и взвинчен, что, пожалуй, не постеснялся бы взобраться на старинные липы, чтобы лучше слышать и видеть происходящее и раз и навсегда избавить себя от мук, но липы росли на значительном расстоянии от окон, и поэтому он, словно перипатетик, принялся прохаживаться вдоль дома, иногда замирая, подобно господину Свербееву, завидуя его способности висеть часами в дымоходной трубе.

Он не слышал голоса Лавинии, но уже понял, что его обманули, как будто синие глаза и прерывающиеся интонации госпожи Тучковой не были достаточным доказательством, как будто ему и в самом деле нужно было лететь сломя голову в Староконюшенный, чтобы не мучаться сомнениями.

— Она сказала «ну и пусть», — послышался голос Мишки Берга, — это в каком же смысле?

— Это в том смысле, — засмеялся кудрявый Коко Тетенборн, — что Лавиничка, королевочка, считает происшедшее с нею пустяком...

Б е р г. Жаль, что у меня нет шпаги, я бы с наслаждением проткнул вас.

Т е т е н б о р н. Будто не вы в недавнем прошлом были вырваны из объятий рыжей горничной и брошены с раной в кусты, в лопухи, в грязь и смрад. Удивляюсь, как вас еще оттуда выгребли!

Б е р г. Если вы мне друг, помогите обмануть Калерию. Давайте выманит у нее ключи.

Т е т е н б о р н. Жульничество — не моя профессия.

Это я предоставляю вам. Лично я предпочитаю выйти в сад и увести Лавинию через окно...

Б е р г. Так она с вами и пошла... Я умоляю вас действовать вместе. Не губите нашей дружбы...

Т е т е н б о р н. Дружбы, службы, дважды, жажды...

Б е р г. В конце концов мне ничего не стоит прихлопнуть вас обыкновенным стулом...

Т е т е н б о р н. Это не по-джентльменски.

Б е р г. По-джентльменски, не по-джентльменски... Вы хотите, идиот, чтобы и эту увели?!

Т е т е н б о р н. Фу, какой крикун... неврастеничка... Я не хочу, чтобы девушка, которую я люблю всем сердцем, была предметом ваших обсуждений...

Б е р г. Вы ее любите?.. Эх вы... Он ее любит...

Т е т е н б о р н. Поставьте стул на место... Поставьте стул на место. Поставьте стул на место или... поставьте стул!

Б е р г. Вы ведь знаете, одно мое слово — и в обществе к вам уже не будут снисходительны.

Т е т е н б о р н. Никто не мешал вам брякаться на колени перед Румянцевой. Так не мешайте же и вы мне, черт возьми!

Б е р г. Чудовище! Ее татап имела со мной беседу! Все уже решено.

Т е т е н б о р н. Вы прощелыга, а у меня честные намерения, и если я не брякался в ножки, то это по сдержанности, а не по расчету... Поставьте стул на место!..

По невероятному грохоту, донесшемуся из окон, было понятно, что побоище началось, и не на шутку. Представляя, чем это может кончиться, Мятлев медленно двинулся вдоль дома, как вдруг из крайнего темного окна его окликнули.

— Неужели это вы? — нараспев удивилась Лавиния, невидимая во мраке. — А если бы меня не заперли и взяли бы на пикник, мы бы с вами разминулись?

— Я был на пикнике, — отрапортовал Мятлев, прислушиваясь к звукам борьбы.

— Какие шутки, — засмеялась она. — Вот уж не верится.

Побоище утихло, и вновь неясно загудели голоса.

— Кто же посадил вас на цепь? — спросил Мятлев.

— Вот какая странность, — сказала она, — меня из-за вас заперли, а те прекрасные, великодушные, достой-

ные намеревались меня спасти... Вот бы вы меня спасли... Калерия закрылась с ключом в своей комнате, я читала, а они убивали друг друга... Как все перепуталось, не правда ли? Я не вижу вашего лица, вы, наверное, смеетесь надо мной...

— Как же это вас, такую сильную и храбрую, такого гордого господина ван Шонховена, смогли посадить на цепь? — спросил Мятлев, сильно подозревая, что в его шутке есть немалая доля печальной правды. — А меч-то ваш где?

— Что вы, — засмеялась Лавиния, — я и не думала спорить. Зачем? Это ведь все капризы папап. Вы думаете, она и в самом деле хочет выдать меня за этого Берга? Что вы... Это они хотят, вбили себе в голову эдакое...

Внезапно из дверей дома вывалился Коко Тетенборн. Не обращая внимания на Мятлева, он крикнул Лавинии:

— Не плачьте, королевочка. Я убил его, — и исчез в переулке.

— Врет он! — крикнул Мишка Берг, высовываясь из освещенного окна. — Я слушаю, как вы любезничаете с князем... — Он высовывался почти по пояс, рискуя свалиться. Затем отступил на шаг в глубину комнаты, и пламя множества свечей озарило его. Сюртук на нем был изрядно смят, рукав почти оторван, по щеке расплзлось темное пятно — то ли кровь, то ли грязь...

— Он весь в крови, — сказал Мятлев.

— Вот видите, — засмеялась она. — Разве папап может им меня доверить? Да никогда в жизни. А вы и в самом деле были на пикнике? Честное слово?.. Ха, какая прелесть! — И, помолчав, сказала: — Вас-то, например, нельзя запереть, а меня можно... Вот что ужасно.

В этот момент послышалось постукивание колес, цокот копыт, и давешние коляски остановились за оградой. Лавиния тотчас исчезла, и Мятлев, стараясь быть незамеченным, выскочил в переулок.

Его жизнь, особенно давние юношество и молодость, были полны событиями такого сорта, когда он, прижимая острые локти к бокам, улепетывал, спасался, задавал стрекача, смеясь наутро над собой и над своими преследователями, приобретая лучший сон, и хороший аппетит, и

умение быть ироничным к себе самому. Как персонаж из мещанской драмы, как кавалер из рыцарского романа, он вдоволь порыдал, и пообтер руки о веревочные лестницы, и посбивал пятки, падая с крепостных стен. Но возраст, видимо, вот такая штука: он уже не позволяет смеяться над самим собой и сущие пустяки возводит во вселенские трагедии.

К чему же был весь этот несусветный вояж из Петербурга в Москву? Желание ли скрыться от страшной графини или надежда хоть как-нибудь облегчить участь малознакомого господина ван Шонховена?

Теперь в его сознании укоренились два господина ван Шонховена, вернее, один ван Шонховен, тот, давний, и Лавиния. Тот казался ему старым другом, затерявшимся в житейском море, эта—тонкошеей барышней, уже вкушившей от ярмарки тщеславия. Оставалось скорбеть об утрате.

Пожалуй, единственным приобретением, если не считать разнузданного поступка Коко Тетенборна и очередной пробоины в голове Мишки Берга, что уже не воспринималось как феномен, была несравненная госпожа Тучкова, эта гибкая полячка с каштановыми букольками, холодным сердцем и горячими губами, гусыня, притворяющаяся змеей, из тех любопытных созданий, глядя на которые невольно стараешься представить себе счастливого паучка, великодушно допущенного к ее объятиям. Это было приобретение, о котором стоило поразмышлять на досуге, чтобы не разувериться окончательно в самом себе и придать себе бодрости перед предстоящим.

Едучи обратно в Петербург, Мятлев, к его собственному удивлению, не испытывал горечи, уныния, разочарования или иных расслабляющих чувств, лишь легкая скорбь о непонятной утрате, знакомая с детства, сопровождала его, как сестра.

Господа, то, что Мятлев иногда раздражал меня своим унынием и отрешенностью, это не секрет, но близкий человек тем и близок, что соприкасается с душой страдальца, а не судит со стороны с превосходством.

33

За недолгий срок его отсутствия Петербург словно преобразился. Дом Мятлева был наводнен пестрыми конвертами с приглашениями, пожеланиями и прочей чер-

товщиной. Казалось, что черствое, расчетливое сердце Северной Пальмиры наконец растаяло и всем до князя стало дело, будто он уже не прежний изгой, а полноправный и обожаемый соплеменник.

Среди прочих писаний, к которым он остался равнодушным, мелькнуло и известное уже письмо Лавинии с изящным призывом о помощи, но, мелькнув, оно погасло тут же, как маленький парус неведомого корабля, идущего к чужим берегам.

Теряя, мы находим. О, так ли?.. И все-таки под ногами была земля (а все происходящее происходит на ней), и снова горели свечи, и афоризмы великих оставляли надежду, и дом разрушался достаточно медленно, позволяя не очень торопиться. Однако ощущения этих добрых предзнаменований хватило, к сожалению, на короткое время, покуда еще свежи были грустные воспоминания о нелепой поездке, и в сравнении с ними Петербург казался обетованной землей. Сначала, как ни в чем не бывало, явилась Наталья. Ее разгоряченное, полное праздничного вдохновения лицо было неотразимо. «Я хочу, чтобы вы были счастливы!..», «Вы счастливы со мной, не правда ли?..», «Какое счастье, что мы встретились!..», «Теперь вы можете заниматься своими глупостями, а уж я позабочусь об остальном...», «Я хочу, чтобы вы забыли о своем прошлом, тогда вам сразу же станет легче...»

И он пошел ей навстречу, словно это было единственное живое существо в одряхлевшем и распадающемся мире, так трогательно завоевывающее право на одиночку с вытянутым лицом и в очках, так трогательно наивно, так обстоятельно и без притворства. Вновь все вокруг запенилось, и заклокотало, и закружилось. Все опасения и недобрые предчувствия отступили в тень. Ее прекрасное лицо то отдалялось, то приближалось, покуда она рассказывала городские новости, не скрывая радости от лицезрения его. Ее маленький подбородок изящно рассекал воздух, и в нем уже не замечались былые печальные изъяны. Вишневая бархатная мантилья, отделанная черными кружевами, облегла ее безукоризненный бюст, и благотворный жар, исходящий от графини, ощущался на расстоянии. «Ваше прошлое делает вас больным и отрешенным, я хочу избавить вас от него, вы слышите?..», «Вы верите, что будете счастливы со мной?..», «Вы рады, что у вас будет маленький князь?..», «Признаться, я немного побаиваюсь,

но мне сказали, что мне нечего опасаться, потому что у меня, мне сказали, все так устроено, — она покраснела, коснувшись своего бедра, — что я могу не волноваться, что, мол, я создана для материнства... Вы представляете?»

Пока она говорила все это, гладила себя по бедрам, машинально переставляла какие-то бесполезные мелочи с места на место, он молчал и разглядывал ее, стараясь разобраться в происходящем и четче представить себе приближающееся блаженство. Внезапно ему вспомнилась госпожа Тучкова, и он, кивая Наталье, принялся сравнивать. Госпожа Тучкова, выигрывая в опытности, проигрывала в непосредственности, пренебрежение к иллюзиям украшало ее, в то время как склонность к ним графини Румянцевой делала ее жалкой. Впрочем, ни ту, ни другую нельзя было обвести вокруг пальца или оставить с носом. Опыт позволял старшей из них предвосхищать события, а молодость наделила младшую цепкостью и стремительностью. Понятие «хищницы» не оскорбляло в представлении князя этих дам, ибо это понятие подразумевало природу, и только. За ним скрывались земные пристрастия, оно определяло поступки, которыми мы часто восхищаемся и пред которыми благоговеем. Оно определяло неукротимость, и слепой инстинкт, и потребность в материнстве и в гнезде, по возможности самом теплом и сытном, страх перед будущим и сожаление о минувших несовершенствах. И кого из представителей сильного пола, не страдающих предвзятостью, могло бы покоробить это? Кому из них пришло бы в голову осуждать своих подруг за их робкую попытку прикрыть тонким флером благовоспитанности эти пристрастия, против которых они бессильны? Однако, рассуждая подобным образом и даже испытывая некоторое умиление, Мятлев продолжал оставаться самим собой, зная, что в решительную минуту он все-таки не откажет себе в удовольствии проявить твердость.

— Natalie, — сказал он по возможности непринужденно, — вы меня немножко удивляете, дорогая. Я ценю вашу дружбу и восхищаюсь вашей красотой, но разделять ваши иллюзии...

— Если бы я не видела, как вы меня любите, я могла бы подумать, что вы меня ненавидите, — сказала она с очаровательной улыбкой. — Вместо того чтобы поторопиться и сделать все, что надо, все, что требуется в подоб-

ных случаях, вы несете какой-то вздор, как будто я не вижу, как вы меня любите, и как вы ко мне стремитесь, и как вы мне благодарны за все, за все... Вам доставляет удовольствие... Как будто вам приятно... Можно подумать, что вам это все безразлично, и судьба вашего сына... на протяжении... выдумать... счастливых предзнаменований... распорядиться...

Афанасий доложил, что приехала их сиятельство Елизавета Васильевна, и тут же вплыла Кассандра, раздавая поцелуи. Затем она уселась в кресло так, чтобы брат и будущая невестка оказались напротив, и принялась с радостным удовлетворением их рассматривать. Затем она заплакала.

— Ну вот, — сказала она сквозь слезы, — я поздравляю вас от всей души, и вас, Natalie, и вас, Serge. Теперь мне нечего делать. Остальное довершит любовь... Я подумала, что, может быть, смогу быть полезной, но вижу, что опоздала со своими благодеяниями. Тут и без меня... Хотя я совершенно не представляю, где вы будете жить. Можно ли привести в порядок этот дом, ну хотя бы ради меня?.. Если бы вы, мой дорогой, хоть на минуту отвлеклись от себя и подумали бы о благополучии теперь уже и Natalie, и будущего ребенка...—И она заплакала снова.

Мятлев, совершенно растерявшись от всего, что происходило, позвонил, но в довершение к начавшемуся безумству вместо Афанасия явился господин Свербеев в печальных усах и пояснил, что Аглая, спасаясь от кулаков мужа, случайно вот только что столкнула его с лестницы и благородный камердинер лежит у себя в комнате с болями в пояснице и затылке. Говоря все это, шпион обращался к графине Румянцевой, игнорируя князя и его сестру, и в другую минуту следовало бы выставить его вон, но теперь было не до определения приличий, и Мятлев велел ему принести воды и уксуса для сестры.

Едва шпион удалился, как Елизавета Васильевна, продолжая прерванный слезами монолог, сказала:

— Где вы выкапываете эдаких чудовищ? Вы бы хоть придели его! Теперь ничто не должно вызывать вокруг вас разговоров и мнений... Слава богу, что вы соединяетесь и наконец честь нашей фамилии... Я начала бояться государя и его возможных расспросов о вас. Что я могла ему отвечать? В чаше его раздражения против вас не хватало одной капельки, поверьте мне, поверьте... И слава

богу, что теперь я смогу не прятать лица. — Она оборотилась к подруге: — Он с его душевным богатством, талантами и скрытыми в нем добродетелями становился известным в обществе как человек опасный и дурной!

«О чем вы говорите?!» — хотел крикнуть ей Мятлев, но не смог.

Господин Свербеев принес воды и уксуса, к которым фрейлина не проявила интереса.

— Вам бы следовало купить новый дом, — продолжала она, обращаясь к Мятлеву, — поближе к нам ко всем, нанять новых слуг и завести новый порядок. В крайнем случае, если вам дорога эта рухлядь, вы бы пригласили архитектора и поручили бы ему как-то ее видоизменить, сделать пристойней, что ли.

— Попристойней, — подтвердил господин Свербеев.

Мятлев сделал в его сторону угрожающий жест, требуя, чтобы шпион удалился, но господин Свербеев остался стоять как ни в чем не бывало.

— Ступайте, ступайте, — брезгливо сказала Наталья.

Шпион вышел, хлопнув дверью.

— Вы знаете, сколько у вас лакеев? — спросила Елизавета Васильевна.

— А черт их знает, — засмеялся Мятлев. — Это известно Афанасию.

Ему хотелось, чтобы они немедленно ушли, чтобы, оставшись в одиночестве, окунуться в дневник и записать любопытные наблюдения, которые он сделал, не очень прислушиваясь к их прожектам, но фрейлина продолжала:

— Не понимаю, что стоит вам одуматься и взять себя в руки? Вас ничто не обременяет, кроме собственных капризов... Теперь же, мой дорогой, вам следует подумать о Natalie, теперь уже все явно и вам незачем делать вид... И если бы вы наконец сообразовали осознать степень вашей вины перед обществом и поторопились бы, вступив в службу, как-то очиститься, проявить свои способности, заставили бы говорить о себе, как о полезном для государя человеке, и составили бы себе имя уже не как злодей, бросающий вызов, а как заботящийся о благе царствующего дома, тогда бы, уверяю вас, все было бы забыто, мой дорогой брат, и ты... и вы... снова были бы с нами. Разве тебе... вам... состояние... прелести... указывать... благосклонных... одиночества...

Был поздний вечер, когда они наконец додумались его

покинуть. На прощание Наталья, по своему обыкновению, все же успела подарить ему небольшой холст «Благовещенье» кисти Гверчино.

«Что вы делаете? — хотелось сказать ему. — Вы так плотно связываете меня по рукам и ногам и так премило делаете причастным к вашим ухищрениям, пользуясь тем, что я безъязык, а вы так прекрасны, и благородны, и правы... Но я не разучился видеть, что вы хоть и достаточно умны, чтобы уметь притворяться непонимающей, однако не настолько, чтобы уберечься от самоуверенности, и это вас погубит. Будет больно, когда я вырвусь. Видит бог, я не хочу зла...»

Венчание было назначено на последнее воскресенье октября.

34

«...7 октября...

..Некий спасавшийся от преследования беглец был схвачен людьми, которые искали не его, а другого. Увидев, что поймали не того, кого ищут, они сжаались над ним и позволили ему бежать в лес. Однако его местонахождение стало известно истинным преследователям, и они устремились за ним. Тогда беглец в отчаянии бросился к первым и воскликнул: «Лучше уж убейте меня вы, раз вы сжаались надо мною, а вам за это будет награда». Так, умирая, он отплатил им за сострадание.

Не могу отказать себе в удовольствии выписать этот эпизод из Аппиана, так пророчески предугадавшего нашу судьбу, хотя мы проживаем спустя восемнадцать столетий. Я читаю это с содроганием, но не представляю, как можно поступить иначе. Покуда я бегу к лесу по траве, окропленной росой, за моей спиной все время слышны приближающиеся голоса и лай псов.

Если бы люди жили вечно, то опыта одной жизни хватало бы на то, чтобы в следующей жизни не попадать впросак. Однако каждое новое поколение учится заново и гибнет от собственного невежества.

Что я мог противопоставить великолепному хору двух оголтелых дам, осадивших меня, подобно двум катапультам? Что, кроме молчания? А ведь им показалось, что я уже созрел для того, чтобы разделять их планы и восторги. И слава богу... Пока лень двигаться, но в критиче-

скую минуту я выпорхну в окно, подобно мотыльку, и улечу, ну, хотя бы в райскую страну, о которой мне прожужжал все уши Амиран Амилахвари.

Хромоножка прислал письмо, из которого я заключил, что мудрый тульский ворон, витающий над государями, не смог все-таки возвыситься над самим собой и увидеть, что его разоблачительная деятельность отдает заурядной суетностью, ибо, убивая Медведя, он пытается доказать окружающим, что именно он, хромоножка, и есть истинный Медведь, а тот лгун и узурпатор. Вот ведь что лежит в основе его борьбы за справедливость!

Он совсем рехнулся на этой почве, уж лучше бы писал романы. При его образованности, таланте, умении тонко показать характер писание романов — сущая находка. Он негодует, что все его попытки приобщить меня к своим затеям, зажечь своими страстями ничего не дают. Он никак не может понять, что у меня тотчас начинается дурнота, едва я пытаюсь коснуться политики, раздаю деньги налево и направо, а деньги хороши для другого.

Посмотрел на себя в зеркало: а ведь я еще недурен, да и в глазах есть что-то...»

35

Залетев в шелковые сети, расставленные этими дамами, Мятлев почти потерял способность к сопротивлению и начал слепо повиноваться. Это, видимо, тоже была длительная дурнота, овладевшая им, некое оцепенение, из которого его могло вывести разве лишь чудо. Я молил бога, чтобы он спас моего друга от слабости и слепоты, и, видимо, мольбы мои были столь горячи и отчаянны, что providение не замедлило предоставить счастливый для того случай.

Дав согласие определиться на службу, чтобы «очиститься в глазах общества», он отправился представиться графу Нессельроде. Свидание было коротким, престарелый граф вкрадчив и радушен: сложные и витиеватые хлопоты Елизаветы Васильевны дошли до него в самом завершенном и непререкаемом виде, и этот отменный пройдоха, пользуясь ими, представлял это радушие плодом собственной доброжелательности. Отменный дипломат в мелочах, он и здесь, несмотря на преклонный возраст, пустил в ход свои испытанные чары, но не произвел большого

впечатления на Мятлева, не привыкшего к государственной службе и разглядывающего утонченные телодвижения должностного лица с непосредственностью античного пастуха.

В прошлом они встречались в свете и были слегка знакомы, но если графу этого было достаточно, чтобы представлять себе князя гусем, оторвавшимся от родимой стаи, то Мятлеву совершенно недостаточно, чтобы судить о графе, ибо его память о людях, ему не близких, была вообще чудовищно беспомощна.

Граф счел своим долгом подчеркнуть, что появление Мятлева у него не простая случайность, не результат давления, а логическое следствие длительных размышлений самого князя о своем месте в обществе, признак мудрости, приходящей лишь с возрастом, и пр.

— Я скептически отношусь к юнцам, избирающим это поприще по настоянию своих отцов, а не по велению сердца, — сказал он. — В вас же я рад видеть человека, вполне созревшего для принятия самостоятельных решений.

Мятлев отправился восвояси, несколько не очарованный радушием престарелого льстеца. Напротив, недавние сомнения опять забушевали в нем, но делать было нечего, да и ажурная сеть стягивалась все туже.

Так с ее обозначениями на теле и с потухшим взором он проходил по Гороховой, отпустив коляску, как вдруг из-за угла со светло-голубой вывески глянула на него будто с детства знакомая фамилия. «Салон Свербеев и К°. Шитье дамского и мужского платья по лучшим английским образцам». Впрочем, слово «английским» было написано над едва затертым «французским». Это видение было столь внезапно и ослепительно, что Мятлев остановился. Его затуманенный мозг встрепенулся, с лихорадочной поспешностью собирая и склеивая разрозненные остатки воспоминаний. Что-то отдаленное и угрожающее, непристойное и двусмысленное, неблагозвучное и вздорное замаячило перед ним, и он вспомнил. Это заставило его расхохотаться: так нелепа была фамилия знакомого жителя дымоходов рядом с красными ножницами, желтой ниткой и зеленой иглой.

Колокольчик равнодушно прозвякал невразумительный свой привет, и дородная особа лет сорока, закутанная в пестрый платок, шмыгая простуженным носом, возникла перед Мятлевым, оглядывая его с профессиональным

подозрением. Перед нею стоял человек в черном рединготе не самой первой свежести и в серой высокой пуховой шляпе, которой не миновали ни ветер, ни дождь. Однако воротничок и белый галстук, выглядывавшие уголком, были безукоризненны. Его очки посверкивали, и это ее настроило мрачно. Он опирался на черный зонт и оглядывался, словно перепутал адрес.

— Милости просим, — привычно процедила она, — хозяин сейчас выйдут-с...

Он понял, что ему надо повернуться и уйти, но любопытство мешало, и он спросил ни с того ни с сего, давно ли существует это почтенное заведение.

— Гости пришли-с! — вдруг крикнула особа тоненько и сладко.

Тут Мятлеву стало совсем нехорошо при звуках этого дурного голоса и оттого, что ему не предложили раздеться, и оттого, что он был у графа Нессельроде и они, как говорится, ударили по рукам, а все из-за Кассандры, и из-за Натальи, и из-за его собственной неосмотрительности, и теперь он влез в это мрачное логово сам, сам разговаривает с простуженной бабой вместо того, чтобы, иронизируя над всем этим и над самим собою, деревянным шагом выйти вон, непочтительно хлопнув дверью, затем, освободившись от оцепенения, послать к черту графа Нессельроде с его министерством, ибо никакого министерства в природе не существует, а есть здание, набитое чиновниками в темно-зеленых вицмундирах; затем послать к черту Наталью, притворяющуюся влюбленной в него, и самого себя, делающего вид, что порядочный человек не может не испытывать наслаждения от одного сознания своей причастности к государственному кормилу...

Он уже собрался было совсем выполнить свое гневное намерение, как вдруг из-за суконной портьеры, из полумрака вышел сам господин Свербеев и низко поклонился ему. Его нескладное, длинное тело при этом как бы надломилось, даже послышался легкий треск и хруст; печальные усы мазнули по полу, оставив (это Мятлев видел хорошо) два тонких следа на пыльных половицах.

— Ваше сиятельство! — воскликнул он с восторгом. — Вот уж не думал, не гадал-с!.. Да вы... да позвольте, я сыму с вас рединготик... Ну надо же!.. Ай понадобился я? — И оборотился к простуженной особе: — Чего же вы стали как прибитые? Да если узнают теперь, что у

меня сам их сиятельство князь Мятлев были, да ко мне пойдут, отбоя не будет... Ступайте, самовар приготовьте, чего стали?

«Как это вам удастся совмещать шпионство и шитье?» — хотел спросить изумленный Мятлев, но не спросил.

— Тут у меня модные картинки-с, — продолжал захлебываться Свербеев. — Не угодно ли?.. Какой день нынче, что вы ко мне соизволили зайти-с? — И снова крикнул тучной особе: — Какой день, я спрашиваю! Запомните, какой день... — И опять повернулся к Мятлеву: — Ко мне ведь что, ваше сиятельство, ну, купчишки, ну, коллежские ходят, ну, из разночинных кто, а вас, ваше сиятельство, я так понимаю, сама судьба, ваше сиятельство, ко мне направила...

Говоря все это, господин Свербеев суетился, прыгал, распространяя острый аромат табака, лука и ладана, и его цепкие красные пальцы ощупывали, одергивали сюртук на князе, будто измеряли его или впрямь измеряли, определяли его длину, ширину, и длину панталон, и ширину в бедрах, и объем в поясе, сокрушенно замирая по поводу не очень мощной груди, прикидывая тут же, как подбить ваткой и волосом, чтобы придать будущей грудке-с видимость совершенства, и затем рассчитывали расстояние от полы до плеча, и от плеча до плеча, и от пояса до штрипок, и от штрипок до самого казенного места...

«Что же заставляет вас шпионствовать?» — хотел спросить Мятлев, но не спросил.

Суконная занавеска дрогнула, распахнулась, из-за нее показался человек, одетый самым неподобающим образом. Он был в темно-зеленом форменном сюртуке, распахнутом и лишенном рукавов, однако без панталон, вместо которых было черное, установленное регламентом исподнее, и босой. Широкое, гладко выбритое его лицо дышало здоровьем, мясистые губы улыбались, маленькие умные глаза глядели пронизательно.

— Я услышал «князь Мятлев» и не удержался, чтобы не выйти из своего тайника, — проговорил он с неторопливым достоинством. — Я наслышан о вас... — и поклонился. — Колесников Адриан Симеонович, коллежский секретарь канцелярии коннозаводства, очень рад. Не приходилось ли читать моих сочинений по журналам?.. Не могу похвастаться широкой известностью, однако имею почитателей среди читателей, — и засмеялся с хрипотцой.

Ни господин Свербеев, однако, ни его простуженная дама не удивились появлению полураздетого литератора, и, пока он, пользуясь замешательством Мятлева, рассказывал о своих подвигах и знакомствах, они стояли, не шевелясь, не произнося ни слова.

Босые ноги литератора, видимо, мерзли, он, как кирасирский конь, приплясывал на месте, исповедуясь перед оторопелым собеседником.

— О вас, князь, ходят всевозможные слухи, один фантастичнее другого, но лично я не придаю им значения. Для меня лично вы в прошлом друг нашего печального гения, не правда ли?.. Я удивляюсь, почему вы до сих пор не удосужились написать своих воспоминаний, хотя в нынешних, скажем, не совсем благоприятных условиях вряд ли их можно было бы издать, не так ли? Присядем, — и он указал Мятлеву на кресло тем легким и непререкаемым движением руки, которому трудно не уступить. — Конечно, всякую неблагоприятность и даже нелепицу можно весьма просто объяснить государственными причинами, да так объяснить, что вы и спорить не решитесь. Можно ведь, например, запретить пить кофий по утрам, сославшись на государственные причины, и вы не будете пить и даже сумеете себя убедить, что это действительно необходимо, не так ли? Все есть государственная причина, глубокая тайна, не постижимая разумом обывателя... Да, кстати, некий попечитель договорился вывести в России романы, чтобы никто не читал романов! Это обсуждается... Каково?

Меж тем, не получая отпора, руки господина Свербеева продолжали действовать, определяя что-то одному ему известное в одежде князя, он отклонялся, прищурившись, воображал, фантазировал, и по его тоскливому лицу пробегали волны вдохновения и страсти.

«А ведь он не лгун, — с симпатией подумал Мятлев, глядя на босые ноги господина Колесникова. — Какой милый человек. И все у него так просто, а ему все так ясно, что его и обидеть-то грех».

— Лично я хотел бы увидеть ваши мемуары. Могу, если хотите, порекомендовать несколько журналов, кроме, разумеется, «Северной пчелы». Да вы и без меня в курсе, конечно. Вот, к примеру, «Современник». Некрасов висит на волоске, но делает свое дело...

— Какое дело? — спросил Мятлев.

Колесников засмеялся с видом заговорщика. Пальцы на его ногах совсем скрючились и посинели. За суконной занавеской позванивала посуда и топали чьи-то сапоги.

— Какое дело? — сказал Колесников с удовольствием. — А вот взгляните-ка, извольте-ка: известные вам события в Европе заставили нас изрядно поволноваться, так что мы, и так давно находясь в арьергарде, откатились черт знает куда... Принято считать, что события в Европе — результат чтения книг и увлечения науками, а посему, чтобы у нас избежать всяких катаклизмов, следует науку и чтение по возможности упразднить!..

— Вы думаете? — растерянно спросил Мятлев.

— Да, так думают те, кто именуют себя патриотами, тогда как истинные патриоты стараются из последних сил противодействовать этим пагубным мнениям и даже действиям... Не так ли? — И зашептал: — Невежество возводится в систему... Меж тем как события в Европе...

— Какие события? — спросил Мятлев. — Что вы имеете в виду?..

Тут Колесников откровенно рассмеялся и ударил пятками об пол. Посуда за занавеской отозвалась звонче. В убогом салоне теперь никого, кроме них, не было.

— Вы шутник, князь, — сказал Колесников, озираясь, — а то, что Европа, не выдержав произвола, подняла голову, это что по-вашему?.. Я имею в виду революцию, князь...

— Вы хотите, чтобы и у нас?.. — сказал Мятлев, еще не совсем понимая направление мыслей литератора.

— Можно подумать, что вы защитник произвола, — обиженно произнес Колесников, растирая пальцы ног руками.

— Я в этом мало смыслю, — улыбнулся Мятлев. — Разве вас лично не устраивает существующий порядок вещей?

— Помилуйте, князь, — сказал Колесников, ударяя об пол ногами, будто это они вели разговор, — дело не во мне, а в государстве, которое некогда рождало Пугачевых и многих других...

— Лично я Пугачевых боюсь, — сказал Мятлев ногам литератора.

— Князь, — воскликнул Колесников с недоверием, —

не из обскурантов ли вы?.. Когда мы задыхаемся в невежестве, стонем под палками, теряем человеческое достоинство, когда произвол во всем и всюду, говорить такое... Или вы одобряете это?

— Нет, я этого не одобряю, — сказал Мятлев твердо, — но я не знаю, как поступить... как лучше. Что нужно, я не знаю... Не уверен...

— Лучше сражаться среди немногих хороших людей против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших! — выкрикнул Колесников.

— Это Антисфен, — засмеялся Мятлев. — Вы его знаете?

— Я знаю и кое-что еще, — огорченно вздохнул Колесников и пошевелил окоченевшими пальцами.

— Государства гибнут, потому что не умеют отличить хороших людей от дурных, — сказал Мятлев и подумал: «Господи, как не хочется наряжаться в черное исподнее и в темно-зеленый вицмундир и делать вид, что ты приносишь обществу пользу...»

Господин Свербеев притащил штуку темно-зеленого сукна, лихо швырнул ее в кресло, разматывая, и свободный конец бросил князю через плечо, словно наряжал его в тогу, и снова отклонился, определяя, не бледнит ли...

— Прошу прощения, — сказал внезапно Колесников, густо краснея, — я не понимаю, как это... — Он пошевелил пальцами голых ног, с удивлением их разглядывая. — Вот ведь зарапортовался!.. Стыд-то какой!.. — Он вскочил и грузно поскакал к занавеске, из-за которой выходила простуженная дама.—Пардон, князь, как это я так?..— И уже из-за занавески: — Проклятый наряд должен быть готов к завтрашнему утру... Ах ты, господи... Так вы, если надумаете, не побрезгайте моими услугами: я вас мигом сведу с издателями, как вам будет угодно... Ах ты, господи, мундир-то почти готов, это ведь так, прикидочка была... и я босой и, наверное, застудился... А вы, значит, так думаете?.. Неужели же мы не можем определить человека: хороший он или дурной? Или мы должны уподобиться принцу Ольденбургскому, который, например, не благоволит к одному моему знакомому, и знаете за что? Вот вы послушайте: он встретил моего знакомого на каком-то университетском торжестве и сделал ему выговор

за то, что у того был черный галстук, а не белый, как это предписано уставом. И знаете что? В глазах принца это выглядело опасным свободомыслием. Вот как... Вы подумайте...

«Меня это все не интересует», — подумал Мятлев.

Широкое румяное лицо господина Колесникова выглядывало из-за суконной ширмы наподобие маски, и из круглого рта сыпались хриплые и печальные фразы затверженной роли. Господин Свербеев то исчезал, то появлялся, будто приглядываясь к им сочиненной пьесе, примеряя ее так и эдак.

— Или же, например, — прохрипела маска с ожесточением, — о праве начальника исключать чиновника из службы за неблагонадежность или за проступки, которых доказать нельзя... Это что же такое?

«Действительно, — подумал Мятлев, — что же это такое? Едва выйдешь из дому, как тут же начинаются неприятности. Не лучше ли выписать английский телескоп и наслаждаться зрелищем светил? А если и направить трубу на Петербург, то видеть лишь контуры колоколен? А если и выхватить из толпы двух беседующих горожан, то, по крайней мере, не слышать их хриплых голосов и не знать, о чем они с ожесточением судят. Не лучше ли пить чаем господина ван Шонховена в своем доме, чем торчать без причины в доме шпиона? Где вы, господин ван Шонховен?..»

— Это что же такое? — хрипел меж тем литератор. — Вы поминутно чувствуете себя в опасности погибнуть так просто, за здорово живешь от клеветы, от чьего-нибудь дурного расположения духа... Не-е-ет, ваше сиятельство, будь жив ваш трагически погибший друг, он разразился бы такими стихами, что мы прозрели бы, увидев себя на краю пропасти. Ваш друг, господин Мятлев, ваш друг был истинным гением...

Большеглазое, с короткими усиками лицо «вашдруза» вспыхнуло в сознании Мятлева и тут же погасло, ничего не объяснив.

Колокольчик над дверью коротко звякнул. Помолодевший и полный дерзких намерений Мятлев победоносно шагал под октябрьским дождем, слыша за своей спиной произносимое на незнакомом языке: «Ваше сиятельство, а ваше сиятельство... самоварчик готов-с, а ваше сиятельство... вашасьво... васьтво...»

«9 октября...

Ох, ох, какой я невероятный смельчак и невообразимый умница! Как сладко осознавать себя личностью. Какие блаженства сулит мне моя решительность!

Во-первых, я еще жив и здоров, слава богу, и не мне уподобляться господину Колесникову, слепому, и охрипшему, и безумному. Вот хорошая пара хромоножке. Представляю, как они, соединившись, били бы посуду, выясняя, кого занести в черный список, а кого в белый. Как они ниспровергали бы и рушили бы, втайне заботясь каждый о своем. Во-вторых, не странен ли был бы на мне вицмундир, темно-зеленый или даже темно-синий, и не чувствовал ли бы я себя в нем пришельцем из иного мира? Пусть государь и его ближайшие слуги выдумывают уставы и определяют необходимый цвет исподнего, чтобы тем самым противостоять европейским заразам. Вольному воля. В-третьих, похож ли я на счастливого супруга женщины с тяжелой челюстью? Какой дурман меня обволакивал при нашем-то безветрии! Какой счастливый случай накликать ветерок!

Я велел Афанасию достать кое-что из хвалимых либеральных изданий. Не могу отказать авторам в талантливости, а издателям даже в некотором либерализме, но ведь слово «либерализм» — слово не столько опасное, сколько пустое. Мне даже понятнее Пугачевы, мечтающие о власти, чем господа, скорбящие о народе. Мне даже сдается, что это они скорбят от собственных несовершенств или из раздражения по поводу личных неудач. Если бы они удосужились познакомиться с историей получше, они бы с изумлением увидели, что всегда и во все времена возникали надушенные и утонченные одиночки, провозглашающие свое единомыслие с народом до тех пор, покуда не наступало крушение иллюзий, покуда им не отдавляли ногу или не били по физиономии. Даже я был знаком с некоторыми из них, и, благоговей перед их порывом и святой слепотой, я вижу, как они обольщались, считая, что их рыдания нужны тем, над кем они рыдают.

И, кроме того, если уж рыдать, так отчего же не порыдать и обо мне, одевающим вицмундир, которого я внезапно оказался достойным? Обо мне, чье желание просто

жить по своим страстям доставляет лишь огорчения стольким совершенным и безукоризненным созданиям?...

Самое ужасное заключается в том, что в этой суеде уже нельзя вернуться к прежнему! Нельзя оживить Александрина и, помня, что жизнь коротка, быть щедрым. Нельзя оживить старика Распевина и наградить его не за храбрость, а за чистую приверженность к пустым фантазиям. Нельзя оживить того поэта, не подвергая его участия стреляться вновь... Ничего нельзя. И нельзя пригласить господина ван Шонховена на чашку чая или отправиться с ним смотреть, как по Неве проходит лед. Нельзя, нельзя...

...Шпион появился в моем доме вновь, как ни в чем не бывало, и первым же делом уселся пить чай в семейном кругу. Поклонился мне с удивлением, будто не надеялся меня снова встретить.

Все почти вслух говорят, что наша страна на грани катастрофы, что воровство и взяточничество достигли апогея, и если завтра выяснится, что царь пропал, стало быть, его украли, чтобы обменять на орден или еще на что-нибудь.

Внезапно, как снег на голову, письмо от Анеты Фредерикс. «...Отчего же Вы меня забыли? Или случившемуся между нами Вы придаете большое значение? Я думала о Вашем уме лучше, дорогой Сереженька. И потом, Вам бы следовало догадаться, не любя меня всерьез, что любовница я хуже, нежели друг... Все время слышу о Вас всякие толки, и мне Вас жаль. Заехали бы, ведь ничего ровным счетом и не было, так, туманные пустяки...»

«13 октября...»

Объясняться с графиней Румянцевой нет сил. Я написал ей короткий меморандум в том смысле, что ее надежды не имеют под собой почвы. Я боялся, что последует длительная осада, проклятия, мигрени и пересуды, однако она проявила высшее благородство, что весьма странно в ее положении и при ее воззрениях, и ответила холодным изысканным двухстрочием, заключенным в деловой конверт. Там, правда, была горькая фраза о моем эгоизме, но против этого можно устоять. Когда-нибудь, если нам будет суждено случайно встретиться, но уже не в качестве антагонистов, а просто как старым знакомым, я ей, наверное, скажу, что громкое провозглашение любви

так же, как громкое провозглашение патриотических чувств, подозрительно...

Листья летят с дерев... Уныние в природе умопомрачительное. Наверное, в связи с этим и нищих в Петербурге прибавилось, и их немые орды заполонили все паперти, так что трудно пробиться.

...Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму?..

Если бы было две жизни, можно было бы одну посвятить напрасным сожалениям и скорби. Да она одна.

У Амираана Амилахвари есть чудесная особенность: не разделяя многих моих воззрений, образа жизни и пр., не разоблачать, не давить, не навязывать, не презирать, не кощунствовать, а делать вид (и это не в смысле притворства, а из уважения к чужим нравам), что он разделяет все это. Вольный дух, впитанный им с детства в своей райской Грузии, не позволяет и ему быть над другими судьей. Должно быть, там, в его стране, и в самом деле есть нечто, чему нельзя выучиться, а можно приобрести лишь с молоком матери. Несмотря на свой безукоризненный французский и истинный аристократизм, он пленительное дитя гор, и никакой Петербург не в состоянии испортить его кровь. Надо послушать, с каким обожанием он говорит о своей родине, с которой он расстался в детстве, о своей сестре, с которой видится раз в три-четыре года, о своих родителях, о грузинской кухне, как поет на своем гортанном тарабарском языке, как хватается за саблю, чтобы не возникло страстной потребности бросить все и отправиться стремглав туда в поисках исцеления... «Быть может, за хребтом Кавказа...»

Какая прелесть тишина! Оболтус Афанасий пришел в себя, напялил дурацкий галстук и предстал передо мной с укором во взгляде. Вообще, хоть я и виноват перед ним, мне начинает надоедать его осуждающая физиономия. Я терплю его как большого оригинала да и по привычке, но ему не следовало бы злоупотреблять этим. Шпион, кажется, совсем поселился в доме. Он презирает меня и, если судить по его виду, надеется, что в скором времени я буду носить сшитое у него парадное виц-ярмо. Вчера по его настоянию я прочел ему целую лекцию о моей картине, конечно не упомянув имени несчастного Муравьева. Однако он, каналья, видимо, что-то чувствует или даже

знает, что-то такое в нем бурлит и вынашивается, о чем-то таком он все время размышляет, и посапывает многозначительно, и хмыкает... Если учесть, что государю всякое воспоминание о происшествии на Сенатской — нож острый, то не исключено, что эта тайная фамилия все же станет достоянием тех, кто этим интересуется.

Любопытно, как мои безумные дамы будут бить отбой и отменять венчание? Какие чувства при этом будут волновать их души, каких проклятий удостоюсь я...»

«15 октября...

Неужто есть резон у тех, кто осуждает меня за безразличие к общественной деятельности? У Кассандры, например, которая твердит, что должность меня «не унизит»? Или я не знаю, как это выглядит?

— Вы отличаетесь таким направлением мнений, которое готовит вам в будущем большие неприятности, — сказала она.

Что бы это могло значить? Неужели желание быть независимым может доставлять огорчение здравомыслящим людям? Бедная Кассандра, она так привержена к дворцовому стилю мышления, что представляет себе всю планету чем-то вроде фрейлинского коридора, где отступления от этого стиля расцениваются как порок.

От Натальи ни слуха ни духа. Какое блаженство!»

«17 октября...

Неожиданно свалился прямо на голову поручик Катакази. Партикулярный, благоухающий французскими ароматами, похожий на хорошо остриженного пуделя. Нужно было видеть, как небрежно швырнул он лакею вымокший под дождем редингот, как величественно распорядился шляпой, как впился в меня маленькими черными глазками, ожидая, что я вновь, как некогда, оскорблю его, не пустив далее сеней. Однако мой строптивый бес на сей раз велел мне быть снисходительнее к этому несчастному проверщику чужих подозрений. Поручик сделал вид, что иного приема и не ожидал, хотя легкий румянец, вспыхнувший на круглых щечках, и сверх меры плавная поступь выдавали бурю, клокочущую в нем.

Разговор у нас получился знаменательный.

К а т а к а з и. Прошу прощения, князь, что беспокоил,

но, как вы можете догадываться, не жажда личного удовольствия...

Я. Я рад видеть вас в моем доме, господин поручик.

К а т а к а з и. Весьма польщен, хотя оставляю за собой право усумниться, что встреча со мной может доставлять вам радость.

Я. Вы ошибаетесь. Я действительно рад хоть как-то сгладить мою давешнюю неучтивость и готов вас выслушать.

К а т а к а з и (торжественно). Князь, я вновь обращаюсь к давней теме о проживании у вас без вида на жительство некоего маркиза Труайя.

Я. О господи, дался вам этот маркиз!

К а т а к а з и. Видите ли, существует незакрытое дело (смеется), и я не могу его закрыть, прежде чем не внесу ясности... Итак, проживает ли он у вас?

Я. Это фигура мифическая, поверьте...

К а т а к а з и. Вы хотите сказать, что его выдумали?

Я. Вот именно. Я удивлен, что у вас эта безделица может вызывать столько хлопот.

К а т а к а з и. Позвольте мне усумниться. Все данные говорят об обратном.

Я. Какие данные? Поручик, вы шутите. Я всех знаю в своем доме. Ну, может быть, он рядится в кого-нибудь из моих лакеев?

К а т а к а з и. Отчего же нет?

Я. Тогда я пас...

К а т а к а з и (шепотом). Маркиз Труайя, как стало известно в Третьем отделении, выходец из Франции, сторонник республиканских идей, тайно проживающий у вас с целями, о которых мы можем лишь догадываться...

Я. Это уже становится любопытным. Почему же у меня?

К а т а к а з и. Ну, это совсем просто. По рекомендации вашего друга князя Приемкова Андрея Владимировича. (Смеется.)

Я. Ну и вздор... При чем тут Приемков? Маркиза Труайя не существовало...

К а т а к а з и (со вздохом). Ну хорошо, вы князя-то Приемкова, надеюсь, знаете?

Я. Послушайте, поручик, вам не кажется, что мне следовало бы указать вам на дверь? Вы не опасаетесь за такой исход нашей встречи?

К а т а к а з и (с очаровательной улыбкой). Нет, князь, не опасаясь. Я ведь не прихожу тогда, когда это может со мной случиться. Я ведь не поболтать пришел к вам, не из собственных побуждений, а, как я уже имел честь уведомить вас, по чужой воле, чтобы задать вам ряд вопросов, и вы, князь, не сможете совершить бестактности... (Смеется.) Вы ведь знаете князя Приемкова?

Я. Да, знаю...

К а т а к а з и. Есть сведения, что, несмотря на высочайший запрет посещать Петербург, он его украдкой посещает и бывает у вас.

Я (в замешательстве). Как вам сказать... Я слышал, что он как-то был в Петербурге, да... не упомяну сейчас, от кого слышал...

К а т а к а з и. Да это и неважно... Он был, был и у вас...

Я. Ну, знаете...

К а т а к а з и. Вы запомнили: он был у вас, тем более, что вам в вашем затворничестве хочется иногда поделиться с кем-нибудь, а, кроме него, людей достойных, с вашей точки зрения, вокруг вас нет...

Я. Это фантазии, и это не имеет отношения к мнимому маркизу. Тем более что у меня много друзей.

К а т а к а з и. Это не фантазия, а цепь логических умозаключений.

Я (упрямо). Это вздор.

К а т а к а з и. Слово, которое не может служить аргументом.

Я. Мы затягиваем беседу...

К а т а к а з и. Войдите же в мое положение: в бумагах Третьего отделения значится, что маркиз Труайя посещал вас два года назад, в январе сорок шестого года. Это известно достоверно. Я не настаиваю, что он и нынче проживает у вас, но, ежели он значится, стало быть, он был? (Смеется.) Войдите в мое положение: я должен закрыть это дело и не могу. Теперь, когда Франция подарила нас такими событиями, да и вся Европа бурлит и бесчинствует, дело маркиза Труайя приобретает новый оттенок... Войдите в мое положение...

Я. Я был бы рад хоть в чем-то содействовать вам, но это все такой вздор...

К а т а к а з и. Мы не утверждаем, что вы разделяете его воззрения, упаси бог; просто он заглянул на часок,

ошибся адресом, молчал, пил кофий, исчез, ну, что хотите, лишь бы закрыть дело...

Я. Но это несусветица какая-то...

К а т а к а з и. Вам следует лишь подтвердить, что он был, и все. Мы закрываем дело, и все...

Я. Вы просто смеетесь надо мной.

К а т а к а з и. До смеха ли тут? Я умоляю вас войти в мое положение! Вам это ничего не стоит, а у меня гора с плеч.

Я. Если эта пустая формальность может вас...

К а т а к а з и (оживленно). Вот именно... Но из-за нее уже несколько лет я испытываю всяческие сложности по службе.

Я. Черт возьми, извольте же: был проездом, задержался на полчаса, чинил колесо брички...

К а т а к а з и. Великолечно, только не колесо, князь, ибо это происходило зимой, в январе, если вы помните...

Я (распоясываясь). Ладно, извольте, полоз саней, кнутовище, дышло, колокольчик, нельзя же без колокольчика? Французский колокольчик!.. Подковывали коренную, пристяжную, делали компресс кучеру, пустили кровь маркизу...

К а т а к а з и. Вот вы смеетесь, а у меня гора с плеч. Теперь мы закроем это проклятое дело, и все. Кстати, князь, не мешало бы вам, это мой дружеский совет, впредь, ежели, скажем, появится этот таинственный маркиз, ну, мало ли что может с ним еще случиться, послать к нам вашего человека, чем вы очень обяжете нас, да и себя избавите от излишних хлопот. (Совершенно обнаглев.) Лично я стараюсь не допустить о себе всяких предосудительных мнений...

Я. Вы позволяете себе поучать меня...

К а т а к а з и. Помилуйте, и в мыслях не держал. Я вам так признателен, так признателен.. вы меня очень выручили. Вы просто меня спасли. (И вот он поднялся, чтобы удалиться.) Что ж делать, князь? В моем положении выбирать не приходится... Я не могу, ваше сиятельство, позволить себе удовольствие думать только о душе. Для вас, может быть, все это сущая безделица, а для меня служба, как говорится, мать, а мундир — отец родной... Прошу прощения за беспокойство... (Уже в дверях.) Да, кстати, простое любопытство, вот знакомый ваш господин Колесников... как вам его сочинения?

Я. Что-то не припомню такого.

К а т а к а з и. Колесникова? Помилуйте... Ну литератор, пишет в журналах...

Я. Нет, нет... Не припоминаю...

К а т а к а з и. Странно. А он-то вас знает...

Я (вспомнил салон господина Свербеева, две замерзшие ноги). А-а-а, ну как же... Да мы незнакомы. Случайная встреча... А что, господин поручик, вы... я, признаться, не читал его сочинений... а вы хотели что-нибудь... я вообще современных журналов не читаю. Хотя он показался мне довольно любопытным созданием...

К а т а к а з и (оживленно). Вот именно, вот именно! Действительно любопытное... В одной из его статей проскользнуло мнение... э-э... ну, там была такая деталька... ну, как бы... в общем, намек на то, что некая сила вторгается в искусство с целью его искоренения...

Я. Вам виднее. Уж если вы с ним так накоротке... Я статей не читаю.

К а т а к а з и. Да ведь я так... Не дай бог вам с ним заговорить — заговорит. (Смеется.) Апломб, дурные манеры... Вы не находите?

...Вдруг он принялся от меня отдаляться, отдаляться, исчезать, погружаться в небытие. Когда я очнулся, его уже не было ни в комнате, ни, кажется, в доме. Я понял, что со мной произошла опять та самая дурнота, над которой я, пользуясь ее длительным отсутствием, уже посмеивался как победитель. Вот так штука! Где же искать спасения?.. А что, если доктор Моринари одним движением руки смог бы меня исцелить?.. О, поздние сожаления!»

«19 октября...

Ничто не проходит без последствий. Оказалось, что и эта нелепая сцена с поручиком имела свое продолжение. Я получил письмо.

«Ваше сиятельство!

Считаю своим долгом еще раз поблагодарить Вас за Ваши удивительные благородство и щедрость, с которыми я имел честь познакомиться, будучи у Вас третьего дня с официальным визитом. Признаюсь, лишь на короткое мгновение у меня возникла возмущающая мое достоинство мысль о попытке с Вашей стороны подкупить должностное лицо. Повторяю: лишь на короткое мгновение, ибо Вы предложили мне деньги с такой искренностью

и так по-дружески, что подозревать Вас было бы подлым, а не принять денег — значило бы оскорбить Вас в лучших намерениях.

Я поражен Вашей пронизательностью: как Вы могли угадать, что я и моя семья находимся в крайности, почти бедствуем!

Отныне я считаю себя Вашим должником и финансовым и духовным и уповаю на бога в надежде, что он предоставит возможность мне доказать Вам это в самом ближайшем будущем.

*Всегда готовый к услугам,
Вашего сиятельства покорный слуга
поручик Катакази Тимофей».*

Так вот, оказывается, чем кончился наш разговор! Я в припадке идиотизма всучил ему бумажник с ассигнациями, а он не решился мне отказать. Впрочем, боюсь, что он все-таки принял эти деньги, как выкуп за мое спокойствие. И то дело!.. Кстати, денег было, как я помню, триста рублей! Не слишком ли много для одной паршивой Катакази?»

«21 октября...»

Какое письмо прилетело ко мне из Москвы нынче — маленькое, надменное, насмешливое! Я — «милостивый государь», а моя учтивость, оказывается, просто трусость; я поступил не по-ваншонховенски, и мне нет прощения!

«...В письмах я смелее, заметьте. Это, наверное, последнее мое письмо. Я пишу потому, что до сих пор не могу прийти в себя от изумления после Вашего московского визита. Не смею скрывать, что я была так рада, что стала вдруг как деревянная. Наверное, когда бы я была на Вашем месте, а Вы на моем, меня бы очень возмутило Ваше поведение. Какая дерзость — так холодно встретить человека! Я знаю, что Вы больше никогда не пожелаете меня видеть. Это я поняла сразу же, как только увидела Вас у нашего дома: я видела, до чего Вы были раздосадованы, встретившись со мной. Моя мамап глядит на меня с удивлением и ходит за мной с алебардой. При этом она говорит: «Мы, Бравуры, всегда отличались крайней сдержанностью в выражении чувств». Мне стыдно, что Вы могли подумать, что мамап желает мне зла.

После того как Вы позорно сбежали, мы все вместе

очень хорошо поужинали, перевязали раны на голове у милого поручика Берга и проводили его на Кавказ в действующую армию. Он надеется быстренько победить всех этих горцев и вернуться с Владимиром или Анной. Так что у меня все хорошо. Я слышала, что и у Вас все наладилось и Вы теперь заживете счастливой семейной жизнью, и слава богу...»

Да, теперь мне нет прощения. Лавиния Бравура заклеила меня, и поделом. Амиран, прочитав письмо, сказал: «Уж не влюблена ли она в тебя? Такие барышни в пятнадцать лет только и делают, что влюбляются. Хотя она и пишет о Мишке Берге, но его можно только пожалеть, потому что эта худенькая дочка колдуньи слишком насмешлива для счастливой невесты...»

Дался же мне этот господин ван Шонховен, которого больше нет! Однако что-то вроде досады иногда точит меня при мысли, что поручик Берг, продырявив нескольких несчастных горцев в отместку за побои, которые он здесь получал от Коко, вернется и поведет господина ван Шонховена под венец!.. Никакого ван Шонховена не было и нет.

— Кто такой господин ван Шонховен?— спросил я у Афанасия.

— А кто их знает...— ответил лентяй.

— Да ты сам его сюда водил!— возмутился я.

— Да я, если позволите, кого только к вам не водил,— ответило чудовище.

Значит, вонстину ван Шонховена нет...»

«23 октября...»

Бедная Наталья. Что может предпринять женщина в ее положении? Действительно, ситуация не из легких. Мой ужас перед насилием заставил и в графине увидеть нечто пугающее, а она обыкновенная баба с несколько тяжеловатым подбородком, что, вероятно, ровно ничего не означает. Желание соединиться со мной — каприз; лихорадочность и упорство, с какими она этого добивалась, — верное служение своей природе. Пора к этому привыкнуть и не презирать их за это, ибо поглядеть на себя со стороны — тоже небось картина не самая приятная, особенно когда ты не позируешь перед кем-то, не сдерживаешь своих инстинктов, не притворяешься в угоду молве, а все себе позволяешь: и громко глотаешь слюну при виде лакомого

кусочка, и шею тянешь, подобно гусаку, и ножками сушишь, к чему-то такому стремясь и чего-то добиваясь... А ведь каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет. И опять древние правы.

Читать древних — значит беседовать с ними. Беседа очищает. Я и беседую. А вот с нынешними не хочется. Что же мешает? Пожалуй, то, что древние умеют говорить и о тебе тоже, тогда как нынешние — всегда лишь о себе.

Единственный, с кем можно говорить или прекрасно молчать, не испытывая при этом чувства неловкости, это по-прежнему Амиран. Когда это любвеобильное чудище, в котором всегда таятся жаркие угли, чтобы вспыхнуть при первой нужде, появляется у меня, мне хочется, накинув плащ, провалиться в безлунную ночь, превратиться в малую тень под защитой его широкой тени, прокрасться через парк, перелететь через Неву, догнать безвестную коляску, пристроиться на запятках и мчаться, трясясь на ухабах, куда-то... или обгонять ее гигантскими скачками, касаясь краем плаща дверцы, пугая засыпающую в глубине Евдокию Спиридонову или какую-нибудь Матрену Евлампиевну, лишенную моих пустых несчастий, предвкушающую свой приезд в имение, где ее ждут с городскими пряниками и шляпками от Дюпре... Мне хочется...

А вместо этого мы отправились на бал, где Амилахвари хотел развеять мою меланхолию и сделать меня, как он сказал, «похожим на человека», а я — поглядеть, что произошло за время моего длительного отсутствия в обществе.

Но развеивать, как оказалось, было нечего, ибо меня с недавних пор обуревали решительность и непреклонность, да и за время моего длительного отсутствия ничего не произошло; и что могло произойти в этом установившемся мире? Наталья, естественно, была там, но сделала вид, что меня не видит, что я отметил с большим облегчением, не имея вовсе никаких намерений участвовать в дипломатической суете. Было — было... Она была очень хороша собой и грустна, но казалась мне почти незнакомой. Нессельродиха очень милостиво мне поклонилась, из чего я заключил, что моя служба, моя свадьба, моя судьба больше не вызывает сомнений у этих людей и я уже числюсь в их списках прощенным и обласканным.

Не разочаровывая их, я поспешил ускользнуть от танцев и слонялся от буфетной до карточных столиков и обратно, пока не почувствовал, что мир вполне приличен.

Они меня оставили в покое, пусть ненадолго, во всяком случае, пока не откроется для них степень моего падения. Тогда грянет гроза... А пока я предоставлен самому себе...

Да как вы можете сразу знать, что во мне происходит и что мне нужно, ежели я сам, хозяин своему телу, не могу этого определить?»

37

Был самый разгар бала. Люстры пылали как безумные. Оркестр надрывался. Возбуждение усиливалось. Начинало казаться, что в этом громадном, ярко освещенном ящике неистовствует нечто, не имеющее единой формы, многоликое, хохочущее, улыбающееся, стонущее, потное, не умеющее остановиться, вся его короткая жизнь без прошлого и будущего, отмеченная лишь этим неудержимым движением в замкнутом пространстве, тряской, судорогой, где даже от былой надменности Натальи не осталось и следа и графиня, распавшаяся на несколько частей, пустилась в погоню за каждой из них, запрокинув голову, с полуоткрытым наглым ртом, с глазами, затуманенными наслаждением; и разрозненные одинаковые казенные счастливые лица гвардейских аполлонов; и множество неискушенных длинношеих сероглазых маленьких ваншонховенов, судорожно вцепившихся в толстые аксельбанты, в свисающие «*a la gongnard*» эполеты закативших глазки, летящих в блистательную бездну с восторгом первооткрывателей. И новые вспышки оркестра уже на грани катастрофы, где-то там, наверху, старающегося из последних сил внушить этому празднику, что это и есть то самое, ради чего все... и это жизнь, и это счастье, так было всегда, так есть и так будет во веки веков. И, когда разнесся слух, что должен быть государь, все завертелось пуше, чтобы он смог лишний раз увидеть каждого из них во всем блеске преданности и умения и чтобы это все заглушало крикливые истерики босого господина Колесникова в темно-зеленом вицмундире, не допущенного к этому торжеству и потому, наверное, поминающего Пугачевых.

В буфетной Мятлев столкнулся с полковником фон Мюфлингом. Тот уже возвращался обратно. Его соломенные брови и соломенные усы сияли сквозь клубы табачного дыма.

— Можно п'думать, что вся Россия танцует нынче здесь, — сказал он, подмигивая. Видимо, он рад был встретить Мятлева и снова выпить.—Если господина Приемкова привести сюда с его мыслями, его, п'жалуй, растерзают, а?.. Можно п'думать, что вся наша жизнь — оспе... опсе... ослепительный праздник, а?..

Он стоял перед Мятлевым, слегка покачиваясь, не сводя с него бледно-голубых глаз. От его мундира исходило умиротворяющее сияние, так что даже Мятлев ощущал себя первым счастливчиком королевства, и даже Наталья снова казалась ему верхом совершенства, и он намеревался добраться до нее и сказать ей, что большего счастья, чем соединиться с нею, не может быть, и что пусть она, несмотря на его состояние, верит, что это так и есть, и что завтра же... и пусть она порвет его последнее письмо с отказом и прочим бредом...

Но перед ним стоял полковник фон Мюфлинг, и это спасло Мятлева от неверного шага. Что же касается до полковника, то Мятлеву действительно было приятно говорить с ним, ибо он показался князю единственным живым в этом океане символов, а кроме того, им было о чем поговорить, что вспомнить, если иметь в виду несчастную Александрину, и фон Мюфлинг сказал:

— У вас доброе сердце, вы молодец... Это было такое существо, что я плакал, даю вам ч'сное слово, когда вы ее спасали там... и после я не мог удержаться от слез... и когда я узнал, что она от вас сбежала...

— Вы перепутали,— сказал Мятлев, — она покончила с собой... Чахотка.

— Вот именно,— поддакнул фон Мюфлинг,—б'дняжка...

— Полковник,— сказал Мятлев,— ваш поручик Катакази проявляет ко мне повышенный интерес...

— Катакази?— удивился полковник. — Эт-т-то кто?

— Ваш Катакази,— сказал Мятлев, сердясь,— поручик ваш. Он врывается ко мне с намеками, угрозами и подозрениями...

— С подозрениями? — еще больше удивился фон Мюфлинг. — Да в чем же вас можно подозревать? Кто такой Катакази? Где?.. Э-э-э, гоните его в шею... — он усмехнулся, — не сентяйтесь... не стесняйтесь... Мало ли ч'во. Эдак, знаете ли, каждый... А может, он просто влюблен?

— В кого?— изумился Мятлев.

— В вашу утопленницу...— Тут полковник резко встряхнулся.— Я оговорился,— сказал он трезво, — и у меня перемешались разные отрезки времени и разные обстоятельства, наслоились, так бывает... — и пошел туда, где играли в карты...

Кто-то сказал, что государь вот-вот должен прибыть. Пора было уезжать, чтобы с ним не столкнуться. Мятлев боялся государя, как опостылевший пасынок боится отчима, как заяц — январского волка, как дворовая девка — нового барина, как бродяга — околоточного надзирателя... Он боялся собственной беспомощности, ибо знал, что возненавидит себя, если вынужден будет оказаться перед ним бессильным, а это не могло быть иначе. Это уже потом он корил себя и распинал за то, что позволил себе отправиться на этот бал, ибо, когда он покидает свой дом, его подкарауливают несчастья.

38

«25 октября...

Нынче утром я велел Афанасию восстановить вестибюль в прежнем виде. Здесь, в своем доме, я могу позволить себе то, что я хочу. Это должно утешать. «Общественные приличия против нашего счастья, зато любовь — награда за огорчения». Если прав Филострат, тогда об чем заботы?.. Афанасий собрал людей, и все они там кричали, ухали, наваливались разом, так что дом дрожал, как легкая охотничья палатка».

«26 октября...

Человек от Румянцевых принес мне очередной souvenir¹. Большой пакет в золотой соломенной бумаге долго вскрывали прямо в вестибюле. Афанасий и господин Свербеев работали не покладая рук. Особенно Афанасий, ибо шпион старался больше командовать. Камердинер его слушается даже больше, чем меня. Заглядывает ему в глаза, поддакивает, ждет одобрения... Из бумаги извлекли сверток поменьше, а из него прелестную фарфоровую табакерку в золотой оправе. На ее крышке на красноватой веточке сидели, отворотившись друг от друга, два груст-

¹ Подарок (франц.).

ных попугайчика. Табакерка была прошлого века и довольно ценная, но я тотчас же разглядел в ней печальный намек, и это мешало мне любоваться искусной работой. Интересно, под каким из попугайчиков подразумеваюсь я?

Хотел заехать к Анете, исповедаться, да не вышло...»

«28 октября...

Вот страшное событие, и я его участник! Мне рассказали, как было дело. Этот симпатичный человек, воспевающий свои таланты с откровенностью ребенка и твердо убежденный в собственной правоте, сидел в кругу своей семьи, на самом почетном месте, и, наверное, как и везде, провозглашал свои принципы и расточал хулу произволу, в то же время с благоговением поглядывая на новехонький вицмундир, право носить который он завоевал потом и кровью, и ежедневными унижениями; и вот он разглагольствовал о том о сем, скромно потупляя глазки и под столом постукивая босыми ногами одной о другую, как вдруг позвонили, и явился поручик Кагакази с частным приставом и велели ему одеваться по повелению генерала Дубельта. Они прервали его застольную речь, и он даже не успел еще сказать о том, что господин Некрасов в «Современнике» делает свое дело и что господин Краевский в «Отечественных записках» терпит от цензуры, как ему велели одеваться. «Позвольте, позвольте», — пролепетал он, еще ничего не понимая, но поручик Катакази, у которого было на то право, ничего ему не позволил и был неумолим, потому что на нем был синий мундир, за который нужно было расплачиваться. Тут началась суета, паника, слезы, так как никто из членов семьи не мог представить себе такого оборота дела, да и он сам впал в полную прострацию, не понимая, как это его, владельца темно-зеленого вицмундира, чина, должности и жалования, заслуженных им нелегким способом и верноподданным старанием, как это его могут заставить ехать на съезжую и винить, и кто? Да такой же, как он, только одетый в синий мундир! Что же это такое, наверное, подумал он, да неужели синий цвет более говорит о качестве человека, нежели темно-зеленый? «Это недоразумение, господа, — сказал он белыми губами, — меня ведь хорошо знают... Это недоразумение...» И, даже одеваясь, он все еще не мог понять, что темно-зеленый мундир выдается не для того, чтобы он в нем кра-

совался перед своими подчиненными и позволял себе казнить и миловать тех, над кем он поставлен, а для того, чтобы он не забывал, что отныне он в темно-зеленом мундире и стоит столько-то и столько-то, и не больше, и что нельзя совмещать темно-зеленое благополучие с дерзким направлением ума, иными словами: любишь в саночках кататься — люби саночки возить; а ежели ты, скажем, противник саночек, то нечего в них и садиться и лететь, сладострастно замирая.

Вот так его и увезли, и дальнейшая его судьба мне покуда неизвестна.

Наверное, вид мой был ужасен, когда я вошел в дом, потому что Афанасий отскочил в сторону и замер в полумраке. Я тотчас прошел к его комнате и распахнул дверь. Шпион, как обычно, сидел у самовара и прихлебывал из блюда. На этот раз рожа его показалась мне еще отвратительней. «А где же ваши темно-зеленые вицмундиры,— хотел закричать я,— и ваши красные ножницы, с помощью которых вы притворяетесь и притворяетесь, и вообще где вся ваша фальшивая дребедень, и вообще какого черта вы здесь расселись в моем доме! Что вы здесь делаете, черт вас дери совсем! Вон отсюда! Чтобы духу твоего!.. Афанасий, свинья, неси сюда арапник!..» — хотел закричать я, но не смог.

Видимо, он все-таки успел все это прочитать на моем лице, так как оставил блюдо, вскочил, низко переломился, кланяясь, как мне показалось, с насмешкой.

Я повернулся было, чтобы уйти, хлопнув дверью, но он меня опередил и с таким внезапным подобострастием принялся упрашивать меня повременить, что я задержался. Затем он распаковал большой сверток, лежащий на столе, и извлек оттуда новехонький темно-зеленый вицмундир, который он сшил специально для меня. От изумления я растерялся, но взял себя в руки и сказал Афанасию:

— Изволь тотчас же расплатиться с этим господином, а тряпки выкинь, чтобы я их больше не видел... Я очень сожалею, но в них теперь мне нет нужды. Это мне не нужно.

— Вы бы примерили, ваше сятельство, — чуть не плача, сказал шпион.— Лучше нигде не сошьете...

Я ушел от них, проклиная себя за слабость и в то же время испытывая странное чувство нереальности происхо-

дящего. Вдруг перестало вериться, что я действительно побывал однажды в салоне, где этот костлявый согладатай набрасывал мне на плечи пахнущее воском сукно».

39

(От Лавинии — Мятлеву, из Москвы)

«Милостивый государь Сергей Васильевич, я бы не осмелилась тревожить Ваш покой, когда бы не страшные слухи о Вашем несчастье. Вся Москва говорит об этом ужасном пожаре. Неужели ничего не удалось спасти? Вы-то хоть целы-невредимы? Мне очень горько за Вас, да и за себя тоже: ведь теперь больше нету дома, куда хаживал господин ван Шонховен и где его так радушно принимали. А как же могло случиться такое несчастье? Или это злой умысел? Ведь что ни говорите, а недовольных Вами множество...

Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, что я жива-здорова. Рождество мы справляли в семейном кругу, и еще был господин Ладимировский, о котором я Вам как-то общала. Он милый человек, а когда сбрил бородку, то и вовсе помолодел. Мы с ним довольно дружны, а от моей детской к нему неприязни не осталось и следа. Он меня обучает фехтованию и стрельбе из пистолета, и я уже на тридцать шагов опрокидываю бутылку из-под шампанского.

Мы все очень обрадовались за Вас, когда узнали, что Вы намерены жениться на графине Румянцевой. Это замечательно. Однако радость наша, видимо, была преждевременна, ибо этот ужасный пожар случился так некстати... До женитьбы ли тут?

Мужайтесь, милый князь, все устроится.

Недавно я вдруг вспомнила, как однажды, когда мы проводили лето на мызе Валки, я, наскучив людьми, убила Калерию и одна отправилась на необитаемый остров. Там был такой песчаный островок с редкими соснами, где я соорудила себе хижину и решила в ней поселиться. Однако меня разыскали и стали внушать, что девушка на выданье должна думать о другом. Но, пока я сидела в своей хижине, я вспомнила Вас и подумала, что как было бы хорошо и Вам здесь поселиться. Мы бы могли разговаривать о чем угодно, никуда не торопясь. А что, если

Вам вдруг захочется это осуществить? Тогда я Вам с радостью все покажу: и как найти этот островок, и из чего построить хижину...

Ах, князь, все-таки все сложно вокруг. Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет. Простите, что надоедаю Вам по праву старого знакомства. Чего себе не позволишь? Вы можете не утруждать себя и мне не отвечать — я не обижусь...»

40

Гроза скапливалась в сыром петербургском воздухе исподволь, незаметно. Главные ее стрелы были направлены на деревянную трехэтажную крепость Сергея Мятлева, избавившегося наконец от визитов, от шпионов, от угрызений совести; позабывшего наконец злополучного темно-зеленого Колесникова, тонкошеего господина ван Шонховена, графиню Румянцеву и свои недавние смятения. Все установилось как будто, все как будто утряслось; даже рыжеволосая Аглая, обалдевшая было от пинков дурацкого камердинера, вдруг зарозовелась, расправила круглые плечи, выпятила горячую грудь, хихикала, сталкиваясь с Мятлевым ненароком в коридорах, на лестнице, среди мраморных статуй, напоминая молодому затворнику, что жизнь продолжается и пора встряхнуться, а это все и не было, как оказалось, преддверием грозы, но, вероятно, надо было обладать не нашей прозорливостью и не нашей чувствительностью, чтобы суметь ощутить ее приближение. Это уже после, когда она наваливается и ударяет, мы хватаемся за сердце, выпучиваем глаза, сокрушаемся о собственном легкомыслии, а тогда, когда она только еще скапливается, набирает силу, созревает, подобно августовскому яблоку, мы беззаботно скалим зубы и внезапную грозную свежесть воздуха воспринимаем как благо.

Октябрь миновал, затем ноябрь, за дождями повалили снега, ударил мороз, затрещал лед на Неве, заскрипели печальные осины в поредевшем парке, иногда слышался по ночам далекий волчий вой, деревянная трехэтажная крепость, никем не подожженная, расшатывалась все заметнее, уже в ранних сумерках зажигались почти бесполезные фонари... Однако Петербург кипел, страсти бушевали, подогреваемые жаром печей и каминов; носились слухи, подобные летучим мышам, один фантастичнее другого; в

бывших покоях Александрины по ночам тихо и монотонно выло пожилое привидение, уже никого не пугая...

Сначала приехала страдающая фрейлина Елизавета Васильевна, изнемогающая под бременем огорчений, уже давно не похожая на сестру, теряющая слова, путающаяся в обвинениях. Надо было видеть ее трагическое лицо, чтобы лишиться даже последних сожалений, если они еще были. Природа не могла придумать худшего ходатая по делам графини Румянцевой.

— Послушайте,— сказал Мятлев сухо, проводя этим «вы» резкую черту меж былым и настоящим, давая понять, что чаша переполнена и что отныне разговор может быть только официальным, — послушайте, страдания этой молодой дамы, слишком ловкой для своих лет, меня не интересуют. Я надеюсь, что вы здоровы и счастливо избежали гриппа? Видите ли, ее поползновения слишком откровенны, и на этот счет имеется весьма изрядное количество титулованных затычек...

Княжна. Чего?.. Каких?..

Мятлев. Ну этих, кто бы мог утешить графиню в ее естественной потребности обременить себя семьей...

Княжна. Вы оскорбляете женщину, которая любит вас и носит под сердцем вашего сына...

Мятлев. Очень сожалею, но согласитесь...

Княжна. Ах, вы смеете предполагать, что дитя...

Мятлев. Я говорю о другом...

Княжна. Граф Нессельроде в полном недоумении. Ну хорошо, пусть господин Амилахвари, вот он, такой спокойный и справедливый, и в нем столько к вам участия, пусть он скажет, если вы пренебрегаете моим мнением и мнением общества, пусть он скажет сам, как ваш друг и поверенный вашего сердца... *(Обернувшись ко мне.)* Я вас так уважаю, и ваше слово... Скажите, ради бога, этому человеку, зараженному упрямством, что его поведение... Нет уж, вы не стесняйтесь, не скромничайте, вы скажите ему... да не деликатничайте, я прошу вас сказать...

Я. Хорошо, я скажу, дорогая Елизавета Васильевна... Ну что я могу сказать? Я думаю, что если мой друг... графиня Румянцева очаровательная женщина, в ней столько всяких достоинств, что просто удивительно... Это несомненно... Я думаю вот о чем...

Княжна. Нет, нет, вы не деликатничайте, вы говорите, что думаете, как должно быть среди нас...

Я. Да, да, вот именно. Многие были бы счастливы предложить графине руку и сердце, я это и имею в виду. Она очаровательная и великолепная... Она из тех женщин, которые ради любви готовы... но, дорогая Елизавета Васильевна...

Княжна. Голубчик, скажите мне прямо, то есть скажите ему, скажите это ему, вот это все скажите ему... Вы имеете на это право...

Я. Конечно.

Княжна. Вы имеете на это право, потому что я не знаю женщин, обиженных вами, вы так безукоризненны, что вы имеете право сказать это ему...

Я. Конечно. Разве хоть одна из тех, кого я знал, жаловалась на меня? Кто это говорит? Никто... Никто не может этого сказать... Поэтому я считаю своим долгом сказать вам...

Княжна. Ему, а не мне...

Я. Ему я уже все сказал, я хочу сказать вам, что он мой друг и это само по себе... конечно, я могу обошлаться, но уж поскольку вы так снисходительны, оценивая мои отношения с женщинами, и так высоко судите обо мне, то я могу позволить себе смелость думать о своем друге в самом достойном смысле, хотя это, дорогая Елизавета Васильевна, совершенно не противоречит тому, что вы говорили, и ваши огорчения рвут мне сердце...

Княжна. Я не совсем вас понимаю... то есть я вас понимаю, но я хотела бы, я просила вас сказать ему, вот ему... мы не можем... это невозможно... у меня уже нет сил..

Мятлев. А может быть, вам снять с себя ваши высокие полномочия, отказаться от этого непосильного бремени и предоставить мне самому...

Княжна. Я не понимаю вас...

Мятлев. Ну пошлите меня к черту!

Княжна. А наше имя?.. Ваши неприязнительность и страсть к скандалам общеизвестны. А наше имя? Что посоветуете вы мне, как посоветуете вы поступить мне, когда я вижу, как оскверняется и предается поруганию наше имя? Как прикажете поступать мне?..

Я. Елизавета Васильевна, дорогая, да будет вам ссориться! Это теперь у вас коса на камень... Теперь вы ничего не решите... Да зачем это нам всем?.. Ну, обменяемся взаимными оскорблениями, ну, обидим друг друга, а завтра ведь будем об том плакать...

Но слова мои не дали ничего. Она ушла со слезами в глазах, чего раньше себе не позволяла. И камень превращается в песок, не то что слабое сердце женщины.

Он засмеялся и сказал:

— Мне кажется, что кто-то роется в моем дневнике.— Я усомнился, но он продолжал с жаром: — Ей-богу, я всегда захопываю его, а тут застаю раскрытым... и уже третий раз... и всегда на 13 октября, а нынче уже декабрь... И вообще мой дом разрушается.

Да, дом разрушался. Привидение свирепствовало уже не на шутку. На чердаке под синей пылью мы обнаружили погнутые ржавые гвозди, вырванные из своих гнезд; растрескавшиеся балки; труху, в которую превратились дотоле казавшиеся вековыми дубовые стропила. К легкому поскрипыванию лестницы прибавились стоны, карканье, визг и причитания, и, не занимаясь этим специально, Мятлев вдруг обнаружил, что может на слух определять любые из ничтожных событий, совершающихся выше вестибюля. Иногда это даже занимало, ибо о каждом из живущих эта лестница возвещала по-своему, и, мало того, по этим звукам можно было определить, кто движется и каково его душевное состояние, и потому заранее знать, как встретить идущего и встретить ли или укрыться в библиотеке. Да, дом разрушался, и он разрушался стремительней, нежели следовало от него ожидать... Он походил на старика, разучившегося владеть своим телом, мозгом: говорящего невпопад, бессознательно переставляющего ноги, сморщенного, с детской улыбкой, скрывающей какую-то даже ему неизвестную тайну минувшей жизни, какой-то сладостный туман... Теперь не хватало одного сильного удара, чтобы этот трехэтажный старик с невинной улыбкой покосился и рассыпался, погребя под едким прахом минувшие судьбы, некогда живые страсти, недописанные дневники, обрывки слов, потерявших значение и ценность и сомнительные надежды... И вот этот гром ударил и гроза началась.

«Вы с ума сошли!— писал с отчаянием хромоножка из своего тульского далека, этот ниспровергатель, давно уже не вырывавшийся на волю: то ли потерял накладную бороду, то ли подобрался наконец к самым заветным тайнам сильных мира сего, и теперь ему предстояло наконец их раскрыть. — Вы с ума сошли, чтоб не сказать хуже! Вы с Вашим талантом писать, видеть, иронизировать погрязли

в интрижках, адюльтерчиках, скандальчиках, обрюхатили бабу, подражая собственному лакею, этому Фонарясию с глупой мордой, которому не помогут ни вальтерскотты, ни галстухи с Вашей унылой шеи. Россия задыхается в скотстве, а Вы пляшете на балах, добиваетесь аудиенций у Нессельрода...»

И не успел еще Мятлев рассмеяться над воплем этого претендента на звание главного соперника нынешнего государя, как явился сам Фонарсий и доложил, что за князем прибыли, чтобы препроводить его к их сиятельству графу Орлову нынче же вечером, сей же минут, незамедлительно. Граф почему-то ждал его в Зимнем дворце, и карета была дворцовая.

«Да, кстати, — подумал Мятлев уже в карете, — а я ведь два года уже не был во дворце. Как там все?» — и запел вполголоса, изумляя дежурного офицера:

— «Я сорвал для тебя этот цветик лесной...»

Конечно, он не мог предполагать, как там все получится и что он в скором времени выйдет из дворца уже в новом качестве, он не мог этого знать и потому спросил офицера:

— Что это за спешка? Что же там могло случиться? Я спрашиваю, что это я понадобился?

Офицер не ответил.

Старый сидящий лев встретил князя легким располагающим рычанием.

— Ну вот, — сказал он, внимательно оглядывая Мятлева, и чуть подтолкнул его в плечо и плавно повел куда-то, — его величество, Сергей Васильевич, решил, представьте, сам заняться вашим счастьем, он сам взялся за это. Не многим так повезло, как вам. Ведь это, вы только подумайте, какой прекрасный вечный отсвет будет на вас и на вашем потомстве! Я до сих пор не могу опомниться, как он к вам вдруг милостив и великодушен. Конечно, мы сами эдакие тупицы и тетери, что иногда без отеческого толчка и не можем сообразить, куда, зачем, для чего наше движение. Я сам это не раз ощущал на себе, когда я, бывало, поддавался всяким слабостям, но тут это мягкое и уверенное прикосновение, и тотчас все на своих местах... Не многие, Сергей Васильевич, удостоились этой чести, но те редкие счастливики, те, кому она выпала, вы только поглядите на них, как у них нынче все устроилось, и я не устану повторять, как я, когда он впервые выразил вдруг желание, то есть

проявил заинтересованность в вашей судьбе, как я был очарован этим и пленен... Ведь государь все это делает ради нас, для нас, для нашей пользы. Разве он печется об себе? Покуда мы не научились мыслить государственно, он должен делать это за нас, это его крест, его долг, его бремя; покуда мы, неистовствуя, погрязая в счастливом эгоизме, мним себя гражданами империи, он не спит и поддерживает нас под локотки, чтобы мы не свихнулись от азарта и не сломали бы свои шеи... Разве он печется об себе?..

«Что? Почему?» — подумал Мятлев, и невесомый испуг, похожий на маленького востроухого воробья, шевельнулся у него за пазухой.

— Я думаю, — продолжал меж тем граф Орлов, увлекая Мятлева все дальше и дальше по лестницам, коридорам и вымершим залам, — я думаю, что вот и славно, и чудесно, что можно не доводить этого до последней крайности, уж если его величество сам решил участвовать в этом. Ну, не напрягайтесь, расслабьтесь, мой дорогой. Еще никто не умирал от счастья.

Сияли редкие канделябры. Дворец был тих и будничен. Караульные гвардейцы, подобно каменным изваяниям, стояли на своих постах уже которое столетие.

— Ее величество государыня Александра Федоровна была так всем этим взволнована и обрадована, что намеревалась быть и сама лично поздравить вас и выразить вам свое расположение и участие, но внезапное недомогание...

«Эге, — подумал Мятлев, теряя мужество, — опять я втянут в их тайну. Это не по мне. Это не по мне, ваше сиятельство, — хотел сказать он, — уж лучше вы выложите прямо, что там еще стряслось?» — но не мог вымолвить ни слова, лишь едва слышное маловразумительное нечто сорвалось с его уст.

— Ну конечно, — подхватил граф с живостью, будто прочел его мысли, — я и не сомневался. Я уверен, что все теперь будет совершенно иначе, вот увидите. И потом, это между нами, мы уже в таком возрасте, когда бывшее наше не может не казаться смешным и лишним, не правда ли?

«Я его боюсь, — подумал Мятлев об императоре, — но я буду тверд и не позволю ничем себя унижить. Пусть только попробует...» Однако он знал, что, едва увидит государя, от его решительности не останется и следа.

В кабинете, тоже почему-то не очень ярко, даже, пожа-

луй, тускло освещенном, некто в полувоенном сюртуке, отбрасывая гигантскую тень, отскочил от камина и пошел навстречу, разводя руки.

— Наконец-то, — воскликнул он приятным звонким голосом, — вот и именинник!

«И все-таки я его боюсь, — успел подумать Мятлев, — и, конечно, я сделаю так, как он пожелает».

Из глубины кабинета, из красноватой полумглы, послышался чей-то вздох, глубокий и мгновенный, словно шепотом произнесенное «ах!».

Долгая жизнь Мятлева, подобно неверной подруге, оставшись сама по себе, покинула его, грустя и спотыкаясь, и стремительно сгорела в каминном пламени.

Итак, они встретились. Соблазнитель Анеты Фредерикс был к нему близок, как никогда раньше. По красивому лицу уже прошло время, мешки под выкаченными глазами стали заметнее, щеки слегка отвисли, но губы улыбались. Как странно!

Он стоял вполоборота к Мятлеву, заложив правую руку за спину, и пять шагов между ними казались пропастью. Смертный был бы бессилен ее преодолеть. Оттуда, со своего края, он пристально разглядывал князя, недоумевая, как женщины могут проявлять благосклонность к этим нерослым очкарикам, с тоской во взоре, с затаенной дерзостью в движениях, не очень опасных, но очень неудобных, неудачливых, ненадежных, вечно себе на уме. Что могут женщины видеть за всем этим, не будучи склонными погружаться в глубокие изыскания? Он, словно орел, на мгновение отвлекшийся от заоблачного полета, вдруг различил перед собой ничтожного воробья и подумал: а стоит ли ему, этому, вообще жить? Не опостылел ли он самому себе, этот вороватый, нагловатый, бескрылый и неистребимый трусишка? Однако что-то, наверное, в нем все-таки есть, если баронесса Фредерикс могла быть снисходительна к его чириканию, если некогда он мог отличиться в кровавом деле, да, с тяжелой раной в боку... выживший, да и сейчас стоял в безукоризненном фраке, стройный, посверкивая своими идиотскими стеклами, словно это было главное из всего, чем он мог гордиться. Ну что ж, подумал Николай Павлович, этот дерзкий шалопай — все-таки один из моих детей, ну что ж, уж какой ни есть, пренебрегший кавалергардством умник, отрезанный ломоть, и все же он один из моих детей, так неловко

пытающийся скрыть свой испуг и свою щедедушность, да, да, он вовсе не мужествен, он щедедушен, виноватый передо мной во многих грехах, он-то помнит... Так думал он, настраивая себя на торжественный лад, приличествующий моменту, отыскивая в себе звонкие струны царственной снисходительности, чтобы прикоснуться к ним. Экий негодяй, думал он, продолжая глядеть на Мятлева в упор, как это он, тихоня, умудрился все-таки подобраться к графине и обрюхатить ее, этот, один из многих моих детей, возбудитель дурных толков, отвратительное создание на тонких ножках, слюнявый умник, брюзга, трусливый прелюбодей...

— Вот и именинник! — сказал он.

Это «именинник» в его устах прозвучало зловеще. Однако делать было нечего, ибо ничего понять было нельзя. «Какой я маленький и жалкий», — подумал Мятлев, не сводя, в свою очередь, глаз с Николая Павловича. Его не удручало, что все многочисленные в прошлом столкновения с царем заканчивались поражением. Разве могло быть иначе? Но что сулила эта встреча, озаренная слабым светом редких канделябров, словно специально подобранных так, чтобы неведомое таинство этой встречи выглядело значительней? Что мог обещать неподвижный взгляд, правда не лишенный интереса, удивления и даже тепла? Какая сила вдруг свела их: этого бывшего кавалергарда с высоким лбом, впалыми щеками и с деликатной независимостью, таящейся где-то в самых уголках глаз, и этого стареющего гиганта с мраморной кожей, самоуверенного, заложившего руки за спину, знающего, что он может все и что все, что он может, нужно и Мятлеву и всем его многочисленным счастливым и несчастным подданным, потому что, как думал он, если они счастливы, то лишь благодаря ему, его стараниям, его великодушию, а если несчастны, то в этом они виноваты сами? Для чего им нужно было сойтись и встать по краям пропасти в присутствии почтительного, внезапно уменьшившегося в размерах графа Орлова?

Слабая догадка вспыхнула в мозгу Мятлева, но, ничего не озарив, тут же погасла. «Не может быть! — с ужасом подумал он, всматриваясь в лицо Николая Павловича, в это непроницаемое лицо. — Не может быть!»

— Послушай, — сказал государь, — как ты нерешителен. Устраивать отвратительные выходы — ты первый, — он

повернулся к Орлову. — Похоронить генерала Рота — это он смог, живого генерала, сам все придумал. Я помню... — и вновь улыбнулся, словно через силу.

«Наверное, он вправе припомнить мне ту печальную шутку, — подумал Мятлев в смятении, — уж если мы так редко встречаемся, можно даже сказать — никогда, впервые, уж если мы встретились, то он, наверное, должен мне все припомнить, чтобы больше об этом, что его мучало много лет, больше не говорить, он должен излить желчь, и, наверное, хорошо, что он это делает, а иначе я ходил бы в вечных врагах и меня до конца не оставляли бы в покое. Теперь он выскажется, и ему не будет до меня дела...» — так он подумал, а сам краем глаза посмотрел в красноватую полумглу, откуда снова выплеснулся слабый вздох.

Там, в красноватой полумгле, одинокая и позабытая всеми, неподвижно стояла незнакомая женщина, опустив безвольные руки; ее лицо, плоское, как маска, не выражало ничего; два зияющих провала вместо глаз и темная трещина вместо рта — это было все, что разглядел Мятлев. И все-таки это была женщина, и она дышала, и вздохи, напоминающие всхлипы, доносились с ее стороны.

— Подумать только, — сказал государь мягко, — похоронил живого генерала. Вот уж додумался. Слава богу, что генерала не хватил удар. Ну что с тобой делать? А?.. Скажешь, что это было давно? Пожалуй, пожалуй.. Вон ты и очки успел завести...

И вдруг Мятлев поймал себя на том, что ему приятно, что государь так точно все о нем помнит и не держит зла.

— Я очень сожалею, ваше величество, — осмелев, заявил он. — Я знаю, что принес вам огорчения, но если бы вы позволили мне воротиться туда, я бы все это постарался исправить...

— Куда? — не понял Николай Павлович, но вдруг рассмеялся. — Ах, вот как... Нет, это если бы я мог воротиться т у д а... — И подумал: «Есть мужчины, которые теряют дар речи от одного вида округлившегося женского брюха. Вместо того чтобы благоговеть, они готовы бежать без оглядки. Хотя он будет валяться потом у ней в ногах, обливаясь счастливыми слезами, как она валялась передо мной, умоляя спасти и защитить... От него, что ли? Нашла злодея, дура! Вообще они все невыносимы, когда у них раздувается живот и лицо покрывается пятнами. Как

она кричала о снисходительности и великодушии и еще о чем-то, имея в виду, конечно, себя и свой живот. А я должен быть снисходителен к этому испуганному соблазнителю, а не к ней, и великодушен с ним, дура...»

«Ах, скорее бы уж, скорее бы! — подумал Мятлев.— Все равно я ничего не смогу изменить, да и он не волен поступать иначе. Скорее бы уж. Этот тяжеленный экипаж, влекомый обезумевшими лошадьми, все равно будет лететь по какой-то своей, никому не ведомой прихоти, и что изменится, если мы будем, едучи в нем, заниматься тяжбой? Никто ничего не может изменить. Уж ежели вся наша земная жизнь — не что иное, как краткое страдание, то смысл ее заключается, очевидно, в том, чтобы не пытаться безуспешно избежать этих страданий, а стараться соразмерять их со своими возможностями... Поэтому скорее бы, скорее бы уж...— И он вновь быстро и решительно взглянул на стоящую поодаль незнакомую женщину. На этот раз ему удалось разглядеть ее получше. Она показалась ему очень высокой и прекрасной, а кроме того, она была молода и потому, даже вскинув голову и резко выставив круглый подбородок, не производила впечатления надменной, а только лишь открывшейся по-юношески, охваченной порывом, тревожной страстью. Ею нельзя было не залюбоваться.— Да, мы ничего не можем. Мы можем только любить и захлебываться в благодарности, если случай время от времени сводит нас с такими восхитительными творениями природы, и дважды умирать от счастья, если мы сами оказываемся способными не только любить, но и вызывать к себе эти чувства. Вот это мы можем, и этому мы должны посвящать свои силы и не пренебрегать удачей, ибо она — большая редкость и ее не хватает на всех».

— Ну ладно, — сказал Николай Павлович, — забудем об этом. Я вижу, ты все понял... Ты действительно принес мне много огорчений, но нынче забудем об этом. — И он своей большой ладонью ухватил маленькую ладонь Мятлева и сжал ее слегка, и так они мгновение стояли, соединив руки над пропастью. «Как он добр нынче, — подумал князь, слабея, — впору заплакать».

Ладонь Николая Павловича была мягка, горяча, в меру властна, так что ее пожатие не оскорбляло, напротив, оно казалось даже отеческим. От его ладони веяло теплом и великодушием доброго и сильного наставника; он держал Мятлева за руку, словно участливый и мудрый учи-

тель или старый и преданный гувернер своего маленького неразумного раскаивающегося любимца, воображавшего до сей поры, что вся его предшествующая жизнь, короткий промежуток мнимой независимости и мнимой свободы, была воистину независима и свободна, и лишь сейчас он понял свое заблуждение и рад от него отречься.

Высокая женщина с прекрасными чертами качнулась в их сторону, и снова короткое «ах!» выплеснулось из полумглы.

Вздыхай, отчаивайся, стирай руки, лей слезы, теряя остатки своей нехитрой надменности; видимо, я люблю тебя, я внушил себе это, нет, ты внушила мне это своей красотой, тревогой, безрассудством... Видимо, я люблю тебя — от тебя нет спасения... Видимо, мне суждена была ранняя гибель, а ты послана, чтобы предотвратить ее, продлить мою жизнь — вот как прекрасно твое явление, как своевременно... Ты сеешь вокруг себя не раздор и смуту, а радость и надежду, это из твоих рук сыплются драгоценные зерна добра, ясности, наслаждения...

Мятлев старался успокоиться, но горячая ладонь Николая Павловича мешала ему, она его жгла. Скорее бы уж!.. Когда мы бессильны, мы становимся похожими на влажных розоватых садовых улиток, лишенных своей скорлупки; нам остается лишь скрывать свое отчаяние под маской добропорядочности, оголтелого веселья или мнимого равнодушия. Физически это выражается очень просто: тело перестает подчиняться, что же касается разума, его одолевает одно: это и есть справедливость, я сам стремился к этому, но не мог решиться; слава богу, теперь моя судьба в надежных руках... Но как он добр! Как он добр, и я не стою его мизинца...

— Иди-ка сюда, — звонко и несколько торжественно позвал Николай Павлович, обратившись к женщине, и она шагнула к ним.

«Скорее бы уж! — подумал Мятлев, понимая, как решается его судьба. — Теперь уже все позади... Видимо, я и впрямь люблю ее...»

Она сделала шаг с громким вздохом то ли страдания, то ли облегчения, шурша юбками, беспомощно разводя руками, просто не зная, что с ними делать, с такими длинными, неуклюжими, лишними и непослушными, готовыми раньше, чем это нужно, устремиться вперед, опередить тело, рвануться, охватить грустную шею этого скованного

страхом дикаря в очках, охватить, как когда-то, когда это было можно, в одну из нелепых ночей, когда это было необходимо, когда казалось, что от этого зависит все остальное; охватить да еще ладонью провести по жесткому затылку, а другую — по сильной горячей спине, и все это без стыда, без сомнений, навсегда, навеки, покуда не наступило утро, похмелье и покуда не пришли стыд и трезвый страх перед содеянным.

Да, она сделала шаг и протянула свою руку, и Николай Павлович тоже двинулся к ней и тоже протянул руку, а другую он крепко держал князя. До этого он держал его как гувернер, но теперь уже вел как господин, долго и немолимо, и Мятлев покорно, как Афанасий, следовал за ним. Он уже знал, что теперь всю жизнь будет обливаться холодным потом, вспоминая это краткое мгновение, ибо страшное помнится долго. Радость, едва мы ею наполнились, тотчас становится привычной и улетучивается из нашего сознания, и потому воспоминание о длительной свободе радует нас недолго, а воспоминание о минутном рабстве угнетает до самого конца.

Эта розовая влажная улитка, лишенная скорлупки, медленно продвигалась вперед, стараясь придать своему лицу выражение спокойствия и умиротворенности, однако что-то еще оставалось нетронутым в глубине покорного тела, что-то там все-таки гудело в глубине, шуршало, попискивало, и что-то стремилось вырваться наружу, и чей-то незнакомый, чужой голос на самой высокой ноте пытался выкрикнуть чьи-то, уже некогда произнесенные слова: «Господь милосердный, этого не может быть! Нельзя... Я говорил ей, что не люблю ее, она это знает, знает!.. Я говорил ей, но она не придавала этому значения. Я говорил ей: опомнитесь! Но она не придавала этому значения... Я говорил... Господибожемой!..»

И вот Николай Павлович взял наконец и ее за руку, затем соединил их ладони, и маленькая ее ручка вцепилась в ладонь Мятлева с благодарной дрожью.

— Надеюсь, — сказал государь, наклонившись к Мятлеву, — ты не намерен упрекать меня в жестокости? Разве я об себе пекусь? Я все делаю ради вас, для вас, для вашей пользы. Покуда вы не научились мыслить государственно, я должен делать это за вас, это мой крест, мой долг, мое бремя; покуда вы неистовствуете, удовлетворяя свои прихоти, погрязая в счастливом эгоизме, и мните

себя гражданами империи, я не сплю и поддерживаю вас под локотки, чтобы вы не свихнулись от азарта и не сломали себе шею... Разве я пекусь об себе? — и улыбнулся, как только он умел — внезапно и резко. — Это акт справедливости и добра, и не только по отношению к ней, но и к тебе... Я не заставляю, я просто наталкиваю тебя на мысль, которая лежит перед тобой, а ты ее не видишь...

Внезапно Мятлев понял, что все это свершилось давным-давно, что в неправдоподобности этого происшествия есть свое правдоподобие и своя преднамеренность, и он увидел самого себя облаченного в темно-зеленый вицмундир, в котором уже нельзя ни фантазировать, ни летать, а можно лишь передвигаться и научиться быть благодарным за это. Он понял, что в этом полутемном величественном кабинете заключена вся вселенная, состоящая лишь из них четверых, из которых эти двое всего-навсего разыгрывают Лукиана, моля бога о самом противоположном, обещающая в то же время принести одинаковые жертвы, а те двое как раз и существуют для того, чтобы самонадеянно и привычно принимать их смехотворные жертвоприношения.

И он снова взглянул на женщину и даже зажмурился на мгновение, так она была хороша и так фантастична, ибо каминный отсвет, утопая в ее глубоких темных глазах, превращался там в едва различимое, но уже новое сияние, полное прелести и тайны, отчего захватывало дух.

— Ну, дети, — сказал государь звонко и торжественно, как только он умел, — довольно вам таиться. Я соединяю вас и благословляю. — И он перекрестил сначала женщину и поцеловал ее в лоб, а затем, повернувшись к Мятлеву, перекрестил и его, наклонился и прикоснулся к его холодному влажному лбу своими горячими губами.

Наталья рыдала. Граф Орлов с дружеским равнодушием кивал из своего угла.

«Какое счастье, — подумал Мятлев, — вот все и кончилось, и теперь уже не нужно скрываться, притворяться и лицемерить...»

Государь пожелал на прощание, чтобы молодые отправились в одном экипаже. Торопливый флигель-адъютант проводил их до кареты; он куда-то опаздывал, но успел проговорить что-то такое о своей искренней зависти, ибо государь не многим оказывал такую честь, такое расположение, внимание и любовь...

Они ехали молча, и Наталья, запасшись терпением, не мешала Мятлеву, покуда он вырывал из своего живота и из груди сочные пучки альпийской зелени в отчаянной надежде, что маленький ослик наконец смилостивится и до тащит тележку до спасительного поворота.

41

(От Лавинии — Мятлеву, из Москвы)

«Милостивый государь Сергей Васильевич, не могу удержаться, чтобы не поздравить Вас. Ото всей души поздравляю! Не сердитесь, что приходится иногда отвлекаться на мои письма, но милые мне люди женятся ведь не каждый день, и я не могу не высказать своих чувств. Да, а еще говорят, что сам государь соединил вас. Вся Москва об этом судит, и все считают, что такая особая честь не может не повлиять на Вашу дальнейшую жизнь и все у Вас сложится в лучшем виде. Мы с татап и с Александром Владимировичем как раз об этом говорили и пришли к заключению, что большего и быть не может: Ваши ум и знатность, красавица жена и благословение государя! Еще раз поздравляю ото всей души... Вот видите: дом сгорел, зато как бог-то утешил.

А мой, как говорят, роковой час тоже близок. Скоро и мне предстоит исполнить свой долг. Порадуйтесь за меня.

Господин Ладимировский теперь отличён и приобрел дом в Петербурге. Его приглашают на дворцовые празднества, и, когда у нас все произойдет, я, натурально, буду там тоже. Дрожь охватывает. Матап нервничает из-за моей внешности; конечно, она сама красавица и все умеет, а мне еще надо все постигать и постигать...

Еще раз поздравляю Вас ото всей души!..»

42

Прошло несколько месяцев полусна, полубреда, полуотчаяния, полубезразличия, полусозерцания; несколько тягучих, ватных, глухих, райских, безупречных месяцев, не

отягощенных мучительными раздумьями о смысле жизни, ловко убранных, словно рождественская елка, пестрыми недолговечными удовольствиями, созданными непривлекательной фантазией сытости и неги.

Казалось, мир застыл, перестал вращаться, и его поржавевшая ось, слава богу, наконец потребовала замены, и можно было передохнуть, обезумев от вечного вращения, движения ветра, безуспешных попыток спастись от чего-то, отдалить, отвести, отклониться; и можно было заняться скромным усовершенствованием собственных чувств, дотоле словно пребывавших в состоянии хаоса и распада; и можно было удлинить свою жизнь за счет каждого дня, который становится вечностью, будучи туго набит, как дорожный баул, мелочами, до которых раньше не было дела.

Казалось, мир застыл, и жизнь подобна золотой бричке, позабытой за сараем, а крылатые кони пасутся неизвестно где. Прошлого больше не существовало. Будущее было ненужным.

Горстка древних мыслителей и писак отправилась по каменистым дорогам, не сожалея об утратах, в скрипучих колесницах, или же верхом на ослах, или же пешими, вместе с когортами одетых в бронзу солдат, с великими полководцами и путешественниками, с прекрасными гетерами, с женами, грабителями, разбойниками, окруженные стаями чудовищ и бродячих псов, запасшись лепешками и виноградным вином, об руку со своими богами, ни на мгновение не прекращая с ними остроумных и многообещающих дискуссий.

Остался лишь деревянный трехэтажный дворец, подвергшийся осаде мастеровых, возникших, словно ниоткуда, по мановению белой ручки прекрасной Натальи. И Мятлев временно переехал в дом Румянцевых, чтобы удивлять и шокировать своим непривычным отрешенным видом население этого дома.

Население этого дома готовилось к рождению молодого Мятлева, и темно-зеленый вицмундир, доставленный господином Свербеевым как нельзя вовремя, знаменовал своим появлением кульминацию в безумствах, затеянных провидением.

Угрожающе раздувшийся живот Натальи господствовал повсюду, и все вокруг, меняя формы, приспособлялось к новым условиям. За ленивыми жемами княгини

скрывались тревожные бури, предчувствия дурных перемен. Ее молчаливый супруг с вытянувшимся удивленным лицом принимал гостей и поддакивал, безуспешно стараясь запомнить их лица и фамилии. «Господибожемой» витало в воздухе, подобно пыли.

43

(Письмо Лавинии — Мятлеву, из С.-Петербурга)

«Милостивый государь Сергей Васильевич, что же мы узнали! Оказывается, дом вовсе и не сгорел — какое счастье! Только мы приехали, и я сама решила сходить на пепелище, а вместо него все как было. Представляю, как Вы огорчились и недоумевали, получив тогда мое глупое письмо, да ведь вся Москва об том говорила, как было не верить?

Не сердитесь за назойливость, но я так этому рада, так рада, что всего этого ужаса на самом деле не было.

Вот мы и в Петербурге. Я очень обрадовалась, вернувшись; все кругом знакомое, родное и прежнее, только я уже другая. Госпожа ван Шонховен улыбается со стены, книги мои покрылись пылью, потолки стали чуть пониже. Мне шьют свадебный наряд, в доме дым коромыслом, суета... Я и не представляла раньше, что так много хлопот с этим житейским делом... А мы с господином Ладимировским продолжаем фехтовать и снова стреляем по бутылкам, в чем я, кажется, преуспела...

Вот что мне стало известно: Миша Берг за отличие на Кавказе получил золотое оружие, однако сомневаюсь, чтобы это на него подействовало в лучшем смысле. Что же до Коко (помните?), то он золотого оружия не получил, ибо служит по интендантству и не имеет возможности убить кого-нибудь, зато, разъезжая по Грузии, влюбился в какую-то там княжну, в которую до этого был влюблен и Берг, и они там опять тузили друг друга. Как стало известно, победил Коко, но золотого оружия ему опять не дали...

Знаете ли Вы это: «Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя, полусвет, полутьму?» Быть может, это обо мне? Чтобы я и мы всегда это помнили, и этого не боялись...»

В гостиниой Тучковых пил чай господин Ладимировский. У него уже не было бородки. Судьба улыбнулась ему. Чин действительного статского советника открывал перед ним заманчивые перспективы. Он купил дом в Петербурге с садом и ампирной конюшней; в почтовом департаменте он был определен на высокую должность; его белоснежные орловские рысаки замелькали по Знаменской, приводя в умиление знатоков; его улыбка обволаживала, едва он переступал порог заветного дома, несмотря на то, что худенькая красавица, проживающая там, продолжала говорить с ним дерзко; за его спиной раскинулись обширные земли в Черниговской и Орловской губерниях; он был широкоплеч, немногословен, добросердечен и улыбчив, и он был напорист, как апрельский вепрь. «Мы Бравуры...» — говорила госпожа Тучкова, подразумевая под этим ей одной известные достоинства. «Мы Ладимировские...» — говорил господин Ладимировский, прочно раскинувшись в креслах, ощущая затылком свои неисчислимые стада.

Вопрос, давно назревавший, решился смехотворно просто. Лавиния не возражала против могучей руки и горячего сердца господина Ладимировского. Она меланхолично и покорно предоставила матери решать свою судьбу, ибо не знала способов перебороть домашнюю тиранию госпожи Тучковой, весьма утонченную и неумолимую.

— Я обещаю вам, Лавиния, — сказал он как-то, — спасти вас от зависимости, которою вы тяготитесь...

— Я не просила об этом, — засмеялась она, цняя его прозорливость.

— Мы, Ладимировские, — сказал он, — никогда не блистали при дворе, но род наш древен, а это имеет значение, представьте, вы увидите...

Его посулы были ей почти безразличны, она почти не верила в успех, хотя, честно говоря, все-таки надеялась, что за его широкой спиной сможет укрыться от неусыпного ока матери, от ее мягкой, горячей, шелковистой и неумолимой пятерни, так цепко держащей господина ван Шонховена, и, презирая себя, соглашалась с господином Ладимировским, а он обещал свободу так очаровательно, будто бы посмеиваясь над самим собой и при этом слегка краснея, и слушать его доставляло удовольствие. Да

здравствует свобода! И в ее великолепной головке, переполненной фантазиями, рисовалось это немыслимое: туман, в тумане тонет все — тирания мапан — долой тиранию! — испуганное сухое лицо Калерии, тревожные телодвижения madame Jacqueline, неприличные намеки Мишки Берга... Долой намеки!.. Неужели это возможно?

— В конце концов, — сказал господин Ладимировский заговорщически, — мне еще только тридцать. Ваша матушка была моложе своего генерала на двадцать восемь лет, а тут всего лишь четырнадцать... При том, что я давно знаю и люблю вас...

Его фрак расточал пронзительные парижские ароматы, аккуратные широкие ладони покоились на мощных коленях как молчаливая гарантия будущих успехов.

— Маман и вас приберет к рукам, — засмеялась Лавиния, — в одно прекрасное утро вы проснетесь и обнаружите под своей кроватью Калерию с палкой в руке, а в гардеробе среди платьев дворника Мефодия... Хотите? Ну что ж, пожалуйста... — Но тут из придуманного тумана родилось воспоминание о совсем недавнем эпизоде, который, казалось, был позабыт, ан нет, вспомнился, выплыл, увиделся совершенно отчетливо: под окнами дома в сумерках, поддразнивая и обескураживая, два силуэта, ненатурально прижавшиеся друг к другу, и нервные голоса Мятлева и, по всей вероятности, графини Румянцевой, то есть уже княгини Мятлевой... И Лавиния, позабыв о приличиях, крикнула в глубину комнаты: — Маман, взгляните же, этого не может быть!..

— Я знаю о вашей давнишней детской дружбе с князем Мятлевым, — сказал господин Ладимировский. — О нем дурно говорят, но я вижу в этом случае пример редкого благородства и постоянства... Вы переписывались?

— О, это было давно, — сказала она с отчаянием, — и это неправда, то есть это не имеет никакого значения.

«Если женщина зачеркивает свое прошлое с печалью, значит, она все еще пребывает в нем», — вспомнил господин Ладимировский из недавно прочитанного...

— Вы ни о чем не будете жалеть, — вздохнул он. — Я очень сильный человек, — и поцеловал ее маленькую ручку.

Ночью она заставляла себя расплакаться, но слез не было. Зато потом ей приснился счастливый Мятлев на белом коне. Он легким кивком звал ее с собою... Она

было побежала, так это было счастливо, но на пороге, свернувшись калачиком, лежала громадная Калерия, и через нее нельзя было переступить.

Две силы вели войну с переменным успехом. То воспоминания одерживали верх, то явь. То пустомеля князь, предавший ее, околдованный румянцевскими прелестями, холодно поглядывал на ее сборы, то сильные плечи господина Ладимировского заслоняли все, и открывалась свобода... Да здравствует свобода!.. Но если так, тогда зачем, зачем, когда раздавался звонок в прихожей, казалось, что в шубе, покрытой снежинками, Мятлев кланяется господину ван Шонховену?.. Зачем?..

Однако Лавинии удалось осилить наваждение, и она заторопилась к неминуемому. Что князь? Детская игрушка, да и только. Анахорет, доведший любовницу до пруда... Его вытянутое лицо полно тоски, словно одинокая флейта непрерывно звучит на одной ноте в осенних сумерках...

— Вы не должны упоминать имени князя Мятлева в связи со мной,— сказала она господину Ладимировскому.— Это детские игрушки.

Он с благодарностью поцеловал у ней руку, подумав, что, если ребенок судит о детстве высокомерно, стало быть, он все еще пребывает там...

Наконец это свершилось. Все ведь текло, не уклоняясь от расписания, сочиненного госпожой Тучковой. Правда, перед тем как следовало садиться в экипаж ехать в церковь, маленький и не очень опасный бес чуть было не толкнул Лавинию на безрассудство. Она отпросилась на минуточку у наряжавших ее женщин, выскочила в пустую столовую, выглянула в окно. Внизу стоял князь Мятлев, задрал голову, с напряжением всматриваясь в темные окна. «Ага, наконец-то! — подумала она без удивления, слабея, задыхаясь... Но это был простой мужик в продранном зипуне, без шапки... — Какие шутки, — вздохнула она с облегчением, не представляя, как бы это она очутилась с Мятлевым с глазу на глаз и уже не в качестве господина ван Шонховена, а в качестве... этой... ну женщины... — О чем говорить?» — ужаснулась и вернулась к зеркалу.

Итак, все текло по расписанию, сочиненному госпожой Тучковой. Правда, когда встречали свадебных гостей, их вид и вся обстановка напомнили ей еще одну минувшую

сцену, и она целое мгновение находилась в плену у этого минувшего... В некоем доме, куда она явилась с матерью по приезде из Москвы и чинно сидела, изнывая от скуки, оказался и Мятлев с молодой княгиней, при взгляде на которую дух захватывало, так она была хороша. Этот чужой мужчина, совсем чужой, незнакомец, сквозь дурацкие очки не смог разглядеть господина ван Шонхове-на, а госпожа Тучкова преувеличенно громко с ненатуральным выражением лица принялась рассказывать о чем-то столь малозначительном и так лихорадочно торопливо, что хотелось погладить ее по руке и сказать: «Мапан, что с вами? Успокойтесь. Все это вздор. Вы лучше поглядите, как она прекрасна, эта дама... Господь с вами, разве можно так волноваться?..» Как раз в этот момент князь покинул свою жену и прочих дам и удалился в другую комнату, где мужчины курили; но там, в другой комнате, он случайно сел так, что оказался в поле ее зрения. Расплывчатый и неясный его лик, обрамленный табачным облачком, меланхолично раскачивался в отдалении, будто бы в отчаянии. Ах, ну что ему было, такому прекрасному, среди этих унылых и похожих один на другого?.. «Мапан,— сказала она шепотом, — как это невыносимо, правда?» И госпожа Тучкова, снисходя к ее слабости, не дождав-шись чая, увела ее прочь.

— При всех ее фантазиях,— говорила госпожа Тучкова новоиспеченному зятю, — она достаточно практична, чтобы достойно оценить решительность известной пушкинской героини.

«Однако, — подумал господин Ладимировский с печальной улыбкой, — я, к сожалению, не генерал, чтобы чувствовать себя неуязвимым, и боевых шрамов мне явно недостает...»

Итак, все текло по расписанию, сочиненному госпожой Тучковой. Но забрезжившая было свобода померкла и растаяла, едва Лавиния вступила в новый дом, ибо свобода всегда почти осязаема, когда ты тоскуешь о ней, а в миг ее возникновения появляется достаточно всяких обстоятельств, дабы ты не обольщался... И тетка одинокого господина Ладимировского, Евдокия Юрьевна Спешнева, поселилась в доме, чтобы у Лавинии не было оснований считать себя несчастной. Это была маленькая, хрупкая женщина, страдающая от собственных несовершенств, умеющая солгать ради вашей же пользы, ослепительно по-лади-

мировски улыбающаяся, щедро и с благорасположением. Ей было под пятьдесят, но бездетная жизнь позволяла ей казаться сорокалетней, чем она дорожила как могла. Утомленная одиночеством, она горячо взялась за роль домоправительницы, так что Лавинии с первых же шагов не пришлось растрачиваться по пустякам. Евдокия Юрьевна была не зла, но не упускала случая в иносказательной форме выразить свое недоумение по поводу того, что совсем юной красоте, и не такой уж родовитой, выпал счастливый жребий: посыпались черниговские да орловские сокровища, и теперь ее приглашают ко двору благодаря Сашеньке Ладимировскому, за его древний род и высокую должность, ведь им-то, Тучковым, с их польскими-то кровями, когда это увидеть? Нынче с поляками строго... А тут нате вам, как все устроилось... Вы радуйтесь, я от чистого сердца желаю вам всего, всего... И ее вечерние пасьянсы сходились на том, что удача, выпавшая на долю Лавинии, связана с их домом. Это ей повезло, Лавинии Бравуре, а Сашенька что? Сашенька сам по себе, он возвышается.

И утром того дня, когда следовало отправляться в свадебное путешествие, о котором Лавиния думала с надеждой, ибо ежели вы вырываетесь за шлагбаум, начинается истинная свобода, выяснилось, что Евдокия Юрьевна отправляется вместе с молодыми, потому что вы там будете миловаться, а богатства нуждаются в присмотре, и дай мне бог сил ради вас... это я не об себе хлопочу, а ради вас... Мне что? Мой век прожит, миленькая вы моя, и, конечно, с моими-то болями можно бы было и не суетиться, не правда ли? Но едва я на вас посмотрю, какая вы юная... Как это вы сможете все сама и сама?.. Все эти богатства?.. Поэтому я плюю, pardon, на собственные недуги, чтобы хоть начало вашей жизни не омрачалось этими страшными заботами...

Посему Лавинии пришлось выбирать между госпожой Спешневой и Калерией совместно с madame Jacqueline. Выбор затягивался...

— Вы жалуетсяь? — удивилась госпожа Тучкова почему-то на «вы». — Теперь-то вы, надеюсь, сможете оценить мое к вам участие.

Но выбор, как известно, затянулся, и нужно было отправляться смирясь. Правда, когда все уже было готово и кучер уселся поудобнее, она глянула осторожно в рас-

пахнутые ворота, негодуя, что даже в такую минуту ленивый князь не мог промелькнуть мимо, прощаясь навсегда.

— Надеюсь, пока вы довольны? — спросил господин Ладимировский, склоняясь к ней с самозабвенной улыбкой.

— О, еще бы!.. — ответила она обреченно.

Экипаж тронулся.

«Если бы я не была так дурна, — подумала Лавиния в этот миг, — ему бы незачем было связывать свою жизнь с графиней Румянцевой...»

45

(Письмо Мятлева — Лавинии, из С.-Петербурга)

«Сударыня, что это Вы затеяли там с каким-то необитаемым островом? Как это мы сможем там жить вдвоем? А что подумает Ваша татапа? Клянусь Вам, что это будет превратно истолковано. Выкиньте это из головы...»

46

Наконец Мятлев, обрядившись в вицмундир, отправился представляться графу Нессельроде и был введен в должность под начало старого знакомого, барона Фредерикса, ведающего американским департаментом.

Барон встретил Мятлева сердечно и сразу же взвалил на него заботы.

Некий академик, действительный статский советник Гамель ходатайствовал перед министерством просвещения о разрешении ему отправиться в Нью-Йорк и в Англию для изучения достижений в области некоторых устройств, связанных с применением электрического тока. Товарищ министра просвещения Норов составил всеподданнейший доклад, на котором появилась резолюция государя: «Согласен, но обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чем взять с него расписку и мне представить».

— Вот видите, — сказал барон Фредерикс, — как возраст и житейские бури превращают нас в существа, государственно мыслящие... — и розовые его щеки зарозовели пуще. — Я рад, что вы так быстро во всем разобрались,

и теперь остается лишь потребовать с господина Гамеля необходимую расписку. — Барон был уже пунцов, подобно девице, и старался не заглядывать в документ. — Есть высшие соображения о предмете, и, если потребление человеческого мяса в пищу противоречит им, стало быть, академик Гамель должен об этом помнить, не так ли? — Он стал багровым и все время отворачивался. В глазах Мятлева он прочел недоумение и тоску, но притворился возбужденным служебным вдохновением. — Во всяком случае, это весьма остроумно, не правда ли? Во всяком случае, в интересах государства, чтобы академик Гамель дал требуемую расписку... Я очень доволен, что судьба свела нас снова. Вы очень изменились. Госпожа Фредерикс (вы ее не забыли?) будет рада видеть вас в нашем доме... С супругой... бывшее... невероятных... предпринимчив... государя... — Вдруг он произнес таинственным шепотом: — Заботясь о благе отечества, познаешь себя самого.

Так прошло недолгое время служения отечеству эдаким способом, куда тянулась переписка между ведомствами на предмет возможности командировки академика, куда сам господин Гамель обдумывал текст своей расписки, запутавшись между долгом и любопытством, видя по ночам дымящиеся ломти человеческих филеев, теряясь в догадках и пытаясь найти высший смысл в таинственном предписании, куда, наконец, обезумевший от напряжения Мятлев не получил требуемое письмо, которое выглядело так: «Я, нижеподписавшийся, во исполнение объявленного мне в секретном предписании товарища Министра народного просвещения Высочайшего Государя Императора повеления дал сию собственноручную подписку в том, что во время предстоящего моего путешествия по Америке я никогда не посмею употреблять в пищу человеческое мясо. Гамель Иосиф Христианович, действительный член Академии Наук, действительный статский советник...»

Однако благополучное завершение переписки и благодарность по службе не принесли семейного счастья. Недавнее могущественное вмешательство самого государя теперь выглядело ничего не значащим анекдотом.

И, наконец, инфлуэнца, прицепившаяся к Наталье, начавшись с познабливания и головных болей, унесла несчастную княгиню вместе с ребенком. Дом Румянцевых от князя отворотился, будто Мятлев был причиной несча-

стья, и вдовец, еще не опомнившись, не очнувшись, ничего еще не понимая, по моему настоянию скинул вицмундир, сел в коляску и укатил в Михайловку приходить в себя. Все походило на сон.

47

Прошло время. Князь воротился в Петербург. Трехэтажная крепость осталась в неприкосновенности: мастерам велено было убираться подобру-поздорову. Крепость потрескивала и разрушалась все сильнее, но еще сильнее ударили в нос воротившемуся блудному сыну запахи детства. Словно излечившись от смертельной болезни, Мятлев первое время слонялся по комнатам и лестницам с лицом, вытянутым от удивления, что он снова живет, что может размышлять и даже строить планы, вздрагивая всякий раз, когда взор останавливался на одном из многочисленных Наталиных подарков, с помощью которых она, бедная, старалась его завоевать, намекая на свою причастность к искусству. И все эти небольшие полотна известных западных мастеров, и китайские веера умопомрачительной тонкости, и фарфоровые табакерки, и двусмысленные, специально подобранные сюжеты — все это с безмолвным укором возникало перед ним, пока он не распорядился наконец убрать с глаз долой и это. Теперь минувшее его уже не мучало: сны помнятся недолго, и лишь два случая из тех дней запечатлелись в сознании четко, словно дагерротип.

Однажды Мятлев прогуливался с Натальей по тихой улице в ранних сумерках сентября, полупшепотом выясняя отношения, и, по неведомому капризу судьбы, они остановились напротив молчаливого белого дома, украшенного чугунным крыльцом. Внезапно в распахнутом окне закачалась неузнаваемая фигурка и, протягивая к ним руки, почти крикнула с отчаянием: «Мапап, взгляните же, этого не может быть!..»

Мятлев вздрогнул, ибо почему-то решил, что это восклицание должно было относиться именно к нему. Он торопливо увлек Наталью прочь, однако случай не забылся.

Спустя некоторое время они ехали на вечерний чай, на тихий чай в каком-то доме, где должно было быть немногочисленное общество уже позабытых лиц, невыразительных, как и его жизнь. Наталья была уже весьма тяжела

и трудно дышала рядом в карете. Помнится, был вечер, редкие фонари, остальное скрадывалось в дымке по причине своей малозначительности. Их встретили так, словно они уже многие годы приезжают на эти вечера в этот дом, и Наталья, присоединившись к дамам, тотчас включилась в их вечную и непрекращающуюся перекройку всего на свете. Они лишь на одно мгновение остановили свои взоры на Мятлеве и опять оборотились друг к другу. В соседней комнате мужчины играли в карты и курили трубки, и, глядя на них, можно было подумать, что мир в своем развитии достиг окончательных высот и все остановилось, пребывая в полном совершенстве.

И вот, раскланиваясь с дамами и намереваясь удалиться в соседнюю комнату, Мятлев вдруг обратил внимание на одну молодую особу, только что вошедшую и устроившуюся в кресле несколько в стороне от оживленного кружка своих соплеменниц. На вид ей можно было дать лет шестнадцать-семнадцать. На ней было светло-бирюзовое платье, отделанное белыми кружевами. Над неглубоким вырезом этого платья красовались острые беспомощные ключицы, и два острых локотка были на виду, хотя она и прижимала их к телу. Два маленьких незавитых темно-русых локона свободно касались ее щек. Сложенный веер конвульсивно покачивался в кулачке. Серые глаза были широко распахнуты и неподвижны и устремлены на Мятлева с пустым вечерним интересом, тогда как губы были сложены в легкую смесь растерянности и насмешки. Она могла бы показаться красивой, если бы не жалкие остатки смешного детского величия в телосложении и выражении лица. Она так бесстыдно разглядывала Мятлева, что он предпочел не задерживаться. Она напомнила ему Лавинию, но это была не Лавиния. Он удалился к мужчинам и присел за карточный стол. Он выбрал себе место совершенно машинально, однако стоило ему поднять голову, как оказалось, что дверь в соседнюю комнату находится как раз напротив и в нее видна именно та самая молодая особа. «Этого еще не хватало», — подумал он.

Молодая особа продолжала разглядывать Мятлева. На расстоянии сходство с господином ван Шонховеном почти совсем стерлось, однако не глядеть на нее было невозможно. Ему даже показалось, что она кивает ему, хотя он знал, что это обман зрения от мигающего пламени. Затем он

попытался вникнуть в игру, уставился в карты, но пригласили к столу. Все направились в комнату к дамам. Той молодой особы уже не было. От Натальи веяло холодом. Когда они возвращались домой, она, нарушив молчание, вдруг спросила:

— Ты, оказывается, знаком с Тучковой?

— С кем? — едва не крикнул Мятлев.

Она сказала, то ли смеясь, то ли плача:

— Однако как ловко ты притворился!

«Этого еще не хватало, — подумал он. — Неужели это и впрямь Лавиния?»

— Если это та самая Тучкова, — сказал он, — то я...

— Та самая! Та самая! — крикнула Наталья.

— ...я знал ее еще восьмилетней девочкой...

— При чем тут девочка? — еще больше раздражаясь, крикнула Наталья. — Я говорю о матери. У тебя с нею был роман!

— Позвольте, — удивился Мятлев. — Вы в своем уме? Какой роман?..

...От Натальи у него осталось имение в Смоленской губернии. Но он вернул его родителям несчастной княгини, записав как подарок, чему долго возмущались в обществе. Затем он бросился к античным своим единомышленникам, но они были надменны и равнодушны к его перипетиям, и мраморные статуи в вестибюле стояли, отворотившись от него. Он написал вежливое, но категорическое письмо графу Нессельроде, отказываясь от службы, велел Афанасию убраться вицмундир и, провожая его последним взглядом, подумал с содроганием: «А как бы я должен был жить, если бы не получал дохода? Неужели служба была бы моим единственным средством к существованию?» — но на этом и закончились его попытки проникнуть в тайну человеческого общества, чем долгие годы, хотя и безуспешно, занимались многие из его современников, и он, вооружившись пером и стопкой чистой бумаги, принялся в тиши библиотеки писать свои «Mémoires». Работа так захватила его, воспоминания хлынули такой густой лавиной, что все вокруг внезапно померкло, исчезло, раскрыв простор для вдохновения. Образ большеблого гусарского поручика, убитого на Кавказе, ожил и возник перед ним несколько, конечно, облагороженней, чем был при жизни, да это и понятно, ибо время прощает многое и злодеям, а уж гениям и подавно. Строка за стро-

кой ложились на бумагу, из их могучего хора вырывались пронзительные нотки, долженствовавшие придать ожившим впечатлениям давнего прошлого привкус подлинности, трагичности и безвыходности. Взять хотя бы первую фразу: «Он появился в моем доме, обуреваемый нестойкими надеждами на удачу, отчего его коротконогое тело показалось исполинским, и я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что в дверях ему пришлось даже наклонить голову...» Уже в этом прозвучало что-то зловещее и задало определенный тон всей работе, и Мятлев уже не мог отступить от первоначального запева, погружаясь все более и более во мрак, в ночь, в тайну и меланхолию. Получалось так, что люди, охваченные ненавистью к поэту, погрязшие в мелких житейских страстях, жаждали гибели поэта как избавления от его укоряющего взора. Был ли виноват в том царь, как утверждали некоторые, или виновата была сама природа общества, воспитавшая и самого царя, или же поэт был столь исключительным явлением в нашей грубой и печальной жизни, что сам наткнулся на острые углы, об этом скажет время, но, видимо, кожа его была и в самом деле столь тонка и чувствительна, что даже ничтожные уколы вызвали ощущение катастрофы. «Воистину помещение было ему тесно. Он не выносил близости стен. Они теснили, как мундир, ворот которого он все время теребил, будто силился разорвать. Музыка тоже возбуждала его, но не в том вульгарном смысле, который мы придаем этому слову, а в смысле приносимого страдания, которого он стеснялся и которого он не раскрыл бы ни за какие блага в мире. Когда я по его просьбе садился за фортепьяно, он спустя минуту уже менялся в лице и начинал тихо посапывать, всхлипывать, похохатывать, маскируя подступающие рыдания; затем трунил надомной, отворачиваясь, чтобы я не углядел слез». Однако, видимо, существовало в природе нечто, чему можно было предъявить обвинение в преднамеренном убийстве, нечто, исподволь скапливающее свою неприязнь к поручику и кропотливо сводящее в один последний смертельный узел множество разрозненных нитей ненависти к нему. Ведь неспроста же он, наверное, так стеснялся своего страдания, будто бы не имеющего под собой почвы; и так был раздражителен; и так стремился вырваться из замкнутого круга: «Быть может, за хребтом Кавказа...» — хотя с нечеловеческой пронизательностью видел, что в этом

нет спасения. «Казалось, что он сознательно обрек себя на краткий и жестокий опыт: противопоставить себя всем и доказать собственной гибелью, что всякие попытки единоборствовать с сонмом своих ничтожных сестер и братьев напрасны... Вот снова все свелось к борьбе толпы и одиночки. Так, значит, толпа и есть ответчик?..» Тут он представил себе государя и уже не мог выйти из-под зловещего обаяния, как тот печальный литератор, господин Колесников, антагонист царей и счастливый обладатель темно-зеленого вицмундира, сказавший однажды: «Ваш друг был истинным гением», — подразумевавший под этим, очевидно, что «ваш друг» был борцом против несправедливости. Но в том-то и была ошибка литератора, за которую он поплатился, что убитый гусарский поручик был и жертвой. Затем Мятлев намеревался провести мысль о том, что, исходя из всего, и царь, стало быть, жертва, а уж никак не ответчик за злополучную судьбу поэта, но личные впечатления и обиды повели его перо по непредвиденному пути. Он хотел быть справедливым, как история, а оказался несправедлив, как историк. «...дремавшие в государе дурные задатки проявлялись уже в детстве с неудержимой силой. Что бы с ним ни случилось: падал ли он, ушибался или считал свои желания неисполненными, а себя обиженным, — он произносил бранные слова, рубил топориком игрушки, бил палкой своих товарищей, хотя и любил их... Впоследствии всеми своими действиями он всегда проводил мысль, что он несоизмерим ни с одним человеком в стране, что он бог и ему все позволено...» Так, перемежая воспоминания о «вашдрузе» с перечислением злодейских качеств Николая Павловича, он, сам того не подозревая, пришел к вульгарному решению об ответственности царя за гибель гения, но концы с концами не сошлись. Наконец, перечитав написанное, он вдруг понял, что писал не столько об убитом товарище, сколько сводил с царем личные счеты. Не испытывая в связи с этим угрызений совести, он все же прекратил работу, так и не поставив точку. Тайна гибели гусарского поручика повисла в воздухе. В конце он признавался с горечью: «Анализ этой трагедии выше моих сил. Я слишком ничтожен, чтоб не касаться собственных обид. Я испытываю страшную тяжесть, но не могу осознать ее причин. Очень может быть, что главный ответчик — вся наша жизнь, а не капризы владыки, но я не гений: мне

больно — вот я и кричу и ругаюсь... «И тот, кто жив, и тот, кто умер, — все жертвы равные ея...» Однако несовершенной этой работе было суждено еще раз выплыть на поверхность и угодить в пухлые немолодые трясущиеся лапы самого господина Колесникова.

Этот господин, переживший ужасы недельной отсидки и недвусмысленных угроз, продолжал свою победоносную карьеру, и его вицмундир старательно горбился и потел в недрах канцелярии коннозаводства, покуда счастливая судьба не пожелала вновь свести его с Мятлевым, столкнув на Каменноостровском в кондитерской Кюнцаля. Литератор сильно изменился с той достопамятной встречи: постарел, раздобрел, стал медлителен в жестах и высокопарен в приветствиях, хотя все это не мешало разглядеть на его лице подлинное удовольствие от встречи со старым знакомым.

Спустя несколько минут они уже сидели в экипаже князя. Стоило Мятлеву лишь заикнуться о своей литературной деятельности, как профессионал пожелал лично просмотреть труд своего молодого друга. В глубине души Мятлев надеялся, что странички произведут впечатление на коллежского секретаря, но происшедшее превзошло его предположения. Исписанные листки тряслись в пальцах господина Колесникова. Лицо его сначала побагровело, напрыглось, залоснилось, затем вдруг опало, и мертвенная бледность растеклась по нему, постепенно переходя в нездоровую желтизну. Он сопел и покашливал, что-то в нем переливалось, и булькало, и кипело; лишний пар вырывался из дырочки в затылке, шевеля редкие волосы; башмаки терлись один о другой, словно пытались соскочить с подагрических ног, как некогда; то ли буйная радость клочкотала в нем, то ли отчаяние, было не понять. Наконец он выпустил из рук последний лист и тяжело поднял голову. На лице застыла гримаса отвращения, глаза были переполнены страхом, губы, словно черствые лепешки, беззвучно пошлепывали одна о другую.

— Знал бы, что вы мне подсунете, — прохрипел он, — в жизни бы к вам не поехал. Это что же такое?..

— Что такое? — опешил Мятлев.

— Что это вы меня искушаете, милостивый государь?..
Нашли дурака!

«Он рехнулся, — подумал Мятлев, — взгляд безумца».

— Вы полагаете, что это смелость? — продолжал кол-

лежский секретарь. — Нет, милостивый государь, нет, ваше сиятельство, это все ложь... Ваш друг был гением стихотворства, но он был в то же время и гением зла, и вот что его сгубило. По-вашему, выходит так, что общество, сговорившись, предводительствуемое его величеством, только и мечтало досадить вашему другу, какая чушь, ей-богу!..

— Да вы меня не поняли, — прервал его Мятлев, — я только пытался...

— Довольно с меня всякого мрака и безысходности! — Лицо его приняло серый оттенок, последние струйки пара ударили в потолок, тело обмякло, погружаясь в кресла. — Когда б вы только представить могли, как государь без сна и отдыха... Не верю, чтобы и вы относились к числу злонамеренных людей, которых развелось нынче и которые не желают отделить частную жизнь государей от политической и, хуля их слабости, затмевают блеск их царственных деяний!.. Не верю, милостивый государь...

— Да полно вам, — засмеялся Мятлев, — не приписывайте мне черт знает чего... — И подумал недоуменно: «Где же вы, господин ван Шонховен?»

— Нет, нет, — прохрипел Колесников, — государя вы не порочьте. Я тоже, — добавил он тихо, — в свое время пошалил, да я был слеп... Мы и так друг друга перекусать готовы, да вы еще усугубляете настроения всяких разбойников своими рассуждениями...

Это душа его продолжала исторгать пропитанные ужасом слова, почти лишенные связи, а грузное тело вдруг рванулось из кресел и, заламывая с мольбой руки, корчилось перед Мятлевым, словно это был и не Мятлев, а сам Леонтий Васильевич Дубельт, счастливый жандармский генерал, умница и прозорливец, кладезь обаяния, высокий, стройный, как барышня, с худым усталым лицом, сероглазый, с ласковым пожатием рук, с печатью страдания во взгляде, в свисающих серых усах, в горькой нечастой улыбке... «Мой добрый друг, не торопитесь с выводами. Осуждать крайне легко. Судей и ниспровергателей экая прорва, а созидателей — единицы. Трудно. Благонамеренность — не слабость, мой добрый друг, как это кажется некоторым не в меру суетным невеждам; благонамеренность — это намеренность добиваться блага своему отечеству. Эти господа имеют склонность хвататься за всяческие неуспехи и неудачи и раздувают их, в то

время как их следует не раздувать, а спокойно, неторопливо, сообразно с ходом истории постепенно сводить на нет. Умоляю вас, мой добрый друг, вникните в мои слова, не подражайте ниспровергателям, не усугубляйте зла в нашем многострадальном отечестве... Трудно».

— Да вы политикан! — сказал Мятлев. — Меня это вовсе не интересует. Я, видит бог, просто хотел понять, каковы противоречия между поэтом и миром...

— Нет, нет и нет! — крикнул Колесников, озираясь. — Какие еще противоречия? Вон вы куда клоните... А в том-то и беда, что мы судим о царях со своих житейских кочек, а их страданий не видим. Нет и нет! Вам бы следовало описать, как ваш друг пренебрег общим спокойствием в угоду собственному эгоизму, за что и поплатился, а вы...

— Эгоизму? — сказал Мятлев и двинулся на коллежского секретаря.

— Любезный друг, — внезапно сникнув, проговорил Колесников. — Я думал так же, поверьте. Но, поверьте, жизнь сложнее, чем кажется. Нельзя возбуждать одних против других: эдак мы ничего не добьемся, кроме хаоса. Государство от этого пострадает, затем пострадаете вы... Да неужели вы это в журнал снести хотели? — и показал на разбросанные листки. — Опомнитесь, не верю.

«Он увел у меня Анету, замучал Александрину, заставил жениться на Наталье», — подумал Мятлев.

— Вы меня не поняли, — сказал он, улыбаясь, — я политикой не занимаюсь, слишком хлопотно. Меня больше привлекают чувственные удовольствия. Теперь отсюда я постараюсь перейти незаметно и изящно к проблеме любви... (Колесников недоверчиво посмотрел на него.) Представьте себе молодую особу... — Мятлев рассмеялся. — Кстати, — спросил он не без ехидства, — делает ли свое дело господин Некрасов?

Литератор поперхнулся, долго молчал, затем проговорил шепотом:

— Картежник-с. Я глубоко разочарован.

Провидение внезапно смилостивилось, и его тоненький голосок нашептывал Мятлеву радужные перемены в судьбе, и князь все отчетливей видел перед собой острые ключицы и невыносимые серые глаза бывшего господина ван Шонховена, иногда ловя себя на том, что это видение занимает его более, нежели попытки проанализировать бы-

лые метания несчастного поручика. Да, да, представьте себе, что-то такое случилось, что он не мог уже размышлять о худенькой дочери госпожи Тучковой с прежним умилением.

Как вы думаете, господин Колесников, почему такое могло случиться?.. Но господин Колесников, раздираемый ужасными предчувствиями, давно исчез, а Лавиния все не забывалась. Тревога Мятлева была вдохновенной, и притязания Мишки Берга уже не волновали его. Где вы, господин ван Шонховен?..

48

(От Лавинии — Мятлеву, из сельца К., проездом)

«Милостивый государь Сергей Васильевич, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас только потому, что донеслись вести о новом Вашем несчастье. В душе теплится слабая надежда, что, может быть, и этот слух такая же ошибка, как случилось однажды с известием о пожаре Вашего дома, и прекрасная княгиня Мятлева жива-здора. Я молюсь, чтобы все так было, и верю, что благословение государя не может обернуться несчастьем. (На этом месте Мятлев, читая, пожал плечами, не совсем беря в толк слова юной дамы.) Все мои беды ничтожней Ваших, а радости будничней. Вы такой человек, что достойны многого и самого прекрасного... (Здесь Мятлев покраснел и присвистнул.)

Теперь несколько слов о себе, хотя стыжусь обременять Вас, но уж, поскольку все равно пишу, чего ж таиться... У меня все прекрасно, если не считать болезни, которая со мной вдруг приключилась, так что наше свадебное путешествие оборвалось под Москвой и мы застряли. Жар давно миновал, но доктор не велит двигаться с места. Живем по-деревенски и обучаемся искусству по выздоровлении все успеть, все сделать, обогатиться, прославиться, всех очаровать, оставить по себе добрую память, со всеми подружиться, всем наговорить приятностей, ничего не упустить, благопристойно умереть и прочее... Все длится и длится наше несуразное медовое приключение, и мы, представьте себе, ни разу не фехтовали и не стреляли по бутылкам. Евдокия Юрьевна очаровательная

женщина, бог надоумил ее ехать с нами, ибо, когда Александр Владимирович бывает вынужден обстоятельствами покидать нас ради непременных дел, она не дает мне впасть в отчаяние. Она премилая рассказчица, и благодаря ей мои сведения о многих предметах стали значительно глубже и полнее. (Тут Мятлев рассмеялся, отчего подававший ему Афанасий вздрогнул и попытался заглянуть в письмо.) Я так надеялась, что за шлагбаумом начнется иная жизнь, да, видимо, мы выехали не за тот шлагбаум: особых перемен в своей судьбе не замечаю.

Милый князь, что же касается до необитаемого острова, который так взволновал Вас, то поверьте, что беспокойство Ваше пустое: папап не могут шокировать подобные фантазии, а ежели бы это даже свершилось и мы с Вами очутились бы в таком месте, кому какое до того могло бы быть дело? Два взрослых и хорошо воспитанных человека поселяются на необитаемом острове — чего ж за них опасаться? Так что Ваш ужас, милый князь, напрасен тем более, что все необитаемые острова нынче, говорят, расхватаны, да и за ближними шлагбаумами — опять все то же».

49

Где же вы, господин ван Шонховен?.. От этого вопроса кружилась голова пуще, чем от любого из былых кавалергардских снадобий.

Стоял август середины века, и князь в своей выдавшей виды коляске носился по Петербургу, словно поклялся промерить его вдоль и поперек. Над Исаакием печальная одинокая ворона кричала нечленораздельное.

Все было покинуто в разрушающемся доме: литературные упражнения, наставления древних; Афанасий, бьющий свою Аглаю; Аглая, посягающая на самого князя. Воистину и дом, и вся жизнь — все трещало по швам, не будучи скреплено делом, пристрастием, горячей кровью и здоровьем...

Действительно, думал князь с пафосом, в полубреду: «Что я? Жалкие потуги на страдание — вот мой удел. Где же цель, влекущая всех, даже ничтожного господина Колесникова? Какие бури я преодолел? Ради кого пожертвовал собою?..» И тут же смеялся над чуждой ему

риторичностью. Где же вы, господин ван Шонховен? Лишь эти острые ключицы казались теперь единственной истиной, впрочем упорхнувшей, растаявшей, приспособленной другим, ловким и неотвратимым соплеменником. «Вы выглядите самоуверенным, однако глаза выдают вас», — сказал клязю как-то некий доброжелатель, и хотя в этом заявлении не было глубины, но Мятлеву захотелось поразмышлять об этом, ибо человеку его склада всегда необходимо все знать о себе с горькой стороны: горечь — верное средство от самообольщения... Ах, до самообольщения ли?..

А не был ли по-своему прав полузабытый барон Фредерикс, счастливый сознанием собственной зависимости от окружающих его собратьев? И не был ли прав господин Свербеев, мерзнувший на морозе и висящий в дымоходе вниз головой ради целей, напечатанных ему однажды? А квадратный доктор Шванебах, покончивший с собственной жизнью в порыве любовного вдохновения, когда он смог наконец в него поверить? И ничтожная рыжеволосая Аглая, приручающая своего чудовищного Фонарясия? И сам Фонарясий, по слову господина Свербеева листающий дневники князя с неизвестной целью, во имя, видимо, каких-то обещанных райских блаженств? И государь, повесивший тех пятерых, ибо так ему велел, как он сам говорил об этом, гений его народа?.. Да разве они все не правы по-своему?..

Спустя несколько дней у него написались уже знакомая современникам лермонтовская строка: «А годы проходят, все лучшие годы...» Но он никак не мог вспомнить: в дневнике ли написались или в очередном письме к господину ван Шонховену.

Затем, доведенный до иступления хандрой, самокопанием и капризом немедленно удалиться на необитаемый остров в компании с юной соблазнительницей, он принялся сам фантазировать, и ему взбрела в голову восхитительная кавалергардская идея нагряться в осиротевший дом к госпоже Тучковой и, уперев дуло пистолета в ее горячую грудь, принудить ее быть соучастницей в одном щекотливом деле, в весьма пикантном дельце, в некоем, на первый взгляд, не вполне пристойном поступке, в предприятии... Хотя всему свой черед.

И вот он носился по городу и под грохот колес додумывал оставшиеся мелочи своего грандиозного плана, до-

вольно потирая руки и прищелкивая языком, воображая, как я обрадуюсь счастливой возможности проявить себя заодно с ним на поприще самого благородного интриганства.

Отказать ему в соучастии было свыше моих сил, да и предприятие показалось волнующим, хотя я несколько охладил его пыл, и внес поправки, и умерил его преждевременное торжество, и, как говорится, провел по идее тонким наждаком. Наши окаменевшие сердца запылали, словно ушедшая юность и не покидала нас.

Как мы известили о своем появлении в доме госпожи Тучковой, бог свидетель, не помню. Во всяком случае, нас, сверх ожидания, приняли тотчас же и весьма любезно, и мы в своих черных сюртуках, напоминая одновременно свергнутых датских принцев и лондонских клерков, проществовали по комнатам этого несчастного дома и очутились перед самой госпожой Тучковой.

Я ожидал увидеть фурию, а передо мной возникла очаровательная дама с глазами, в которых лукавство умерялось расположением, и с улыбкой, доведенной до совершенства.

Ого, подумал я, ежели она такая, то какова же дочь! Я видывал господина ван Шонховена ребенком, позже не привелось. Вполне вероятно, думал я, что она могла превратиться в писаную красавицу, хотя князь не был лишен возможности, думал я, лицезреть всех прочих, отмеченных печатью красоты. Видимо, все-таки острые ключицы настолько поразили воображение князя, что остальное и не замечалось. Как же мы будем выкручиваться, думал я, пред этим всепроникающим взором, или наша репутация уже ничего не стоит? Да и сам Мятлев, видимо, понял, что его жаркий план — пустая фантазия, да и только, и сейчас произойдет то самое, что не желалось быть учтенным там, за стенами этого несчастного дома. Она сказала: «Прошу вас, господа», — с такой прелестной интонацией, что я на мгновение прикрыл в растерянности глаза. Однако гром пока не грянул. Мы сидели в креслах неподвижно и напряженно, как на панихиде. На бледном лице князя нельзя было различить ничего, кроме отчаянной решимости. Скажите, пожалуйста, думал я, сколь долго можно притворяться каменным? Меж тем пламень, исходящий от нее, обжигал наши колени.

— Ваше лицо мне знакомо, — как бы случайно уро-

нила она, взглядевшись в князя, но без суеты, не пристально, не так, как это умеют бестактные провинциалки.

— Видимо, мы встречались... — любезно согласился князь.

Они притворялись, будто незнакомы. Как странно, подумал я. Она не спрашивала, откуда господам стало известно о ее маленьком шедевре, который она вынуждена была продать.

— Крайние обстоятельства, господа, — сказала она с усмешкой и повела нас за собой.

Какие же крайние обстоятельства при таком зяте, подумал я, стараясь идти с Мятлевым в ногу. Вот, вероятно, комната господина ван Шонховена, предполагал Мятлев, стараясь запомнить на всякий случай все двери одну за другой. Госпожа Тучкова легко летела впереди, ловко взмахивая тяжелым подсвечником, почти не касаясь туфлями пола.

— Моя дочь, господа, — роняла она между прочим, — очень дорожит этой работой... И, хотя она нынче отрезанный ломоть, я вынуждена считаться... — Странный голубой дым окутывал эту очаровательную ведьму, и облачко его становилось гуще по мере нашего приближения к цели. — Происходят странные вещи, господа, — продолжала она, не дожидаясь отклика, — полотна старых мастеров внезапно стали предосудительны, или нежелательны, или еще что-то там такое, или это связано с нынешними воззрениями, которые старым мастерам были незнакомы, ибо, если бы они им были знакомы, они и не подумали бы малевать свои излюбленные сюжеты... — И мне показалось, что она хохотнула. — Вас это не пугает, господа? — Но мы молча и упрямо, сохраняя возможное достоинство, подобно страже, шагали в некотором отдалении за ней, не обнаруживая в хозяевах дома большого пристрастия к искусству. — А не случилось ли, господа, вам встречать мою дочь в свете? — продолжала она. — Она несколько раз появлялась и произвела впечатление. Последний раз это было на пасху... Она была в платье из голубого шелкового тюля, и на воланах юбки букеты палевых камелий с листочками, представляете? — Тут мне снова послышался ее хохоток. — Его величество обратил на нее внимание. Ее супруг не знал, плакать ему или смеяться... Вы не встречали ее?..

Мы огорченно вздохнули и тут-то наконец вошли в

комнату, или, вернее, кладовую, ибо помещение это было до крайности завалено всяким дорогим сердцу и полунезобходимым хламом. В полутемном углу, освещенный желтым и шатким сиянием свечи, с холста сокрушенно показывал головой запыленный вельможа. Князь Сапега, от которого мечтала отделаться госпожа Тучкова, этот неукротимый поляк, желтолицый и надменный, смотрел на нас не очень доброжелательно. Чего ж ей торопиться, подумал Мятлев, или и здесь уже побывал господин Свербеев и успел срисовать поляка, чтобы донести куда следует?

— Вы не знакомы с господином Свербеевым? — спросил он как бы случайно.

Когда же выяснилось, что это не кто иной, как закрыщик и одновременно секретный агент, или агент и одновременно секретный закрыщик (каких чудес не случается между живыми?), она позволила себе усмехнуться, что у нее получилось весьма изысканно и пока еще вполне дружелюбно. Вот-вот грянет буря, думал я, с серьезным видом разглядывая поляка. И конечно, ни я, ни Мятлев не предполагали, какие строки зреют в великолепной голове госпожи Тучковой, как буква к буквке укладываются тяжелые слова, как душно... как поникло все... даже пыль не шелохнется...

«...Выслушайте меня: этот богатый монстр, этот погубитель множества женщин объявился в моем доме, и по его виду я тотчас поняла, что он не на шутку взбесился на Ваш счет и будет прилагать дьявольские усилия, чтобы все перевернуть в Вашей судьбе. Отдавая должное его уму, образованности и фамилии, я намерена оградить Ваше благополучие от его посягательств. Я делаю это по возможности тонко, но бог знает, что из этого выйдет... Если он вздумает Вам писать, сохрани Вас бог отвечать ему даже в самом холодном тоне. Этого ему будет вполне достаточно для повода...»

— Князь Сапега, — сказала колдунья, — полюбил молодую очаровательную женщину, жену своего придворного... Влюбился... Очень ее домогался. Однако она была тверда, и усилиями ее мужа и матери эти предосудительные вожелания были, казалось, предотвращены...

— Она была тверда, а понадобились усилия мужа и матери? — негромко произнес Мятлев, щелчком сбивая нагар со свечи.

Госпожа Тучкова сделала вид, что не расслышала.

— И вот, — продолжала она, — он додумался до того, что однажды ночью (нет, вы только представьте!), воспользовавшись отсутствием обожаемого предмета и ее отца, пробрался в спальню к ее матери и, угрожая пистолетом, требовал ее согласия отдать за него дочь...

— Он влез в окно? — рассеянно спросил Мятлев и при этом глянул в окно. До земли было близко. Ему ничего не стоило подтянуться и взлететь на подоконник. Под окном бушевала толпа. Слышался хохот. Испуганная госпожа Тучкова отрещивалась от него, как от беса. Пожилой бес в очках, в черной накидке, со старинным дуэльным пистолетом в руке вваливался в дом. Публика неистовствовала... «Лишь бы не уронить очки», — думал он, распаяясь...

— Он влез в окно... Это было летом, окна были раскрыты, — сказала госпожа Тучкова и при этом слегка побледнела.

Желтолицый грузный поляк надменно оглядывал Мятлева, не пытаясь отрицать своей причастности к минувшей трагедии.

— И что же?.. У него так ничего и не вышло? — спросил Мятлев совсем равнодушно.

— Что вы, — воскликнула она, — он выкрал дочь, но ее успели отравить, и она скончалась у него на руках...

— Жестокая семейка, — засмеялся Мятлев, подтолкнув меня незаметно, и сказал с вызовом: — Я беру этот портрет. Хилым детям нашего века есть чему поучиться у этого князя, вы не находите?

— Я пришлю вам это.

— Нет, — сказал Мятлев с упрямством дитяти, — я возьму это с собой. Ваша дочь не очень будет огорчена?

— Кто? — спросила она с ужасом.

— Дочь...

— При чем моя дочь? — спросила она торопливо.

— Вы же говорили, что ваша дочь любит этот холст...

— При чем здесь моя дочь?.. — сказала она, успокаиваясь, и призналась, что держать в доме писанный поляком портрет поляка, да к тому же известного своими антирусскими настроениями, значит навлекать на свой дом неудовольствие, а может быть, и гнев...

В письме к дочери, которое непрерывно продолжало сочиняться ею, появились новые строки: «...Я продала ему портрет князя Сапеги, так горячо любимый Вами. Он

не раздумывал, хотя, как Вы догадываетесь, этот холст был ему нужен как пятая нога... Он думал о Вас, и глаза его были переполнены (я это видела) желанием погубить Вас, как многих, многих иных не поберегшихся дурочек... Сомневаюсь, что на этом все кончится... Вы бы посмотрели на эту фигуру тощего старика, преждевременно состаренного развратом и капризами, на лошадиное лицо под очками... О чем думали те дурочки, неизвестно. Его сопровождал некий молчаливый, зловещего вида грузинец. Какое счастье, что Вы в отъезде! Они унесли бы Вас вместе с портретом, и, конечно, Ваш драгоценный супруг ничего бы не смог поделать. Я чувствовала, что они вооружены. От них разило вином, как от разбойников с большой дороги...»

— Господа, — сказала она, — не хотите ли вина? (О, она не очень одобряла темперамент князя Сапеги. По какому праву он позволил себе это?!)

«Несравненная татап, надеюсь, что угроза моего похищения миновала и что Вы очень грациозно и твердо, как Вы это умеете, спровадили разбойников. Мой добрый Александр в благородном негодовании собрался было ехать в Петербург и помочь Вам, тем более что Вы не очень лестно отозвались о его способностях постоять за свою честь, но по размышлении решил, что Вы, как всегда, несколько сгустили краски. Дело в том, что господин, о котором Вы пишете, не похож на старца, он изящен, тонок, учтив и т. п. Не слишком ли Вы жестоки ко мне, чтобы так меня пугать? И разве внешний вид того или иного господина, посягающего на покой нашей семьи, способен сыграть роль? Я не только не переписываюсь, но даже не помню его имени, настолько меня он не интересует, да и я его, по всей вероятности... Мы идем каждый своей дорогой. Вы осчастливили меня, выдав за Александра. Видит бог, как мне здесь хорошо и надежно».

Это письмо госпожа Тучкова получила спустя много дней после нашего визита. Приблизительно тогда же получил письмо и Мятлев.

(От Лавинии — к Мятлеву, из подмосковного сельца К.)

«...Милостивый государь Сергей Васильевич! Слава богу, осень наступила, и к Петербургу стало ближе. Болезни моей и след простыл, и я жду, когда мой несравнен-

ный господин Ладимировский отдаст наконец распоряжение собираться. Я подбивала его премилую тетеньку справиться у него, да, видно, дипломатия моя с изъяном — ничего не вышло. Я еще не потеряла надежду воротиться в Петербург и по первому снежку протоптать дорожку в Вашем парке. Может быть, Вам даже захочется меня увидеть, спросить о чем-нибудь с милой Вашей улыбкой. Я было совсем запретила себе писать к Вам, да вдруг подумала: а отчего же? Действительно, а отчего же?.. Кому же еще говорить? Ведь, подумала я, он дал бы мне понять, что это ему мучительно или обременяет его, а здесь, в деревне, когда идут дожди, просто невозможно Вам не писать, милый Сергей Васильевич!..»

— Господа, — сказала колдунья, — не хотите ли вина?

Мы отказались.

— Моя дочь недавно вышла замуж, — сказала она, провожая нас к выходу. — Было очень трогательно видеть, как молодые вышли после венчания. Любовь их безгранична. Они склонялись друг к другу с самым страстным и преданным выражением на лицах... — Тут мне воистину послышался хохоток, но лицо госпожи Тучковой было серьезно. Мятлев молча шагал с портретом князя Сапеги под мышкой. Торжества не было в его походке. Пошлость ведьмы казалась чудовищной. — Вы бы посмотрели, господа, как они держали друг друга за руки, мяли пальцы, и это на виду у всех... все мне говорили потом... выражали свое восхищение... У вас нету дочерей, господа?.. Я надеюсь, что история князя Сапеги запомнится... — Это было уже прямым выпадом. Мне было интересно, какая из сторон сдастся первой, не выдержит, коридоры и залы сотрясутся от неистового крика ненависти, бесполезный портрет князя Сапеги разлетится от удара об стену, с лиц сойдет выражение добропорядочности, и, выпятив челюсти и ощерившись, размахивая кулаками и угрожая, мы начнем поносить друг друга... — Теперь моя дочь далеко отсюда, господа, и я стала одинокой. Это участь всех матерей... — Она внезапно засмеялась, но не так, как должна была бы засмеяться торжествующая ведьма, а с чрезмерно натуральной грустью. — Вы не встречали мою дочь в свете, господа? Впрочем, я, ка-

жется, уже спрашивала об этом... Впрочем, если бы вы встретили ее, вы бы запомнили ее, господу. У нее очаровательные черты, и при жизни княгини Мятлевой многие затруднялись, кому из них отдать предпочтение... — Мятлев шел, подобно журавлю, высоко подымая ноги и не глядя на летящую по соседству тараторящую ведьму.

Бури не было. Я мечтал лишь об одном: унести ноги из этого гнезда невредимым, успеть, покуда эта железная птица не вцепилась в спину когтями...

«...И если когда-нибудь, моя несравненная мама, Вам покажется, что я недовольна Вашим решением, отнесите это на счет моей глупости и врожденной неблагодарности... Я ведь всегда отличалась этим, не правда ли?.. Я буду стараться и держать себя в руках, но бог знает, что у нас впереди, не правда ли?..»

Мне не пришлось видеть лица госпожи Тучковой, когда она читала это письмо, о чем я не сожалею... Однако уже в этих строчках были рассыпаны всевозможные легкие и непритязательные намеки на последующие события. Современная женщина, чуждая сентиментальности, переполненная всевозможными практическими сведениями и потребностями, не могла бы этого не заметить, хотя, с другой стороны, непонятно, как ей в таком случае не удалось предотвратить в дальнейшем развития событий по пути, не предначертанному ею.

50

«Сентябрь... 1850...

Операция удалась бы на славу, не проглоти я не вовремя синовий кол, не позволивший мне держаться натуральной. И все-таки главное удалось установить: во-первых, мне нечего рассчитывать на ее молчаливое попустительство — она готова вцепиться в горло, она меня помнит, она меня боится. Она надеется, что приход господина Ладимировского наконец все успокоит, ибо он перспективен, а я нет; во-вторых, у Лавинии не все так превосходно, как это могло бы показаться, если бездумно

читать ее письма. Боюсь, что это обыкновенная продажа, приукрашенная свадебным антуражем и освященная церковью... Бедный господин ван Шонховен!.. В-третьих, расположение комнат таково, что не составило бы труда взять эту комнату приступом с помощью веревочной лестницы в ночное время, когда бы мне знать, где раздобыть проклятую эту лестницу. Эта девочка с острыми ключицами, придумавшая бегство на необитаемый остров, живет, видимо, не сладко... Она живет не сладко... Ей не сладко в ее богатых владениях... Почти никому не сладко в пределах видимости. Может быть, там, за гранью доступного глазу, за проклятым шлагбаумом, за Московской заставой, где нас нет, у черта на куличках, где-то в благословенном «там», да, да, там, быть может, однако я чувствую, что и «там» нет избавления бедному господину ван Шонховену!»

51

Оторвавшись от дневника и отшвырнув тетрадь, он с лихорадочной жадностью набросился на чистый лист бумаги, словно в нем одном было теперь заключено спасительное лекарство от внезапно пробудившейся боли, и, коснувшись его пером и разбрызгивая чернила, он уже не сдерживал себя, распаляясь все более и более.

«...Вас, конечно, уже известили о посещении мной Вашего дома. Господин ван Шонховен, которым я несколько пренебрегал по причине разницы в возрасте, обстоятельствах и т. п., вдруг снова возник предо мной и вот уже с месяц ходит следом...»

Он перечеркнул эти нелепые строки, годные разве для рождественской шутки, и начал снова:

«...Лавиния, я был у Вас, в Вашем доме. Узнала меня Ваша матушка или нет, не имеет значения. Годы делают свое дело, и думать о Вас стало неожиданно потребностью. Главная часть жизни прожита, а я лишь теперь спохватился. Впрочем, пустые сожаления — вздор. Следовало бы оставить Вас в покое, не нарушать мирного течения семейной жизни, к которой Вы начали приобщаться, но это не в моей власти...»

И снова перечеркнул.

«...Каждый вечер, какая бы ни была погода, я веваю

кучеру останавливаться напротив Вашего дома и смотрю на окна без всякой надежды разглядеть за шторой Ваш силуэт. Необитаемый остров, о котором Вы так отчаянно нафантазировали однажды, становится, как это ни смешно, предметом моих серьезных размышлений. Я вижу его очертания, ощущаю его размеры и осязаю под ногами почву. И вижу Вас!..»

И снова перечеркнул. Достал свежий лист. Стояла тишина, лишь изредка доносилось снизу бормотание: это шпион и его подручный обсуждали события дня. Суровый и враждебный взгляд Афанасия в последнее время говорил о многом и подтверждал некоторые подозрения, но Мятлев настолько перестал ощущать себя жителем этого города, а дом свой так давно похоронил в сознании, что не было ни сил, ни желания противоборствовать чему бы то ни было. Он стал напоминать человека, торопящегося в карете получить большое наследство и выронившего по пути мелкую ассигнацию.

«...Где же Вы, господин ван Шонховен? Я был у Вас, в Вашем доме. Но Вы навстречу не вышли. Теперь, когда Вы стали совсем взрослой, мы могли бы о многом поговорить с Вами, но Вас нет в Петербурге. А этот город отнимает у меня все. Слава богу, что Вы не стали надеждой: терять ее ужасно...»

Безжалостное перо с неистовством и злорадством уничтожало то, что только что возводило. Он представлял себе, как господин Ладимировский вскрывает конверт и его глазки впиваются в торопливые и запоздалые откровения князя. «Что это?» — спрашивает он. «Ах, да это же князь Мятлев. Ты ведь помнишь мою детскую привязанность?» — «Но почему же вновь и таким тоном?» — спрашивает он, сдерживая раздражение. «Ума не приложу, — говорит она, — какие шутки, ей-богу, вот уж чего не ожидала...» — «Так, может, не хранить... ты, надеюсь, не собираешься хранить... Пожалуй, в таком случае не стоит это...» — «Мне все равно, — говорит она, с недоумением поглядывая на письмо, — мне все равно».

«...Милый друг, бесценный друг, господин ван Шонховен. То, что происходит со мной, похоже на помешательство. Началась какая-то болезнь. Я не виноват перед Вами. Может быть, я Вас идеализирую, но я вижу Вас все время — и такой, что сил нет не слышать Вашего голоса... — Теперь он уже знал, что не отправит письмо, и

потому не думал о господине Ладимировском. — Петербург без Вас постыл и страшен. Единственное место, где я надеюсь укрыться, — необитаемый остров, сочиненный Вами в одну из прекрасных, неповторимых отныне, пронзительных минут...»

Он позвонил Афанасию, однако камердинер не спешил взлететь к нему с улыбкой ангела, а когда все-таки взлетел, был откровенно пьян. Он остановился в дверях, почти похожий на человека благодаря стараниям господина Свербеева, Аглаи и, вероятно, новому образу мыслей, овладевших им, одетый в серый сюртук, из-под которого выглядывал малиновый жилет. Он стоял, слегка покачиваясь и поглядывая на барина с привычной укоризной. За его плечами расплывалась в полумраке смутная фигура шпиона, угадывалось изможденное лицо, и благоухание спиртного распространялось по комнате все шире и вольней. Они стояли с недовольным видом потревоженных не вовремя хозяев, и Мятлев подумал, что не имеет уже ни сил, ни желания проучить их за наглость и спустить с лестницы.

— А не соблаговолили бы вы, досточтимый сэр, подать мне одеться в театр?

В ответ на это Афанасий качнулся и смолчал.

«Хорошо бы взять палку, — подумал Мятлев, отступая к окну, — или шпагу... и показать им...»

— Ваше сиятельство, — проговорил господин Свербеев с подобострастием, — на фраке-то пятно-с.

— Афанасий, — тоненьким голосом, захлебываясь, спросил Мятлев, игнорируя шпиона, — откуда пятно, скотина?

— Из воздуха-с, — ответил господин Свербеев почтительно, — пыль и брызги-с... — И велел Афанасию: — Ступай-ка за укусом да щеточку не забудь, их сиятельство ждать не могут-с.

И тотчас Афанасий с хмельной радостью ринулся вниз, застучали его сапоги, закрипела готовая рухнуть лестница, послышалось верещание Аглаи. Негодование еще бушевало в Мятлеве, но фигура, возвышавшаяся перед ним, была столь фантастична, да и все происходящее казалось таким бредом, что хотелось тряхнуть головой, чтобы проснуться. И уже, словно в полузабытьи, сквозь туманы, дымы и облака Мятлев наблюдал, как летает пьяная тень Афанасия и господин Свербеев трясет зло-

получный фрак, пытаюсь вытрясти из него душу, и мажет по нему щеткой, и сопит, и подпрыгивает, и мигает князю, и приговаривает:

— Кормильцу нашему как не послужить... поильцу нашему как не потрафить...

Дело затягивалось, невидимое пятно не исчезало, фрак безуспешно пытался вырваться из цепких рук злодеев. Внезапно господин Свербеев проговорил, на мгновение вынырнув из возни:

— А вот мы тебя так... Терпи и терпи. Кланяйся и кланяйся... Авось не переломишься... Я люблю, когда передо мной кланяются, сгибаются, плавно и не спеша, ручкой по полу ведут-с... Я и сам от себя не отказываюсь... Что землю рыть, что вам ножки мыть...

— Ступайте прочь! — крикнул Мятлев из своего далека, но его никто не расслышал.

А господин Свербеев меж тем продолжал:

— Те, которые презирают иных за то, что они низко спинку-с гнут, не видят того, что тем их согнутая спинка-с верно служит. Они их, тех, которые гнут спинку-с, называют всякими порочными названиями, как, например, лицемеры, подхалимы, прохиндеи-с и даже ехидны-с, однако не понимают, что это от нравов идет, от закона меж людьми, а не от дурного характера. Тот, который не хочет брату своему поклониться, тот, стало быть, презирает закон людской, а за это получает шишки-с. Получив шишки, он начинает негодовать и уж так увязает в злости, что выбраться оттуда ему невозможно... Пятно ж следует выводить кислотой-с, ваше сиятельство... Уксусом его не возьмешь. Да и фрачок-с пора новый шить. Новый-с... — и отшвырнул бездыханное тело фрака.

Меж тем Мятлев видел перед собой поросшую васильками да ромашками степь, солнце на склоне, непыльную после легкого дождя дорогу и бричку, плывущую по ней враскачку, и себя, раскинувшегося на сиденье в тонкой рубаше, с воротником нараспашку, в легком дорожном сюртуке, а впереди ничего, кроме этого поля, и этих васильков, и тишины, и запаха дымка издадала...

Когда безуспешная борьба с пятном завершилась, подвыпившая компания покинула комнату князя, и дикая ария постоялого двора докатилась до слуха Мятлева и угасла где-то в преисподней.

Конечно, если бы господин ван Шонховен был здесь,

если бы девочка эта умненькая, с рассыпающимися кудряшками, была здесь...

«...Дорогая Лавиния, я перечитал Ваши письма и понял, что Ваша жизнь...»

И перечеркнул.

«...Знаете, что чувствует человек, уже такой старый, как я, когда в Петербурге осень, когда прожита большая часть жизни, когда Вы безраздельно царите в мыслях, но Вы недоступны... Вины... заступиться...»

И снова перечеркнул.

«Не собираетесь ли вернуться? Не пора ли? Зайти в наш парк и проделать в раннем снегу дорожку, оставить голубые следы, которые к утру растают... Я знаю, что Вам наговорили обо мне. Что я погубитель женщин. Вот как сложилось это мнение: госпожа Фредерикс, о которой Вы, наверное, слышали и к которой я не очень стремился, предпочла мне холодные объятия некоего монарха... Нет, она не была расчетлива, но иначе поступить не могла. Таким образом Он оказался виновником моей боли...»

И перечеркнул вновь.

«...Та женщина покончила с собой, зная, что дни ее сочтены. Чахотка. Вы не должны верить досужим сплетням, что будто бы это я довел ее до страшного конца... Какой вздор! Не было существа на свете, для которого я готов был на все, кроме нее... А знаете, как началась чахотка? И опять же Он сделал ее жизнь невыносимой, и она...»

Он снова позвонил и велел принести водки. Явился господин Свербеев и объяснил, что Афанасий не может двигаться по причине «колик-с в животе»... От шпиона разило пуше прежнего. Он попытался было разговориться с жильцом третьего этажа, но Мятлев так замахал на него руками, что ему пришлось выйти. После нескольких рюмок самочувствие заметно улучшилось. Князь снял со стены дуэльный пистолет и спустился вниз. Дверь в комнату Афанасия была распахнута. Подлый камердинер лежал на топчане и притворялся больным или спящим, а скорее всего был смертельно пьян. На столе громоздилась посуда и остатки еды. Мятлев успел заметить, что использовался его лучший фарфор. По темно-синему старинному гляncу расплзались нечистые остатки холопей трапезы... Господин Свербеев дремал, положив голову на стол. Аглаи не было. На столе возле задумавшегося шпиона лежал

знакомый конверт, голубой, украшенный рисованным вензелем (только господин ван Шонховен мог потратить столько примерного труда). Внезапно появилась рыжеволосая дура. Он показал ей пистолет, и она застыла у двери. Мятлев схватил конверт и спокойно отправился к себе. За спиной раздавались голоса и шипение, звон посуды и скорбные молитвы... Конверт, к счастью, был не пуст, хотя и вскрыт. Видимо, его содержимым интересовались.

«...Ну хоть бы слово от Вас! Уж не случилось ли чего? Кажется, мы собираемся. Если бы Вы знали, как я тороплюсь! Конечно, как всякий человек, не обремененный счастьем, я опаслива. А что там ждет меня в Петербурге?.. Мне бы только знать, что смогу хоть издали увидеть Вас, и догадаться, что все у Вас благополучно. Напишите же. Что до меня, то мне притворяться — тоска. Это мне хуже, чем осенний дождь в деревне. Я надеялась выдержать, да не смогла. До фехтования ли тут?..»

На большую откровенность нельзя было и рассчитывать. Господин ван Шонховен ломал руки, не пытаясь притворяться счастливым. Мятлев написал в лихорадке всего несколько слов: «Мой бесценный друг, я жду Вас непременно, всегда... непременно... приезжайте... я жду Вас...» Утром же отправил письмо скорой почтой и впервые почувствовал, как он одинок.

52

Все, все, что произошло впоследствии, произошло по моей вине, но ни бог, ни суд меня не покарал, а сам себя я не посмел по нерешительности, по надежде на лучший исход этой печальной истории.

Я слишком любил князя Мятлева, а потому и жалел, а потому и суетился вокруг, воображая, что мои рецепты целительны и великолепны. Прекрасной Грузией, от которой я был оторван, дышало все вокруг. И пропитывая описаниями ее каждое слово, как жиром молодого шашлыка каждый маленький кусок свежего хлеба, и наслаждаясь сам воспоминаниями детства, я вносил сумятицу в душу страдающего человека, подогревал его, тормозил и довел до рокового часа. Клянусь, все, что я делал сознательно или по дикой интуиции, я делал из любви. Лишь она одна

руководила мной — моими восклицаниями, шепотом, слезами, жестами, молчанием и лихорадкой... Ибо человек, страдая от соприкосновения с действительностью, не всегда понимает, что с ним происходит, и ощущение близкой катастрофы преследует его ежеминутно и усугубляет его боль. От нее он готов на все, а тут, глядишь, и впрямь гибель. Те счастливики, коим дано понимать это, либо становятся анархистами, либо обороняются с помощью иронии... Мятлев же этого не понимал. Он просто ощущал невыносимую боль, а я кричал о Грузии как о рае, и в душе его отлагались капля по капле мои восторженные крики, и надежда на спасительный вояж росла и крепла, и даже я сам впоследствии, говоря о Грузии, воображал себе черт знает что, а не истинную свою родину.

...По утрам, когда первые лавины синего тумана медленно и бесшумно опрокидываются с гор, возникают кипящие каскады водопадов и рек, прозрачных до головокружения и вечных, как, видимо, и наша жизнь, и ощущение собственного бессмертия делает тебя сильным, спокойным и неторопливым...

Нынче в Петербурге, в этом сыром и продутом пространстве, все и передвигаются с ненатуральной скоростью по ими же проложенным тропинкам, и неистово спуют, отталкивая остальных, и становятся загадкой, и не только для встречных, но даже для самих себя. А все ведь от ощущения краткости и мгновенности житья... Вот отчего эта лихорадочная спешка в движениях, эти конвульсии и торопливая раздражительная речь. А в Грузии, осознав себя бессмертным, ты приобретаешь легкость птицы, уверенность барса, мудрость змеи и неколебимость снега на вершинах, и все божественное проступает в тебе безыскусно, и все человеческое удесятеряется, и ты не восторгаешься этими совершенствами, как печальный петербургский дачник солнечной полянкой, а просто дышишь этим, не задумываясь, не отдавая отчета...

...По утрам прозрачные глыбы прохладного горного воздуха окружают тебя, их множество, они бессчетны; аромат очажного дыма, густого желтого хлеба и киндзы; гортанные голоса птиц, людей и рек; реки вина, бьющие из-под земли; земля, колеблемая легким ветром; и, наконец, ветер, смешивающий все это в единое море; и, наконец, море, подступающее к этой земле, покрытое белыми

гребнями, переполненное жизнью, помнящее Язона и переливающееся чешуйками золотого руна...

Клянусь, только любовь, лишь она подвинула меня на то давнее и обольстительное сумасбродство, и Мятлев вцепился в эту пеструю, ароматную и гордую надежду с неистовством обреченного. И голос моей любимой Марии, моей Маро, вдруг зазвучал и ему, да так отчетливо и проникновенно, словно она воистину жила здесь, рядом, в разрушающейся деревянной крепости... Сама любовь и сострадание.

...А по вечерам сиреневое марево медленно обволакивает горы, деревья, лица, и розовая форель становится густо-лиловой и сказочной; где-то разгорается, набухает перезревшая оранжевая звезда случайного костра, и звуки непрекращающейся музыки становятся явственней и непреодолимей; иссеченные короедом кружева балкона кружевеют таинственней и призывней, чем днем, и молочная кисея на окнах и дверях делается прозрачней, обнажая убранство комнат и неподвижных, застывших в античных позах их обитателей, словно изображенных на холсте. Музыка, и гордый глас горного оленя, и вепря визг, и клокотание воды, и однообразный шелест чонгури... Что же еще мог придумать бог, чтобы утешить северного страдальца, распрямить его, вдохнуть в него ощущение бессмертия и любовью и гармонией исцелить от пагубного пристрастия, от слепой потребности спастись от других бегством, злобой или умопомрачением?

В этом я был уверен и этим приблизил катастрофу, и нет мне прощения, хотя, если отвлечься от пафоса и не уподобляться невзрастеническим дамам из провинциальных гостиных, каждый, как говорят на востоке, начинает гибнуть с момента появления своего на свет и гибнет так и тогда, когда это угодно высшим силам, как бы он ни берегся, какими бы снадобьями ни насыщался, сколько бы ни накачивался целительными водами и в каких бы заговорах ни участвовал... Однако польза или малый толк, пусть временный, от моих безумных рассказней все-таки случился, ибо Мятлев, напичканный всем этим и одурманенный надеждой, сопротивлялся по-молодому, верил страстно, из затворника превратился в натуру деятельную, озарив свою последнюю любовь таким сиянием, что хотелось кричать и бесноваться от гордости за человека, способного возвыситься над самим собой и предстать пе-

ред предметом своей любви не в облачении пилигрима, а в бронзовых латах завоевателя.

Правда, все это случилось несколько позже, когда осень уже была в разгаре, а сейчас она лишь набирала силу, и мрачные краски еще не господствовали в ее убранстве. Были последние дни сентября. Караваны бывлых счастливец лениво стремились к Петербургу, не успев позабыть деревенских вольностей. Небо голубело неистово, и грустная осенняя блеклость еще не замечалась в этой голубизне. Кружение опадающей листвы совершалось уже непрерывно, но покуда было веселым и даже легкомысленным.

Старомодная облупившаяся почтовая карета, из тех, что сейчас не встретишь даже и в глуши, остановилась на Знаменской возле дома господина Ладимировского, и из нее вышел господин Ладимировский. Он был в помятом запыленном дорожном костюме, однако, нисколько не смущаясь этим, прямо на виду у прохожих начал отдавать распоряжения налетевшим слугам. И покуда все чемоданы, баулы и корзины не были перетасканы в дом, из кареты никто не показался. Когда же с багажом было покончено, он сам распахнул дверцу, и Евдокия Юрьевна, тяжело стеноя, с лицом, одуревшим от дороги, сползла на мостовую. За ней показалась Лавиния. Она была бледна и тоже устала, но с живым интересом озиралась по сторонам, словно кого-то отыскивала в толпе зевак, хотя это была обыкновенная петербургская толпа...

В первое мгновение, полуослепшая от вспыхнувших перед нею красок, лиц, окон, она вдруг разглядела за плечами любопытных знакомые долгожданные черты, расплывающиеся, нереальные, полуприклеенные к осеннему небосводу, полные отчуждения и тоски. Она качнулась туда, к ним, но господин Ладимировский успел подхватить ее с неудовольствием делового человека, вынужденного отрываться от главного по пустякам.

— Я устала, — извинилась она, продолжая всматриваться в толпу.

Его рука крепко держала ее за локоть, так что ей даже захотелось вырваться на виду у всех. Он хватал ее вот так и сжимал свои невозмутимые пальцы всякий раз, когда бывал недоволен. «Вы опять поступили по-своему, а это мне мешает... В конце концов, я стараюсь ради вас... Я хочу, чтобы в а м было хорошо...» Он пенял ей, не из-

меня своей обычной манеры говорить: почти шепотом, спокойно и любезно. Он исповедовался ей в огорчениях, но пальцы надавливали все сильнее, оставляя темные пятна на белой руке. «Что с вами?» — спросила она, и он опомнился и покраснел. Но всякий раз ведь не будешь недоумевать столь риторично и однообразно. Придет пора и возмутиться, и крикнуть: «Опомнитесь! Ведь больно!..» «Лавиния, — объяснил он однажды тихо и грустно, — я действительно впал в беспамятство. Вы огорчаете меня с давних пор, и я сам не понимаю, как происходит то, что я делаю вам больно...» Темные пятна сошли с белой руки только на пятый день. Прогуливаясь по старому запущенному деревенскому саду, он брал ее под руку, и она уже не могла быть обстоятельной, беседуя: его пальцы с горячими твердыми подушечками возбужденно шевелились, они там все что-то прощупывали, выстукивали, приглаживали, примеривались, приспособлялись, пока она не выдергивала свою руку. «Вы ставите меня в смешное положение, — говорил он, оправдываясь, — вы забываете... Вам кажется, что я... вы полагаете, что мне... Ваши фантазии могут кончиться плачевно... Почему вы запираетесь от меня и от Евдокии Юрьевны, когда просто читаете?... Вы обещали... Вы что-нибудь прячете?..»

— Я устала, — извинилась она, продолжая всматриваться в толпу.

Глаза черные, карие, синие, голубые и выцветшие; глаза студентов, чиновников, мастеровых, старух и красоток, пронзительно, тревожно и выжидательно (да они все мечтают о скандале) глядели на нее, как с огромного дагерротипа; колеблющиеся лица с неуловимыми чертами мешали ей разглядеть едва мелькнувшее и затерявшееся теперь единственное отыскиваемое ею лицо. Она бы решилась даже окликнуть его, будь хоть слегка уверена, что он здесь и что толпа не захоочет, видя, как эта бледная красавица, обладательница дома на Знаменской и громopodobного выезда, как она, эта юная счастливица с примесью тайной польской крови, выкрикивает несвязные слова, пустое имя несуществующего, придуманного ею в бреду погубителя всех хорошеньких дурочек.

А вы бы что сделали, ежели бы этот прекрасный, тонкий, грустный тридцатипятилетний старик, насмешливый от страха показаться смешным, презираемый вашим окружением и тайно обожаемый вами, столь тайно, что это

вполне могло бы показаться и явным... ежели бы этот старик, недоступный отныне, как самая отдаленная звезда, холодный, подобно январю, не откликающийся на ваши письма и предпочитающий им свой желтозубый рояль и темные истории с какими-то хорошенькими дурочками... Что бы вы-то сделали, ежели бы этот тридцатипятилетний погубитель вдруг написал бы вам те две строки, одну строку... несколько несвязных слов: «...бесценный друг, я жду вас непременно, всегда...»? Что бы вы сделали?...

«А помните, — хотела крикнуть она господину Ладимировскому, — а помните, как вы запирали меня в деревне в доме со своей безобразной капитаншей, чтобы я не наделала глупостей?» — но она не крикнула этого, ибо пришлось бы объяснять толпе, почему господин Ладимировский вынужден был ее запирать, даже не запирать, он не велел ей выходить одной... Просил не выходить... «Вы не выходите сами, чтобы не подумали, что я вас бросаю...» — «А вы бросьте, чтобы выходило, что я подумала...» — говорила она. Он недоумевал, носился по полям, возвращался, потирал руки, сам запирался в своей комнатке — считал, отмеривал. «Что это вы такое мне сказали? Что-то я не понял». — «Что я вам такое сказала? Я и не помню», — говорила она, глядя мимо. На том и кончалось, чтобы возобновиться вновь. «Вы запираетесь от меня, Лавиния?» — «Ах что вы, вовсе нет... Я и не запираюсь... Вы разве пытались открыть?» — «Я слышу, как щелкает замок...» Да разве объяснить толпе, что в те часы писались письма в пустоту, в небытие, по несуществующему адресу, неизвестному князю с описанием трогательной идиллии и медовых шалостей. Бедный господин ван Шонховен...

Она шла от кареты до порога, высоко вскинув голову, со старательной улыбкой на бледном лице и, прежде чем переступить порог, вновь оглянулась на толпу с вызовом. И вновь отчетливый спокойный лик Мятлева предстал перед ней: очки, впалые щеки, высокий лоб... да, да, бесценный друг, я жду вас непременно... Но тут же снова видение заколебалось и растворилось без следа. Была толпа, которая прибывала и прибывала, заполняя всю Знаменскую и все близлежащие улицы...

— Ну, ну, — сказал господин Ладимировский нетерпеливо, — идемте, вам надо отдохнуть. Да идемте же...

Под сводами холодного непривычного жилья ей не

стало легче. «Ах, это не усталость, вовсе нет», — хотела сказать она, но не решилась. Все слуги, как ей показалось, были на одно лицо. Комнаты похожи одна на другую. Не хватало милых недоделанностей, привычных поломанностей, темных углов, кое-какого хлама, бессмертных ароматов собственного детства... Впрочем, это ли охлаждало? В довершение ко всему нагрянула госпожа Тучкова, добавляя прохладности слишком современной своей красотой. «Кто сия дама?» — подумала Лавиния, прикасаясь к отменной родительской щеке. Не сговариваясь, мать и муж настояли в самых добропорядочных выражениях, чтобы юная путешественница отправлялась к себе отдыхать и приводить себя в порядок. Она отправилась. Там, среди кресел, обитых свежим, любимым ею вишневым шелком, под потолком, разрисованным безвестным гением, в окружении стен, напоминающих почему-то давешнюю толпу, Лавиния услышала, как кто-то произнес: «Бесценный друг, я жду вас непременно, всегда...» Она не удивилась. С давно позабытой легкостью, похожая на маленького господина ван Шонховена, метнулась к окну. Толпы уже не было. На противоположной стороне Знаменской под вывеской, где на ядовито-голубом фоне распластался рыжий однотонный крендель, в черном рединготе, без шляпы, не стесняясь, стоял Мятлев и всматривался в ее окно. Начинался дождь...

53

(От Лавинии — Мятлеву, из Петербурга)

«...Должна Вам описать забавную сцену: едва колымага, которая растрясла меня до полуборморока, остановилась, тотчас набежала толпа, и среди всевозможных петербургских рож я увидела Вас. Я было бросилась к Вам, чтобы поздороваться, как это принято среди воспитанных людей, однако мой супруг, волнуясь за мое здоровье, потащил меня в дом. Я упиралась, но шла, повернув голову в Вашу сторону, а Вы растаяли. Так с головой, повернутой вокруг своей оси, я и вошла в свое жилье. Явилась маман и приказала мне отдыхать, то есть удалиться, чтобы в самых тревожных выражениях переговорить с господином Ладимировским, но, едва я вошла в свою комнату, я снова увидела Вас. Вы смотрели на мое окно... Не правда ли, забавно?»

Начинается моя петербургская жизнь. Мне велено готовиться к балу в Аничковом. По этому поводу я очень счастлива и беспрестанно смеюсь, и, видно, сверх меры, так что господин Ладирировский не выдержал и сделал мне замечание, то есть не замечание, а выразил недоумение моим поведением, в том смысле, что другие почитают за честь и т. п. ... Не успела я отдохнуть, как он тотчас потащил меня к коляске — ехать за какими-то шляпками, и какой-то баснословной накидкой, и за боа, которое «и самой Татищевой не снилось». В продолжение всей поездки он держал меня за локоть, боясь, что я упаду от слабости или от счастья, и теперь у меня на руке повыше локтя пятнышки... Вообще его любовь ко мне переходит всякие границы. Она чрезмерна. В моей хрупкой ничтожной душе она не умещается и все время расплескивается.

...Мой друг бесценный, мне надоело притворство! Вы же прекрасно понимаете, что я света белого не вижу, не видя Вас. Чего я хочу? Протоптать дорожку к Вашему крыльцу и сказать Вам то, что «и самой Татищевой не снилось». Но как это совершить? Вот ведь в чем вопрос... Может, Вы меня похитите? Так как меня подозревают в юном легкомыслии, надзор за мной весьма строг. Мамап требует, чтобы я сказала ей «всю правду»: переписываюсь я с Вами или нет. А так как я, воспитанная в лучших правилах, всегда говорю только правду, то я отвечаю «нет». Но она, воспитанная тоже в лучших правилах, никак не может мне поверить. «Вы не любите своего супруга, этого золотого человека, как должно», — говорит она таинственным шепотом. «Ах, мамап, — отвечаю я громко, — общеизвестно, что я вышла по любви. Вы же его сами в этом уверили... Он знает от Вас, что я его без памяти люблю... Чего же ему больше?»

...Мой друг бесценный, я не могу притворяться. И, клянусь Вам, мне не до шуток. Заунывные звуки труб, и брызги дождя, и полусвет, и полутьма — вот что такое моя душа нынче!»

54

Тут уж, господа, было не до веревочных лестниц и прочей дребедени. Тут надо было решать быстро и всерьез: как быть? Где увидаться?.. А как бы поступили вы?.. Наши встречи с Мятлевым из ленивого, прекрасного, дру-

жеского и слегка печального кейфа превратились в суматошное, мучительное и непривычное заседание военного штаба. Приходилось смягчать темпераментные фантазии князя. Он все торопился, все неистовствовал. Диву даюсь, как это я, не самый законченный фаталист, оказался спокойней, сдержанней и трезвей. К примеру, опять эта злополучная веревочная лестница (далась ему она!). Мне пришлось затратить усилия, чтобы отвести его от этого бессвязного и порочного направления мыслей. При чем тут лестница? «Лестница решает многое, — сказал он вдохновенно. — Во-первых, это самое простое... Главное — зацепить там, сверху... а влезть и спуститься ничего не стоит. Во-вторых, удобно по времени — не нужно ждать каких-то там располагающих обстоятельств; и наконец...» Я привел его в замешательство, спросив, что он намерен делать, взобравшись по этой лестнице и увидев наконец высунувшуюся из окна чужую жену. Он расстроился... Лестницу мы отвергли. Отвергли и еще кое-какой попутно родившийся вздор. Оставалось ждать бала в Аничковом, чтобы там, используя известные приемы, попытаться переговорить с нашей затворницей. Это я брал на себя. Я ему сказал:

— Я ставлю Ладимировского с Фредериксом по поводу каких-нибудь экономических проблем, а вы с нею покуда...

Тут его фантазия разыгралась вновь, правда с меньшей уверенностью. Он предлагал себя в качестве моего кучера. Мы должны были, то есть он, покуда его господин, то есть я, развлекался во дворце, напоить кучера господина Ладимировского, сойдясь с ним накоротке, а затем я должен был между прочим предложить сконфуженной семье Ладимировских свою коляску, за время пути очаровать мрачное чудовище и получить приглашение бывать в их доме...

Он сам и растерялся первый.

В это же время, помешивая звонкой ложечкой в голубой чашке, согласно кивая господину Ладимировскому на его мирный застольный говор, Лавиния сама соорудила временную, скрипучую, не очень надежную переправу на тот манящий берег. Сначала, как это обычно бывает, была построена фантастическая, а потому и самая легкая из переправ: в доме неведомой и тайной наперсницы, подружки, дальней родственницы, немой доброжелательницы, в

комнате, не имеющей окон, с кресла срывается легкая стремительная фигура князя и спешит к ней навстречу. Где-то глухо, монотонно и почти без перерыва бьют одуревшие от однообразия часы, или бокалы, или колокола, куда она успевает сказать самое главное бесценному другу в эти жалкие минуты уворованной свободы... (Да здравствует свобода!)

— Я ничтожный человек, — шутливо жаловался господин Ладимировский почти шепотом, чтобы не нарушать вечерней тишины, — ломаю голову, чтобы вы были счастливы, чтобы вам не скучать, но ничего не могу придумать. Я вижу, как вы томитесь... (Она благодарно и несколько отрешенно улыбнулась ему.) Мы могли бы уехать за границу, например... Вам хочется? (Она пожала плечами.)

...Или на бале в Аничковом она скрывается за колонной, а потом, не теряя времени, по особым пустынным переходам, коридорам, лестницам (она никогда не бывала в Аничковом, и поэтому ей легко было придумать эти удобные для ее предприятия маршруты) бежит, отчетливо слыша счастливую и тревожную дробь собственных каблучков, бежит в то самое единственное укромное местечко, где никогда никто не бывает, бежит и уже издали видит, как молчаливая тень Мятлева, качнувшись в ее сторону, замирает. (Господин Ладимировский разглядел подобие мгновенного торжества на ее лице и подумал, что за границу нужно ехать не откладывая.)

— Да, да, — заторопился он, — там вам понравится, там мягкий климат, например, в Италии, синее море... (Она кивнула, воображая, как по тем же запутанным коридорам и переходам легко и без запинки возвращается в залу, успевая к котильону, и вот этот самый человек, который сейчас сидит напротив, протягивает ей руку, и они...) В Венеции, например, каналы. Я там бывал, да я вам рассказывал. Вы попадаете в другой мир...

Она отвлеклась от фантазий и посмотрела ему в глаза, подумав о том, что греха не совершает, потому что странная и чудесная болезнь, которой она больна, теперь уже неизлечима, и Венеция — вздор... Впрочем, и коридоры в Аничковом — вздор не меньший. А нужно иначе: просто она едет к Толстым, к Вольфам, к Барятинским, к Гончаровым, и там будто случайно встречается с Мятлевым, да, именно так просто, а все эти фантазии и сложности уни-

зительны. А все должно быть просто, натурально... Не она первая, не она последняя.

Так думала она, вдохновляясь открытием, не подозревая, какой монолог госпожи Тучковой, обращенный к господину Ладимировскому, предшествовал этому умиротворяющему чаепитию.

«Вы должны понять всю сложность вашего положения и оценить мое к вам доверие. Слушайте внимательно. В юности я была строптива, своенравна, своевольна и даже лукава. Лавиния — моя дочь. При всех исключительных ее достоинствах, которые позволили мне в свое время согласиться на ваше предложение, не боясь, что она сможет скомпрометировать вас, при всех ее достоинствах она еще и своенравна... Что же делать, природа... Это у нее проявляется редко, но внезапно. Ей время от времени необходима цепь, на которую я ее и сажала. — Она рассмеялась. — Ежели она вобьет себе в голову что-нибудь... ну, что-нибудь такое... не обольщайтесь ее тихим и скромным видом. Учтите, в ней тлеет огонек. Мы Бравуры... И поэтому вам следует... поэтому вы не очень-то там зарывайтесь в свои великолепные дела... Я вижу, вы расстроены, но не огорчайтесь. У нее это пройдет через год-другой... — Она хохотнула. — И вам еще с нею покажется скучно, так она будет к вам привязана и так покорна. Все зависит только от вас, ибо я что? Я уже ничто... Я дым, мираж, прошлое, детство. Теперь только вы ее бог, но, пока там то да се, вам не следует видеть в ней вполне созревшую женщину... Пока она дитя, пока она, к сожалению, живет не по разуму, а по сердцу. Это, как вы знаете, трогательно, но ненадежно, и, хотя это скоро пройдет, вам нужно... вам следует... ну это... не опростоволоситься, мой дорогой...» И она хохотнула вновь, в который раз поразив своего зятя сиянием, божественностью, красотой и современным вдохновением.

А после, чмокнув дочь в душистый лобик, она уехала, и к счастью, ибо за вечерним чаем и в одиночестве, если не считать пустого присутствия господина Ладимировского, было легче обдумывать будущую непременно встречу, перекидывать мостик, сооружать переправу, бежать по несуществующим переходам дворца, укрываться у несуществующей наперсницы и, наконец, посмеявшись в душе над всем этим ребяческим вздором, выбрать единственно возможное и сосредоточиться на нем.

— Я мало уделяю вам времени, — прошептал господин Ладимировский. — Но ведь мои старания ради вас... для вас, вашего счастья... я все это делаю. А через год, например, мы с вами сможем переехать с этой Знаменской туда, поближе, на Миллионную даже или на Морскую. Я приглядел, я присмотрел там большой сад, как вы любите, и там... (Она улыбнулась ему: когда он не хватает за локоть с отчаянием смертельно раненного и с искаженным лицом, он вполне терпим и даже приятен.) И все-таки вам, наверное, хорошо осознавать, что вы теперь совсем уже взрослая и из-под матушкиного глаза уже вышли, и сами теперь владелица всего... Ваша матушка, как я заметил, даже несколько перед вами заискивает... Еще бы...

Это наивное поощрение не возбудило в Лавинии восторга. Мы, Бравуры, могла бы сказать она, никогда не заискивали ни перед кем. Но говорить этого она не стала — в этот момент она поняла, что ей надо делать...

— А в Венеции есть Полицейский мост? — спросила она, сияя.

— Да зачем обязательно Полицейский!.. — засмеялся он, втайне подозревая, что в этой нелепице вполне может скрываться обычная насмешка над нелюбимым человеком, и вот опять придется рассердиться или даже топнуть ногой, чтобы сразу это пресечь...

— Я пойду к себе, — сказала она, вставая. — У меня болит голова...

«Уж не разгорается ли в ней этот проклятый огонек, на который намекала тапан?» — подумал он, глядя ей вслед, как она уходит стремительно и грациозно, не в пример прошлым разам.

«...Я знаю о Вашем положении и возможностях. Все планы свидеться в ближайшие дни слишком нереальны. Не будем подвергать напрасному риску нашу старинную дружбу. Пожалуй, единственное — ждать бала в Аничковом. Там я найду способ переговорить с Вами. Надеюсь, Вы все так же мужественны, как всегда. Конечно, две недели ожидания могут привести в отчаяние, но мы с Вами, закаленные ожиданиями и почище, сумеем быть твердыми...»

Бессильные что-нибудь придумать и действительно готовые впасть в отчаяние, мы сидели до позднего вечера, и Мятлев, чтобы хоть как-то оправдать вынужденную бездеятельность и слегка успокоить бушующую совесть, напи-

сал это письмо, вовсе не представляя, как он умудрится разговаривать с Лавинией на бале в Аничковом. Собственная репутация его не беспокоила. Мнение общества, убежденного в его порочности и неисправимости, уже давно его не заботило. Страшно было прикоснуться к Лавинии на виду у всех. Даже легкий намек на знакомство мог сослужить ей дурную службу и привести бог знает к каким последствиям. Все приходилось начинать заново; прошлого не было вовсе, будущее не проглядывало сквозь грозный осенний петербургский туман.

И все-таки стоило посмотреть на моего друга. Можно ли было поверить неделю назад, глядя на этого удрученного и настороженного человека, что он сможет так преобразиться? И откуда силы-то взялись? А ведь огонь свирепствовал внутри и никак не проявлялся — ни в жестах, ни в голосе, ни в походке, — но все вокруг стало иным: Афанасий, трезвый как стеклышко, кидался исполнять любую прихоть по слабому мановению руки, шпион куда-то провалился, лакеи почистили свои перышки (вымылись, что ли?). Аглая натянула новое платье из синего поплина, по которому струилась ее неистовая рыжая коса. Все было убрано, облагорожено человеческим прикосновением. Прошлое было прощено и забыто... Я радовался, глядя на все это. Похоже было, что Мятлев сочинял музыку, что внезапная благодать снизошла на проклятый этот дом, растворив без остатка крупную соль разочарования и тоски.

До сих пор не могу понять, как этот скрытый внутренний огонь передался окружающим. Но, клянусь, это произошло.

Пой, небесная свирель, всепроникающая, гордая. Не то печально, что мелодии твои не слышны, жаль, что они короткие.

Я остался ночевать у Мятлева. Постель моя была великолепно — свежа и воздушна. Мы никак не могли заснуть, хоть и изрядно утомились, и еще долго и безуспешно городили переправы к берегу господина ван Шонховена, одну нелепее другой. Наконец все затихло. Говорить больше не было сил. Веки начали смыкаться. На чердаке знакомое привидение надломило очередную балку. Старые гвозди со скрежетом полезли из своих гнезд. Но это уже было вне нас и потому запомнилось как колыбельная.

Утро следующего дня не принесло нам утешения, напротив, при свете стала очевидной несбыточность наших

полночных надежд; замыслы, которые вечером казались близкими к осуществлению, выглядели пустейшим вздором. Даже не верилось, что два взрослых человека могли столь обольщаться, изобретая всякие несурозности.

В довершение ко всему полил дождь. Мертвые листья посыпались гуще. Отчаяние царило в природе, передаваясь и людям. И только Мятлев, свежий и даже порозовевший за ночь, встретил это утро, как встречают наконец берег обетованной земли.

Однако злые силы продолжали свою работу. Все, что было предназначено к гибели, к ней стремилось; все, чему было суждено отчаяться, ожидало этого часа с ангельской кротостью... Обнаглевшее привидение уже не довольствовалось ночью, оно теперь и днем продолжало свои бесчинства, и мы слышали его визг, и грохот падающих стропил, и пронзительный скрежет гвоздей... И Афанасий в сером сюртуке, напыленном прямо на голое тело, босой и постаревший, умолял дать ему пистолет пристрелить «это поганое чудище».

Видимо, что-то должно было случиться не нынче, так завтра, что-то должно было наконец вырваться наружу, нарыв должен был вскрыться...

И только Мятлев был переполнен энергией, желанием, и был он слеп, как никогда... Господибожемой!.. И его легкая рука бежала по тетради дневника, как ярмарочная плясунья.

«...Я чувствую себя провидцем. Все, что происходит, я предвижу. Такого обострения чувств я не знал. В Москве нынче солнце, и это угадать нетрудно. Фон Мюфлинг пьет рассол крупными глотками, с жадностью и прячет кружку за книги. Господин Колесников машинально водит ладонью по спине спящей жены и в который раз вспоминает свое свидание с Дубельтом. Только Лавиния вне моих лучей. Я не помню ее лица. Я не понимаю, как это все случилось — все, все случившееся со мной... И рядом с этим как все ничтожно: осень, фон Мюфлинг, страдания хромоножки, государство, Азия, Африка, цены на соль, даже пароходы, даже мое собственное будущее и тем более мое прошлое...»

Это вырвалось из-под его пера, перо сломалось, большой чернильный паук распластался на бумаге, дверь открылась, и Афанасий, дико вращая глазами, прохрипел в ужасе:

— Вас спрашивают...

Тут я понял, что без меня не обойтись, ибо назрело что-то нешуточное. Я приготовился к самому худшему, и по тому, как я встал и как я застегнул мундир, Мятлев догадался, что предстоит.

— Гони всех, — сказал он с веселым отчаянием, — в шею...

— Невозможно-с, — прохрипел Афанасий с еще большей натугой, — там дама-с...

Пой, свирель... Не то печально, что мелодии твои не слышны, жаль, что они не вечны...

Наступила тишина. Мятлев взмахнул рукой, словно хватал комара... Афанасий бесшумно вылетел прочь и провалился, так что ни одна из подгнивших половиц не скрипнула под ногами... Затем широко распахнулась дверь, и молодая дама предстала перед нами, повергнув нас в трепет и восторг.

Я знал ее девочкой.

Если бы жив был несравненный Гейнсборо, он изобразил бы эту даму, конечно, не среди причудливых голубых палестинских гор, поросших редкими надуманными плоскими смоковницами, из-за стволов которых выглядывают в истоме гладкие львицы с тяжелыми лошадиными крупами и с языками, похожими на кривые сабли, и с глазами вавилонских пленниц; ему не понадобился бы и средневековый пейзаж: осколок голубого озера, тронутый сиреневой дымкой кудрявый лес — прибежище святых и нищих, старинный замок, напоминающий тяжелый сапог мастерового, изысканную лань, каких не существует в природе, однако живую, тянущую толстые губы, чтобы сорвать с ветки коленкоровый листок; и он не изощрялся бы в поисках ядовитых красок, годных разве что для изображения свежего ростбифа или южного моря, увиденного наивным самоедом... Нет, нет, с присущим ему тактом он так долго и придиричиво смешивал бы черную, красную, синюю и белую краски, покуда по холсту не распространились бы сладчайшие сумерки позднего сентября с едва ощутимыми отсветами медленно летящих где-то в стороне багряных, золотых и палевых листьев, и вот тогда он написал бы ее портрет и она была бы изображена стоящей в полумраке притихшей комнаты, словно в полумраке английского парка.

Однако мне ближе менее совершенные портреты Рокко-

това или Левицкого, и я так и вижу, как из этих несовершенноств проглядывает внезапно, подобно солнцу в просветах туч, знакомое мне и близкое, настороженное, загадочное, слегка надменное (ровно настолько, чтобы не выглядеть смешной), преисполненное доброты юное лицо какой-нибудь вчерашней, позавчерашней, давешней, давнишней жительницы нашей печальной земли, какой-нибудь Любушки, Сашеньки, Верочки, Аннушки, Катеньки, любившей, веровавшей, ждавшей, гордившейся каким-нибудь там новым чепцом, или отцом, или юнцом и кажущимся бессмертием.

...Так вот, она остановилась в дверях, и у меня нет сил и слов, чтобы описать ее и как она стояла...

Красота — слово жеманное, я, кажется, уже говорил об этом: тронь — и рассыплется. И я не хочу уподобляться современным нашим беллетристам, которые с удобством приспособились злоупотреблять этим словом к месту и не к месту. Я видывал красивых женщин, дай им бог всякого счастья... Что же касается до вошедшей дамы, слово «красота» к ней неприменимо вовсе — красивой она не была.

На ней была черная промокшая мантилья странного покроя, с капюшоном, надвинутым почти на глаза. Ничем особенным не поражало ее лицо: лицо как лицо, молодое, скуластенькое... Почти ничего от бывшего господина ван Шонховена, все переменяла кропотливая, неугомонная природа, пощадив от прежнего разве что серые, широко посаженные, глубокие и слишком внимательные глаза под темными, не очень аккуратными бровками да еще мальчишечьи, упрямые, обветренные губы, не слишком-то высоко ценимые знатоками женской красоты. В остальном же это была дама, уже хлебнувшая, как принято говорить, из чаши бытия. Конечно, глоток этот был еще мал, почти ничтожен, но горькое питье ополоснуло душу и, наверное, заставило вздрогнуть.

И все-таки что-то такое в ней было, клянусь, господа; что-то такое мгновенно пригвождающее, заставляющее тихо ахнуть, всплеснуть руками отрешенно, по-гимназистски вскочить со своего места, вытянув руки по швам. Она была стройна, не скрою, даже тонка, не высока ростом; когда накидка распахнулась, стали видны в вырезе будничного серого платья трогательные палочки ключиц и длинная гладкая шея; когда она двигала руками, накидка оттопы-

ривалась под острыми локотками... Я видел красивых дам, дай бог им всяческого счастья, однако здесь было что-то совершенно другое.

Я возвращаюсь к несравненному Гейнсборо. Когда вы останавливаетесь, ну, допустим, перед портретом миссис Грехэм, вы тотчас обращаете внимание не на декоративную колонну справа от вас и не на тяжелые ниспадающие складки ее атласного наряда... И тем более не отдаленные деревья за ее спиной привлекают ваш разгоряченный взор... Вы с незнакомой вам пронзительной тоской впиваетесь взглядом в ее лицо... да, да, с тоской и восхищением. Вас поражает ее гордая головка, припухлые губы, и царственность, и непохожесть на ваших подруг, и недоступность, ибо вы понимаете, что, глядящая мимо вас куда-то, в ей одной известные дали, она, и повернув к вам свое лицо, останется все той же, предназначенной иному миру, иной любви...

Но я рассказываю все это не к тому, чтобы подчеркнуть внешнее сходство между очаровательной англичанкой, жившей около века назад, и бывшим господином ван Шонховеном, упаси меня бог. Я только и хочу сказать, что, вовсе не похожие одна на другую (англичанка заметно кругла и телом и лицом), две эти дамы были в чем-то неуловимом сходны.

Я позволю себе еще одно сразнение, углубившись с этой целью теперь уже в семнадцатое столетие... Когда Ян Вермеер писал головку девочки, полуобращенную к нам, с белым воротничком, вовсе уж не красотку, со взглядом, исполненным печали и даже укоризны, а может быть, даже и осуждения, что вы, натурально, принимаете на свой счет, так это мастерски изображено; так вот, когда этот голландец писал головку девочки, он не предполагал, что столетие спустя на туманных берегах Альбиона, в каком-то там чудном месте, остановится неведомая ему красавица, не похожая на его девочку, и что еще столетие спустя в Петербурге бывший господин ван Шонховен вызовет у меня желание соединить все это незримой ниточкой... Конечно, он не предполагал, что ниточка-то существует, господа, и я могу приводить еще множество примеров, если вас мучает сомнение, ибо я-то сам вижу, как сливаются воедино в веках молчаливая укоризна, холодная недоступность, скорбь и торжество, и слабость, и упоение, и любовь...

И вот она стояла перед нами, словно таинственная кармелитка королевских кровей, решившая нарушить обет и осквернить себя званием простой мирянки. Ну что ж, вольному воля, хотя о какой воле можно было говорить, когда все — каждое движение, каждый шаг, каждый вздох, — да, все, все висело на волоске судьбы, а волосок этот был, как известно, тонок и ненадежен.

...Когда все способы свидеться с Мятлевым были ею отвергнуты, отчаяние (отчаяние, а не каприз, заметьте) подсказало ей самый простой и последний. Мужественное сердце господина ван Шонховена встрепенулось в ее груди, и поутру, едва роковые рысаки унесли статского советника в его департамент, она, ухватив черную мантилью, как некогда расшитый старенький армячок, выскользнула следом и крикнула извозчика.

За ней бежали, она слышала шаги, тяжелое дыхание, мольбы и стоны, да ванька, к счастью, попался лихой. Лил дождь. Казалось, возврата нет.

И вот она стояла перед нами...

55

«...сентября 1850...

И вот она стояла перед нами!

Что же случилось? Оказывается, никакого господина ван Шонховена не было и нет. Но эту молодую женщину я знал всю жизнь, и всю жизнь я тосковал по ней, и все мои несчастья от ее вынужденного отсутствия. Она, кажется, что-то говорила странным низким голосом нараспев, но сначала я ничего не мог понять, не помню, хотя этот голос звучал мне в утешение, я это чувствовал. И я сам пытался что-то говорить ей, кажется, что-то вроде «вы не волнуйтесь...» или «здесь вы в полной безопасности...», кажется, пытался помочь ей снять промокшую мантилью... Вдруг выяснилось, что она на минуту, на две: увидеть, услышать, удостовериться...

Амилахвари вышел на цыпочках и затворил за собою дверь. Клянусь, сначала я ее не видел, я лишь догадывался, что она здесь, рядом. Кажется, я предлагал ей сесть и только по неясному колебанию света, по движению воздуха догадался, что она присела на краешек кресла, и я выдавил из себя вновь: «Здесь вы в полной безопасности».

Какая странность: полное затмение, будто бесконечно

долго падаешь в темном колодеце и чувствуешь вблизи могильную сырость каменных стен, но знаешь, уверен, что удариться о них невозможно, и дна нет, и это безболезненное, безопасное падение будет вечно, и дух захватывает, жутко и радостно.

И вдруг я услышал совершенно отчетливо: «Вы меня слышите?..»

Тут колодец кончился и вспыхнул свет.

Она сидела на краешке кресла в сером фуляровом платьице, худенький кулачок прижимая к груди, и смотрела на меня пристально и удивленно.

— ...и это было единственное, — сказала она, — что я могла придумать. Вы меня слышите?..»

...Затем и разговор постепенно наладился, наострился и, странно, стал деловым и даже расчетливым. Времени ли было в обрез или погода стояла не возвышенная, не знаю. Иногда они вдруг забывались и, словно сомнамбулы, уставившись друг на друга, принимались объясняться жестами, вздохами, молчанием... Они обсудили свою незавидную долю, два маленьких человечка, брошенных друг к другу не собственным капризом или прихотью, а Судьбою, а с нею, как известно, шутки плохи.

...Два экипажа выехали одновременно из противоположных точек А и Б и двигались с различной скоростью по направлению друг к другу. В первом экипаже, влекомом парой лошадей, помещался мужчина. Он был в темном пальто, в серой пуховой шляпе, свежевыбрит, немолод, очки украшали вытянутое его лицо. Во втором экипаже, четверней, находилась женщина. Она была молода, прекрасна, дорожная шляпка ее была унесена сильным ветром, так что взору открывались прелестные темно-русые волосы, уложенные гладко на обе стороны с пробором посередке. Первый экипаж двигался со скоростью 14 верст в час, второй же — 18. В точке встречи оба экипажа по вине дорожного зрителя, не удосужившегося своевременно отремонтировать провалившийся мостик, перевернулись. Кучера погибли — их унесло сильным течением ручья. В открытом поле, вдали от селений встретились оба пассажира — мужчина и женщина, вовсе не знакомые, во всяком случае, так могло показаться первоначально... Спрашивается, в каком месте пути они встретились, ежели

весь путь равен 183 верстам, и какова дальнейшая судьба дорожного зрителя?..

Лавиния грустно смеялась.

— Я спасу вас, не отчаивайтесь,— сказал Мятлев.

— Пожалуйста, не спасайте меня, — попросила она, — вы меня просто не отвергайте, тогда все получится само собой. У вас еще будет возможность убедиться, как я прекрасна и какими достоинствами переполнена. Я пыталась показать вам это на протяжении многих лет, но вы оставались безучастны...— И она заплакала.

— Не плачьте, Лавиния, — сказал он, — нам бы следовало что-нибудь...

— Да,— сказала она, утирая слезы,— но что, что?..

Мне было позволено вернуться. Теперь мы все сидели почти рядом, а проклятое время шло.

— Гнездо заговорщиков, — сказал Мятлев.

— Поверьте, — сказала Лавиния нараспев, — это самый благородный из всех заговоров, какие существовали.

...Экипаж двигался из пункта А в пункт Б. Новый дорожный зритель был крайне расторопен и прилежен, и все переезды находились в отменном состоянии. В экипаже сидели двое: немолодой мужчина в очках на вытянутом удивленном лице, с пистолетом, спрятанным за пазухой, и юная красотка, сошедшая с холста несравненного Гейнсборо. Она ничего уже не опасалась. Экипаж двигался с большой скоростью и через неделю достиг перевала. Спрашивается, под каким названием скрывался пункт Б, ежели все расстояние до него 2000 верст, и кем нужно быть, чтобы не воспользоваться таким превосходным предлогом для путешествия?..

Лавиния уже не смеялась. Она не сводила глаз с Мятлева.

— Это, пожалуй, единственное, что реально в нашем положении,— сказал он с тоской.

Затем было долгое молчание.

— Откуда вы придумали звуки труб, полутьму и прочее?— внезапно спросил Мятлев. — Это вы написали в письме... Это вы придумали?

— Это Некрасов, — сказала Лавиния и испугалась, так изменилось лицо Мятлева.

— Неужели вот это, — сказал он обреченно: — «Помнишь ли труб заунывные звуки, брызги дождя...»

— Да, да,— сказала она удивленно.

Бедный господин Колесников! Когда б он знал, как бедный господин Некрасов мучал Мятлева!

Вдруг она резко поднялась, мы помогли ей одеться. Афанасий кинулся за извозчиком. Грустной, притихшей вереницей сходили мы по лестнице, и рыжеволосая Аглая украдкой из-за спины кентавра изучала неожиданную гостью.

«... октября...

Спасительная идея! Анета Фредерикс — вот кто может помочь мне. Сегодня послал ей записочку. Завтра будет ответ, и мы встретимся. Как ни громоздок мой замысел, но он не фантазия. Ежели она, деловая, трезвая львица, возьмет опеку над господином ван Шонховеном, лучшей возможности для встреч нам не сыскать.

Я было и впрямь загорелся предложением Амираана. Чуть было душу не переверотил. Но в его замысле такое количество «если бы», как стражников в тюрьме, да с этими хоть сговориться можно, а те неподкупны. Если бы Лавиния не была замужем, и если бы ее блистательная шатап меня обожала, и если бы бесстрашный господин ван Шонховен согласился бы путешествовать со мной в Грузию, и если бы я сам смог оторвать себя от перепрелых привычных подушек моего жилья...

Нет, все это сладкий бред, не стоящий внимания или, по крайней мере, годный разве на то, чтобы предаваться ему перед сном. И все-таки я съездил в лавку и приобрел великолепные путеводители по Кавказу, чтобы завидовать иным счастливым, к кому судьба милостива».

«... октября...

Уже неделя миновала, а от Анеты ни звука. Амилахвари уверяет, что она в Баварии. Какого черта нужно ей в Баварии! Скоро будет бал в Аничковом. Время идет, а мы с Лавинией не видимся. Конечно, на бале к ней не приблизиться, ибо, судя по всему, мое имя в ее доме запрещено.

Я сам разрушаю все, что провидение создает с таким трудом. Какой-то бес нашептывает мне приказания, и вот я, вместо того чтобы умереть для всех, исчезнуть и не давать повода для разговоров, с наглостью юнца врываюсь к ведьме в дом, приобретаю пустяшную холстину с изображением страдальца Сапеги и делаю вид, что не знаю ее... Зачем? А если посреди бала, где я буду со своей бестолковой надеждой, тот же бес заставит меня открыть-

ся, крикнуть вздор, схватить Лавинию за руку, дать пощечину господину Ладимировскому (за что?), порвать ниточку, которая и так тонка?..

Мне следовало бы стать льстивым иезуитом, авантюристом с холодной кровью, расточающим комплименты и сулящим неисчислимые выгоды от признания меня своим. Я должен доказать им всем, что я безопасен, как агнец, что я послушен, как собака, и зависим, как последний раб, и тогда напялить вицмундир, устранить господина Ладимировского с помощью наемников, втереться в доверие к ведьме, вынудить ее умолять меня спасти Лавинию и, заполучив господина ван Шонховена, запереться с ним в своей крепости (предварительно ее отремонтировав и окружив новой оградой) и всласть потешаться над ними над всеми и показывать им язык...»

56

На том октябрьском бале маленькая надежда свидеться с Лавинией без свидетелей рухнула. Ее супруг все время был рядом. Мятлев двигался широкими кругами, подобно блуждающей звезде. Он то приближался к запретной паре настолько, что были различимы пунцовые розы на белом платье Лавинии и круглая колючая голова господина Ладимировского, то отдалялся, и молодая женщина превращалась в маленькое белое пятно, словно парус на горизонте, грозящий никогда не вернуться. На Мятлева смотрели с плохо скрытым любопытством и удивлением. И только Анета Фредерикс, не поддающаяся влиянию губительного времени, кивнула ему радостно, как сестра. «Какое счастье, — подумал он, — она здесь!» — и принялся пробираться за Фредериксами в полупустую диванную. Его появление на бале, оказывается, доставило им радость. «Вы даже не представляете, как мы рады видеть вас...»

— Что же заставило вас пренебречь привычным отшельничеством? — спросил барон. — Думаю, вы поступили правильно... Давно пора.

— А я по вас скучала, — призналась Анета. — Вы не изменились. Как будто мы виделись вчера.

— Как будто это было вчера, — подтвердил барон с неподдельным изумлением.

Сначала Мятлев все пыжился и не знал, как с ними

разговаривать, но старый рыжий камергер куда-то удался, и Анета сказала еще дружелюбнее и по-свойски:

— Дорогой Сереженька, давайте условимся: между нами никогда ничего не было, хорошо?.. Вы тогда были совсем еще юным. Это было давно. Теперь вы уже немолоды и вдоволь наразмышлялись о смысле жизни... То, что я вам однажды написала, помните?.. Что я лучше друг, чем любовница... помните? Так вот, это истинная правда. В море этих ротозеев вы, пожалуй, единственный, с кем можно обходиться без притворства... Только вы этим не гордитесь, а цените, хорошо? Это вас утешает?

— Вполне,— рассмеялся Мятлев. — Вы меня утешили. Я восхищен вами.

В значительном отдалении мелькнул белый парус, усеянный пунцовыми розами. Мелькнул и скрылся.

— Вы знакомы с юной Ладимировской? Не правда ли, хороша?

— Нет, — испугался Мятлев, — нет, не знаком... А что?

— Ах, просто маленькая сплетня, — сказала Анета профессионально. — Государь обратил на нее внимание, и сразу же вслед за этим (а это ни от кого не укрылось) граф Алексей Федорович танцевал с юной обольстительницей...

— Это произошло, видимо, до моего прихода,— заторопился Мятлев и покраснел.

— ...а вы знаете, о чем говорит граф Алексей Федорович в подобных случаях?

— Нет, — сказал Мятлев, бездарно разыгрывая равнодушие, — впрочем, догадываюсь...

— Вот именно, — засмеялась Анета. — О, ничего непристойного, напротив... но зато настойчиво-то как! О...

«Не может быть, — подумал Мятлев, холодея, — неужели опять? — И ему показалось, что мир обезлюдел, что он, Мятлев, в своих беспомощных очках стоит на краю пропасти, а по ту ее сторону — Он, и на нем измайловский мундир, и никого вокруг, лишь они двое в этом мире, и наступила пора последнего единоборства. — Эту я ему не отдам...»

— Анета, — проговорил он срывающимся шепотом, — мне необходима ваша помощь... — и рассказал ей все.

— Бедный Сереженька, — сказала она участливо. — Ах, какой притворщик... Я попытаюсь что-нибудь пред-

принять, я надеюсь, это мне удастся... Но я должна вас утешить: Ладимировские уехали, судя по всему, а это значит, что граф Алексей Федорович был недостаточно красноречив. Уж вы поверьте... Хотя это вовсе не значит, что заманчивое предложение не повторится...

Мятлев вновь покраснел. Мысли сбивались.

— Я должен этому помешать, — сказал он неожиданно тоненьким голоском, захлебываясь, — никто не может... в конце концов... — и покинул удрученную Анету.

Лавинии нигде не было, это его несколько охладило. Он вернулся в зал. Все казались погруженными в молочный туман, даже Николай Павлович, затянутый в мундир и как ни в чем не бывало беседующий с каким-то расфранченным посланником.

Внезапно рядом с Мятлевым кто-то произнес ликующим жирным басом:

— Подумать только, красotka Ладимировская могла бы быть и поговорчивее...

Незнакомый конногвардеец беседовал в своем кругу, и он намеревался продолжить свою речь, но не успел и только ахнул, ибо локоть Мятлева врезался в его поясницу.

— Князь, — всхлипнул конногвардеец, — что с вами?

— Вы отравили мне ногу, сударь, — спокойно сказал Мятлев, слегка поклонившись.

— Вам, может быть, не понравилось сказанное мною о госпоже Ладимировской?

— Я не знаю эту даму, — отрезал Мятлев.

— Тогда примите мои извинения! — пробасил конногвардеец, распаяясь.

— Не принимаю...

На следующее утро и произошла та самая дуэль, с которой я начал свои воспоминания.

Шли дни. По слухам, Ладимировские покинули Петербург, однако Мятлев, проносясь однажды на бешеной скорости в своей коляске по Знаменской, успел заметить у подъезда их дома знаменитых рысаков и самого действительного статского советника, вылезавшего из экипажа. Его начало беспокоить и пугать молчание Лавинии, а главное, Анеты, но баронесса Фредерикс не забыла своего обещания. В ноябре пришло от нее надушенное письмо в голубом конверте.

«...Любезный Сереженька, будьте внимательны к тому, что я, хоть и с некоторым запозданием, тороплюсь Вам

сообщить. Я уезжала, и наше дело несколько затянулось, однако мне удалось завязать отношения с Вашей очаровательной полячкой, и это оказалось делом более легким, чем я предполагала. Пусть это Вас утешает. Супруги уже несколько раз были в моем доме. Хотя барон и морщится при виде обладателя несметных голов скота, но премиленько терпит. Он все знает и из любви ко мне и уважения к Вам (и старой дружбы!) готов терпеть сколько угодно. Ваша Л. держит себя великолепно, и я протезирую ей не только из участия к Вам (поверьте), но из симпатии к ней. Так вот, она держится великолепно, а ее супруг, бедняжка, заискивает перед бароном, что очень заметно.

Теперь о главном. Ваша пассия заедет ко мне в первой половине дня и одна! Мне удалось вырвать у владельца призовых рысаков такое обещание. Он был не слишком рад этому обстоятельству, но спорить со мной не посмел. «Отчего ж ей к нам не приехать? — сказал барон по-семейному. — Женщинам иногда пошухукаться...» — «Я ничего не имею против, — ответил супруг с кислой улыбкой, — бывать у вас в доме — большая честь...» Мы договорились на четверг, на одиннадцать. Надеюсь, Вы здоровы и сможете пошухукаться тоже.

Как это все будет? Вам следует приехать раньше, ну, хоть за полчаса, это важно. И еще — я не исключаю того, что наш обладатель земель в Малороссии (если судить по его кислому согласию отпустить жену одну) либо пошлет все-таки с нею лакея или горничную под каким-нибудь удобным предлогом, либо, что опаснее, поручит одному из своих пастухов понаблюдать за домом. Я не хочу плохо думать о людях, но любовь, как известно, серьезней политики, так что не мешает все предусмотреть и поостеречься. Иначе представьте себе, как это все может выглядеть! Вы лихо подкатываете к дому, а уже все известно! Поэтому, мой дорогой друг, не заезжайте с Итальянской ни в коем случае. Оставьте коляску на Невском и прогуляйтесь по Садовой до красной свежескрашенной калитки. Вас будут ждать... И еще — вы совершенно напрасно сокрушаетесь, что бедная Лавиния в полном отчаянии. Она не в пример Вам спокойна, решительна (особенно когда уверилась в моем участии) и, что самое важное, любит Вас не на шутку, а это надежнее, чем крепкие кулаки, зычный бас или высокий чин...»

Мятлева это письмо очень вдохновило.

«...Сил нет все это терпеть. А тут еще я, застудив шею, пролежал дома с припарками в страшных мучениях, но и на одре своем беспрестанно слышал о всяких похождениях этого человека, что не способствовало скорейшему выздоровлению моему.

Уж не французский ли он шпион, что ему так все у нас отвратительно? Ведь, посудите сами, его один внешний вид чего стоит, уж я не говорю о поступках, о женщинах, которых он погубил с легкостью, которые могли бы в других руках быть примерными матерями...

*Истинный Патриот с младенческих лет»
(Из анонимного письма министру двора)*

Вставная глава

— Что же до Ладимировской, — сказал Алексей Федорович Орлов, — то она просто слишком юна, чтобы все это себе вообразить. Вы-то видели ее на расстоянии, а я стоял с нею рядом. Конечно, она прелесть, и все-таки что-то в ней от цыпленка, еще не набравшего силы... Перышки, конечно, уже нормальные, но ручки, шейка, выражение лица, ну, это просто... э-э-э...

— Пустое, — перебил Николай Павлович, — нашел об чем говорить. Я уж и не помню. Так, пять фунтов кринолину и прочего вздора. Но ты, граф, был озадачен ее своенравием, признайся, я видел... — Он засмеялся. — Хотя, с другой стороны, что ее, съели бы? Вот недотепа.

— Через год-два она, может статься, их всех обскачет. Будет новая звезда.

— Через год-два что будет с нами, граф? — Николай Павлович помолчал, потом сказал: — Вот недотепа...

Это была приятная пауза в деловом разговоре, хотя Николай Павлович все время, с самого утра ощущал какое-то тягостное чувство, причины которого никак не мог понять.

Они сидели вдвоем в кабинете императора. Граф, в мундире и при всех регалиях, на краешке малинового кресла, Николай Павлович, в семеновском сюртуке без эполет,

на походной своей кровати, заправленной серым суконным солдатским одеялом. Кабинет был невелик, в два окна — одно на плац, другое на набережную, — и узок, и поэтому железная кровать, поставленная поперек, несколько его ширила. Ранний вечер гляделся в окна. Одно из них было слегка приоткрыто, и в бок графу Орлову дуло, но он не подавал виду, потому что знал, что Николай Павлович непременно скажет: «Какие нежности...» И, чтобы не услышать этих слов, он помалкивал и незаметно, но напрасно прикрывал бок ладонью.

— Между прочим, — сказал Николай Павлович, — нужно эту Ладимировскую как-то приблизить. Такие юные горячки действуют на общество благотворно. Они, конечно, раздражают наших старых дур, но все-таки облагораживают их в то же время, а тем не мешало бы о нравственности своей стараться, да вот им и пример достойный.

— Конечно, государь, — согласился Алексей Федорович, — мы с вами теперь уже в таком возрасте, когда следует и об этом печься, — и с удовольствием отметил улыбку на лице Николая Павловича. — Раньше, например, лет десять тому назад, мне ничего не стоило побеседовать с юной девой об известном предмете, теперь же, вот ей-богу, сразу покрываюсь холодным потом...

Их дружба была давней, и были любовные истории, и запомнившиеся и стершиеся в памяти, и был навык понимать друг друга без слов или обходиться намеками, особенно когда это касалось женщин. Конечно, во всех этих делах Алексей Федорович выполнял роль амура и очень ловко пускал стрелы в сердца замороженных жертв. Изредка случалось так, что стрелы возвращались — какая-нибудь из жертв робела оценить внимание государя. К чести его, следует сказать, что он не гневался, как это сплошь да рядом бывает среди мужчин, а, напротив, даже проникался удивленным восхищением к даме, сумевшей предпочесть своего супруга соблазнительному вниманию государя, и говорил графу: «Какого мне хвоста накрутила... Хороша злодейка!..» — и смеялся.

Все шло хорошо, если не считать этих мелких осечек, без которых, кстати, никто никогда и не обходился. Все шло хорошо и нынче, но что-то тягостное мучало с самого утра и не давало покоя. Как будто в разгар праздника где-то в почтительном отдалении возникла фигура неожиданно-

го гонца, молчаливого и незаметного, но ожидающегося удобного момента, чтобы сообщить роковые известия.

— Ну ладно, — сказал император, — не все коту масленица. Что у нас дальше?

Теперь на очереди были внешние тайные дела. Граф докладывал о сообщениях лазутчиков и тайных агентов, которых было видимо-невидимо за пределами России. Все сообщения были утешительны, и все они, как нарочно, подтверждали первоначальные предположения императора.

— Нынче вы повелели явиться к вам для напутствия флигель-адъютантам Истомину и Исакову, — сказал Орлов, — они уже ждут.

— Зови, — сказал Николай Павлович и резко встал.

Молодые флигель-адъютанты во всем парадном вошли в кабинет разом, одновременно поклонились и застыли в ожидании.

— Извините, друзья мои, что так вас схватили врасплох, — сказал он молодым людям, — но задание вам, как вы знаете, весьма секретное, и никто не должен был догадываться о сроках... А вот теперь пора. Отправитесь нынче же. В Константинополе будете через неделю. Ваша миссия, как об этом следует понимать туркам, дружественная. Ваш глава — генерал Граббе. Он будет устраивать банкеты и вечера, да вы, глядите, себя не теряйте, не закружитесь. Главное — дело, а дело вот какое: ты, — тут он оборотился к Истомину, — когда генерал Граббе найдет к тому возможность, осмотришь турецкий флот во всех его видах и отношениях и какие сделаны турками приготовления к войне на море, равно укрепления Босфора, места высадок на берегу Черного моря. Ты же, — сказал он Исакову, — сделаешь то же самое в отношении сухопутных войск. Будьте внимательны. Если они начнут заводить разговоры о Молдавии и Валахии и об угрозе наших войск, объясните им, что государь, будучи центром власти, отвечает сам за все, а вы, мол, ничего этого не решаете. Ведите себя как можно скромнее и осторожнее, чтобы не вызвать никакого подозрения... Ну вот и все. Прощайте, бог с вами...— И он обнял и расцеловал каждого из офицеров и отпустил их, крикнув на прощание: — Глядите не влюбитесь в какую-нибудь турчанку.

Дела шли хорошо. Они трудились на славу, все его подданные, преданные ему до гроба; они выполняли свой долг с отменным тщанием, и те, не ведомые никому, живу-

щие в чужих обличиях, под чужими именами, в чужих землях, оборотни, хамелеоны, герои, и эти красавцы и умницы, готовые в любую минуту пренебречь собственной жизнью ради долга. Дела повсеместно шли хорошо. Везде, где того требовали интересы государства, войска совершали подвиги: и в Трансильвании, и в горах Дагестана, и в Молдавии. Все работало, как славная машина, если не считать малой кучки больных и вялых сумасбродов, погрязших в личных капризах, отщепенцев, уродов, мнящих себя исключительными, а на самом деле ничтожных эгоистов, бесполезных, годных разве что на посмешище, таких, как Мятлев, при одном воспоминании о которых досада, горечь, тоска переполняют душу.

— Кстати, что подельывает Мятлев? — неожиданно для графа спросил Николай Павлович. — Что он подельывает после кончины супруги? Готовится к очередной проделке?

— Живет как будто бы тихо, — сказал шеф жандармов, — да вам не следует огорчаться: он уже стар, его время прошло, разве что с горничными шалит...

— Пожалуй, — согласился император.

Все было хорошо. Механизм, созданный им, работал отменно. Все его части были продуманы и тщательно подобраны, воздух империи был свеж и благотворен, дети выросли и смотрели на него с восхищением... Но, в таком случае, что же тогда, как он ни отмахивался, тревожило и беспокоило его, подобно грозной болезни, еще не обнаруженной, не кольнувшей ни разу, но уже диктующей мозгу будто бы беспричинные страх, раздражение, отчаяние? Польша? Но польские дела — просто очередная трудность, без которой не бывает истории; да к тому же трудности не огорчают, не томят, а призывают к действию. Мятлевы? Но разве они могут что-нибудь значить в таком громадном государстве?.. Так что же тогда? Что же? Уж не письмо ли, вылетевшее из французского посольства по направлению к Парижу, но ловко перехваченное, и скопированное, и врученное ему нынче поутру, где среди дипломатической чепухи вдруг кольнули душу подлые строки?.. Неужели это письмо? Неужели эти строки, в которых о могучем государстве, созданном им, говорилось подло и с пренебрежением неким безнаказанным трусом и злословом как о колоссе на глиняных ногах, где все разваливается, где громадная армия — пестрая, бессильная, плохо вооруженная толпа под началом бездарностей, где царят нравы

чингисхановых времен, а взятки, чинопочитание и воровство превосходят все известные примеры, что самообольщение российских владык граничит с сумасшествием... Каков негодяй! Николай Павлович представил себе этого щелкопера, враля, перемазанного чернилами, дрожащего от подлой страсти, маленького, щуплого, с красным носом, с маленькими бегающими глазками, густо напудренного, чтобы скрыть золотушные прыщи...

— Каков негодяй! — сказал он графу. — Откуда он все это высосал?

— Я не придаю значения лжи, — сказал граф.

— А может, это правда? — внезапно спросил император, уставившись на Орлова большими голубыми немигающими глазами. И засмеялся. — Ты можешь идти. Благодарю тебя.

Старый лев по-лисьи выскользнул из кабинета. Николай Павлович подождал несколько минут и, застегнув сюртук, вышел следом. Тягостное чувство не проходило, но он умел брать себя в руки. Он шел по коридору, заложив ладонь за отворот сюртука, откинув величественную голову, весь долг и порыв, и рослые гвардейцы, стоящие на постах, провожали его горящими взорами.

59

Красная калитка снилась по ночам и занесенная снегом дорожка, фонарь в дрожащей руке молчаливого лакея, глухие, непосещаемые сени со стороны заднего двора, запахи остатков барской трапезы, овчины и лыка, гулкий пустынный желтый коридор... Странное чувство пребывания в доме Анеты, где ее тактичная тень не мелькнет, не напомним о своем существовании... Желтый коридор, ступеньки вверх (одна, две), сияние паркета, ветви смоковницы, иной мир, поворот, еще поворот, удаляющаяся фигура отставшего лакея с теперь уже не нужным фонарем, и легко распахивающаяся дверь, и Лавиния, резко встающая навстречу. Позавчера, вчера, сегодня... И постоянно одно и то же — легкое, едва уловимое ощущение вины и преследования, вины ни перед кем, ни в чем, а просто везде: в воздухе, в торопливом диалоге, в пламени свечей, в шуршании платья. И всегда одно и то же: «Сегодня мне посчастливилось... Господин Ладимировский отправился в свой клуб и напутствовал меня, что ежели я соберусь ехать

к Фредериксам, то чтобы не вздумала снова, как в тот раз, позабыть мех и не застудила бы горло... Пришлось через силу полицемерить, что ехать не хочется и я, наверное, не поеду, и хочется и колется, так часто неприлично — второй раз на неделе, — и прочее... Я выяснила, однако, что воровать легко и не стыдно. Главное — первый раз, а уж дальше можно и не задумываться...» Или: «Сегодня мне не посчастливилось. Господин Ладмировский отпустил меня с неохотою, и я даже пожалела его и сказала, что могу и не ехать: не велика радость, что-то мне это наскучило, лишь бы он не расстраивался... Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, вы бы только видели, он даже, наверное, усомнился в моей искренности, он даже, наверное, подумал о чем-нибудь таком, но затем гордо вскинул голову и рассмеялся... И мне уже не составляло большого труда украсть принадлежащее мне, ведь правда?» Или: «Сегодня мне не посчастливилось. Мапап вздумала нас посетить, чтобы, как всегда, попенять мне за мою холодность... Вы, Лавиния, пилите сук, на котором сидите... Мапап, это вы пилите сук, на котором я сижу... Мы, Бравуры, всегда поражали наших избранников жаркими сердцами и преданностью... И мы, Ладмировские, сказала я, поражаем наших избранников жаркими сердцами и преданностью, и з б р а н н и к о в... Но она сделала вид, что не слышит, и сказала: отчего же царство холода и уныния господствует в вашем доме?.. Почему же мне знать, шапап?.. И лишь вы одна предовольны щедротами, падающими на вас, а все вокруг вас страдают от вашей холодности...» Или: «Нынче мне посчастливилось. Я солгала, и совесть меня не мучает... Как вы думаете, что будет дальше? Поглядите, как я исхудала: кожа да кости. Мапап в недоумении и даже в отчаянии и говорит: ума не приложу, что это с вами происходит! Медовый месяц давно миновал... Уж не железы ли? Вот здесь не больно? А здесь?.. Ах, шапап, это же чудесно: двигаться так легко, да и всякие притязания уже не опасны... Лавиния, вы дура: он так на вас смотрел, как ни на кого больше; он унился, предлагая вам свое покровительство; будь вы умнее и великодушнее, вы не позволили бы себе столь опрометчиво называть благосклонность государя притязанием...» Или: «Сегодня мне посчастливилось. Я подумала: в чем же моя вина? И не увидела за собою вины. С легким сердцем отправилась я к Фредериксам, не чув-

ствуя себя воровкой, хотя в нашем доме происходит какое-то движение, какой-то озноб и на меня глядят испытующе. Уж не заметили ли чего? Может быть, еще пуще следует притвориться равнодушной? Может быть, я выдала себя неловкой радостью в глазах, каким-нибудь счастливым жестом? Хотите, я убью всех и мы поселимся с вами на Охте? Вчера господин Ладимировский повез меня к Обрезковым. Вы их знаете? Вы... о, пожалуйста, не приезжайте к ним, потому что едва я там вас встречу, как тотчас брошусь к вам на шею, и случится скандал... Украдите меня, мой друг бесценный, это уже невыносимо». Или: «Нынче мне не посчастливилось, ах, ну несколько... Ежели сейчас так, что же будет, когда я постарею? Они раздражены, что я была неблагосклонна к государю... Матап, да он же старый!.. Лавиния, вы дура. Когда вы носились взапуски за вашим разбойником (это она вас имела в виду), вы о его возрасте не задумывались... И опять, я, будто воровка с Сенного рынка, озираюсь, крадучись, строю глазки городовому, казнюсь сама перед собой: ведь это дурно, что я делаю, дурно; а сама не могу остановиться, лишь бы увидеть вас, и прикоснуться, и украсть... Господи, сколько же это будет продолжаться! Я теряю силы...» Или: «Нынче поутру я проснулась в полном отчаянии: а что, если вбежать к Александру Владимировичу, когда он сидит уже за своим письменным столом в халате, и все ему выложить, пусть взорвется. И тогда, пережив все эти укоризны, угрозы, ужимки, уличения, ужас, уколы, пережив все это, очистив душу, броситься к вам на шею. Я знаю, вы сильный и несчастный, вы поймете, и пощадите, и спрячете...»

Вот и нынче, миновав красную калитку, Мятлев погрузился в проклятую безысходную нирвану, где вместо сладких грез печаль и тревога обволакивали душу. И, глядя худенькие плечики этой немыслимой юной женщины, он снова подумал, что ее-то, вот эту, он уж Ему, Тому самому, не отдаст ни за какие блага. Хватит, Довольно. «Он увел у меня Анету, погубил Александрину, эту я ему не отдам...» Когда она улыбалась от растерянности или от счастья, что было не понять, казалось, все равно торжествует ясное утро, уже преодолен клочковатый сумрак, и все будет хорошо, лишь бы только не выпускать из рук эти теплые подрагивающие плечики, недоумевая, как долго можно было отказываться от счастья.

Свидания их были коротки и редки. Почти мгновенны: часы били где-то в отдалении и густой, предостерегающий их бой не проникал сквозь двери. Петербурга не было, не было Невского, Фонтанки, многочисленных верноподданных и редких насмешников, и не было сопящего немилосердного, неуклюжего чудовища, выглядывающего из кустов, и польского вопроса, и нелепого оборотня Свербеева, и запретов; не было ничего, покуда их не беспокоили осторожным царапаньем в двери, покуда не пробуждали ото сна, ибо иллюзии годятся детям да слепцам, а безумцам, окруженным хрипящей сворой, приученным петербургским климатом к житью с оглядкой, иллюзии эти были ни к чему: до иллюзий ли, когда уже пора и лошади застоялись, и господин Ладимировский где-то там, в ином мире, нервно почесывает в затылке, снова и снова вспоминая ненатуральные интонации своей юной мучительницы и вздрагивая, когда госпожа Тучкова делится с ним то ли подозрениями, то ли переизбытком довольства?

Вот и нынче, когда царапанье в двери грозило перерасти в грохот, они стали прощаться, опомнились, вернулись на землю, прозрели, договаривая последние малозначащие слова, прикасаясь друг к другу, прижимаясь, прикладываясь... Вдруг Лавиния сказала:

— Невыносимо... Я готова на все, но так дальше продолжаться не может... я готова, я скажу... Ну что, в конце концов, может случиться?

— Непременно, — сказал Мятлев суетливо, впопыхах, не вдумываясь, не отдавая себе отчета, — непременно...

И по уже заведенному ритуалу они начали расходиться: бывший господин ван Шонховен — в глубь дома, где драгоценная Анета с непонятной щедростью благодетельствовала и ждала, словно верная камеристка, а Мятлев — прочь, в желтый коридор, где в запахе онучей должны были затеряться его следы.

Он вздумал помучать себя за нерешительность и слабость и велел кучеру проехать по Итальянской мимо дома Фредериксов. У знакомого парадного крыльца стояли нервные рысаки господина Ладимировского. «А что, если остановиться и войти?» — подумал он, и безумие чуть было не сыграло с ним злую шутку. Он даже успел крикнуть кучеру что-то несусветное, что-то такое отчаянное о погубленной жизни, мальчишеское, злое...

— Не пойму, вашество, — засмеялся кучер, поворотив-

шись и уже останавливая коней у освещенного крыльца и глядя на князя не то с любовью, не то с осуждением... Мятлев вовремя очнулся.

— Гони! — крикнул, задыхаясь. — Чего стал!

На следующий день ему принесли конверт от Анеты. «Милый Сереженька, что-то произошло. Я сама еще ничего не понимаю, но что-то все-таки произошло. Мы сидели, как ни в чем не бывало, за чаем, как вдруг что-то произошло. Они оба страшно побледнели, видимо, что-то такое сказали друг другу, не знаю что, и заторопились, и Ваш антагонист еле сдерживался и уже не глядел в глаза. Может быть, она ему все сказала, чтобы прекратить эту нелепую ситуацию, уж я не знаю... Во всяком случае, интуиция мне подсказывает, что что-то произошло, и именно связанное с Вами и с нею. Может, это Вы ее надоумили, сумасшедший? Ведь с Вас станет тряхнуть стариной, воспользоваться, например, веревочной лестницей или допустить еще что-нибудь несусветное...»

Анета не преувеличивала, как выяснилось позже. Когда Мятлев покинул дом Фредериксов, хозяева пригласили гостей к столу. Они сидели за большим круглым столом как будто непринужденно и вольно, и старый камергер, прикрыв по обыкновению глаза, распространялся, как всегда, относительно преимуществ российского испытанного, привычного, целеустремленного образа правления перед неразберихой и мнимыми вольностями прочих цивилизаций. Царственная Анета сидела рядом с самоваром, и руки ее были подобны рукам капельмейстера, когда она, едва прикасаясь к чашкам, пускала их свободно плыть над столом, по кругу, под тихую музыку зимнего вечера и собственных любезных интонаций. Господин Ладимировский помещался как раз напротив. Темно-коричневый сюртук, ослепительная рубашка из голландского полотна и галстук из фуляра кровавого цвета — все это сверкало и переливалось, подчеркивая страсть вчерашнего неродовитого москвича казаться чистопородным петербуржцем. Об этом как раз и размышляла зоркая Анета, ибо блеск господина Ладимировского не предполагал ничего, кроме, к сожалению, несметных кочевий да амбиции, грызущей душу, подобно червю. «О, — подумала она, — этот не простит Лавинии ее чрезмерной строгости по отношению к государю...» И она поглядывала на статского советника, не испытывая к нему ничего, кроме банальной неприязни,

и все в нем казалось ей ничтожным, лакейским, хотя скотовод держался безукоризненно и свободно; уродливым, хотя супруг Лавинии был, скорее, красив и хорошо сложен и в его сильной руке (не в пример мятлевской) белая чашка с голубым цветком покоилась надежно.

В этом очаровательном треугольнике лишь Лавиния выделялась некоторой скованностью, ее тонкие руки почти не прикасались к чашке, словно она и впрямь обжигала; ее улыбка была отрешенна, пламя свечей не отражалось в серых зрачках—они были непроницаемы, холодны и таили, как казалось Анете, что-то неподвижное и дурное.

Постепенно тема разговора помельчала. Вместо высоких слов о предназначении нации зазвучали простые, и обычные, и доступные, и трогательные слова о них самих, о доме, о линии судьбы, о краткости земного бытия, о пристрастиях, запонках, гусиных потрохах, тафте, дурных вкусах, мигренях, вере, неверности... Вдруг Лавиния наклонилась к своему супругу и сказала торопливым шепотом так, чтобы слышал он один:

— Я встречалась с одним человеком... Я его люблю...

— Да, да,— сказал господин Ладимировский, обращаясь к Фредериксу, — действительно, и вера, и гусиные потроха, и мигрени... — И затем Лавинии шепотом: — Вы сошли с ума... Что вы врете? — И Анете: — Кстати, о мигрени... Вот и легка на помине, — и кивнул на жену.

Едва они уселись в сани, как он сказал:

— С кем вы это?.. Что это вы врете? — и схватил ее за локоть. — Ну что я вам сделал?

— Александр Владимирович, — произнесла она по складам, — я не должна была об этом говорить... Но таиться невыносимо... ведь правда?

— Ну что я вам сделал? — почти крикнул он.

— Господи, — сказала она, — отпустите мой локоть,— и заплакала. — Простите меня...

— Я не понимаю, зачем вам врать? Что я вам сделал?— Тут он пуше сжал ее локоть. — Когда государь робко выразил вам свое расположение, вы оскорбились этим, а тут, значит, такая история... Значит, вот оно как... Зачем вы мне это все сказали?

— Ах, да отпустите же локоть, противно!

Дома они разбежались по своим углам. Случилось непоправимое. Одно слово перевернуло все. В полночь он вошел к ней без стука. Она сидела у окна, положив кулачки

на колени. Господин Ладимировский был спокоен и сказал заученно:

— Теперь все должно перемениться. Медовый месяц давно миновал. Я отправляю вас в деревню...

Он долго дожидался ответа, собрался было выйти, хлопнув дверью, как вдруг она сказала так плавно, нараспев, низким своим, обволакивающим голосом:

— Вы меня не поняли. Я встречалась с этим человеком и я его люблю, при чем же здесь деревня?

— Ах, при чем? — по-дурацки выкрикнул он. — То есть как это при чем? Я все делаю ради вас, для вас, для вашей пользы! Разве я пекусь об себе? Покуда вы не научились мыслить как истинная супруга, я должен делать это за вас, это мой крест, мой долг, мое бремя; покуда вы неистовствуете, удовлетворяя свои прихоти, погрязаете в счастливом эгоизме, мните себя хозяйкой дома, я не сплю и поддерживаю вас под локотки, чтобы вы не свихнулись от азарта, не сломали бы себе шею... Разве я пекусь об себе!.. — И он выскочил из комнаты, хлопнув дверью.

Она продолжала сидеть, тупо уставившись в темное окно. Так прошел час, два, и опять он вошел без стука.

— Давайте сделаем вот что, — сказал он совсем спокойно, как будто ничего не было. — Обдумаем все как следует...

— Хорошо, — неожиданно согласилась она.

— Не будем убивать друг друга, подождем, утро вечера мудреней, покуда гром не грянет... не плюй в колодец... Вы сейчас ложитесь, спите, а утром вам и думать об этом не захочется, ей-богу, вот вы увидите...

Едва он вышел, как она скинула с себя помятое визитное платье и юркнула под одеяло.

Несчастный скотовод, сотрясаемый гневом, поднял тем временем людей, велел запрягать сани, накинул шубу и помчался будить госпожу Тучкову.

«Что вы со мной сделали? Кого вы мне навязали? — намеревался крикнуть он ей. — Вы говорили, обещали, клялись. Вот цена вашим клятвам!» Но тут же подумал, что в голове юной фантазерки могло вспыхнуть что угодно и всему придавать значение — значит унижаться, уподобляться ей. Она встречалась... С кем? Да этого быть не может... С кем? С кем? Кто там? Какой?.. Мятлев?.. Вздор... Кто же еще? Никого... Невозможно. Бред...

И как противно, мерзость. Скакать ночью по Петербургу... Мерзость. Что я ей сделал? Высечь, отправить в деревню, запереть, все врет, наврала с три короба, лгунья, пустомеля... Ее мать предупреждала... ее мать, мать, мать...

Грубость успокоила. Госпожа Тучкова оделась молниеносно, по-солдатски. Хотя статский советник успел за дорогу несколько поостыть, интуиция подсказала ему, что открывать этого не следует, а, напротив, обрушить на почляку свое несчастье, пусть спасает, пусть сама...

— Да вы ослышались! — крикнула госпожа Тучкова в ужасе. — Как это было? Где? Что она сказала?.. Она что, так и сказала?.. Возьмите себя в руки. Это вздор...

— Это вы возьмите себя в руки, сударыня. Я что?..

Почти загнав рысаков, они летели к проклятому дому на Знаменской, к дому, так тщательно и любовно разукрашенному, задрапированному, обставленному, обогретому и не принесшему счастья. Они летели, полагая каждый про себя, что Лавинии давно и след простыл и она сама летит в эту минуту в наемном экипаже черт знает куда, в пропасть, в бесчестье, в позор...

— Она совсем дитя, боже милостивый, — воскликнула госпожа Тучкова с плохо скрытым сомнением.

— Вот этого я и боюсь, — сказал статский советник, стараясь не верить самому себе.

— Но я вас предупреждала о ее фантазиях. Вольно ж вам полагать, что она могла и в самом деле... что она и вправду с кем-то... — сказала колдунья с плохо скрытым сомнением.

— Да я ведь этого не думаю, — откликнулся господин Ладимировский, не веря самому себе.

Лавиния проснулась, увидела возле кровати два застывших знакомых скорбных силуэта и все тотчас вспомнила. Ей вдруг стало жаль их. И себя. И она вдруг подумала о том, что ничего изменить нельзя, что они с Мятлевым несоединимы и это судьба. Необходимо вмешательство высших сил. Да где они, высшие силы?

— Лавиния, — сказала мать, — дитя, что это вы нафантазерили? Всех переполошили. Александр Владимирович не в себе от вашей выходки.

...Затем Лавиния подумала, что если бы даже высшие силы и вмешались бы и все закрутилось по их предначертанию, то все равно у нее у самой не хватило бы сил карабкаться на эту отвесную скалу. Что высшие силы? Кра-

сивое понятие, да и только, вот что они такое. Может быть, твои тонкие рученьки с тонкими окровавленными пальчиками и выдержали бы все это, да высшим силам не до наших глупостей, не до нашего баловства.

«Какая же это фантазия? — думал меж тем господин Ладимировский, с изумлением и отчаянием остановив свой взор на отрешенном лице юной своей погубительницы. — Нет, это не фантазия никакая, и это лицо — не лицо фантазерки... — И тут на ум ему не могли прийти ни Гейнсборо, ни Рокотов и ни Левицкий, когда он пытался понять это лицо, такое спокойное, слегка скуластое и отрешенное от его супружеских сомнений. — А если ж это и фантазия, то она у нее давняя, слишком давняя, чтобы можно было ее остудить...»

— Я думаю, что нам лучше уехать, проветриться, — сказал он, — да ничего ведь и не было, так, пустяки одни...

И госпожа Тучкова засмеялась в ответ облегченно, то есть делая вид, что все уже позади, ибо над постелью дочери ей вспомнилось не что-нибудь утешительное, а лишь единственное: маленькая Лавиния в чьем-то неприглядном армячке убегает по глубокому снегу куда-то упрямо, вытянув длинную шейку, непреклонно, словно пчелка на мед, и затем получает по щекам, но все повторяется снова, и молодой в те времена князь Мятлев, о котором говорят черт знает что, и есть тот мед, а неистовая пчелка все летит, летит, зная, что будет бита, заперта в комнате... Да, да, она летит и летит... И годы не стоят на месте. И чем эту пчелку остановишь?

— Конечно, все это вздор, — сказала госпожа Тучкова, не веря себе. — Действительно, вам нужно уехать... — И не договорила — серые глаза Лавинии уставились насмешливо и холодно. — Вы что, рехнулись? — крикнула колдунья, теряя мужество. — Вы все еще бредите?..

— Сударыня, — вмешался супруг дочери, — не кричите, не нужно обострять... Фантазия и есть фантазия. Нынче же и уедем. И все...

В комнате похолодало. Выпал снег. Потянулись упрямые синие следы неведомо куда. Господин ван Шонховен, воздев картонный меч над головой, проговорил с ужасающей жестокостью:

— Я люблю этого человека... Вы знаете кого... Сами вы фантазируете... ничего нельзя изменить... огонь... шлагбаум... несчастья... — и потеряла сознание.

«...март 12, 1851...

Они упрятали Лавинию в такой глуши и с таким искусством, что диву даешься. Что за преступление! Где же вы, господин ван Шонховен? Амилахвари лишился своего безукоризненного самообладания, устроил мне сцену и во всем обвинил меня. Оказывается, я, вместо того чтобы, не раздумывая, подхватить Лавинию на руки и в неведомом экипаже прямо от Фредериксов укатить вместе с нею к дьяволу, прочь, подальше от Петербурга, за шлагбаумы, в горную хижину, предал бедную девочку и отдал ее в руки искусных палачей, легко, играючись, с кавалергардской холодностью, как ту печальную жертву с большими серыми глазами, чей крик до сих пор звучит укором и разрушает эту постылую трехэтажную деревяшку...»

«...март 15...

Неужели возможно, было извлечь из забвения старую ржавую цепь и вновь употребить ее в дело? Бедный господин ван Шонховен!

Вчера под утро раздался душераздирающий скрежет. Мне показалось, что дом рухнул. Афанасий привел архитектора, который, подобно доктору Шванебаху, лазал по стенам и по потолку, прослушивая каждую доску, затем покачал головой и объявил, что недуг смертелен и он не видит средств оживить мое фамильное гнездо, будь оно неладно! Я велел Афанасию нанять подводы, собраться в дорогу, упаковать все книги, стекло, статуи и везти все это в Михайловку, до лучших времен. Теперь дым коромыслом. Мужики топчут паркет. Примчалась Кассандра и заявила, что придет какого-то там итальянца архитектора, который знаменит тем, что спас от гибели какую-то там башню во Флоренции, и что он грозитя с помощью каких-то растворов придать дому прежний благополучный вид... Я изобразил, что очень рад, и поблагодарил ее, и обещал подумать. Я понял из ее слов, что происшествие с Лавинией до ее муравейника, к счастью, пока не докатилось. Однако моя поспешная радостная благодарность не вызвала у нее ничего, кроме недоверия. Тут я, чтобы не усугублять ее страхов и сомнений, заявил, что намерен даже вернуться в департамент на службу... Черт дернул меня за язык!.. Она, конечно, не поверила и поглядела

на меня с ужасом, и все-таки какое-то легкое симпатичное колебание произошло в ее душе. Необходима тишина, куда я что-нибудь предприму...»

«...март 29...

По Неве пошел лед, рановато, но бурно. Не было б беды! Во всем Петербурге не удалось найти ни госпожи Тучковой, ни Калерии, ни самого господина Ладимировского вместе с его рысаками. Единственное, что удалось узнать с помощью Амилахвари, так это о длительном и внезапном отпуске по болезни, который взял статский советник в почтовом ведомстве.

Наверное, они все скопом отправились вслед за Лавинией, чтобы караулить ее по очереди, не считая полка grenадер, артиллерийской батареи и искусников саперов.

Не я, а Амиран Амилахвари обезумел и нанял двух угрюмых прощелыг, которые за щедрое вознаграждение носятся по Петербургу и вынюхивают без всякой надежды на успех. Я слышу звон цепей и голоса мучителей господина ван Шонховена. Мой друг, вероятно, прав. Мне следовало бы быть решительней, хоть здесь, в этом хоть как-то себя проявить, в конце концов, я сам вождедею к неведомому пространству, так что же?..

Действительно, что же?.. Боюсь говорить о любви. Теперь, после всего, боюсь. С меня станет. Ужели я могу отречься? Я стараюсь быть хладнокровнее, сдержаннее. Когда тебе вверяют свою судьбу, следует несколько поступиться привычками прежних лет. Нет, князь Сергей Васильевич, развлекательная прогулка не предстоит вам. Я предчувствую тяготы и печали. И хоть однажды в жизни... Да возьмите же себя в руки... Да позвольте себе пренебречь слабостями, и нерешительностью, и робостью этого немолодого преступника с лошадиным лицом, в очках... И хоть раз в жизни... Да заставьте его, наконец, протянуть руку помощи другому... Да помолчите вы о своих чувствах, не расточайте слов! Не считайте выгод. Твердо и мужественно примите решение. Что же до любви, не нам решать, какая она. Вы только не остыньте, не ослабейте, не предайте с изяществом... Хоть раз в жизни...»

«...апрель 18...

Это уже совсем невероятно! Рассказываю по порядку. Нынче утром меня разбудили, и я с радостью и ужасом узнал, что меня спрашивает госпожа Тучкова. С ужасом

потому, что кому приятно встречаться с ведьмой, пусть даже самой современной, после всего, что было; а с радостью потому, что она жива, в Петербурге и я могу прикрутить ее ремнями к скамье и сечь до тех пор, покуда она или раскроет мне местопребывание дочери, или испустит дух, и одной ведьмой будет меньше. Велю препроводить ее в ротонду, в пыль и запустение. Затем спускаюсь сам. Вот волчица! Ну хоть бы полюбопытствовала, какова судьба Сапеги... Ни слова. Как будто видит меня впервые. О, эти нынешние волчицы! Тем, минувшим, ничего не стоило упасть в обморок, всплеснуть руками, залиться краской до самого pupa. Эта же и бровью не пошевелила.

Она. Милостивый государь, крайние обстоятельства вынудили меня потревожить вас в столь раннее время.

Я. Прошу вас, присядьте, сударыня. Афанасий, смахни пыль!.. Чем могу служить?

Она. Я вдова генерала Тучкова. Впрочем, это не имеет значения. Если вы не запомнили, князь, в давние времена, лет, верно, семь-восемь тому, некий маленький мальчик закахивал в ваш дом (не понимаю, что его привлекало), маленький мальчик с игрушечной саблей...

Я. С мечом.

Она. Ну конечно же! Вы вспомнили! Вы помните о нем?

Я. Нет, нисколько.

Она. Вы же только что...

Я. Это случайность... Мальчика не было, сударыня. Не было, готов поклясться.

Она. Мальчика действительно не было, ибо это девочка наряжалась мальчиком... Во всяком случае, суть заключена в том, что эта девочка тайком приходила в этот дом (впрочем, я не настаиваю... может быть, и в соседский)...

Я. Скорее всего, в соседский.

Она. Скорее всего, в соседский... Да, да. Так вот позвольте, князь, рассказать вам очень короткую историю, ибо мне хотелось бы видеть вас в качестве посредника в моем споре с вашим соседом, ввести вас в курс дела, так сказать, ежели вы утверждаете, что мальчик, то есть девочка, не к вам приходила, а именно к вашему соседу... Так вот, князь, в том доме, который мы с вами имеем в виду, жил один человек — немолодой, развратный и большой эгоист. О нем ходили слухи один ужаснее другого.

Поговаривали, например, что он соблазнял молоденьких неискушенных дурочек, а затем с помощью своего преданного слуги топил их в Неве; что он добивался взаимности у некоторых знатных дам, женился на них, а затем, получив их имения в собственность, расправлялся со своими жертвами с помощью самых ужасных средств; что в его доме собирались самые отъявленные карбонарии, и тогда уже не юным дурочкам грозила гибель, а городам и государствам... Конечно, слухи есть слухи, — она хохотнула, — однако кое-что все-таки за этим домом водилось, и вы должны были бы слышать об этом по-соседски... Так вот, мать этой девочки поклялась, что ноги ее дочери не будет в этом доме, а мать этой девочки, нужно вам сказать, милостивый государь, слов на ветер никогда не бросала, знала себе цену, ибо природа щедро одарила ее даром предвидения и вообще она была колдунья; однако одной клятвы было мало во всей этой истории, ибо девочка походила на мать упрямством, непреклонностью, своеволием, но если эти черты в матери служили ей средством добиваться лучшей судьбы для дочери, то в дочери они выглядели зловеще. Вы, князь, человек в высшей степени благородный, несомненно, понимаете страдания матери, — тут она снова хохотнула, — однако материнские запреты были бессильны, и тогда появился человек, богатый, красивый, сильный, правда не знатный, но с хорошими возможностями, и мать твердо решила спасти свое заблудшее дитя. Не скрою, князь, помешательство дочери, которое она именовала любовью, не прекратилось, но уж замужнюю даму, князь, всегда легче приструнить, не правда ли? Всегда есть способы, всякие сдерживающие средства... — И она хохотнула снова, хотя это уже напоминало всхлипывание. — Почему я рассказываю это вам? Дело в том, милостивый государь, что судьба этих двух дам мне безразлична, и я хотела бы, чтобы вы наметнули вашему соседу, что все его ухищрения напрасны, ибо мать полна такого энтузиазма, и решительности, и такого отчаяния, что страшно подумать...

Тут я разозлился не на шутку и сказал, что молва о моем соседе сильно преувеличена и что мой сосед обладает такой неслыханной настойчивостью и неумолимостью, что ежели и он любит юную дочь той самой колдуньи, то вряд ли он потерпит, чтобы предметом его любви помыкали, чтобы над ним насильничали и своевольничали, а по-

пытки упрятать молодую женщину до добра не доведут, это уж определено...

Он а. Так вы полагаете, что это чудовище не откажется от своих грязных намерений?

Я. Я убежден, сударыня. С любовью, сударыня, шутки плохи.

Она даже позеленела при этих словах, и некий вензель, который она выводила пальцем на пыльной поверхности ломберного столика, превратился в замысловатый узор.

— Какая ужасная пыль, — сказала она, сдерживая слезы, словно жалея меня, — как можно так жить?

Пришлось запить ее посещение».

«...апреля 22...

Оказывается, весна! Она всегда споспешествовала удачам. В этой суете я и не заметил, как она пришла и утвердилась. Все стало проще и понятней. А вот и первая ласточка: Амирановы прощельги сообщили, что Ладимировские вернулись в Петербург как ни в чем не бывало и продолжают прежнюю жизнь, если не считать заточения Лавинии. Но это уже полбеда. Анета вызвалась заехать к ним. Может быть, что-нибудь и прояснится».

«...апреля 24...

Удача! Удача! Наконец-то после столь долгого молчания несколько строк от Лавинии: «Готова пасть в ножки Анне Михайловне за ее доброту. Снова она. Я истосковалась по Вас, меня измучили, где же выход? Я одна во всем виновата, да теперь сетовать бесполезно. Ну хоть под окнами пройдитесь, я погляжу на Вас... Теперь меня к Вам не подпустят ближайшие сто лет. Мамап пишет слезную жалобу. Наследнику. И от этого всего можно было бы прийти в отчаяние, если б не глухая тайная надежда, что бог милостив и что-то произойдет».

Бог милостив. Ждать невозможно. Сто лет... Какие там сто лет! Десять — вот что, пожалуй, еще осталось. По прошествии этого срока будет страшно спросить себя самого: что же ты предпринял, чтобы исправить несправедливую волю судьбы? За все, за все дан мне был господин ван Шонховен. Он мой с тех давних, незапамятных времен! Ждать невозможно! Пока весна, пока есть силы, и, пусть жалкие, остатки человеческого достоинства, и крохотная надежда спастись, следует этим воспользоваться.

Никаких фантазий. О Анета, пророчица, кладезь надежд, друг, сводня, будь благословенна во все времена! Я тут же отправил Лавинии записку: «Единственное спасение— бегство. Далеко, навсегда. Если Вы в силах, напишите. Я все приготовлю».

«...апреля 26...

Вот так история! Это знак мне собираться в дорогу. Последние возы ушли в Михайловку. Дом опустел и замер. Свербеев исчез. Афанасий явился ко мне в полдень с разинутым ртом, с ужасом в глазах. Видеть не могу эту скотину. Топтался, не мог выговорить ни слова, указывал рукой на дверь и бестолково мычал. Наконец я прикрикнул. Он вдруг зарыдал и выдавил из себя:

— Ваше сиятельство, все ушли-с, если позволите...

— Кто ушел?— не понял я. — Что ты мелешь?

— Все-с как один. Никого не осталось... И повар, и кучер, и садовник-с...

— Куда ушли? — заорал я на дурака. — А вещи?

— Совсем ушли-с, — зарыдал он пуше, — вещи забрали и ушли-с. И лакеи ушли-с... Я утречком встал распорядиться, а все ушли. Никого нету-с... Как жить-то будем?

Я осмотрел людскую, все службы. Действительно, все ушли в неизвестном направлении. Остались Афанасий да Аглая, испуганные и пришибленные.

Это знак. Это последнее предупреждение моей нерешительности. Амилахвари так это и понял.

— Главное, чтобы эта скотина ничего не пронюхала,— сказал я ему, имея в виду Афанасия».

«...апреля 28...

Лавиния на все согласна! «Слава богу, я на все готова! Приказывайте». Приказывать легко. Жизнь прекрасна. Все вижу удивительно четко, вот и приказываю: вещей никаких, приобретем в дороге. Как только Амилахвари выправит подорожную на свое имя, отправимся».

«...мая 3...

Афанасий рыдает откровенно. Почуял что-нибудь? Говорю: «Прекрати, болван!» А он: «А как же-с, ваше сиятельство, все ушли, ровно мыши. Нынче еще балка обломилась, если позволите...» Вот болван.

Как будто все продумано, осталось несколько мелочей.

Подорожная готова. Нынче, когда ездил за нею к Амирану, встретил всех старых знакомцев, они словно сговорились непременно попасться мне на глаза. У Казанского поручик Катакази в цивильном, с раздувшейся щекой кивнул мне запросто, идиот, как собутыльнику. Фон Мюфлинг прогуливался вдоль Мойки. Не заметил. Литератор Колесников перебежал Невский, был в форменном сюртуке. Увидел меня, побежал шибче...

Решено: пятого мая! «Под любым предлогом к двенадцати часам посетить Гостиный Двор. Амилахвари будет ждать Вас с экипажем в конце Перинной линии с двенадцати до двух пополудни».

Наверное, я действительно люблю, если наконец решаюсь на все это, отваживаюсь. А если я отваживаюсь, наверное, я люблю.

О Анета, дай бог тебе всяческого счастья!»

61

«Его Высокопревосходительству господину Дубельту Л. В.

Ваше Высокопревосходительство!

Вы были столь добры и снисходительны, что позволили мне, сошедшей с ума от горя матери, по возможности подробно изложить Вам обстоятельства этого дела.

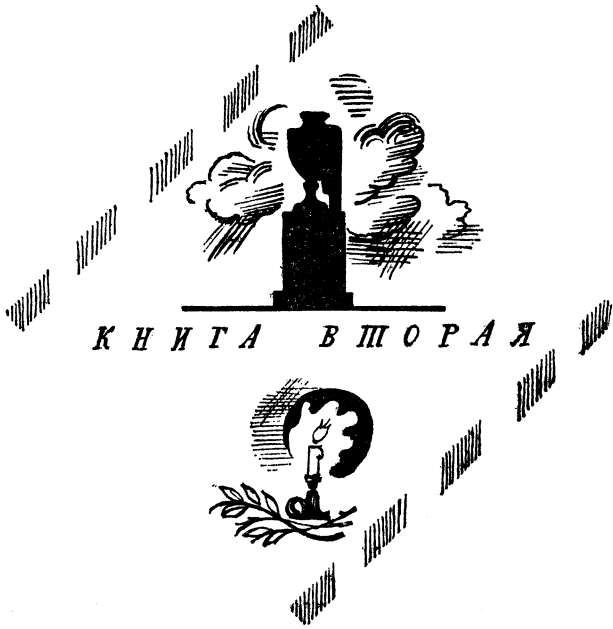
Пятого мая моя дочь, Лавиния Ладимировская, супруга Действительного Статского Советника господина Ладимировского, упростила меня сопровождать ее в Гостиный Двор за покупками, так как боялась, что без сопровождения, одна, сможет подвергнуться оскорбительным для ее чести преследованиям со стороны небезызвестного князя Мятлева, вот уже много лет не дающего ей покоя.

Мы были у Гостиного Двора в двенадцать часов пополудни и, как обычно, договорились, что ежели толпа и разведет нас в разные стороны, то встретимся у афишной тумбы, что на Невском. Действительно, увлекшись покупками и лицезрением разложенных товаров, мы потеряли друг друга из виду, и я отправилась на условленное место ждать. Прождала я в состоянии все усиливающейся тревоги более двух часов, кликнула извозчика и велела ему гнать к дому на Знаменскую. Однако дома моей дочери не было. Мы с господином Ладимировским прождали ее до

вечера, а затем в полном отчаянии надумали скакать к дому князя Мятлева. Душа моя холодела при мысли, что старый развратник, узурпатор и просто вор силой увез мою несчастную дочь в свое страшное логово и теперь может себе позволить надругаться над нею. Но едва мы подъехали к этому мрачному месту, как увиденное нами привело нас в еще большее смятение. Вместо знаменитого дома высилась гигантская груда обломков, все вокруг было покрыто толстым слоем пыли и известки; у калитки прямо в пыли сидел слуга этого человека и горько рыдал. Сердце мое облилось кровью! Как, подумала я, не хватало того, что он похитил мою дочь, он же ее еще и погубил под обломками! «Что случилось? Где твой господин?» — спросила я рыдающего слугу. Он с трудом объяснил мне, что князь Мятлев еще утром уехал из дома, сказав ему: прощай, Афанасий. А через час слуга, раздумывая над словами барина, которых дотоле от него не знал, услышал страшный треск, успел выбежать на волю, и на его глазах это прибежище разврата рухнуло и превратилось в ничто. Тут господин Ладимировский, который до сей поры молчал, вдруг недобро рассмеялся и сказал, что ничего иного предполагать нельзя, как только то, что князь, похитив нашу Лавинию, отвез ее к кому-нибудь из своей шайки или попросту в свое имение. С души спало, как только я узнала, что в доме никто не находился, кроме, кажется, единственной горничной, которая так и осталась лежать там навеки.

Вот, Ваше Высокопревосходительство, каковы обстоятельства этого ужасного происшествия. Конечно, исчезновение моей дочери — не самое главное из того, чем можно Вас обременять, но ее исчезновение связано с именем человека, многожды досаждавшего даже Государю, вот почему я осмеливаюсь тревожить Ваше Высокопревосходительство, ибо князь Мятлев — не просто дерзкий шалун, а возмутитель общества, сеятель безнравственности и всяческого зла. И, зная Вашу всесильность, умоляю Вас: найдите мою дочь, вырвите ее из рук негодяя.

*Вашего Высокопревосходительства всепокорнейшая
слуга Е. Тучкова, вдова».*



КНИГА ВТОРАЯ

Пламенное письмо госпожи Тучковой не сразило Леонтия Васильевича Дубельта. Письмо сводилось к тому, что некий князь-лоботряс умыкнул некую красотку, оставив мужа-разиню с носом. Расследование любовных историй не входило в задачи корпуса жандармов. Однако, желая поразвлечь графа Орлова, пребывающего с государем в Варшаве, надеясь посмешить на досуге своего начальника петербургским анекдотом, Дубельт в очередном докладе не забыл упомянуть сей пикантный факт.

«...Вчера у статского советника Ладимировского похищена жена, урожденная Бравура. Ее увез князь Сергей Васильевич Мятлев, который, как уверяет мать похищенной, давно домогался молоденькой женщины и был с нею в тайной переписке... Сейчас узнал, что полиция окружила развалины дома князя (дом рухнул в день бегства!!!), но мера сия, думается мне, напрасна. В городе носятся слухи, что князь Мятлев с женою Ладимировского бежали за границу через Финляндию, что она переделалась в мужское платье, а он достал четыре, на разные имена, паспорта и у своих знакомых сорок тысяч рублей серебром, и что они уже находятся в Стокгольме... А графиня Разумовская рассказывает, что они, напротив, уехали в Тифлис и что князь Мятлев намерен через два месяца продать Ладимировскую в сераль турецкому султану...»

Известие это против ожидания произвело бурю.

— Я давно этого ждал,— сказал Николай Павлович, багровея. — Нужно взять для того строгие меры...

— Ваше величество,— робко заметил стареющий лев, недоумевая о причине столь бурного гнева по такому пустяку и

надеясь, что вспышка окажется кратковременной,—это, конечно, имеет больше отношения к местной полиции, хотя, ежели у нас требуют пособия, мы никогда не отказываем... Однако, государь, даже и с общими усилиями схватить человека, тайно выехавшего из Петербурга, очень не просто...

Тут графу припомнилась эта юная скуластенькая проказница, не отводящая взора, когда ей явно намекают на благорасположение самого монарха, не пунцовеющая, не сгорающая, не заламывающая рук, не падающая бездыханна, выслушивающая недвусмысленные намеки почтенного министра с унижающим вниманием, за которыми хорошо просматривается наглость полячки и беспечность непуганой девочки, что было расценено тогда государем как свидетельство высокой нравственности и что тогда же было воспринято, мало сказать — без гнева, а, напротив, с видимым участием. Однако вот теперь лицо Николая Павловича пыдало.

— Выехать-то легко, ваше величество, а вот схватить...

Но тут государь сделал столь решительный шаг в его сторону, что граф Орлов склонил гриву. Ночной курьер помчался к Петербургу. Леонтий Васильевич Дубельт внезапно постиг глубину свершившегося. Полковник фон Мюфлинг, оставив все дела, выехал на Кавказ. Поручик Катакази — в Одессу. Господин Свербеев, сопровождаемый рыдающим Афанасием, зашагал в сторону Финляндии.

Поручик Тимофей Катакази выехал из Петербурга несколько ранее своего старшего товарища, и, когда коляска фон Мюфлинга миновала заставу, он летел в выдавшей виде бричке уже за Любанью.

Он был в партикулярном, и непосвященные не смогли бы узнать в этом утонченном пассажире с бледным мужественным лицом, с большими черными глазами, полными слез, неукротимого жандармского офицера. Бричка летела. На подставах свежие лошади являлись во мгновение ока, стоило лишь гербовому документу возникнуть в руке Тимофея Ка-



такази. Поручик ехал, слегка напрягшись, все время ощущая в воздухе тонкое амбре французских духов беглянки, против которых были бессильны даже молодые крутые ароматы бушующего мая.

В Любани, воспользовавшись кратковременной остановкой, он успел порасспросить, перекинуться кое с кем как бы ничего не значащими фразами и выяснил для себя, что беглецы, точно, здесь проезжали и даже останавливались в Любани. Молодая дама была весела, а ее спутник угрюм, и рассеян, и нетерпелив. Они выпили по кружке парного молока, расплескав его на дорогу, и заторопились к Новгороду, намекая на ночлег. Тимофей Катакази понимающе усмехнулся и полетел следом.

Успокоительная записка для фон Мюфлинга была оставлена в условном месте. Впереди маячило Чудово.

По всем приметам беглецы не торопились. Со свойственной аристократам самоуверенностью они полагали, что за шлагбаумом начинается вольная жизнь: можно попить парное молоко, расплескивая его на дорогу, и не торопиться.

Тимофей Катакази надеялся настичь их где-нибудь сразу за Новгородом (это, конечно, ежели он не позволит себе основательного ночлега в Чудове, то есть ежели к тому не будет милых обстоятельств).

Судьба была к нему благосклонна. Рассеянно слушая суетливый бубнеж чудовских ямщиков, которые меняли взмокших лошадей, он внезапно увидел, как из стационарной избы вышла босая баба не первой молодости и под майским солнцем принялась трясти овчинный тулуп. Сначала она стояла к поручику лицом, и поэтому ему хорошо было видно, как она зажмуривалась, отстраняя лицо от пыли, как поджимала мягкие, чуть поблекшие и, наверное, горячие губы, как тяжело шевелились груди под синим сарафаном и темная прядь вылезала из-под платка. Затем она поворотилась к поручику спиной и, прежде чем скрыться в избе, тряхнула тулуп напоследок. «Послал господь!» — подумал поручик, не скрывая блаженства.

И тут вдруг она из-за плеча, скосившись, глянула на него, так что он обмер, и сама замерла на мгновение.

Тогда он заиграл. Бог весть, кто придумал эту игру, и догадывался ли сам играющий, что вот он играет, но он выставил правую ногу, пронзительно оглядел горизонт,

повел плечом, слегка улыбнулся невесть кому. Какая-то сила старалась за него. Баба потупила взор.

Как он затем очутился на крыльце, никто не понял. Ямщики послушно распрягли только что запряженных лошадей, хотя, кажется, никто об том и не распорядился. Баба поднялась в светелку, взбила подушки и откинула лоскутное одеяло.

Старый смотритель, приклебывая чай, взглядом указал поручику на потолок, словно давно был в сговоре с этим молодым напористым проезжим, и, покуда он допивал чай и затем, опрокинув чашку, глядел в окно на лужайку, где перед чьим-то новехоньким дормезом, зевая, похаживали кучера, загорелые руки бабы и белые руки поручика переплелись подобно вензелю и пребывали так некоторое время.

Утром Тимофея Катакази разбудили петухи. Постель еще не успела остыть, хотя он покоился в ней уже в полном одиночестве...

Попив чаю, он уселся в бричку. Главное для него теперь заключалось в том, чтобы не встретиться с давешней бабой-соблазнительницей. И на сей раз фортуна оказалась к нему милостива: баба не появилась. Он дал смотрителю лишний рубль и покатила к Новгороду. «Бедный князь, — думал он о Мятлеве, — какой долгий путь, а он все с одной и с одной!..»

Полковник фон Мюфлинг ехал в дорожной коляске на мягком ходу. Баулы и сундучки, притороченные сзади, несколько утяжеляли это совершенное устройство для путешествий, но тем не менее ехать было отлично. Май бушевал. Природа ласкала взор. Слуга Гектор был готов по первому знаку в огонь и воду. Мундир покоился в сундуке. Новое легкое пальто сидело отлично. В мозгу полковника, еще не остывшем от петербургских забот, уже складывались легкие, непринужденные строки дорожного послания.

«...Представьте себе, мой ангел, маменька, бесконечную дорогу среди зеленых полей, голубое небо, голоса вольных птиц, отсутствие забот, и вы поймете мое состояние. Нужно же было несчастным полюбить друг друга, да еще скрыться, чтобы на мою долю выпала возможность

так неурочно отрешиться ото всего, что мучало меня и Вас, что в возрасте моем уже не проходит бесследно. Вот видите, чем пуще гнев богов, тем длительней мое отдохновение. Кому несчастье, а мне — покой и нега. Разумеется, утихнут бури, князь отделается внушением, зато я приду в себя, надышусь природой и вернусь к Вам, чтобы продолжить наш прерванный роббер. Сознаюсь, что меня несколько тяготит неминуемая развязка, необходимость объясняться с несчастными влюбленными и препровождать их в Петербург, и я по мере сил стараюсь усыпить в моем воображении эту заключительную сцену. Беглецы движутся не таясь, что, натурально, обескураживает меня. Всюду, где они проезжают, виднеются их отчетливые следы, словно нарочно выставленные напоказ. Для чего, как Вы думаете? Полагаю, что в этом есть некий умысел. Надеюсь, что мои подозрения небезосновательны: даже дети не бывают столь беспечны.

Мой Гектор заботится обо мне с тщанием. Ночлеги мои пока роскошны. В трактирах и на станциях отличный стол, не в пример минувшим разам. Сплю на пуховых перинах, на свежем белье, питаюсь добротнo, головные боли не мучат, бессонницы как не бывало. Вина не пью, и это, надеюсь, должно Вас порадовать. Благородные крупы лошадок, маячащих передо мной, напоминают мое уланское прошлое — это ли не наслаждение? Вы можете быть полностью за меня спокойны. Выполнять капризы богов не унижительно. А разве Ваш храбрый улан служил в прошлые годы чему-нибудь другому, более высокому? А кровь, которую он пролил однажды, разве могла быть использована с большим смыслом? Вот так, мой ангел...»

Поздней ночью коляска полковника остановилась у постоянного двора. В руке хозяина дрожала свеча, покуда он спросонок справлялся о неожиданном госте. Полковнику отвели прелестную комнату в два окна, с голубым креслом без одного подлокотника и старомодной дубовой кроватью под множеством слежавшихся перин, распространявших сложный запах чего-то недостиранного, недочищенного, недосушенного, давно отвергнутого...

Покуда молчаливый Гектор перетряхивал перины и ощупывал их ненадежные швы, подобно кладонискателю, полковник глядел в черное окно. От чая он отказался. Легкая суета, произведенная его приездом, постепенно

стихла. Уже через час могучий Гектор дремал, сидя на стуле возле самой двери. Полковник фон Мюфлинг, свежесбранный и бодрый, переодевшись в служебный мундир, писал в Петербург брату:

«...Представь себе, топ шег, паскудную клетушку, обставленную с самой дурной претензией. Кровать времен Пугача кишит клопами, постель воняет всякой дрянью. Слава богу, бессонница не покидает меня, и потребность в этом высокаторжественном ложе не возникает. Дневная езда восхитительна, однако ночь — сплошное омерзение. Почему жребий сошелся на мне? Да и что за преступление совершили мои бедные беглецы? В то время как толпы обезумевших мужчин носятся взапуски, меняясь местами друг с другом, отбивая чужих жен, а жены покидают семьи и спешат в объятия других, и разврат, явный и тайный, сотрясает планету — все сие не вызывает не только гнева, но даже удивления, а может быть, даже поощряется... Так почему же этот маленький несчастный адюльтер так взбудоражил все вокруг, и я вынужден оставить Петербург и роббер с матушкой и все, такое мне привычное, только для того, чтобы схватить этих милых дурачков?.. Когда бедняга князь надает мне по щекам или предложит стреляться, как я смогу объяснить ему свое высокое предназначение? Я знаю, что у вас оборвали языки, болтая об этом происшествии, да велика ли ценность языка, коли он обрывается по любому случаю?..»

Он взглянул на часы. Приближалось утро. За окнами висело слегка выцветшее небо. Возле самой дорожной малахитовой чернильницы возлежал большой лоснящийся клоп. Фон Мюфлинг усмехнулся и велел Гектору пригласить хозяина. Сапожища слуги загромыхали по дому в первозданной предутренней тишине, и вскоре появился заспанный хозяин. Сначала голова у него закружилась при виде множества кудрявых холеных, облаченных в мундиры людей, сидящих кто где: в кресле, на подоконниках, на постели, на краешке стола... Затем наваждение рассеялось, и лишь один фон Мюфлинг, свежесбранный, подтянутый, выспавшийся, радушный, дружелюбно кивал вошедшему.

«Да неужто полдень!» — с ужасом подумал хозяин и хотел спросить виновато и подобострастно: «А который

нынче час, ваше высокоблагородие?», но, глянув за окно в блеклое небо, догадался, что — раннее утро.

— А почему нынче овес, любезный? — по-родственному спросил полковник.

Хозяин оторопел, а фон Мюфлинг подумал, как бы продолжая прерванное письмо: «...Напугать человека весьма несложно, будучи в мундире и задавая глупые вопросы в четыре часа утра. Иное дело, когда мне придется повстречаться с князем. Он не из пугливых, и я должен буду либо его скрутить, а я не посмею, либо найти столь непререкаемые аргументы в пользу чинимого мною насилия, чтобы он и не вздумал сопротивляться...»

— А ну-ка убери, — сказал фон Мюфлинг и указал на клопа.

Хозяин ловко подхватил насекомое и сунул руку в карман. Фон Мюфлинг рассмеялся.

— А теперь ступай...

Хозяин медленно приблизился к двери и приоткрыл ее...

— Да, кстати, — сказал фон Мюфлинг, — парочка тут одна проезжала; ты их что, тоже в клоповнике сохранил?

— Это какие ж? — прохрипел хозяин.

— Ну такие двое, — засмеялся фон Мюфлинг, — он и она... Она молоденькая, сублинная... Он — в очках.

— Нее, — выдохнул хозяин облегченно, — не ночевали-с... молочка выпили и поехали...

«...Кстати, об аргументах. Мне, видимо, придется хорошенько озвереть от бессонницы, от лицемерия этого хамского места, подвергнуться нападению клопов, быть, наконец, заеденным ими и прочей мерзостью, чтобы в душе моей из этого всего, из жалости к себе, из отвращения ко всему случившемуся родились те самые аргументы, против которых князю нечего было бы возразить...»

Тем временем в направлении на Выборг по Гельсингфорсскому тракту, подскакивая на выбоинах и ухабах, ожесточенно понукая двух казенных лошадок, катили господин Свербеев и зареванный Афанасий. На первой же остановке им удалось узнать, что беглецы, точно, проследовали этим же трактом, направляясь на север, молчаливая пара, мужчина и женщина, она молода и печальна, он

улыбчив. Заехали на рынок, выпили парного молока и купили деревянную ложку из прозрачной липы — местный сувенир.

63

...Быть счастливым — крайне опасно. Счастливые слепы, подвержены головокружениям, склонны обольщаться. Дурного они не замечают, а все прекрасное принимают на свой счет. Сомнения, обуревавшие их прежде, рассеиваются подобно грозовым тучам. Несправедливости перестают существовать. Со своих головокружительных высот они щедро разбрасывают стрелы добра, не заботясь, достигнут ли земли эти стрелы. Слушать их некоторое время приятно, исповедоваться — напрасный труд. Глядя на них, вы вскоре начинаете замечать, что они принадлежат к иному незнакомому племени, говорящему на непонятном вам языке и исповедующему чуждую вам веру. Постепенно они утрачивают способность к сопротивлению, их кости становятся хрупкими, кожа прозрачной; они выражают свои чувства с помощью восклицаний и вскрипов; зрачки их сужаются и уже способны схватить лишь малую толику из предназначенного жизнью, и это — не сосредоточенность терпящих бедствие, а слепота безумцев...

Истинное счастье непродолжительно, им же начинает казаться, что отныне оно навсегда.

...Погода беглецам благоприятствовала. Вообще силы природы были покуда на их стороне, это ощущалось ежедневно. В гостиницах и на постоянных дворах они ложились в приготовленную им постель, мало заботясь о свежести простынь, не замечая клопов, не ощущая ароматов плесени. Их счастливая звезда восходила стремительно и, как им казалось, надежно, и им не было дела, как она поступит в дальнейшем. Они не брезговали ночевать даже в случайных избах, на лавках, даже на прокопченных печках, даже на сеновалах, на остатках прошлогодней соломы, в сообществе с юными кузнечиками и престарелыми летучими мышами...

Искушенные хозяева постоянных дворов и гостиниц за мягкими чертами Мятлева угадывали непреклонность, а перед серыми глазами господина ван Шонховена станови-

лись навтыжку. Беглецы ели рассеянно и торопливо все, что им ни подавали, и половые, приученные к брани и ту-макам взыскательных господ, этим прислуживали над-менно.

Но это влюбленных нисколько не оскорбляло, ибо све-жи еще и значительны были раны, которые они были вы-нуждены везти с собою; еще пригибало их к земле воспо-минание о тяжелых петербургских небесах, рядом с кото-рыми надменность холопов была просто безделицей. И иронический склад их душ уже давно позволял не при-давать значения потушлагбаумным надеждам, и все это было лишь в разговорах, эдакая милая условность. И все-таки за шлагбаумом что-то ведь произошло, если они мог-ли, безнаказанно обнявшись, покачиваться в дорожном рыдване, именно обнявшись; если гром петербургской мол-вы звучал уже как шорох, да и то заглушаемый трескот-ней и звоном природы; если отсутствие привычного гарде-роба, удобств и слуг не делало их обреченнее... Видимо, что-то все-таки тайлось в этой полосатой шлагбаумной палке, какой-то тайный смысл, позабытый нынче, вкладыв-вал в нее неведомый уже изобретатель... И когда она опу-скается перед вами, разве вы не вздрагиваете сокрушенно, хотя ничто вам и не угрожает? А когда она возносится, эта полосатая палка, не вы ли слышите голоса воли, жизни, простора, надежды? И пусть вскоре все это гаснет, но разве единый вздох, доставшийся вам, восхищенное «ах!», вырвавшееся из вашей истомленной ожиданием души, — разве все это — пустая фантазия? Вздор?..

— О, — сказала Лавиния, — как много значения вы придаете окрашенному бревну! Послушать вас — вы не выезжали за шлагбаумы, и они вас не подводили.

— Те шлагбаумы, — сказал Мятлев, — были простые крашенные бревна, а этот — истинный schlagbaum... Разве я не обещал вам, что за ним все изменится?

Она смеялась.

Она смеялась и небрежно приветствовала тонкой ручкой безопасный и второстепенный шлагбаум на въезде в Тверь. Он не мог сулить ей несчастий, а тем более выгод, ибо тот главный, петербургский, высокомерный, угрожаю-щий, от которого могло что-нибудь зависеть, остался да-леко позади. Момент расставания с ним не запомнился. Они очнулись спустя несколько часов, когда Петербурга и след простыл, ощущая лишь благодать, открывшуюся им.

Возница получал на водку чаще, чем следовало, чтобы они могли бродить по крутым берегам безымянных речек, забираться в лес, где еще было сыро и где Лавиния могла, опустившись на колени, провозглашать торжественно, нараспев: «Господи, ты снизошел к моим слезам, ты спас меня. Этот сутулый старик, красавец в очках, этот мужественный и великодушный господин, сошедший с небес только затем, чтобы протянуть мне руку и сказать мне слова утешения, вот он перед тобой, и ты запомни его, господи, и возлюби: он тоже нуждается в спасении!» Или: «Я благословляю вас, князь Сергей Васильевич, за то, как вы достойно и ловко выкрали меня, вызволили меня и доверились мне, ничтожной; как вы меня, несмысленную, переполненную предрассудками и глупостями, вдруг решили защитить, как вы меня, преступившую закон, великодушно обняли, да так, что у меня все вылетело из головы: все мои бывшие несчастья и все люди, окружавшие меня и пекущиеся обо мне с вдохновением эгоистов и торопливостью скупцов. Слава вам, благородный странник, единственный пренебрегший своим племенем ради меня!» Или: «Посмотрите на него. Вон он стоит перед вами в сером пальто нараспашку. Его поредевшие кудри по-прежнему хороши, как золотое руно, его детские губы готовы дрогнуть в улыбке. На его прекрасном челе обозначились затейливые знаки бывших невзгод, но есть там маленький знак, предназначенный для меня. Посмотрите, как я счастлива с этим господином!» Или: «Мы едем, как странно!» И она целовала свежую траву, хотя он подымал ее с колен, мешал ей, смеялся. Так с тех самых стояний, вымазав платью на коленках раздавленными ягодами или примятыми цветами, с обозначениями щедрости природной, они въехали в Тверь и остановились у входа в модную лавку, где оказался большой выбор весьма современной, западного образца одежды; и сам молодой хозяин, словно сбежавший с витрины парижский манекен, поражал провинциалов своей провинциальной столичностью, длинным фраком и завитыми кудрями. Однако все его старания придать нежданной незнакомке хоть малую толику от его собственных представлений о красоте не возымели успеха. То есть, натурально, Лавиния удалилась из лавки в новом бирюзовом платье из легкого сукна и мантилье того же цвета, но Мятлев, торжественно поддерживая ее под руку, уже на пороге высказался в том

смысле, что нет силы, способной видоизменить господина ван Шонховена, бессильно все: и время, и новое платье, и трактирная жизнь, и неопределенное будущее.

— Единственное, чего удалось избежать, так это пятен на коленках...

— В ближайшем лесу я повторю все сначала, — пообещала она. — Господин Ладимировский приучал меня...

— Кто такой господин Ладимировский?

— Не знаю... Меня приучали чувствовать себя благодетельствованной... Может быть, и тамап родила меня только затем, чтобы объявить мне, как она меня благодетельствовала... — И глаза ее сверкнули почти так же, как некогда глаза госпожи Тучковой.

Из лавки к гостинице они шли через город пешком. Листва на деревьях была молода, сочна, стремительна и блестяща. Густая глубокая пыль мостовых еще не успела ее обезобразить. Тверь была тиха и уныла и почти пустынна. Оранжевое солнце, наливаясь и краснея, медленно скатывалось с небес и должно было провалиться в преисподнюю как раз в конце бесконечной улицы, по которой они шли. Кричали невидимые петухи, да что-то похожее на флейту свистело где-то далеко, в другом мире.

«Все брошено, — думала Лавиния, — ничего нет. Я беглая жена, возлюбленная князя... Флейта никогда не звучит весело. Мамап не из тех, кто может смириться с поражением. Рядом идет Мятлев! Что сделать, чтобы он не начал мною тяготиться? Я что, должна быть всегда весела? Умна? Словоохотлива? Грустна? Молчалива? Загадочна? Бесхитростна? Обворожительна? Сварлива?.. Мы попали в иной мир. Тут все совсем иначе. Это совсем другой мир. Это нечто совершенно неведомое. Как здесь прекрасно, прекрасно, прекрасно... Я должна улыбаться?...»

«В конце концов ей надоест притворяться и угождать, — думал Мятлев. — Все молоденькие женщины нуждаются в обществе изысканных льстецов. Даже такой разумный господин ван Шонховен не в силах этим пренебречь. Лишь бы ничего не случилось, чтобы ей сожалеть...»

— Нет ли за нами погони? — засмеялась она.

— Кому мы нужны? — пожал плечами ее спутник.

— Пожалуй, — согласилась она. — Но должна вам заметить, что моя тамап неукротима. Я уверена, что она собирает полк единомышленников и с этой целью носит-ся по Петербургу на пушечном лафете.

— Ей больше к лицу помело, — сказал Мятлев разд-
раженно. — Впрочем, мы поступаем опрометчиво, разгу-
ливая по Твери. Осторожность не может помешать.

Солнце побагровело, повисло вдали над последними
домами и начало проваливаться прямо меж крышами.
Звуки флейты стали отчетливей, и из-за угла вышел
хмельной солдат в полном снаряжении, прижимающий
к губам маленькую немецкую флейту. Он вышел из-за
угла и пошел по мостовой, вздымая сапогами клубы крас-
ной пыли. Она почти не оседала, висела в воздухе, и на
солдате, казалось, одета красная мантия, и красные зрач-
ки его полны огня, и из маленькой флейты вырываются
струи красного пара. Он наигрывал что-то известное и
примитивное, бог свидетель, но музыка звучала так прон-
зительно и неведомо, что хотелось плакать и предотвра-
щать несчастья.

Молчали петухи, не слышно было коров, людей, звя-
канья ведер, только флейта царила на этой улице, испо-
ведуясь с хмельной откровенностью. Солдат шел быстро
и вскоре обогнал затаившуюся петербургскую пару, и Ла-
виния увидела, что его круглое рябое лицо, и точно, мокро
от слез. Он шел быстро, прямо на багровый диск, словно
торопясь слиться с ним, воспользовавшись выпавшей на
его долю удачей — очутиться на бесконечной пустынной
улице, по которой можно идти в красной мантии, с флей-
той, охотно плачущей по твоему настоянию обо всем, что
не смогло свершиться.

Солдат быстро удалялся, волоча за собой красный
шлейф. Флейта звучала все бессвязнее, все беспомощнее.

Мятлев заглянул в глаза Лавинии.

— Давайте уедем поскорее, — предложил он. — Ви-
димо, мы не очень отделились от Петербурга.

Она согласно кивнула.

Ямщик долго отказывался ехать на ночь глядя. Все
предвещало дорожные несчастья: красные сумерки, мышь
в мешке с овсом, похоронная процессия, выпивший горо-
довой...

— *Ce monstre là il nous rendra au désastre*¹, — ска-
зала Лавиния.

Однако вскоре ямщика удалось уговорить, и они пока-
тили.

¹ Это чудовище нас погубит (франц.).

Сумерки постепенно перешли в вечер, за ним и ночь не заставила себя ждать долго. Усилившийся ветер донес запах влаги. Звезды исчезли одна за другой. Лавиния дремала на плече Мятлева. Дорога шла лесом. Лошади время от времени всхрапывали, бежали тяжело.

«Внезапно едва уловимая мысль о социальной несправедливости, как это модно выражаться нынче, возникла в нем, — подумал Мятлев, имея в виду себя самого. — Пожалуй, впервые, глядя на широкую спину ямщика, он ужаснулся таинственному расчету природы, по которому в ином, менее благоприятном случае, и он сам мог оказаться сидящим на козлах, даже не подозревая о том сытном благополучии, в котором избранники фортуны проводят свой век... В то давнее и неправдоподобное время молодости и надежд, когда еще живы были его взволнованные друзья, их робкое ожесточение против несправедливого устройства мира не очень докучало ему, ибо корова должна давать молоко, лошадь — ходить под седлом или в упряжи, собака — сторожить дом, охотиться, дерево — украшать мир, давать плоды, согревать жилища, и тому подобное... Но теперь эта мысль, в отличие от былых разов, когда он внимал разглагольствованиям своих друзей рассеянно и меланхолично, теперь эта мысль, — продолжал думать Мятлев, имея в виду себя самого, — хотя и была все еще расплывчата и холодна, заставила его покраснеть... Второе, что также впервые по-настоящему затронуло его, — продолжал думать Мятлев, опять же имея в виду самого себя, — это ощущение одиночества. Ни в Петербурге, в глуши его библиотеки, ни в Михайловке, в глуши лесов сосновых, ни тем более в давние годы, когда его жизнь была густо заселена гувернерами, няньками, воспитателями, друзьями по корпусу, командирами, денщиками, лакеями, она не возникала. Умение не тяготиться одиночеством и не замечать его было в Мятлеве, вероятно, врожденным, но, вероятно, врожденность эта, подобно горным породам, с годами выветривалась, так что оставалось рыхлое, подверженное болям, чувствительное нечто, столь чувствительное, что даже теплое соседство господина ван Шонховена не предотвращало размышлений об этом...»

— Ну что? — спросила Лавиния откуда-то из глубины. — Скоро ли?

За время пути она успела незаметно переместиться с

его плеча и устроиться у него под мышкой, где было теплее и благополучнее.

И тут упала первая капля, по лицам ударило песком или пылью, и начался ливень. И тотчас коляска, дотоле казавшаяся надежным кораблем, превратилась в сооружение несовершенное, продуваемое, не защищенное от воды, скрипучее, разваливающееся, связанное с этим миром четырьмя хрупкими колесами, затерянное во тьме, почти неуправляемое, почти придуманное...

— Ээ-эх! — крикнул ямщик с яростью и отчаянием, словно расставался с жизнью. Но ветер был так силен, что до слуха путников донеслось лишь одно отчаяние.

Покуда они торопливыми и неверными руками пытались защитить от разбушевавшейся стихии свои тщедушные, беспомощные тела, прикрывая их случайным тряпьем, кусками дырявого коленкора; покуда пытались сквозь вой ветра, леса и дождя докричаться до одеревеневших лошадей и заставить их двигаться; покуда вот так, крича, защищаясь, спасаясь, еще успевали сожалеть о собственном легкомыслии, погнавшем их в дорогу, и выговаривать ямщику, что не шибко гнал; покуда все это совершалось, какой-то предмет неопределенной формы вывернулся из тьмы, обдал их грязью, замедлил движение и остановился, еще более темный, чем сама тьма, окружавшая их, и тут же послышалось требовательное, хриплое, разбойничье, хозяйское: «Эй, кто такие!», перед которым только и оставалось распластаться в дорожной грязи и ждать последнего удара. Однако никто оземь не грянулся, ибо всееляющий уверенность и надежду раздался ответный клич господина ван Шонховена: «А вы кто такие!» Тогда Мятлев понял, что предстоит самое худшее, и, уже не замечая бури, вытянул кулаки и пошел на таинственный предмет.

Однако ни шелканья курка, ни звона ножей, ни хриплых проклятий не последовало, и лишь неведомо откуда приятный баритон воскликнул изумленно: «Батюшки, дама!» И тут же ливень ослаб, сплошные тучи лопнули, разошлись, посветлело, и действующие лица разглядели неясные черты друг друга.

Таинственный предмет оказался гигантской ископаемой колымагой павловских времен, запряженной четверней.

— Сдается мне, что вы нас приняли за разбойников, — произнес приятный баритон, и от колымаги отде-

лилась громадная призрачная фигура, закутанная в фантастические ризы. — Не угодно ли любезным господам... тут в полуверсте... именьнице... польщен...

Все встало на свои места, едва возникла надежда обсохнуть, обогреться, насладиться гудением самовара и, может быть, даже выспаться на бескрайней деревенской перине. И они поспешно, не заставляя себя упрашивать, устроились в поместительном экипаже с маленькими оконцами, раскинулись на широких сиденьях, на домашних подушках; дверца мягко захлопнулась. Экипаж плавно тронулся, за ним — словно призрак потянулась и их коляска.

Уже потом, спустя несколько дней, Мятлев, вспоминая ночную встречу, не мог отделаться от ощущения совершившегося волшебства, чуда, хотя их спаситель, Иван Евдокимович («Да зовите просто Ваней, ей-богу, чего уж там...»), владелец очаровательного именьница, оказался тучным, розовощеким, рыжеволосым, дремучим, хлебо-сольным («Кушайте, кушайте, друзья мои. Все ваше...»), неуклюжим стариком лет сорока пяти и на волшебника не походил вовсе. Большое доброе дитя, не подозревающее, что жизнь-то почти прожита, не умеющее отличить детства от зрелости, одуревшее от меда, молока, здоровья, тишины, от отсутствия драм, ошибок и катастроф («Да не дай господи!...»), слишком несовременное, чтобы отчаиваться по нынешним-то пустякам или забивать голову скоропреходящим вздором («Книг не держу-с: я знавал много примеров их губительных свойств...»). Однако, всматриваясь в него пристально, придирчиво изучая эту диковину, словно портрет кисти великого мастера, нельзя было не заметить, как из-под густого слоя жирных, добротных красок нет-нет да и проступали кое-где легкие, непонятные намеки на иную жизнь и иные нравы, которыми, уловив их однажды в синих зрачках сего деревенщины, уже невозможно было пренебречь. Нет, что-то тут не так, восклицали вы про себя, все не так-то просто, как может показаться — мед, чистый воздух, великодушие...

С одной стороны, их гостеприимный хозяин, спаситель, ночной волшебник, этот рыжий гигант, этот простодушный вдовец («Господь прибрал мою супругу-с в давние времена... От скуки я и кружусь, князь, все приумножаю, приумножаю, а для чего — никто не знает»), трепещущий перед каждым мимолетным взглядом Лавинии, не расте-

рванный, оказывается, молодого пыла среди хозяйственных развлечений, с одной стороны, покорял душу и воображался почти что давним добрым другом семьи, однако, с другой стороны, посудите сами, вызывал ощущение чего-то недосказанного, недосмотренного, ибо стоило Мятлеву за утренним кофе обратиться, например, к темам былого, воскресить юношеские картинки, порываться в давно прошедшем времени, чтобы выискать там общих знакомцев, как рыжий гигант сникал, опадал, тускнел, надламывался («Что было, то прошло... мало ли чего... Не нам судить, милостивый государь...»), и все это приборматывая, шепча, отворачиваясь, теряясь... Или откровенно глупел, а может, прикидывался, паясничал, валял дурака («Экую, сударь, дребедень вспомнили, дребедень, да и только!.. Они подняли руку на государя, а мы их к ногтю... Они губернатора убили-с, а мы их под веревочку... Какие уж там благородные сердца...»), или своей ручищей грабастал белую ручку Лавинии и суетливо прижимал к своим не по возрасту пышным губам, томно мычал, кланялся, почему-то содрогался, словно мешал самому себе произнести что-то важное, и потому порол однотонно: «Какая же вы красавица, деточка милая!.. Какая же вы, да какая вы, ей-бо-гу!.. Эх, князь!.. О чем вы, князь!..»

Любопытство нас погубит! Нас, утонченных знатоков света и истин, самоуверенных и упрямых. Мятлев так увлекся разматыванием этого деревенского клубка, что уже не замечал легкого облачка досады на лице господина ван Шонховена, выслушивающего детские признания Ивана Евдокимовича, не слышал, как Лавиния воскликнула однажды, пытаясь пробиться сквозь внезапную княжескую глухоту: «Я его боюсь!..»

Когда же они вечерами удалялись наконец в предназначенную им комнату, Мятлев пытался смягчить страхи господина ван Шонховена и смеялся, однако смех звучал не очень решительно. А тут еще, бывало, распахивалась дверь, и возникала золотая голова неугомонного старика, туго набитая всяким вздором: вопросами, сомнениями и недомолвками.

«Вы, значит, в Петербурге живете? Ну как там крепость, стоит? Ууу, Петербург!.. Кавалергарды с тонкими запястьями... Петербуржище! Ууууу... Как вы там только не промерзнете в страдальце этом!»

Или подкарауливал Лавинию в пустой аллее, покуда

Мятлев в притихшем доме писал свои дорожные послания, подкарауливал, возникая из-за кленового ствола, тяжело дыша, прижимая кулачища к груди и робко, на носках, вышагивая рядышком, заглядывал ей в глаза: «Ведь я в Петербурге жил-с, деточка, когда вас еще на свете-то не было... Еще государь наш с месяц как на престол вступил-с, вот когда... Ведь я, деточка, совсем было погиб... Уууу, Петербуржище-узилище!..»

Игра разгоралась пуше. Мятлев научился торопливо менять маску и ронять небрежно, как бы между прочим, с беззаботным видом: «Злодеи получили по заслугам, вы правы... Полк взбунтовать — штука не хитрая». Ронял и ждал чуда. Оно следовало незамедлительно: «Да вы-то откуда знаете, милостивый государь? Вы же тогда совсем дитя были! Как это вы можете судить об этаких-то предметах? Глупому дитяти наврали обо всем... Может быть, вам наврали, милостивый государь?..» — «Да вы же сами это утверждали», — улыбался Мятлев.

Тут старик принимался хохотать, бил себя по коленкам кулаками, целовал ручку у Лавинии и прятал голубые глаза. Вдруг становился задумчив и вял, задавал глупые вопросы: «Я гляжу — у вас запястья тонкие. Вы что, в кавалергардах были?»

Он заводил их в свой кабинет торжественно и благоговейно, где среди не стоящих внимания предметов деревенской обстановки: разохшихся кресел, выкрашенного охрой грубого бюро, оттоманки, коллекции липовых трубок, сработанных одним и тем же топором; на стене, противоположной окнам, прикрывая линиялы обои, в нелепой раме из переплетенных позолоченных роз, еловых шишек и триумфальных лент покоилось пространное полотно, сработанное кистью неведомого сельского безумца. Высокопарный сюжет захватывал дух и приводил в трепет. Слева, на фоне аккуратных лиловых гор и ядовито-зеленых нив, оживляемых там и сям кронами фантастических смоковниц, высился государь Николай Павлович, еще молодой, срисованный с календаря четвертьвековой давности, безусый, светловолосый, обращенный к зрителю правым боком, в измайловском мундире и в совершенно невероятной какой-то тунике, пронзающий даль громадным вещим голубым зрачком; справа же подобострастно преклонил перед ним колена тоже совсем молодой, розовощекий, рыжеволосый Иван Евдокимович, повернутый к зри-

телю левым боком, наряженный в пышные неправдоподобные одежды, осчастливленный, сияющий таким же голубым зрачком, выражающим благодарность, а может, и растерянность. Белая, непомерной длины рука императора покоилась на рыжих волосах верноподданного, и казалось: тонкие пальцы вот-вот займутся рыжим пламенем. В правом верхнем углу благополучно парили в небесах толстобрюхий ангел и оранжевый крест святого Владимира. Краски были плотны и пронзительны, отчего создавалась видимость фантастического правдоподобия и даже слышалась музыка из-за лиловых гор. («Коль славен» играют-с. Музыканты еще все молодые... Да и все молодые...»)

Он водил гостя по имению, показывал бирюзовые гляцевые поля, коровники из свежеструганых бревен, псарню из деревенского сдобного кирпича, и все было отлично, отменно, великолепно, и мягкие размашистые поклоны крестьян были под стать этим картинам, и Иван Евдокимович с непонятной тоской в голубых глазах и с улыбкой, растягивающей его юные губы, трепал по щекам девок («А вы-то как же без слуг-с? Возьмите хоть эту с собой, хоть вон ту... Как же княгинюшке без рук-с»), и в глазах у девок была та же самая голубая тоска, да и небо, оказывается, было таким же... «Нет, нет, — думал Мятлев, погружаясь в это изобилие, — очень неприятный старичок...»

— А как же вы, Иван Евдокимович, тогда ночью в карете оказались?

— А владения объезжал... Для общего благоденствия глаз нужен. Вы думаете, я об себе пекусь? Мне ведь ничего не надо... Все — им, — и кивал в сторону девок, которых по его прихоти величали какими-то все странными именами — Мерсиндами, Милодорами, Дельфиниями.

В прогулках по этому раю Лавиния не участвовала. Она оставалась близ дома тревожно всматриваться в дальний конец кленовой аллеи — не покажется ли Мятлев, отбывающий утреннюю повинность внимания, восхищения, согласия, расположения, благодарности. Едва же он появлялся, она бросалась к нему, прижималась щекою к отворотам его сюртука и торопливо шептала, успевая расточительно улыбаться рыжему гиганту: «Давайте уедем отсюда, давайте уедем... Я его боюсь».

Мятлев утешал ее как мог, намечал ближайшие сроки отъезда, но хозяин, узнав, отворачивался к окну, молчал,

сопел, втягивал голову в плечи, топтался, прикладывал платок к глазам, потом призывал девок внезапно и велел им петь. Являлись вереницей милодоры, дельфинии, мерсинды, пели с подобострастием, покуда их не выгоняли, и, пока они пели, Иван Евдокимович завладевал ручкой Лавинии и гладил ее, и мял, и грустно улыбался, сидел разомлевший, тучный, покорный, и гладил ручку, и мял... Или говорил как бы самому себе: «А кто песни придумывает? Да люди ж... И тоже врут-с...» И вот тогда приказывал девкам убраться.

Уже впоследствии, осмыслив все происшедшее, Мятлев записал в своей тетради:

«...Л. внезапно сделалась грустна, негерпелива. Вместо любви я читал на ее лице осуждение. Что-то было неприятное в том, как она сжимала губы, и в интонациях, с которыми она говорила, не стесняясь присутствием старика: «Вы совсем забыли про меня — так увлеклись... так вас увлекли ваши догадки, что вы обо всем позабыли... и мы никогда теперь, наверное, не увидим рая, о котором было сказано столько прекрасных слов... Я вижу, что вы намерены остаться здесь навсегда...»

Я с жаром разубеждал ее, а хозяин утирал слезы и пытался опять поймать ее ручку, что теперь уже ему не удавалось, потому что тонкая белая податливая ее рука оказалась внезапно сильной, неподатливой, своенравной, оскорбляющей каждым своим движением. И вдруг я посмотрел на окружающее серыми глазами господина ван Шонховена, и окружающее перестало интересоваться меня; ничтожным показался обширный дом, приютивший нас в бурю, глухие комнаты, пропитанные усталым, испуганным монотонным воем милодор и мерсинд, зловещее полотно, воспевающее преклонение живого пред живым, слабого пред могущественным, преклонение сладостное, с замиранием сердца, во веки веков, нажитое невежеством и страхом и превращенное в счастливый праздник...

— Хорошо, — сказал я ей, — мы отправимся завтра же. Решено.

И она засияла, а глупый старик зарыдал пуще.

Утром нам подали от него письмо. Сам он так и не показался. Разобрать его чудовищные каракули было невозможно, кроме нескольких строк: «...И вы миня натурально можити спросить мол хто я, ибо хоть на сей вапрос чилавек должин дать ответ... а я не магу... Друзей у

мине нет, гостей не пренемаю... да и вас то хто поймет?.. А посиму я сибѣ тада паклялся никаму ни доверять никада. Плачу, а клятву сею испалняю... На мне грех... уи-жайте з Богом...» Особенно поразила подпись: «Бывшій писар Высачайшаго Следственного Камитета Его Императорскаго Вилчиства раб Иван Авросимов».

Фамилия так же нелепа, как сам старик. Какая-то драма свела его с ума, да мало ли драм на свете? Среди множества Амвросимовых и Абросимовых он единственный Авросимов. Роковая описка дьячка или умысел? А впрочем, вѣны и фамилии навязывают нам юные безграмотные писаря, а после презирают нас же, пытающихся усумниться, а после сходят с ума от запоздалых раскаяний.

Внезапно захотелось закрыться в своей библиотеке и начать жизнь сначала. Я воспитываю в себе жестокое умение отрешаться от былого, как от кошмара. «Кто такая Румянцева?» — «Не знаю...» Или: «Что такое Петербург?» — «Впервые слышу». Теперь, когда на мне лежит ответственность за будущее Л...»

Ответственность за будущее тяжелее во сто крат, ежели оно туманно и почти невоображаемо. Да кто же возьмет на себя ответственность, не имея цели? Была бы она! А уж дорожку к ней мы выстелим... И Мятлев вновь торопил ящика. И Лавиния указательным пальцем чертила в воздухе линию спасительного вояжа («Мы едем? Как странно...»).

В полдень 25 мая 1851 года они вплотную приблизились к Москве и, изменив свои обычные полусонные дорожные позы, затрепетали, вытянули шеи, наострили глаза, надеясь разглядеть за ближайшим поворотом, леском, взгорком, древнюю столицу. На пыльном и пустом петербургском тракте, едва миновали кудрявое селцо Ховрино, чей-то радостный голос окликнул Мятлева. Князь удивленно скосил глаза. На обочине тракта печально стояла покосившаяся бричка. На лугу, поодаль, лошади щипали майскую траву. Кучер мудрил над снятым колесом. Молодой человек в черном дорожном сюртуке и галстукѣ, свернутом на сторону, бежал за коляской и радостно кричал:

— Остановитесь! Да остановитесь же, ваше сиятель-

ство, князь! Вы меня не узнаете?.. Князь, остановитесь!..

Его усики, черные радостные глаза и ненатуральная улыбка витринного манекена показались Мятлеву знакомыми, однако новые московские интересы были уже столь остры, что он ткнул ямщика в спину и велел гнать, не останавливаясь.

64

Надо было этому хрупкому существу, этому мужественному господину ван Шонховену, который мог, прикрывая своего возлюбленного, крикнуть разбойникам сквозь завывания бури: «А вы кто такие!»; этой молодой женщине с серыми глазами на слегка скуластом лице, отрешившейся от своего прошлого без долгих сожалений («Да здравствует свобода!»); этой испуганной барышне, цепляющейся за сюртук князя при виде раскисающегося рыжеволосого безумца или полотна, изображающего слабость слабости и подчинения, — надо было ей очутиться в пропахшей пылью московской гостинице, чтобы сказать Мятлеву нараспев:

— Вы думаете, мое путешествие с вами началось месяц назад в Петербурге? О нет, нет... Оно началось гораздо раньше, когда мне посчастливилось увидеть вас в белом мундире среди мимолетных гостей на елке у Погодиных и узнать, что вы — мой сосед... Ведь девочки в двенадцать лет очень наблюдательны, ибо, хоть они и маленькие девочки, от детства у них — только, пожалуй, кружевные панталончики да банты. Вы, взрослые усатые красавцы, не замечаете этих маленьких существ, словно они нарисованы на стенах или вырезаны из бумаги, покуда они вас не щипнут хорошенечко. Вы ведь, познакомившись с господином ван Шонховеном, вернулись, позевывая, в дом, а господин ван Шонховен отправился в путешествие по жизни, и в сердце у него уже были вы; и покуда вы в своем доме занимались всяким скучным вздором, отыскивая смысл в своем существовании («быть или не быть... что день грядущий мне готовит... и жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...»), я училась сравнивать мир без вас с миром, в котором теперь были вы. Это вселяло надежды, и путешествие мое продолжалось. Вы думаете, двенадцатилетние

девочки не знают, что им предстоит? Знают, сударь, знают. Поэтому господин ван Шонховен учился быть строптивым, и его дуэли с madame Jacqueline становились совершенней и отчаянней. Двенадцатилетних девочек можно, конечно, время от времени попугивать цепью, хотя это почти не приносит ожидаемых плодов, а уж сажать на цепь — и вовсе бессмысленно, потому что это ожесточает и приучает бесхитростных девочек остерегаться всяких искренних доброжелателей и хлопотливых устроителей их судеб и наивных домашних деспотов. Конечно, когда им двенадцать лет, они бунтуют откровенно, чем усложняют свое путешествие. Но вот им исполняется пятнадцать («Барышня, а барышня, платочек урони!»), и тут вы на них только посмотрите: их покорность чрезмерна, они робки, подобно газелям, ланиты у них вспыхивают ежесекундно, на челе горит знак подобострастия, в больших глазах покоится кротость; и позабывшая свое отрочество тамап полагает, что бури миновали, что ее жребий принят и можно праздновать успех. Но если бы тамап заглянула однажды в сердце господина ван Шонховена, она ужаснулась бы, увидев, как некий господин в очках, сам того не подозревая, уютно расположился там в ожидании лучших времен и, по-видимому, навсегда. Пятнадцатилетние барышни, сударь, существа опасные: они так привыкают носить вас в сердце, что готовы унижаться, подобострастничать, есть землю из рук, лишь бы вас не потерять; и успокоенные калерии нагромождают вокруг безропотных племянниц столько всякого суетливого вздора и сулят им такие счастливые замужества, что пятнадцатилетним барышням хочется бежать на необитаемые острова. Однако они продолжают терпеливо и согласно кивать своими головками, покорно склонять свои лебединые шейки, потому что чувствуют, что время к бунту еще не пришло. Но вы — в сердце, и ваш сладкий яд усиливает свое действие, и путешествие продолжается. Затем появляется обещанный господин Ладимировский, весьма достойный, и даже щедрый, и даже красивый, и вообще преисполненный таких достоинств, что можно сойти с ума от счастья. («Чего же вам более-то?..») И все это так, но в сердце-то вы...

— Кто такой господин Ладимировский? — спросил Мятлев.

— Не знаю...

Покуда она произносила эту речь, медленно пересекая комнату от угла с вазой из мутного фаянса до темно-вишневого плюшевого обрамления двери и обратно, покуда она, помогая себе легкими, непринужденными движениями руки, исповедовалась, уличала в невежестве, наставляла, признавалась в благоговении, Мятлев любовался ею, вознося безмолвные благодарения судьбе и расточая столь же безмолвные клятвы любви к этой высокой женщине, обладательнице серых глаз, полных мольбы, и насмешливо изогнутых губ, будто от понимания тщетности этой мольбы. («Матан всегда подозревала самое худшее, когда распекала меня. Только злодеи, говорила она, способны рыдать и смеяться одновременно. Как будто я виновата, что природа была небрежна и линии моих губ придала немного насмешливости».)

— Лавиния, — шепотом сказал он, — тот поэт (она тотчас поняла, кого он имеет в виду) казался чрезмерно насмешлив, несоответствие скорби в глазах с едва уловимой усмешкой в каждом движении губ вызывало раздражение. То есть он был и без того врожденным оскорбителем, но когда он страдал, даже тогда все уличали его в сарказме, даже лежащего на скале, под ливнем, бездыханного, уже ушедшего ото всех. Я думал об этом. Бог наделяет нас несхожими страстями и слабостями, чтобы мы не походили один на другого, иначе для чего такое множество одинаковых животных. И он учит нас восхищаться разнообразием, учрежденным им в мире. Но мы плохие ученики и нерадивые дети: все отличное от нас самих раздражает и возбуждает нас, и когда мы получаем сомнительное право искоренять лишнее (в чем мы уверены), тогда нам бывает не до великодушия. Я думал об этом. Старая история об одиночках, побиваемых камнями. Хотя внешне все это выглядит благообразнее, но что от того меняется? Одна душа загублена, а прочие в ужасе отступают. — Начало смеркаться, и шепот Мятлева уже едва доносился: — Мы стояли над телом в ожидании врача и хоть какой-нибудь повозки. Казалось, мы всегда были вместе. Так, значит, не роковой жребий свел нас нынче, а любовь — на этом диком пикнике? Но вот, представьте, едва все устроилось, и тело было увезено и похоронено, и страсти утикли, как пришла пора разъезжаться... Мы разъехались навсегда, равнодушно и вяло, не испытывая ни малейшего желания сойтись когда-нибудь опять

тесным кругом, и даже памяти об убитом поэте не довелось свести нас на мимолетной тризне... Этот насмешливый излом его губ нам помнится и доныне, и мы, что поразительно, цепляемся за это воспоминание как за оправдательный крючок, и мы думаем в остывающем отчаянии... я думаю иногда, что, пожалуй, следовало бы ему быть терпеливее и мягче, думаю я... тоже втайне рассчитывая на оправдание...

— Как странно, — сказала Лавиния, — какой заколдованный круг...

Они стояли у порозовевшего окна. Под ними по торцам Тверской проплывали редкие экипажи, и москвичей разнузданных толпа о чем-то брэнном клокотала.

— Кстати, об обещаниях, — продолжала Лавиния, — мне был обещан господин Ладимировский, но себе я наобещала в а с. Внезапно меня перестали узнавать («Что с вами, дорогая? Опомнитесь!»), покорности как не бывало... Это ли не чудо? Я сделала для них все, что могла, и была тиха без притворства, но колокольчик прозвенел, и я поняла, что спастись от вас уже не в состоянии. Вы только подумайте, как все удивительно складывалось (в этом, натурально, замешаны высшие силы, а они нас в свои капризы не посвящают); я выросла — вы нет; тогда у Погодиных я повстречалась всего лишь с белым символом своего будущего и твердо это себе усвоила; спустя время вы стали носить очки, а я вдруг разглядела сквозь них одухотворенность; у вас поредели волосы — и тут я поняла, как вы красивы; вас упрекали в затворничестве — я втихомолку наслаждалась вашей незаурядностью; вас именовали погубителем молоденьких дурочек («А судьи — кто?»), — да я-то знала, что вы предназначены мне, и только мне, и рано или поздно все равно крикнете: «Я жду вас, друг бесценный!..» Не сердитесь на меня, это не самоуверенность. Высшие силы, о которых мы только догадываемся, соединили нас, не спрашивая нашего согласия. Ошибки быть не может. Все, что со мной произошло, должно было произойти и, слава богу, теперь уже не повторится... Что же до насмешливого разреза рта, то я и впрямь насмешница, — вы разве этого не заметили? А что мне делать, друг мой сердечный? Как скрывать свои несовершенства? Быть вашей возлюбленной не просто — надо же вас чем-то и озадачивать...

Внезапно странная картина привлекла внимание Мятлева. Он увидел медленно движущийся фаэтон с откинутым верхом, мягко покачивающийся на рессорах. Кучер в малиновом армяке, подпоясанный оранжевым кушаком, гордо возвышался на козлах. Две сытые лошади неторопливо перебирали длинными ногами. Впечатление бездумной прогулки усугублялось пешеходами, с легкостью обгонявшими этот экипаж. Но молодой человек в темном костюме подался вперед, почти привстав с белых подушек сиденья, судорожно ухватился за борта экипажа, словно летел на бешеной скорости; шляпа его сползла на затылок, будто сбитая сильным встречным ветром; рот, обрамленный усиками, был полуоткрыт; черные глаза распахнуты в отчаянии. «Ба, — сказал Мятлев, — да это же тот самый дорожный незнакомец, что бежал за нами!»

— Он так уверенно величал вас сиятельством, — сказала Лавиния.

Фаэтон скрылся. Уже торцы порозовели. Глаза господина ван Шонховена стали темней, печальней, скулы обозначились четче.

— Сергей Васильевич, — сказала она глухо, — давайте уедем, миленький. Петербург все еще близок.

Он пообещал отъезд на утро. «Надо выспаться...» Она быстренько послушно по-девчоночьи юркнула в постель, полежала, свернувшись калачиком, и пробубнила из-под одеяла: «Какие шутки... Я без вас и не засну, учтите...»

Петербург действительно был совсем близко. Восьмисот верст словно и не существовало, тверские и новгородские леса будто и не синели на громадном пространстве, а реки не пересекали Петербургское шоссе подобно стальным клинкам. В довершение ко всему из кондитерской, расположенной напротив, вышел человек, как две капли воды похожий на полковника фон Мюфлинга, в партикулярном, спокойный, свежий, мечтательно откинувший голову, и смешался с толпой. «Не гляди!» — будто кто-то сказал Мятлеву, но он уже не мог оторваться от лицезрения таинственной вечеряющей улицы: какие-то невидимые нити протянулись от нее к нему, улица говорила загадками, но загадки эти были удручающего свойства. Хотелось крикнуть Афанасию, велеть ему спуститься на мостовую, по-

расспросить, поразнюхать, узнать, успокоить, но подлый слуга уже был историей, как Александрина, как похоронны генерала Рота, как мягкая властная рука государя. И он подумал, что, слава богу, теперь он отделался от них ото всех, что они во главе с государем — иной мир, а он теперь — человек без имени, без обязательств, даже и не человек, а легкая тень, в которой никто не нуждается, кроме разве господина ван Шонховена, и которой ничего нельзя навязать, и нельзя ее заставить, в чем-то упрекнуть и осудить за что-то...

Все тот же покачивающийся фаэтон показался за окном. Теперь он плыл в противоположном направлении. На белых подушках теперь покоились двое: тот элегантный, похожий на фон Мюфлинга, и молодой черноглазый красавец с усиками. Ниточка потянулась к фантастическому маркизу Труайя, к несчастному господину Колесникову, к вислоусому Свербееву, снова — к Афанасию, копирующему дневники князя, и, наконец, замкнулась на вечернем визите поручика Катакази, с которым была связана давняя денежная история, какие-то пустяковые триста рублей, намеки, недомолвки, опять же ассигнации, от которых неродовитые поручики, страдающие неприязнью к аристократам, не могут отказаться и берут деньги наперекор клокочущей амбиции. «Неужто какой-нибудь новый маркиз Труайя вынудил их покинуть Петербург? — подумал Мятлев, когда экипаж вновь скрылся. — И теперь во веки веков им предстоит разъезжать по Тверской туда и обратно с многозначительностью во взорах?» И хотя он понимал, что это были лишь жалкие московские копии его петербургских знакомцев, проплывший под окнами экипаж не шел из головы.

Меж тем смерклось совсем. Москва утихла. С Мясницкой уходила в Петербург последняя скорая ночная почта. Там, среди сотен разноцветных ароматных кувертов, был еще один, заключающий в себе письмо следующего содержания:

«...До самой Твери все складывалось хорошо. Мои беглецы по-прежнему оставляли там и сям откровенные следы. Хлопотать было не об чем, если не считать всяких вечерних удручающих размышлений, о которых я уже писал. Однако за Тверью случилось чудо — следы исчезли. Мы пролетели до Клина — никакого намека. Мне пришлось воротиться в Тверь, поднять на ноги губернское

начальство, нагнать страху на ни в чем не повинных обывателей, натерпеться страху самому, представляя петербургские истерики. Наконец докатился слух, будто их видели в двадцати верстах за Тверью, в стороне от шоссе, в глухом месте, некая пара довольно элегантного вида, под березой, на сосне, в стогу сена, в доме какого-то помещика, короче говоря — намек, ниточка, спасение, и я лечу туда. Сей молодящийся господин, лет сорока пяти, отменно рыжий, обрюзгий и невежественный, согласно кивал мне в ответ на мои подходы, и из его кивков получалось, что точно петербургские беглецы здесь останавливались. Когда же я сообщил ему, что эта парочка — опасные преступники, которые по Высочайшей воле должны быть арестованы мною, выяснилось, что он глухонемой, а кивал мне из учтивости! Представь мое положение! Пришлось объясняться с помощью бумаги и чернил. Я снова изложил ему, но уже письменно, суть дела и спросил, останавливались ли они у него или где-нибудь поблизости, о чем говорили и куда направлялись. Он долго пыхтел, краснел, отворачивался и, наконец, одарил меня ответом: «Никада ничиво не знау такового... Жеву всигда адин слава Богу Иван Авросимов».

Что прикажешь делать?! Еду удрученный в Москву. Не доезжая верст пяти до Всехсвятского, встречаю своего поручика в сильнейшей ярости. Оказывается, буквально два часа тому назад исчезнувшая пара преспокойно проплыла в обнимку мимо него, покуда он оплакивал сломанное у своей брички колесо. Он кричал князю, но тот даже не обернулся. С одной стороны, как видишь, они нашлись, но, как говорит наша прекрасная актриса, госпожа Демидова, Москва — разлучница. Поручик со сворой московских знатоков помчался по гостиницам и мебелирашкам, наивно полагая, что беглецы — полные дураки и живут на виду у всех».

Мятлев отошел от окна, осторожно ступая.

— Я не сплю, — торопливо из темноты проговорила Лавиния, — я помолилась, и вы обернулись.

Он подошел к ее кровати, опустился на колени и прижался щекой к ее щеке, горячей и мокрой.

— Грусть разрывает мое сердце, — всхлипнула она. — Наверное, я вас люблю сильнее, чем это возможно.

«17 мая 1851 года...

...Прощание с Москвой было стремительно и празднично. Даже странно, что воспоминаний как бы и не было вовсе, и ни мне, ни Л. не пришло в голову навестить знакомые места, чтобы поклониться своему прошлому. Еще рассвет не успел как следует разлиться, а мы уже летели по Большой Серпуховке.

Я знаю: буду умирать, а лучшего в жизни не смогу вспомнить, потому что много лет не осознаваемое мною страдание, похожее на плотный дым без определенной формы, вдруг проявилось в восклицании Л.: «Да здравствует свобода!» И дело, как выяснилось, не в дороге — ездят все. А мы не едем, мы живем вне времени и пространства, без имен и обязанностей, лишены и друзей и врагов».

«29 мая...

...Воистину за Москвой все стало видеться иначе. Как будто иной мир. Как-то все мягче, голубее, неопределеннее, тише. Не хочется говорить, дышать. Одно молчаливое присутствие Л. — уже целое состояние. Иногда мне кажется, что она моя ровесница.

Тулу миновали благополучно, и вновь потянулись леса, поля, несчастные наши залатанные деревеньки, и в каждой — свой рыжий безумец и свои испуганные милодоры — предмет страданий моих образованных братьев, жаждавших в недавнем прошлом во искупление собственной вины нарядить этих сеющих, жнущих и пашущих в кринолины и фраки под стать себе самим, чтобы можно было глядеть «в глаза просвещенной Европе»... А нужно ли было все это? Чем кончаются у нас вспышки такой отчаянной любви? Никого уж нет, не осталось, лишь я один пересекаю громадное пространство, а деревни и ныне те ж...

В Твери на закате глупый солдат с флейтой испугал Л. В Москве в сумерках призрак фон Мюфлинга колебался под окнами, подобно дымку над болотом... В нас — кровь, испорченная страхом, делью, апатией, невежеством, черт знает чем; оттого мы все одиноки, безгласны и недобры друг к другу».

Я рассказывал Л. о своем детстве. Мелькали какие-то картинки, размытые отрывки, призрачные детали, надуманные имена, так, ничего толком... Почему-то множество лакеев, один глупее другого («Ага... щас... куды... твалет-с... иде...»), от которых пахло щами и помадой, и еще множество лошадей... Матушка — что-то теплое, розовое, иногда желтое, прикасавшееся сухими губами ко лбу; отец словно крендель, изогнувшийся в кресле, или покачивающийся в седле, похожий на старого орла английской выправки, или возвышающийся за овальным столом в столовой, разглядывающий нас с рассеянным удивлением, или возникающий из мрака в желтом кругу свечи, луны, китайского фонарика, треплющий по головке и исчезающий за тяжелой дверью; в детской — настоящий полковой барабан с палочками и некто безымянный мордастый в белой рубахе, готовый в любую минуту встать на четвереньки и со мною на спине скакать до изнеможения... «А я вам досталась бесприданницей», — сказала Л. неизвестно почему. Или во время краткой остановки на опушке редкого леса вдруг поклонилась до земли и сказала: «Бога ради, простите меня, милостивый государь, что я позволяю себе иногда выкрикивать громкие слова о своей любви к вам. Я знаю, как вас коробит всяческая высокопарность, как она вам чужда. Какой, наверное, смешной и жалкой болтуней кажусь я вам в эту минуту, ибо видно, как вы не можете скрыть брезгливого выражения». И она засмеялась, но после долго отмалчивалась и не казала глаз».

«8 июня...

...Леса поредели. Они кудрявы, прозрачны, бедны, невелики. Увалы, степь, дикая дорога вместо шоссе. С юга дует душноватый ветер, все покрыто глубокой пылью, как, впрочем, и мы сами, и поэтому остановились на почтовой станции, рядом с которой большой ветхий и мрачный постоялый двор. Л. немного бледна от усталости, бедная девочка, но подтрунивает надо мной, бодрится. На наше счастье нашлась отдельная комната в одно окно, в которое лезут гигантские лопухи, в ней — стол и высоченная кровать с набором подушек в разноцветных наволочках. Все на удивление вполне приличное по срав-

нению с северными ночлегами. «Вам придется меня туда укладывать, — сказала Л., — я сама на эту кровать не взберусь». Я пообещал проделать все это в лучшем виде: «Не извольте беспокоиться, сударыня, уложим-с, будете довольны...» Я велел истопить баню и подать обед в комнату. Тем временем Л. принялась хозяйничать в нашем единственном саквояже, чтобы приготовить чистое белье, а я наблюдал, как старательно она копошится. Видно, что это доставляет ей удовольствие. Однако, несмотря на стечение удач, мысли о будущем не перестают меня тревожить. Видимо, возраст уже таков, что невозможно в простоте душевной наслаждаться сегодняшним днем, как это удавалось лет десять — пятнадцать назад.

Со дна саквояжа Л. неожиданно извлекла мой новехонький шестизарядный лефоше¹, о котором я уже успел позабыть. Она протянула его мне и, видя недоумение на моем лице, очень решительно кивнула на окно. Я засмеялся, взял стальную игрушку и сунул его под перину в изголовье. «Мало ли что, — сказала она удовлетворенно, — я не могу рассчитывать только на вашу любовь». Тут я подумал, что и в самом деле в этой первозданной глуши ни от чего зарекаться нельзя, а что касается моей любви, то разбойника ею не запугаешь. Хозяйка прислала толстую заспанную девку, чтобы сопровождать Л. в баню, и господин ван Шонховен, находясь в отличном расположении духа, долго и церемонно со мною прощался, пунцовая и пуская слезу, потому что, как он выразился: «Никто не может знать, что ждет нас впереди. Обнимите меня покрепче, как будто навсегда... Ничего наперед неизвестно...»

66

Едва Лавиния удалилась, как за окном послышались крики, понукания, постукивание колес, и Мятлев вышел во двор, чтобы поглядеть на очередных путешественников.

Пред крыльцом стояла покрытая пылью двухместная карета. Слуга исполинского роста вместе с ямщиком выпрягал потных лошадей. Тем временем из конюшни выво-

¹ Официально пистолет лефоше создан в 1853 году, но один из первых образцов его был подарен князю Мятлеву самим изобретателем еще в 1849-м. — Б. О.

дили свежих. Проезжий, по всем признакам, был лицом значительным, ибо смотритель суетливо носился по кругу, чтобы не было никаких задержек и прочих неприятных неожиданностей. Дверца кареты распахнулась, и из нее показался сначала остроносый ботинок, осторожно нащупывающий ступеньку, затем и вся нога, и, наконец, кудрявый статный господин в просторном дачном пиджаке из серого канифаса, в цветастом жилете и белых панталонах медленно и аккуратно сошел на землю. Он был без шляпы, с легкой тростью в руке, держался без напряжения, вальяжно. Ни следа утомления на породистом, слегка загорелом от дорожного солнца лице, словно он только что вышел из собственной липовой рощи, призываемый мирным семейным самоваром. И хотя он был и внезапен, и необычен на фоне этого дикого пейзажа — пыльной дороги, прокопченного временем постоянного двора, степного выцветшего неба и облезлых, белесых придорожных кустов, Мятлев тотчас узнал полковника фон Мюфлинга. Они сошлись на середине двора, словно разлученные братья, недоумевающий князь и не скрывающий волнения полковник.

— Это вы? — сказал Мятлев. — Кто бы мог подумать!

— Действительно, — нервно хихикнул фон Мюфлинг, — после нашей последней встречи в Аничковом...

— В буфетной, — напомнил Мятлев.

— Вот именно, в буфетной, а теперь в этой пустыне! Мистика... Если бы вы не шагнули навстречу, я бы и не заметил вас. — И фон Мюфлинг с гордой радостью первооткрывателя оглядел князя. — Вы тоже в одиночестве?..

— Да, — сказал Мятлев, напрягаясь неизвестно почему. — То есть нет, я с дамой... (Фон Мюфлинг понимающе кивнул.) Мы вдвоем, тут у нас остановка.

— Понимаю, — сказал фон Мюфлинг сосредоточенно, думая о другом.

— Так, значит, это вас я видел в Москве на Тверской? — вспомнил Мятлев.

— Мистика... Впрочем, почему бы и нет? Да разве это имеет какое-нибудь значение?.. Князь, — вдруг резко и требовательно, словно вознамерившись сообщить нечто чрезвычайное, сказал полковник, и весь подался вперед, и огляделся, однако тут же расслабился и перешел на дружеский шепот: — Когда я уланствовал, у меня был

похожий случай, но мы с моей дамой ехали в Варшаву, а так все то же самое... — И засмеялся с натугой. — Надеюсь, вы не собираетесь жить здесь вечно? Лично я तो роплюсь на воды, но мне не повезло, и я вынужден путешествовать в одиночестве...

Они стояли рядом на самом солнцепеке. Ветер не стихал. На горизонте в пыльном мареве тонула полоска леса.

— Вот как, — сказал Мятлев, — а я подумал, что какой-нибудь новый маркиз Труайя вынудил вас колесить по этим местам...

— Кто такой маркиз Труайя? — наморщил лоб фон Мюфлинг.

Из трубы на крыше баньки уже не курился дымок. Свежие лошади были впряжены в экипаж.

— Пустяки, — махнул рукой Мятлев, теряя интерес к разговору, — Если вы в Пятигорск, то мы встретимся...

— Вы думаете? — засмеялся полковник. — А разве вы...

— Мы держим путь в Тифлис, но в Пятигорске у меня есть интересы.

Фон Мюфлинг вздохнул.

— Я буду вас ждать... буду рад... Я вас встречу... Ведь мы с вами так давно... — И он заторопился к экипажу, как-то странно пятясь и взмахивая тростью, и дружески кивая Мятлеву. Затем из кареты замахал рукой и крикнул: — Так я буду ждать! Уж вы не передумайте!

Лошади дружно ударили об землю копытами, сухая пыль взлетела, экипаж покатила, переваливаясь с боку на бок. Мятлев все стоял посреди двора, провожая взглядом удаляющуюся карету, покуда она не достигла невысокого бугра, вползла на него и вдруг остановилась. Было хорошо видно, как из нее вылез фон Мюфлинг и затрусил к постоялому двору.

«Однако, — подумал Мятлев с легким раздражением, — это уж слишком!» Из баньки показалась Лавиния, сопровождаемая мокроволосой девкой. Фон Мюфлинг приближался. Мятлев, не скрывая досады, шагнул к нему навстречу. Лавиния остановилась неподалеку. Ее волосы были собраны жгутом, щеки покраснелись, глаза были громадны.

— Сергей Васильевич, — крикнула она, — какая радость: я снова вижу вас!..

Фон Мюфлинг приблизился. Он был сосредоточен и

напряжен. Казалось, что сейчас он произнесет нечто чрезвычайное, но он сказал, тяжело дыша, с виноватой улыбкой, как-то неуверенно:

— Князь, так вы точно будете в Пятигорске? Вы уж не меняйте своего решения. Я буду ждать... Видимо, это и есть ваша дама?.. (О! Темно-русые волосы собраны на затылке, большие глаза, резкие брови, заметные скулы. Как странно: с одной стороны, как будто дама и дама, а с другой — просто красавица...) Так я буду ждать... Вы уж поторопитесь, Сергей Васильевич, голубчик, — и тут же резко отвернулся и решительно зашагал к карете.

«Ну вот, — с облегчением подумал Мятлев, — мы снова вдвоем».

Он пошел к Лавинии, которая уже всходила на крыльцо.

— А может быть, нам остаться здесь навсегда? — спросила она.

Ах, Лавиния, банный пар творит чудеса. Его воздействие велико: сосуды расширяются, кровь бежит по ним беззаботней, стало быть, и все органы дышат вольнее, и надежды кажутся горячеей, и неудачи представляются пустячными. Когда облака пара ударяют в лицо, которое перед тем было бледным и испуганным, все начинает казаться иным, и лицо расцветает, и глаза омываются слезами, и очищенные дыхательные пути исторгают счастливые слова, фразы, мотивы, арии... А вы говорите, что будто бы нет надежд. Да господь с вами!

— Вы изменились за время моего отсутствия, — сказала она. — Кто этот человек? Что он вам говорил?..

— Видите ли... — начал было Мятлев, но она, смеясь, приложила свою ладонь к его губам и повела его в дом, распространяя аромат лаванды.

Однако не успели они захлопнуть за собой щелястую, расползающуюся дверь, как вновь послышались характерные звуки приближающегося экипажа. Мятлев выглянул и обомлел. Карета фон Мюфлинга въезжала во двор. Дверца была распахнута, и едва экипаж остановился, как полковник стремительно соскочил на землю и пошел на князя. Он шел, тяжело ступая, набычившись, не поднимая глаз. Лавиния чмокнула князя в затылок и юркнула в комнату. Фон Мюфлинг остановился перед крыльцом. Он трудно дышал. Что-то клокотало в его груди.

— Князь, — медленно и торжественно проговорил

он, — видите ли, князь... — Его трость начертила в пыли треугольник. — Я совсем запамятовал, милостивый государь... в дорожной спешке... — Тут он раскашлялся, вздохнул и протянул Мятлеву исписанный клочок бумаги: — Мой пятигорский адрес... очень меня обяжете...

Так и не взглянув на князя, фон Мюфлинг поклонился и бросился в карету. Кучер свистнул. Гигантский лакей покачнулся на запятках, и все исчезло в облаках пыли.

Поздним вечером, скорее даже ночью, когда, вознесенные под черный потолок, прижатые к нему невероятным щедрым набором старых жестких перин и сенников, они прислушивались, засыпая, к стрекотанию степи, на расстоянии пяти часов езды к югу от них торопливая рука фон Мюфлинга водила нервным пером по бумаге.

«...Моп снег, как трудно сосредоточиться! Представь неуютный, поставленный еще во времена потемкинских вояжей постоялый двор, к которому прилеплена почтовая станция. Представь себе уже не по-майски выгоревшее небо, пыльные вихри, слишком рано пожелтевшую траву, вонь из отхожего места; представь себе мое состояние, состояние несчастного, вынужденного заниматься этой анекдотической погоней за человеком, мне, в общем, симпатичным, беззащитным, беспомощным, едущим неведомо куда, неизвестно зачем, черт знает как... Россия-то побольше одного торжокского уезда, а и там странника найти нелегко. Что ж говорить об этих-то просторах! Но самое отвратительное — мысль, что ведь я все равно его настигну и, сохраняя хорошую мину, буду... должен буду арестовывать, конвоировать... А что же им сказать?! Сгорающая в нестерпимой лихорадке, раздираемый сомнениями, угрызениями, прочей чертовщиной, утешаемый, с одной стороны, мыслью, что, может, бог даст, отправились они в Одессу, и этот жесткий жребий выпадет не мне, а Катакази, поскакавшему туда (но с другой стороны — отчего же это ему такая честь?..). В общем, мучимый всем этим, подъезжаю к вышеописанному кошмарному сооружению, которых успел на веку повидать великое множество и от одного вида которых страдаю пуще, чем от глубоких ран... И что же вижу я? С крыльца сходит князь Мятлев собственной персоной! Он узнает меня, шутит. Я вру, несу всякий вздор, на меня находит оцепенение, затмение, во всяком случае, я не могу выдавить из себя сакраментальную фразу, нарушаю свой долг и сговари-

ваюсь с ним... о встрече в Пятигорске! Почему так — одному богу известно. Сказать по правде, у меня было намерение разом со всем покончить, объявить ему и с богом — в Петербург, но что-то такое произошло, какая-то загадка. В довершение ко всему из грязной баньки вышла сама госпожа Ладимировская, сопровождаемая толстомордой сенной девкой, и проследовала в не менее грязную избу, словно в собственный дворец, сооруженный для нее турецким султаном. Высока, но не более того. Ничего такого, чтобы сходить с ума, хотя князю, как говорится, виднее... Теперь мне придется тарахтеть на воды, чтобы хоть там-то наконец исполнить свой долг. Я обогнал их верст на шестьдесят, пишу письмо и обливаюсь слезами позора и недоумения».

Поручик Катакази, расставшись с фон Мюфлингом, покатила на Одессу, не изменяя своим природным наклонностям и по-прежнему жалея преследуемого князя, вынужденного по милости судьбы мириться со столь тягостным однолюбством.

Строгий, размеренный образ жизни, которого придерживался в дальней дороге поручик Катакази, способствовал сохранению сил и бодрости. На ночь он обязательно останавливался на станции, либо в деревне, либо в гостинице, предварительно убедившись, что его беглецы точно уже тут побывали и, утолив жажду парным молоком, покатали дальше. Затем он проявлял легкую, непринужденную заботу относительно собственных сердечных дел, и дамы всякого сорта, встречавшиеся на его пути, оставались обласканными им и сохраняли в своих сердцах самые трогательные воспоминания.

Для каждой у него были припасены какие-то особенные слова, с помощью которых он без всякого напряжения входил в доверие и превращал свидания в празднества. Что это были за слова и как он их произносил — так навсегда и осталось загадкой, ибо уж если вечная любовь — сложнейшая из наук, то каким должно быть искусство кратковременной страсти! Видимо, природа в избытке снабдила поручика всем необходимым для его сердечных странствий, продолжающихся с юношеских лет.

Однако к чести поручика следовало бы признать, что повседневные успехи не кружили ему головы, как некото-

рым не в меру любвеобильным молодым людям, пользующимся вниманием женщин и склонным преувеличивать свои умеренные достоинства. Поручик собой не гордился, не страдал переизбытком самоуверенности, не строил дальних планов, не вел списка своим жертвам, не плел хитроумных интриг вокруг приглянувшихся ему особ и не соперничал с подобными себе. Его отношения с женщинами были столь же безыскусственны, как собирание грибов и ягод, любовь к хорошей еде, к прогулкам, к мытью в бане, как насвистывание полюбившейся мелодии, как здоровый своевременный сон или светлая грусть о минувшем. И не он, а они сами отыскивали его в пестрой, густой, суетливой и шумной толпе своих расчетливых обожателей, и сами, позабыв о собственных расчетах, устремлялись к нему, в его добрые бесхитростные объятия, поближе к его черным бархатным глазам, ничего не требующим, лишь гостеприимно встречающим каждую из них на пороге истинного блаженства.

«Отриньте свои заботы и расчет, отложите на время сети, приготовленные вами для ваших наострившихся братьев, расслабьтесь. Я ничего вам не обещаю, кроме кратковременной любви, со мной легко, ибо я не жду от вас ни утешений, ни клятв, ни приданого. Во мне нет нужды сомневаться, и меня не нужно обманывать. Я не оскорблю насмешкой, и даже благодарность моя не покажется вам обременительной, а что касается угрызений совести, так их вы не узнаете вовсе...»

И, читая все это в его черных открытых глазах, они действительно забывали на время свои коварные обязанности, чтобы потом вновь к ним вернуться с пчелиной кропотливостью.

От предназначенного свыше тоже нужно уметь отдыхать! Инстинкт самосохранения об этом печется, и те из женщин, которые владели этим инстинктом (а их на земле всегда великое множество), не раздумывая бросались под колеса своей судьбы.

Нескончаемая вереница этих счастливиц, начиная с какой-нибудь деревенской Мерсинды или гостиничной Секлетей и кончая добропорядочной городской чиновничьей вдовой или даже аристократкой, терялась во тьме времен. От юных барышень до немолодых красавиц с мраморными плечами — все откликались на невидимые сигналы поручика.

Был май — самый гармоничный из месяцев, а это означало, что повсюду вокруг торжествует равномерное смешение здравого смысла и врожденного безрассудства, раскаяния и риска.

Так, нисколько не отчаиваясь по поводу затянувшейся поездки, поручик достиг Екатеринослава. Он не сомневался в успехе предприятия, потому что знал, что бирюзовое морское пространство в скором времени остановит и беглецов и его самого. Он был счастлив, что коварный умысел надменного аристократа («А вас не пугает, поручик, перспектива быть выставленным из моего дома?..») так примитивен, и хотя воспоминание о врученной ему в давние времена свободной сумме в триста рублей время от времени шевелилось и настораживало, а пристрастие к земным утехам не покидало ни на минуту, чувство служебного долга уверенно преобладало надо всем этим.

За Екатеринославом, за этим кудрявым прозрачным городом, нависшим над синим Днпром, и случилось маленькое происшествие, нарушившее дорожное благополучие Тимофея Катакази.

Не успел он отъехать и пяти верст от городской заставы, как его внимание было привлечено облачком оранжевой пыли, движущимся где-то далеко впереди в открытой степи. Сердце поручика дрогнуло и забилося, как тогда, на Петербургском шоссе, у въезда в Москву. Предательская слабость, как пишут романисты, разлилась по его телу. Срывающимся шепотом он велел кучеру гнать что есть мочи и через полчаса уже не сомневался в успехе: впереди маячил знакомый экипаж. Расстояние стремительно сокращалось. Видимо, беглецы не видели преследователя: они не торопились. Мало того, их экипаж и вовсе вдруг остановился, и из него вышла уже хорошо различимая госпожа Ладимировская в белом дорожном костюме (приметы совпадали). Презируя погоню, она сорвала какой-то придорожный цветок и по-женски неловко кинула его своему спутнику. Мелькнувшая мужская рука поймала этот изысканный дар природы. Расстояние сокращалось. Пренебрежение к опасности, которое выказывали беглецы, удивляло и даже оскорбляло поручика, да тут еще и сам князь соскочил на землю и принялся кружиться вокруг своей любовницы.

Лихорадочное воображение поручика нарисовало такую картину: остекленевшие глаза Мятлева, трясущиеся губы

юной развратницы. «Очень сожалею, ваше сиятельство, но высочайшее повеление... долг...» — «А что это за долг, поручик?» Тут же отдать ему сто рублей. «Остальное по возвращении, князь... Сударыня, пожалуйста в экипаж...» Или: «Что это за долг, поручик?..» — «Прошу в экипаж, сударь... У меня нет времени для беседы...»

Наконец экипажи поравнялись, и скачка прервалась. Острая боль пронзила поручика: уж не отравленная ли стрела впиалась ему в сердце? Горький, вязкий привкус ошибки растекся по нёбу, налип на зубы, склеил язык. С невероятным трудом поручик выдавил из себя фразу, стараясь выглядеть невозмутимым:

— Не случилось ли вам, господа, повстречать на дороге моих друзей, супругов: она молода, он в очках?.. Она молода, хороша собою...

...Перед ним стоял дородный господин в старомодном сюртуке и клетчатых вздутых панталонах — степной помещик с тупым выражением на мясистом нездоровом лице. Девочка в белом платье, полуоткрыв рот, с жадностью уставилась на бронзоволицего черноглазого седока.

— Вроде бы, — сказал хозяин степей безразлично.

Тимофей Катакази, неучтиво откинувшись на подушки, вялым движением руки тронул экипаж.

...В центре Финляндского княжества, по дороге, проложенной в густом, душном, просмоленном великолепно лесу, медленно брели господин Свербеев и плачущий Афанасий. Колымага их давно развалилась, как, впрочем, и башмаки, однако откровенные следы, оставляемые беглецами повсюду, тянулись по всему пути, и это служило ежедневным утешением. Они двигались медленно, но непреклонно. Впереди была Швеция.

67

Вставная глава

Дворцовые маскарады устраиваются, как правило, зимой. Едва засинеет за окнами, а это, например, в декабре, происходит уже в пятом часу вечера, как тотчас зажигаются свечи и на хорах слышится возня, покашливание, затем — прикосновение смычка к струне, вскрик трубы,

пугливая гамма на флейте, словно не музыканты пробуют свои инструменты, а призрачный нахальный домовый. Обычно в это время в пустынных апартаментах дворца еще гуляет прохладный ветерок, но печные изразцы накаляются все больше, а тут еще ударяет оркестр, и многоликая толпа разливается по дворцу, путаясь в маскарадных платьях, догадках, предположениях, кружась, хохоча, интригуя, пылая, да так, что хочется лбом прислониться к стеклу, хотя бы на краткое мгновение — остынуть, остудиться... Гавот, мазурка, менуэт... Музыка, от которой дрожат хрустальные подвески на люстрах, и кажется, что за окнами уже ничего не существует, и все человечество собралось здесь и, потное, раскрасневшееся, празднует свои успехи, удачи, победы и неведомые совершенства. И быть может, в этом-то и таится прелесть зимних маскарадов: синева за окнами, первый холодок, музыка, громогласная и откровенная, спасительные печи, теплые изразцы, шуршание, и шорох, и грохот, и... непробиваемые дворцовые стены, отделяющие от прочего мира, так что никаких представлений о том, что за ними... Умение видеть далеко не всегда приносит счастье.

Летний маскарад — празднество иного рода. В большом царскосельском дворце распахнуты окна, и каждое подобно яркому фонарю, уже не считая других фонарей и фонариков, колеблющих свой свет по всему громадному парку, по берегам прудов, в беседках, и гротах, и в дуплах вековых вязов, и в неподвижных руках мраморных венер и аполонов, и в дрожащих руках ликующих гостей. И здесь звучит оркестр, но нет в музыке беснования. Природа, то есть земля и небо, все приглушают, гасят, утихомиривают... Темень, полумрак, полусвет, тайна, иллюзия... За каждым древесным стволом — загадка, и если из мрака, из кустов, сопя, отфыркиваясь, бормоча проклятия, соблазняя, взявшись за руки, вдруг вываливаются леший с ведьмой, то сразу, пожалуй, и не возьмешь в толк: ряженые ли это, маскарадные ли, или натуральные, привлеченные празднеством чудовища. Где-то на причудливой поляне в бледном свете зеленых фонарей — вдруг кучер не от мира сего, в шляпе с перьями, с повадками графа Орлова, окруженный толпой русалок, нимф и химер, и хочется кинуться к нему на помощь, отвлечь его, не дать ему погибнуть... И сердце замирает. И начинает казаться, верится, что теперь уж сколько ни идти — и день, и ме-

сяц, и год, — все так же будут звучать и трубы, и флейты, и скрипки, и постукивать барабан, мерцать фонарики, да, сколько бы ни идти — хоть до Воронежа, до Иркутска, до океана, — полутемный парк, раскрашенный, расцвеченный, перенасыщенный уютом, любовью, обещаниями, ароматом ночных фиалок, французских духов, тины в теплых прудах, финских сосен и наслаждения...

— Может быть, — сказал Николай Павлович, глядя в зеркало, — хотя мне уже трудно вспомнить, как я представлял это в молодые годы. Так можно представлять только в молодые годы, когда ты почти ничем не обременен.

Из настенного зеркала на него глядели двое: первый — он сам, из-за его плеча — декоратор Иван Шумский, не во фраке, не в мундире, не в галунах, а в мешковатом вольном скюртуке по последней моде, приличествующей художникам и актерам. Черные небрежные локоны, свисающие до плеч. В их ореоле — круглое лицо с двумя подбородками. В глазах — сосредоточенность и даже вдохновенье, а не подобострастие и ужас ничтожного слуги. Николаю Павловичу это даже как будто нравилось: на Шумском он не испытывал испепеляющей силы своего взгляда. Однажды попробовал, но декоратор не придал этому значения. Государь опешил, даже разгневался, но тут же рассмеялся.

Шумский был ленив и апатичен. Его можно было заечь насмерть, но не переделать. Его поклон, означающий молчаливое согласие, был вежлив, но не более. Он не спорил, не возражал, не пожимал плечами недоуменно, когда вынужден был поступать по капризу или прихоти государя, но лицо его при этом выражало такую скорбь, такая тоска была в его движениях, что легче было махнуть рукой и отступить, нежели обречь его на страдание. Никто не мог соперничать с ним в маскарадном искусстве. Его фантазия всегда поражала даже людей незаурядных. Когда после долгих раздумий, колебаний и вздохов в его маленьких сонных глазах загорался огонь, можно было быть уверенным, что нынешний маскарад превзойдет все предшествующие. Небрежным жестом он швырял своре художников свои эскизы и, тяжело дыша, тучный и молчаливый, неторопливо прохаживался по дворцу и парку, наблюдая, как оживают его гениальные прожекты. В один прекрасный день Николай Павлович вдруг понял, что среди множества маленьких и незаметных его слуг Иван Шум-

ский постепенно занял особое место. Они все были точными и покорными исполнителями чужой воли — Шумский был озарен свыше. Иным из художников лучше, чем ему, удавалось сочетание красок, краски под их кистями горели, ласкали взор и тревожили душу. Цветные фонари по их желанию превращали парк в обитель духов и грез. Разноцветные фейерверки, словно соколы, послушно слетали с их рук и расчерчивали ночное царскосельское небо по узорам, предназначенным ими. Они громче покрикивали на мужиков, пуще суетились, впадали в экстаз, напоминающий агонию. Мелочи и детали, секреты красок и всяческих клеев были известны им от рождения, но мысль их, подобно бабочке-однодневке, взлетала лишь на короткое мгновение, чтобы упасть и тут же раствориться. И они с вытаращенными глазами застывали возле маленьких плодов своего вдохновения, не понимая идеи, объединяющей их разрозненные шедевры.

Главную идею Иван Шумский впитывал с воздухом, шумно и неторопливо. А может быть, пущенные с небес невидимые стрелы беззвучно поражали его, и в его просветленном мозгу выстраивалась геометрическая фигура с квадратным основанием, пронзающая небеса своей острой вершиной, на которой отчетливо просматривался торжественный силуэт императора. В том-то все и заключалось, и этого Ивану Шумскому можно было не втолковывать. Он это ощущал всегда и с помощью своего гения превращал в поучительное искусство. И на этом-то молчаливо и сошлись однажды и навсегда государь и декоратор.

В зеркале Николай Павлович увидел себя облаченным в рыцарские доспехи шестнадцатого века, в шлеме с поднятым забралом. Латы позванивали, и скрежетали, и пригибали к полу, но в их холодном блистании был затаен высокий смысл, разгадывать который и восторгаться которым и стекались к царскосельским угольям вереницы приглашенных счастливцев.

— Как тебе пришла в голову мысль об этом наряде? — спросил Николай Павлович, не скрывая удовлетворения.

— Пришла-с, — буркнул Шумский, поправляя страусиные перья на шлеме.

Один из предшествующих летних маскарадов был покуда на памяти у всех, и не верилось, что Шумский сможет превзойти самого себя. Когда древнеримские колесницы, сверкающие позолотой, медленно влекомые тяжелы-

ми конями, утопающими под козовыми попонами, поплыли через парк от арсенала до эспланады Александровского дворца в озарении ослепительного фейерверка, скопища верноподданных почти расстились на мягкой вечерней английской траве в безвольных позах; почти безмолвное, восторженное, что-то похожее на «Ооо... ууу... а..!», упорное, непрекращающееся лилось со всех сторон и поднималось к небу; широко распахнутые глаза ловили каждое движение Цезаря и его окружающих. Голубая туника Цезаря, возвышающегося в первой колеснице, казалась продолжением небес; венок из благородного лавра обрамлял его высокое чело; пергаментный свиток в руке знаменовал надежды, ради которых склонялись ниц его счастливые дети. Николай Павлович хорошо помнил этот вечер. Ощущение подлинности происходящего не покидало его на протяжении всего пути. Мелькали знакомые лица то справа, то слева, то перед мордами коней. Иногда почему-то глухое кратковременное раздражение начинало kloкoтaть в нем, но тут же гасло, хотя еще долго потом разноцветные фонари казались тусклее, грохот петард заглушал голоса скрипок, благоухание цветов тонуло в кислой вони пороховых ракет... Наверное, думал он, какой-нибудь одинокий, плюгавый, измученный сарказмом человек, какой-нибудь презирающий всеобщее ликование Мятлев укрывается на глухой полянке, кривит рот и притворяется равнодушным... Но толпа дышала глубоко, с благоговением, и жена Цезаря стояла рядом с выражением царственного величия на бледном, усталом и прекрасном лице.

И опять это «Оооо... а... ууу...!». И неведомые существа на тонких ножках (неужто верноподданные?), взмахивая в нетерпении руками, разгибая ветки кустов, бросались из своих укрытий, из облюбленных беседок сюда, к неторопливым колесницам, чтобы ощутить себя причисленными к этому чуду во веки веков.

«Оооо... аааа... уууу!..»

Это был минувший маскарад. Благодаря своему великолепию, а главное, доведенной до совершенства основной идее, он и теперь не казался давним. Еще звенели в ушах скрипки, рожки и трубы, еще мелькали перед глазами ликующие маски и озаренные неверным светом раззолоченные колесницы, еще маячил над всеми и он сам — Цезарь, призванный осчастливить, очистить, возвысить свой горький, мятежный, подбострастный и великий народ... Этот

маскарад не казался давним, а ведь прошло более четырех лет. И вот теперь изрядно растолстевший Ванька Шумский должен переплунуть ту феерию, чтобы еще раз с помощью своего искусства утвердить незыблемость цезаревых установлений.

Рыцарские доспехи были весьма тяжелы. Можно бы было, конечно, использовать облегченные, маскарадные, но Николай Павлович предпочел эти. Вообще, провозглашая что-либо, нельзя выглядеть ненатурально. Толпа должна тебя обожествлять, придворные — подражать и восхищаться, ближайшие сподвижники — понимать и сочувствовать, семья — гордиться. Он создавал все это вот уже четверть века. Выросло новое поколение деловых, четких, несомневающих исполнителей его воли, что же до жалкой горстки безнравственных, озлобленных неудачников, желающих его империи всяческих тягот из врожденного злодейства и духа противоречия, то и им, в конце концов, не останется ничего другого, как сложить оружие...

За окном расстирался парк, еще пустынный. Солнце только начинало клониться к западу. Вдали у розовых кустов, подстриженных расчетливой рукою, виднелась женская фигурка в наряде небесного цвета, неподвижная и ненатуральная. Желтый зонт в ее руке походил на цветок. Она стояла так уже давно, будто в забытьи. «Кого-то ждет, — предположил Николай Павлович. — Вот дура. Думает, что если за кустом, ее уж и не видно». Под самым окном два гордых рыцаря в сверкающих доспехах вели неторопливую беседу в тени столетней липы. Откинутые забрала открывали красивые, точеные, мужественные лица беседующих. Жесты их были изысканны и легки. Казалось, что их доспехи сооружены из бумаги. Николай Павлович поднял руку, с трудом преодолевая тяжесть металла. Пять лет назад он не придал бы этому значения, ныне же грозные признаки наступающей старости нет-нет да и напоминали о себе. А ведь как будто молодость и не проходила! Да вот уж старший из сыновей, Александр, пребывает в возрасте Христа и, стоя там, в тени липы, изящным движением руки, одетой в железо, сопровождает беседу. Даже Константину, стоящему рядом с братом, минуло двадцать четыре... Какое расстояние!..

— Послушай, Шумский, — сказал Николай Павлович, — какую музыку ты предполагаешь там, на эспланаде?

— Кадриль-с, — заявил декоратор, не раздумывая.

— Какая глупость,— сказал Николай Павлович, раздражаясь невесть с чего, — кто же это тебя надоумил? Да спросить любого кавалериста — будет смеяться...

— Не будет,— упрямо вздохнул Шумский.

За окном слышался смех. Женщина в небесном стояла все так же неподвижно.

«Скоро я умру, — подумал Николай Павлович, — а они будут жить, и я этого не увижу. Как они будут жить, что будут делать — для меня останется тайной. Александр мягковат, его воспитывал поэт с восточной кровью в жилах и негой во взоре... Среди прочих необходимых качеств он воспитывал в наследнике великодушие...»

Тут он вспомнил своего собственного воспитателя — генерала Ламсдорфа. Генерал был суров, жесток и вспыльчив. Его главной задачей было выбить из маленького великого князя дух непокорности. Розга была его главным инструментом. В результате картина получалась довольно странная: генерал сек Николая Павловича, превращая его в совершенного солдата, матушка же пыталась отвлечь сына от фрунта, ибо замечала, что чем больше его секут, тем более он становится приверженным к военным наукам. В поединке розги с вдовствующей императрицей розга взяла верх. С отвращением вспоминая разъяренную физиономию своего бывшего воспитателя, Николай Павлович понимал, что его безжалостную руку направляло провидение. Судьба государства, в конце концов, определялась не поэтическими пассажами Василия Жуковского, а мощью армии, которую он, самодержец, битый розгами в детстве, создавал на страх врагам. Конечно, Александр — весьма достойный офицер и, несмотря на мягкое и кроткое влияние на него Жуковского, воспринял военное искусство с должной любовью и тщанием, хотя... позволял себе утверждать иногда с непонятным упрямством, что армия увлекается фрунтовыми упражнениями, когда для нее важнее не парады, а заботы о новейшем оружии и умении его применять. Николай Павлович однажды резко заметил, что фрунтовые учения и парады не блажь, а необходимость, придающая толпе стройность, воспитывающая послушание, доверие к командиру и жажду подвига.

Женщина в небесном по-прежнему пребывала в неподвижности, на что-то уповая. Похоже было, что она молода, тонка и, очевидно, самоуверенна. Таким обычно кажется, что жизнь вечна, что можно, не считаясь со временем,

стоять у розовых кустов, ни о чем не заботясь. И ему захотелось подойти к окну и, усмехаясь, спросить сыновей: «Господа, а не одного ли из вас дожидается у кустов во-он та дама?»

«Что же будет, когда я умру? — подумал Николай Павлович. — Что задумали те, кто останутся? Неужели успехи государства не доказывают моей правоты?.. Чего они хотят, кивая мне и одобряя меня?..»

Раздражение усиливалось, всплывая со дна души. Еще минута — и оно начнет выплескиваться, и тогда случится самое неприятное: ему предстанут сострадающие лица сыновей, и Шумский косолапо пустится в ленивое бегство, и намеченный праздник будет отменен с удобным разъяснением, и все переменится, лишь та самоуверенная незнакомка с желтым бесполезным зонтом в руке будет неподвижно и упрямо рассчитывать на какие-то свои выгоды... Пришлось напрячься, собрать всю волю и укротить недоброе клокотание гнева. Впервые ли?..

Кстати, та незнакомка в наряде небесного цвета исчезла. Александр слушал брата с игривой улыбкой. Этот высокий красивый рыцарь был отменно вылеплен и смягчен Василием Жуковским не без императорского благословения. Да разве кто вспомнит об этом? И кто сможет впоследствии объяснить сие, а кроме того, горькие рыдания семилетнего Александра, узнавшего, что он — наследник? Он плакал не по-детски, строго, и тихо, и бессильно, сидя в углу на корточках и положив маленькие кулаки на колени, и отец, не понимая причины этих слез, все-таки не посмел пожелать ему в наставники какого-нибудь нового Ламсдорфа. Злые языки нашептывали тогда, что наследник не жилец, а он выжил. Вот он стоит сейчас под окном, улыбается брату, правда не такой твердый и властный, как хотелось бы, но достаточно зрелый, рассудительный и уже позабывший о своей детской печали.

Николай Павлович успокоился и даже предположил на минуту, что беседа братьев касается женщины. Ему даже захотелось приблизиться к окну, чтобы сыновья заметили на его лице понимающую усмешку, но Шумский что-то все закреплял у него на спине, сопя по обыкновению, да и Николай Павлович вдруг вспомнил недоумение старшего сына по поводу приказа об аресте Мятлева. То есть самого князя Александр презирал, и заслуженно, но никак не мог понять суровости кары. И Николай

Павлович в который уже раз произнес про себя речь, обращенную к старшему сыну, которую ни разу не решился произнести вслух: «Разве тебе неизвестно, что всякий человек, мужчина или женщина, бросивший вызов обществу, попытавшийся преступить нравственные границы, установленные природой этого общества, веками, богом, не может остаться безнаказанным, и мое распоряжение в данном случае — не каприз, а выражение этой высшей воли, и если ты когда-нибудь вознамеришься в подобном случае руководствоваться порывами своей души, ты тотчас уподобишься тому печальному властителю, который пытался запретить скоту пожирать цветы в поле, потому что они красивы...» Но он никогда не решался произнести эту речь вслух, ибо понимал, что это — оправдание, да и только, что эту речь можно произнести перед сенатом, наперед презирая его молчаливое согласие, а сын вежливо скажет: «Это истинная правда». И это будет ужасней, чем возражение.

— Долго ли ты будешь там сопеть? — спросил он недовольно.

— Как могу-с, — непочтительно ответил Шумский. — Порядок требует.

Что было возразить? Декоратор знал, как ответить.

Солнце уже скрывалось за деревьями. Проскрипела телега, полная бочек и ящиков, сопровождаемая сосредоточенными фейерверкерами.

— Готово-с, — сказал Шумский.

Император сделал шаг и усмехнулся.

— А ежели я упаду, а, Шумский?

Декоратор отмолчался. Николай Павлович подошел к окну вплотную и представил, как он будет выглядеть из парка в обрамлении оконной рамы. Он подумал, что мог бы обратиться к сыновьям с какой-нибудь полушутливой фразой, сказать, например, что-нибудь вроде: «Близится час испытаний. Готовы ли вы, господа?» Или: «А где же наши дамы?», подразумевая Александру Федоровну и старших дочерей, спешно примеряющих маскарадные туалеты в другом конце дворца, или просто кашлянуть, чтобы сыновья обернулись, и помахать им тяжелой железной рукой, или погрозить пальцем, или поманить их и прошептать им что-нибудь смешное, по-мужски доверительно... Но доспехи обязывали к иному. И чем ближе подступала минута праздника, чем резче становились тени, тем мно-

гозначительнее выглядели тяжелые одеяния, и предстоящий выезд обретал уже государственный смысл, ибо праздничная толпа должна не только насладиться лицезрением своего властителя, но и впитать в себя источаемые им веру, нравственность, мужество и почитание долга.

В восемь часов, как и предполагалось, августейшие всадники были уже в седлах. Позабыв о своих земных пристрастиях, отринув дотоле волновавшие их чувства, с хладнокровием и строгостью, достойными богов, они были готовы к предназначенной им роли. Усаживавшие их в седла служители, флигель-адъютанты, генералы свиты — вся эта улыбающаяся, кланяющаяся, благоговейщая, согласная армия с почтением отступила на шаг и застыла, как и подобает, ожидая, когда начнется сей исторический выезд. Француз-художник Горас Вернье, отступивший вместе со свитой, прицеливался издалека, и в его безумных глазах отражалась вся императорская семья, какой она должна была предстать пред современниками.

— Я хочу, чтобы господин Вернье запечатлел этот выезд, — сказал Николай Павлович, не оборачиваясь к французу.

Торопливость, с которой художник прикоснулся кистями к полотну, сказалась на сюжете. Константин Николаевич был почему-то изображен не в рыцарских доспехах, как это было на самом деле, а в обычном одеянии средневекового молодого человека, в мягкой шляпе с перьями, которую он приподнял, почтительно выслушивая отца. Сам Николай Павлович, с лицом усатого юноши, картинно вытянул правую руку, указывая направление движения; рядом на белом коне — Александра Федоровна в наряде амазонки; с левой стороны от государя гарцевал закованный в латы Александр Николаевич; в глубине расположились, тоже на конях, великая княжна Ольга Николаевна и Санни; в правом же углу, одетый в рыцарские доспехи, неожиданно возник герцог Лейхтенбергский, хотя на маскараде отсутствовал.

Вдохновение художника оказалось слишком робким, творческое воображение — ничтожным, душа — неместительной. Правда, все были узнаваемы; лошади, доспехи, женские наряды выглядели натурально. Поэтому изображенные на полотне сгоряча одобрили искусство Гораса Вернье, но спустя много лет нужно было обладать сильным воображением, чтобы, глядя на это невыразительное тво-

рение, уметь домыслить его и представить минувший маскарад в его истинном виде.

Кстати, маскарад, против ожидания, совсем не удался. Рыцарский выезд был поначалу принят за толпу актеров, а уж потом извинительное неистовство прозвучало столь неправдоподобно, что впору было высечь самых отчаянных за фальшь и глупость... Видимо, что-то произошло... Что-то как будто переменялось...

Злополучное полотно в богатой раме долго переселялось из Зимнего дворца в Александровский, оттуда — в Большой Царскосельский, осело, наконец, в Гатчинском и было забыто.

68

Еще усталая равнина поражала взор ковылем и пылью, но уже в дыхании южного ветра ощущалось преддверие эдема. По вечерам подозрительные миражи являлись беглецам, и чья-то угодливая кисть, не жалея красок, кропила горизонт, создавая волшебные линии синих прохладных гор, изумрудных лесов, пунцовых маков, уродливые, изогнутые силуэты тенистых чинар над светло-зелеными водопадами, и все это окутанное резким, горьковато-сладким, счастливым, неторопливым запахом перепревшего прошлогоднего кизила, овечьего сыра, грецких орехов и кизяка; и даже слышался непрерываемый, постоянный, необъяснимый звук: может быть, от засыпающей степи, а может быть, от водопадов или даже от тяжелой арбы, хотя это мог быть звук и охотничьего рога, или зурны, или даже восхищенного человеческого голоса.

Окончательно распатавшийся экипаж полз из пункта А в пункт Б. В экипаже, влекомом тройкой (как и полагалось по почтовому расписанию) степных равнодушных долгогривых лошадок, сидели двое — мужчина и женщина. Он был уже не молод, в сером дорожном помятом костюме, в мягкой шляпе, сползшей на лоб. Из-под ее полей посверкивали очки. Ветры, зной и превратности долгой дороги вдоволь потрудились над его лицом, но, огрубив его, придали ему еще больше мужественности, что в сочетании с врожденным благородством указывало на принадлежность мужчины к тому кругу потомственных петербуржцев, которым все дозволено. Однако линия судьбы, едва заметно выраженная на его ладони, но весьма отчетливо и

резко пересекавшая его высокое чело, говорила не только о множестве бурь, с которыми ему приходилось иметь дело, но и о том, что его бескрайние права и привилегии— всего лишь рождественская иллюзия, потому что определяют свободу и счастье не они, а возможность без них обходиться.

— И все же да здравствует свобода!— сказала Лавиния упрямо.

Был ли он счастлив, этот перезрелый господин, пренебрегший соблазнительными сладостями фортуны ради одной, неясной, рассыпающейся, ускользающей и, по всему, коварной надежды? И не было ли его настойчивое стремление из пункта А в пункт Б наглядным подтверждением известной истины, что наши поступки определяются не нашими прихотями, а непознаваемым расположением небесных тел?

— Вы забыли упомянуть о спутнице, — сказала Лавиния.

...Его спутница была молода и прекрасна. Конечно, подобное определение могло бы показаться банальным, когда б не сознание, что слов, достойных выразить ее внешность, в природе просто не существовало. Ее громадные серые глаза, вызывающие представление о бездне, были постоянно устремлены на спутника, и он, отражаясь в них, мог с прозорливостью, доступной лишь избранным, судить о своем божественном выборе. Ее темно-русые волосы, скрученные на темени узлом, придавали ее облику сходство с той самой изваянной из мрамора и оживленной стараниями гения дамой, на которую молились одновременно и отцы и дети.

— Какое бремя вы возлагаете на мои плечи, — сказала Лавиния. — Это уже выше моих сил. Опомнитесь...

Он умолк. Она прижалась к нему, как обычно, тесно, найдя себе место у него под рукой. Грядущий эдем приближался, приобретая все более и более реальные очертания. Экипаж заметно сдавал. Скрип его был подобен стону, который уже не затихал, даже когда прекращалось движение. На остановках возница с отчаянным видом все что-то подвязывал да подкручивал, еще лелея надежду доползти до Ставрополя. Иногда их обгоняли ладные домашние коляски, в которых еще все было прочно, продумано, приурочено, не в пример их казенному почтовому ящику. И из этих благополучных гнезд выглядывали усталые, но доволь-

ные путешественники, торопящиеся на воды с чистой совестью избалованных детей. Они махали руками понурой тройке, выкрикивали слова сочувствия и любви, словом, вели себя так, как всегда ведут себя счастливые путешественники, не знающие за собой вины.

Мятлев, внезапно холодея, подумал: «Что я делаю? Куда я ее везу? Что я могу обещать ей? Как бы птица ни любила полет, она не может лететь вечно...»

— Вы вздрогнули, — сказала Лавиния, не открывая глаз.

Он не ответил.

— Не бойтесь, — сказала она, — все будет хорошо.

Уже был полноценный юг. Прохлада приходила лишь ночами, даже скорее на рассвете. Бань давно не было. Однажды они окунулись в медленную мутную незнакомую речку с тусклой, непрозрачной водой. Странная, непреходящая усталость сковывала их. Необходимо было остановиться на несколько дней, чтобы привести в порядок тела и души, но остановиться было уже негде. Постоялые дворы перестали встречаться. Редкие станции были тесны, грязны и негостеприимны. В отличие от наших беглецов бывалые путешественники двигались на воды, снаряженные с дотошностью опытных исследователей пустынь. На ночь слуги ставили шатры, повара готовили ужины, горничные заботились об удобных ложах, из сундуков выпархивали хрустящие простыни, крахмальные скатерти, столовое серебро, фарфор, курительные трубки, карты, книги, гитары... У них же не было ничего, и Мятлев устал втайне поносить себя за легкомыслие и молил бога, чтобы чего не случилось и чтобы судьба подарила им передышку в каком-нибудь неожиданном оазисе. Он смотрел на осунувшееся лицо Лавинии, на ее пересохшие губы с содроганием и страхом, однако молодая женщина держалась молодцом, ибо долины, в которые они въезжали, хоть и пылали жаром, все же были преддверием долгожданной земли, где ждали их покой и отдохновение.

В середине томительного дня Лавиния внезапно заснула. На лице ее дрожали капельки пота. От ее тела исходил жар, так что сорочка Мятлева стала влажной. В какой-то полуверсте, уже не призрачный, а явный, зеленел лес, и уже доносилось оттуда благополучное пение птиц, и прохладные чистые лесные реки вот-вот должны были открыться взорам... Под скрип усталых колес избавление

приближалось, но Лавиния пылала все сильнее. Стояла невыносимая жара. Мятлев провел по ее лицу ладонью — пот был густой и вязкий. Вдруг она спросила:

— Где ваш лефоше?.. Места глухие, князь, того и гляди... — и одарила его печальной гримаской — все, что смогла выдавить вместо улыбки. Она смотрела на него издали, из чужой страны, сама чужая; губы покрылись корочкой пустыни; бесполезная рука свисала плетью. Мятлев велел остановить гибнущий корабль и на руках понес ее в тень. Она была горяча, как неостывшая головня, и обжигала ему руки. Не было ни еды, ни питья, ни лекарств, ни лекарей. Возница, словно пустая фантазия, трагически присел у колеса. Шумели пчелы.

— Бедный Сергей Васильевич, — сказала она едва слышно, — это я во всем виновата.

Он уложил ее на свое пальто, прикрыл сюртуком.

— Ваше благородие, — сказал возница осторожно, — у барыни-то горячка...

Мятлев отправил его за водой, и мужик неторопливо поплелся в заросли. Мятлев ждал в оцепенении. Лавиния лежала неподвижно. Воды все не было. Понурые степные лошадки безуспешно пытались дотянуться до травы. Князь расслабил на них упряжь и был рад увидеть, как они дружно уткнулись угрюмыми мордами в молодую траву, захрупали откровенно, по-человечески вздыхая. Возница не возвращался. Поминутно оглядываясь на спящую Лавинию, Мятлев двинулся в лес. Там, в зарослях, бесшумный, как змея, сверкал спасительный ручей, обрамленный густой травой. На траве, возле самой воды, спал возница, беспечный как дитя, и веселый паучок уже раскручивал серебряную нить в его короткой бороде. Кривоногий сын степей с пухлыми губами Фонарясия, не приученный природой делиться с ближним, был отличной мишенью для благородного лефоше. Как этому душегубу удалось проснуться, одному богу известно. Он увидел перед собой бледного разбойника в грязной сорочке из тонкого голландского полотна с новехоньким пистолетом в руке... и проворно встал на колени.

— Ваше благородие... виноват... сейчас за котелком сбегаю, — и пополз по траве подобно ящерице.

Мятлев попробовал рассмеяться — не смог. Напился с жадностью из ручья. Шумели пчелы. Он вспомнил, как с пистолетом в руках ворвался в каморку к Афанасию,

схватил письмо Лавинии и, грозя перепуганной Аглае смертельной игрушкой, взлетел к себе на третий этаж... Возница не возвращался. Мятлев ринулся сквозь кусты, потрясая пистолетом; Лавиния по-прежнему спала, пунцовая от жара. Не было ни возницы, ни экипажа. Грустный саквояж валялся на траве. А день начинал клониться к вечеру, и Мятлев застыл в отчаянии от унижительной беспомощности перед распростертым, пылающим, жаждущим спасения телом господина ван Шонховена, и он уже было вознамерился нести ее на руках, покуда не встретится помощь или кончатся силы, как вдруг послышалось фыркание лошадей, скрип рессор, и из зарослей медленно вышел фон Мюфлинг, одетый с иголки, свежий, благоухающий, бронзоволицый, переполненный озабоченностью и состраданием. За ним, готовый на подвиг, выступал преданный Гектор.

— Ну вот, князь, — сказал фон Мюфлинг, — я как предчувствовал, что у вас несчастье, и почти загнал лошадей. Вижу, что успел вовремя...

Мятлев плохо понимал, что к чему. Что-то похожее на комариный писк безраздельно господствовало в воздухе, а может, в душе, вызывая ощущение тревоги.

К вечеру они добрались до передовой крепости Кавказской линии, показавшейся Мятлеву совершенством. В прохладном доме коменданта крепости полковника Курочкина им отвели две комнаты: одну — для Лавинии, соседнюю — для князя. Фон Мюфлинг расположился на антресолях. Младшая дочь полковника, сухощавая барышня лет двадцати с редким именем Адель, с решимостью бывалого гренадера взялась за спасение Лавинии.

— Полковник — мой старый знакомый. Здесь мы будем как у Христа за пазухой, вот увидите... Отдохните, придите в себя, а там и поговорим, — сказал фон Мюфлинг многозначительно.

Полковник был в отъезде. Домом, после смерти матери, правила старшая дочь Серафима. Это была высокая, довольно полная молодая дама, круглолицая, мягкогубая, улыбчивая. Не успели путники устроиться в доме, как им уже стало известно, что ее девятнадцати лет насильно выдали замуж за красивого немолодого, сильно пьющего капитана. Серафима не смогла преодолеть армейской власти покойной матери. Была свадьба с полковым оркестром. Вскоре после смерти матери как-то там выяс-

нилось, что у капитана — семья в Тамбовской губернии. Был скандал, Серафима лениво вытолкала обманщика из дому и, улыбаясь, долго глядела ему вслед.

— Вообще, — сказала она с улыбкой, — в нашем городке видимо-невидимо чудес. Вы еще насмотритесь. Вообще тут у всех так все перепутано, что понять ничего невозможно. Мне-то что, я своего вытолкала, и слава богу, это все мелочи, а вот у других — чтооо вы... Один ушел, другой нашелся, третьего на воровстве поймали, четвертого убили, одна жена — и не жена вовсе, другая с архитектором сбежала... Как в жизни...

— Почему именно с архитектором? — спросил фон Мюфлинг рассеянно.

— А с кем еще? — удивилась Серафима. — Вообще выбирать не очень приходится... Еще вот Аделина наша на всех фыркает по молодости, а я ей: ой, Аделина, дофыркаешься, гляди. Вообще, господа, городок у нас маленький, военный, а интересного много. У всех все не так, совсем как в жизни... И ничего не поделаешь...

Кухарку посылали за лекарем, но лекарь оказался пьян, и добудиться его не удалось.

— Ах, оставьте, — сказала Серафима с ленивой улыбкой, — это напрасная затея — разбудить нашего лекаря. Вообще он хороший лекарь и мужчина красивый, даже в Петербурге жил, но теперь потянулся к вину. Тут у него одна история случилась, и он запил... Вообще без причины никто не пьет... Хотите, расскажу?

Тут вошла Адель и решительно заявила, что, ежели лекаря нет, надо лечить самим. На сестру она не походила вовсе. Была стройна, губы имела тонкие, алые и улыбаться себе не позволяла. Обычно Мятлева отвращали этакие провинциальные откровенности, но тут, после удушливой голой степи, горячки, отчаяния и безысходности, все казалось сном, и голоса звучали трогательно и странно, как награда за недавние страдания.

— Вообще, — сказала Серафима, — мы горячку сами лечим медом, сушеной малиной, в бане парим, а лекаря — это уж так, как говорится, ради гостей...

Лавинию напоили горячим чаем с сушеной малиной, растерли водкой, прикрыли двумя непробиваемыми перинами, и она вновь погрузилась в горячее забытие.

— Вообще, — сказала Серафима, лениво улыбаясь, — у нас еще не было князя из Петербурга. Был, правда,

один князь, поручик, но он из Тулы откуда-то, а из Петербурга не было... и я не видала никогда... Нам это очень лестно — принимать вас у себя в доме. Жаль, что княгинюшка ваша расхворалась.

— Бедняжка, — сказал фон Мюфлинг, — ей не повезло... — И живо оборотился к Мятлеву: — Ведь все было как будто ничего, удачно, а тут вдруг такое... Но вы, ваше сиятельство, были на высоте.

— Ужасно, — проговорил Мятлев, — если бы не вы, полковник, и если бы не вы, — сказал он Серафиме, — не знаю, не знаю...

— Как приятно звучит ваше сиятельство, — сказала Серафима, — ваше сиятельство... У нас в доме это еще не звучало. Вообще Адель очень рада вашему приезду. Можно даже устроить бал. Вообще-то мы на рождество устраиваем, но можно и сейчас. У нас и оркестр хороший, и дамы... — она лениво улыбнулась, вспоминая, вероятно, музыку на собственной свадьбе. — Можно все украсить, побольше свечей, если вам захочется, конечно.

Мятлев едва дотащился до своей комнаты, с трудом разделся, лег и вдруг понял, что заснуть не сможет. Все раздражало, заставляло вздрагивать. То слышалась отдаленная ленивая речь Серафимы, то гренадерские шаги Адели, то звяканье ложки в стакане, то вдруг чье-то массивное тело за самой дверью тяжело сползло на пол. В распахнутое окно вместе с призрачной прохладой вливались подозрительные звуки ночи, над головой продолжалось мягкое непрекращающееся вышагивание фон Мюфлинга. Петербург существовал лишь в воображении. Его не было. Не было трехэтажного дома на Невке, Александрины, Натальи, госпожи Тучковой — ничего. Жизнь началась в почтовом рыдване в незапамятные времена и продолжается вместе со свойственными ей утратами и потерями. Даже поездки десятилетней давности — вот по этой дороге, мимо этой самой крепостцы — не было, ибо повар и лакей по имени Афанасий были непозволительно великодушны с еще счастливым кавалергардом. Мятлеву захотелось пробраться в комнату Лавинии и во искупление вины прижать ее горячую голову к своей груди, и он даже присел в кровати, но в комнате больной кашлянула неподкупная Адель, и пытаться было напрасно. Тогда он зажег свечу, извлек из саквояжа затрепанную книжку Марка Аврелия, однако изысканное спокойное

мудрствование римлянина показалось ему на сей раз на смешливым и пустым. Хотелось целебных сочетаний слов, но их не было. «Ну ладно, — сказал он самому себе, — в конце концов, все наши трагедии — всего лишь соединение мелких неудачных обстоятельств; их острота относительна: в этом доме тоже живут, и не подозревая, что можно страдать от наших пустяков... В конце концов, жребий брошен...» Но это не успокоило. «Я должен взять себя в руки, — сказал он самому себе, — я клянусь, что буду мужествен и тверд, как это мне и суждено!» Но это не успокоило. Внезапно за дверью Лавиния произнесла с душераздирающей внятностью: «Я очень рада...» И тут Мятлев уже не стал дожидаться, а с нелепой торопливостью оделся и распахнул дверь.

Сияло несколько свечей. Адель стояла у кровати больной подобно восковому истукану. Мужчина в черном сюртуке прижимался круглой головой к груди господина ван Шонховена, словно что-то искал в складках ее ночной одежды. И хотя Мятлев тут же догадался, что это долгожданный лекарь, что-то давнее, неотвязное, мучительное сковало его, какое-то укрытое временем безумство, счастье, надежда, катастрофа, что-то необъяснимое, как линия судьбы, неточное, звучащее невпопад...

— Все страшное позади, — сказал лекарь хрипло, — кризис миновал. — И он обернулся к Мятлеву.

— А приходить надо, когда зовут, а не когда вздумается, — жестко наставила Адель и сказала Мятлеву: — Лекарь Иванов в самом похмелье.

— Иванов? — глупо удивился Мятлев.

— Иванов, — подтвердил лекарь не очень любезно, и сильный дух перегара заklubился по комнате, — приказали бы кухарке, — попросил он Адель, — что вам стоит? Там у вас есть такая, на чесноке... Господибожемой! — простонал он. — Сколько унижений!..

— Иванов? — переспросил Мятлев, уже обо всем догадываясь, и посмотрел в потускневшие от пьянства голубые немецкие глаза лекаря.

Наступила тягостная тишина. Вместо трех свечей одна освещала комнату призрачным сиянием. Лекарь топтался на месте и не уходил, будто собирался задавать вопросы. Благородный лефосе оттягивал карман княжеского сюртука.

— Я поправляюсь, — сообщила Лавиния, тщетно пытаясь понять происходящее.

Руки у Мятлева дрожали, и дух захватывало.

— Как это благородно с вашей стороны, несмотря на ночь, не отказаться от визита, — сказал он с ледяной учтивостью.

— Да ради рюмки он и до Москвы доползет, — сказала Адель и указала лекарю на дверь.

— Ну уж и ради рюмки, — обиделся Иванов.

Время позаботилось исказить черты этого человека, но короткая шея, но дотошность, с которой он припадал к больному телу, и этот неукротимый затылок, и узкий лоб...

— Я обратил внимание, как ловко вы прослушали больную, не прибегая к помощи трубки, — проговорил Мятлев срывающимся голосом, — это дается, вероятно, большим опытом?

— Да он, наверное, пропил трубку, — беспощадно пояснила Адель. — Он все пропивает...

— Господибожемой, — снова вырвалось у лекаря, — какое унижение!

...Но эти выцветшие нынче глаза, разве не они в те давние времена были преисполнены жаждой подвига? И разве тот поединок, тот открытый бой походил на эту жалкую, ничтожную, беспомощную, бесполезную склоку?

Лавиния приподнялась с тревогой. Мятлев кивнул ей, успокаивая. Адель дернула лекаря за рукав, и он вывалился из комнаты.

— Мы встречаемся с очень интересными людьми, — усмехнулась Лавиния. — Один другого интереснее.

В комнату вошла заспанная, улыбающаяся Серафима.

— Вообще, — сказала она, — ему доверять не нужно. Он вам такое наговорит, что с ума сойдете. Он уже, наверное, рассказал, что его жена утопилась?..

— А она утопилась? — выдавил Мятлев.

— Господи, — улыбнулась Серафима, — дура она топить? Она уехала с архитектором, я же вам рассказывала, и письмо оставила... Вообще все было очень просто, как в жизни. А он, Иванов, от стыда, что ли, придумал это, что она утопилась, потому что ее жизнь сложилась не по-человечески, и он не мог уже ничего исправить... Он всем приезжим рассказывает, как он даже видел ее тело на дне реки, но добраться не успел — течением его отнесло... Он мальчишкам первое время даже по гривеннику давал, чтобы они ныряли и искали, и теперь иногда дает... А вы поверили? Господь с вами...

— Куда же она уехала? — спросил Мятлев, глядя в пространство.

Серафима лениво улыбнулась и взмахнула рукой, что должно было означать некое расстояние, достаточное для столь обычной истории.

— Вообще, — сказала она, — Адель его жалеет. Если б не она, я бы его и на порог не пустила, а она жалеет. Вот они сидят на кухне, он пьет и рассказывает ей, как та топилась, как из дому побежала через сад, среди кустов, а у него и сада нет, вот он рассказывает, а она слушает, и так всегда. Она из жалости может замуж за него пойти, очень возможно...

— Она добрая, очень добрая, — сказала Лавиния. — Просто не знаю, что бы такое ей подарить, — и посмотрела на Мятлева.

— Вообще, — сказала Серафима как простодушное дитя, — подарите ей что-нибудь из вашего гардероба, ей будет приятно.

Уже вставало солнце. Лавиния спала, и недоумение на ее осунувшемся лице говорило, что сон захватил ее внезапно. За окнами кудрявилась сирень. Кричал петух протяжно и легко. До Петербурга было далеко — до прошлого рукой подать, да лень...

Мятлев вышел из комнаты. У самого порога на шинели спал могучий Гектор. Мятлев не придавал этому значения. Из кухни доносились голоса. Афанасия не было. Никто не кинулся ему навстречу с дурацкими услугами. В маленьком садике полковничьего дома распускались надменные нарциссы, и гигантские ромашки — дочери степей — напропалую соперничали с ними. Мятлев присел на укывшуюся в кустах скамью, и тут же бесшумная, как привидение, рядом с ним оказалась Адель. Днем она выглядела еще строже, еще тонкогубее.

— Вы Серафиме не верьте, — сказала она наставительно. — Та и впрямь утопилась...

«Черт, — с досадой подумал Мятлев, — надо скорее уезжать!» И спросил:

— А она была хороша?

— Наверное, когда-нибудь и была, — сказала Адель, — то есть в Петербурге, конечно... А здесь... а сюда больная приехала от тяжелой жизни.

— А он?

— Ну что он? Он ее на руках носил, гулять водил, с ложечки кормил, им все завидовали. У нас ведь нравы армейские, а они были словно нарисованные...

— А она?

— Ну что она? Поправилась. Ей-то что? Читала книжки, гуляла, ему не перечила, кивала, как кукла, и он запил. У нас ведь это просто, без этого нельзя, и вот он запил.

А он-то смел подумать, что прошлого уже нет, что, нарисованное могучим воображением отчаявшегося безумца, оно тотчас и растаяло, едва почтовая карета оставила за собой первую полусгнившую полосатую версту. Способность обольщаться до добра не доводит. Неужели нет иного средства от катастроф, кроме сухих тонких губ, безразличия и вечного сомнения?

— ...Он запил, — продолжала Адель, — хотя никто этому не придавал значения. У нас ведь нравы-то какие? Ах, вы в кавалергардах служили? Ну это очень благородно, там нравы совсем другие, а здесь, например, приказ — и все отправились на линию, это значит воевать с горцами... Вот и все. А уцелеет половина, вернется, грязные, злые, и ну пить... И он пил...

— А что же она?

— Ну что она? И она с ним... И так они тихо пили, покуда это не случилось.

— А откуда же взялся архитектор?

— Как откуда? Он здесь строил здание под штаб. И к ним заживал. Построил и уехал, а она утопилась в тот день как раз, то есть утопилась, а он как раз и уехал. А Серафима нарочно рассказывает, что та сбежала, и Иванова в том убеждает, мол, он, Иванов, довел ее до этого. И так она его унижает, чтобы подчинить его, чтобы он на ней женился и увез бы ее отсюда куда-нибудь, где другие нравы...

Ей показалось, что он усмехнулся. Гордая как изваяние, почти надменная, поднялась она со скамьи и, презирая столичных удачников, молча удалилась. Это могло бы вызвать еще большее желание рассмеяться, когда бы не все предшествующее. Ясное солнце не рассеивало тумана в душе, потому что оно всегда — для всех, а бури — только для избранных. Сожаления были бесполезны, сетования, пуще того, вредны. Там, в полумраке бедной ком-

наты, тщательно и безвкусно обставленной из одного протеста против грязи этого равнодушного военного лагеря, спал господин ван Шонховен, возвращенный к жизни. Когда болезнь окончательно минует, и лицо приобретет свой утраченный вид, и модное дорожное платье облечет ее стройную фигуру, вы увидите и вы поймете, что умение бороться с природой заложено в нас основательней, чем страх перед нею. Лавиния уже проснулась. Глаза были веселы. Солнце пробивалось в окна сквозь заросли сирени. У постели больной сидела Адель, прямая и непрístupная.

— Жизнь продолжается, ваше сиятельство, — сказала Лавиния шепотом, — велите запрягать...

69

«...июня 27 1851

Господин ван Шонховен набрался сил, и вновь все засияло. Мы маленькие люди, несмотря на нашу амбицию; нас легко приструнить, обратить в трепет; правда, против оскорблений мы восстаем, и гневно размахиваем чистыми руками, и совесть призываем в свидетели — вот и все наше оружие. Лишь в пустынной степи да на необитаемых островах расцветают наши души, не боясь окрика, насмешки, тычка, но, как известно, необитаемых островов более не существует, а пустынная степь хороша для фон мюфлингов с толпою услужливых гекторов. Это странный человек! Мы знакомы уже много лет, но он остается загадкой. Его доброта в нашем мире, где каждый думает о себе, безгранична и достойна восхищения. Лавиния глядит на него настороженно, но это юношеский максимализм. Прости ее, полковник. Пребывание в доме Курочкина — еще сюжет для размышлений. Эти несчастные молодые лгуны, очумевшие от запаха казармы, разве они не достойны жалости? И всюду разлито несчастье, и надо всем — призрак бедной Александрины... Ей нет покоя, и все они, сами того не подозревая, закрыв от ужаса глаза, торопятся за нею следом... Зачем? Куда?.. Бедная Александрина! Злосчастный лекарь Иванов, давно позабывший своих сыновей и свою скучную немку, сжег себе внутренности, пытаясь освободиться от бремени воспоминаний. Нынче в полдень он застал меня в садике. Сам был чист и вымыт и даже сначала показался по-прежнему сбитым из сливок, да это лишь сначала. Время не остановишь,

сударь, нет. Я успокоился — он был в волнении. Мы говорили обо всем, но только не о том, то есть так нам обоим казалось, не о том, что было, если оно действительно было, ибо для меня все кончилось, когда я назвался спасителем Лавинии. Назвался груздем — полезай в кузов! Он был вежлив, благовоспитан, учтив, но не подобоострастен, глядел, как обычно, куда-то вдаль, но теперь это меня уже не шокировало. Теперь мы с ним одинаковы перед миром, и что нам делить? Он говорил всякие скучные пошлости, я слушал, изредка взглядывая на распахнутое окошечко второго этажа, в котором, как на портрете, был изображен фон Мюфлинг. Он был в белой безукоризненной сорочке. Лицо выражало блаженство. В картинно приподнятой руке посверкивала рюмка с водкой. Глаза его были полузакрыты. Это был автопортрет, и, кажется, из лучших. Вдруг лекарь произнес отчетливо:

— Конечно, вы имеете капитал и связи, и вы можете себе позволить роскошь быть щедрым и облагодетельствовать когда и кого вздумается. Конечно, вы и любовь можете приобрести. За хорошие-то деньги чего нельзя? Я был верным исполнителем ваших капризов, то есть желаний там, тогда... Я имею в виду Петербург...

— Что такое Петербург? — спросил я.

Фон Мюфлинг хмыкнул на своих небесах.

— Город на Неве, — вполне серьезно объяснил лекарь, — столица... Но когда встал вопрос о спасении человека...

Фон Мюфлинг неторопливо осушил рюмку, тщательно пожевал что-то кем-то откуда-то поданное, взял новую рюмку двумя пальцами и вновь погрузился в самосозерцание.

— Я знаю, что эти милые провинциальные дурочки рассказывали вам небылицы, — продолжал лекарь, — не верьте им: чего не придумаешь со скуки?.. Я сам рассказывал им петербургскую историю в один из грустных вечеров, и это чертовски в них засело, они буквально с разинутыми ртами слушали, как я, как мы там носились по городу и вдоль реки в безутешных и напрасных поисках...

Фон Мюфлинг щелкнул по рюмке пальцем, и тихий звон смутил Иванова.

— ...и вся моя последующая жизнь была лишь горьким воспоминанием о загубленной душе той мученицы... — Лицо его скривилось, будто он попробовал эту горькую фантазию на язык... — Господибожемой, — простонал

он, — я устал от этой вечной панихиды в моем сердце! А эти дурочки воспринимают все в натуральном свете и дают мальчишкам гривенники, чтобы меня унижить, и я... окончательно... составит... могло... быть... изумлению...

— Почему бы вам не уехать отсюда? — участливо спросил фон Мюфлинг, не меняя позы.

— Ээээ, — сказал лекарь, — это невозможно, милостивый государь. Вот ежели б у меня был капитал, как у князя, и его положение...

«Какое положение!» — захотелось крикнуть мне. Фон Мюфлинг рассмеялся. Иванов, видимо, обиделся, услышав этот смех.

— Вы с вашими капиталами можете все себе позволить, — произнес он раздраженно, — то есть, может быть, вы и не злодей, и даже более того — печетесь о добре, но с детства в вашем сознании, то есть ваш мозг с детства осыпан золотой пылью, и вы способны поступать, как она вам велит, и вы, несомненно, человек с самыми благородными правилами, да ваше благородство ведь — что? Ваше благородство от сознания, что вы можете заплатить за любую причиненную боль, и это чтобы потом вас совесть не мучала...

— А судьи кто? — с пафосом спросил фон Мюфлинг со своих небес.

— Ах, судьи... — сказал лекарь, скривившись весь, и глаза его наполнились слезами, — ваш сарказм, милостивый государь, не имеет силы, ибо я говорю не как судья, а как пострадавший, вот так. И князь обо всем этом знает, оттого и молчит... А знаете ли вы, — вдруг закричал он, разглядывая облака в высоком небе, — знаете ли вы, что я был ей только братом?!

— Да перестаньте паясничать, — сказал я, — вы соблазнили ее и увезли...

— Я?!

— Вы пообещали спасти ее, вы ей внушили, что я эгоист, что меж нами пропасть...

— Я?! Образумьтесь! Куда я ее увез, господь с вами! Разве не мы с вами бегали вдоль берегов и не мы ли с вами истоптали весь анатомический театр?.. Я же говорю: вы наслушались этих девок, этих интриганок!..

— А не с нею ли вы к нам приходили чай пить с ежевичным вареньем? — спокойно спросила Адель из окна. — Или то была другая?..

— Господибожемой! — застонал лекарь. — Какое унижение перед лицом этих сытых, праздных и счастливых!

— Ну, знаете, — возмутился фон Мюфлинг, — это уже черт знает что...

— Аделина, — вдруг тихо позвал лекарь, — да разве я спорю? — и провел пальцем по запекшимся губам. — Вы бы дали мне рюмочку этой... ну там есть у вас такая, на смородинном листе...

Она притворилась глухой. Я — слепым. Фон Мюфлинг — счастливым. Иванов церемонно поклонился и исчез среди сиреневых кустов.

— Б'дняжка, — сказал фон Мюфлинг, — совсем потерял гол'ву...

— Я вам крайне признателен, — сказал я полковнику, — вы совершили подвиг, потратив столько дней из своего отпуска ради такой безделицы, как мои неудачи.

Фон Мюфлинг хмыкнул и сказал из своей рамы:

— Вы и не поверите, князь, как от вас и от вашей очаровательной мужественной спутницы... от вас вместе... как от вас двоих... как вы оба можете влиять на судьбы людей, на судьбы многих, связанных с вами невидимыми узами... поверьте... — И он опрокинул рюмку, переждал и продолжил, стараясь отчеканивать каждое слово:—Вы не поверите, как все вообще связано меж собой... на этом свете. Какие ниточки между нас... меж нас... меж нами. Как все хитро, остроумно, безвыходно и оскорбительно, и ничего не напишешь — приходится... вертеться... Я все время пытаюсь сообщить вам нечто важное... Вы, конечно, заметили, что я хочу вам сообщить нечто важное...

— Я слушаю, — сказал я, и тонкий комариный, тоскливый, отвратительный звон дошел до моего слуха, — вы уже слишком много сделали для меня...

— Вы думаете? — грустно улыбнулся он. — Я все время хотел сообщить вам нечто важное... — И повторил упрямо: — Это важное... это я хотел сообщить вам... Пр'ставьте с'бе... и я сам с'бе все у-слож-нил...

Внезапно автопортрет моего спасителя исчез. Осталась рама и черный фон за нею...»

«...июня 28...

Мне надоело, выходя по утрам из комнаты, натекать на распростертое у дверей тело спящего Гектора, и я сказал об этом фон Мюфлингу. Он крайне удивился и

тут же в моем присутствии отчитал слугу. Гнев его был столь силен, что казался искусственным. «Я приношу свои извинения, — сказал трезвый и благоухающий фон Мюфлинг, — скотская привычка спать на полу». Я очень благодарен ему за все, что он для нас совершил, но его приятельство начинает меня угнетать. Совместного путешествия я не выдержу, но как сказать ему об этом? Он горит им, фантазирует, целует ручки у Лавинии и подмигивает мне заговорщически, а я не могу придумать ни одного мало-мальски убедительного предлога, чтобы отказать ему в его радости. При несомненном уме, тонкой наблюдательности, благородстве есть в нем что-то такое простое-душное, детское, непосредственное, и я не удивлюсь, если он предложит вести совместный дневник в одной тетради или что-нибудь в этом роде...

Лавиния, слава богу, выздоровела и готова скакать дальше, однако болезнь как-то изменила ее. Она сделала ее суровой, взрослее и раздражительней. Конечно, раздражительность эта ненадолго, однако нельзя не считаться с условиями, в которых мы пребываем: нелегкая дорога, которая становится все труднее, неопределенность нашего даже самого ближайшего будущего, беззащитность и прочее, и прочее... Да и сама болезнь случилась-то, по моему мнению, не из-за жалкого купания в гнилой реке, а от этого всего, мучающего ее чистую, неискушенную душу. По свойству ее характера не исключено, что где-то втайне она себя винит за все, что произошло. И все это она носит в себе, и это все кипит в ней и бушует, а я пока ощущаю лишь неясные приметы этого бушевания, поэтому и утишать-то как будто нечего. Сестры Курочкины в нее влюблены и забавляют ее напропалую: Серафима — сплетнями, Адель — нравочениями. Пора бежать, но как подумаю, что вместе с полковником, охота остывает. Лекарь не появляется, пьет, должно быть...»

«...июня 29

Нынче поутру удалось за бесценок нанять вполне еще приличную линейку под тентом, в которой мы покатым. Неожиданно фон Мюфлинг отпал! Все дни он твердил, что счастлив ехать вместе с нами, и сиял, а тут вдруг потускнел, помрачнел даже и наговорил мне миллион странностей. «Вы, — сказал он, — очень счастливы друг с другом, я крайне привязался к вам за это время. Будучи не-

сколько осведомлен о ваших обстоятельствах, не могу взять в толк, как это вы так простодушно рискуете, то есть неужели вы не боитесь всяческих козней со стороны ну, скажем, госпожи Тучковой (а вам известно, что это за дама), или с его стороны (я, кажется, понял, кого он имел в виду), или, скажем, дойдет до нашего департамента...» — «Отчего же это ваш департамент станет вмешиваться в такое дело?» — полюбопытствовал я, смеясь. «Вот вы напутешествуетесь, — продолжал он, — устанете с дороги, а усталость, милостивый государь, разбивает мечты-с... или может так случиться, что вам, то есть именно вам, захочется отправиться, скажем, в Турцию, а для вашей спутницы это... Впрочем, покорнейше прошу простить меня за глупые догадки... Черт знает, откуда я этих ужасов набрался... Когда я уланствовал, была у меня, правда, похожая история. Я, честно говоря, опасался всяческого шума, но все обошлось... это было восхитительно, ей-богу...»

Еще он наговорил множество всего, а затем внезапно сказал, что решил нас покинуть, чтобы не докучать нам своим присутствием. «Я буду ждать вас в Пятигорске, как договорились. Вы не изменили своего решения?»

«июня 30...

Фон Мюфлинг, загадочный, обременительный, благородный, придуманный, укатил вчера поздним вечером. Прощаясь, он отвел меня в сторону и сказал: «Представляете, если в вашу историю вмешается мой департамент?» — «Отчего же ему вмешиваться в мои дела?» — повторил я как мог спокойно. И затем: «В таком случае вам придется меня арестовать...» — «Не дай-то бог», — сказал он и пожал мне руку.

События этой недели обрушили на нас столько всего, что вместо истинного отдыха получилась нешуточная пытка. Надеюсь, дальнейшее путешествие несколько рассеет тяжесть на душе и успокоит нервы. Лавиния сама осмотрела линейку, ощутила ее, осталась довольна. Была решительна и энергична, как никогда. Обстоятельно записала наш дальнейший маршрут. Внезапно мягко, но решительно предложила отказаться от заезда в Пятигорск. Я сослался на обещание, данное фон Мюфлингу, но она настаивала («Я вам в дороге все объясню»), и я с облегчением согласился, ибо устал от его присутствия. «Напишите

полковнику печальное письмо, — сказала она, — усложненное сожалениями и всякими восклицаниями...» И я принялся за письмо, и тут она добавила: «Напишите, что это все в связи с моими капризами, что мне взбрело на ум ехать в Киев к родственникам или в Тамбов...» Я удивился. «Так надо, милый друг», — ответила она нараспев».

«июля 1...

Вчера случилось событие, совсем непредвиденное, наделавшее много шума. Вернулась из дела часть отряда. К нам вошла томная Серафима и с порога объявила об этом. Мы распахнули окна и увидели, как по пыльной улице двигались герои. Вид у них был не то чтобы жалок, однако ничего восторженного в их адрес не рождалось. Несколько грязных орудий, прислуга в пропотевшей одежде, кое-кто в бинтах; усталые, сгорбленные, безутешные артиллерийские лошадки; возницы, похожие на чертей; офицеры, напоминавшие возниц; пустые зарядные ящики, несколько телег, переполненных ранеными, — все это моя молодость, которой как будто не было. Они доползли до нас с гор, подобно жалким остаткам когда-то грозной лавины, не могущие вызывать уже ни страха, ни восхищения, а лишь досадливое участие. Жители городка вышли на улицу. По всему чувствовалось — праздник. А ведь и я когда-то входил в иную крепость, и запах порохового дыма, исходивший от меня, возвышал меня в собственных глазах, и я когда-то обольщался своим высоким предназначением, и я когда-то... И меня везли на телеге с грязным свинцом в кишках, и серафимы тех мест и адели тех улиц благоговели при виде моих страданий.

Это была первая часть отряда, о судьбе же остальных покуда не было известно. Серафима здоровалась с проходящими офицерами и награждала их цветами, каждому — по цветку. И Адель говорила едва слышные слова приветствий, а где-то впереди уже раздавались тягостные клики, где-то уже начиналась тризна, словно оплакивали и этих, оставшихся в живых. О женщины! Они всегда проклинают войну, но восторгаются пропыленными героями. Я видел совсем юного прапорщика. У него было счастливое лицо человека, еще не сумевшего разувериться в собственном бессмертье. По всему было видно, что он сочинял на ходу возвышенное письмо своей маман, а может быть, своей Sophie или какой-нибудь Nadine, а может быть, он

произносил про себя тот самый рассказ, с помощью которого должен будет нынешним же вечером повергнуть в восхищение какую-нибудь местную Серафиму... И я был таким?..

И Серафима время от времени оборачивалась к нам и, лениво улыбаясь, указывала глазами на героев, словно говорила: «Вот они и пришли! А вы-то, наверное, сомневались, что они вообще есть. Вообще-то теперь только и начнется настоящее. Теперь мы можем устроить бал, чтобы все было как в жизни...»

— Жаль, что нет оркестра, — сказала Лавиния легкомысленно, — без оркестра все это напоминает похороны.

— А вы не слышите плача? — спросил я. — Это уже оплакивают погибших и пропавших.

— Ах, — сказала она с торопливым безразличием, — можно подумать, что гибнут только в стычках с горцами! — и посмотрела на меня с вызовом, и добавила: — Если нам суждено встретиться с героями, умоляю — не перечьте им и, когда они будут кричать в своем боевом похмелье, что они победили, что в этом-то и есть главное, не спрашивайте с вашей милой улыбкой: «А зачем?» Они убьют вас, а вы мне нужны для продолжения нашей безнадежной поездки... — и она заплакала.

— Не плачьте, моя милая, — сказал я. — Я буду молчать, не плачьте.

— Я оплакиваю погибших и пропавших...»

70

Отряд прошел, и пыль улеглась, и Серафима вплыла в комнату как ни в чем не бывало, вдоволь надышавшись запахом пороха, смесью восторгов и стенаний.

Ближе к вечеру в доме послышались шаги — это входили герои. Все остающиеся в живых — всегда герои. Они пришли на огонек, в тепло, к женщинам, к вину. Лица их были черны и грубы, несмотря на то что брились они старательно и парились в банях с ожесточением. Все они одеты были с тщанием, и от некоторых даже пахло духами. Они были неразговорчивы. На Мятлева взглядывали угрюмо: он в их глазах был заурядным петербургским белоручкой. Внезапно седой подполковник сказал:

— Моя фамилия Потапов, это вам ничего не напоминает, князь? Нет? — И брови его взлетели удивленно. —

А схватку в кизиловой роще?.. Вот так штука! А как мы с вами ночевали в одной кумирне, тоже не помните? Помните, там еще под окном был родничок, и ваш повар прямо из окна набирал воду в чайник?..

— Что-то такое, кажется, было, — улыбнулся Мятлев, чувствуя себя молодым, — да, что-то такое... А мы что, долго там пробыли?

— Нет, — сказал подполковник с недоумением, — ушли на рассвете. А меня, значит, не помните?..

Все уже приступили к вину, поэтому на Мятлева смотрели добрее, тем более что он оказался «своим».

— Вас куда ранило, в живот? — спросил юный прапорщик. — А меня чуть было в голову не ударило, представьте! Вот настолечко прошла пулька, — и он показал Мятлеву свой покуда еще розовый мизинчик. — Если бы ударила, я бы теперь с вами не сидел.

— А вы не жалеете, — строго сказала Адель, — слава богу, что все обошлось.

— А я и не жалею, — сказал прапорщик с сожалением. — На моих глазах, например, фейерверкера из второй батареи в лепешку превратило.

— Вообще, — лениво улыбнулась Серафима, — на этот раз вы гуляли слишком долго. Мы с Аделиной уже и ждать-то перестали.

Тут лица живых посветлели. Всем был приятен голос Серафимы. Там, наверное, она им всем казалась придуманной, как вдруг суровая фортуна вернула их в этот пыльный дикий городок, который там мерещился им недостижимым раем. И вот снова та же самая обольстительная, в меру порочная, своя, располагающая к надеждам, привычная Серафима, терпеливо ждавшая своих соблазнительей, пока они тянули в чужих горах жребий, кому умереть, а кому воротиться под ее многообещающий кров.

— А что наша жизнь? — усмехнулся чернокудрый поручик с хмельным пафосом. — Постоянная надежда на милость: там все надеешься, что пуля помилует, здесь — прелестная Серафима.

— А для меня так особенно! — воскликнул прапорщик. — Люби, Адель, мою свирель...

Все засмеялись, и смех усилился, когда пунцовая Адель сказала прапорщику:

— Могли бы на пол-то и не сорить, не дитя ведь.

Тут пришла очередь пунцоветь прапорщику. Он пожал

плечами и поглядел на Аделю с пьяной пронзительностью оскорбленного, и она сказала, смягчившись:

— А мы боялись, как бы с вами там не случилось бы чего.

— А что могло случиться? — воскликнул он героически. — Кроме смерти — ничего.

И вновь все окружающие засмеялись.

Разница меж походными биваками и этим домом была слишком велика. Поэтому вино пилось легко, и не хотелось останавливаться. И все были возбуждены, как маленькие дети перед получением таинственных рождественских подарков. И у Мятлева уже кружилась голова, и он воображал себя юным, только что вернувшимся из похода, когда перед тем, как идти на ужин к полковому командиру, Афанасий моет тебя в баньке и растирает твое героическое тело грубой холстиной, а после окачивает прохладной водой, а после растирает простынями и подносит тебе маленькую рюмочку «с легким паром!». Лавиния глядела на все широко распахнутыми глазами. Это было совсем не похоже на прежнюю петербургскую жизнь. Женщины и барышни пили с мужчинами на равных и сидели кто где, и не было привычного изыска и всяких условностей, все было лихорадочно просто, раскованно и рискованно, но не шокировало, ибо, глядя на них, можно было поверить, что жить осталось с полгода, не более. Жен не было — были «наши красавицы», и не было мужей — были герои, которым коварная фортуна подарила лишнюю ночь.

— Да неужели вы меня все-таки не вспомнили? — спросил Потапов Мятлева. — Как странно.

— Нет, — сказал Мятлев, — пытаюсь, но не могу, все перемешалось.

— А вот этих, например... — И Потапов с надеждой стал перечислять бывших однополчан, среди которых был и убитый впоследствии на дуэли гусарский поручик. — Этих-то припоминаете? Ну, поручика-то хоть помните? Да? — Он обрадовался. — Ну, это знаменитость... А меня, стало быть, не вспоминаете... — И он махнул рукой, и осушил свой бокал, и отворотился.

— Да вы вспомните, вспомните же его, — шепнула Лавиния, — ну что вам стоит? Скажите: «Ах да, ну как же». Ему будет приятно. Ну, хотите, я его вспомню?..

Коротконогий гусарский поручик с громадным лбом гения и обиженно поджатыми губами проявился в пламе-

ни свечей особенно четко, видимо, тому способствовали, кроме всего прочего, близость тех гор, ароматы, распространяемые героями, мысли о смерти, которая так доступна — особенно в этом краю. Мятлеву даже показалось, что солдат, бесшумно появившийся в комнате и усевшийся в углу, появился не случайно, а именно в связи с горестным воспоминанием. Он был даже похож на убитого поэта, такое же круглое лицо с усиками, большие лихорадочные глаза, да и сидел он, как и тот, когда бывал в нерасположении, — неподвижно, сгорбившись, не притрагиваясь к еде, только отпивал по глоточку: отопьет и поставит бокал, отопьет и поставит... Он был в солдатском, но никто не придавал этому значения. Все уже кричали, размахивали руками, изощрялись в остроумии перед бесхитростными своими дамами, и Лавинию воспринимали как редкую, случайную, дорогую картину. Солдат смотрел на Мятлева не мигая. Разжалованный офицер. Мятлеву даже показалось, что он усмехнулся, словно сказал: «У нас тут свои порядки. Это там, у вас, в вашем Петербурге, — иные, а здесь — свои. И ваше брезгливое выражение здесь ничего изменить не может, ибо даже наместник подаст мне руку, а уж эти-то и подавно за честь считают приглашать меня в свой круг... Может быть, все это и шокирует, но вы — птичка перелетная, вы сегодня здесь, завтра — там, а мне суждено...»

— А вы, — спросил Мятлев у солдата, — давно ли в этом отряде? (Солдат кивнул.) А случая не было? (Солдат отрицательно покачал головой.) У нас был такой старик Распевин...

— Знавал, — сказал солдат спокойно.

— Собственно, он был не стар, но нам, молодым, тогда казалось...

— Его убили при Валерике, — сказал солдат спокойно. — У него тогда был случай отличиться, но его убили...

— Мы были в одном деле, — поспешно сообщил Мятлев. — А у вас, значит, так...

— А у меня, значит, вот так, — сказал солдат.

Вглядевшись в его лицо, Мятлев обнаружил, что солдат далеко не молод. Крупные скорбные складки пересекали его лоб, щеки, впрочем, это могли быть и шрамы — тусклое пламя свечей мешало определить это с точностью. Но двадцатипятилетнее наказание, выпавшее на долю этого давнишнего ниспровергателя устоев, показалось внезап-

но столь жестоким и фантастичным, что захотелось кричать и бить кулаком по столу и презирать себя за суетные свои обиды и огорчения...

— Неужели он никогда не поймет, что это слишком высокая цена за его чистую совесть? — воскликнул Мятлев раздраженно.

Солдат, конечно, понял, кого имеет в виду этот случайный и, видимо, благополучный ныне петербургский гость.

— Видите ли, ваше сиятельство, — сказал он спокойно и серьезно, — за все, вероятно, надо расплачиваться. Некоторые в молодости полагают или надеются, что цена может оказаться ниже. Это заблуждение. Мы с ним одногодки, почти одногодки, и оба это уже хорошо теперь осознаем...

— Так ведь он устанавливает цену, а не вы!

— Видите ли, дело в том, что цену устанавливают сами поступки, как выяснилось, и, к сожалению, этому нельзя научить, это надо у з н а т ь самому... Ежели у вас с ним счеты, — продолжал солдат тихим, ровным голосом, — о цене можно не беспокоиться: меньше, чем полагается за зло, ни одному платить не придется...

— Да жертва-то вы! — сказал Мятлев, слабея.

— Кто знает, — улыбнулся солдат, — этого никто не знает...

— Да вы вслушайтесь, вслушайтесь, что он говорит, — шепнула Лавиния, сжимая руку Мятлеву, — кажется, он прав...

Мятлев глянул на солдата, но того не было. Вина было много, и воздух был свеж, и кровь прилиwała к голове. Все были высоки, широкоплечи, красивы невероятно; у всех были вдохновенные лица и глаза пылали. О житейском говорить не хотелось, хотелось кричать вместе со всеми о величии духа, о торжестве храбрости, стрелять в потолок, дать волю гневу за погибших, таких же красивых, вдохновенных и справедливых; возвысить своих, проклянуть врага и отомстить, и отомстить... отомстить...

— И Распевина пристрелили! — вдруг крикнул Мятлев, к ужасу Лавинии. — Распевина... старика! Я видел, как они целились из-за камней...

— Ничего, — кричал юный прапорщик, — мы им хорошо нынче дали! Теперь они долго не очухаются!

Входили новые гости. Стекла тряслись от крика, от

топота ног, Серафима плакала и целовала Потапова в потный лоб.

— Были бы вы архитектором, — плакала Серафима, целуя Потапова, — я бы с вами на край света пошла... А так-то что ж?.. Вообще-то лекарь Иванов увезет меня отсюда, вот увидите... Я его прижму, вот увидите...

— А где же Иванов? — спросила Лавиния, чтобы унять неистовство. — Отчего же его не видно?

Тут все замолкли, чтобы послушать, что говорит эта петербургская мадонна, княгиня или еще кто, эта юная дама из другого мира, глазастая, недоступная, эта счастливая путешественница с насмешливыми губами, которой нет дела до их тризн и до их карнавалов...

— А Иванов утопился, — сказал кто-то в тишине, и все почему-то захохотали.

— Иванов, — сказал Потапов Мятлеву, — интересная личность. Он вам уже, наверное, рассказал свою жизнь? Это целый роман...

— У него была жена, — торопливо пояснил чернокудрый поручик, — она была чахоточная и убежала с каким-то князем в Петербург.

— Да не врете! — прикрикнула Адель. — Вечно вы врете про других. Она от князя бежала, а не с князем, а после уж здесь утопилась...

Потапов вскочил с полным бокалом, вино расплескивалось.

— Чистов, — прохрипел он в темноту, — не дай со- врать! Не мы ли с тобой, брат, хоронили ее осенью прошлого года? Подтверждаешь?

— Подтверждаю, — откликнулись из полумрака.

— Отпустите мою руку, — шепотом взмолилась Лавиния Мятлеву, — мне больно...

— ...это же ночью было, — продолжал меж тем Потапов, — когда лекарь прибежал. У него было белое лицо, он плакал и все твердил, что нег ему прощения. А мы тогда вот так же сидели, ну и с вином, конечно, и мы с тобой пошли, и он бежал за нами. Она лежала с открытыми глазами, и он принялся рыдать, да разве разбудишь? Подтверждаешь?

— Подтверждаю, — сказали из полумрака.

— ...Мы ее хоронили под вечер того же дня, был еще батюшка Никитский...

— Батюшки Никитского не было, — сказали из полумрака.

— То есть как не было? — Потапов выплеснул остатки вина на пол. — Он был и псалмы читал.

— Псалмы я читал, — сказали из полумрака, — ты спутал, Потапов, а батюшка Никитский месяцем раньше утопился...

Тут снова все захохотали, и так, что пламя свечей заметалось. Потапов сидел пригорюнившись.

— Дурачье, — улыбулась Серафима, — она с архитектором сбежала. Я сама видела, как они сговаривались, дурачье! Они же у меня в доме сговаривались, вот здесь. Я вышла в вашу комнату (это она сказала Лавинии) и слышу: они сговариваются, все слышно... Еще она сказала, мол, спасите меня, друг сердечный, а он ей ответил, что, мол, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Вообще они недолго сговаривались и собирались недолго. Вышли от меня, а уже брочка архитектора — у крыльца... — И повернулась к Мятлеву: — Представляете, как ловко?

— Верно, — подтвердил кто-то, — у архитектора брочка была...

— Как же вы все-таки вспомнить меня не можете? — сказал Потапов, подсаживаясь к Мятлеву. — Ну хорошо, я вам еще такой случай напому: ваш камердинер, молодой, все в валенках ходил, жара, а он в валенках. А я как-то был хмелен и велел ему валенки снять, а вы вступились. Вы сказали, мол, пусть ходит в чем хочет, мол, это его дело. Помните? Вспоминаете? Мы с вами даже повздорили, я вас даже вызвать собирался... Вспомнили?

— Ах, да, да, — сказал Мятлев, ничего не помня, — теперь вспомнил.

— Так это же я и был! — обрадовался Потапов. — Видишь, брат, как все обернулось.

— Да, — сказал Мятлев, — молодость... — и тут же увидел, что Лавиния машет ему рукой от двери, и он пошел к ней.

В садике она рассмеялась и трижды поцеловала его.

— Ну, брат, — сказала она нараспев, — докатились!.. Это и есть обещанный рай?.. А не пора ли воспарить, брат? — Она прижалась к нему. — Еще пара вечеров, и вам захочется стрелять в горцев, чтобы ощутить себя героем.

Он обнял ее, и так они стояли, и рассвет разгорался все

заметнее. Из дома доносилось неясное монотонное гудение, словно там, в гостиной у Курочкиных, пели одну общую молитву без слов, а только «уууу... ууууу», протяжное, полное сострадания к самим себе. Затем все смолкло, и наступило время последней тишины перед пробуждением птиц.

Так незаметно они простояли более часу, наслаждаясь друг другом, прохладой, возвращением памяти и спокойствия, а когда воротились в гостиную, там никого уже не было. Заспанная кухарка сгребала остатки дьявольской ночной трапезы. От нее-то они и узнали, что с полчаса всего как прибежали с известием, что лекарь Иванов утопился.

71

(Из Пятигорска в С.-Петербург)

«Mon cher ami,

Досталась же мне участь, черт ее побери! Я сам усложняю собственные обстоятельства собственными сантиментами, совершенно чудовищными в наше время. В той проклятой крепостце, о которой я тебе писал, где одни очумели от праздности, а другие от запаха крови, я уж было сделал шаг навстречу скорбному финалу, но все перевернулось в один момент. Посуди сам (надеюсь, ты сможешь меня понять): Лавиния Ладимировская не просто очаровательна, она значительна; жажда независимости так в ней сильна, что представить себе эту жажду утоленной — нелепость. Она такая прелестная скромница и молчаливица, но мозг ее ироничен, язык остер; иногда бывает трудно понять — шутит она или серьезничает. Вместе с тем это создание наивное, однако не лишенное домашней, домотканой, житейской, дамской хитрости; если надо — даже безжалостное, однако полное благородства. Когда я пишу, что она очаровательна, я вовсе не имею в виду лишь безукоризненную внешность. Есть дамы в нашем городе (и ты их знаешь), которых ни с кем, как только с богинями, по красоте равнять невозможно. Ладимировская, конечно, мила, но главное — значительна, а этому в России есть примеры, о которых ты знаешь, так что можно не объяснять. Теперь же — князь. Без очков он еще

кажется внушительным, в очках же — беспомощен и кро-ток, хотя это все на первый беглый взгляд. Он несомненно добр и уступчив, но в нем столько же непреклонности и отваги, сколько на одну душу приходится не часто. Конечно, он гибнет. Служение обществу — не пустая болтовня, это отпущенное нам свыше предназначение. Праздность сушит души, развращает нравственность. Однако в наше время служением обществу называют не страсть отдавать свое вдохновение, а способность к а з а т ь с я незаменимым, при, натурально, известном послушании. Князю же при его свойствах все это уныло и нелепо, и я не берусь его судить. Мало того, я думаю иногда, что, может быть, его предназначение именно в том и состоит, чтобы сгореть в огне любви и сострадания и отогреть наши ледяные сердца... Впрочем, это уже из области фантазии и поэзии, а я покуда чиновник и рылом, как известно, не вышел...

Измученный всеми этими размышлениями, я ничего совершить не смог, окончательно растерял еще оставшиеся у меня жалкие аргументы к их задержанию и удрал в Пятигорск, чтобы немного поостыть и собраться с мыслями. Я предполагал, что они двинутся следом, как и было договорено, но получил нынче от князя неожиданное письмо, что их планы поменялись и они срочно выезжают в Тамбов! По положению вещей я должен бы был неистовствовать и кусать локти, но, представь себе, даже вздохнул с облегчением. Здравый смысл, опыт, знание предмета, наконец, подсказывают мне, что они все-таки двинутся по направлению к Тифлису: больше им некуда, что в заблуждение они меня ввели не из каких-то там подозрений относительно моих целей (не верю!), а просто из желания избавиться от моего чрезмерного приятельствования, ибо при всех моих достоинствах третий — всегда лишний. Теперь я, если я действительно благородный человек, должен буду подкарауливать их на Военно-Грузинской дороге и тайно следовать за ними, чтобы не обременять их назойливостью. Когда-нибудь я, может быть, дозрею до того внутреннего состояния, которое позволит мне не быть запутавшимся в сомнениях бараном, а высшим существом, которое может сказать: «Есть два пути: один — собственное благополучие за счет неблагополучия других, второй — жизнь по законам, продиктованным любовью и состраданием», и выбрать второй из них. Кстати, князь тоже пред-

почитает второй из них, однако, насколько я понимаю, совершенно бессознательно. В этой его телячьей слепоте есть слабости, но время и бог укрепят его на этом пути.

Ах, топ срег, сколько глупостей мы изобретаем, выдавая их за разумную деятельность!

Прости, топ срег, обнимаю тебя,
всегда твой верный брат

Петр фон Мюфлинг».

(Из Пятигорска — в С.-Петербурге)

«Любезная матушка, мой ангел,

Вы и представить себе не можете, до чего удачна моя командировка! Обычные дорожные тяготы и спешка, сопровождающие нашего брата в поездках, на сей раз не беспокоят нисколько. Полное впечатление, что я в добровольном странствии, когда возникла внутренняя потребность изучить землю, нравы, обычаи, когда все тебе споспешествует: и природа, и климат, и встречи. Какое удачное стечение обстоятельств! Я получил Ваше благоухающее письмо в самый прелестный из дней моего вояжа, и в этом я тоже вижу заботливую руку провидения. Дело в том, что мне наконец удалось встретиться со своими беглецами! И что же я установил? Он — далеко не злодей; она — очаровательная наивная проказница. Взаимоотношения у них весьма пристойные, даже платонические! Он поступил так, как он поступил, не из корыстных побуждений, а из желания спасти юную красавицу от тирании мужа. Может быть, его поступок несколько и опрометчив и тороплив, но я поступил бы, вероятно, точно так же. Поэтому я счел неблагородным грубо вторгаться в их дружбу, пользуясь их наивностью и доверчивостью. Я позволил им продолжать их поездку в надежде, что где-нибудь в Тифлисе, устав друг от друга, они с меньшим трагизмом воспримут известие о моей миссии и с легким сердцем уступят моей непреклонности. Как бы я хотел увидеть Вас здесь и под руку, под руку, беседуя, повести Вас к Эоловой арфе, медленно, медленно, медленно...

Ваш любящий сын

Петр фон Мюфлинг».

(Из Пятигорска — в Одессу)

«Милостивый государь,

Надеюсь, что вы с честью выполняете свой долг и, наслаждаясь одесскими видами и купанием, не забываете ни на минуту того, ради чего предпринята наша срочная поездка. Мое отношение к Вам всегда строилось на полном доверии и на уважении к Вашему рвению. И теперь не только как Ваш начальник, но и как старший товарищ, если хотите, как друг, выражаю надежду, что Вы именно теперь, когда близка развязка, не ослабите внимания и соберете последние силы в кулак...

Предписываю Вам по получении сего письма без промедления собраться и ближайшим транспортом, используя все свои права, плыть к берегам Кавказа, откуда Вам надлежит торопиться в Тифлис, где и дожидаться моих дальнейших распоряжений в известном Вам месте.

Полковник фон Мюфлинг».

Получив это письмо, поручик Тимофей Катакази собрал свой нехитрый скарб; глубоко вздохнув, простился с праздной жизнью; еще раз оглянулся на собственные следы, во множестве усеявшие одесский берег и окрестности; уже с борта парохода успел заметить несколько знакомых силуэтов, покидаемых навсегда, и, уносимый замечательным кораблем, истово перекрестился на паруса и раскаленную трубу. По палубе прогуливались пассажиры. Среди них было много дам. Одна из них остановилась неподалеку и, не стесняясь, принялась разглядывать загорелого и вальяжного поручика. Тимофею Катакази ничего другого не оставалось, и он заиграл... Впоследствии он рассказывал о дальнейшем с ужасом и болью:

— Я был поставлен в безвыходное положение. Она была одна и свободна. Я оказался достоин ее внимания. Ну что ж. Не буду врать и притворяться, что она была совсем в моем вкусе. У нее, например, был чрезмерно вздернут подбородок, а такие дамы обычно слишком о себе высокого мнения и поэтому обожают униженных мужчин, для чего унижают их долго и уныло. Кроме того, она не могла ни минуты оставаться в покое, руки ее беспрерывно двигались, то поправляя складки на платье, то локоны, то шляпку; зонтик постоянно перепархивал из одной руки в другую; плечи плавно покачивались, словно

чашки весов; ноги переступали с места на место; короче, это были верные признаки истерической души, и следовало благоразумно ускользнуть, но я еще в юные годы положил себе за правило — никогда не привередничать, не выбирать, служить всегда только первой, тем более что всегда бывала возможность впоследствии уйти, убежать, уехать, забыть, раствориться, исчезнуть, отмахнуться, пожать плечами, наобещать и уехать, дать слово и позабыть, пренебречь, пригрозить страшными разоблачениями, притвориться слепым, глухим, безразличным, жестоким, беспощадным и, наконец, просто опасным для жизни... С другой стороны, не буду врать и лицемерить, что она была с о в с е м не в моем вкусе: это была высокая женщина, статная, хотя и с едва заметными признаками полноты, с великолепными ямочками на аккуратных щечках, с пухлыми, беспокойными губами, изобличающими натуру страстную; весь ее вид говорил о том, что она не из тех добропорядочных наших дам, которые отличаются ханжеством, скукой и равнодушием, а из тех наших д о б р о п о р я д о ч н ы х дам, которым свойственны стремительность и вдохновенность. Я долго, трудно и мучительно добивался ее расположения. Я что-то обещал, в чем-то клялся, от чего-то отказывался. Она таяла, однако оставалась непреклонна. У нее были сильные, цепкие руки, и она вертела меня, как зонтик. А время шло... Безумие, представьте, началось еще до сумерек, а уже стояла глухая ночь, и не было места в моей каюте, об которое я бы не стукнулся. Господи, о чем только не передумал я за это время, чего только не вспомнил! Клянусь, от ее благородства и добропорядочности не осталось и следа. Это была фурия — рыдающая в полный голос, хохочущая, проклинающая, сжимающая меня в объятиях, ревнующая ко всем возможным своим предшественницам, требующая от меня то поклонения, то жертв, то признаний, то разлуки, хлещущая по щекам со сладострастьем трактирищицы, падающая в обморок, зовущая на помощь (к счастью, грохот машины заглушал ее трубный глас). Наконец, лишь где-то под утро она уgomилась, и все произошло скучно, пошло и бездарно. Она лежала, закрыв глаза. Я уже намеревался, по обыкновению, одеться и исчезнуть, как началась истерика! Она рыдала, билась головой о стену и при этом крепко держала меня за горло. Что я пережил, трудно представить. Воспользовавшись моментом, я ки-

нулся к окну, чтобы крикнуть извозчика, но... безбрежное море окружало нас, и некуда было спастись, а плыть нам предстояло много дней и ночей, а она и не думала покидать моей каюты!..»

Приблизительно в тот же самый день, когда обезумевший от любви поручик вырвался наконец из цепких рук своей спутницы и укрылся словно раненый барс на гостеприимном кавказском берегу, два изможденных путешественника, господин Свербеев и Афанасий, распрощались с Финляндским княжеством, пересекли границу и двинулись по шведской земле. В первом же опрятном городке на почтовой станции они хорошенько выспросили об интересующем их предмете и, едва слышали, что ничего не подозревающая пара совсем недавно останавливалась здесь, насладилась парным молоком и отправилась далее на северо-запад, не задерживаясь двинулись следом.

72

Военно-Грузинская дорога, трепетная и живая, взлетающая под облака и падающая в ущелье, сама тайна и само коварство, без начала и без конца, вечная, пыльная, неожиданная... Грустные военные посты, где под ногами старых ленивых служак разгуливают ленивые куры; постоянный грохот ледяного грязного Терека, заглушающий изумленный шепот господина ван Шонховена: «Мы едем... Как странно!..» Буйволы, полные тоски, голубые от пыли, пыль на стволах гигантских чинар, растревоженный лефаше в глубоком кармане сюртука, страх, тяжелый и осязаемый, словно камень, подобранный вами на дороге и летящий в пропасть... Смуглые женщины в ковровых чулках или босые, в черных застиранных платьях, с отрешенным взглядом из-под немислимых бровей, недоверчивые, неторопливые и неприступные, как их жилье, разместившееся под облаками, и насмешливый шепот господина ван Шонховена: «Э то и есть рай? Вы об этом рае говорили, да?..» Граница Запада с Востоком, Севера с Югом, Азии с Европой, смещение православия с магометанством, истощные крики мулл и греческие песнопения христиан, кровь, месть, разбой, захват, подавление, рабство и

насмешливый шепот господина ван Шонховена: «Э то вы мне обещали, безумец, когда отрывали меня от финских хладных скал и спасали из гранитного заточения?..» Раскаленные голые скалы, нависшие над головами; внезапно — прохладный ветер, внезапно — родниковая вода из запотевшего кувшина, какая-то бескрайняя неправдоподобная изумрудная долина, мерцающая в разрывах облаков где-то на страшной глубине; гранитный крест ермоловских времен, печеная форель на гигантских листьях лопуха, нечастые приземистые харчевни, именуемые духанами, горький дух от прелого прошлогоднего кизила и умопомрачительный аромат из винных бочек. Благоухающие леса и рощи окрест, головокружительный спуск, ослепительно белые стены фантастического замка Ананури на черном холме, омываемом зеленой Арагвой, вереницы длинноухих осликов и мулов под вязанками сучьев, под бочонками и бурдюками, повозки с веселыми людьми... Мцхета, удушливая влажная жара, клубящаяся над долиной Куры, странные мелодии, странная речь, странная жестикуляция... Все это осталось позади, как и та неведомая коляска на пустынной дороге, которая на протяжении всего пути тянулась за ними следом, словно тень, на одном расстоянии, не отставая и не догоняя, останавливаясь, когда останавливались они, но всегда в почтительном отдалении, так что невозможно было разглядеть ее остроумных пассажиров. Все это осталось позади, как и их собственная линейка под тентом, которую они успели обменять на старую просторную удобную бричку, облезлую, но надежную... И когда все это осталось позади, перед ними открылся Тифлис!

Впрочем, «открылся» — слово неточное, ибо может показаться, что с некоего возвышения путникам вдруг предстала панорама города, когда они, опаленные июньским солнцем, оглушенные грохотом рек, наглотавшись дорожной пыли, достигли, наконец, края неведомой пропасти и, сдерживая дыхание, глянули вниз. Нет, все было совершенно иначе... Восток медлителен и с первым встречным не откровенен, поэтому он не распаивается, а появляется исподволь, неторопливо и осмотрительно. Ему нет нужды выбалтываться с торопливостью юнца, он ждет, когда вы сами доберетесь до его тайн и застынете в оцепенении. Таков же и Тифлис. У него сложный состав крови, настоящей на византийской пышности, на персидской темно-

сти и на арабском коварстве, он был создан на пересечении самых безумных страстей и самых неудержимых порывов в подтверждение вечной истины, что добро и зло не ходят в одиночку, как, впрочем, коварство и любовь.

И вот они въехали в грязные улочки, где глинобитные дома стояли в непривлекательном беспорядке, окруженные, словно облаком, запахом нечистот и гнили. Под ноги лошадям бросались тощие охрипшие псы и крикливые сопливые мальчишки; и женщины в несвежих шальварах, нечесаные и немые, большеглазые обрюзгшие красотки, лениво предлагали им липкую черешню в глиняных чашках. Все это было столь шумно, красочно, незнакомо и неправдоподобно, что и черешня казалась нарисованной, так что в голову не приходило — взять это из чашки, расплатиться, попробовать на вкус, сплюнуть косточку...

Домишек прибавлялось, улицы густели. Невыносимое солнце закатывалось за пологую гору, с мутной Куры долетало подобие прохлады, или это только казалось; тюрчанки под чадрами семенили подобно монашкам.

Внезапно, как это может быть только в раю, тщедушная фигурка ринулась к бричке, воздевая руки. Лошади стали. После высокопарных и весьма изысканных приветствий посланец Марии Амилахвари легко вскарабкался в бричку, уселся напротив пассажиров и велел кучеру трогать.

Это был более чем невысокий господин лет сорока пяти, худощавый и стройный, в безукоризненном, хотя и не слишком новом сюртуке, в сорочке отменной белизны и в черном галстуке... Крупный, но не уродливый нос, поблекшие тонкие губы, зубы отменной белизны и большие застенчивые карие глаза. Каждый жест его был исполнен достоинства, не надменности, а именно достоинства, того самого, которое располагает к сближению. Его звали Георгий Петрович Киквадзе, или Гоги, как сам он об том просил с мягкой настойчивостью. Служил он в губернском правлении, но, пользуясь снисходительностью начальства, принужденного считаться с местными нравами, большую часть времени проводил в доме Марии Амилахвари, которой доводился дальним родственником, и выполнял безвозмездно обязанности ее поверенного и секретаря. Когда-то, как сам он о том поведал с застенчивой улыбкой, был он владельцем небольшого, но доходного имения в Кахетии и даже позволил себе роскошь однажды отпра-

виться за границу для пополнения образования. Он посетил университет в Гейдельберге, затем отдал предпочтение Сорбонне, однако известие о неполадках дома вынудило его поспешить обратно, что он и сделал с радостью истинного грузина, начавшего тосковать по родимому краю. Вернулся и очутился у разбитого корыта. Мария Амилахвари пригрела его, ибо «все израненные и лишенные кровь стекаются под сень ее неземного человеколюбия!».

Где-то тоскливо завопил муэдзин, ему откликнулись женские стенанья, толпа мужчин гудела вокруг павшей лошади, и хохот перемешивался с бранью... Вдруг долгий и протяжный звон проплыл надо всем и, не успев смолкнуть, повторился вновь, заглушая все прочие звуки... Ударили колокола к вечерне.

...В это же самое время в Петербурге, в доме госпожи Тучковой, в гостиной, под портретом маленького господина ван Шонховена, в покойных уютных креслах, напрягшись до изнеможения, чтобы сохранить остатки учтивости, два уже немолодых человека пытались совершить невозможное и разгадать великую тайну природы.

— Все бесполезно, — сказала госпожа Тучкова, — его превосходительство остается по-прежнему учтивым и обходительным, но я-то вижу, что стоит ему эта учтивость, когда давно пора швырнуть в меня чернильницей или застрелить, о мать божья... — Она хохотнула по своему обыкновению, что вовсе не означало ни восторга, ни торжества, а скорее стон. — Мне кажется теперь, что это уже никогда не кончится, хотя его превосходительство Леонтий Васильевич клянется, что более надежных агентов и не сыскать, но, посудите, уже второй месяц!.. — Она смотрела прямо на своего собеседника, и в ее прекрасных глазах отражалось его утомленное лицо. — Представляю себе этих болванов, где-нибудь кутящих и развратничающих, меж тем как дело стоит на месте, и я не могу никуда показать носа: вы знаете, какое у меня положение...

— Вы говорите со мной так, — сказал господин Ладимировский с легким возмущением, — как будто это я сам снарядил их в дорогу. Ну, хорошо, прошло время, кончились истерики и заламывание рук и прочее... Теперь-то уж можно кое-что и понять... Вы, например, все-таки недооценили свою дочь (тут она хохотнула), да, да, вы

с присущей вам самоуверенностью посчитали, что она совсем ваша и бунт ей чужд... Вы, надеюсь, помните, что когда она вам сказала... когда она брякнула про все это, вы пытались... вы предполагали... надеялись, что это фантазии и что свежий воздух, легкая прогулка и тому подобный вздор способны... в состоянии образумить... вышибить из нее эту дурь... (В прекрасных глазах госпожи Тучковой отразилось высокое окно и стволы деревьев в саду.) Ну что же, я не спорил, хотя вы сами же устроили мне скандал, утверждая, что я бесчеловечен и имею наглость силой удерживать вашу дочь... смею удерживать, когда ей предстоит блистать... — Он умолк, потому что современная, чуждая предрассудков женщина разрыдалась.

— Не обращайтесь внимания, — сказала она, успокоившись, — и не говорите вздора, это вздор — все, что вы говорите. Я предупреждала вас, что она своенравна и склонна к фантазиям, а вы... стреляли по бутылкам из-под шампанского и создавали ей условия для тайной переписки! Вы...

— Сударыня, — сказал он с укоризной, — вы же знаете, что все это началось задолго до меня...

— Неправда! — возмутилась она, однако покраснела и опять крикнула: — Нет!..

...— Ах! — воскликнула Лавиния, когда бричка подпрыгнула на ухабе.

— Держитесь, — засмеялся Мятлев и крепко обнял ее.

— Вах! — воскликнул праздный красавец, увидев это, и приложил руку к газырям, и низко поклонился.

Сомнений быть не могло: их заметило Провидение и впервые приветствовало со столь восторженным недоумением.

Господин Киквадзе посмотрел на красавца с укором.

— Трещите, ваше сиятельство, — пропела Лавиния, — я на виду. Теперь я за себя спокойна. С вами-то как?..

— Я не дождусь добраться до госпожи Амилахвари (дай бог ей всяческого здоровья), чтобы отомстить вам незамедлительно и изощренно.

— Мы, грузины, — сказал Гоги Киквадзе, — от природы галантны. Культ женщины со времен великой Тамар мы исповедуем со старанием. Правда, это не означает, —

он смущенно улыбнулся, — что приезжая блондинка, такая неслыханная красавица, как вы, мадам, не воспламенит в сердце мужчины чувства более земные, чем только божественное восхищение. — Он говорил по-русски легко, и лишь несильный, но цепкий акцент выдавал его происхождение. — Вы не должны, мадам, смущаться и негодовать, если взоры мужчин будут чрезмерно многозначительны, а жесты откровенны. Мы, грузины...

«Мы, грузины» звучало почти так же, как «мы, Бравуры...» у госпожи Тучковой. Мятлев рассмеялся.

— Ну что вы, — сказала Лавиния нараспев, — мне еще не выпадала такая честь, — и покраснела.

— Осмелюсь не поверить, — усмехнулся галантный посланец Марии Амилахвари.

Сумерки надвигались, но пролады не было. Бродячих собак стало меньше, и грязи будто поубавилось, а может быть, предвечерняя сиреневая мгла ее прикрыла, и запах нечистот сменился пряными благовониями, и выросли дома, разукрашенные ажурными балконами, замелькали частые пролетки с нарядными пассажирами, черкески и сюртуки, и знакомые зеленые вицмундиры, и аксельбанты, и платья с кринолином. («Вы поглядите, вы только поглядите!...»)

— Полагаю, вы представляли себе Тифлис как скопище жалких мазанок, грязь и азиатчину, — сказал Гоги Киквадзе с тихим торжеством. — Удел всех русских. Конечно, рядом с Петербургом мы — дальняя окраина, но это ведь еще откуда смотреть, ибо мы — средоточие такой древней культуры, сплетение таких разноплеменных богатств, что можем кое с кем и посоперничать...

— Конечно, — сказала Лавиния с деликатностью гостя.

— Кроме того, — продолжал Гоги, — вы не должны забывать, что нам, грузинам, выпала трагическая честь принять на себя главный удар мусульманской ненависти и отстаивать божественные истины православия. Нас вырезали в течение множества веков безжалостно и со страстью. Вы знаете, сколько крови мы пролили? И вы не должны забывать, что нас истязали не ради захвата наших земель, о нет! Нас убивали, чтобы вытравить сам дух нашей веры, а это гораздо страшнее... — Говоря все это, он время от времени раскланивался со знакомыми, которые проходили или проезжали мимо. Он почти стоял в бричке, держась одной рукой за кучерское плечо. Его вы-

разительное лицо со впалыми щеками пылало вдохновением. — Вся Грузия — это памятник нашей печали и нашей неукротимости, а Тифлис, господа, — сказал он хриплым шепотом, — это его основание. А знаете ли вы, господа, почему так редко можно повстречать на чужбине грузина? — Он сделал многозначительную паузу: — Потому что нас мало, и мы привыкли страдать сообща...

Бричка катила дальше. Справа полнеба закрывала голая черная крутая гора, на которую пытались вскарабкаться домишки, и с нее, с этой горы, с самой ее середины, белый храм осенял город своими крылами.

— Здесь Пушкин проезжал, — сказал Мятлев благоговейно, как чужеземец, истосковавшийся по родине.

— Здесь многие проезжали, — сказал Гоги, — там, например, — указал он на белый храм, повисший над городом, — похоронен Грибоедов...

Картина, нарисованная господином Киквадзе, не очень вязалась с окружающим пейзажем: они ехали по уже довольно широкой улице, застроенной каменными европейскими домами, обсаженной молодыми кудрявыми деревцами. Пестрели вывески лавок, магазинов и духанов. Публика становилась все чище и благопристойнее, даже бродячие торговцы зеленью и фруктами казались одетыми во все новое и кричали потише; даже бродячие собаки жались к стенам домов; то справа, то слева возникали сады, гордые церкви, свидетельницы былого; сумерки все густели, и праздные красавцы были уже все на одно лицо. Усталость давала себя знать: Лавиния молчала, Мятлев представлял окружающее менее правдоподобным, чем оно было на самом деле. Какие-то предвечерние фантазии роились в голове, какие-то видения возникали со всех сторон, улица уходила в вечность, прохожие разговаривали жестами, словно немые, Гоги Киквадзе смущенно улыбался, как святой на иконе, обремененный знаниями о прошлом. В довершение всех фантазий мимо проплыла коляска, в которой сидел фон Мюфлинг.

Итак, прошлое никак не вязалось с этим уютным, душеватым, красочным и загадочным благополучием, окружавшим их бричку, и, видимо, если уж оно, это прошлое, не было праздной мистификацией Гоги Киквадзе, то память о нем была жива лишь в крови и передаваться могла только с кровью и, невидимая посторонним глазом, бушевала где-то в глубинах душ...

— Помилуйте, — воскликнул Гоги, — ничего себе мистификация! — И он замахал руками и закричал с тревогой, как бы предупреждая об опасности, и вереница угрюмых убийц замелькала перед Мятлевым. — Персидские Сасаниды, огнепоклонники, выжигали нас с тупостью варваров; армянское царство пало — мы все-таки выкарабкались, жалкие остатки некогда цветущего племени... Мы, как муравьи, копошились в разграбленном муравейнике, когда на нас обрушились византийцы, хазары и, наконец, затопили арабы. Несколько веков они старательно утрамбовывали наши могилы, чтобы мы не смогли воскреснуть, но мы воскресли. Мы воскресли, гмерто¹, и почти достигли могущества, как турки-сельджуки ворвались в наши пределы!.. О, это еще далеко не все... После нового воскрешения и иллюзорного благополучия уже монголы двинулись на нас, Тамерлан приходил неоднократно, эта хромая кровожадная скотина, механизм, созданный для убийства... А турки-османы? А шах Аббас иранский? А Ага-Магомет-хан?.. Гмерто!.. И ведь каждый из них, наверное, говорил: «Да разве я об себе пекусь? Я ради вас стараюсь, ибо вы не знаете, что есть истина, а что — ложь, и я должен вас вразумить и наставить...»

— Да здравствует свобода! — сказала Лавиния.

— Вот именно, — засмеялся Гоги Киквадзе. — Да светит народам она, как лик лучезарного солнца!

Бричка внезапно свернула направо, и узкая тихая улочка устремилась круто вверх, в гору, к белому храму, в гору, в гору... Дух захватило.

— Это не опасно, — успокоил посланец Марии Амилахвари, вставая в наклонившейся бричке во весь рост.

Перед двухэтажным домом лошади стали.

...— Неправда! — крикнула госпожа Тучкова и покраснела.

Он вздохнул и откинулся в кресле. Диалог, как и все предшествующие, был бесполезен.

— Будьте ко мне снисходительны, — тихо сказала она, — у меня единственное дитя. Как бы я ни заблуждалась, это все от любви... А вы еще сможете быть счастливы. — В глазах ее не было ни коварства, ни безумия.—

¹ Г м е р т о — боже (грузинск.).

Разве я хотела ей дурного? И все, что делала, разве для меня? Разве я о себе пеклась? Ведь поддайся я ее фантазиям, и позору не было бы конца. (Он усмехнулся.) Крушение иллюзий, — продолжала она шепотом многоопытной колдуньи, — это, сударь, трагедия. Сосуд сломан... Его склеили, но он с л о м а н! Я знаю...

— Сударыня, мы ведем пустой разговор, — сказал он без интереса, — мы с вами в одинаково глупом положении... Какие иллюзии? Какое крушение?.. Я люблю вашу дочь, она любит князишку... Вы меня поставили в щекотливое положение. Я нигде не бываю, никому не могу смотреть в глаза... Когда она одумается, если она одумается... если она пожелает вернуться, если ее вернут, клянусь: я в ножки ей упаду!

Тут она расхохоталась по-настоящему.

— Вы бы еще эту жалкую чепуху выкрикнули в окно...

— Я делал, как она хотела, — упрямо твердил владелец осиротевших рысаков, — потому что люблю ее. Князишку этого ненавижу, а ее люблю! И если он не успел ее еще развратить, она поймет меня...

— Безумец! — крикнула она. — Такой громадный мужчина и такой безумец!..— Теперь она стояла перед ним, подбоченясь на манер торговки, и в ее голосе проskalьзывали визгливые ноты, и все это вместе: пронзительные ноты отчаяния, глуховатые, воркующие, презрительные мелодии, глубокое декольте, руки на бедрах, и ни одной напрасной драгоценной бриллиантовой высокомерной слезы, — все это потрясало Петербург. — Я учила ее уважать вас, а вы стреляли по бутылкам из-под шампанского; я уверяла ее, что вы — почти гений, с вашим умом, рассудительностью, с вашими-то руками, с вашим полетом... а вы падаете ей в ножки и стреляете по бутылкам из-под шампанского!.. (Он смотрел на нее с ужасом.) Я воспитывала ее отрешиться от фантазий, обуздать себя, холера ясна, и служить вам, именно вам! Служить вам (не мне, не мне!) с благородством и убежденностью Татьяны, а вы... учили ее стрелять по бутылкам с самонадеянностью простака, пся крев, и с жадностью нищего!..

...Лошади остановились у подъезда, и во внезапной тьме, обрушившейся с горы, чьи-то услужливые руки подхватили саквояж, Лавинию, Мятлева... «Синатле!», «Свет,

ради бога!..» Закачался фонарь, свечи в шандалах. Гор-
танные голоса, незнакомые речи, хриплый восторженный
шепот Киквадзе: «Осторожнее, дорогая, не спешите, вот
так, так, теперь так...», скрип ступеней, запах воска, оре-
хов, каких-то цветов, прохлады. Распахнута дверь...
В просторной прохладной комнате, опершись рукою о спин-
ку кресла, невысокая женщина в черном платье предста-
ла перед ними.

— О генацвале! — Ее голос был тих, бархатист и за-
душевен. — О генацвале, какая вы красавица! — По-рус-
ски она говорила почти так же чисто, как Гоги Киквадзе,
правда, акцент был сочнее и ярче. — Какая радость сви-
дание с вами, князь. Правда, Амиран описывал вас
многократно и с любовью, но вы, князь, лучше, пре-
краснее, я это вижу... Dieu merci, ce terrible chemin
est en arrière. Et vous pouvez maintenant vous repo-
ser¹. Гоги, теперь от тебя, золотко, зависит их благополу-
чие... Гоги — мой брат, мой друг и поэт... Гоги, распоря-
дись о еде... — Она обняла Лавинию и повела ее из ком-
наты. — Вам надо привести себя в порядок, правда?
Идемте, генацвале... Et vous, prince, ne vous ennuez
pas, en attendant².

Вскоре и Мятлев удостоился чести быть препровожд-
енным в комнату, предназначенную для них. Лавиния
уже находилась там. Она успела переодеться. Комната
довольно ярко освещалась. Стены были покрыты восточ-
ными коврами. В дальнем углу высилась деревянная кро-
вать. Громадная дверь выходила на балкон. С улицы доно-
сился гомон, и какая-то чуждая их слуху музыка звучала
не переставая. Громадные звезды сияли в черном небе,
голова кружилась от усталости. Гоги пригласил их к столу.

Вечерняя трапеза напоминала сон — столь фантастич-
но и неугадываемо выглядели яства. Вино было из чисто-
го червонного золота, оно струилось с легким звоном, и
фразы за овальным столом звучали как стихи. «Как му-
жественны вы, дитя мое, что перед Петербургом не скло-
нились...», «Не правда ли, Мария, сколь прекрасней она,
чем Амиран живописал?..», «Я знаю, генацвале, как труд-
на дорога ваша к счастью. Все я знаю. Еще вам пред-

¹ Слава богу, эта ужасная дорога позади, и вы сможете отдох-
нуть... (франц.).

² А вы, князь, не скучайте (франц.).

стоит познать печаль: ведь наша жизнь — не рай, что нарисован рукою детской...», «Ээ, Мариико, зачем ты говоришь усталым путникам о будущих печалях? Вы пейте, генацвале... Все прошло. Вы пейте... и наслаждайтесь тишиной, свободой, покоем и вином...», «Да что с тобой, Киквадзе? По-твоему, они — изнеженные дети? Вот князь был ранен, например. В горах. Лавиния покинула свой дом, такие, гмерто, выдержала бури!.. Ты, Гоги, легкомыслен как всегда. Тебя послушать — нет на свете горя...»

Раскрасневшаяся Лавиния украдкой пожалала Мятлеву руку. У него кружилась голова, он пробовал сочинять ответные дифирамбы, и непременно в стихах, но они обрывались в сознании и меркли. Молчаливая старуха вносила какие-то блюда и выносила пустые... «Варико! Варико!» — звучало ей вслед. «Варико, Варико, Петербург, далеко...» — сочинил Мятлев.

— О милая Лавиния, мужайтесь, — тихо проговорила Мария. — Я знаю, как вам трудно, как вам страшно... Подумать только: брошенный супруг (он добр, вы говорите, и прекрасен?), покинутая мать (как ни безумна — все же это мать), и тем не менее, о гмерто, тем не менее вам за любовь простится все, поверьте...

— Я не завидую вам, князь, — прошелестел, застенчиво улыбаясь, Гоги Киквадзе. — Я вас люблю как брата. За ваше благородство. Ведь благородство — это же не званье, не золото, не положение в свете, а свет — в крови... Вот наша Варико, она — крестьянка из скромного селенья Карданахи, а благородства ей не занимать. Да, благородства в ней нисколько не меньше, чем в князе Воронцове, например. И мы, грузины, это очень ценим...

«Мы, Мятлевы, — подумал князь, — были благородными ровно настолько, насколько это соответствовало приличиям. Лавиния, я клянусь тебе, что ты не будешь знать печалей... У Марии изможденное лицо пророчицы и синие глаза божьей матери... Варико, Варико, Петербург далеко...»

Они уже намеревались подняться из-за стола, как вдруг чье-то незнакомое лицо просунулось в дверь, пошевелило усами и позвало Гоги.

— Почему он не вошел? — спросила с недоумением Мария. — Что он хочет, Гоги?.. Ну, выйди же, узнай... Иди же... Гоги развел руками и вышел.

— Это его приятель, — пояснила Мария, — большой

кутила и очень добрый человек, совсем родной... Вы уже совсем спите... Варико!

Воротился Гоги с тревожной улыбкой на губах.

— Все хорошо, — сказал он с натужным пафосом, — можно продолжать веселье...

— Что случилось? — спросила Мария.

— Ничего, генацвале, — запетушился Киквадзе не очень уверенно, — там всякие дела... — И заторопился: — А не пора ли спать?.. Варико!

Все поднялись со своих мест. Варико поманила Мятлева и Лавинию за собою. Киквадзе торопливо шепнул Марии что-то, и она ладонь прижала к губам, словно сдерживала крик.

— Что-нибудь случилось? — спросил Мятлев.

— Ничего, ничего, — попыталась она улыбнуться, — идите к себе и ни о чем не думайте.

За спиной Мятлева Гоги Киквадзе произнес отчетливо:

— Завтра же я его найду, и ты увидишь, как я с ним разделаюсь...

Затем он заговорил по-грузински, и это звучало как трагические стихи.

Над Тифлисом висело черное небо, и крупные раскаленные звезды капали на пыльную траву.

...А там, в Петербурге, напротив, стояла светлая белая ночь, но в ее щедедушной белизне словно таилось некое коварство: все это притихшее, притаившееся, белесое царство выглядело предостережением смертным, склонным к обольщениям, живущим с легкомысленной самоуверенностью в собственной непогрешимости. В такую ночь говорилось шепотом, дышалось с тревогой, думалось с оглядкой: что там? Кто? Где? Куда?.. Для чего?.. Возможно ли? Да не придумано ли все вокруг? Да вправду ли в домах — живые и видят сны? Да не лучше ли, расхохотавшись над собственной суетностью, над желанием властвовать и повелевать, самоутверждаться, царить, господствовать, править, поучать, неистовствовать, не лучше ли ахнуть, пасть на колени, прокричать свое «прости-прощай», умолкнуть и ожидать наступления утра с гордой радостью просто живого и потому великого существа, трепещущего, ищущего, прозревшего и мудрого?..

— А если ее не найдут? — шепотом спросил господин

Ладимировский. — Если мне отныне суждено все время думать, как она там развлекается, любезничает с ним, обнимает его, прижимается к нему, заглядывает в глаза?

Меланхолическим движением руки она прервала его стенания. Нечто, напоминающее туман, витало в комнате, и сквозь этот туман колдунья выглядела загадочной и прекрасной.

«Какие у нее глаза! — с внезапным восторгом подумал господин Ладимировский. — Вот кто все может и все сделает... На нее нужно молиться, и она все сделает. Перечить ей нельзя, и сомневаться тоже... Она — волчица, потерявшая своего детеныша; природа наделила ее обонянием, зоркостью, инстинктом и чем-то еще таким сильным и пронзительным, чего понять невозможно...»

— Идемте, — сказала она и повела его за собой.

Они прошли замерший дом легко, сквозь стены, не встречая препятствий, не касаясь предметов, не распахивая дверей. Сад был безмолвен и светел, кусты сирени терялись в глубине, капли росы сверкали на розах. Сад переходил в парк, в тот самый парк, с которого все и началось когда-то, и стоило слегка напрячься, чтобы обнаружить где-то здесь, среди травы, конец той самой злополучной веревочки, и тогда останется только разматывать ее и разматывать, покуда все не вернется на свои места... Возможно ли?

— Возможно ли? Не знаю, — хохотнула она, — да вы идите, идите же...

Природа молчала. Они двигались все быстрее и быстрее, не касаясь ногами травы.

«Люди гибнут от праздности, — почему-то подумал господин Ладимировский, едва поспевая за колдуньей и задыхаясь. — Так им и надо...»

Внезапно парк оборвался, и они остановились.

Перед ними возвышалась груда развалин. Уже молодая сочная зелень хозяйничала здесь, и сквозь расщепленные доски и комья штукатурки, из-под разбитых кирпичей вздымались к небу ее зеленые знамена, торжествуя над гибелью и тленом.

— А может быть, — сказал он шепотом, — она была слишком одинока?

— Глупости, — едва слышно откликнулась госпожа Тучкова, — она была окружена людьми, и все были переполнены к ней участием.

— А может быть...

— Молчите, — сказала она, прислушиваясь к чему-то. — Что это вы все время говорите и говорите?..

73

(Из Тифлиса — в Петербург)

«Любезный брат мой,

наконец-то эта нелепая история подходит к концу. Как я и предполагал, беглецы продолжали намеченный путь и благополучно достигли Тифлиса. Буквально у Владикавказе я увидел их, после того как мы расстались, и следовал за ними в полуверсте всю дорогу, а затем обогнал, покуда они высыпались чуть ли не на каждой станции. Нет, нет, они меня ни в чем не подозревали, и нет предела их наивности и легкомыслию! А ведь я достаточно намекал князю, чтобы он мог взять в толк и поостеречься. Я сделал все как мог, чтобы не замарать себя и не нарушить долга. Должен признаться, что расставался я с ними в сильном смятенье чувств, но постепенно дорога меня все-таки охладилла, и прежнее мужество вернулось ко мне. В конце концов, думал я, служение обществу не воскресная прогулка, не они первые, не они последние. В конце концов, был бы князь на моем месте, а я — на его, он, будучи человеком глубоко порядочным, честным, совестливым, не смог бы манкировать, лгать, увилывать, изворачиваться и подошел бы ко мне и объявил о высочайшей воле. Недоумевая, сожалея, печалась, он выполнил бы возложенное на него поручение... Да и при чем тут я? У него с Петербургом какие-то свои счеты. Я же призван не карать, а доставить беглецов в Петербург, да и карать-то, видит бог, не за что. Одним словом, я, кажется, совсем успокоился и смогу все совершить лучшим образом. Главное сейчас заключается в том, чтобы не встретиться с ними как-нибудь ненароком, накоротке, так сказать, по-домашнему: опять рассентиментальничаюсь, разминдальничаюсь, расхлюпаюсь, ибо Мятлев полон обаяния, а о ней и говорить нечего.

Сразу же по приезде я доложил губернатору, и машина, как водится, завертелась. В помощь мне выделили ротмистра Чулкова, человека, по всей видимости, рассу-

дительного, делового и не болтливого, что очень важно в нашем деле, ибо истинного преступника, который всегда настороже, молва об опасности не сделает осторожней: он всегда под ней ходит, а вот такого неискушенного дитяню возмутит и превратит в зверя — иди потом ищи его по белу свету! Нынче жду и своего Катакази, который, если не погиб в женских объятиях, будет здесь.

Теперь несколько слов о Тифлисе.

Этот город расположился в глубокой котловине, где нет движения воздуха, и потому днем иссушает невыносимая жара, а ночью влажная духота выжимает из тебя последние соки. Город грязный, пыльный, зловонный, с непрекращающейся дикой музыкой, суетливый, даже не город, а скорее претенциозное нагромождение мазанок, домишек, и домов, и ослов... У всех мужчин — усы и кинжалы. Русские лица попадают довольно часто, но и почти на всех лежит печать принадлежности ко всему этому дикому, крикливому, азиатскому, пропахшему кислым молоком, горелой бараниной, коварством, фасолью, тайными страстями... Не верь никому, кто будет тебе с восторгом описывать местные красоты, храмы и памятники прошлого, грациозных грузинок и пиршества по древне-эллинскому образцу. Храмы — нелепые по виду облезлые постройки; отличить грузинок от армянок или татарок невозможно: у всех черные брови, черные глаза, орлиные носы, сварливый характер и детское любопытство; пиршества — застолья с подозрительной пищей, утомительными здравицами и оглушительной музыкой... Я пытался с помощью ротмистра Чулкова определить народность встречаемых мне туземцев — напрасно. Я узнавал грузина, а выяснялось, что это айсор, я определял татарина, а это был курд, я указывал на курда, но это был армянин... Мы, русские, должны благодарить бога за свою приобщенность к Европе. Впрочем, грузины должны также благодарить бога, что мы спасли их от турок, хотя я и от турок их отличить не в состоянии. У вас в Петербурге еще светлые ночи, а здесь — чернота, мрак и запах горелой баранины! Будь я на месте Мятлева, я бежал бы через Финляндию в Европу... Сущий дурак!

Обнимаю тебя,

твой любящий брат

Петр фон Мюфлинг».

(Из Тифлиса — в Петербург)

«Друг мой,

нагромождение чудовищных нелепостей таково, что не знаю, с чего и начать.

Утром вышел из гостиницы, сел в пролетку и отправился на гору Св. Давида поклониться праху Грибоедова. Кучер мне попался любопытный, словоохотливый, шустрый, лет тридцати, хотя у них в возрасте ничего понять невозможно. Разговаривал с чудовищным акцентом, но я постепенно приспособился. Постараюсь передать тебе нашу беседу по возможности точно, и ты поймешь, что у меня были все основания рехнуться. Кучер мой очень взбодрился, узнав, что я приезжий и что я в Тифлисе впервые. «Хаши кушил?» — был первый его вопрос. «Какие хаши?» — не понял я. Он от изумления даже остановил пролетку. «Не кушил? Ваа!.. Хочешь, я тэбэ павезу кушить хаши? Есть одна духан, мой брат делаит хаш — с ума сходишь. Хочишь?» — «Времени нет», — сказал я. Он рассмеялся: «А дэнги есть?.. Вах, если дэнги есть, пачиму времени нэт?» Я приказал ему ехать на гору Давида. Он трещал без умолку, рассказывал о домах, которые мы миновали, о людях, проходящих мимо. Он знал все обо всех. Я снова попытался определить его народность, но не смог и решил спросить. «Ты кто будешь?» Он поворотился ко мне и сказал, глядя на меня с сожалением: «Я?.. Гурами». О такой народности я еще не слыхивал, однако здесь все возможно. В краю, где живут курды, айсоры, татары, армяне, грузины, почему бы не жить гурамам? Видимо, им хватает здесь и места, и баранины, и вина, если они так любопытны, словоохотливы и самонадеянны.

Мы проезжали мимо дома, из которого неслась визгливая музыка (это ранним утром!). «Свадьба, — сказал кучер, — мой друг свадьба дэлаит... Тры дня уже... Хочишь, заходим, гость будишь? Его жена красавиц, с ума сходишь!» Но я отказался. Тогда он показал на противоположную сторону улицы и сказал: «Здэсь живет адна русски князь. Она убегаль из Петербург. Тэперь ему хочит ареставать...»

Я чуть было не выпал из пролетки. «Откуда ты знаешь?» — в ужасе спросил я. «Я?» — удивился он. — «А кто нэ знает?» — «Тебе что, рассказали или ты выдумал?!» —

«Вах! Зачем выдумаль? Мнэ мой друг сказал, моего дру-га тоже друг есть, она ему сказал...»

В течение нескольких минут я пребывал в полусознании, затем велел везти меня обратно. Каковы нравы! Не успел войти в гостиницу, как мне вручили письмо от неизвестного мне лица.

«Милостивый государь, мне хорошо известна цель Вашего приезда. Нисколько не умаляя ответственности, выпавшей на Вашу долю, хочу предостеречь Вас от опрометчивого шага, который Вы можете сделать, не будучи хорошо знакомы с обычаями нашего края. Дело в том, милостивый государь, что гость, по местным понятиям, — лицо священное, и не то чтоб арестовать, а просто обидеть гостя в грузинском доме — значит бросить вызов всей Грузии. Вы даже не представляете себе, какие проклятия падут на Вашу голову в том случае, если Вы осмелитесь по-прать древние наши обычай».

Я понял, что от государственного секрета не осталось и следа. Все превратилось в общее достояние. Пожалуй, и князю уже все известно, и он приготовился дать мне отпор! Один я виноват во всем! Нечего мне было распускаться и играть роль путешественника. Давно бы все кончилось.

Не успел я ознакомиться с письмом, посетовать, посокрушаться, не успел я от изумления впасть в протрацию, как ко мне явился некий господин, маленький, безукоризненный человек, истинный европеец по костюму и благовоспитанности, но с азиатской внешностью. Он отрекомендовался, но фамилии его я не запомнил, столь причудлива и необычна она была на мой русский слух. Разговор наш велся на русском и французском попеременно, что маленькому господину удавалось в равной степени превосходно.

Человек. Здесь стало известно о цели вашего приезда, и это очень обеспокоило меня и моих друзей.

Я. А кто вы такой и почему мой приезд должен вас беспокоить?

Человек. Вам предписано арестовать...

Я. Господь с вами, я обыкновенный путешественник!

Человек. Допустим, допустим, но вам поручено арестовать князя Мятлева, но князь Мятлев...

Я. Да с чего вы взяли? В жизни никого не арестовывал!

Человек. Допустим, допустим... Вы разве не фон Мюфлинг?

Я. Что же из этого?

Человек. Вы полковник фон Мюфлинг, и вам предписано... но князь Мятлев — мой гость и моей высококочтимой родственницы Марии (фамилия).

Я. Да кто вы такой и почему я должен объясняться с каждым?

Человек. Я не каждый. Я (имя и фамилия). А обидеть гостя...

Я. ...в грузинском доме — значит бросить вызов всей Грузии.

Человек (усмехнувшись). Вы хорошо информированы, сударь. Это делает вам честь. Я надеюсь, мы сможем понять друг друга...

Я (не очень уверенно). Но вы ошибаетесь. Я никого не должен арестовывать. Я путешествую...

Человек. Князь Мятлев благороднейший и наичестнейший человек. Он не совершил ничего дурного. Напротив, объятый подлинной страстью и состраданием, протянул руку помощи...

Я. Вы имеете в виду даму?

Человек. Вот именно, генацвале... Мы, грузины, знаем, что такое протянуть руку помощи...

Я. Ну, хорошо, но как вы это все... откуда это все стало вам...

Человек. Это ведь так просто. Господин полковник, мы, грузины, пережили трагическую историю. У нас очень тонкая интуиция, и все, что может нам угрожать, перестает быть для нас секретом. Еще мысль о нашествии только начинает созревать в головах наших врагов, а мы, генацвале, уже ощущаем в воздухе далекий запах бедствия. С другой стороны, господин полковник, те же самые печальные обстоятельства привили нам вкус, вернее, приучили нас к некоторым преувеличениям, ибо сигнал об опасности должен быть чрезмерным...

Я. Мне не совсем ясна ваша мысль.

Человек. Очень просто: мои друзья из самых лучших побуждений могли и преувеличить опасность, это не исключено, и я пришел сюда, чтобы лично от вас ус-

лышать, что все это вздор и что вы вовсе не собираетесь... Скажите мне, что это неправда, умоляю!

Внезапно я понял, что этот маленький, гордый, безукоризненный человечек беспомощен как дитя, что он ничем серьезным угрожать не может, что единственное его оружие — это безупречный галстук да горькая просвещенность. Я почувствовал к нему глубокую симпатию, и, видимо, это отразилось на моем лице, так как он улыбнулся и его большие застенчивые глаза повлажнели. Сомнения, которые меня было оставили, вновь зашевелились в душе, и нелепость порученной мне миссии стала еще очевидней. Я был несчастнее, чем он, ибо он находился в своем доме. «Ну, хорошо, — сказал я, — ваши друзья ввели вас в заблуждение. Вы довольны?..»

Человечек. Я знал, что это услышу! Какое счастье! *(За окнами брезжили кавказские сумерки. Что-то мягкое, обволакивающее, вечное влияло в комнату. Какое-то незнакомое умиротворение разлилось по телу. Он стоял передо мной, прижимая руки к сердцу, глаза его были полны радостных слез. Он был мне более чем симпатичен, немолодой, благородный, беззащитный, способный на подвиг.)* Теперь я назову вас братом! О, вы даже не представляете, что это может означать!

Я. А что, Мятлев и его подруга очень обеспокоены?

Человечек. Помилуйте, они ничего не знают! Они ничего не должны знать...

Тут он роскошным жестом пригласил меня к распахнутому окну. Боже мой, что там творилось! Все пространство под окнами было заставлено пролетками и колясками, полными расфранченных пассажиров, толпились люди, какие-то дамы глядели на меня с благосклонностью сестер. Мой гость что-то крикнул, замахал рукою, и все пришло в движение. Грянула музыка. По коридору раздались шаги, и моя комната стала наполняться неизвестными мне людьми. Что было потом — передать невозможно. Я пил из позолоченного турьего рога амброзию! Откуда-то появились вертелы с нежнейшими румяными ломтиками ягнятины, а следом — серебряное блюдо с жареным поросенком, а следом — такое же блюдо под осетром. Все было как в тумане. Подливки были жгучи, музыка приводила в сладкую дрожь, четыре усатых красавца пели в мою честь, и, кажется, я разрыдался. Помню, что я просил своего маленького гордого волшебника спровадить Мятлева

и его спутницу поскорее куда-нибудь в укромное место, чтобы не искушать меня. Помню, что я твердил что-то такое о жажде покоя и о лжи, которая сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Мой маленький повелитель обнял меня, и мы пили с ним...

Утром я проснулся в своей постели. Видимо, Гектор позаботился обо мне. Голова была свежа. Все помнилось. Даже увиденный сон не рассеялся, как бывает обычно с пробуждением, а вспоминался с деталями. Казалось, будто и в самом деле всей гурьбой с шумом, и пением, и поцелуями мы рассаживались по экипажам и под музыку и крики катили по ночному Тифлису куда-то далеко, на берег какой-то шумной реки, и там под раскидистыми деревьями, в озарении факелов продолжали есть, пить и клясться друг другу в вечной любви, покуда не посветлело небо. Затем мы мчались обратно, и я сидел в экипаже, поддерживаемый моим маленьким волшебником, окруженный подаренными мне серебряными кубками, влажными от вина, позолоченными рогами, ажурными блюдами, кинжалами... И на всем пути по ночному городу меня сопровождали звон, позвякивание, скрежет...

И вот представь себе мое изумление, когда, восстав ото сна, вдруг обнаружил, что целый угол в моей комнате загроможден этими дорогими сувенирами, звонкими многозначительными знаками нашей взаимной и искренней симпатии.

Поручик Чулков доложил мне, что по сведениям, поступившим в его распоряжение, наши петербургские друзья намереваются продолжить свое путешествие, однако не ранее, чем наслаются пребыванием в этом городе...

Петр фон Мюфлинг».

74

Дурацкая утренняя неуместная зурна, пронзительно вскрикнувшая за окном и стихшая, грустный, монотонный, непрекращающийся вопль продавца мацони, похожий на призыв о помощи, сварливая перебранка вороватых тифлисских воробьев — все становилось привычным, словно сопровождало с детства.

— Вот видите, — говорил Гоги Киквадзе, — теперь

вы убедились, какое прелестное снадобье от старых ран этот Тифлис? — И он одергивал полы своего поношенного, единственного, но безукоризненного сюртука. — Мы, грузины, рождаемся опьяненными воздухом, кипящим вокруг нас, — и легкими прикосновениями длинных взволнованных пальцев проверял положение галстука, словно проигрывал фортепьянную гамму, — эээ, генацвале, это не зефир, выдуманый поэтами, ничтожная пустота, годная, пожалуй, лишь для риторических восклицаний... это тяжелый, густой, хрустящий, вечный океан... эээ... да... пахнувший горем, розами и грубыми одеждами наших предков! Барнаб Кипиани смог бы все это подтвердить, когда бы не был в отъезде... — И его аскетическое лицо озаряла белозубая улыбка, и карие глаза торжественно сверкали, и его тщедушное тело увеличивалось до гигантских размеров, и этот маленький, жилистый, немолодой гигант, отбрасывая нервную тень, раскачивался перед Мятлевым... Он провозглашал все это, успевая одновременно с восхищением вспоминать недавнюю победу над жандармским полковником, и светлоглазое хищное лицо петербургского тигра уже укрощенным маячило перед ним. — Вино, дары, высокопарные речи!.. О, мы не так просты, не так просты...

— Что вы имеете в виду? — спросил Мятлев.

— Неважно, — заторопился Гоги, — совсем неважно... Все, что хотите...

Мятлев оставался в полном неведении, поэтому ленивая, праздная, рассеянная, слегка глуповатая его улыбка умиляла господина Киквадзе и даже потешала...

Стояло раннее жаркое июньское тифлисское утро. Лавиния еще спала. Мятлев, разбуженный воробьями, криками и музыкой, прокрался на балкон в тот момент, когда начищенный, сияющий, элегантный господин Киквадзе выбирал на мощеном дворе у двух соперничающих торговцев розовые, распадающиеся дымящиеся абрикосы. Торговцы протягивали к маленькому гиганту руки и то ли укоряли его, то ли благодарили, а он движением руки отправлял отобранные корзины в дом и посмеивался, и негодовал, и клялся в вечной любви... Затем он увидел Мятлева и взлетел к нему на балкон по витой лестнице, чтобы разглагольствовать о целебных свойствах тифлисского воздуха и тайно гордиться удачным завершением вчерашнего пиршества.

Затем явилась прекрасная голубоглазая Мария, вся в черном, с тихой улыбкой на тонких бледных губах... И день начался.

— Надеюсь, вы не будете возражать, — внезапно пролепетал Гоги, — если с нами позавтракают два очаровательных петербуржца?

— Петербуржца? — удивился Мятлев.

— Петербуржца, — деликатно хохотнул господин Киквадзе, — они очень загорелись увидеть вас и нашу Лавинию.

— Петербуржцы? — подумал Мятлев, и что-то тоскливое, едкое, удушливое подступило к горлу.

— Петербуржцы? — переспросил он и пожал плечами. — Я буду рад, — и почувствовал, что ленивое, счастливое, бездумное, тягучее питье медленно, но неумолимо утекает из треснувшего сосуда, и тонкий, полузабытый комариный писк нарастает и приближается. — Уж если вы рекомендуете, то мне остается только радоваться, — скавал он, не узнавая своего голоса.

Господин Киквадзе радостно кивал и делал Марии какие-то знаки. Затем раздалось утреннее «Варикоооо!», бряцание ножей и вилок в прохладном полумраке столовой, потянулся запах свежего хлеба, зелени... Вдруг за закрытой дверью пронзительно закричала Лавиния, и Мятлев устремился на крик.

Она спала, свернувшись калачиком, по обыкновению подложив ладонь под щеку и выпятив нижнюю губу. Немного успокоившись, Мятлев отправился заниматься туалетом, а когда вошел в столовую, все уже были в сборе.

Впрочем, сказать «все были в сборе» значило ничего не сказать, ибо даже легкий взгляд выдавал необычность этого утреннего застолья. Прежде всего все так смотрели на вошедшего Мятлева, словно ждали его команды, чтобы приступить к трапезе; кроме того, лица присутствующих выражали столь неприкрыто и восторженно это самое ожидание, что за ним можно было предположить лишь наступление чуда. Поэтому Мятлев застыл на пороге и с мольбой о защите глянул на Лавинию. Однако Лавинии как бы и не было вовсе. На самом почетном месте восседал господин ван Шонховен с глазами, полными слез, насмешливо опустив уголки губ. Справа и слева от него, наподобие почетного конвоя, застыли два офицера. Тот, что слева, высокий, узкоплечий капитан,

светлоголовый, коротко остриженный, мрачный, бледноглазый, затянутый в мундир ослепительной белизны, был давний знакомец Мишка Берг. Тот, что справа, покоренастей, с роскошной улыбкой, украшенный кудрями сомнительной густоты, в выцветшем военном сюртуке, небрежном, словно с чужого плеча, поручик с толстыми влажными губами — Коко Тетенборн.

— Ба! — сказал Мятлев забытым кавалергардским баском. — Вы ли это, господа?..

Следовало бы огорчиться и даже разгневаться при виде этих двух наглых шалопаев, свидетелей бывших падений и утрат, но время, очевидно, и впрямь способно врачевать, а человеческие пристрастия столь склонны к метаморфозам, что ни гнева, ни огорчения не вызывали эти фигуры, явившиеся из воображения.

Белое имеретинское вино пилося по-тифлисски, до дна. Чужая музыка за окнами звучала как своя. Июньская духота не проникала в полутемную столовую. Мария все так же тихо и иконописно улыбалась гостям, Господин Киквадзе произносил тосты. «Варикооо! Варикооо!..» — витало в воздухе.

Мне доставляет (и вы, видимо, заметили) громадное наслаждение живописать все это. То, что передо мной всего лишь обрывки чужих воспоминаний, случайные, выветрившиеся из памяти детали, — все это не помеха для сердца, омываемого горячей, здоровой и обильной кровью предков. Я вижу этот стол, и ощущаю ароматы яств, и слышу торопливые слова, хоть звук их давно угас, и чувствую и в себе самом ту легкую, лихорадочную связь, возникшую среди пирующих, когда все можно, до всего есть дело, а пределы дозволенного расширились и лишь угадываются возле линии горизонта.

— Вы, князь Сергей Васильевич, и не подозреваете, что значит для нас этот дом! — крикнул Коко Тетенборн. — Вы только взгляните в лицо госпожи Амилахвари, этой Марии Амилахвари, вы только представьте себе: А-ми-ла-хва-ри!.. Ну скажите, смог бы Мишка Берг, этот мрачный конкистадор, потрошить там где-то своих безумных горцев, когда бы не знал, что время от времени он сможет видеть это лицо!..

— Bravo! — прошептал господин Киквадзе. — Какой тост, генацвале!

— Что он такое опять говорит? — сказала Мария, краснея.

— Лично я вырос в этом доме, — продолжал меж тем Коко, размахивая бокалом, — я родился в этом доме... Единственная женщина, которую я люблю всю жизнь, — это она! — Он мельком глянул на Мятлева. — Ээ, князь, того, о чем вы думаете, не было, не было!.. Вздор все!.. Вы думаете про вздор... Вот князь показывает мне своими мудрыми, проникновенными глазами, мол, что-то такое было где-то когда-то... Я ведь подразумеваю в высшем смысле, а не какие-то там ваши глупости и подозрения... Пусть Мишка скажет, честный воин...

— Успокойтесь, Коко, — попросила Мария, — все знают о вашей давней братской любви ко мне. Все об этом знают, Константинэ... Я тоже люблю вас всем сердцем, генацвале...

К и к в а д з е. Только тише, не кричите, умоляю вас...

Б е р г. Когда он пьет, он становится пошлым.

Л а в и н и я. А вы все такие же: не хватает, чтобы принялись тузить друг друга.

Т е т е н б о р н. Нет, Лавинюшка, нет, королевочка, теперь Мишке не нужно грозить мне стулом: теперь ему есть кого бить и в кого стрелять, ха-ха... Даже моя любовь к Марии не выводит его из себя... Наступили счастливые времена! Хотя раньше-то я его бил, а не он меня, вот как...

Мятлев все никак не мог понять, какие знаки подает ему Лавиния: то ли молчать, то ли удалиться... Казалось, что ей прекрасно за этим столом, в окружении этих двух вечных балбесов, для которых не существовало никогда ничего, кроме их собственных страстей и собственного самодовольства. Лавиния сидела прямая, насмешливая, большеглазая, скуластенькая, умопомрачительная и не замечала холодной петербургской длани на своем плече.

М я т л е в. А помните, как однажды...

Т е т е н б о р н. Ничего не помню, ничего и не было, ха-ха, я всегда жил в этом доме. Представьте, князь, однажды... Это не в вашем смысле «однажды», а в ином, в моем... Так вот, однажды я сделал госпоже Амилахвари предложение...

М а р и я. Гоги, успокой его, Константинэ, опомнитесь..

Б е р г. Теперь вы видите, Магге, какой он пошляк? Если вы прикажете, я заставлю его замолчать.

Л а в и н и я (*Мятлеву*). Спасения нет...

«Ты моя любовь, — подумал Мятлев с горечью всевидящего оракула, — пусть кто-нибудь попробует тебя оскорбить... Чем я смогу отплатить тебе за твою беспомощную преданность?.. Наверное, мы вместе погибнем в этом раю, которого я удостоился по чьей-то ошибке... Что я могу?..»

К и к в а д з е (*Мятлеву*). Я вижу, что это вас огорчает? Они хорошие люди, но обезумели. Мария согревает их, иначе они совсем сошли бы с ума... Старайтесь, если возможно, смотреть на них глазами Марии. Хорошо, что нет здесь Барнаба Кипиани — он их просто убил бы!

Т е т е н б о р н. Все смотрят на меня с укором. Я уезжаю в полк. Наконец-то. Там я буду стрелять, бить саблей, рвать зубами, выпускать кишки, чтобы тоже заслужить золотое оружие, и тогда (*Марии*) брошусь перед вами на колени, и тогда вы...

М а р и я (*огорченно*). О, гмерто!..

К и к в а д з е (*Марии по-грузински*). Может быть, в конце концов, положить этому предел?.. Мне стыдно перед целым светом! Твоя снисходительность переходит всякие границы! Ну, что ты улыбаешься, дорогая моя? Скажи им что-нибудь... Они хорошие, одинокие, но сколько можно?.. Представляешь, что сделал бы Барнаб?..

Мятлев слушал этот монолог как страстное стихотворение. «Уж не объясняется ли он сам в любви?» — подумал князь о Гоги. Ему даже показалось, что он начал понимать эти звуки, что еще мгновение — и сам заговорит так же нараспев, гортанно, страстно, и тайное «сирцхвили... сирцхвили...»¹ обретет свой смысл, покуда еще скрытый... Как хорошо, должно быть, вот так же бездумно пить вино, золотое, имеретинское, прикасаться губами к цоцхали², цоц-ха-ли, и ощущать, как эта серая рыбка тает на губах от одного твоего прикосновения, и слышать звуки бегущей желтой воды и шорохи чинар где-нибудь в Ортачала³, Ор-та-ча-ла... Все имеет начала... Ортачала, цоцхали, сирцхвили... Это вы ли?..

¹ Стыдно (*грузинск.*).

² Рыба (*грузинск.*).

³ Сады в пригороде Тифлиса.

Вдруг вскочил Мишка Берг, уже не тот петербургский херувим с детской кожей, а пропыленный, прожаренный, покрытый морщинами капитан, служака, герой, раб золотого оружия. Он был бледен. Руки его тряслись, некоторые слова выпадали из фраз, терялись словно в крошечной тьме.

— Коко врет, — сказал он, — это... сделал предложение Марии... она попросила... срок подумать... согласился...

— Какой же срок? — спросила Лавиния без интереса.

— Вся жизнь, — сказал Берг торжественно.

Киквадзе рассмеялся с облегчением.

Лавиния продолжала посылать Мятлеву тайные сигналы. Он все никак не мог понять их смысла, силился, разглядывал и только улыбался в ответ. «Что? Что? Ну что же? Что же?..»

Она произнесла одними губами: «Я вас люблю... несмотря ни на что! Вы лучше всех... Вы мне нужны, не забывайте об этом, и не забывайте, что большего счастья не будет, ни-когда... Я вас люблю...»

И Мятлев, распознав значение сигнала, откинулся, запрокинул голову и прошептал: «Цоц-ха-ли!..»

— Варикооо! — крикнул господин Киквадзе, и седая Варико поставила перед Мятлевым блюдо, наполненное серыми рыбками.

Т е т е н б о р н (*Бергу*). А почему это я должен тебе уступать? Всегда и всех, почему?! (*И заплакал.*)

К и к в а д з е (*Марии, по-грузински*). Этого еще не хватало!.. Послушай, моя дорогая, я вот о чем подумал: тот петербургский тигр не так уж глуп, как может показаться. Боюсь, что он коварнее, чем выглядит... Надо отправлять наших друзей, пора... Если он вознамерится их арестовать, что мы сможем сделать? Что я смогу, боже?..

М а р и я. Мой дорогой, я полностью полагаюсь на тебя, но нужно поговорить с нашими друзьями, нужно придумать какой-нибудь предлог, тревоги не должно быть в их сердце... Но сначала, Гоги, золотко, успокой этих, у меня сердце разрывается от их страданий!..

К и к в а д з е. Да ну их к черту! Они и сами сейчас сникнут. Разве ты не знаешь? Лучше думать, как спасти князя и эту богиню. Я просил Барнаба приехать. Все-таки Барнаб! Я, конечно, готов на все для тебя, дорогая, но без Барнаба в таком деле...

М а р и я. О, Барнаб!..

Лавиния (Мятлеву). Грешников нельзя пускать в рай. Вы видите, как они все испортили?

Мятлев. Если бы я не знал, что здесь край земли, я бы предложил вам ехать дальше...

Лавиния. Господи, края нет. Разве вы не знаете об этом?

Я понимаю, с какой горечью произносилось это, вернее — какая примесь горечи была в этом счастливом восклицании, но живые благородные люди тем-то и отличаются от людей ненатуральных и остывших, что умеют ценить жизнь, а не представления о ней. Да, да, именно жизнь...

Мятлеву почему-то захотелось досадить Бергу, и он сказал ему:

— Есть ли женщины, которых вы не любили бы, Берг? Куда ни явишься — везде одно и то же: Берг сделал предложение, Бергу отказали, Берг дрался... — Он ожидал взрыва, но хмельной капитан, покорно выслушав все это, внезапно улыбнулся широко, по-детски.

— А я и вас люблю, князь, — сказал он, — да не умею этого показать.

Господин Киквадзе, несколько порозовевший, мурлыкал какое-то подобие песенки и перемигивался с Марией. Она сказала ему по-грузински:

— Гоги, радость моя, придется тебе заняться всем этим. Бедный Гоги, я не оставляю тебя в покое... Гмерто, ты загубил свою жизнь рядом со мной... Ты таешь на глазах...

— О чем ты? — рассердился господин Киквадзе. — Разве все, что я имею, не твое?.. — И он сказал уже по-русски, обращаясь к Мятлеву: — Я приветствую тебя, прекрасный садовник, подаривший нам, — поклон Лавинии, — такой восхитительный цветок! Не забывай же, что его стебель тонок и ломок и лишь твое вдохновение способно поддерживать в нем его горделивое пламя...

Лавиния. Да здравствует свобода!

Берг. Вот именно, истинным рыцарем может быть тот, кто устал быть солдатом...

Тетенборн. Ах, ты считаешь меня... что я, не убив пару-другую этих самых, не гожусь в рыцари? Ну и скотина же ты, Берг!.. Ты все у меня отнимаешь! Пусть Лавинюшка-королевочка расскажет всем, как ты, бывало...

Киквадзе. Прекратить!..

Но тут же смутился и забормотал мягко, понурясь: «Невозможно... невероятно... сирдхвили... сацхали¹... генацвале...»

И так он твердил все это, покуда Мятлев выбирался из-за стола, торжественно раскланивался с пирующими, и это все летело ему вслед, покуда он выходил из комнаты на жаркий, залитый солнцем балкон, где господин ван Шонховен, картинно раскинув объятия, ждал его, приклонясь к перилам.

Затем получилось как-то так, что прекрасная Мария Амилахвари успела опередить Мятлева и, по обыкновению кротко улыбаясь, повела Лавинию в дальние комнаты, и Лавиния все время оборачивалась и махала князю ручкой, покуда не скрылась за дверью. В столовой продолжал бушевать, и плакать, и молиться Коко Тетенборн, отвергая увещевания господина Киквадзе, а рядом с Мятлевым возник мрачный Мишка Берг, впрочем, уже не Мишка, а капитан Берг, в белоснежном мундире, забрызганном крупными каплями имеретинского...

— Вы не слушайте эти глупости о золотом оружии, — сказал он, — это ведь ничтожная условность... Раньше я испытывал неудовлетворенность жизнью, как это обычно водится средь нас, а нынче испытываю отвращение к себе самому... Вы спросите, почему?

— Вздор! — сказал Мятлев. — Нужны мне ваши покаяния.

— Я завидую вам, — сказал Берг трезво и твердо. — Но как вы можете жениться на нашей Лавинии при живом муже? Или вам и это сойдет?.. А может быть, лучше бежать за границу?..

— Не приставайте, — лениво отмахнулся Мятлев, — неужели нужно было проехать две тысячи верст, чтобы снова объясняться с вами?!

— Я не сержусь, — вздохнул капитан, — я пережил такое, что ваша ирония ничего не значит в сравнении с тем, что я пережил....

Здесь, на ярко освещенном балконе, еще явственней было видно, что Берг уже давно не тот: резкие многозначительные морщины пересекли его обветренное, выгоревшее лицо, и в светлых зрачках пребывало спокойное, привычное военное безумие. Он слегка сутулился и поежи-

¹ Бедняга (грузинск.).

вался, и в голосе его звучали едва уловимые прощальные интонации.

Лавиния выглянула на балкон.

— Вы здесь?— спросила Мятлева с тревогой. — Слава богу! — и снова исчезла.

— Вы не слушайте эти глупости о моих любовных вожделениях, право, — сказал Берг. — Коко в своем репертуаре...

— Не приставайте, — попросил Мятлев, — ну что вам стоит?

— Уж сколько я его бил, — продолжал капитан, — а с него как с гуся вода... А вам я завидую: как вы решились умыкнуть Лавинию! Я бы никогда не посмел, потому что ну, умыкнул, а дальше?.. Дальше-то что? Пожалуй, лишь Барнаб не стал бы задумываться, как поступить...

Мятлев. Всякий раз слышу это непонятное имя. Это кто, великан из сказки?

Берг. Барнаб Кипиани — сорвиголова, бедный князь, да они все тут бедные. Выше меня на две головы. Ну, благородный разбойник, что ли... Ну, этакий вчерашний красавец, друг Марии, вернее, друг ее погибшего жениха, гнет подкову, не терпит возражений...

Мятлев. Достаточно, благодарю вас...

Берг. Так вот, Барнаб не стал бы раздумывать, а вы?.. Дальше-то что?.. Или вы хотите дожидаться, когда ваша пассия кинется в Неву?.. Так ведь Невы-то здесь нет...

И получил пощечину.

Мятлев потер ладонь о балконные перила и сказал с улыбкой:

— Я к вашим услугам, капитан Берг...

— Князь!— крикнул Берг.— Я сказал гадость?.. Это вино!.. Я скотина. Меня несет и несет... Я люблю вас!.. Вы не поняли!.. Я готов... но вы не поняли. Когда я пью... Прощать нельзя, конечно! Но старая дружба... Петербург... я уже был убит... воскрес! Я готов, вы не подумайте, нет, нет... я готов! Я просто подумал, что же дальше?.. Подружески, как брат... А получилась гадость... Я могу встать на колени, при всех!..

— Убирайтесь, Берг, с вашими извинениями, — сказал Мятлев. — Я удовлетворен. Убирайтесь.

Берг поклонился и пошел в столовую, тяжело переступая.

«Действительно, — подумал Мятлев, — что же дальше? Вот скотина!»

И он отправился по раскаленному балкону в ту отдаленную прохладную полутьму, где должен был повторить печальный свой вопрос, оживший вновь. Едва ступил в комнату, как навстречу выбежала Лавиния.

— Дело плохо, князь, — всхлипнула она, припадая к его груди, — сдается мне, что за нашей спиной готовятся какие-то козни... Я же просила вас не обольщаться раем. Какое вы дитя, однако!.. — И закрыла глаза, стора в его руках, и уже оттуда, насладившись прикосновением к нему: — Впрочем, может быть, это только мне кажется...

Что-то все-таки происходило, что-то тайное, скрытное, не подвластное робкому разуму, что-то такое, что, скопившись, все-таки начинало просачиваться, пробиваться сквозь ветхие надежды на вечный покой. Хотя здравомыслящие люди относили все это на счет особенностей тифлисского июльского полдня, когда раскаленные волны, окруженные влажным паром, набегают на все живое и вдруг замирают и лишь лениво сочатся изнуряющим потом и остатками здравого смысла, и поэтому единственное спасение для непосвященных — это стремительное отступление в горы, в прохладу, ибо и от вечеров ждать нечего: они не приносят облегчения, лишь в глубине толстостенных домов, в самой их середине, еще возможно не потерять остатков рассудка, хотя длительное неподвижное высиживание в полумраке — разве не унизительно?

— Вот почему, мои милые, — сказала Мария Амилахвари, — мы должны немедленно отправляться в Абастуман, или в Манглис, или в Кикеты... или хотя бы в Коджори... Старики пророчат губительную сушь...

«Что же вас могло напугать в этой невинной попытке спасти нас от тифлисского солнца?» — спросили глаза Мятлева у Лавинии.

«Да я вовсе и не испугалась, — ответили ее глаза, — просто нас разморило, и мы перестали замечать друг друга...»

— Хорошие фэтоны повезут нас по горной дороге, — продолжала Мария. — Едва мы отъедем от Тифлиса на две-три версты, как будем в полной безопасности... Вот еще далеко до вечера, генацвале, а наш богатырь Киквадзе уже хлопчет обо всем.

«Не слишком ли много опасений по поводу духоты?» — молча поинтересовалась Лавиния.

— Как жаль, что Амирана нету с нами, — сказала Мария, — когда мне было совсем немного лет, он брал меня на руки и нес в экипаж, и в пути я всегда сидела у него на коленях, ни о чем уже не заботясь, кроме одного, и спрашивала его: «Почему мы поднимаемся к солнцу, а становится прохладнее?» — «Да потому, — отвечал он, — что жара не может удержаться на склонах гор и скатывается прямо в Тифлис...» Я долго в это верила... — И Мария Амилахвари, шурша черным платьем, спокойно отправилась прямо в полдневное пекло.

75

«20 июля

...и, просыпаясь по ночам, я слышу, как течет Нева... Мария Амилахвари родилась в 1824 году. Эта двадцатисемилетняя женщина, не прилагая к тому усилий, с первого же дня знакомства с нею внушила мне уверенность в справедливости моих действий.

Она ни о чем не спрашивает, но я, словно пав перед ней на колени, рассказываю ей всю мою жизнь, и не свожу с нее при этом взгляда, и не удивляюсь, что мне хочется раскрыть все это перед нею. Молюсь ее голубым глазам, припадаю к ним, как к спасительному источнику, вслушиваюсь в ее вздохи, и ее редкое «равкна¹, генацвале» наполняет меня светом. В иных устах это могло бы прозвучать как слабость, но в ее — всегда как согласие с природой. Воистину, там где-то мечется законный владелец господина ван Шонховена, но... равкна, и госпожа Тучкова неистовствует, видя себя поверженной; и Коко проливает бессильные слезы; и Грибоедов лежит в грузинской земле; и Александрина вновь надеется на спасение, потому что равкна, равкна, равкна, генацвале... Неумение переносить несчастье — самое великое из несчастий, сказал Бион. Мы учимся этому умению торопливо и неумело всю свою жизнь, только с возрастом достигая лишь некоторого совершенства. Однако Мария несравнима с нами. Природа сама сочла возможным не утомлять ее дли-

¹ Что поделаешь (грузинск.).

тельным постижением этой истины и раскрыла перед ней свои тайны уже сейчас. Поэтому она так царственна, так спокойна, так великодушна и так терпелива. Я заглядывал в ее комнату, в ту самую, в которой она читает редкие ленивые письма от Амираана, вздыхая об этом старшем брате, как о младшем, в ту самую комнату, где она перечитывает письма погибшего своего возлюбленного и где не держит его портретов, всегда лишь искажающих память о нем... «Да вы фаталистка! — сказал я ей однажды.— Вот она, цена вашему равкна: мы не смеем жить по своим прихотям, и вечно чья-то тягостная длань тянется к нашему горлу, и всегда опасности выпадают на нашу долю!..» Она тихо засмеялась, погладила меня по голове, как шалуна, своей маленькой ладонью и сказала: «Нет, генацвале, надо себя защищать, и спасать, и уважать... Это «равкна» не о том, что на тебя свалилось, а о том, что ты вынужден совершить. Равкна, моя радость...»

«22 июля...

Спроси у одних, и они докажут тебе с неопровержимостью, что большей законности, чем при нынешнем государе, и быть не может, что она всегда вокруг нас и в тех размерах и формах, которые мы сами заслуживаем; спроси у других, и они тоже с наименьшей неопровержимостью опровергнут первых, предъявляя множество фактов, подтверждающих, что у нас — сплошной произвол и никакой законности; но это бы еще ничего, когда бы не было третьих, с еще большей неопровержимостью утверждающих, что произвол — это как раз и есть наше спасение, ниспосланное нам свыше, и перечислят целое море различных удобств, порожденных этим благословенным состоянием!..

Самое странное, что Л., которой следовало бы относиться к этому с пренебрежением юности, страдает, оказывается, наравне со мной, отчего на высоком ее челе появилась даже морщинка. «Где? Где? — спросила она.— Не может быть!» — и приникла к зеркалу. Скоро наступит день, когда я должен буду показаться ей слишком угрюмым, слишком скучным, слишком изученным. Приобретение опыта не проходит даром. Что же меня изумляет? Наверное, то, что она с прежним жаром, достойным

самых первых дней, восклицает свое излюбленное: «Мы вместе? Как странно!.. Мы живы? Как странно!..»

Поспешность, с которой нас спасают от духоты, не кажется мне подозрительной... Отчего же Л. все время в легкой беспричинной тревоге, что, впрочем, наверное, и есть первое следствие жестокостей этой природы.

Нынче я вздумал отправиться в караван-сарай, поглядеть это знаменитое место торгов, но Гоги со свойственным ему учтивым лукавством и нежнейшей твердостью настоял, чтобы мы отказались от этого предприятия, ссылаясь опять же на духоту. Я просил его отвезти нас в серные бани, но он отвертелся, отшутился, отмахался... В один прекрасный день вдруг кончились прогулки, поездки, выходы... В довершение ко всему нервы у Л. совсем расшатались, она вскакивает по ночам: «Вы здесь? Слава богу!..» — после снова засыпает... Сегодня утром она спросила совсем серьезно: «Я проснулась ночью знаете отчего? Мне показалось, что я снова в Петербурге... Сколько же нужно проехать верст, чтобы видеть другие сны?..»

Как выяснилось, Берг и Коко отправились на север проливать свою голубую кровь.

Лавиния, что я с тобой делаю?!

«Ваши восклицания безнравственны, — заявила она мне однажды, — можно подумать, что вы меня уже не любите... Неужели вы были бы более довольны, видя меня петербургской пленницей? Говорите — были бы?» Но буквально через час, в мрачном состоянии духа, со слезами на глазах: «Кто я вам?.. Что я на этом свете?.. Вы меня спасаете, спасаете, спасаете, и мы не можем остановиться..»

76

Южная ночь, стремительная и непроглядная, опустилась на город... Так я намеревался было продолжать свое повествование, во многом, как догадывается читатель, несовершенное и неполное, ибо не был непосредственным участником описываемых событий, а пользовался пересказами, слухами и случайными записями очевидцев, как вдруг в ворохе неразобранных бумаг попался мне на глаза пожелтевший от времени лист, вырванный из дневни-

ков Мятлева и, судя по всему, заполненный спустя долгое время после этой ночи... Конечно, я стараюсь и так и сяк, чтобы повествование мое выглядело натуральным и живым и сколь возможно интересным для читающей публики, однако, как ни старайся, видит бог, глаз очевидца всегда острее, рука стремительней, а душа неистовее. Считаю, что мне повезло, и с радостью перебеваю находку, ничего в ней не меняя...

«...Павлин на доме купца Ахвердова прокричал подобно муэдзину. Вечер давно сменился липкой густой ночью. Музыка унеслась куда-то в отдаление. Прохлада, как обычно, и не думала наступать. Теперь уж было не до пустых подозрений — духота унижала, пригибала, размывала; все начинало казаться напрасным, призрачным, вздорным... Пустая голова, покрасневшие веки, вялые движения... И вновь резкий прощальный крик старого опытного павлина, чей смутный силуэт покачивался перед глазами... труб заунывные звуки, полусвет, полутьма... Акация, растущая под окном, пыльной веткой медленно скребла по подоконнику.

Мы с Лавинией сидели в темной комнате, не зажигая света, ожидая сигнала. Наш тощий саквояж покоился у самой двери. Где-то вдалеке, на балконе, на дворе раздавались торопливые шаги, глухие голоса; фыркали лошади, звякала сбруя, скрипела лестница...

— Не волнуйтесь, — сказала Лавиния, — скоро уж мы отправимся.

Мне стало почему-то смешно, что вот этот слабый господин ван Шонховен на тонком стебельке, словно старший и могучий товарищ, утешает меня. Честно говоря, я поддался этой странной беспросветной ночи и попытался приготовиться. Благородный, не сделавший ни единого выстрела лефоше покоился в кармане сюртука. Я приложил к нему маленькую ручку Лавинии.

— О,— прошептала она, — старый товарищ!

Вселило ли ей уверенность прикосновение к металлу или я не распознал насмешки в ее голосе — не знаю; во всяком случае, что-то все-таки побудило же меня вспомнить об оружии?

— Я слышу время от времени ваш благородный смешок, — сказал господин ван Шонховен нараспев, — и с удивлением думаю, как мы всегда мрачны и задумчивы,

когда вольны поступать по-своему, и как становимся веселы, насмешливы, ироничны, как нам все вдруг трывтрава, когда течение обстоятельств зависит уже не от нас самих, когда кто-то взваливает на себя наши собственные тяготы... Ну, господи, тут-то, кажется, затаиться и спрятаться в ожидании неизвестно чего, а мы — наоборот: за нас хлопчут — какое наслаждение!

Так она тараторила торопливо всякую трогательную тарабарщину, делая вид, что ей и впрямь радостно и просто наше существование, что крик павлина на доме купца Ахвердова вовсе и не нагоняет тоску, что наша фортуна не замкнута и молчалива, что предстоящая дорога не может сулить невзгод, что прошлое не крадется по пятам, как раненый и мстительный барс...

Я пытался разглядеть ее черты, но ночь была черна, а огня почему-то просили не зажигать...

— Очень просто, генацвале, — сказала Мария, — если соседи увидят в ночных окнах свет, они подумают, что что-нибудь случилось, и сбегутся...

— Вам приятно быть зависимой пусть даже от добрых людей? — спросил я у Лавинии.

— Не задавайте коварных вопросов, — пропела она во тьме, — разве мы не зависим друг от друга? — И засмеялась: — Какое наваждение: зажигается огонь в окнах, и все соседи тотчас, как мотыльки, слетаются, и все извозчики подъезжают к крыльцу, и сходятся все водоносы, и у всех широко раскрытые любопытные азиатские непонятные глаза и приготовлены трогательные заздравные речи, и все зависят друг от друга — какое счастье!

И вновь я уловил в ее голосе что-то такое, что звучало в нем в минуты тревог или неуверенности, и я представил себе ее скуластенькое, прекрасное, решительное лицо, как вдруг распахнулась дверь, и темный, едва узнаваемый силуэт господина Киквадзе прошелестел с порога:

— А где тут прячутся два замечательных петербургских путешественника? Два мученика прекрасных? А ну-ка, а ну-ка, выходите, выходите, выходите...—И почти беззвучно: — Барнаб Кипиани с нами!..

Подхватив свой грустный саквояж, мы выбрались из темной и прохладной пещеры, и тут духота обрушилась на нас, как говорится, со всей страстью, на которую только была способна. Кричал, надрываясь, павлин. Цикады пели. У подъезда проглядывал фаэтон и в отдалении — не-

сколько всадников на всхрапывающих конях. Было что-то мистическое в происходящем. Я вел Лавинию за руку и, оборачиваясь, видел эту руку, которая постепенно терялась во тьме. Лишь шепот господина ван Шонховена долетал до меня время от времени. Мы уселись в экипаж. Кто-то пробрался вслед за нами, его дыхание слышалось из глубины экипажа. Всадники тронули коней, и расплывчатые призрачные чудовища обступили нашу повозку. Был второй час ночи. Город казался вымершим и непроницаемым. В небе не было ни одной звезды. Видимо, нагнало тучи, что усиливало духоту, но обещало скорые перемены.

Загадочность усиливалась с каждой минутой. Начинало казаться, что скрипучий фаэтон — громадное золотое ландо, окруженное многотысячным эскортом угрюмых всадников на крылатых конях...

Внезапно из облаков пробила луна, и все тотчас же переменялось. Старый сварливый павлин проплыл над нами, распутив выщипанный веер. Господин Киквадзе неподвижно примостился на переднем сиденье, и его лицо было впервые столь неулыбчиво и сосредоточенно. Четыре скромных всадника в черкесках застыли у самого фаэтона. Теперь я мог разглядеть их достаточно хорошо. У каждого по большому кинжалу на поясе. У двоих — ружья за плечами. Третий — громадный красавец с тонкими усиками, картинно вросший в седло. Я догадался, что это и есть знаменитый Барнаб Кипиани — гроза горных разбойников и сам разбойник. Четвертый всадник был мал ростом, тонок, как мальчик, безус и белолиц. Когда он, тронув коня, приблизился, я узнал Марию Амилахвари!

— Вы всегда так сосредоточенно, так таинственно выезжаете на дачу? — спросил я господина Киквадзе.

Он рассеянно улыбнулся и приложил палец к губам. Лавиния прижалась ко мне. Мария, склонившись с седла, сказала шепотом:

— Можно отправляться. Все будет хорошо... С нами бог.

— С нами бог, — прошелестел господин Киквадзе, и фаэтон тронулся вверх по ночной улице.

Ехали так: впереди громадный Барнаб Кипиани, Мария Амилахвари — рядом с экипажем, так что я хорошо видел ее прекрасный профиль, маленькую руку, крепко

сжимающую поводья; два всадника с ружьями замыкали караван.

— Это верные люди Барнаба,— сказал господин Киквадзе с гордостью,— они бывали с ним во многих переделках... — Дар слова вернулся к нему, и рассказы о Барнабе Кипиани потекли один за другим.

Однажды где-то в Кахетии случилось несчастье: шайка лезгин спустилась с гор, напала на беззащитную кахетинскую деревню, спалила ее, вырезала мужчин и стариков, а женщин, детей и скот увела с собой. Об этом узнал Барнаб Кипиани. Он в это время, когда пришло известие, принимал в своем доме гостей. Пиршество было в самом разгаре, когда сообщили об ужасном происшествии. Ни минуты не медля Барнаб велел седлать коней, снял со стены боевое оружие, кликнул мужчин... Однако гости были уже так пьяны, что не могли попасть ногою в стремя. Равкна, генацвале?.. Барнабу пришлось отправиться в погоню одному. Все женщины плакали ему вслед. Он ехал долго, и только через сутки удалось ему догнать шайку. Лезгины сидели у костра и наслаждались шашлыком, изготовленным из угнанных баранов. Связанных пленников поместили в отдалении. Вид их был ужасен. Спрятавшись за большими камнями, Барнаб меткими выстрелами уложил сразу троих и тут же перебежал на другое место. Враги начали отстреливаться, забыв о шашлыке. Но они не представляли себе силу невидимого противника. Им казалось, наверное, что на них напал большой отряд, потому что Барнаб все время менял позицию и кричал разными голосами. Еще трое лезгин свалились возле костра. Пленные женщины и дети плакали и возносили молитвы. Оставшиеся в живых грабители не выдержали и бросились к коням, но и тут Барнаб успел разделаться еще с двумя, а остальные ускакали прочь, не помня себя от страха. Когда все стихло, он вышел из укрытия... Весть о героическом поступке разнослась по всей Грузии. Сам наместник, князь Воронцов, принимал Барнаба у себя и вручал ему награду...

В другой раз Барнаб возвращался из Сагурамо. Была ночь. На крутом повороте горной дороги несколько разбойников, свалив его коня с помощью петли, скрутили всаднику руки и, угрожая оружием, потребовали громадный выкуп. Равкна, генацвале?.. Он согласился. Обрадованные столь легкой добычей, разбойники решили не тра-

тить понапрасну драгоценного времени, а поскорее доставить пленника в его жилье, где он должен будет дать им богатый выкуп за себя. Связанного, усадили его на его же собственного коня и под покровом темноты пустились в путь. Но не таков Барнаб Кипиани, чтобы покорно ждать, подобно барану, когда за него самого решат его участь другие. Он умудрился зубами перегрызть веревку на руках, затем вытащил из-под седла припрятанный там небольшой нож и незаметно перерезал им остальные путы. Не успели разбойники опомниться, как он уже сидел в седле с пистолетом в руке. Не мешкая ни секунды, он пристрелил одного из них. Пришпорив коня, он налетел на второго, и вместе, лошадь и всадник, рухнули в пропасть. Третий разбойник, видя все это, отшвырнул ружье, соскочил с коня и кинулся перед Кипиани на колени...

— Да здравствует свобода! — воскликнула Лавиния.

...Барнаб пощадил его. Но надо знать характер Барнаба. Успех всегда воодушевляет... Он приказал разбойнику усесться в седло и под дулом пистолета погнал его перед собой. Конечно, генацвале, он мог и без пистолета конвоировать этого испуганного человека, но с оружием в руках это выглядит красиво и многозначительно... Под утро они уже были в доме Барнаба. Хозяин велел накрыть стол, усадил разбойника, созвал соседей, и начался долгий пир... Через сутки он разрешил разбойнику отправиться восвояси. «Ну, ты доволен выкупом?» — спросил Барнаб у него на прощание, и тот, растроганный великодушием хозяина, поцеловал его в плечо и дал клятву верности... Барнаба Кипиани знает теперь вся Грузия. Если бы вы видели, как с ним раскланиваются все на Головинском! Все, даже чиновники наместника!..

Тифлис остался внизу. Светало. Страшная дорога уводила нас под небеса. Давно забытая прохлада снизошла к нам в эти часы... Господин Киквадзе был недвижим и печален. Лишь иногда он поднимал на нас грустные, отрешенные глаза и напряженно улыбался. Всадники попрежнему ехали молча... Лавиния, ваша судьба в моих руках! За что мне честь такая?.. А дальше-то что?..

Внезапно фаэтон остановился. Перед очередным крутым поворотом дорога расширялась, образуя довольно поместительную площадку. В центре ее одиноко маячил какой-то тщедушный солдатик с ружьем. Возле него гарцевала на своем иноходце Мария Амилахвари, что-то ему

втолковывая, но он отмахивался от нее, крутил головой в большой фуражке, звал кого-то. Послышалось шуршание камней, и какой-то офицер в пыльных сапогах сбежал с кручи и направился к нашей коляске...

Теперь мне кажется, что уже тогда, в тот самый момент, я обо всем догадался и был спокоен.

— Не может быть! — прошептал Гоги, белея и хватаясь за горло.

Офицер подошел к коляске и, широко улыбаясь, счастливо и звонко крикнул:

— Ваше сиятельство, вы меня не узнаете?! Уф, наконец-то! Я ищу вас по всей России вот уже второй месяц!..

И тут я узнал в нем поручика Катакази!..»

Теперь я попытаюсь продолжить повествование с робкой надеждой уж если и не живописать, то, по крайней мере, хоть не отклоняться от истины.

— ...Я ищу вас по всей России вот уже второй месяц! — крикнул поручик Катакази с интонациями любимого кузена в голосе. — Простите, князь, что вмешиваюсь в вашу прогулку, но я должен вас и вашу спутницу препроводить в губернскую канцелярию, порасспросить кое о чем, составить акт... Я прошу вас следовать... Второй месяц... — И тут он отскочил от коляски, и зажмурился, и выставил руки, защищаясь, потому что Мятлев, почти не сгибая ног, сошел с фэтона и двинулся к нему навстречу, протягивая несколько смятых ассигнаций...

— Я прошу вас... прошу вас, — твердил он при этом, как в полусне, наступая на растерявшегося красавца.

Он был бледен, по лицу струился пот. Лавиния метнулась из экипажа и повела его, слепого и размякшего, в сторону и усадила на большой придорожный камень.

Солдатик сделал несколько деревянных шагов и теперь стоял так, что всадники оказались как бы по одну от него сторону, а поручик, Лавиния и Мятлев — по другую. Восходящее солнце поигрывало на его штыке, белые ресницы подрагивали, скуку и печаль и еще что-то монотонное, голодное, потерянное источало его плоское лицо. Его длинная тень пересекла всю площадку и лежала четкой черной чертой меж темн и этими.

— Выслушайте меня, генадвале, — сказал господин

Киквадзе, очаровательно улыбаясь, но не пересекая этой черты, — видимо, произошла ошибка, генацвале... Полковник фон Мюфлинг, мой друг и брат, дал мне твердое слово... то есть он буквально подтвердил...

— Сирцхвили, — тихо сказала Мария Амилахвари.

— Господин офицер, — сказала Лавиния насмешливо, оборотив к поручику глаза, переполненные слезами, — надеюсь, ничего опасного не таит в себе встреча с вами? Мы так устали от духоты... Нам бы скорее добраться до какого-нибудь оазиса... Может быть, вы сочтете возможным кое о чем попросить нас здесь? Только о чем?.. Я могу рассказать вам всю мою жизнь, она не так долга, но поучительна. Вам понравится, например, такой эпизод — это о том, как я однажды, прогуливаясь со своей гувернанткой, madame Jacqueline, увидела... — Она говорила все это, наклонившись над сидящим Мятлевым, обняв его одной рукой за плечи и обтирая его потное лицо своим дорожным платочком, — ...увидела, как мимо меня по набережной проехал в открытой коляске вот этот господин, еще меня тогда не знавший, но которого уже тогда я, девочка, любила и, самое интересное, знала, что это навсегда... Но уж самое интересное, сударь, то есть самое важное во всем этом то, что я, эта маленькая дуручка, была уверена не только в вечной любви (это ведь всякая умеет), а твердо знала, что я приду вот к этому господину и, более того, что вы, милостивый государь, будете, непременно будете приставать к нам с вашим заурядным пошлым вздором, а мы, милостивый государь, все равно...

Услышав эти слова, Тимофей Катакази потрянул головой, словно освобождаясь от кошмара. Какая-то неясная мгновенная тень скользнула по его лицу, какая-то тень, тень скорби, или прозрения, или даже гнева, а может быть, и вовсе, напротив, восхищения, во всяком случае чего-то скорее светлого, нежели мрачного, но только скользнула...

— Сацхали! — прошептала Мария Амилахвари с той стороны.

— Убийство! — прошелестел господин Киквадзе.

— Равкна... — ответила она.

Вдруг Лавиния оставила князя и поднялась во весь рост. Слез уже не было в ее больших глазах.

— Пан твердит, что он два месяца ищет нас по Рос-

сии! — крикнула она, подбоченившись. — А не свихнулся ли пан поручик, часом? Каждый считает своим долгом, холера, заботиться о нашей нравственности! Каждый, проще пана, сует свой нос не в свое дело! Они думают, пся крев, что их вонючий мундир дает им право... Он еще смеет, холера, приглашать в свою грязную канцелярию! Матка бозка, сколько унижений!.. Или мы кого-нибудь убили?... Давай, давай свои наручники! Вели своему плюгавому холопу стрелять!.. Два месяца, пся крев, они без нас жить не могут! Скажите пожалуйста, какие нежности, холера!.. Не плачь, коханный, пусть-ка попробуют к тебе прикоснуться, пусть только посмеют!.. Где-то я уже видела эту лисью морду!.. Пусть только посмеют!..

Поручик Катакази терпеливо выслушивал брань молодой ополоумевшей аристократки. Все гордые, жалкие, жалищие, унижающие слова, предназначенные ему, не напоминали привычных любовных сигналов, и он был спокоен. Конечно, думал он, полковник фон Мюфлинг мог бы и сам выслушать все это, не треснул бы...

— Как вы все усложняете, ей-богу! — поморщился он. — Просьба заехать в канцелярию вызвала такую бурю, что просто диву даешься... — И добавил с ужасом в наглых бархатных глазах: — Не могу представить, что творилось бы, если бы я вас а р е с т о в ы в а л!..

Все это происходило по эту сторону от солдатика, все — брань, слезы, увещевания, метание молний. А по ту сторону от солдатика четыре всадника наклоняли головы, схватившись беспомощными руками за бессильные кинжалы, и солнечный зайчик, слетая с начищенного до блеска штыка, насмешливо перепархивал по лошадиным мордам.

— Выслушайте меня, — вновь заговорил господин Киквадзе, — вы, наверное, не знаете наших обычаев... Вот господин полковник фон Мюфлинг, тот знал, что оскорбить гостя в грузинском доме...

— Гоги, — сказала Мария Амилахвари, — ты разве не видишь, кто стоит перед тобой?

Тимофей Катакази вздрогнул, вдруг поняв, что этот изящный азиат на лошади — не кто иной, как молодая женщина, и так красива, что один сигнал с ее стороны, и он бросит все и пойдет за нею хоть в Турцию. Он попытался сравнить госпожу Ладимировскую с этой, а после эту с той, но маленький господин в безукоризненном галстуке прервал его размышления.

— Я вас умоляю, — сказал Гоги из-за черты, — заберите вашего замечательного воина и спускайтесь в город... это недоразумение... как будто ничего не случилось... как будто вы никого не встретили... Умоляю!..

— Гоги! — прикрикнула Мария.

Поручик глянул на пленников. Теперь Лавиния сидела на придорожном камне, а князь обнимал ее за плечи. Она подняла к нему заплаканное лицо и сказала, словно никого вокруг не было:

— Я рада, что тебе лучше... Не обращай внимания на слезы, — и улыбнулась, — это непроизвольно, это оттого, наверное, что мои тайные предчувствия меня не обманули. Так тяжело знать, что твои предчувствия должны сбыться...

— Сальков, — сказал поручик солдатику, — не заснул ли там возница?

— Никак нет, ваш бродь, — сказал Сальков, хлопая белыми ресницами.

Всадники тронули коней и начали приближаться. Их руки лежали на кинжалах. Глаза были устремлены на поручика... Тогда Тимофей Катакази выхватил из-за обшлага белый лист и помахал им в воздухе.

— Господа, я тут ни при чем! Высочайшее повеление, господа! Высочайшее повеление!..

На площадке тотчас установилось прежнее равновесие. Всадники отступили. Господин Киквадзе закрыл лицо ладонями.

— Так тяжело знать, так тяжело знать... — продолжала Лавиния, обращаясь к Мятлеву, и тут губы ее скривились. — Нет! — крикнула она и ударила себя маленьким кулачком по колену. — Нет, нет! — и снова ударила, да так сильно, по-мужски, и еще раз, и еще, била и кричала: — Ну, что вам от меня надо?! Господибожемой, злодеи, разве я этого заслуживаю?.. Да не лезьте вы!.. Как вы смеете принуждать меня, господибожемой!..

— Поручик, — сказал Мятлев угрожающе, — вы могли бы сделать это приличнее, — и поправил очки, — носит вас тут черт, — и склонился над Лавинией, — не плачь, друг мой бесценный. Мы вместе...

— Да ведь высочайшее, — пробормотал Катакази.

— Давайте поступим так, — сказал Гоги обреченно из-за черты, — вы, генацвале, не расстраивайтесь, возь-

мите вашего прекрасного спутника вместе с его ружьем, послушайте... мы отправимся в Манглиси, или, как у вас принято, Манглис, и там где-нибудь на тенистом берегу Алгети, или, как ваши говорят, Алгетки, под какой-нибудь сосной по-братски попробуем вино, вот Барнаб Кипиани везет целый бурдюк отличного «напареули»... Вот он сам, Барнаб, Барнаб Кипиани!.. — и указал рукой на молчаливого гиганта.

Тимофей Катакази смахнул веточкой пыль со своих сапог, понимая усмехнулся, глянул на Мятлева; тот стоял как ни в чем не бывало в обнимку со своей успокоившейся возлюбленной (бедный князь!), поблескивая очками и не помышляя более предлагать утомленному поручику ассигнации, уже забыв об них («Словно я их собираюсь расстреливать», — подумал он), а дама его пристально разглядывала поручика, словно и впрямь помнила его с самого детства. («Конечно, хороша, — подумал поручик, — но упаси бог, упаси бог!»), и он вздохнул.

— Сальков, — сказал он солдату, — свистника экипаж.

Солдатик свистнул пронзительно, по-разбойничьи, так что лошади всхрапнули. И тотчас из-за поворота показалась коляска.

— Умоляю! — закричал господин Киквадзе.

— Гоги! — вновь прикрикнула на него прекрасная всадница.

Тогда господин Киквадзе, бледный, и содрогающийся, и, видимо, охваченный безумием, ломая кусты, закарабкался на кручу и по тропинке побежал в гору и бежал до тех пор, пока не достиг вершины, пока сердце не сжалось и дыхание не перехватило. Он глянул с головокружительной высоты на извивающуюся дорогу, увидел два облачка пыли,двигающиеся к Тифлису, и закричал, обливаясь слезами, проклиная беспомощность и бессилие... беспомощность и бессилие... бессилие... бессилие и беспомощность...

Вы только вслушайтесь в эти слова, в это свистящее и шипящее месиво свистящих и шипящих звуков, специально предназначенных природой, чтобы выразить весь ужас, отчаяние и неистовство человека, которому выпало быть испытанным самым горьким из всех испытаний... И он плакал и выкрикивал свои гортанные, орлиные, клокочущие проклятия и потрясал кулаками, проливая сле-

зы, которые вливались в горные потоки — Беспомощность и Бессилие... Вы только вдумайтесь в значение этого шипения и свиста, напоминающего вам, как вы, царь природы, ничтожны под этим чужим небом, перед лицом своей судьбы, посреди трагедий, притворяющихся водевилями...

77

(Из Тифлиса — в Санкт-Петербург)

«Его Высокоблагородию господину полковнику фон Мюфлингу

Спешу доложить Вашему Высокоблагородию все обстоятельства известного Вам дела. Нынче, июня 28, на ранней заре, предварительно получив сведения от поручика Чулкова, мы отправились по Коджорскому шоссе и установили пост в шести верстах от Тифлиса. Вскоре, как и ожидалось, подъехали известные Вам лица, сопровождаемые четырьмя всадниками довольно свирепого вида. Однако, судя по тому, как развивались события, эскорт предназначался для охраны от возможных нападений со стороны грабителей, ибо по отношению к нам все было весьма учтиво.

Князь М. воспринял известие самым достойным образом, спутница же его очень это все переживала, плакала, но после успокоилась. Я определил им куда находиться вместе, в одной из гостиничных комнат, и вот теперь, раздобыв две кареты, буду отправлять их поврозь, как это значит в Высочайшем приказе. С госпожой Л. отправится поручик Чулков, я же выведу спустя два-три часа с князем.

Надеюсь, что фельдъегерская почта сумеет опередить нас и Вы получите мое донесение задолго до нашего прибытия.

Поручик Т. Катакази».

Приблизительно в тот же самый день, уже к вечеру, господин Свербеев и Афанасий достигли наконец края света, то есть пересекли Швецию и вышли к самому берегу Северного моря. Дорога упиралась в волны. У самой воды увидели они рыбацью хижину, а возле нее и рыбака-шведа. Хозяин очень удивился, увидев перед собою

столь изможденных, заросших бродяг, босых и в лохмотьях. Как уж они объяснились, сказать трудно, но Афанасий сел на перевернутую лодку и заплакал, а господин Свербеев, поняв, что от него теперь ничего не добьешься, махнул рукой и пошел далее по дороге, достиг моря и, не оборачиваясь, зашагал по нему, погружаясь все глубже и глубже, покуда не скрылся совсем, и уже ничего не осталось на поверхности — лишь ленивые зеленые волны с белыми гребешками. Рыбак-швед ничего не сказал на это, лишь покачал головой, то ли осуждая, то ли восхищаясь... Затем он вынес из хижины кусок хлеба и миску с похлебкой и протянул Афанасию... Спасибо, добрый человек!

78

Письма господина Ладмировского господину фон Мюфлингу из Петербурга в Кудиново

«августа 27, 1851 года...

...Никак не предполагал получить от Вас столь заинтересованное письмо. Вы же сами, как Вы изволили выразиться, «главный организатор и осуществитель» порученного Вам Его Превосходительством Л. В. Дубельтом дела. Вы же сами, как Вы пишете, «охотились за беглецами» и, будучи аккуратным исполнителем, наверное, не задумывались над духовной драмой, а все торопились — поймать, схватить! Теперь же слезно спрашиваете, каков, мол, результат. Лично я никого не просил унижать мою несчастную обманутую супругу, арестовывать ее, препровождать. Ее безумная мать этого хотела и добивалась, так Вы ее и спрашивайте. Вы делитесь со мной своей душевной драмой, а того не замечаете, что она отдает комедией. Да и недосуг мне описывать Вам мои несчастья, да и сил нет...»

«октября 13...

...Нет, нет, не могу сомневаться, что Ваша настойчивость продиктована самыми благородными и даже сердечными намерениями. И прежнего антагонизма я к Вам уже не испытываю. Люди отходчивы, а это было по первым

следам, по первой боли, в беспамятстве, если хотите. Однако согласитесь, что нелегко мне все-таки быть с Вами дружески откровенным, как Вы о том просите. Еще живо стоит перед глазами то отвратительное утро, когда мою бедную супругу доставили в мой дом в сопровождении некоего мрачного Вашего сослуживца, поручика Чулкова, и я, холодея, двигаясь на ватных ногах, должен был еще сочинять ему расписку в получении... Вы понимаете, как это все не по-человечески у вас там устроено, как больно от этого всего! Я взял себя в руки и расписку написал, но долго прийти в себя не мог. Поэтому, милостивый государь, об этом утре вспоминать не хочу. Что будет дальше — не имею представления. Знаю лишь одно: насильно мил не будешь, сосуд сломан — что пользы склеивать осколки? Стоило ли выслеживать, гнаться, арестовывать? Сколько государственных денег истрачено на одни только прогоны! Может быть, у господина Мятлева и есть свои вины перед законом — так это дело другое, не берусь судить, но бедную юную обманутую женщину нельзя было предавать позору! Нас ведь теперь никто и посещать не хочет, даже из любопытства...»

«октября 20...

...Все, что Вы пишете, удивительно! Я перечитывал Ваше последнее письмо несколько раз и диву давался, как точно Вы сумели ее понять и оценить. Конечно, Вы тысячу раз правы: она натура сложная, незаурядная. Кто ж с этим может спорить? Тем более, что все эти достоинства в ней уже с такого юного возраста, а через несколько лет — и говорить нечего. Так что, кстати, эту незаурядную натуру препровождают под конвоем через всю страну, и за что? За то, что, доведенная до слепоты старым и опытным развратником, она споткнулась в своей семейной жизни! Я Вас понимаю, Петр Иванович. Блестящий офицер, полковник, опыт и талант которого достойны лучшего применения, получил приказ свыше! Да и не просто приказ — Высочайшее повеление!.. А меж тем получилось вот что: супруга моя не сама вернулась ко мне, испытав крушение иллюзий, убедившись в необходимости ко мне вернуться, а возвращена силою, опозорена в глазах общества и, судя по ее отрешенности, настроена ко мне и к миру враждебно. Будь она позаурядней, поплакала б, да и перестала, а тут вот как...»

«октября 25...

...Вы спрашиваете, кабы прошло время, и страсти по-утихли бы, и она вернулась бы с повинной, стал бы я ее преследовать, казнить и все такое? Вы человек мне мало знакомый, хотя последние Ваши письма очень меня с Вами сблизили, и я чувствую, любезный Петр Иванович, что нет у меня от Вас тайн. Видите ли, разум мой, строгий, точный и неподкупный, подсказывает мне, что положение мое, наше, ненормально, дико... Но сердце у нас, Ладимировских, привязчивое, мягкое, отходчивое...»

«ноября 3...

...Как недавно то было и как быстро оно прошло. Конечно, я не говорю о департаменте: они гудят, славословят мое мученичество, благородство, а я мучеником себя не числю. Я просто захожу иногда в комнату, где жена моя проводит время, захожу редко, чтобы не казаться назойливым, и всякий раз она встречает меня с улыбкой, и мы обмениваемся пустыми вопросами, или просто молчим минуту-другую, или я говорю: «Хороший нынче день, вы бы погуляли...», она кивает согласно и покорно идет одеваться... А бывает и так, что приотворю дверь к ней, а она спит, и все такое же, как когда-то, если не считать морщинки на лбу. Постою-постою, да и уйду к себе, чтобы в тишине думать, как она прекрасна. Вы вот спрашиваете меня в своем письме, не преследует ли меня желание мстить или как-то бередить бывшее. Да нет, какая же тут месть? Если бы она раньше делала вид, что любит меня, тогда, может быть, и шевельнулось бы во мне такое желание, а так-то за что? Она всегда была честна и никогда не вводила меня в заблуждение, больше всего боялась, чтобы я, не дай бог, не обольстился относительно ее чувств ко мне. Даже в первую ночь все лицо отворачивала... Вы спросите, не обидно ли было? Нет, скажу я Вам, не обидно — просто грустно. Я всегда все умел себе объяснить, потому что так требовала моя любовь к ней. Раньше, до всей той истории, я втолковывал ее матери, что главное — моя любовь, она — источник моих житейских вдохновений, и в самом деле так оно и было. А после этой истории я еще больше в том убедился, ибо разлука с нею была пыткой. Я ведь помню, как Вы, вернувшись из Тифлиса и познакомившись со мною, все меня предупреждали, как

следует мне себя с нею вести, как надо быть деликатным и даже великодушным. Вы ведь тогда не предполагали, что я так ее люблю. Мы, Ладимировские, всегда любили своих жен и всегда считали, что если жены наши нехороши, значит, мы для них нехороши. Этим я не хочу сказать, что я ангел, отнюдь: множество людей меня не любит, за что-нибудь непременно осуждает, для меня же главное — сам-то я люблю или нет. Я помню, как в первый день, когда ее привезли оттуда, то есть не буквально в первый, потому что первые дни она была сама не своя, а только плакала и металась, металась и плакала, нет, не в первый день, а в тот самый, когда я понял, что она немного успокоилась, пришла в себя и способна воспринимать чужие речи и слышать ненавистные голоса. И я сказал ей: «Поверьте, что вся эта история затеяна не мной, хотя я по-прежнему люблю вас, а может быть, и еще сильнее, чем прежде, и передо мной вы всегда чисты и всегда вольны в своих поступках. Я многому научился за это время, я многое понял, я уже не буду вас мучать, для меня уже большое счастье, что вы снова здесь, а иногда и разговариваете со мной, и я вижу ваше лицо». Тут она заплакала и сказала: «Наверное, я все-таки недостойна вас»... Бог ты мой, как она это сказала! Я принялся утешать ее, что послужило впоследствии поводом для ее матери упрекать меня в слабости. Железная дама! «Вы должны быть с нею жестче, чтобы она поняла, как она пала, чтобы общество успокоилось, а вы унижаетесь, лебезите, и в конце концов она снова оставит вас с носом, помяните мое слово!» Я выслушал ее и подумал: какое же это унижение быть великодушным с любимой женщиной?

Когда я впервые встретил Вас, друг мой Петр Иванович, и Вы, затянутый в мундир, официальный и благоухающий слуга царя и отечества, вошли в мой дом и сообщили о благополучном исходе «операции», как Вы это все назвали, я отнесся к Вам с молчаливым предубеждением. Посудите сами, каково мне было воспринять Вас, представителя власти, оказывающего мне такое горькое благодеяние! Чем это он гордится, подумал я, скрутив руки юной женщине и насильно воротив ее, потерянную и почти лишенную рассудка, в ненавистный ей дом? Уж лучше бы он не нашел ее, оставил бы в покое и не заставлял бы меня нести на себе бремя такой вины. И вдруг Вы в письмах заговорили о ней с нежностью и

скорбью, призывая меня быть с ней мягче и великодушной!.. Как же все во мне перевернулось по отношению к Вам, как все обрело натуральное свое лицо. Это уж не говоря об известии, которое до меня дошло, что Вы сразу же после той истории вышли в отставку и засели у себя в Кудинове. Я знаю, что руководило Вами! Но на Вас нет греха, нет. Вы исполнили свой долг перед отечеством и государем, что же Вы могли изменить?.. Правда, Вы и к князишке испытываете даже симпатию, но тут уж, простите великодушно, я остаюсь прежним антагонистом. Князишка — человек пустой, ничтожный, не буду утверждать, что злодей, допускаю даже, что не он увлек ее в свои сети, а она сама в них кинулась, допускаю: это ближе к истине; и мне больно было знать не то, что она отвергла меня, а что она предпочла его! Может быть, это даже безумие. Отчего же нет? Тем более нет резона ее наказывать. Я определил ей полную свободу действий, я хочу, чтобы она до конца уверилась, что не я старался лишить ее того самого ненадежного ее счастья...»

«ноября 13...

...И я не сомневаюсь, что человек может перенести все. И, все перенеся, человек может быть даже счастлив. Я давно не писал Вам, а тут за это время накопилось множество событий и всяческих деталей, говорящих о том, что раны затягиваются, хотя и медленно, но неукоснительно. Правда, жизнь человеческая коротка, и мало шансов увидеть все наладившимся, но хоть не будет того ужаса, той боли, которые отравляли нашу жизнь. Случилось мне заболеть. Простыл я где-то. Болезнь меня скрутила. Жар был высок. Лекаря посещали исправно, но я находился в бедственном состоянии. То бред, то боли преследовали меня, сильный кашель разрывал грудь, воздуха не хватало, сердце останавливалось, и в минуты отчаяния я думал: «Господь все милостивый, неужто пришел мой конец? Неужто я так и не услышу ее добрых слов, не увижу улыбки, обращенной ко мне? Ну хоть в последний раз, ну хоть на миг единственный!..» И, думая так в полусознании, я все время воображаю, что вот она входит и ладонью прикасается к моему лбу, и слышу я, как будто кто-то легче тени скользит по комнате, и кажется мне, что я вижу ее силуэт и вижу, как она наклоняется, наклоняется... Наконец случился кризис, и я заснул впервые спо-

койно, приговоренный к выздоровлению. Утром следующего дня, проснувшись, я чуть было не закричал от радости: у постели моей сидела она, и ладонь ее касалась моего лба! Я пытался что-то сказать, благодарное, сердечное, детское, но не мог... Уже после от слуг узнал, что она все дни была рядом! Я даже осмелел и подумал, что, ежели все так идет, случится день и я познаю ее любовь... Но этого мало, друг мой Петр Иванович. Однажды она сама, сама, предложила мне проехаться с нею в Гостинный двор за какой-то там дамской мелочью. Тут я, правда, позволил себе нахмуриться и дал ей понять, что в Гостинный двор с того дня не езжу. «Хорошо, хорошо, — сказала она торопливо и с виноватым видом, — поедемте в другие лавки, где вам приятнее». И мы покатали! Не скрою от Вас, что многим эта молчаливая поездка должна была казаться унижительной для меня и горькой, но я ликовал! А один раз, выбирая ленты, она даже спросила у меня совета, забывшись, что ли... Я посоветовал, она усумнилась, я сказал, что не утверждаю... В общем, получился разговор.

Вы спрашиваете, что я знаю о судьбе князишки? Думаю, что Вам, друг мой Петр Иванович, пользуясь былыми Вашими связями, было бы легче об том узнать. В обществе я не бываю, чтобы не возбуждать утихших толков, в Департаменте все заняты делом, госпоже Тучковой, как я Вам, кажется, писал, от дома мы отказали. Где он? Должно быть, томится где-нибудь или сгинул, бог знает...

Дни наши проходят однообразно. Я тружусь. Вечерами дома также работаю, чтобы не расслабляться от грустных размышлений. Ежели она вдруг появляется в гостиной с рукоделием или с книжкой, оставляю работу, то есть делаю вид, что тружусь, а сам за ней наблюдаю исподволь, или бьюсь с пасьянсом, или Вам пишу. Ежели она запирается у себя и нет никаких надежд ее видеть, бывает, и укачу; езжу по городу в размышлениях... У Лавинии бывает, все больше по утрам, старая ее приятельница по пансиону Силина Маргарита, Марго. Им есть о чем поговорить. Кстати, госпоже Тучковой было отказано от дома в связи с этой самой Марго... Тут, понимаете, только все у меня в доме начало успокаиваться, принимать прежний облик, а эта малотактичная, холодная дама продолжала вести себя, как будто ничего и не произошло! Мало того, что она порывалась при мне выговаривать до-

чери, как девчонке какой-нибудь, за всякие ее проступки, усугубляя холод в нашем доме, она еще додумалась поучать меня при моей несчастной жене, учить, как я должен вести себя с нею! И все это так грубо, скандально, в таком несоответствии с обстановкой в нашем доме, с правилами приличия, наконец... Дочь, зная цену своей шапке, тотчас и перестала с ней общаться, чем распалила мать до крайности, и та, не долго думая, вцепилась в меня. Я человек терпеливый, да к тому же и теща это моя, однако и меня хватило ненадолго. Случилось так, что начала бывать у нас эта самая Марго. Она дочь майора Силина. Вы его, полагаю, хорошо знаете, да и я его встречал неоднократно и имел возможность убедиться в его скромности и порядочности. Лавинии старая подружка пришлось по душе, что естественно в ее одиночестве, и она всегда с радостью ждала и ждет ее появления, и разговоры у них всегда весьма оживленные, что меня радует, потому что я вижу, как несчастная моя жена оживает, наполняется горячей кровью и на меня смотрит справедливей и добрее. И вот тут-то со стороны госпожи Тучковой началась вдруг ее обычная неукротимая деятельность с различными намеками, недомолвками, в том смысле, что, мол, мало нам было одной баронессы Фредерикс, великосветской сводни, что теперь, мол, появилась новая брюнетка, от которой следует ждать всяческих гроз!.. «Каких же гроз, сударыня? — спросил я, не выказывая никакого раздражения. — Разве вы забыли, какое ваша дочь перенесла потрясение? Разве теперь о том мы должны говорить, о чем вы говорите?» Она хохотнула по обыкновению и сказала: «Вы неисправимы. Ну можно ли быть таким тюфяком? Не достаточно ли вы убедились в моей проницательности в те далекие теперь уж времена? Я же говорила вам, что знаю свою дочь, что если уж она взяла меч в руки, то пойдет и пойдет... Вы-то думали, что я вас пугала, потому что вон я какая злосердечная, склонная к мистификациям, а я оказалась права! Вы человек с рыбьей кровью. Пламя, сжигающее нас, вам непонятно. А мы, Бравуры, если уж двинулись, то идем, идем...» — «Ну, хорошо, — сказал я примирительно, — допустим, вы были правы, но теперь-то, теперь-то от чего вы предостерегаете?» — «От чего? — удивилась она. — А вам, значит, все равно, почему сюда зачастила эта майорская дочь?..» Тут я, дорогой друг, не выдержал, потому что мы, Ладии-

мировские, терпеливы до поры, не выдержал и сказал ей откровенно: «Значит, вы хотите лишить Лавинию единственной отрады в ее беспросветном отчаянии? Значит, интриги, к которым вы имеете склонность, вам дороже покоя единственной вашей несчастной дочери?..» И вот в этот момент в гостиной, где мы пикировались, появилась сама Лавиния. «Ваш супруг назвал меня интриганкой! — крикнула госпожа Тучкова. — Надеюсь, вы-то не посмеете назвать интригой мои опасения на ваш счет, которые, кстати, всегда сбывались?» — «Отчего же? — сказала дочь совершенно спокойно и даже несколько рассеянно. — Если Александр Владимирович решился так назвать вас, то это результат проницательности, которую мы с вами ему привили...» — «После этого мне здесь не бывать!» — крикнула госпожа Тучкова. Я вопросительно посмотрел на Лавинию, она равнодушно пожалала плечами. «Пожалуй, так будет лучше, сударыня», — сказал я твердо...»

«февраля 27, 1852 года...»

...Ее-то нет меж нас, но зерна, брошенные ею, начинают прорастать. Человеческая природа так сложна! Мало мне было всех несчастий, и вот теперь сомнение, посеянное ею, преследует меня, и я, подобно мавру, выискиваю подтверждение возможной ее бесовской правоте. Хотя это во мне так глубоко, что на поверхности пока — ни малейшей рýбинки... Вы опять, дорогой мой друг, спрашиваете меня о судьбе князишки. Очень мне было неохота всем этим заниматься, но глубокое к Вам расположение подвинуло меня побегать, порасспросить и узнать некоторые крохи, которые, может быть, Вам сгодятся. Сложность заключена в том, что разные люди, к которым я обращался, давали мне самые разные сведения. Ежели их всех слушать, получается, что князишка одновременно пребывает в Петропавловске, в Шлиссельбурге, в Акатуе; что он выслан в Тобольск без права носить свою фамилию, засечен насмерть (что маловероятно), отдан в солдаты, умер от лихорадки на пути в Монголию... Что можно извлечь из этой тарабарщины? Поэтому лучше не берeditь прошлого, а жить, как оно есть, и все тут.

Теперь о нашем житье-бытье. Есть сдвиги, друг мой Петр Иванович, есть! Грустные, ничтожные, а все ж таки. Вчера, представьте, сижу в кабинете, по-воскресному

пустой, ленивый, сломленный, листаю «Ведомости», плачу без слез, не имею никаких надежд, как вдруг раскрывается дверь и входит она! На ней старенькое ее бирюзовое платье, клетчатая шаль на плечах, лицо чистое, спокойное, умиротворенное (она знает, конечно, что я всегда ей рад); смотрит на меня как-то неуверенно и спрашивает (как никогда не спрашивала раньше), не хочу ли я с нею и с этой самой Марго отправиться на прогулку? Я чуть было не закричал, однако справился с собой. «Я? — спрашиваю. — Вы хотите, чтобы я... вы меня приглашаете?..» — «Да, вас, — говорит она, удивляясь моему вопросу, будто мы каждый день гуляем вместе. — Да, вас... конечно, хорошо бы, например, поехать в Лесное. Там, говорят, незабудок много...» Я не могу прийти в себя и снова бормочу: «Вы же вольны... Вы же сами гуляете когда и сколько хотите... Но если вы желаете со мной...» Господи, велю немедленно запрягать, и едем! Вот они обе сидят передо мною, перекидываются всякими необязательными фразами. За окнами кареты — скорая весна. Марго такая полненькая брюнеточка, молчаливая, с умными глазками, с черной мушкой на левой щеке, с пухлыми обидчивыми губами. Вы подумайте: она единственная, кто не придавал значения всей этой истории — ездит к нам часто, со мной держится уважительно, ни разу не замечал, чтобы что-нибудь оскорбительное промелькнуло в ее взгляде, напротив, напротив... Так что же общего у нее с баронессой, принесшей мне несчастье? Она прямодушна. Так неужели и ото всех ждать беды? Вот как разбередила меня проклятая теща!.. Приехали к лесу. Стало веселей. Я прохаживаюсь возле кареты: снег еще не сошел, сапоги мочить не хочется, да меня и не звали, если говорить честно, не звали собирать цветы... Вдруг вижу: возвращается Лавиния, без цветов. Руки опущены вдоль тела. «Я вам очень благодарна, — говорит, — вы так добры. Я думала, что меня ждет насилие за все, что я с вами сделала, но вы так добры...» — «Да неужели вы сомневались на мой счет? — спрашиваю я и чувствую, как слабею. — Я ведь знаю, что вам пришлось пережить! Я многое знаю, вы даже не предполагаете... И о болезни вашей знаю в дороге, и еще о многом, и счастлив, что снова вас вижу, и даже, поверьте, не смею негодовать, что я вам безразличен, — говорю, а у самого в душе дикая, нелепая надежда: вдруг опровергнет! — Вы живите, как вам удобно. Бог даст, поймете

и меня...» — «А вы думаете, — говорит она, — легко так жить? — и грустно улыбается. — Легко? Если б не повеление государя, я бы не должна была вас тревожить..» — «Лавиния! — говорю я, задыхаясь. — Не говорите об этом! Пусть это вас не мучает... не мучает нисколько...» Так я говорю, а сам думаю: если молодая женщина стыдится своего поступка, значит, она не закоренела в своем грехе... Тут подходит Марго и тоже без цветов, и мы прекращаем наш горький разговор. Видите, друг мой, как постепенно из горечи, слез и охлаждения пробиваются все-таки подснежники!..»

«марта 17...

...Очень Вы меня огорчили Вашими строками о майоре Силине! Дался Вам этот майор. Я еще не успел побороть в себе предсказаний ведьмы, как вдруг Ваши страхи. Зачем они? Зачем? Понимаю, что они ничего не означают в смысле опасности или будущих невзгод, ну, подумаешь: мало ли офицеров в Петербурге? Ну, пусть он даже бывший Ваш сослуживец. Что ж из того? Вы же пишете, что он «человек честный и добросердечный», стало быть, тем более нечего об нем говорить, опасаться... Неужели я должен теперь бояться всего и ото всех военных ожидать козней? Я вам больше скажу: жизнь моя не мед, она отравлена. Даже если случится самое худшее и Лавиния, не вынеся нашей пустой, холодной совместной жизни, снова пустится во все тяжкие, я ее удерживать не буду. Мы оба взрослые и все понимаем. Воля государя для нас священна, уж ежели он приказал ей воротиться в этот дом, значит, ей надлежит стараться, чтобы терпение его не иссякло. Вот и вся наука. Но после пережитых потрясений я вижу, как она медленно оживает, и даже начинает проявлять ко мне интерес, и даже — добросердечие... Время свое дело делает. Я знаю, что она любила князишку (сердцу не прикажешь), но, видимо, потрясение было таково, что все потускнело, в противном случае разве мы беседовали бы так мирно! Я Бравур-то знаю!.. И вот теперь, когда все так, как я Вам рассказываю, проникает в мой мозг и душу тревога, даже пока не тревога, а смутный какой-то звук, нота какая-то, непонятная и пронзительная... Впрочем, хватит об этом. Сообщу-ка я Вам, что мне удалось узнать нового. Из океана слухов, о которых я Вам писал, множество отсеялось, а осталось два: будто

князишка упрятан в Петропавловку, а второй (не очень правдоподобный), что обманул часового, переделся в его одежду и пытался скрыться, но был опознан и застрелен... Вот Вам и история! Я как-то на досуге размышлял об этом. Конечно, он достоин наказания, и не за то, что в него влюбилась молодая женщина, почти дитя, нет, а за то, что из каприза своего разрушил жизнь многим. Опасный человек. Таким только дай волю, и Вы представляете, что начнется? Но с другой стороны, я думаю, вот перед нами любовная история, и она, допуская я, не имеет ко мне никакого касательства, с кем-то, когда-то, мало ли на свете таких историй? Так вот, думаю я, как же можно бросать человека в темницу за это? Что же мы ему скажем? Как судить-то будем?.. Неужели мы скажем: «Ты полюбил чужую жену, и мы тебя убьем», — неужели мы скажем? Допустим даже, и не полюбил, а соблазнил, воспользовавшись ее неразумностью, молодостью... Все равно, как казнить?.. За что? Есть ли такие законы?.. И вот в такие минуты я даже жалеть начинаю этого ничтожного человека. Что ж ты, дурак, не подумал о последствиях?.. Как же ты решился на такое!.. А о нас-то ты подумал?.. А о себе-то что ж не подумал, дурак ты этакий!..

Я говорю Лавинии: «Последнее время я замечаю, что вы часто плачете. Я так надеялся, что постепенно ваша жизнь наладится. Если я настолько уж вам неприятен, мы можем сделать так, что не будем встречаться: вы будете садиться за стол в другое время, например, а если вы придете, например, в гостиную, я выйду...» — «Ах, какой вздор вы говорите, — говорит она рассеянно, — да разве в вас дело?» — и прячет заплаканное лицо...»

«апреля 29...»

...Мы с ней на пасху поцеловались, вышли из церкви и поцеловались. Я, знаете, так оробел сначала, думаю: что же делать? Все христосуются, надо же и мне; но что я должен для того сделать, сказать — понять не могу. А все вышло очень просто, как у всех, и все это благодаря ей, конечно. Я зажмурился даже, втянул воздух и услышал запах ее лица!

Приехали домой, стол уже был накрыт, пришли к нам Марго и тетка моя, Евдокия Юрьевна, обедали, почти как раньше, даже разговор кое-какой возникал. Все бы хоро-

шо, если бы не синяки у нее под глазами, как она их ни прячет. И еще вот что, друг мой Петр Иванович, неприятно мне стало видеть эту Марго, мушку черную на щеке, и вообще все, что она делает, как смотрит, говорит — все не по мне. Это уже словно болезнь, и не знаю, как спастись, потому что в чем вина этой молодой дамы предо мною? Я ей сказал как-то: «А вы, Маргарита Львовна, приехали бы к нам с батюшкой вашим... Я о нем слышан в самом добром смысле». Она сильно покраснела, запунцовелась вся, поблагодарила, на том и кончилось. Батюшка ее к нам так и не ездит. Может быть, стесняется при нынешней ситуации, кто знает... Еще вот что мучает меня иногда: неужели, думаю я иногда, этот ничтожный человек, мало того что прикасался к Лавинии, но целовал ее! Проводил с нею ночи! От этого голова начинает кружиться и я отстраняю перо...

Вы пишете, что князишка был человек образованный и страдающий. Да мало ли, что он на руках ее носил больную и пекся о ней, о здоровой! Разве это показатель истинной любви? Служа своей прихоти, и не то можно совершить, из каприза или упрямства можно даже на костер взойти, можно так себя распалить, так ослепить, что море покажется с ладошку...

Как трудно становится, друг мой, распутывать все узлы, а их с каждым днем больше и больше. Сейчас пишу Вам, а за окнами — какой-то не весенний вечный дождь, серость, уныние, как и вся наша короткая жизнь: а через две комнаты от меня — Лавиния и Марго разговаривают о чем-то своем. Мне бы удовольствоваться этим вечерним покоем, отдаться бы жизни, как бывало, да нынче я этого не могу: другой я стал. И не хочу, а прислушиваюсь к тишине, просверливаюсь сквозь стены, проникаю к дамам, туда, припадаю к их беседе — ну что они там? О чем они там?.. Не затевается ли что? Ах, не хочется в дураках ходить! И я все мучаюсь и увязываю в два конца — любовь и подозрение. Мавра мучила ревность: как просто! А меня не ревность: у Лавинии нет никого, но и меня у ней нету тоже!.. Я сижу и думаю: а вдруг обо мне их беседа? Вдруг, думаю я, все изменилось, и сейчас она войдет с улыбкой, подогретая разговором, и с порога скажет, как все в ней теперь переменялось, и вот она пришла ко мне... Но никто не входит, дорогой друг. Напрасные мечты!.. А тут еще пишут мне из курской деревни, что-то у

них там не так, что надо мне ехать. А могу ли я? Третьего дня собрался было совсем, а тут по обыкновению появилась Лавинина брюнеточка. Может быть, не так мне поклонилась, или мне что показалось, во всяком случае — отложил я поездку. Не могу, и все тут. Что-то все время читаю в лице этой гостьи озабоченное, настороженное, опасное... Ночью как-то думаю: что за глупости? Что за страхи?.. Однако как этот червь во мне поселился, так и ворочается не переставая. Теперь мне даже из Департамента, чего раньше не было вовсе, хочется иной раз мчаться домой в неурочное время, ворваться, узнать, застать... А что узнать? Кого застать?.. Вы не подумайте, что я подозреваю какой-нибудь пошлый обман или чужое тайное присутствие в моем доме. Нет, нет, ни о чем таком я не думаю, да это исключено... Не это, нет... Да только что — не знаю...

Вчера, например, еду из присутствия по Литейному. Грязь, ветер. И вдруг вижу: Марго! Не на извозчике — пешая. Я даже обрадовался: можно пообщаться как-то, понять что-нибудь... Спрашиваю, не к нам ли? Да, к нам. Счастливый случай. Едем... Что-то надо сказать, а не могу, не знаю о чем... Вдруг вспомнил всякие разговоры о ее скором замужестве. «Вы, я слышал, замуж собрались, Маргарита Львовна?» — «Да, — говорит, — скоро свадьба». — «А кто же этот счастливец? — спрашиваю я непринужденно. — Не сомневаюсь, что очень достойный человек». Она краснеет и молчит. Едем. «Какая грязь на дворе, — говорит она, — все извозчики куда-то попрятались». — «Да, — говорю я, — погода отвратительная... А вы, Маргарита Львовна, бываете в обществе? Какие слухи нынче?» А сам посмеиваюсь, делаю вид, что понимаю пустячность беседы, что в экипаже о чем, мол, и говорить? Но она молчит и глядит в окно. «Я очень мучаюсь, — продолжаю я с надеждой, — хочу доставить Лавинии какую-нибудь радость, удовольствие, хочу как-то эту непогоду, непогоду нашей жизни расцветить, приукрасить, что ли... Уныло все несколько... Однако не знаю, чем ей угодить... Спрашивать пока не решаюсь, а сам не знаю... Может, вам что об том известно? Помогите...» Она молчит. Пожимает плечами. «Что, — говорю я, — разве не в наших силах сделать так, чтобы всем нам стало полегче... полегче...» Она пожимает плечами и восклицает: «Ой, да вот же, приехали!..» Представляете?

Я, друг мой Петр Иванович, все понимаю, даже больше, чем это могут некоторые подумать, но брюнеточка озадачивает меня с каждым днем...»

«мая 2...

...А вот и взорвалась бомба! Все когда-нибудь должно открыться. Вечных тайн не бывает. Вот Вам и Ваша симпатия! Вот Вам образованность и страдание! Я-то уж начал сомневаться, мучаться: за что осуждать человека, хоть и злодея в душе, ежели он ничего не совершил? Оказывается, сомнения мои были напрасны. Со вчерашнего утра весь Петербург, друг мой, гудит и негодует. У всех на устах одно: Мятлев! Сидит князишка в Петропавловке и нигде не сгинул. И грядет кара. Зря я всплескнул руками и недоумевал: без вины не станут держать в крепости целый год, не станут! Теперь же все сложилось, все нашло свои причины. И Вы позвольте, я расскажу Вам обо всем, как это предстало на всеобщее обозрение. Оказывается, еще с молодых лет за князишкой был установлен надзор, и тому причиной не какие-то там кавалергардские шалости и юношеское шалопайство. Нет, все гораздо серьезнее. В течение многих лет дом его был прибежищем всевозможных социалистов, где они имели обыкновение собираться и даже жилали подолгу. Уже разоблачены и фамилии многих из них, как, например, известного французского революционера маркиза Труайя, или нашего отечественного скандалиста князя Примкова. Мятлев их не только принимал в своем доме, но и сам был одним из активных старателей этой шайки. Законы у них меж собою были жестоки и бесчеловечны, как и их цели. И те из них, что отказывались подчиняться внутренним приказам, приговаривались к смерти. Так по приказу князишки была утоплена в Неве одна молодая их соучастница. В доме том хранилось их оружие, висели портреты государственных преступников, которым они стремились подражать, а князишка, которого Вы величаете «образованным», действительно пописывал в духе их идей и доказывал бог знает что, вроде того, что государь, например, причастен к гибели некоторых русских поэтов... Вы только подумайте, что творилось у нас с Вами под самым носом, а мы хлопали ушами и занимались глупостями, вместо того, чтобы собраться и раздавить это! Когда же князишка почувствовал, что возмездие близко, он поджег свой дом, чтобы

скрыть многочисленные следы преступления, и бежал, соблазнив мою Лавинию, пытаясь придать своему бегству сходство с пошлым адюльтером. Какова наглость! Теперь должен состояться суд, и, конечно, ему воздадут по заслугам. Как он опутал несчастную Лавинию, как перевернул всю нашу жизнь!.. Да, я забыл еще об одном обстоятельстве: чтобы спокойно убежать, он выкрал у одного своего приятеля подорожную и 80 000 рублей серебром! Он намеревался бежать в Турцию, там продать Лавинию какому-нибудь турку, а затем раствориться в Европе!..

Счастливец Вы, живя в деревне. А у меня только и начинается суета, и я должен что-то предпринять, чтобы оградить Лавинию от слухов, толков, пересуд и разговоров толпы. Уехать, уехать, и как можно скорее и подальше, в Ниццу или в Америку.. Денег не жаль...»

«мая 3...

...Буря нарастает, не задела бы нас! Каждый час все новые открытия. Теперь выяснилось, что приятель князишки, у которого он будто бы украл подорожную, некто поручик Амилахвари, оказался к этому делу причастен, ибо, выправив подорожную на свое имя, сам вручил ее Мятлеву. Итак, обвинение в воровстве отпало. Некоторые поговаривают, что следует подождать делать выводы, ибо и остальные обвинения могут также отпасть. Сомневаюсь. Князь был человеком такого сорта, что мог и украсть, не подорожную, так чужую жену! Я сам был на месте, где стоял его дом, рухнувший в день побега. Это ли не свидетельство? Поверьте, сначала, узнав, что князишка жив и находится в крепости, я сильно взволновался: опять он рядом! После же даже обрадовался: пусть рядом, зато теперь, когда раскрыты его злодеяния, даже та тонкая ниточка, которая, может быть, и оставалась меж ними, наверняка лопнула. Однако это не принесло успокоения. Нервы напряжены, предчувствия отвратительны, интуиция бушует. И снова приезжает к нам эта Марго и ходит как заговорщица. Да, кстати, Амилахвари этого в гвардии держать, конечно, не стали. Что с ним будет — покажет время. Сейчас прерываю письмо и иду к Лавинии, чтобы, если она еще всего не знает, рассказать ей...

Я шел тяжелым шагом. Мне казалось, что стены дрожат. Руки тряслись, а ведь был я рад, как дитя, что теперь, слава богу, все выяснилось и злой ее гений выведен

на чистую воду. Отчего же шаг-то был тяжел? Она повернулась мне навстречу. Глаза были сухи, и я ничего не мог прочесть в них. «Лавиния,— сказал я громко,— дорогая Лавиния, произошло невероятное. После целого года неведения все раскрылось. Я не торжествую, но я радуюсь за вас. Ваш злой гений, причинивший вам столько страданий, оказался исчадием зла, государственным преступником!..» Она не проронила ни звука. «Еще немного, и вы должны бы были погибнуть. Весь Петербург потрясен!.. Вы видите, кого вы любили? Сейчас приспело время рассказать вам все. Я знаю, что это жестоко, но когда вы осознаете все это и выплачетесь, вам станет легче...» Губы ее насмешливо изогнулись, однако я знал, что это от сильного волнения. «Погодите,— сказала она поспешно, — одну минуту». И подошла к своему столу, извлекла из ящика несколько исписанных листов и подала мне. Я начал читать это сочинение и постепенно дошел до строк... «...с восьмилетнего возраста я преследовала этого человека...» «Что это такое?» — спросил я. «Читайте, читайте же», — сказала она нетерпеливо. «...Сперва это было неосознанное чувство, затем (с годами) я поняла, что люблю его. Не знаю, любил ли он меня так же страстно, но мои домогания были столь сильны, что постепенно он стал слепым исполнителем моей воли. Человек мягкий и отзывчивый, он вскоре пошел у меня на поводу. Я внушила ему полное повиновение, и он, все позабыв и бросив, служил лишь мне одной. Брак мой был несчастливym. Упрекать мужа своего я не смею, но жизнь моя с ним была мне чужда, безрадостна и унижительна, и это, конечно, и явилось причиной охватившего меня безумия. Я, и только я, составила план нашего совместного исчезновения, и я внушила ему эту мысль, потому что в этом видела последнюю надежду на спасение. Не раскаивалась ли я в своих намерениях? Конечно, мы не вольны выбирать отечество, но уж героев-то своих мы выбирать можем... Так думала я в своем безумии. Раскаиваюсь ли я в содеянном? Я глубоко раскаиваюсь в том, что ввергла доверчивого и любимого мною человека в пучину бедствий, превратив его в орудие моего спасения! Дальнейшая моя судьба меня уже не заботит. Но я уповаю на великодушие Государя, умеющего как никто иной быть справедливым и добрым, твердо веря, что его прозорливость и большое сердце оградят невинного человека от жестокой и незаслуженной кары...» Я прочел

этот документ, стараясь не выдавать дрожь в пальцах. «Что же это значит?» — спросил я. «Это черновик объяснения, которое у меня потребовали», — ответила она тихим голосом. «Вы что, вы... написали это сегодня? — спросил я срывающимся голосом. — Вы писали это тайком! Оказывается, вам все было известно!» — «Да нет же, — поморщилась она, — это написано год назад, год тому назад, когда меня доставили к вам под конвоем». — «Так что же вы мне сегодня это суετε?!» — крикнул я. «Чтобы вы нисколько не обольщались...» — заявила она твердым шепотом.

Чтобы я не обольщался! В каком же это смысле, чтобы я не обольщался? Это значит, друг мой Петр Иванович, что я не смею надеяться на мир меж нами? Не смею надеяться, что она за все, что мною незаслуженно пережила, наградит меня хотя бы тихим уважением?! Или, может быть, в том смысле, что обвинения против этого преступника ложны и она надеется, что бывшее вернется как ни в чем не бывало? Что же это значит? Я не понимаю значения этой фразы! Я же проявил великодушие, которого она, может быть, и не заслуживала! Я бросил к ее ногам честь, гордость, любовь и не снисхождения просил, а только тепла, тепла, тепла, и понимания, и сочувствия... Да в чем же мое обольщение?.. Тут я горько расхохотался ей в лицо и начал было перечислять все преступления этого негодяя, ослепившего ее, но ничто не дрогнуло в ее лице. И тут я словно прозрел. Я вдруг понял, что она все знает. И снова молчаливая брюнетка встала перед моим взором... И еще я понял, что есть иная жизнь, которая шумит не для меня, которая мне недоступна, в которую меня не пускают. Что должен сделать пострадавший человек? Как Вы поступили бы на моем месте? Впрочем, что касается Вас, это вопрос излишний, ибо Вы не можете, как показали события, вообразить себя на моем месте. Вы писали мне: «Предоставьте ей полную свободу действий, не отягощайте несчастьем...» И вот к чему это привело. Теперь я уж и не знаю, что зреет у меня за спиной. И не была ли права проклятая колдунья?..»

«мая 4...

...Я не сдержался. Снова бросился к ней. «Лавиния, — сказал я ей, — я в отчаянии! Помогите мне. Скажите, что мне делать? Проявить насилие? Велеть не выпускать вас

из дому? Закрывать дом для визитов? Так ведь вы же взбунтуетесь, я знаю... Не вмешиваться ни во что? Но это значит погубить вас: вы же заторопитесь навстречу пропасти! А я люблю вас, я не могу без вас, я вам все простил, неужели этого мало?..» И вдруг из ее прекрасных глаз полились слезы, губы дрогнули, как у ребенка, она протянула ко мне руки, и я кинулся и обнял ее! Она не оттолкнула меня... Я стал осыпать поцелуями ее плечики, щеки, и соленые кристальные ее слезы засыхали на моих губах, и ее губы, мягкие, горячие, податливые, покорно прильнули к моим... Я провел ладонью по спине и почувствовал, как все тело ее задрожало, забилося в моих руках... «Вы моя, моя! — шептал я ей, как в бреду. — Вы же видите, как я вас люблю... люблю... люблю...» — «Вы делаете мне больно!» — простионала она и вырвалась... Все вспомнилось: бывшие «счастливые» дни и холодное дружелюбие тех дней... И вот мы сидели друг против друга, чинно положив руки на колени и тяжело дыша. Глаза ее были сухи и огромны. В них снова бушевало недоступное мне чужое ее море. «Лавиния,— сказал я, — давайте уедем. В Италию, в Грецию, в Америку, куда захотите... Там вы сможете узнать меня и мою любовь, там, там, а не здесь... Вы все забудете, клянусь вам...» Я снова увидел слезы в ее глазах, но она их торопливо смахнула. «Бедный Александр Владимирович!» — сказала она, не сводя с меня пристального взгляда. «Да чем же я бедный?! — крикнул я. — Я люблю вас! Я к вам прикован!..» И многое другое выкрикивал я в беспамятстве, в припадке любви и отчаяния, но она уже не проронила ни слова.

Чего я добивался, дурень? Что хотел от нее услышать? Я ли не знал, что единственное могла она сказать мне, да не говорила, жалея меня.

И вот, друг мой, я вышел от нее, в который уж раз не добившись и малейшей уступки. И теперь, я чувствую, что во мне начинают просыпаться глубоко захороненные до поры инстинкты Лавининых. Я чувствую, что холодею, что силы прибавляется. Мозг мой работает четко, походка вновь нетороплива, никаких самообольщений, и одна мысль: не дать ей погибнуть.

И вот я ехал в дом человека, в руках которого, может быть, таился конец той злополучной нити, которая теперь душила меня и Лавинию. Я его не знал, я о нем лишь недавно слышал. Он должен бы был ненавидеть меня, по-

тому что был единомышленником князишки. Я хотел воспользоваться его собственным несчастьем, чтобы выудить у него хоть что-нибудь, проливающее свет на безумство моей жены. Не подумайте, друг мой Петр Иванович, что я настолько глуп, чтобы не догадываться, что главное все-таки сводится к любви! Я все это отлично понимаю. Но ведь какой любви? Я знаю, что любовь может быть жестокой, слепой, благоговейной, кроткой, потаенной и откровенной, да, да, но все-таки не этим же кошмаром, ужасом, разложением, которыми охвачена Лавиния! Тут уж, я полагаю, не что иное, как сильное отравление, даже, быть может, смертельное, ежели промедлить. Так пусть же этот человек, к которому я еду, ежели он не исчадие ада, поможет мне исцелить больную. О, не для меня, нет! Для нее самой, ради нее самой... Я подъехал к дому и собирался уже вылезти из кареты, как вдруг подъезд распахнулся, и на тротуар ступила все та же брюнетка, окающая Марго. Низко понурив голову, она побрела прочь под тяжестью каких-то раздумий, не замечая никого вокруг. Новые подозрения вспыхнули во мне, я ощущал себя униженным и оскорбленным, но делать было нечего. Отступить я не мог. Обо мне пошел доложить какой-то грязный лоботряс в мятой поддевке, он же вскоре проводил меня и в кабинет. Я остался один и огляделся. Пахло разрушением и тленом. Там и сям громоздились в беспорядке книги в истрепанных переплетах, напоминающие кирпичи, вывалившиеся из обветшалых стен (другого я не мог представить). Мебель была тяжелая, мрачная, повытертая; стулья не походили один на другой, диван зиял впадинами, по стенам были развешаны портреты многочисленных азиатских предков хозяина дома, глядящих недоверчиво. Разбойник, восходя на эшафот, нисколько не заботится о своем последнем наряде. И тут появился сам хозяин. В руках его дымилась трубка, темный халат был обсыпан табачным пеплом, черные волосы встрепаны, небрит, взгляд недружелюбный, иногда на лице его вспыхивала улыбка, но какая-то холодная, случайная, пустая, пожалуй, даже и не улыбка, а едва заметная гримаса неудовольствия; нос у него был с горбинкой, усы висели — нерадостная картина.

Я представился. Он коротко кивнул мне и указал на кресло.

«Я пришел к вам не для приятной беседы, — сказал я

как мог суровее, — я знаю, что вы в бедственном положении, да и у меня в семье буря, так что нам с вами есть смысл разговаривать откровенно и по-мужски». Он усмехнулся, однако не очень уверенно. «В чем же, собственно, бедственность моего положения?» — спросил он. Голос у него был глуховатый, выговор почти совсем петербургский, если не считать некоторого, едва заметного клокотания в словах. «Вас изгнали из гвардии за пособничество в краже!» — бросил я. «А, — сказал он небрежно, — действительно пренеприятная история... А вы намерены мне помочь или только утешить?» — «Сударь, — сказал я, — какие могут быть шутки в нашем положении? Ваш преступный товарищ ослепил мою жену и вынудил ее бежать из дому, чтобы без помех осуществлять свои тайные замыслы! И вы ему содействовали! Но она до сих пор отравлена его посулами, видит в нем ангела и во всем винит одну себя». — «Не может быть! — воскликнул он смеясь. — Мой преступный товарищ — исчадие ада, это общеизвестно, но во всем он винит только себя одного!» Тут наступила тишина. Я сидел как громом пораженный, он курил свою трубку. Наконец, я взял себя в руки и сказал: «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать ваши насмешки». — «Господь с вами, — запротестовал он, вновь обсыпая себя пеплом, — какие насмешки? Мой преступный товарищ и не думает себя обелять. Напротив, он осуждает себя за все. Ваша жена ни в чем не повинна...» — «Не верю, — сказал я тихо, — этого не может быть...» Тогда он взял со стола бумагу и протянул мне. «Здесь, — сказал он, — его показания. Это копия... Читайте внимательно...» Я принялся читать и вот что прочел среди прочего: «...Я один виноват во всем. Я любил ее, но мыслил эгоистически, как может мыслить человек, не привыкший отказывать себе ни в чем. Я склонял ее к побегу, воспользовавшись сложностями ее семейных отношений и ее неопытностью. Я тщательно продумал все. Я выкрал дорожные документы у поручика А. Амилахвари, которые он приготовил для собственной поездки в родные места, я преследовал госпожу Ладимировскую, расписывая ей райское блаженство, которое ждет ее со мною, и, наконец, она не устояла. Меня не заботит собственная участь. Я уповаю на милосердие Монарха в отношении этой безвинной жертвы насилия, не сумевшей противостоять моим ухищрениям. Я виноват во всем, и единственное, в чем не раскаиваюсь, — в сво-

ей безмерной любви...» Я сидел, не подымая глаз, а когда наконец очнулся, бывший гвардеец глядел на меня с оскорбительной снисходительностью. «Да, да, господин Ладымировский, — сказал он откуда-то издали, — именно любви. Когда б вы только знали, как это все возникало, как разгоралось, как охватывало все вокруг!.. Нельзя было быть безучастным, милостивый государь...» Смешно и оскорбительно мне было слышать из уст этого одинокого и дикого человека разглагольствования о любви. Я демонстративно оглядел его печальный кабинет и сказал: «Не похоже, чтобы вы хорошо разбирались в этом предмете». — «Но ведь это так несложно», — сказал он. «А может быть, чувство раскаяния, — сказал я. — Не это ли...» — «Нет, — отрезал он жестко, — именно любовь». — «Сострадание, наконец...» — продолжал я, себе не веря. «Любовь, — повторил он. — От этого невозможно спастись...» — «А время?» — спросил я...

Я вернулся домой, друг мой Петр Иванович, испытывая страшную боль в душе. Почти на ощупь добрался я до комнаты Лавинии и раскрыл дверь. Она сидела в кресле предо мною, такая красивая, и глядела на меня с усталостью во взоре. Но умиления не было во мне, и я хотел сказать ей: «Послушайте, юная чертовка, не надоело ли вам притворяться печально расположенной ко мне, и самой только и делать, что презирать меня, черт вас возьми, и глумиться над моей к вам любовью! Где же ваши хваленые честность, великодушие и прочие добродетели? Да вы просто коварная злодейка с холодной кровью...» Так я хотел сказать ей, но тут же спохватился, потому что возмущение мое — ведь это вздор, а плакать я устал, и я сказал: «А мы все сидим и грустим, да?» Наверное, это прозвучало весьма глупо, но она улыбнулась мне тепло, и я, вместо того, чтобы крикнуть: «Пусть вы меня не любите, пусть, но вы моя супруга! Вам понятно, что значит супруга?.. Так вот, пусть вы меня не любите, но уж коли вы воротились, так и живите честно и смиренно, черт вас подери!..» — сказал, представьте, то, что говорил каждый вечер: «Полно вам грустить, так и высохнете вся, ей-богу... Ну чем я могу вам помочь?..» И вдруг она подошла ко мне и сказала: «Никогда не была в таком сложном положении. Но вы должны знать, что я там дала клятвенное обещание вернуться к вам, чтобы облегчить участь князя Мятлева... Вы вольны прогнать меня...» Тут бы мне сле-

довало крикнуть: «Да, да, убирайтесь! Да поскорее!..» Я посмотрел на нее с болью. Видимо, она так стояла, что свет падал на нее неровно, и тень на лице отпечатывалась резче, и она потому не казалась уже красивой, а, напротив, ужасной; что-то проступило в ней ледяное, жестокое, искривленное, даже опасное, за что можно только ненавидеть, но я сказал, целуя ее холодные руки: «Вы только имени этого в нашем доме не произносите, а так все сладится, вот увидите... Может быть, даже вместе что-нибудь придумаем...»

...Ах, друг мой, легко Вам советовать из Вашего прекрасного далека! Поварились бы в моем котле — не было б Вам все так просто. Вы ведь не спрашиваете меня никогда, ни в одном из Ваших писем: каково мне? Все о ней, о ней, о ее участи! Вы так спрашиваете о ней, будто Вас одного и волнует ее будущее. Да, теперь лихорадка у нас в доме усилилась, ибо суд близок. Это не проявляется, конечно, ни в каких грубых формах: ни криков, ни мигреней, конечно, ни рыданий, даже, я Вам скажу, слезы-то, тихие слезы и те прекратились. Но я понимаю, ощущаю, какие бури клокочат в душах, как перевернулись характеры наизнанку, даже узнать друг друга трудно. Лавиния осунулась, жалко ее, но стала как-то даже словоохотливей и тянется ко мне. Грешно, конечно, радоваться получать такие подарки, а я вот радуюсь. Она, видно, места себе не находит и потому ко мне заглядывает, когда брюнеточки ее долго нету, и задает пустяковые нервные вопросы. «Что-то вы нынче обеспокоены», — говорю я, хоронясь в притворстве. «Ах, Марго не идет, — говорит она, — давно бы ей пора!» — «Она вам стала как сестра», — замечаю я. «Нынче вы совсем не ели за завтраком, — говорит она, — уж не больны ли?» — «А доктора на что? — спрашиваю я с дурацким смехом. — У них разные пилюли, множество...» Она кладет ладонь мне на лоб, а думает о другом. Но в такие минуты вновь напрасная дикая надежда вспыхивает во мне: а не кризис ли то? А не случилось ли наконец освобождение от наваждения? Много ли мне надо после всего, что было? Я болен, болен, лишь бы рука ее касалась моего лба! «По-моему, я здоров», — говорю я неуверенно. «Посмотрите, — говорит она, вся загораясь, — вот и пропажа моя!» — и указывает в окно. Из коляски вываливается толстуха Маргарита и спешит к парадному. В эти минуты сердце мое холодеет.

Вы спрашиваете, какую я усматриваю связь меж всем, что так старательно Вам живописую в каждом письме? Когда б я был в здравом рассудке и в прежнем человеческом благополучии, я, может быть, и смог бы с легкостью ответить на Ваш вопрос, но нынче, кроме искаженных болью предчувствий, предположений, догадок, ничего нет во мне. Пророчества госпожи Тучковой вошли в мою кровь, их ничем оттуда не вытравить. Марго представляется мне зловещей тенью, таящей в себе опасность. Наверное, что-то есть в ее неожиданном для меня возникновении на пороге дома бывшего гвардейца. Петербург велик, и необъятен, и просторен, когда мы в нем счастливы и благополучны, но как он мал, узок и тесен, когда в нем плетутся против нас козни!

По вечерам, оставшись в одиночестве, я теперь обыкновенно держу перед собою лист бумаги и вывожу на нем магические треугольники, где вершина одного из углов — обязательно Лавиния, где одна из линий ведет к Марго, другая же — к приятелю князишки. Я провожу от бывшего гвардейца пунктирную линию, окончание которой и есть главный преступник. Это напоминает вечерний пасьянс, ибо варианты неисчислимы, окончательного решения нет. Я пробую так и эдак. То линия Марго пересекает линию бывшего гвардейца, и новые догадки зреют в моей голове; то линия Лавинии, пересекаясь с линией Марго, продолжается отвратительным пунктиром и упирается в крепость... Тогда я вздрагиваю. То вдруг возникает фигура сложнее, чем треугольник, потому что на ум мне приходят майор Силин и даже госпожа Тучкова. Их линии, сначала нелепые и лишние, вдруг включаются в эту игру, выравниваются, и у них начинается особая жизнь, и тогда на бумаге возникает стройная система, из хаоса рождается правдоподобие, где линия Лавинии, безопасно пересекаясь с линией Марго, внезапно меняет направление и устремляется в объятия майора, от которого уже идут два луча — к князишке и к грузину. Подобно магу я продолжаю линию тещи, и она непременно пересекается с линией дочери и, помешкав, тянется в виде пунктира к бывшему поручику Амилахвари! Можно сойти с ума, не правда ли? Я, наконец, решил отправить Вам самые совершенные из сочиненных мною фигур, чтобы Вы, как человек сведущий в загадках, как-нибудь на досуге поразмыслили над этим. А может быть, и есть что-нибудь в ри-

сунке, созданном болезненной интуицией? Признаюсь Вам, что желание спасти Лавинию от свалившегося на нее ужаса нашептывает мне поступки, несовместимые с моими представлениями о благородстве; я чувствую иногда непреодолимую страсть пробраться в ее комнату, когда она отсутствует, и запустить руку в ящик ее письменного стола, где, может быть, случайная записка, запись, строчка или даже слово раскроют мне тайну ее болезни. Или воображаю, как крадусь за нею следом в извозчике по тому самому таинственному пунктиру, сочиненному мною, и пунктир наконец превращается в осязаемую линию, и все становится ясным!.. Не дай мне бог дойти до этого!..»

«мая 5...

...От Вас нет писем, уж не больны ли? Вчера как ни в чем не бывало приезжала госпожа Тучкова. Я сделал вид, что ничего промеж нас и не было. «Скоро суд, — сказала она прямо с порога, — многое должно решиться». Мы сидели в столовой. Я велел подать чаю. Она отхлебывала маленькими глотками, а в перерывах меж ними задавала вопросы. Это меня, признаться, крайне озадачило, ибо этой даме всегда все известно, и вопросы — не ее стихия: они для нее унижительны.

«Где моя дочь? — спросила она. — Ах, вот как? Да вы с вашими благородными предрассудками совсем упустите ее...» — «После всего, что она пережила, — ответил я упрямо, — грешно держать ее за руку», — но в голове моей тотчас возник отвратительный пунктирчик, уходящий в неизвестность. «Эта юная майорша продолжает бывать у вас? — спросила она тоном судьи. — Я так и предполагала». Пунктир превратился в линию и уперся в пышный бюст проклятой брюнетки. Госпожа Тучкова неожиданно рассмеялась: «А не может ли эта преданная наперсница служить в качестве ну, допустим, почтальона?» — спросила она. Я даже похолодел, потому что ведьма ударила в самую рану. «С чего вы взяли! — воскликнул я. — Вы всегда рады придумать интригу. Будто вы без этого не можете дышать... Дочь пожалейте!..» — «О, да, — сказала она, презирая меня, — вам ли об этом говорить, когда вы жалеете ее для себя?.. Это я жалею ее для нее же самой!» — «Я люблю ее!» — крикнул я. «Не сомневаюсь, — ответила она спокойно, — но вы ее любите как неудачник, а я — как волчица, — и хохотнула. И от-

пив глоточек: — Скажите мне лучше, продолжает ли она лить слезы?» — «Слава богу, теперь уж нет», — сказал я с отчаянием. И тут эта дама отставила чашку, ее прекрасное злое лицо крайне напряглось, но она тут же взяла себя в руки и, раздувая пылкие ноздри, посмеиваясь, поводя пленительными плечами, наклонилась ко мне: «Вы с нею по-прежнему на положении брата и сестры?» — «Вы забываетесь, сударыня», — прорычал я. Она не придавала этому значения, думая о своем, затем сказала: «Отец вашей... нашей брюнетки служит при коменданте крепости... Вам бы следовало давно это знать и в зависимости от этого строить свои отношения с моей дочерью...» — «Что ж тут особенного?» — спросил я небрежно, но по спине моей побежали мурашки. — Я предполагал это», — сказал я, и еще один пунктир превратился в четкую линию.

И вот представьте себе, друг мой Петр Иванович, я сидел напротив нее, глядел ей в глаза, как и подобает мужчине в разговоре с дамой, но видел я одни лишь зыбкие фигуры перекрещивающихся треугольников, квадратов и ромбов, в которых теперь была заключена моя судьба и судьба моей беспомощной супруги. Теперь уже натянутая и звонкая струна тянулась от Лавинии к брюнетке, молчаливой и коварной, от нее торопилась она к майору, которому моя лихорадочная фантазия придавала черты ночного волка, бесшумно проникающего сквозь стены Петропавловки, затем она доходила до того проклятого узника и, подрожав, начинала обратный путь. В то же время другие линии, а то и пунктиры вырывались из мрачного места заточения и разбегались в разные стороны, сходясь и разъединяясь вновь. Я уже видел, какая связь меж домом бывшего гвардейца и моим собственным, я слышал шуршание в воздухе проносящихся записочек и писем, в которых было все, кроме сострадания ко мне. Тут я не выдержал. Куда подевались учтивость и благовоспитанность? «Довольно! — закричал я. — Хватит! Будет с меня этих линий, струн и пунктиров! Вы, вы, вы ввергли меня... нас... вынудили таиться, подозревать, ненавидеть!..» Это я так выкрикивал, друг мой, потому что сознавал правоту всех пророчеств и предвидений этой колдуньи, которые одно за другим сбывались с легкостью. Она разглядывала меня с интересом ученого, будто я какая-нибудь неведомая, неизученная тварь, распростертая перед нею. Потом я, конечно, смолк. «Послушайте, — сказала она с участием и

озабоченностью, — ежели она уже не плачет, стало быть, дело обстоит плохо...» — «А вы бы хотели, чтобы перед вами лили слезы и ползали на коленях?» — спросил я с сарказмом. «Когда мы, Бравуры, осушаем слезы, — сказала она тихо и назидательно, — значит, мы намереваемся действовать». Если такая дама говорит мне подобное, подумал я, значит, ей известно и кое-что еще.

Я пробудился ночью весь в поту. Сердце мое билось учащенно. Мне показалось, что я слышу глухие голоса. Я прислушался. Голоса доносились со стороны комнаты Лавинии. Я встал, закутался в халат, зажег свечу и двинулся по коридору. Кто-то из слуг спал на тряпье, брошенном прямо на пол. Все распадалось прямо на глазах. Стыд душил меня. Я представлял себя со стороны: высокий, сильный человек, скрюченный страхом и бессилием, крадущийся по собственному дому в красных турецких чувяках и стеганом халате, лишенный прав, высмеянный и презираемый, вбивший себе в голову дурацкие, бесполезные благородства... А ведь я умел быть сильным, и твердым, и непреклонным; и еще вчера... Да ведь не с кем-нибудь, а с нею, с нею смеялись мы, плещась в деревенском пруду, обедаясь земляникой, скача наперегонки по степи, соперничая в буриме, стреляя по пустым бутылкам из-под шампанского! Где, в какой из блаженных мигов выпустил я из рук бразды своего счастья? Выпустил и не заметил... Подите вы прочь со своей любовью, думал я, сгорая от стыда, нужно было держать это крепко в руках, холить, лелеять, не давать опомниться, тормошить, не играть в пустое благородство, а покорять превосходством, опытом, снисходительностью и широтой души! Тогда ей некуда было бы укрыться, все было бы занято мною, а там, глядишь, родилась бы и привычка, затем и потребность и преданность... Не это ли мы называем любовью? Скорбя о безвозвратно утерянном, приотворил я двери в ее комнату. Горела свеча. Лавиния сидела в постели. Увидев меня, торопливо натянула одеяло на плечики. Я пожаловался ей на бессонницу и на непонятные голоса, доносившиеся с ее стороны. «Как странно, — сказала она, — я тоже слышала голоса, и мне показалось, что у вас — гости». — «Какие уж тут гости, — горько усмехнулся я, — не до гостей нынче, Лавиния...» Мы сидели и разговаривали, будто ничего и не произошло с нами. Постепенно одеяло вновь сползло с ее плеч, и я невольно залюбовал-

ся ею. «Что же хотела от вас папан, — спросила она, — опять учила, как со мной обходиться?» — «Она интересовалась, в каких мы с вами отношениях», — сказал я. «Вот как? — усмехнулась она. — Впрочем, ее всегда привлекали альковные тайны... Может статься, что и сейчас она подглядывает в какую-нибудь щель». — «Господь с вами, — сказал я, — о чем вы?» Я глядел на нее как завороженный. Под тонкой сорочкой узнавалось все. Плечики были почти оголены, и волосы струились по ним непрерывным потоком. Она заметила мой взгляд и покраснела. «Лавиния, — сказал я тихо, — я устал от тайн. Я знаю все. Мне мучительно быть нелюбимым вами, но еще мучительнее...» — «Оставьте, — воскликнула она, беря меня за руку, — не говорите об этом. Вы прекрасны и добры!.. Каждый день подтверждает это все более...» Ее рука была горяча, лицо, глаза, губы — близко, я не удержался и провел ладонью по ее щеке — она не отклонилась! Я поцеловал ее руку — она не отдернула своей руки... Я посмотрел ей в глаза... Господь милосердный! Это была не Лавиния! Предо мною сидела чужая женщина. Сухие, в оборочку ее губы были скорбно опущены, взгляд был убийствен: беспомощность и отвращение царили в нем, морщинки разбегались по осунувшимся щекам, синие тени под глазами пугали... Чужая, чужая! За один год природа изменила все и, пожалуй, навеки. «Как вы изменились! — сказала она с болью низким своим голосом. — Бедный Александр Владимирович!..»

«мая 6...

Судя по Вашим письмам, интерес, который Вы проявляете, — не из праздного любопытства. Я ценю Ваше пристрастие и Вашу боль за происходящее у нас. Вчера наконец состоялся долгожданный суд. Представьте себе, какая точность: 5 мая минувшего года случилось это несчастье, и вот теперь того же 5 мая — возмездие!

Еще задолго до суда Лавиния сказала мне как-то: «Неужто вы верите в страшные и оскорбительные слухи, которые распространяются по городу?» — «Это не слухи, — сказал я, — это, к сожалению, истина, и мне жаль, мне страшно, что вы связали себя с таким человеком». Тут она с жаром, которого я давно за ней не замечал,

принялась объяснять мне, что все это — умышленная ложь и что на самом деле все было иначе: и дом якобы рухнул от ветхости; и маркиз Труайя — вымышленное лицо, рождественская шутка, анекдот; и женщину в Неве не топили, а она убежала с неким лекарем... Я слушал ее сначала внимательно, но потом вдруг понял, что выгляжу смешным, всерьез выслушивая эти объяснения, и это привело меня в нормальное состояние. Да разве можно, подумал я, доверять рассказам влюбленной женщины, готовой на все, чтобы обелить отравившего ее негодяя? Она говорила об этом с таким жаром и так была возбуждена, что я вынужден был поддакивать ей, чтобы не доводить до иступления.

Итак, правосудие свершилось! Как это все там происходило — не знаю. Единственное, что потрясло меня, — так это известие о приговоре. Представьте себе, ни о каких тайных социалистах разговор там, оказывается, не велся. По какой-то странной ошибке или по недоразумению все было забыто и прощено. Единственное, что ставили в вину, так это злополучную подорожную, то есть подлог, жульничество... Немало, конечно, для князя, черт бы его побрал совсем! Поэтому и приговор, против всякого ожидания, вышел мягким: где уж там казнь! Ни даже каторги и рудников... Лишение прав состояния и княжеского достоинства и отправка солдатом куда-то в тмударакань или на китайскую границу. Короче, не случись бы конфуза с этой злосчастной подорожной, и князишка вновь как ни в чем не бывало гулял бы по Петербургу, нагоняя на нас страх и ужас... Что же теперь будет с нами? Пытаюсь узнать, задаю исподволь наводящие вопросы, словно крадусь, скрываясь в тени дерев, но в ответ — лишь рассеянный взгляд, отрешенность, молчание, уязвляющее в самое сердце, да невразумительные слова о том о сем, о чем угодно, кроме главного. Госпожа Тучкова вновь зачастила к нам. С дочерью любезна и покладиста. Со мной царственна. Я же поглядываю на нее насмешливо, чтобы показать, как мне смешны теперь ее пророчества, ее догадки, побудившие меня сойти с ума и нагромоздить кучу фантастических фигур, разгадывая козни моей супруги. Ну что, спрашиваю взглядом, куда теперь идут Бравуры? Она откликается с неменьшей ядовитостью, мол, погодите, все еще впереди, мол, рано вы ударили в барабаны...»

...И все-таки все в нашем доме налаживается, входит в свои берега. Я чувствую, как затихает лихорадка. Конечно, Лавиния уже не та девочка с румянцем юности на щечках, ибо несчастья позаботились оставить свой неизгладимый след, но я вижу, как она вовсе не противится природе, врачующей раны. Настроение ее заметно улучшилось, что в первую очередь отражается на мне: она сама заговаривает со мной о предметах, не имеющих касательства к минувшей буре. С матерью она холодна по-прежнему. Такие натуры, как Лавиния, предательства не прощают, и когда госпожа Тучкова, забывшись, пытается показать характер, дочь бросает весьма небрежно: «Не лучше ли вам вновь сочинить письмецо в адрес государя-наследника с жалобой на меня? Он распорядится, и ваше самолюбие будет удовлетворено...» После этого наступает прохладная пауза, которую я торопливо пытаюсь заполнить сообщением о том, что турецкие войска... или австрийские войска... или наводнение в Индии... или таинственная смерть коронованной особы, на что Лавиния обычно восклицает: «Да что вы говорите!..»

Что же будет с нами, друг мой Петр Иванович? Не может ведь случиться, что расколотый кувшин вдруг склеится. А ежели не может это случиться, так что же будет? Я все время вспоминаю Ваши письма, где Вы так красочно и проникновенно описываете Вашу служебную поездку на юг. Вы имели живую возможность убедиться в достоинствах женщины, принесшей мне столько горя. Если бы эти гордость, и непреклонность, и нежность, и озабоченность проливались на меня! Вы пишете, что восхищаетесь мною, моим благородством и долготерпением, да ведь жизнь-то коротка, мой друг! Неужто я не заслуживаю большего? Конечно, теперь все идет на поправку, к лучшему, и может быть, я утешусь, наконец, просто добрым к себе отношением и, не избалованный любовью, научусь обычные тепло и ласку ценить превыше всего? Конечно, я наблюдаю жизнь и вижу, что во многих домах, знаменитых своим благополучием и счастьем, тоже вместо любви утвердилась привычка и взаимное уважение. Но ведь я также знаю, что известная Вам молодая особа свои безумные стрелы, весь жар своей души, всю свою жизнь расточает, швыряет к ногам немолодого злодея! Так как же

мне после всего этого удовлетвориться лишь ее расположением? Вот пишу Вам, а сам надеюсь, что войдет она и руку положит мне на плечо! И ведь буду доволен и счастлив, и даже вздрогну... Вошла вчера, и положила руку мне на плечо, и сказала, что Фекла родить собралась. Как я взвился, Вы бы поглядели! Какой повод для разговора, для взаимных хлопот! «Есть ли с нею кто?» — «Я распорядилась...» — «Ах, уже!.. Надо бы лекаря...» — «Я велела позвать повитуху». — «Вы умница... Сейчас я велю лекаря... Надо бы горячей воды побольше...» — «Я уже сказала...» — «Ах, какая же вы умница!..» — «Прибежал Семен, весь дрожит...» — «Чего ж дрожать-то, дурень! Небось раньше-то не дрожал...» — «Я его утешила. Он мне руку целовал...» — «Надо бы дать ему рублей двадцать. Как вы считаете?» — «Пожалуй...» И все в таком же роде. Разве не это счастье? Господи милосердный, да о чем же они говорили меж собой т а м, на дороге, таясь и пугаясь?!

Теперь я говорю ей за столом во время обеда, когда мы восседаем друг против друга, накрахмаленные, шелестящие, великодушные, я говорю ей: «Как-то надо вам постепенно приобщаться к жизни, Лавиния... Надо выезжать. Вы же такая молодая...» Это я говорю вместо фразы, которую не могу выговорить, то есть неужели остаток жизни вот так и пройдет без любви, без огня, без томления, без жаркого шепота?...

Я рассказал как-то эту историю одному человеку, слышущему у нас в Департаменте большим знатоком по части женского сердца, скрыв, конечно, что это обо мне, а будто все это касается несчастного моего приятеля. «Посоветуйте вашему приятелю, — сказал этот господин, — избавиться от нее, покуда он не рехнулся. Я знаю эти штуки. Они до добра не доводят. Пусть выгонит ее, сучку, или же на худой конец найдет себе даму — вон их сколько кругом, найдет, и забудется, и поостынет...» — «Да ведь он ее любит, — возразил я, — он погибнет!» — «Тогда, — сказал этот господин, — пусть он отбросит свое пустое благородство, войдет к ней в спальню и возьмет силой то, что ему положено... Она побушует, побушует, а после женские инстинкты возьмут свое, помягчает, смирится. Любви, может быть, и не будет, да будут мир, и лад, и взаимное понимание... Любовь, знаете ли, в романах...» Я выслушал его холодно. Хорошо ему советовать, не будучи знакомым с Бравурами, подумал я.

И вот мы сидим за столом друг против друга, накрахмаленные, шелестящие, великодушные, и обмениваемся всякими фразами, и делаем вид, что именно это нас интересует больше всего. Конечно, по сравнению с тем, что было, наша жизнь почти что нормальна. Многого мне не надо. Я даже думаю, что теперь, когда участь ее отравителя уже решена, и столь мягко, она может наконец успокоиться. Да, она сделала все, чтобы не ожесточить судей, даже вину приняла на себя! Чего же более? Наберись терпения, Ладимировский, говорю я сам себе, и наступит блаженство и без того, чтобы силой брать тебе положенное. Да, раны медленно затягиваются. Глядишь — и затянутся. Я как-то рискнул даже намекнуть на совместную поездку в Италию или куда-нибудь в том же роде. Она быстро взглянула на меня и сильно покраснела. Видно, время еще не пришло.

Вы пишете, друг мой, что замысловатые фигуры, сочиненные мною, вовсе не столь фантастичны, а напротив, они — результат холодной логики, что и для Вас в них много резону и что так оно все и должно было развиваться... Что ж, Вам виднее. Во всяком случае, после суда надобность в них как-то отпала, и они растворились в весеннем воздухе без следа. Единственное, что изредка напоминает об их недавнем зловещем существовании, так это наша брюнетка, которая появляется теперь крайне редко...»

«мая 12...

... вот мы сидим за столом друг против друга, накрахмаленные, шелестящие, великодушные, и я говорю: «Давно уже Марго не появлялась...» — «Ах, — говорит Лавиния, — у нее столько забот в связи с предстоящим браком! Это всегда хлопотно...» — «Еще бы, — говорю я, — когда это предстояло мне, я помню, как это было, ведь все лежало на мне... А тут, видимо, наоборот?» — «Видимо», — соглашается она. «Отец ее дает за ней, пожалуй, не слишком?» — спрашиваю я. «Пожалуй», — соглашается она. «А что, — говорю я, — они любят друг друга или так, союз?» Она пожимает плечами и отворачивается. Конечно, это больной вопрос, и мне, честно говоря, совсем не интересно, как там у брюнетки, — просто я, подобно охотнику, выглядываю из кустов и наблюдаю за поведением птицы. Наблюдаю и думаю, гадаю: если она на меня взгля-

нет, день сложится удачно; или: если она улыбнется, значит, дела пошли на поправку; или: если она ответит односложно, значит, не пришло время выспрашивать... «А что говорят у вас в Департаменте?» — вдруг спрашивает она. Я, конечно, понимаю, что она имеет в виду. «Лавиния, — говорю я невпопад, — вы думаете, что я пекусь об себе? Вы же видите, что себе я ничего... что все для вас... всегда я хотел этого... хочу, чтобы вы это понимали... Теперь, когда все прошло, то есть проходит... теперь, когда весь этот ужас... вы, конечно, многое поняли... вы повзрослели...» Она морщится, отворачивается. И я понимаю, что говорю вздор, то есть лишнее, то есть говорю о том, о чем говорить не следует, а можно только думать. Так проходят дни... Я ведь многого Вам не пишу, друг мой. Надо быть писателем, чтобы все это описать по-настоящему, а при моей работе, Вы сами понимаете, бумага и перья вызывают такое отвращение, такую оскомину набили, что только Ваши настойчивые вопросы побуждают меня иногда собраться с силами и нарисовать Вам кое-как, в самых общих чертах, что происходит у меня в доме. Мне иногда очень стыдно за те мои письма, которые писались, когда бури шумели и кровь стыла в жилах, и я в полубезумии обременял Вас своими откровениями. Надеюсь, Вы не очень на меня в обиде. Простите великодушно, однако знайте, что Ваша заинтересованность в судьбе Лавинии, а стало быть, в моей, меня очень всегда поддерживала...»

79

В те дни, когда я, благополучно лишившись Павловского полка, торопился с Марго в Тифлис, радуясь, что в суете мятежной истории обо мне почти забыли, что помогло мне избежать более тяжкого наказания, в те самые дни Адель Курочкина стала замечать, как иногда по вечерам в сиреневом засыпании городка, среди переплетающихся теней, возле дома возникает такая же сиреневая, зыбкая, расплывающаяся фигура, упрямо выстаивающая положенное ей время перед самыми окнами комендантского дома. Адель, не обремененная пустыми предрассудками уездных барышень, не склонная к суевериям, хотя и восхитительно невежественная, Адель — дитя пропахших порохом будней, ни на одно мгновение не предполагала, что может сама

явиться предметом чьего-то настойчивого вожделения. Быть может, помаячь эта фигура подольше, женский инстинкт и заговорил бы в ней, но видение возникало так редко и так ненадолго, что ее железное сердце не успевало вздрогнуть. Всякий раз она выбегала на охоту за тенью и всякий раз опаздывала. Полковник Курочкин посмеивался, с удивлением разглядывая повзрослевшую дочь, и думал, что уж пора бы кому-нибудь, пусть даже и таким нелепым способом, расшевелить это строгое, не улыбочливое, невозмутимое создание. Не удалось это подозрительному лекарю Иванову, не удалось и юному прапорщику, убитому во второй же перестрелке, так пусть же удастся объявившемуся фантазеру. И он посмеивался, покачивая лысой головой и потирая в раздумье дубленое одутловатое лицо... Навеки исчезла ленивая Серафима, соблазнив отставного майора. Жила помещицей на Тамбовщине в своем именице, как на другой планете. Подполковник Потапов умер внезапно от воспаления печени; что касается остальных, трудно было сказать, кто из них оставался на месте, а кто пришел им на смену, ибо, попадая в этот мир, все становились похожими друг на друга. Лишь тонкогубая мрачная Адель тяжело маршировала по дому, пила спирт на поминках и в праздники да носила цветы на могилу лекаря Иванова. И тут вдруг, представьте, эта укрывающаяся в тени поздняя фигура, вызывающая в душе Адели не смутные девичьи предчувствия, а комендантские тревоги...

Однажды, возвращаясь с базара в сопровождении отцовского денщика, Адель увидела сидящего на бревне солдата. Сверкнули очки на его несолдатском лице. Это ее насторожило. Денщик ушел вперед с наполненной корзиной. Она замедлила шаги, строго вглядываясь в сидящего. Тут из-за угла выбежал унтер-офицер, свистнул, солдат торопливо встал с бревна и побрел за начальником. «Видение!» — подумала она с досадой. Но в пустом комендантском доме ей вспомнилось прошлогоднее лето, запыленный экипаж, счастливая петербургская пара — князь и молодая княгиня, похожие на сновиденье, и как она думала тогда, исподтишка недружелюбно любуясь этим чистым, ароматным, недосыгаемым князем, что он хоть и стар, но строен и деликатен, и даже в кавалергардах служил, и княгиню подцепил такую юную, и они на «вы» меж собою... Все было чисто, звонко, таинственно и неправдоподобно... Утром следующего дня, почти позабыв о вче-

рашней встрече, она, как обычно, провожала, стоя у ворот, партию, уходящую в набег, и вдруг увидела его. Она замахала ему, он глянул и отвернулся. Шаг у него был ровный, солдатский, и ружье он держал на плече, как полагалось умелому солдату. «Не он», — подумала она. Однако очкастый солдат не выходил из головы все дни. «Отчего ж и не он? — подумала она, подогревая себя. — Затеяли стреляться, убил кого-нибудь... У них это быстро...» Разве мало залетало в их крепость этих недавно высокомерных, блестящих, неистовых храбрецов, лишенных эполет и обряженных в солдатскую одежду? Случались меж них и угрюмые жертвы непослушаний и давних бунтов. Все было. «Нет, не он», — думала она и все никак не могла до конца совместить того благоухающего князя с несчастным в петербургских очках. На четвертый день побежала к воротам встречать. Едва потянулась партия, как тотчас вновь увидела его, живого. На бледном лице солдата лежали темные тени пыли и мучки, но шагал он по-прежнему твердо, и ружье держал на плече уверенно, и очки сверкали победоносно. «Да он же! — подумала она, волнуясь. — Кто ж еще-то!» Она снова замахала ему. Он увидел, взгляделся и отвернулся. «Вот дьявол гордый! — подумала она. — Притворщик!» Пошла следом за отрядом, но потеряла его из виду. Несколько дней кружилась она возле казармы, как августовская бабочка с большими крыльями, вызывая недоумение солдат, и уж было совсем отчаялась, как вдруг прекрасным воскресным днем, на пустыре, истоптанном копытами казачьих лошадей, за базаром, увидела его. Он сидел на рыжей поникшей траве и палочкой сосредоточенно ковырял землю.

— А прятаться зачем? — спросила она с обидой.

Он вздрогнул, поднял голову, усмехнулся и вскочил.

— Чего ж теперь прятаться? — спросила она. — Не съем...

Он наклонился и поцеловал у нее руку. Смешно было видеть со стороны, как солдат целует руку барышне в передовой крепости, почти на виду у горцев.

— А вы не изменились, — сказал он без интереса.

Это был он. Адель покраснела.

— Как же это вы так? — спросила она. — Убили кого?

Она осторожно разглядывала его. Он был не очень чисто выбрит и не так бел, как прежде, — видно, пыль основательно уже впиталась в кожу, и солдатский мундир

сидел на нем колом, и захватанная фуражка дрожала в руке, и рука была грубая, не белая, но не солдатская: с длинными тонкими пальцами.

— Да видите ли, — сказал он без охоты, отводя глаза, — это такая история...

— Ну, — сказала она.

— Интимная история, — выдавил он. — Никаких убийств... — и засмеялся, а она снова покраснела.

— А прятаться-то зачем? — спросила строго. — Ну, интимная, интимная, а мы ведь как вас принимали, помните? Чего в кустах-то прятаться? Зашли бы когда...

— Вашу сестру помню, — сказал он равнодушно, — офицеров каких-то... Зачем вспоминать? Другая жизнь...

Он круто повернулся и пошел к казарме.

Но она не успокоилась, тянула ниточку, тянула, вытягивала, допытывалась с дотошностью дитяти, разматывала, словно в той ниточке была заключена и ее судьба с холодными глазами. Она подкарауливала его где могла, сталкивалась с ним как бы случайно, словно приучала к себе. Какой-то затаенный инстинкт велел ей думать о нем и тревожиться за него. «Дался тебе этот князь, — говорил ей полковник Курочкин, — да у него там чепуха какая-то любовная... Кому-то он там не потрафил. Ну, в общем, там у них это дело, дочка, обычное... — и всматривался в холодные глаза Адели с подозрением, но мог разглядеть лишь знакомое упрямство. — Полковник фон Мюфлинг зря с парочкой твоей кататься бы не стал, нет. С чего бы ему так разъезжать? Уж я-то знаю. А после, видишь, как оно все вышло? Ну, пригласи его, пригласи его к нам, поглядим...» И она звала Мятлева, да он отказывался, благодарил и отказывался. «Да ты пригласи его, — говорил полковник. — Чего это он? Могу и приказать». Вдруг Мятлев признался ей по-свойски, что ему тяжело бывать в их доме. «Вы сами должны понять, Адель. Да и что они, эти визиты?..» Ему надоела эта высокая, грубая, назойливая барышня, ее опека, постоянная надобность что-то ей разъяснить, втолковывать, надоело ускользать от нее, увертываться. В казарме уже посмеивались исподтишка, намекали отдаленно, хотя бывшего князя и сторонились, словно просматривали сквозь грязные его одежды, как течет в нем кровь, покуда еще голубая. Да, он топтался в первые дни, укрываясь в вечерней тени, под окнами комендантского дома, где обычное человеческое не-

домогание Лавинии было единственной трагедией, омрачавшей баснословный ликующий их вояж. Он смотрел на эти окна скорее даже с умилением, чем с тоской, уже не веря, что все это было, могло быть, что все это было действительно с ним, а не придумалось случайно. Но он не хотел заходить в этот дом, потому что к нему прикоснулись бы живые и теплые вещи и превратили бы этот давний сон в горькую безвыходную явь. Как можно было объяснить все это долговязой девице, изнывающей от желания позаботиться о бывшем князе, сожалеющей об его падении, созданной, вероятно, только для того, чтобы провожать, встречать и соболезновать? Она наделала такого шума в крепости, требуя ото всех участия в Мятлеве, так взбаламутила все кругом, что, наверное, последовал бы взрыв, когда бы не очерстневшие души крепостных героев. И все-таки ей удалось его уговорить, и он, испросив разрешения у взводного офицера, отправился в комендантский дом. Конечно, разрешение это было пустой формальностью, и никто не стал бы ему чего-то там запрещать, а тем более — навестить коменданта, но Мятлев положил за правило не злоупотреблять сочувствием к себе крепостных офицеров.

В комендантском доме все было на прежних местах, как и тогда, и у него сначала закружилась голова.

Адель сама подавала им питье и еду. Окна были распахнуты. Самовар гудел. Все шло своим чередом, и даже на лице Мятлева появился румянец, а настороженность первых минут исчезла, и опытный в таких делах полковник сразу же определил всему свое место: «А вы, сударь, напрасно отказываетесь жить по-человечески, — сказал он, наливая очередную, — совсем и не нужно в казарме жить... Уж коли вам предложили... Эээ, а вот это и вздор: ну что хорошего среди казарменного смрада? Эк от вас от самого как несет... Это все предрассудки, что вы говорите, милостивый государь. Это у вас там, в Петербурге, можно придавать значение параграфам и уложениям, а у нас это все не в цене: князь — не князь... Да что, я не знаю, как это бывает?..» И спустя полчаса: «Да бросьте вы, ей-богу! Вот, ей-богу, сразу видно, что мало по вас палили! Тут даже, я вам скажу, командующий левым флангом, генерал Барятинский заезжал, новичок, да и тот

сразу понял ситуацию, тут у нас, царствие ему небесное, такой же, как вы, из несчастных, так князь ему первый руку подал! Да мало ли там что? Ну, беда у вас временная, ну, неудача, так не помирать же...» И спустя полчаса: «Ах, вы без срока?.. Худо это, батюшка. Обычно ведь как? Обычно до отличия в деле, и гуляй... А тут вон, значит, как? Худо, конечно...» — «Подумаешь, — сказала Адель с вызовом, — чего же здесь худого? Помилуют небось...» — «Худо, — сказал полковник, — когда человек знает, что до отличия, тогда он питает надежды, а когда не знает — кончится это когда-нибудь или нет, то тут всякие мысли в голову лезут...» — «Да какие тут еще мысли!» — рассердилась Адель. Они снова молча выпили. «А вот какие, — сказал полковник с безжалостностью пьяного, — тут у нас в давние времена был еще один из несчастных, и был он без выслуги, и, видимо, с ума сошел от безнадежности, что-то ему стукнуло, видимо, так он возьми и побеги...» — «Куда побеги?» — не понял Мятлев. «Кто ж его знает — куда? В бега ударился, не выдержал, — сказал полковник, — вот куда!» «Сацхали!» — подумал Мятлев и засмеялся. «Напрасно, батюшка, смеетесь, — обиделся полковник, — его поймали и засекли...» — и с пьяной пристальностью уставился в глаза Мятлеву. «Да ладно вам, — сказала Адель, — нашли чего вспоминать!» — «Интересно, — засмеялся Мятлев, холодея, — а ведь могли и не поймать...» — «Что вы, — покачал лысиной полковник, — обязательно поймают и засекут... Это опытных разбойников поймать трудно, а вашего, нашего брата... что вы».

Ему стало жарко от водки, от степной духоты, вливающейся в окна, от раскаленного самовара, от таинственных, страшных, дух захватывающих предостережений хмельного коменданта, от внезапно покрасивевшего лица унылой забытой барышни, хлопчущей вокруг него. Ему стало жарко от острой, пронзительной, раскаленной спицы, проткнувшей его загорелую, обветренную, хорошо выделанную кожу, скользнувшей внутрь и коснувшейся своим жалом каких-то его давно уснувших чувств. И он ощутил, как что-то голубое тяжело и широко шевельнулось где-то у него внутри. Он оглядел свои руки и остался ими доволен: это были надежные, спокойные, преданные руки. Пока полковник выдавал известные лишь ему одному военные тайны, а Адель бесцельно кружилась вокруг стола, Мят-

лев созерцал себя со стороны, и это тоже вполне его удовлетворило. Не было суеты в жестах и суетности в душе, не мучили неопределенность и безвыходность; напрягшиеся мускулы звенели, вчерашний ужас от Алексеевского равелина выглядел смешным...

Как рано теряет человек надежду, как горько плачет на ее похоронах, с каким трагическим опозданием вдруг осознает, что нет же, вовсе и не умерла, жива, молода и безотказна! Но уж ежели ты это осознаешь и не чувствуешь себя погибшим, так бей в барабан!..

Он кивал полковнику в ответ на его мудрые предостережения, но, вслушиваясь, понял, что комендант рассказывает о собственной жизни. Оказалось также, что Адель не просто кружится, словно потеряв что-то, а медленно вальсирует, забыв про гостя. Все было мирно и прелестно, но чего-то все-таки не хватало, и это немного мучило и даже раздражало Мятлева.

— А почему же его нет? — спросил он у полковника.

— Какие? — не понял комендант, хлопая покрасневшими веками. — Вы чего-нибудь ищете?..

«Да нет же, — подумал Мятлев, — вот дурак какой!.. Почему я не могу... не имею права...»

— Имею я или не имею? — спросил он.

— Отчего же, — сказал полковник покладисто, — мы всегда рады...

Мятлев поднял глаза и увидел дверь в ту комнату, где когда-то Лавиния металась в жару.

— Ну вот, — сказала вездесущая Адель, задыхаясь от танца, — у вас уже и слезы пошли!

В следующие дни какая-то смутная идея не давала ему покоя.

Алексеевский равелин приучил его постоянно размышлять о господине ван Шонховене. Сначала, без привычки, ощущение утраты доводило его до иступления, хотелось кричать, неистовствовать и сокрушать стены, но постепенно от этого же пришло и облегчение. Он вспоминал ее маленькой, одетой в тот самый старенький кафтанчик, брал за руку и уводил гулять, наслаждаясь звуком ее голоса и самоуверенными глупостями, которые она ему выпаливала. Он встречал ее каждое утро и тогда, когда уже неприлично было разговаривать с ней покровительственно, а можно было лишь молча выслушивать и односложно соглашаться, потому что всякое несогласие вызы-

вало такой колкий отпор с ее стороны, такую бурю иронических восклицаний, что постепенно приучило его к снисходительности. Но наступило и такое время, когда ее ироничность оборотилась на нее самое, и ему уже не нужно было прибегать к обороне, а оставалось лишь сдерживать ее беспощадное самобичевание. Затем нагрянула пора банальной внезапной робости, опущенных глазок и почти постоянной краски на скуластых щечках, затем и это минуло, и они вели меж собой тот будто бы равнодушный неторопливый диалог, в котором-то и заключались главные бури. И это придавало ему сил, и он почти не замечал холодных стен, засовов на дверях, решеток на окнах — всех этих неумных, торопливых устройств, которым предназначалось пригнуть его, пригасить и обезопасить. И с каждым днем, пока он жил среди этих стен, господин ван Шонховен становился все осязаемей и натуральней, и его нешумное дыхание, молчание, шуршание, голос, прикосновение почти без перерывов сопровождали Мятлева. Даже тогда, когда его вызывали на редкие допросы, чтобы спрашивать об уже давно известном, словно ему было что скрывать и утаивать, даже тогда в одном из пустых кресел обязательно сидела эта высокая, хрупкая, могущественная, изысканная, всезнающая женщина, которую он усаживал сам, откуда следовательно перебирал свои напрасные бумажки, и она сидела, нисколько не робея, неизменно в том самом платье, которое было на ней в проклятый день на Коджорской дороге. Мятлеву даже казалось, что следовательно иногда замечает ее присутствие, потому что лицо его, обращенное в ее сторону, становилось влажным от пота и остолбеневшим, словно так его поразила ее красота. И еще казалось, что этот аккуратный усталый чиновник слышит неторопливый диалог меж ею и преступником, потому что он морщился, крутил головой и говорил в сердцах: «Ваше сиятельство, опять вы чужие слова говорите!..» Но Мятлев твердо повторял сказанное ранее и не собирался в угоду безучастному протоколу предавать любовь господина ван Шонховена. Когда ему оглашали приговор, она сидела рядом и убеждала его, что могущество судей мнимое, что ими руководят испуг и лень, что дорога, которая ему предстоит, — всего лишь дорога, лишь бы не обольщаться вновь относительно шлагбаумов.

Затем была дорога. Все та же. Унтер-офицер, сопровождавший его, сидел напротив. Однажды, когда он вы-

шел на какой-то из станций, чтобы распорядиться, Мятлев вдруг разрыдался, впервые, пожалуй, если не считать детства. Он позволил себе эти слезы в одиночестве, стремительные, откровенные, высохшие спустя мгновение, так что унтер-офицер, воротившись, увидел перед собой все то же лицо, под теми же очками, и все те же неведомые помыслы на челе. Она опять была с ним рядом. Молчалива. Видимо, даже ей была не по силам эта новая жизнь. Потом начались первые солдатские тяготы, казарменная вонь, первые выстрелы. Потом пришло, наконец, первое ее письмо, и она вновь заговорила. Его отказ поселиться на отдельной квартире был воспринят офицерами с недоумением. Его громкое имя, бывшие раны, на шумевшая любовная история, и поединок с обществом, и насилие, учиненное над ним, и вообще тайна, которой он был окружен, — все это к нему располагало и вызывало участие. Но, обремененные своей восхитительной миссией убивать и жечь, погрязшие в военных буднях, приговоренные к скорой и вечной разлуке, эти взвинченные крепостные офицеры, променявшие человеческий страх на безрассудство, и не пытались проникнуть в чужую душу, загроможденную иными предметами, нежели те, которыми пользовались сами. Что было им до тонкостей мятлевского прошлого? Перед ними был один из «несчастливых», бывлой рубака, погоревший на адюльтере, на глупости. Ничего, выплывет, еще разживется флигель-адъютантскими аксельбантами, еще покуролесит, выплывет... «Ну, ну, — говорили они дружелюбно, — поживи в казарме, Мятлев, нанюхайся... Раз у тебя такая цель, поживи, нанюхайся, голубчик... Вы думаете, что это очищает? Он думает, что это очищает... Ну, ну, однако, гляди, брат, чтоб не пожалеть...» Даже господин ван Шонховен брал их сторону, и его нервные, витиеватые строчки негодовали и сокрушались: «...Боже, какая глупость казнить себя столь несправедливо! В чем ты виноват передо мною? Живой, сильный, мудрый, возвышенный, неужели ты способен уподобиться ничтожному монаху, замаливающему свои мнимые грехи постом и унижением? Ты ни в чем не виноват передо мной!.. Ты ни перед кем не виноват! Ты вообще не виноват!..»

Однако какая-то тайная, неуловимая идея все-таки поселилась в нем после пьянства в доме коменданта, поселилась и жила. И стоило увидеть, хоть вдалеке, стремитель-

но марширующую Адель или полную, дряблую, опустошенную фигуру коменданта, как что-то, пока бесформенное и чужое, тотчас вспыхивало в мозгу, заставляя напрягаться...

Адель была девица странная. Ее неприступность и грубость казались вечными. Ее крепкое тело и не без приятности лицо разжигали многих, но репутация как-то сама собой установилась, проведя запретную черту меж ею и ими. А ей, двадцатилетней необузданной кобылке, должно быть, приходилось не сладко в роли непорочной девы, черт бы подрал ее совсем! Так думал Мятлев, сталкиваясь с дочерью коменданта и жалея ее, покуда не произошла история, положившая конец превратным толкованиям. Месяца через два после приезда Мятлева в крепости появился молодой адъютант Питкевич, худой, глазастый, длиннорукий, с розоватым рубцом от сабельного удара на левой щеке. «Никто не знает, что ждет нас впереди,— сказал он однажды. — А эта ваша Адель, оказывается, девица? Она что, дитя полка? Это недопустимо, господа...» Все засмеялись, сравнивая тщедушное тело адъютанта с мощными формами комендантской дочки. «Ну и дурачье,— скривился он, — в том-то и прелесть! А недоступность есть первый признак слабинки. Уж поверьте, господа...» В тот же вечер, сразу после разговора, он исчез. Рота без него ушла в дальний дозор. Поздней ночью, однако, не побоявшись вражеских засад, он догнал ее уже на месте, отпихнул взмыленного коня коноводу и какой-то притихший и смутный уселся к костру. Вид его был ужасен: сюртук измят, полупогончики едва держались, золотые соломинки торчали отовсюду, налипли на лицо... «Ну что? — спросили у него. — Узнал, почему фунт лиха, мученик?» — «Узнал, господа, — ответил он как-то отрешенно, — узнал... узнал...» Все тут же рассмеялись, представляя каждый по-своему, как этот Питкевич пытался обхватить своими худенькими ручками небрежно отталкивающую его Адель. «Конечно, крайне неблагородно делиться своими впечатлениями после свидания с женщиной, господа, — продолжал он, вздыхая, — но, во-первых, меня сегодня убьют, а во-вторых, она, господа, давно уж не девица! Вот ведь как...» Теперь пришел его черед смеяться, но он не смеялся. «Да, да, — сказал он, поживаясь и закуривая дрожащей рукой, как с похмелья, — я сначала, как всякий пошляк, сулил ей райские

блаженства, кидался на колени, хватал за плечики, шептал разные пошлости, закатывал глаза... Ах, господа, какое свинство! А все ведь о вас вспоминал, все думал: засмеют!..» И замолчал, понурившись. «Ну, — воскликнули все нетерпеливо, — давай, давай...» — «А что давай? — сказал он сокрушенно. — Передо мной был ангел, господа, и тут я вспомнил, что меня нынче должны убить, и я заплакал, каюсь, от бессилия, и вожделения, и тоски, тут все с меня сошло, весь этот ужас, грязь, и я одно твердил как ненормальный: «Да ведь меня убьют... убьют нынче ночью! О Адель!..» И тут лицо ее преобразилось, — сказал он шепотом, — она взяла меня за руку и повела за собою куда-то, во мрак ночи, на золотое пахучее ложе...» Наступило молчание. Костер догорал. Стояла тишина, лишь из ущелья доносился плач и стенанья шакалов. Вдруг кто-то сказал: «А если живой вернешься, как же в глаза ей смотреть?» — «Воля божья, — засмеялся он, а после добавил тихо: — Не вернусь. Я знаю, что убьют». И тут случилось чудо. Далеко где-то, во тьме, едва слышно щелкнул ружейный выстрел, и Питкевич ткнулся лицом в траву. Кинулись к нему, а он — мертв. Это была страшная ночь. Мятлев долго не мог прийти в себя, да и у всех тряслись руки. Уже по возвращении, перед самыми крепостными воротами кто-то сказал: «Мы ни о чем не слышали, господа. Никаких любовных историй...» На том и порешили.

Испугавшись, оторопев, мы начинаем отыскивать роковые приметы во всем, что встречается нам на пути, и часто заблуждения заводят нас совсем не туда, куда нам следовало бы стремиться. И Мятлев, пораженный нелепым происшествием этой ночи, увидел себя самого беззащитным перед своенравием провидения. Оказалось, что жизнь, это хитроумнейшее сплетение горячего, движущегося, страдающего, ликующего, самозабвенного, мыслящего, это бесценное нечто, врученное нам однажды на длительный срок (с гарантией, что это на длительный срок), может быть прервана так просто, так внезапно, так унижительно. И вот тогда мы начинаем в панике мирской вспоминать свои небрежные шаги по земле, и расточительные жесты перед окружающими, и необязательные стремления неизвестно куда, и начинаем суетливо нащупывать двери, которые сами же с насмешкой захлопнули однажды за ненадобно-

стью, и пытаемся скликать полузабытые тени своих сородичей, без которых у м е л и обходиться, но без которых страшимся умереть. Но еще хуже, еще тягостней отчаяние, когда, осознавая все это, мы бессильны совершить что-либо себе в утешение, так как наша судьба пребывает в чужих руках... Сидел человек у костра и вдруг исчез, растворился. Та маленькая пулька сделала свое дело. Одинокий щелчок ружейного выстрела, оказывается, не затих. Все где-то пощелкивает подобно соловью, намекает на скорое расставание. Так, значит, я, приговоренный уткнуться однажды щекой в траву, или в грязь, или в снег, не могу броситься к тебе, обнять тебя, сцепить свои руки у тебя за спиною так, чтобы их уже ничто не могло расцепить?! Не могу?! Я, крепкий, мужественный, еще не старый, переполненный до краев любовью к тебе?.. А может быть, вы не понимаете смысла вечной разлуки? Вечной, вечной, черт вас всех побери!.. Нас всех вместе с нашей самоуверенностью, гусиной медлительностью, с забывчивостью нашей, с самодовольством, черт нас всех побери!.. Накатали, отлили, отшлифовали чертово количество этих круглых пулек, так нет же, холера, они не служат предостережением!.. И ты, Мятлев, со старым драгоценным своим рубцом на брюхе будешь носиться со своими дурацкими надеждами, покуда тебя вновь не стукнет какая-нибудь, и уже наверняка... Вырвись, вырвись, друг мой бесценный, из этого круга, скорей, скорей... Найди ее, свою Лавинию, не мешкай, радость моя!..

80

«...апрель 9... 1853 года...»

...Сегодня поутру, едва мы вошли в ворота крепости, я вновь увидел знакомые лица встречающих. Среди них — Адель. Можно подумать, что все они дали торжественную клятву присутствовать на каждом акте возвращения войск в крепость. Мне они не показались взволнованными, ни радости я не замечаю на их лицах, ни скорби. Понурые их тени маячат на уже облюбованных местах, и глаза кажутся пустыми. Тогда, в те давние райские времена, присутствуя при сем же, я воображал себе гигантский праздник и даже слышал приветственные клики и грохот оркестровых литавр, а нынче вот сам вхожу в во-

рота, это меня встречают, на меня устремлены взоры, но что-то тихо вокруг, какое-то недоумение по поводу того, что я вернулся. Стараюсь ступать твердо, по уставу, чтобы не выделяться, но чтобы в то же время и не напоминать еще одного «несчастливого» — Воронцова, который с удовольствием, как я вижу, занимает место, предназначавшееся мне: пешком не ходит — только на телеге, снимает дом, устраивает кутежи, от дозорной службы время от времени уваливает, то есть даже не уваливает, а просто отказывается, и никто его не неволит. Ему, видимо, не так уж нужно замаливать грехи. А у меня хоть и один грех, да мой, собственный и кровоточащий, и даже Она, перед которой я грешен, бессильна сама отпустить мне его.

Не успел я привести себя в порядок, как пришли звать меня на квартиру к Воронцову, отметить возвращение. Любопытная деталь: от «несчастливого» посланцем прибыл подпоручик! Видимо, он у Воронцова на денежном крючке — там у них идет крупная игра. Идти отказался, потому что знаю наперед, как у них все там будет, да еще и совестить начнут, что я не так живу, выделяюсь, притворяюсь, эпатирую... Даже передавая приглашение, подпоручик успел все же высказаться на мой счет в том смысле, что я слишком опускаюсь, и не чревато ли это... Они все еще помешаны на соотношении голубой крови, воинских доблестей и собственного превосходства над страшным противником, которого сами же с удовольствием величают страшным, чтобы выглядеть в своих же глазах героями.

Что же изменилось в мире, пока я отсутствовал? Да ничего. Они все те же. Как в Петербурге им было до меня дело, так и здесь. Не исключено, что завтра вспыхнет бунт против меня: и тут я чем-то им не угрожу...

Могилка немецкого доктора Иванова на прежнем месте, вполне конкретная могилка, усыпанная цветами от Адели, а рядом — другая, безымянная... Теперь в госпитале другой доктор, тоже одинокий и хмурый... Не дай-то бог попасться ему в лапы!

Не успел я проводить недоумевающего подпоручика, как явилась Адель, одинокая, непонятная, всегда себе на уме. Как я догадываюсь, она не умеет заниматься собой. Ей нужно кого-то лечить, спасать, удерживать, предостерегать, облагодетельствовать. Я понял, что она добра, но как-то по-животному, и теперь уже не секрет, что мно-

гие этим злоупотребляют. Она спросила, не забыл ли я предостережений ее отца. «Каких?» — не понял я. Она сказала, отводя глаза: «Вы эти глупости выкиньте из головы. Уж раз вам такое на роду написано, то терпите...» Я разнервничался и хотел прогнать ее. Она сказала: «Помните полковника фон Мюфлинга?... Так он ведь за вами был приставлен. Вы-то думали, что все о вас позабыли, а все было наоборот... Спрятаться нельзя...» Эта проклятая дама снова все мне напомнила и отравила целый день! А их в жизни не так уж и много...»

«...апрель 10...

...Что она имела в виду? Уж не пора ли и мне вновь собираться в дорогу, пока сердце не разорвалось от тоски по господину ван Шонховену? Мне начинает казаться, что обо мне и впрямь забыли, а дни идут. Меня бросили сюда, не подумав, что дни идут, бросили сюда, в эту крепость, и забыли, закружились, и я с покорностью суслика выполняю нелепые, ошибочные их предначертания, а дни идут... Что я делаю, чем занимаюсь всю жизнь? Оказывается, одним: все время, оказывается, пытаюсь бежать куда-то, от чего-то, почему-то. Из Петербурга — в Москву, из Петербурга — в Тифлис, из Михайловки — в Петербург, из крепости — в Петербург, чтобы вновь из него бежать.

Нынче на крепостном валу я поделился этим с Лавинией. «Равкна», — сказала она, пожимая плечами... Мне нужна одежда, немного денег и казачья лошадь. До Тифлиса я доберусь за двое суток, искать же меня будут по дороге на Москву...»

«апреля 12...

...Ходят слухи о каком-то большом и очень скором наступлении. Соберется много героев, много пушек, много водки. Все отправятся, чтобы дать последний бой злобному врагу. Каждое удачное попадание пушечного ядра — в саклю, в корову, в человека — будет вызывать громкие счастливые восклицания и послужит поводом для шумных вечерних тостов. Горцы уходят все дальше, все глубже. Скоро они побегут... Куда же они-то побегут?

Внезапно, как снег на голову, свалилось письмо от Кас-

сандры. Чертовщина! «Дорогой Сереженька, дитя... Государь милостив, и с божьей помощью, надеюсь, все обойдется. Ты только наберись терпения и ничего себе не позволяй. У нас толки все утикли. Теперь больше говорят о Царьграде и русской миссии. Все теперь о тебе очень вспоминают, жалеют и, конечно, недоумевают по поводу столь сурового наказания. Ты, конечно, в свое время очень досадил многим, даже Государю. А ведь ты помнишь, как я тебя всегда предупреждала, какой ужас меня охватывал при мысли, что терпение общества лопнет и оно вынуждено будет от тебя защищаться. Люди не ценят своих благ, а, потеряв, страдают. Ах, как тебе, должно быть, трудно и как горько сознавать все это! Тут, конечно, образовалась целая партия сочувствующих тебе, и мы дергаем различные ниточки в разных направлениях, чтобы постепенно создать нужный климат. Будь благоразумен, ради бога, не позволяй себе чего-нибудь, чтобы не разрушить наших усилий. Сведущие люди говорили мне, что даже в твоём положении, там у вас, можно вполне обойтись без излишних геройств. Совсем тебе не нужно лезть под пули. Ты уже отличился в молодые годы, и все это знают... Твоя любящая сестра...»

Мне нужны одежда, деньги и лошадь... Мне нужны лошадь и одежда... Мне нужны одежда и деньги... Мне нужна Лавиния!.. Мне не нужно ничего из ваших радостей, а печали все равно нам придется делить пополам...»

«...апреля 18..»

...Слухи о предстоящем наступлении подтверждаются. Подходят новые войска. Водки расходуется все больше. А у нас жизнь течет своим чередом, не зависима от высочайших намерений. Рассказывают о новом событии. Оказывается, тот самый воронцовский подпоручик исхитрился, свинья, очутиться тайным свидетелем любовных игр Адели. С кем она на этот раз играла, осталось невыясненным. Но подпоручик, таясь в своем укромном месте, натерпелся страху и чуть было не сгорел от вожделения, находясь от любовной пары на расстоянии какой-нибудь полусажени. На следующий вечер, полный решимости, бросился он перед нею на колени и закричал по образцу, утвержденному покойным Питкевичем: «Завтра меня убьют, я знаю! Сжальтесь надо мной, о Адель!» Почему-то на сей раз заклинание не подействовало, и подпоручик

был выдворен с позором. И вот эта прелестная коварная маркитантка, законная, полковая, похорошевшая, рассказывает крупными шагами среди солдат и офицеров с гордо поднятой головой, как победительница, не вызывая ни малейших насмешек, ни осуждающих взглядов, а только всеобщее восхищение, почтительность и надежду. Боюсь, что в ближайшем будущем, распалившись до крайности, войска пойдут в очередной поход, неся ее перед собою как знамя. Думаю, что от меня она не ждет ни ласк, ни пылких восклицаний. Хотя по ней определить ничего невозможно. Ловит меня, туманно предостерегает, вздыхает по-мужицки, зазывает на самовар, на карнавал, на бал, внезапно прощается и уходит, размахивая руками.

Лавиния пишет божественные письма. Я плачу и смеюсь. Ощущение собственного ничтожества тотчас покидает меня, стоит мне пробежать пару строчек, сочиненных ею. Слава богу, что хоть ее не разжаловали в солдаты. Хочу поделиться с нею своими планами, но как только прикоснусь пером к бумаге, сразу же возникает передо мной почти позабытое лицо Приемкова, и я вижу, как он грозит мне пальцем и восклицает: «Вы с ума сошли, чтоб не сказать хуже! Вы что, забыли, где живете? Да ваши мысли немедленно станут достоянием полковников фон мюфлингов!» Нет, ваше сиятельство, я не забыл, я осторожен, я коварен, я начеку, я истинный солдат. Хорошо, что Лавинию не разжаловали в солдаты. Когда-то я предал Александрину... Мне нужна одежда... Ходил по воскресному базару. Какой-то чечен предлагал почти бесплатно старый сюртук. Наверное, снял с убитого. Хотел купить, но передумал... Я отправлюсь пешком до ближайшей станции, там пристроюсь к дилижансу. Я мог бы уже сейчас нарисовать волшебную картину своего тайного пребывания в убежище, предназначенном мне Марией Амилахвари, но как говорят солдаты: «Загад не бывает богат». Молчи, Мятлев, притворяйся счастливым и храбрым, носи ружье с достоинством, ставь ногу твердо, стреляй в живых, пей спирт на поминках!.. Я мог бы уйти в горы и сдаться Шамилю, обворожить его, сделаться его кунаком, получить коня, черкеску, бурку, золотое оружие, а затем ускакать в Персию и оттуда отправиться в Европу... я мог бы, когда бы в этом было хоть немного трезвого смысла. Прощай, Шамиль, тебе не угрожают ни моя преданность, ни моя неверность... Мне нужны одежда и деньги».

...Какой сюрприз! Вчера под вечер распахиваются крепостные ворота и вваливается очередное войско, чуть поболее роты, чистое, нетронутое, горластое, предводительствуемое... Мишкой Бергом! Над новичками принято здесь подтрунивать, но Мишку Берга с его золотым оружием хорошо знают, поэтому и остальных оставили в покое. Мы встретились как родные братья. Как странно. Он выглядит еще взрослее, чем в Тифлисе, еще обветреннее. Ему определили чью-то замызганную квартиру с неперменной деревянной тахтой в большой комнате. Там вечером мы и сошлись. Обо мне все ему было известно. «Я не придаю значения, — заявил он, — беру вас к себе в роту, и плевать на все!» Чудо. У меня немного отлегло: все-таки свой, и прошлое у нас кое-какое, да и Лавинию он знает... Вместе с ним, натурально, прибыл и Коко Тетенборн, который еще в Тифлисе, наскучив интендантством, решил зарабатывать золотое оружие. Вскоре пришел и он сам с поредевшими кудрями. Мы обнялись, и он сказал, сияя: «Тут же, не отходя далеко, встретил одну юную госпожу, с которой очень быстро, по-боевому, завязал тесную дружбу!» — «Ну, это еще поглядим», — мрачно пробубнил Берг. Я понял, что дело касалось Адели. Коко, не смущаясь, выражал восхищение всем увиденным и тут же спросил меня: «А вам не бывает страшно, когда по вас палят? Вы как переносите?..»

— Да я же тебе рассказывал, — рассердился Берг.

— А я хочу знать мнение Мятлева, — сказал Коко, сияя зубами.

Никаких соболезнований мне не выражалось. Все было пристойно, дружественно, слегка лихорадочно...

Лошадь можно увести с любой из коновязей. Это не проблема.

Был уже поздний вечер. Человек Берга прислуживал нам весьма расторопно.

Б е р г. Десять лет — срок немалый, но серьезных усовершенствований в оружии я что-то не замечаю... Вот у англичан...

Я. Как вы полагаете, за сколько времени относительно умелый всадник доскачет из, ну, положим, Грозной до, положим, Пятигорска?

К о к о. Да вы, Мятлев, ко всему и математик!

Б е р г. Я очень боялся попасть сюда в пору распутицы. А сейчас дорога вполне приличная.

К о к о. Тут об этой даме рассказывают черт знает что...

Я. А по сухой дороге, кстати, вообще ничего не стоит доскакать.

Б е р г. Конечно... А вот Коко, например, ни разу в седле не сидел.

К о к о. Зато я отлично сижу за столом.

Я. Когда не знаешь, сколько тебе вот так тянуть эту солдатчину, можно ведь и решиться на что-нибудь такое. Отчаяние может черт знает на что толкнуть...

Б е р г. Здесь все забываешь: никаких интрижек, никакой суеты. Одна цель.

К о к о. В Петербурге эта юная Манон выглядела бы тусклее, но здесь... я прямо обмер, и она, главное, так смотрит... Ее отец, кстати, совсем одурел от спирта.

Б е р г. Сущая околесица! А вы, Мятлев, должны перейти ко мне в роту. Я вас в обиду не дам.

К о к о. Берг хочет спросить о Лавинюшке, его так и подмывает, но он не решается, помня вашу пощечину...

Б е р г. Бред необстрелянного каптенармуса... Вы его, Мятлев, не слушайте. Это мелкая месть за то, что я перебил ему интрижку с Марией Амилахвари...

К о к о. Ничего себе интрижка!.. Я любил ее! Вы помните ее, Мятлев? Ну еще бы! Разве это дурно, что я влюбился в такую богиню? «Интрижка»... У Берга разум на уровне полковой мортиры.

Я. Комендант рассказывал об одном «несчастном», который пустился в бега, и какая-то полковая сволочь преследовала его, покуда не настигла. Потом его засекали, или распяли, или сожгли, а он в прошлом был где-то там у себя чуть ли не губернским предводителем и задавал пиры вот для этих же, которые его потом догоняли и убивали...

К о к о. Ах, ах, ах, какие жестокие нравы!

Б е р г. Конечно, можно расслабиться, и пускать слюни по любому поводу, и быть тряпкой, но разве это поможет, когда какой-нибудь озверелый чечен или авар начнет выпускать тебе кишки?

К о к о. Мы должны беречь себя для главного...

Б е р г. Пожалуй...

К о к о. ...для вот таких молодых, хорошо объезженных крепостных мадонн.

Б е р г. Ты помешался. Придется мне самому заняться этой девицей.

К о к о. Только попробуй!

Б е р г. Твоя болтовня будет для нее слишком обременительна. Она просто застрелит тебя...

Я. А вы, Берг, никогда не отдавали распоряжений за сечь кого-нибудь из своих солдат?

Б е р г. Вам это не грозит.

К о к о. Она меня уже подстрелила. Теперь я уже не гожусь для схваток с горцами.

Я. Конечно, тот беглец и не подумал переодеться, а топал в солдатском, не скрываясь...

К о к о. Бездарный дилетант. Я, конечно, могу предложить ей руку и сердце, но ведь это какая вольтка, боже мой! Да к тому же вдруг она истеричка... А знаете, почему князь Барятинский помчался на Кавказ сражаться? Великая княжна Ольга Николаевна предпочла ему, по желанию, естественно, своего папашу, принца Вюртембергского, и бедный князь вынужден был сделаться патриотом.

Б е р г. Князь Барятинский смелый воин.

К о к о. Он лучшей участи достоин... А я разве не смелый? Покорить такую гигантшу — это, я вам скажу, тоже героизм. А говорят, Мятлев, что из-за вас поручика Амилахвари поперли из гвардии...

Я. Да, из-за меня. Это мой крест. А что?

Б е р г. Подумать только, еще вчера мы пили с вами в Тифлисе имеретинское!

К о к о. Нет, я уже не гожусь для сражений. Я способен только любить.

Б е р г. Вот и люби отечество.

К о к о. Боюсь, что это будет односторонняя любовь... А как зовут мою даму? Адель?.. О Адель!

И в этот момент вошел человек Берга и доложил, что к нам гость. И следом вошла Адель. Она была в самом праздничном из своих одеяний. Я никогда не видел ее такой. Она была, пожалуй, даже красива. Мы встали навытяжку, как перед командующим линией. Мне показалось, что она слегка пьяна.

— Садитесь, садитесь, господа, — распорядилась она устало и села за наш стол. Коко закатил глаза.

Я посмотрел на Берга. Капитан был невозмутим. Человек поставил перед Аделью рюмку,

К о к о. Завтра меня убьют. Я затылком чувствую.

А д е л ь. Отец сказал, что ваша рота последняя. Больше никого не будет.

Б е р г. Значит, скоро выступать.

Я. Простите, я не представил вам...

Б е р г. Ах, мы успели познакомиться.

А д е л ь. Господин капитан очень приглашал меня в гости.

К о к о. Это я приглашал вас... Я пригласил, ибо понял, что завтра будет поздно.

А д е л ь. И вы пригласили, но вы пригласили позже...

А Тифлис большой город?

Б е р г. Ты понял, Коко, чья гостья несравненная Адель?

К о к о. Она же знает, что меня должны убить...

Я. Тифлис большой город. Там есть оперный театр. Вы бывали в опере, Адель?

Б е р г. А почему это вы, Мятлев, спросили о расстоянии меж Грозной и Пятигорском?

А д е л ь. У вас опять глупости на уме...

Я. Да нет же, ну, спросил и спросил... Я уже не помню, для чего.

А д е л ь. Мой отец спит, как дитя. И вообще все кругом уже спят. Одна я хожу...

К о к о. Завтра меня убьют.

А д е л ь. Что-то не похоже.

Я. Нашли тему, ей-богу!

К о к о. Что значит «не похоже»? Я затылком чувствую: вон там у меня что-то, как комок льда...

Б е р г. Я бы, например, доскакал за четыре часа... Хотя не понимаю, для чего это надо.

К о к о. Адель, не вздыхайте так тяжело... Не будет меня — придут другие. Вы любите новизну?

А д е л ь. Зачем же вы корку бросили на пол? Это все равно, что в сапогах лечь на чистую простыню...

Я попросился и направился к дверям. Адель сидела, как просвирка, которую еще предстоит делить. За моей спиной Коко сказал: «Завтра меня убьют».

«...апреля 29...

...Берг сдержал слово и настоял, чтобы меня перевели к нему в роту. Войск масса. Все толкутся в крепости. Пьют... Шумят. Лазутчики Шамиля давно, наверное, за-

секли это. Секрет испарился. А наступление ожидается, но большого проку в нем не будет.

Мало мне всего, да еще обвиняет в трусости: бежал перед наступлением! Придется откладывать до лучших времен. Лучшие времена — это те времена, которые могут наступить, но почему-то никогда не наступают.

Третьего дня забили палками солдата. Напился пьян и ослушался. Был приказ всем присутствовать при экзекуции, но Берг отправил меня с поручением в канцелярию и не настаивал на скором возвращении. Я с радостью отправился туда и был вознагражден большим письмом от Лавинии и ленивой весточкой от Амираана, который накануне собственной свадьбы. Его роман с Маргаритой протекал как в полусне, почти на пороге Петропавловки, где таинственные линии наших судеб пересекались в течение целого года... «Изгнание из гвардии совершилось вполне пристойно, без излишнего шума, сквернословия и своевременно. Освободившаяся вакансия возбудила множество сердец, и все обо мне тотчас позабыли, даже не сочли нужным выразить благодарность за предоставление им местечка. Неблагодарные современники! Марго предлагает мне с романтической таинственностью бежать из Петербурга, но я объяснил ей, что это привилегия Мятлева, а я повторяться не люблю...» Когда я возвращался через площадь, все уже было кончено. Какого-то очередного Фонарясия забили насмерть, избавив его от участи быть убитым горцами. Фонарясиев у нас довольно еще много, но если их уничтожать так страстно и в таком количестве с помощью вражеских пуль и отечественных палок, то в скором времени их совсем не останется... Тогда о ком заботиться и печься?

Зашел к Тетенборну. На пороге дома сидел тщедушный солдатик и пришивал пуговицу к офицерскому сюртуку. У Коко в комнате чудовищный беспорядок, и сам он взлохмачен и бледен, словно после драки. «Завершаю земные дела», — сказал он, смущенно улыбаясь. «Коко, — сказал я, — возьмите же себя в руки. Можно подумать, что вы боитесь...» — «Нет, нет, — засуетился он. — Я ничего не боюсь. Но я знаю, что меня убьют... Впрочем, и пусть, и пусть...» Это уже походило на неуместное кокетство. «Я ведь не Адель, — сказал я, — могли бы со мной без пошлостей». — «Кстати, об Адели, — оживился он, — кажется, я ее доконал. Назло Мишке. Она почти моя, но

черт с нею...» Мне бросились в глаза повсюду разбросанные листки, исписанные аккуратными столбцами. «Вы пишете стихи?» — удивился я. «Ах, кто же их нынче не пишет! — засмеялся Тетенборн. — Но это между нами. Мятлев, учтите... Люби, Адель, мою свирель... Мне вдруг показалось, что она спаивает своего отца. Вы знаете, что она мне сказала, когда я начал в очередной раз хныкать о своей завтрашней гибели? Она сказал: «Ежели вас не убивать, вы слишком много глупостей успеете понаделать!» Представляете, какое чудовище? Я ей крикнул тогда: «Разве моя любовь к вам — глупость? О Адель!» Я обнимал ее, лил искренние слезы. А что мне оставалось? Она обмякла в моих руках, но думала не обо мне, я это видел...» «Вы настоящий поэт, — сказал я ему, — подумать только, какие трагические страсти вас одолевают!» — «Да полноте, Мятлев, — сказал он изменившимся голосом, — это ведь я рассказываю, чтобы поразвлечь вас. Вы знаете, я нынче подумал: а что, если мне в пылу сражения сказать вдруг больным? Отлежусь где-нибудь под кустиком или на телеге, а когда узнаю, что пулька, уготованная мне, впилась в моего соседа, выздоровею и вернусь со всеми в крепость живым и невредимым. И это все ведь забудется, а я выйду в отставочку и укачу в Петербург, и все... Как вы думаете? Вам было больно, когда вас проткнуло?.. Но с другой стороны, если я не погибну, что скажет Адель? — И, помолчав, добавил: — Представляю, как вы мучаетесь здесь!» Я собрался было уйти, оставить его одного наедине с его бредом, но он удержал меня: «Маленький, грустный сюрприз, — сказал растерянно, — я не должен бы этого делать, да ведь вы все равно узнаете. Вы не расстраивайтесь только. Это простое стечение обстоятельств. — И крикнул: — Сальков!» И тотчас в комнате очутился гщедушный тот солдатик. У него были белые ресницы и непроницаемое лицо. Тоска распространялась от него кругом. Он стоял вытянувшись, хлопая белыми ресницами. Сюртук Тетенборна с недошитой пуговицей был перекинут через руку, как полотенце у полового. Тоска распространялась от него. Не каменная неумолимость, как тогда, год назад, на Коджорской дороге, а дикая крепостная тоска. «Каково чудовище?» — спросил Коко. Я с отвращением пожал плечами. «Он вас не узнает, хотя долгими вечерами рассказывал мне с обстоятельностью доносчика о своей роли в крупной государственной акции. Гордится.

По-моему, это было самое значительное событие в его жизни. Черт его знает, может, командовавший им офицер все это так ему преподнес, черт знает... Во всяком случае, он на этом деле помешался, уж это точно... Узнаешь барина?.. Нет, он не узнает. Если узнаёт — пропадет таинственное очарование его вчерашней миссии... Ну, ладно, ступай». Сальков покорно удалился. «Мне его как-то навязали в денщики. Он крайне исполнительен и неприхотлив. Я уже потом узнал от него все это. И я сразу догадался, что это имело прямое к вам отношение. Я даже прибить его намеревался, да потом думаю: а за что?.. Он, конечно, ни фамилий, ни лиц не помнит, только помнит, как все перед ним никло, падало и растворялось. Счастливые были времена!.. Вы очень огорчены?» — «Нет, — сказал я, — просто противно». Когда я выходил, Салькова не было. Коко проговорил, ерничая: «Нынче вечером Адель будет моею... — и вздохнул. — Прощайте, Мятлев. Вы не подумайте, не примите за чистую монету мои фантазии насчет там кустиков, телег и прочего... Я, конечно, в сражении притворствоваться не буду, и меня убьют».

Он успел за неделю всем надоесть со своими предчувствиями неминуемой гибели.

Нет, тяготы солдатчины не очень мне страшны, особенно теперь, когда Берг так трогательно меня ото всего оберегает. Но бессрочность, безысходность — вот что губительнее горской пули. Неужто я и впрямь так уж провинился перед обществом? Почему с таким злорадным наслаждением мне выписали столь жестокий рецепт? Я и в самом деле начинаю терять самообладание и уже готов на любое безрассудство».

81

От господина Ладириковского господину фон Мюфлингу из Петербурга — в Кудиново

«Июня 15, 1853 года...»

...Простите за долгое молчание, но все так мирно, спокойно и однообразно, что и писать-то как бы не о чем. На днях совсем осмелел и спросил у Лавинии, не пожелает ли она отправиться в заграничную поездку. «Начина-

ется лето, — сказал я, — пожалуй, неприлично в городе оставаться, тем более в нашем положении...» Она пожала плечами и сказала: «Если вы так считаете... — и усмехнулась, как только она умеет. — Вы уверены, что там лучше?» Зная, что ответить утвердительно для нее мука, я про себя решил, что предложение мое одобрено, и отдал уже кое-какие распоряжения. Я поделился своей радостью с госпожой Тучковой (они как будто примирились, и она вновь вхожа в наш дом и, должен заметить, держит себя скромнее и тише). «Ну-ну, — сказала она меланхолично, — дай вам бог. И вообще пора бы подумать о детях». Это было весьма неожиданно, хотя ничего злонамеренного и несправедливого нельзя было усмотреть в ее пожелании. «Мы, Ладмировские, всегда обладали повышенным чувством семейного долга, — сказал я строго, — кто ж мог предполагать, что в сочетании с Бравурами эта линия претерпит такие превращения?» Она обиделась, но не нашла, что возразить.

Наша Марго наконец-то вышла замуж, за кого — не знаю, да и знать не хочу, и укатила с мужем на Кавказ. Полегчало, друг мой, полегчало! Воздух чист. С ужасом вспоминаю минувший год и наслаждаюсь покоем. Много ли мне надо? Дела в Департаменте вновь пошли хорошо. Все успеваю. Лишь по утрам, просыпаясь в одиночестве, скорблю недолгие минуты, но знаю, что выйду к завтраку, например, в любую рань, и Лавиния встретит меня за столом, и это приносит мне облегчение.

Как-то после обеда госпожа Тучкова, навестившая нас, вдруг извлекла из ридикюля конверт и молча протянула его дочери. «Это письмо для вас», — пояснила она. «От кого же?» — удивилась Лавиния и покраснела. «От меня», — сказала госпожа Тучкова совершенно серьезно. «Вы написали мне письмо? — спросила дочь, еще пуше краснея и заметно нервничая. — Что это значит?» — «Читайте, читайте, — потребовала госпожа Тучкова, — так будет лучше...» Не успел я подумать, что это опять какие-нибудь очередные ее штучки, как тотчас так оно и вышло. Лавиния пробежала первые строчки и рассмеялась, потом обернулась ко мне и так по-дружески, как давно уже со мной не говорила, сказала: «Послушайте-ка...» Она это так сказала, с такой интонацией, что я за одним этим словом услышал целую фразу вроде: «Ну, мы с вами старые друзья и единомышленники, и вы послушайте-

ка, что написала эта сумасбродка...» И она принялась читать письмо вслух. «Дорогая Лавиния, Вы введены в заблуждение, и мне прискорбно это знать. Вы введены в заблуждение относительно моей роли и моего участия в Вашей поимке и возвращении в родной дом... — Тут мы с Лавинией переглянулись. — Счастье несколько раз улыбалось Вам, но Вы с Вашей гордостью и амбициозностью, с Вашими предрассудками...» Лавиния отшвырнула письмо. «Я писала это для вас!» — крикнула мать. «Сударыня, — сказал я почти с угрозой, — вы снова затеваете интригу... Только мы было склеили осколки, как вы снова... снова... — Тут я закричал: — Нет, так жить нельзя! Это невыносимо!..» Она поднялась со стула, раздувая ноздри, тяжело дыша. «Я ошиблась тогда, — сказала она, как Сибила, — не вы должны были быть мужем моей дочери! Вы слишком бесформенны и унылы. Вы мне неприятны! Я ошиблась!..» Она подняла свое послание и бросилась вон. Лавиния смотрела на меня с ужасом и состраданием. За этот взгляд можно было и умереть! Она подошла и положила руку мне на плечо. «Она сошла с ума, не огорчайтесь, — сказала спокойно и твердо, — у нее истерика, потому что она привыкла быть сильнее, не огорчайтесь». У меня земля уходила из-под ног ото всего случившегося: крик, брань, внезапность, рука Лавинии на плече, участие... «А ведь я не так уж слаб, — сказал я, еле ворочая языком, — что же это со мной происходит? Отчего же это все так?.. Наверное, вы меня с ног сбили... Как же это все со мной получилось?..» Видимо, и я впрямь выглядел поверженным. Она гладила меня по голове, потом губами прикоснулась к щеке. Только бы не разрыдаться, подумал я, этого еще не хватало!.. Но вот, представьте, с тех пор все у нас как будто и начало окончательно устраиваться. Теперь я приезжаю из Департамента — меня ждут, и ясный взор мне приготовлен, и теплые руки, и мягкие интонации. И я растворяюсь в этом во всем, распадаюсь, теряюсь; мне это непривычно, друг мой, непривычно, и по вечерам, когда время отправляться ко сну, начинает одолевать эдакая навязчивая старая несмелая мыслишка, мол, не пора ли, наконец, отправиться к ней в спальню в халате и со свечой, чтобы как-то уж окончательную точку поставить и начать новую жизнь? Совсем новую. И не пора ли мне позабыть ту первую, нелепую половину нашей жизни, мучительное притирание друг к

другу с претензиями, с амбициями, под знаком одного страшного пророчества, что ежели Бравуры двинулись, то они идут и идут? Конечно, советы Евдокии Юрьевны, старой моей благожелательницы, не ждать погоды, не сохнуть, а порвать, поломать, растоптать, забыть, найти себе молодую вдову, у которой голова закружится от счастья обладать мною, переполненную благодарностью и тихой заботой, у которой как голова закружится, так и будет всю жизнь кружиться; конечно, эти советы я отmel, ибо что она, моя тетка, может понять в моем безумстве? Она же сама когда-то оказалась на положении такой вдовы, верной, честной, наипреданнейшей, о себе позабывающей... А тут, когда входит в комнату эта юная, гордая, трагическая царица, не помышляющая властвовать, а сама власть, не подозревающая о своем величии, а сама — величие, я колени преклонен, друг мой Петр Иванович! Вы же видели ее, Вы же сами говорите о ней с восхищением...»

82

Все так и случилось, как и должно было случиться. В ущелье по колонне изредка постреливали, но как-то все лениво, безопасно. Где-то на фоне светлеющего неба мелькали иногда черные крылатые силуэты одиноких всадников, и оттуда щелкали выстрелы, но вреда от них почти не было. Так без помех добрались до первого вражеского аула, но он оказался пустым. Какая-то забытая корова кричала в ложбине. Солнце поднималось, день обещал быть жарким, да от раскаленных башен пылающего кизяка нагоняло лишнего жара.

По легкому ветру плыли вперемешку с пеплом яблоневая и вишневая листва, и было так великолепно ее бесшумное разноцветное скольжение, что хотелось никогда уже не отрывать от нее восхищенного взгляда... Однако ружья пригибали солдат к земле. Двинулись к третьему аулу. Движение было медленным, осторожным, хотя постепенно напряжение первых часов начало остывать. Мятлев шел в колонне, чувствуя себя новичком, и он волновался, как новичок, хотя когда-то прошел всю науку в этой школе... А может быть, то были лишь юношеские сновидения.

А там, у крепостных ворот, их провожали с рассветом все те же молчаливые фигуры, и Адель стояла на своем

месте, высоко вскинув голову. «Ау, Адель!..» Но она смотрела в сторону Коко Тетенборна, не замечая Мятлева. Этот кудрявый петербургский пройдоха все-таки что-то такое сказал ей, что-то такое наобещал, чем-то ее ввел в заблуждение! Этот петербургский поэт шагал перед своей полуротой, вспоминая, наверное, атлетический бюст своей случайной дамы... Но, поравнявшись с нею, Мятлев содрогнулся. Перед ним стояла старуха, уставшая от вечной скорби провожания. В рассветной синеве ее лицо казалось неживым, а тень под глазами увеличивала их до чудовищных размеров. В них не было слез, как и у господина ван Шонховена в минуты, предшествовавшие катастрофе. И тут Мятлев понял, что она глядит вовсе не на Тетенборна, а сразу на всех, на всю колонну, начиная с генералов и кончая обозными, бессильная привыкнуть к их невольному, неумолимому, бесконечному, муравьиному маршу в преисподнюю. И тут Мятлев почувствовал, как заныла старая рана, о которой он давно успел позабыть, заныла, да так, что впору было свернуться на лазаретной койке. И Коко Тетенборн, поравнявшись с ним, зашептал белыми губами: «Подумать только, она призналась, что девственница! Я даже собрался было предложить ей руку и сердце, но вспомнил, что нынче меня убьют...» Мятлев смолчал, ибо Коко сам тоже походил на старца — глубокие морщины, подобно кавказским ущельям, рассекали его плачущее лицо.

И вот теперь они совершили все, что смогли, а враг так и не появился перед ними, чтобы вступить в открытый, честный поединок. По временам сверкнет то здесь, то там его бессильное жало, но веселый дружный треск нескольких десятков ружей вновь делал горную дорогу свободной.

— Так мы, пожалуй, и войну закончим, — сказал Мятлев с недоумением.

— В лучшем случае эта авантюра кончится ничем, — ответил Берг мрачно. — Дальние крепости оборудованы весьма. Они нам не по зубам. Но реляции будут победоносны, вот увидите...

И в этот момент из соседнего леса грянули пушки. Когда Мятлев открыл глаза, он увидел перед собой свежий ярко-желтый альпийский цветок. За ним сквозь траву проглядывало множество таких же. Они одинаково покачивались под ветерком, и одинаковые сосредоточенные

пчелы тряслись на их лепестках. Никаких звуков, кроме их счастливого гудения, не доносилось. Это была незнакомая поляна. Лежать было неудобно, но двигаться не хотелось. Мятлев скосил глаза и увидел капитана Берга. Мишка сидел на барабане, упрятав лицо в ладони. «Берг», — позвал Мятлев, но получилось «Беее...». Капитан поднял голову. Лицо у него было грязное и злое.

— Сальков! — крикнул Берг, но никто не отозвался.

Внезапно пчелы перешли на шепот, и тогда послышались голоса людей, крики, перебранка, фыркание лошадей, треск кустов... «Значит, я жив», — подумал Мятлев и приподнял голову. Боли не было.

— Что со мной? — спросил он.

— У вас перебиты ноги, — сказал Берг и снова упрятал лицо в ладони.

— Мы победили? — спросил Мятлев и засмеялся.

— Сальков! — крикнул Берг.

— Сальков залез в альков, — сказал Мятлев. — Берг, мне страшно: у меня уже нет ног?

— Есть, — отозвался капитан, — сейчас вас повезут, потерпите... — и всхлипнул.

Когда из леса ударили пушки, началась паника, но Берг сумел собрать группу, и они кинулись на вражескую батарею. Это были две старые ржавые пушчонки. Прислугу, нескольких обезумевших горцев, перекололи. Орудия сбросили в пропасть. Прочесали лес — больше никого не было. Эти две старые ржавые пушчонки, кряхтя и содрогаясь, выплюнули свои два последних ядра в самое месиво солдат с близкого расстояния, и поэтому было много убитых и раненых. Коко Тетенборн пал первым. Разделавшись с неприятелем, Берг вернулся к роте, узнал о потерях, наткнулся на Мятлева и потащил его на поляну.

— Не плачьте, — сказал Мятлев. — Бедный Тетенборн. Он, оказывается, писал стихи...

Раненых и убитых сносили теперь на ту же полянку. Среди альпийских цветов и травы возникла голова Салькова.

— Ваше благородие, — сказал он почти шепотом, — куда прикажете господина поручика несть?

— Какого еще поручика? — спросил Берг, не поднимая головы.

— Ну, этого, — потоптался Сальков, — нашего, стало быть... Коко, — и засмеялся.

— Чего зубы скалишь, скотина! — заорал Мишка Берг и заплакал, не стесняясь. — Пошел прочь! Пошел, пошел!..

— Да не орите вы, — сказал Мятлев. Сел и потерял сознание.

83

От господина Ладимировского господину фон Мюфлингу из Петербурга — в Кудиново

«июля 10...»

...Сегодня вернулся из Департамента Лавинии нет камердинер сказал уехала с маленьким саквояжем куда уехала где искать куда уехала в комнате вещи раскиданы бумажки окна растворены камердинер сказал уехала на извозчике торопилась ничего не приказывала куда уехала записки не оставила куда мне ехать что спрашивать...»

«октября 4...»

...Я Вас вовсе и не забыл. Было у меня долгое недомогание, а теперь стало совсем хорошо. Теперь я уже понимаю, что нужно писать и как. Тогда, после ее исчезновения, я был не в себе. Сами подумайте — каково мне было! И так все держалось на сплошных нервах, и так все было призрачно и ненадежно, а тут вдруг еще это. Но я не умер, не сошел с ума, не парализован. Хотите знать, почему так случилось? Я ведь и сам все это лишь недавно понял и осознал. Тогда, да и после не мог ничего объяснить, просто думать не мог ни о чем, только помнил, как что-то, когда-то, где-то... Как ни смешно, друг мой, горе это и спасло меня. Тогда я ворвался в ее комнату как полоумный, увидел разбросанные бумажки, шпильки, ленты какие-то, раскрытые ящики... Первым делом стал искать записку от нее: мне тогда нужны были какие-то разъяснения, аргументы, мольбы... Еще пуще я все переверотил в поисках, шкафы переверотил, сундук, из него летели платья, горжетки, чепцы... ну, как полагается в таких случаях. Теперь смешно ужасно, а тогда, словно лев, рычал и дикими прыжками кидался во все углы. «Куда?.. Зачем?.. Почему?..» — хрипел я в неистовстве, хотя, ведь если подумать, знал куда, зачем и почему; просто это

были уже запоздалые сердечные судороги, это чувства во мне бушевали, а разум-то все знал, да не мог меня утихомирить, ибо в тот момент был как бы погашен. Я уже было собрался кинуться прочь из комнаты, чтобы продолжать неистовствовать, распечь дворецкого или еще что-нибудь такое, как вдруг ухватил одну из бумажек, но не отшвырнул ее почему-то, как предыдущие, а развернул, разложил на столе, расправил и обмер: маленькая такая была записочка, обрывок, почти ни о чем, написанная незнакомым почерком, коряво, суетливо, без имени адресата, без подписи. «Неведенье — худшая из тайн. Надеюсь на весточку. Прости за все». Но я сразу же догадался, что она от него к ней. Я перечитывал эту записку и перечитывал, и разглядывал на свет, и тут все нахлынуло, вспомнилось снова, я увидел, как отпечатались на этом клочке бумаги пухлые цепкие пальцы Маргариты; сухие, привычные — тихого майора; нервные, насмешливые — поручика Амилахвари. Я так отчетливо это увидел, словно мгновенное озарение снизошло на меня. И прежние углы, линии и пунктиры проступили из мглы и багрово запылали перед глазами. И тогда, как всякий безумец в один из миггов счастливой ясности, я вдруг затих, сосредоточился, похитрел, спокойно запер двери и принялся аккуратно изучать бумажки одну за другою. «Целую твою руку, написавшую мне спасительные вести. Теперь все будет иначе. Мы прожили целую жизнь. Я жил впервые». «Пожалуйста, ни в чем не сомневайся. Здесь не страшно. Я бодр и полон сил. Это пройдет, как все. Я никогда еще не был таким сильным». «Целую каждую букровку, выведенную твоей рукой. Напрасны твои волнения. Допросы — это разговоры равных. Все полно благородства. Скоро все выяснится. Дыши весной!» «Вина перед тобою заслоняет все. Как я, ничтожество, посмел тебя ввергнуть во все это... Тебе-то за что?.. Цветок твой наполняет мои апартаменты благоуханием. Господину ван Шонховену не пристало быть слабым...» «Пил солдатскую водку из кружки, воображал тебя рядом, и божественные слова твои из твоего письма произносил вслух. Нас нельзя преследовать — мы из других лесов, мы не чужие, мы иные. Есть вещи, на которые не требуется получать разрешение, но на них надо иметь права... А кто раздает их?»... и так далее, и так далее. Это все были бумажки от него к ней, и тайны уже не стало. Вот так, друг мой! Я помню, как разложил

их все, перечитал, не пропуская ни слова, связал их в пачку и затем каждый вечер, заперевшись, перечитывал опять и опять, сличал, сопоставлял, выверял с холодной расчетливостью судебного ярыжки. Я заучил все наизусть, даже смог по какому-то намекам разложить эти запретные обрывки в порядке, в каком они доставлялись, от первого до последнего. Потом я заболел неизвестной болезнью и уже ничего не помню. Возили меня в деревню. Потом болезнь меня отпустила, организм мой оказался, слава богу, сильнее. И вновь я все вспомнил, но, представьте, ничто на сей раз не дрогнуло во мне. Было как-то легко, тихо и счастливо. Я даже удивился, ловил себя на том на сем, да поймать так и не смог. Воротился в Петербург. В доме опять слегка пощемило, но так, скажу я Вам, не опасно, и стихло. Вытащил из тайничка злополучную пачку, начал перечитывать, и снова, друг мой Петр Иванович, никаких болей, перечитал, как некий грустный роман, и захлопнул переплет.

Не сетуйте, друг мой, что не набрался решимости отправить всю эту пачку Вам для ознакомления. Рука не повернулась. Уж я сам тогда наткнулся на эти запретные листы, я, безумный человек, так какой с меня мог быть спрос? А нынче понимаю, как ужасно срывать покровы с этой горькой переключки двух несчастных! Я только одно могу сказать Вам как на духу: были в моей жизни кое-какие обольщения, не скрою, но все это были пустяки по сравнению с моими истинными горькими прозрениями. Безумство мое было не оттого, что неведение внезапно рухнуло. Нет, нет. Я ведь все знал, обо всем догадывался, но притворялся перед самим собою, будто верю, что есть еще маленькая надежда. Это я делал для того, чтобы не сразу упасть, а медленно; чтобы привыкнуть, чтобы не так было больно, и письма эти, записочки эти, эти обрывки, прилетевшие сюда из самой преисподней, в мой дом, все, наконец, и разрешили. Нет, подумал я, он не злодей, каким я его величал на всех перекрестках. Он — мой соперник и враг, но не злодей. И вот, отболев, прозрев, но не остыв, ненавидя, завидуя, все же склоняюсь пред сею неумолимой, губительной страстью, похожей на бурю, и мне становятся теперь смешными былые претензии мои, надежды... Это вовсе не означает, что то хорошо, а это, во мне, дурно, — нисколько. Судьба.

Госпожа Тучкова, будто ничего и не случилось, заез-

жает, похохатывает, всхлипывает, как обычно говорит колкости, намеки, однако не похоже, чтобы вновь порывалась писать к наследнику, и мне говорит время от времени: «Дура я, дура. Надо было за него выдать, а не за вас. Вы ей надоели своей бесформенностью. По крайней мере была бы княгиней». Я не придаю значения ее словам, ибо она говорит это из желания меня уколоть. Да теперь уж поздно. Однако, что ни говорите, какая в этом правда! Так что ж ты, думаю, колдунья, в те поры просчиталась? И трагедии не было бы никакой... Да тут же понимаю, что это вздор. Разве я отступил бы?

Никто не знает, где она. Нашлись доброжелатели, шепнувшие мне, что она укатила с брюнеткой. Я им сказал на это: «Не говорите вздора...» Впрочем, какая разница?

Да, подумал я, какая разница? Мне-то что? Но есть ли все-таки разница?.. Она едва начала приходить в чувство, руку клала мне на плечо, заботилась обо мне. Какая разница?.. Мне ли, после всего, что было, душить ее, давить, принуждать к постылому сожительству? Я же не госпожа Тучкова, чтобы переть по намеченной раз и навсегда дороге, хоть тут тресни. «Теперь вы снова будете писать наследнику слезную просьбу?» — спросил я у нее, посмеиваясь, а сам чувствовал, что сердце сейчас выскочит вон. «Вы с ума сошли! — сказала она. — Чтобы опять эти грязные ищейки гонялись за моей доченькой! Да лучше я погибну, холера ясна, чем притронусь к перу и бумаге!» И она выговорила это столь убежденно, что рассчитывать на нее в спасении Лавинии нечего было и думать. А как же спасти эту юную дурочку? Не для меня, видит бог, нет, а от него, от Мятлева, от их губительного союза... «Значит, мне самому кланяться господину Дубельту? — спросил я, испытывая ее искренность. — Неужели мне самому просить, чтобы вашу доченьку, нарушившую торжественное обещание...» — «Александр Владимирович, — сказала она, утирая слезы, — вы же погубите ее! Не делайте этого...» — «Успокойтесь, — сказал я. — Я не собираюсь ничего предпринимать... Просто я хотел проверить, как мы теперь с вами... что нам теперь... куда мы...» И вот я сказал это и посмотрел ей прямо в глаза, и понял, что она не будет, по своему обыкновению, так спасать Лавинию... Но ведь и она, друг мой Петр Иванович, посмотрела мне в глаза с тем же вопросом...

Одного боюсь: если найдется моя пропажа, вдруг вновь

я обезумею — что же тогда? И ведь опять начну бороться и надеяться, и на козни пушусь, и аргументов найду сколько угодно в свою пользу, и снова Вам напишу, друг мой, что люблю; и беспомощен, а люблю; потому и люблю, что беспомощен и бессилен перед чертовой этой Бравурой!..»

84

— Доктор, — сказала милосердная сестра Игнатьева, — тут солдатик Мятлев, из несчастных этот, спрашивает, когда вставать ему можно... Я и не знаю, что сказать ему...

— А ничего и не говорите... — рассердился доктор, — когда надо, тогда и встанет.

На кого же он гневался, этот рыжий пожилой человек с лицом полового и с движениями утомленного пророка? На лишенного ли всех прав солдатика, которому он искромсал ноги своим ножом, потому что до этого они были искромсаны вражеским снарядом? На свою ли карьеру, занесшую его в эту отдаленную крепость? То ли на милосердную сестру Игнатьеву, не сводящую с него требовательного холодного взгляда?

Однажды она показалась ему прекрасным, только что созревшим яблоком, упавшим к его ногам. Он наклонился, чтобы поднять его, но оно откатилось; он потянулся к нему, но не смог дотянуться.

— Сударыня, — сказал он ей в те дни, — другие милосердные сестры как сестры, а вы что?

— Что? — не поняла она.

Она была в сером бархатном спенсере с белыми батистовыми манжетами и воротничком. Белый накрахмаленный передник хрустел на ней от малейшего движения. Белый платок на голове не походил на обычные платки других сестер милосердия, подвязывавших их просто, по деревенски. На ней он тоже был крахмальный и закалывался на груди крупной французской булавкой с камешком, напоминая монашеский клобук. Крахмальные жесткие края платка, сдавливая щеки, строго обрамляли ее лицо, отчего оно казалось несколько одутловатым. Она была стройна, покорна и неразговорчива. «Если сдернуть с нее этот дурацкий клобук, — думал доктор, — и если сорвать этот передник, и затем немножечко ее пощекотать,

чтобы ее маска немножечко оживилась, влить в нее немножечко спирту, чтобы она погорячела, зарозовелась, хихикнула бы!..»

— Я не люблю у себя сестер с каменными лицами,— сказал он ей тогда, в первые дни, — улыбнулись бы, что ли...

— Хорошо, — сказала она, не меняя выражения лица.

— Ну, что же вы? — спросил он с одышкой.

И она улыбнулась.

— Другое дело, — сказал он недовольно. — Вот так.— И, задержав ее за рукав, сказал требовательно: — Зашли бы чайку попить со стариком. Не съем...

— Хорошо, — сказала она.

И пришла в тот же вечер.

Когда она вошла, он обомлел. Другие сестры милосердия тоже приходили к нему без промедления, и эта пришла, как те, но он обомлел. Он почему-то сомневался, что она придет, вот именно эта Игнатьева, молчаливая, с холодными глазами, почему-то сомневался...

Она сидела перед ним все в том же госпитальном наряде. Маленький холщовый мешочек положила возле себя на стол, маленький холщовый мешочек с дамскими штучками. А клобук, дурочка, не сняла. «Молоденькая, — подумал он в ужасе, — ничего не понимает, что ли?»

— Как дошли, темень такая? — спросил и хихикнул.

— Топ-топ, — сказала она и очаровательно улыбнулась.

«Умеет улыбаться, гордячка, — подумал он. — Теперь что?»

— Сначала спиртику немножко? — спросил он, стараясь выглядеть небрежным.— Это чтоб согреться...

— Лето ведь, тепло, — сказала она, разглядывая его.

— Все равно такая поговорка, — рассердился он,— да вы снимите ваш крахмал, ей-богу! Скрипит же...

— Доктор, миленький, — сказала она нараспев, — я ведь гостья...

Он суетливо кинулся за спиртом. Пока возился, в затылке ныло от ее насмешливого взгляда. «Молоденькая чертовка,— думал он,— еще не обломалась...» И поставил на стол штофчик.

— А чай? — спросила она.

— Будет, будет,— вылетело из него,— все будет! — и потянулся к ней широкими ловкими ладонями, чтобы со-

рвать клобук, передник, чтобы пересилить ее, себя самого, полночь, природу. — Будет, будет... Ты это все снимай к черту... у меня так... давай, давай... расселась!

И тут она преспокойненько извлекла из холщового мешочка пистолет и направила на него.

Он побледнел, распозлся на стуле, превратился в хрипящую массу и долго хрипел, не сводя стеклянных глаз с черного дула, затем обильный пот проступил на его сократовском лбу. Стояла тишина. Спирт в штофчике казался багровым от свечного пламени, и ее глаза отливали красным.

— Давайте же чаю, — сказала она.

Он поднялся, но не знал, куда идти, что делать.

— Ну, вот, — сказала она обиженно, — приглашали, обещали... — уложила пистолет в мешочек и вышла из комнаты.

Он услышал стук калитки и вновь рухнул на стул. Утром проснулся, увидел перед собой пустой штофчик и подумал, что нужно взять себя в руки, не распускаться, иначе может присниться и не такое... Когда же пришел в госпиталь, свежая, хрустящая, послушная сестра милосердия Игнатьева встретилась ему, и он понял, что все это было.

Когда благотворное, исцеляющее время пробежало еще один отрезок своего вечного пути, доктор, успокоившись и посмеявшись над собою, как-то сказал ей:

— А вы и обиделись на старика. Ну, позволил себе, распустился... Стыдно, конечно... Зашли бы, у меня горный мед.

— Хорошо, — сказала она, словно ничего и не было.

«С этой надо лаской, — подумал он, — надо приручить чертовку, потом сама же благодарить будет, прилипнет...»

В душе его что-то такое щелкнуло, повернулось, ему впервые захотелось сказать какие-то незнакомые или позабытые слова, произнести какие-то неведомые звуки, чтобы каменная ее маска распалась...

— Вы что же думаете, — сказал он с одышкой, — я об себе хлопочу? Больно-то надо. Я вас хочу в люди вывести... Это я о вас болею. Я вижу, какая вы молодая, не для этой крепости, что вам другое надо... Вы же можете по молодости заблуждаться, а я... я ведь не об себе хлопочу... — и вдруг осекся. Она была совсем немолодая. В больших ее глазах, в их страшной глубине переливалось

что-то скорбное и настораживающее, и сухие губы в обочку были опущены уголками вниз.

«Ох уж мне эта скорбь,— подумал он с неприязнью и недоумением,— изображает, запутывает, глумится».

— Приходите же, сударыня, — сказал, скрывая раздражение, — я одинок и смирен. Что нам делить, правда?

— Хорошо,— сказала она с покорностью истинной сестры милосердия.

В тот же вечер скрипнула калитка. Он весь напрягся. Успел подумать, что все должно быть иначе. Никаких хватаний, скачков, лихорадки, идиотских истерик. Все мягко, плавно, обворожительно, задушевно, неторопливо... Успел еще подумать: «А почему, собственно, она, непременно эта деревяшка? Мало ли иных, теплых, послушных сердец?» Затем отворилась дверь, и в комнату вошел капитан Берг.

Он остановился на пороге. Доктор кинулся было предложить ему стул, но владелец золотого оружия, остановив его порыв движением руки, сказал:

— Милостивый государь, надеюсь, что у вас не было каких-нибудь оскорбительных намерений по отношению к милосердной сестре Игнатъевой?

— Никак нет, — прошептал доктор, — просто попить чайку...

— Во избежание всяких осложнений, — продолжал Берг, — хочу уведомить вас, милостивый государь, что милосердная сестра Игнатьева — моя невеста. Она могла бы жить по-прежнему в Петербурге, наслаждаясь благами цивилизации, поверьте, но патриотические чувства побудили ее приехать сюда и поступить в вашу грязную дыру.

— Просто чайку, — сказал доктор, прикладывая руки к сердцу, — очень ценю... уважаю... Не сомневайтесь.

— Надеюсь,— грозно процедил Берг и, щелкнув каблуками, вышел из комнаты.

«Пронесло!»— подумал доктор, холодея. Но жизнь была отравлена звонкой петербургской пощечиной, оскорбительно прозвучавшей в этих диких стенах.

Наконец наступила пора провожать очередную роту, которой выпало переместиться на бессарабские поля, чтобы раздавить турок. Рота уходила с рассветом, и ее командир, капитан Берг, ехал впереди на гнедом иноходце. Однако не рыдала невеста, цепляясь за стремяна. Милосердная сестра Игнатьева даже не провожала своего ге-

роя, лишь неподвижный силуэт Адели, как всегда, отпечатывался на сереющем рассветном небе. Доктор вздохнул свободнее с отъездом жениха, однако запрет не исчез, не потускнел, грозное предупреждение продолжало витать в крепостном воздухе... Он заглядывал в холодные глаза Игнатъевой и там не находил привычной грусти от разлуки, но все то же непонятное, скорбное, глубокое, настояжывающее переливалось в их страшной глубине. И с той поры какое-то неясное движение стал ощущать он вокруг себя, какой-то шорох, и какой-то шелест, и шепот, какие-то таинственные перемещения чего-то зыбкого, неуловимого как тень, как намек на иную жизнь, из которой доносится что-то, чего тебе понять не дано, лишь остается томиться в неведении. И по вечерам (откуда — неизвестно) долетали обрывки чьих-то слов, нагоняющих тоску, и радость, и недоумение... откуда-то из сентябрьского мрака, пересиливая шелест листьев, то ли голоса милосердной сестры и Адели, то ли ветер... «И вот он увидел вас, и что же? Закричал? Заплакал?..» — «Он взял меня за руку...» — «И что же? Что говорил при этом? Говорил ли что?..» — «Сильно сжал руку... Он очень сильный...» — «Да что вы?.. И вы тоже не плакали? Ничего такого?..» — «Ну совсем немного...» Но как доктор ни вслушивался, продолжения шепота не было, лишь шелестела засыхающая листва. Потом он наблюдал однажды, как сестра милосердия Игнатьева наклонилась над этим самым несчастным Мятлевым и что-то втолковывала ему, обычное, госпитальное... Но доктору почему-то страсть как захотелось услышать ее голос, как она разговаривает с простым раненым, не с ним, с доктором, достаточно опозоренным и опороченным ею же, а с простым раненым. И он исхитрился как-то, весь изогнулся, почти повис в воздухе, впервые увидев их лица, обращенные друг к другу, упершиеся друг в друга... Слова ее при этом звучали пусто и бессмысленно, так, набор звуков, да и только, но лицо... их лица были схожи как у близнецов, сведенные одинаковой судорогой, озаренные одинаковым огнем то ли безумия, то ли вдохновения... «Ааа, — подумал он, — ааа, вот оно как!.. Вон что!.. Значит, вон оно как!.. Какое оно... а... Вот оно!..»

Все это нарастало как снежный ком, увеличивалось, вспухало, становилось мучительным... И снова доносилось до него уже где-то в ином месте, в иную ночь: «Ничего,

княгинюшка, вы не плачьте. Теперь его помилуют... Все к лучшему... Вон с Турцией война, а его не пошлют... Ничего, княгинюшка...»

Откуда доносился этот шепот, было не понять; что его породило — оставалось необъяснимым; кто перешептывался с кем и перешептывался ли — природа оберегала от посторонних... Но с дотошностью ученого, с упрямством муравья, с сердцебиением приговоренного доктор все же собирал каждый листок, отлетевший от шелестящего древа жизни, каждый листок, уже былой, неповторимый, прошлый, и складывал их один к одному просто так, бесцельно, не зная, куда он впоследствии приспособит эту пеструю, засохшую, неживую коллекцию: капитан Берг, плачущий по убитому Тетенборну; Тетенборн, стоящий на коленях перед Аделью; Адель, выводящая этого Мятлева на первую прогулку; этот Мятлев, пытающийся сквозь свои очки ослепить взглядом милосердную сестру Игнатьеву; и, наконец, Игнатьева, посылающая таинственные сигналы этому солдатику из несчастных; и, наконец, снова капитан Берг, спасающий милосердную сестру от посягательств пьяного насильника!

Шел дождь пополам со снегом, и уныние в природе было невыносимым. И комендант крепости говорил ему усталым шепотом такое, что доктора сотрясала дрожь... Да может ли это быть?.. Эту Игнатьеву разыскивают как преступницу! Так ведь капитан Берг сам лично... А патристические чувства?.. Уже прибыли из Петербурга ее арестовать?! А скорая свадьба?.. Что же это такое?!. И перед глазами доктора проносилась его глупая жизнь, пропитанная, постылая, в которой все было плачевно и шатко, и даже это унижительное чаепитие с милосердной сестрой Игнатьевой, когда она направляла на него своей худенькой ручкой тяжелый пистолет... И эти тихие, шелестящие голоса, предупреждающие его, предостерегающие, и, наконец, подсмотренное им там, в палате, однажды, что может только присниться, чего не может, не должно было быть в этой дикой, грязной передовой крепости... «Уехать! — подумал он, бредя от коменданта к госпиталю.— К чертовой матери! Пусть оно все как оно само хочет, само, само... без моего участия!..»

И вот тут-то и подошла к нему милосердная сестра Игнатьева и спросила, сверля его холодными (для него холодными!) глазами, когда, мол, можно встать этому

несчастному... И он ответил, едва сдерживаясь, чтоб не закричать, что, мол, когда нужно будет, тогда и встанет, или что-то в этом роде. Она покорно кивнула и хотела было отойти, но он ее остановил.

— Послушайте, — прошипел он, задыхаясь, подойдя к ней вплотную, — мне нужно... я должен вам сказать... Впрочем, это можно у меня дома... по пути... Скорее!..

— Хорошо, — покорно согласилась она и усмехнулась при этом.

— Да вы не думайте ничего такого... — рассердился он, — скорее, идемте! Еще усмехается! — И с ужасом подумал: «Бедная, бедная...»

Она успела захватить с собой свою холщовую сумочку, и они отправились. «Вот дура! — подумал доктор. — Разве эта штучка может спасти? Вот дура!..» Он посмотрел на нее: она была бледна, но шла легко, не отставая.

— Ну, говорите! — крикнула она.

— Скорее, скорее, — хрипел он, — потом, там... я ведь не на чай вас зову... Потом, потом, деточка...

Грязные тяжелые брызги разлетались из-под их ног. Редкие прохожие оглядывались с удивлением и страхом на эту несовместимую пару, несущуюся с вытаращенными глазами неизвестно куда, несмотря на дождь со снегом, войну с горцами, войну с турками, несмотря на угрозы французов и англичан, несмотря на военные неудачи; несущуюся неизвестно куда со своими маленькими негосударственными невзгодами...

У самого докторского дома стояла бричка. Из нее выскочил незнакомый адъютант и загородил им дорогу.

— А я за вами, — сказал незнакомец тихо, — я было в госпиталь заехал, да мне сказали, что вы с господином доктором отправились... и дорогу указали...

— Нет, нет, — выкрикнул доктор, — ступайте, там и ждите... у нас дело... Что за мода?

Адъютант рассмеялся.

— Госпожа Ладимировская, — сказал он, — у меня дело к вам, — и повернулся к доктору спиной.

— Господи, — сказала она, — как вы все одинаковы! — и то ли засмеялась, то ли всхлинула.

— Прошу вас, — сказал адъютант, не обращая внимания на доктора, — пожалуйста в экипаж.

— Мне надо, — сказала она, прижимая кулачок к губам, — кое-что... там, в госпитале, кое-что должна...

— Все в свое время, — сказал адъютант, — сначала надо захватить в канцелярию, а уж потом...

Она растерянно кивнула доктору и покорно полезла в брочку, и было слышно, как похрустывают крахмальные манжеты.

...Доктор расплзлся на стуле в своей комнате, в одиночестве, и пил маленькими торопливыми глоточками. Уже все почти успело потускнеть и ослабнуть, но лицо милосердной сестры Игнатъевой не тускнело. Оно маячило перед ним, словно чудом уцелевший цветок, последний, осенний, в декабрьском голом саду.

85

«...декабрь, 20, 1853 года...»

...Он рыдал передо мной. От него пахло спиртом и луком. Хотелось отбросить его с отвращением, выбить из-под него табурет, а я сказал: «Не уходите», ведь он был последним, кто проводил Лавинию. Я ничего не мог понять в чудовищной тарабарщине, которую он выпаливал, пользуясь тем, что мы в палате одни. Дикая, фантастическая смесь проливалась на меня. Она состояла из эпизодов его собственной жизни, перемешанных с видениями последних дней. Там было все: и скорбный лик этой недоступной милосердной сестры Игнатъевой в роли государственной преступницы, и капитан Берг в роли жениха, и какие-то петербургские пощечины, канцелярские разоблачения, и утраченные надежды, и давно погребенные чувства, которые оказались живыми... «Жизнь прожита, жизнь прожита,— повторял он, — остался единственный цветок в декабрьском саду, но его заносит снегом! Снегом!.. Жизнь прожита...»

Кстати, и моя жизнь прожита. Если к известной формуле Питкевича сделать поправку на условность времени и на экзальтацию, то «завтра меня убьют». Кто же они, бездушные разрушители наших иллюзий? Где они обитают — во дворцах ли, в хижинах ли? В мундирах они или в цивильном?.. «Холщовый мешочек у ней в руках оттопыривается, — бубнил доктор, — ...вдруг, думаю, нажмет, и он грянет в самую грудь...» Тут я догадался, что благородный лефшоше искренне старался хоть однажды выручить господина ван Шонховена из беды... Ни он, ни

Барнаб Кипиани, ни князь Приемков — никто не властен нас соединить! Она даже сделала попытку увидеть меня, попрощаться... Кому пожаловаться?»

«...январь, 13, 1854 года...

...Рождество миновало печально, по-крепостному. От Лавинии никаких вестей. Я подумал, что кто-то ведь должен был хлопотать о ее поимке, ведь иначе не стали бы ее преследовать! Кому нейметя? Неужто старая красотка Тучкова в угоду своей раздражительности решила погубить дочь?

Хожу, не чувствуя ног. Однако нет счастливее меня! Хожу. Вот солдат из соседней палаты в награду за утеряннные ноги получил корзину из ивовых прутьев, лукошко. Но он кладет туда не грибы, не ягоды, а свой зад с двумя обрубками. Он упирается двумя руками в пол, отрывает корзину от пола, раскачивается и передвигается на пять вершков. Затем новое усилие. Счастлив безмерно. «Барин,— говорит мне, — как думаешь, за сколько лет я до Твери допрыгаю?» — и смеется. «Какой я тебе барин?— говорю я.— Третий год в солдатах...» — «Это верно, — говорит он, — а все равно барин». А ведь у меня, оказывается, кровь-то красная. «Спасибочки Шамилевым пушкам,— говорит солдат,— теперь на обувь не тратиться...» — и слезы у него текут, напрыгался он в своей корзине... Шамиль ли виноват? Думал ли старик Распевин, выходя молодым на Сенатскую площадь, что и он сам — не более чем благородный лефоше?»

«...январь, 28...

...Гуляю далеко. Ноги пока еще чужие. На рубцы глядеть страшно. Вчера, вечером поздним, не мог уснуть. Все вспомнилось. Захотелось плакать, просто, по-детски, свернувшись калачиком, неразумно всхлипывать, причитать, скулить, пусть без надежды, что кто-то приласкает теплой ладонью. Что же это значит? Всю свою сознательную жизнь приучал себя к бесстрашию смеяться над самим собой. Однажды, еще в ту благословенную пору, когда мои собственные надежды были свежее майских роз и призраки грядущих катастроф еще не возникали на безмятежном небосклоне, я, перечитывая Его стихи, наткнулся на: «...И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг...»—и ощутил бурю. Эта буря состояла из любви

и сомнения, а сомнение, как известно, вызывает потребность сравнивать, и я принялся за сей неблагодарный труд, втайне рассчитывая, что предвкушаемые озарения и открытия оправдают мое суетливое неблагородство. И вот я принялся с пылкостью влюбленного и расчетливостью безумца сравнивать Его с Пушкиным, не задумываясь, как может быть расцнен этот шаг знатоками изящной словесности. Я принялся сравнивать, потому что внезапно почувствовал, что раскрыл тайну, возвышающую одного гения над другим. Я увидел перед собой житейское море, в котором все мы заключены, ликующие и отчаивающиеся, все, все — и цари, и холопы; нас всех овевают одни ветры, одни волны окружают нас, и одинаковая соль пропитывает наши рубища, горностаевые или домо-тканые. И вот, кружась среди этих волн, празднуя вознесения на гребень, испытывая боль от провалов в бездны, рыдая, хохоча, отталкиваясь друг от друга, мы становимся рабами своих маленьких удач и маленьких своих трагедий, и слишком проникновенно судим о себе самих и проникаемся к себе самим чрезмерной жалостью. Печали всех других бледней, чем наши. Их лица искажены тревогой, страхом, но что — их страх и что — их боль в сравнении с нашими? Лишь редким счастливицам удастся вознестись над собою, пусть хоть на мгновение, и увидеть себя со стороны, но и этого мгновения бывает достаточно, чтобы успеть убедиться в собственном ничтожестве. Так, охладившись, ты начинаешь распознавать вокруг себя иные лица, не менее достойные, чем твое, и муки, не менее ужасные, чем те, которые испытываешь ты... А там, глядишь, и руку захочется протянуть, и соседу улыбнуться. И тогда ты вытрешь свои напрасные слезы о себе самом и посмеешься над своим иллюзорным величием... Но это удастся лишь редким счастливицам и по-разному в разные времена... А Он плакал о себе самом. Так плакал, что и до сих пор сжимаются наши сердца, однако слез стереть не успел, не охладился — видимо, ранняя смерть помешала или время... Так понял я все это тогда и тайно обучал себя искусству не придавать большого значения своим катастрофам. И в этом, кажется, преуспел... Так что же нынче мне захотелось свернуться калачиком и всхлипывать, и скулить, покуда доктор бормочет мне всякую горькую чепуху: «Она, бедняжка, думала, что эта железная штучка, этот, как вы его назвали?.. лефоше этот, ее спасет.

А он-то ну, может, от пьяного насильника кое-как и спасет, да ведь много ли их, пьяных-то насильников? Они ли больше всего нам докучают?»

«...февраль, 19...

...Адель достала мне где-то английской байки. Запеленав ноги, чувствую себя молодым: так мягко, так безболезненно, так благополучно. «Адель, — сказал я ей, — вы не жалёте этот роскошный кусок этой божественной ткани для моих ног?» Сказал, конечно, глупость, за что и получил в ответ: «Дают, так и берите», с приличествующей ее дикости интонацией. Смотрела внимательно, как я наряджал свои бедные ноги в сей пышный мундир, прислушивалась к моему кряхтению, и ни тени на ее безупречном лице. Кстати, все кряхтят одинаково, независимо от цвета крови.

Воронцов успел отличиться и заглянул ко мне в новехоньком мундире. Поручик. «Я бы на вашем месте, если бы знал, что это мучение бессрочно, убежал бы!» — сказал он мне с замечательной бестактностью.

— Теперь, — сказал я, — надеюсь, что меня отпустят. Кому нужен такой солдат?

— Не скажите, — обрадовал он меня, — понадеялся зайчик на волка! — и очень дружески улыбнулся.

Госпиталь уже позади, а доктор таскается за мной, словно еще что-то ему предстоит кромсать и резать. Его печальные виноватые глаза преследуют меня. Он ходит по пятам, вздыхает о погоде, хочет общаться. «Вы себя не жалеите, — говорит наставительно, — наоборот, мучайте себя, свои ноги, принуждайте их, заставляйте...» — его хриплые вздохи слышны в окрестных аулах.

Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди травы... «Я гляжу на вас с восхищением, — говорит доктор и при этом краснеет, — я вот, к примеру, до последней минуты суетился, надеялся на что-то и только сейчас увидел, понял, что напрасны наши со^вершенства... и уже в тело все пошло, — он пощипал себя с отвращением, — нет мускулистости, поджарости... на уме — всякие пошлости, а вы на своих полуногах так величественны, так величественны!..»

Императрица Екатерина однажды поручила своему семнадцатилетнему сыну написать доклад о состоянии Рос-

сийской империи. Павел принялся за работу и вскоре шокировал мать, преподнеся ей сочинение, в котором утверждал, что Россия находится в бедственном положении и должна, чтобы спастись от гибели, отозвать свои войска из Европы, сократить армию минимум вдвое и все средства обратить на штопанье прорех в империи. Мать рассмеялась, найдя, что сын несведущ в вопросах государственных, что армия приносит стране славу, слава же возвышает нацию в собственном мнении, иного народ ей никогда не простит. Она рассмеялась, но с той поры не доверяла сыну, и его наследственные права многократно подвергала сомнению. Лишней крови почти не осталось».

«...апреля 27...

...Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди травы... среди цветов... Слава богу, что я остался жив! Пусть эти ноги не совсем мои, но они даны, чтобы дотаскать мое тело до натурального конца. Кому была бы польза от моей преждевременной гибели? Среди цветов проглядывают всевозможные признаки продолжения жизни и счастливых перемен... Два острых локотка отставлены манерно... Ваше императорское величество, вы взяли у меня все. Зачем вам это? Можно подумать, что в вашей власти даровать мне вторую жизнь, которую я могу прожить, не досаждая вам. Но эти фантазии оставим сказочникам, а сами обернемся лицами к суровой правде, и тогда, осознав ее, может быть, вы сами и ваши ближайшие помощники устыдитесь собственных самоуверенности и самоуспоенности, позволяющих вам не замечать отчаянного положения, в которое я поставлен. Да и не только я. Господин ван Шонховен тоже... С другой стороны, мне лестно думать, что вы обо мне не забыли. Низкий поклон. Примите уверения... Но знайте, что я злопамятен отныне! В тот самый последний день она наклонилась ко мне и сказала, как говорила всякий раз, уходя ненадолго: «А теперь поцелуй меня в память о Коджорской дороге... крепче... крепче...» И я поцеловал ее, не вкладывая в тот поцелуй трагического смысла, и когда доктор кричал в коридоре: «Мне надо вам что-то сказать», — это тоже не насторожило меня, хотя ваш холоп уже готовил наручники, не опасаясь прослыть палачом... Я понимаю, ваше величество, что вы не распорядились отобрать ее у меня столь тайным и по-

стыдным способом. Когда я похоронил однажды генерала Рота, вы всего лишь поморщились, а ваши слуги меня выслали, и я получил первую пулю в живот. К счастью, я остался жив. К счастью для меня, конечно. Я понимаю, ваше величество, что на фоне происходящих событий моя судьба столь ничтожна, что говорить о ней смешно... Но ведь события совершаются ежечасно: то Кавказ, то Турция, то неурожай, то холера, то поляки, а у меня одна жизнь, ваше императорское величество, один господин ван Шонховен, и ничего другого. Теперь, раскачиваясь на чужих ногах от малейшего дуновения, я не забочусь более насытить свою жизнь духовными богатствами мира. Я тороплюсь к ван Шонховену, и это сильнее всего прочего...»

86

Наше путешествие на Кавказ было столь непродолжительно, что возвращение в Петербург прошло почти незамеченным. Будто мы и не покидали сего гранита. Моя толстушка повезла с собою целый чемодан любимых ею опасных изданий, так что я обливался холодным потом всю дорогу, опасаясь, как бы какой-нибудь услужливый полицейский чин не запустил бы своих рук и носа в этот драгоценный утомительный и взрывчатый груз. Откровения эти, слетевшиеся к ней с разных сторон, удивительно возбуждают Марго, хотя на меня производят усыпляющее действие. Она надеется с их помощью определиться в царящем произволе. Где бы мы ни находились: в карете ли, на постоялом, в доме ли Марии — всюду, едва мы оставались одни, как тотчас она извлекала одну из книжиц и с виноватой улыбкой, но с решительностью на челе принималась за прерванное чтение, требуя и моего участия. «Ах, Марго, — смеялся я, — тебя все-таки больше волнует не суть, а тайное соучастие!.. Запретный плод слаще... висеть на волоске — одно удовольствие, если знать, что он не оборвется...» Ее это не выводило из равновесия, она отмахивалась от меня и говорила: «Твоего темперамента хватает лишь на любовные ласки, наша печальная действительность вызывает у тебя зевоту. Наверное, справедливо, что тебя погнали из гвардии: гвардия всегда была матерью перемен». Тут я представлял себе бывших моих, совсем недавних моих красавцев, способных только на

перемены служебных ступенек и мундиров, но не образа правления; готовых отдать свои жизни за благосклонный взгляд императора или императрицы и растоптать своими ботфортами всех авторов всех запретных книжек... «О Марго,— говорил я с шутливой высокопарностью, — не знаю, кому из нас повезло больше: мне ли, полюбившему тебя, или запрещенным книжкам, завладевшим твоим сердцем?» Тогда она начинала гневаться и говорила: «Ты так же пуст, как и твои вчерашние соратники! Как отучить тебя от блаженной слепоты и лени?» Затем я целовал ее, и все становилось на свои места, однако ненадолго. Даже в ту пору, когда бушевали бури в Петербурге и судьба Мятлева, томящегося в Петропавловке, оставалась непроясненной, и во всем этом жутком кошмаре несправедливости и горечи, которыми была окружена судьба этого человека, даже тогда толстуха умудрялась проповедовать свои фантазии больной и невменяемой Лавинии, мечущейся меж Петропавловкой и Ладимировским, меж насилием и надеждой. «Да, да, — отвечала Лавиния с самой изысканной учтивостью, на какую была способна, — да, да, несомненно, ах, Марго, как это справедливо все, что ты читаешь! Да, да... Но сейчас я не могу об этом думать, сейчас я думаю лишь о том, как спасти его. Потом, когда-нибудь, я, наверное, смогу понять все это лучше, но сейчас... сейчас...»

Конечно, ни о каких празднествах, карнавалах и фейерверках в Тифлисе по случаю нашего приезда не могло быть и речи. После дикого ареста Мятлева и Лавинии в доме Марии продолжались непрерывные поминки, в которые превращались все трапезы и даже вольные беседы. Все о том, все о том... Страшное происшествие на Коджорской дороге, свидетелями которого были Мария и Гоги, припоминалось в мельчайших подробностях, перемалывалось, и слезы душили нас, и отчаяние, и недоумение, и бессильный гнев. А тут еще все усугублялось вечным праздником счастливой тифлисской музыки, врывающейся в окна вместе с ветвями акации. Все пронзительно пело, кричало, надрывалось, захлебывалось. «Эээ, — говорил Гоги в сердцах, — все хочет жить!»

«Прости меня, дорогая, — сказал я как-то Марго, — это твое первое появление в моем родном краю обернулось для тебя не праздником, а поминками». — «Господи, — сказала Марго, — лучше страдать о живых, чем

оплакивать мертвых. То, что они живы, — разве это не праздник?» И печаль наша продолжалась.

А природа тем временем все трудилась в своей мастерской, склонившись над неведомой нам работой, и непостижимые разумом ее замыслы превращались постепенно в дни нашей жизни. Чего-то она нас с безжалостностью лишала, но чем-то и награждала нас, вручая нам новые ключи от новых заветных дверей, которые мы должны были отыскивать сами. Она трудилась не покладая рук, посмеиваясь и сопя, время от времени намекая нам с помощью громов и молний, разлук и смертей, катастроф и приступов пронзительной тоски, что нам не следует ею пренебрегать и ее игнорировать, и слишком уж обольщаться на свой счет, что движения ее неторопливы не по лени и нерадивости и что нет у нее для нас с вами лишней крови, господа...

— Нет, — говорила Марго, надувая губки, — это все пустые отговорки. На бога надейся, а сам не плошай...

«Ладно, — думал я, — поживи еще, толстушка. Может быть, на тебя и снизойдет».

От Мятлева приходили слишком спокойные и сдержанные письма. Решительность, с которой он замалчивал свои мнимые грехи передо мной и Лавинией, не могла не вызывать протеста. И я и Лавиния пытались смягчить в нем чувство вины, но, видимо, расстояние было столь велико, письма шли столь долго, что их усталые, хриплые речи уже не могли казаться ему достаточно убедительными.

Затем наступила тьма. Будто земля раскололась. Все стихло — ни возгласа с передовой линии, ни стона. Затем удалось различить среди палевых облаков ускользающую, придуманную, прозрачную тень господина ван Шонховена, стремительно удаляющуюся за горизонт, к горам Кавказским... Под каким именем? Под какой маской? Какие надежды вдохновляли ее в новом странствии? «Гмерто! — восклицала Мария, прислушиваясь к шелесту промелькнувшей тени. — Разве возможно единоборствовать с провидением? — И представляла себе острые ключицы господина ван Шонховена и с ужасом и благоговением всматривалась в пространство неба. — Какие должны быть крылышки у этого существа, чтобы так стремительно, так упорно, так непререкаемо!» — «Да, возможно же, возможно, — утешала ее Марго, — вы бы толь-

ко посмотрели, как летала она по Петербургу, как пересекала запретные линии, как проникала сквозь стены...» — «Человек, — говорил Гоги, воздевая руки к потолку, — стремится занять натуральное положение, сам того не сознавая».

С передовой линии начали приходиться грязные, захватанные конверты, из которых вываливались обстоятельные письма Лавинии. Мы ахали, мы разводили руками, мы поражались и продолжали грустить. Киквадзе вскрикивал по ночам, сталкиваясь во сне с щедедушным солдатиком: тот все стоял перед ним, посверкивая штыком, увеличенный лихорадочным воображением мелкого тифлисского чиновника до гигантских размеров. «Бедный солдатик, — говорила Мария отрешенно и устало, — несчастный раб, сацхали...» — «Эээ, — сердился Гоги, — ты разве не видела его глаза? Не видела?..» Мы плакали и пили золотое имеретинское вино, которое, даже усугубляя страдания, не позволяет отчаиваться. Что было делать мне, успевшему хорошенечко остудить свой темперамент среди петербургских стен? Я умолял своих сородичей не прибегать к напрасным и пустым экспериментам. Они было вздумали, призвав Барнаба Кипиани, отправиться в кавказскую крепость под видом странников и выкрасть оттуда печальную нашу пару, завернув их в одеяла!

И вот наконец, несолоно хлебавши, мы с Марго тронулись в обратный путь. Прощание было сдержанным. Обе стороны достаточно погоревали, чтобы растревлять себя еще. «Мы, грузины, — сказал Гоги, — столько прощались в своей жизни, что можем не обременять себя бурными выражениями печали. Нам достаточно обменяться крепкими объятиями, чтобы высказать друг другу любовь и друг друга напутствовать». — «Всегда счастливее тот, кто должен расставаться, — сказала Мария, — нежели тот, кто в ы н у ж д е н». Слез не было. Шел мелкий дождь, и с Головинского долетали звуки зурны... Затем началась дорога.

С той поры минуло более двадцати лет, но воспоминание о путешествии нисколько не потускнело. Особенно нам запомнилась железная дорога, которой мы воспользовались уже от Москвы со смешанным чувством восторга и ужаса. В те годы это казалось таким совершенством! Казалось, что дальше уже некуда, что человеческая фантазия на боль-

шее не может быть способна... Свеча оплывала в начищенном до блеска медном фонаре. Сияли медные же дверные ручки. Под ногами лежал мягкий ковер. О столик можно было облокотиться. На диване можно было лежать вытянувшись. Малиновые бархатные шторы колыхались на окнах. Кондуктор приносил чай. Потолок был высоко. Можно было ходить, выходить, заходить. И это все, вместе с кондуктором, с нами, с сотней других счастливыхчиков, гремя и гудя, окутанное облаками пара, дыма, роем искр, летело сквозь ночь, оставляя за собой версты, дороги в рытвинах и теряющиеся вдали жалкие, тесные, медленные допотопные экипажи недавнего нашего прошлого. Мы не спали всю ночь, прикивая к холодным оконным стеклам, всматриваясь, не появится ли в ночи случайный огонек, и тогда мы всплескивали руками, и восклицания наши заглушал грохот колес...

В Петербурге задерживаться не хотелось — все нахлынуло, вспомнилось. Воздух столицы был с давних пор насыщен ароматом беды и утраты, и поэтому, покрутившись с пару дней, мы полетели в Бабкино — приданое Марго, — где время, настроение и обстоятельства склоняли к тихому помещицкому житью. И вот, покуда мы там обживали старый, невзрачный с виду, но уютный дом, так и так примеряя к своим плечам его малые душевные зальцы, и сгибались под тяжестью низких и ветхих его потолков, возок с молодой преступницей и сопровождающим ее жандармом пересек Россию и где-то уже за рождеством докатился до Петербурга. Пожилой молчаливый жандармский ротмистр, усталый конвоир дамы, деликатно придерживал руками ее прозрачные крылья, чтобы она, чего доброго, не вздумала, как бывало, упорхнуть.

Был поздний час, и темень сковала Петербург, и поэтому никто из посторонних не удостоился чести быть свидетелем насильственного возвращения блудной супруги в покинутое ею жилище. Тень господина Ладимировского промелькнула где-то на антресолях, какое-то невразумительное подобие приветствия прозвучало в ночном домашнем воздухе. Несколько заспанных слуг, разинув рты, глазели на воротившуюся беглянку, как на продолжение кошмарного сновидения. В ее комнате все оставалось неизменным. Прямая, остывшая, ненатуральная, она прошла туда, и дверь за нею захлопнулась. Сначала гос-

подин Ладимировский слышал ее неторопливые шаги, затем все смолкло. И тогда уже в тысячный раз он крикнул самому себе с пафосом отчаяния: «Что же теперь мне делать?!»

Спустя некоторое время к нам в Бабкино занесло наконец конверт, и мы припали к розовому листку, и затопились по строчкам, спотыкаясь на непривычных неровностях знакомого почерка: «...водворена. Но это уже не оскорбляет. Петербург, как вы можете понять, всего лишь кратковременная передышка. Я оставила его уже значительно окрепшим, но это вовсе не означает, что он уже может обходиться без меня, хотя и я без него... Прощаться-то не успели! Я ведь всегда знала, что только выйдешь из дому, да и он ведь это говорил. Мой конвой страдал от недоумения, пытаюсь хоть как-то оправдать необходимость ему быть моим конвоиром... Дом все тот же, Петербург все тот же, запах, извозчики... Мне здесь не место. Как хочется вас обнять!..»

Слезы Марго были кратковременны: она была из самых современных молодых женщин. Мне было велено заниматься домом, а она, наскоро собравшись, укатила в столицу, где господин ван Шонховен сгорал в одиночестве средь льдов и гранита.

Я ожидал ее возвращения, замирая. Вообще тихая помещичья жизнь не приносила нам вдохновения, ибо мысли наши были там, с нашими друзьями, а расстояние и неведение усиливали нервозность. А тут еще ненатуральные при этих условиях сытость, размеренность и удаленность от оскорбительного соседства с цивилизацией. Поэтому ожидание мое было взвинченным сверх всякой меры, и я уж было совсем вознамерился бросить все и укатить за Марго следом, пренебрегши ее запретами, как вдруг она воротилась. На ней не было лица. Я же, не успев расспросить ее обо всем хорошенько, уже без труда догадался, что господин ван Шонховен, не дождавшись весеннего тепла, ринулся по направлению к Кавказу, как только он умел, молниеносно и неумолимо, не посчитавшись и на сей раз с высочайшей волей. «Это уже безумие, — прошептала Марго, — они погибнут оба. Слепота — неверная подруга. Так, не подготовившись, не обдумав... ничего не сделав...» Я утешал ее, говоря, что все сложилось, что иного быть не могло, что мы с ней не этого ли хотели? — «И пока ты нервничаешь и пролива-

ешь слезы, она уже, наверное, там, и они там теперь вместе...»

Мы затаились в ожидании новых известий. Соседи перестали к нам ездить, раздосадованные нашей рассеянностью и безразличием к их делам. Вскоре пришло и долгожданное письмо. Оно было от Лавинии, но не с Кавказа, а из Петербурга!

«Дорогие Амиран и Маргоша!

Не знаю, как вы воспримете это известие, но я решила ехать в Италию. Тут сложились всякие обстоятельства, и я поняла, что это самое благоразумное. Александр Владимирович крайне добр ко мне и к моим желаниям. Правда, мы сначала опасались, что с длительным отпуском для него будут затруднения, но все обошлось как нельзя лучше, и целый год мы сможем наслаждаться морем, памятниками старины и покоем. Мой супруг, несмотря на все горе, которое я ему причинила, проявил столько терпения и великодушия, что я не могу не быть ему благодарной. Наша жизнь входит в нормальную колею. Все было бы хорошо, если бы не сознание, что я по невежеству, легкомыслию и душевной черствости отравила жизнь князю Мятлеву, тоже человеку весьма достойному и не заслуживающему во всяком случае такого к себе отношения. Но с прошлым покончено, и я надеюсь, что князя простят, и он тоже сможет зажить нормальной жизнью. Простит ли он меня? Пора, наконец, отрешиться от юности. Только моя татап никак не может успокоиться: в чем-то меня упрекает, нервничает, кипит, пытается интриговать без явного повода и неизвестно против кого... Но это, наверное, уже возрастное. Итак, я уезжаю. Я надеюсь, что за этот год многое переменится и князь Мятлев сможет вернуться в Петербург, и, встретившись с вами, поймет, как я была права, решившись не докучать ему с девической вздорностью и с позорным эгоизмом. Жизнь моя совершенно перевернулась... Нельзя забывать о долге. Он выше нас и сильнее. Я хочу, чтобы об этом знали все и не думали, что я пичкаю себя по-прежнему пустыми иллюзиями. Я буду писать вам и ждать от вас вестей. Если у князя Мятлева все наконец устроится, в чем у меня нет ни малейших сомнений, я буду очень утешена...

Обнимаю вас

всегда ваша Лавиния»

(От Елизаветы Мятлевой — Сергею Мятлеву)

«...Дорогой мой Серезенька, дружочек! Невыносимо представлять тебя больным. Мало того, что годы беспощадны, а тут еще мы сами себя не щадим. Не настрадался ли ты и за себя и за других? Не много ли тебе одному?.. Я писала тебе, что мы предпринимали все возможное и уже почти было добились благосклонности, да новые обстоятельства, то есть бегство этой юной особы к тебе и жалоба ее супруга государю-наследнику, — все это разрушило наши старания. Как это она не могла тогда понять, что каждый ее новый каприз — усугубление твоих страданий! И это любовь? Но, слава богу, теперь, кажется, небо прояснилось. Дело в том, что твоя пассия, устав, видимо, изображать роль безумно влюбленной Доротеи, решила наконец взяться за ум и жить по долгу, а не по капризу. Не огорчайся. У нее вполне приличные отношения с ее благоверным, и они на виду всего Петербурга демонстративно разъезжают в открытых санях, а недавно укатили в Италию или куда-то там еще, благо — тепло. Я знаю, что мое известие огорчит тебя, но это огорчение не будет продолжительным, ибо ты поймешь, что женщина, теряя молодость, теряет и многое из того, что кажется нам в ней вечным. Обнаруживаются другие достоинства, склонности, черты, но прежнего уже нет. Жажда покоя, предчувствие материнства — вот что предлагает природа, и спорить с ней бессмысленно. Не огорчайся. Ее милого легкомыслия и обворожительности хватило ненадолго, затем пришло наваждение, которое опутало и тебя и от которого она сама не могла избавиться. Ты излечишься, успокоишься, все к тебе вернется, да и ей будет лучше в кругу натуральных условий и обязанностей. Не огорчайся. В связи с ее отъездом в нашем маленьком кругу был большой праздник. Какое чудо! Теперь, пожалуй, нет препятствий к тому, чтобы Государь, со свойственными ему добротой и чувством справедливости, смог бы наконец снять с тебя нелегкие и для него самого запреты. Не огорчайся, мой дорогой, счастье не за горами...»

Удар был так внезапен, что я долго не мог собраться с мыслями, чтобы хоть как-то вообразить себе эту дикую метаморфозу. Я прилагал к тому нечеловеческие усилия, и Марго призывала в помощники всю свою женскую изощренность, и память наша была возбуждена, так что вспоминались самые мельчайшие детали, с помощью которых мы надеялись пролить свет на тайну этого происшествия. Жалкие крохи, известные нам, разрастались в нашем воспаленном мозгу до гигантских размеров, чудовищные картины вставали перед нами, бредовые предположения выматывали душу... Что? Как? Для чего? По какой причине?..

Конечно, господин ван Шонховен в армячке, с картонным мечом в озябшей ручке продолжал носиться взапуски по зимнему саду, презирая компромиссы и грядущие вояжи в Италию. Конечно, Лавиния Бравура, встряхивая прозрачными крылышками, готовилась уже в который раз пересечь российские пространства... Но госпожа Ладимировская, ставшая для меня загадкой, вышагивающая по своей ночной комнате с синими кругами под глазами, осунувшаяся, подурневшая, уже не способная даже на то, чтобы поугасть с помощью бессильного лефшоэ хмельного лекаря из приснившейся глухомани, госпожа Ладимировская, отбившая внутренности в тряских возках, кибитках, рыдванах, она-то как же? Она вышагивала по своей комнате, присаживалась в кресло, вновь подымалась. Наконец распахнула дверь и прошла к господину Ладимировскому. Он что, бросился к ней навстречу и, зарыдав, опустил голову ей на плечо?.. И в этой несусветной пошлости и была заключена тайна всех последующих событий?..

Зная мало-мальски его, можно было бы предположить, что, не торопясь, дав время ей перекипеть, перестрадать, он сам вошел к ней в комнату, но не в халате и со свечой, а в самом безукоризненном сюртуке. Уж если он писал письмо наследнику с просьбой вернуть молоденькую сумасбродку, так он-то уж знал, что за этим последует, он готовился, он репетировал, чтобы хоть на сей раз не оказаться в дураках. Он вошел к ней сам. Два чувства боролись в нем: ему было стыдно за жалкий подвиг с письмом к наследнику, но желание спасти любимую женщину от падения преобладало. «Лавиния, — сказал он почти спо-

койно, — я все забыл. Ничего не было... Забудьте и вы. Нам предстоит долгая жизнь. Еще не поздно все начать заново». — «Я устала,— сказала она, — я устала и запуталась. Я должна к вам привыкнуть...»

Марго высмеяла меня. «Вздор, — сказала она, — ты же сам не веришь во весь этот вздор. Сантименты не сблизжают. Ну какой бы он ни был, но любой мужчина должен рассвирепеть, увидев перед собой причину своих терзаний, холодную развратницу, предательницу, любимую, но чужую...» — «Ах, Марго, — сказал я не очень уверенно, — стоит надорваться, и безволие становится твоим поводом-рем. Устала, устала... устала... Сдалась, разве ты не понимаешь?»

...Он вошел к ней в комнату в безукоризненном сюртуке и вздрогнул, увидев ее. Ни молодости, ни лукавства, ни колдовства, ни ранившей усмешки, рожденной излишне впечатлительным умом, ни бездонности в серых зрачках,— перед ним стояла изможденная женщина в помятом платье, скулы обозначились резче на пожелтевшем лице, в глазах замерла ночь без надежд на утро, да и стояла госпожа Ладимировская как-то боком, чуть изогнувшись, словно боялась, что вот-вот он ударит, а может, и впрямь боялась, потому что его лицо не предвещало ничего хорошего, и он сказал: «Сударыня, не надоело ли вам порхать по России, позоря меня, сея смятение в душах людей и вызывая отвращение каждым своим движением? Вы с наглостью избалованного раба предположили, что вам все позволено и что мое терпение безгранично. Я должен огорчить вас. Извольте покинуть мой дом и отправляйтесь к вашей маман, к черту, к дьяволу, куда угодно!» — «Хорошо, — сказала она покорно и, кажется, даже с облегчением, — я уеду. Не могли бы вы распорядиться об экипаже?»

Но и это предположение зашло в тупик, ибо итальянский вояж все-таки состоялся, а госпожа Ладимировская при всей ее усталости и невменяемости в ножки-то уж не бросилась бы, вымаливая счастливый год на неаполитанском побережье. Да кроме того, как стало известно, незадолго до отъезда в Италию супруги разъезжали по Петербургу в открытых санях, будто бы напоказ, вызвав массу толков и пересудов.

...Он бил ее, грозил отравить, затравить собаками, ночью, связанную, отправить в деревню и заточить в амба-

ре, в кладовой, в погребе, замуровать в стену. Он дошел до такого действия, вполне объяснимого в его положении, что почти можно было этому поверить. Перед его ожесточением она ощутила себя беспомощной и бессильной, потому что уже до этого была сбита с ног, и тонкие плечики ее надломились еще тогда, когда она пересекала Россию, упрямо наклонив голову и сжав насмешливые губы. А тут его угрозы и недвусмысленные замахи, и удары кулаком по столу, и перепуганные слуги... Да, но как же тогда их прогулки по городу в открытых саниах, и при этом, как рассказывали, ее счастливое лицо, обращенное к нему, и он, откинувшийся, умиротворенный, полуприкрывший глаза, уже наполовину погруженный в теплые волны Неаполитанского залива?..

«Я теряюсь, — сказала Марго, вздыхая, — у меня кружится голова. Я не вижу объяснения. Не прибегать же к сказкам и прочему вздору, чтобы разрешить эту тайну». Но пока она, ломая руки, напрягаясь, отчаиваясь, выкрикивала напрасные разгадки, так что стены нашего старого дома тряслись и посуда звенела, пока она громоздила разъяснение на разъяснение, и эта хрупкая башня, достигая низкого потолка, рушилась и разлеталась в пыль, я вдруг понял, что мы, отвергая самую банальную из версий по своей склонности к изощренным решениям, удалялись и удалялись от единственно возможного объяснения, считая его-то ложным... Да почему же? Неужели мы и впрямь были уверены, что придуманный нами мир столь элегантен, последователен, непоколебим, вечен и стоек, что ни произойди, а его развитие всегда неизменно? Почему мы считаем всякое отклонение его от привычной линии в удобную нам сторону — усовершенствованием, а в чуждую — предательством?..

В один из вечеров Лавиния Ладимировская, кажущаяся тридцатилетней в свои двадцать два года, потухшая, уставшая, сдавшаяся, потерявшая волю к сопротивлению от напрасности усилий, от безвыходности, от ужаса, внушаемого ей воздухом империи, сама вошла в его комнату, неся перед собой свечу... О чем она думала в этот момент, переступая порог его апартаментов, и думала ли о чем — не знаю... «Нет, нет, — воскликнула Марго, — этого не могло быть! Как ты жесток!..» И она заплакала, но не потому, что моя догадка выглядела неправдоподобной и оскорбительной, а потому, что оскорбительность мо-

его предположения ужаснула правдоподобием. «А что же тогда могло случиться? — закричал я. — Подумай! Подумай!.. Взяла и вошла!.. Все кончилось!.. Почему же этого не могло случиться?!»

Я написал Мятлеву обстоятельное и нервное письмо, в котором рассказал о случившемся и о своих предположениях. (Письмо это впоследствии было утеряно, и я не могу воспроизвести его полностью.) Помнится, что, утешая друга, я даже пробовал острить, сравнивая господина ван Шонховена и госпожу Ладимировскую, и еще как-то и что-то по поводу геройских ран Мятлева, которые при всей их напрасности выглядят все-таки достойнее, чем всякие (уже позабытые) душевные травмы нашей общей знакомой, созревшей уже для того, чтобы рожать законных детей и не единоборствовать с небесами... «...Послушай, Мятлев, я вижу в этом счастливый тайный знак Провидения, которое не может допустить, чтобы вы оба сгорели от безуспешных попыток доказать миру, что ваша любовь сильнее его чудовищного безразличия. Она устала, Мятлев, она сдалась, давай пожалеем ее. Нельзя долго пользоваться прозрачными, хрупкими крылышками в этом сыром, промозгом, убийственном климате!» Затем я, растеряв все свое бывшее благоговение, порассуждал о преемственности, о густой, липкой крови госпожи Тучковой, с несомненностью унаследованной дочерью. «...а современные практические дамы рано или поздно должны поддаться воздействию этой горячей жидкости, опьяняющей почище, чем вино... Твоя жизнь с нею, Мятлев, была восхитительна, но против возраста, велений крови и усталости мы бессильны. Давай же пожалеем ее, Мятлев!»

Слава богу, что письмо было утеряно, ибо его невразумительность отдавала холодностью. Я и по сей день краснею, представляя себе себя самого, торопливо исписывающего страницу за страницей чужими вздорными сентенциями...

Письмо от Кассандры, конечно, изумило Мятлева: как было ему представлять Лавинию раскатывающей в открытых санях на виду у всего Петербурга почти в обнимку с господином Ладимировским? Он написал сестре в ответ пространное, насмешливое, утешительное послание, недвусмысленно намекая на пристрастие богоподобной фрейлины представлять происходящие события во вкусе фрейлинского коридора. Он совершенно упускал из виду гос-

пожу Ладимировскую, привычно продолжая рассуждать о господине ван Шонховене, тайно представляя милосердную сестру Игнатьеву, накрахмаленную, похрустывающую, уже неотделимую от его скорбей. Высказав все это сестре, он, словно в насмешку, попросил ее прислать ему по возможности полный географический атлас. Post skriptum был строг и грустен: «Помнишь, Лиза, как общество, возбужденное нашим внезапным отъездом, строило догадки, фантазировало, стараясь, чтобы его фантазии выглядели подлинными фантазиями, и этим они пытались украсить и наполнить свою пустую жизнь? Вот тут-то и появились басни о несметных сокровищах, увезенных мною, о моих намерениях, позабавившись, продать Лавинию в сераль к турецкому султану... А на самом деле была Коджорская дорога, тщедушный воин, и высочайшее раздражение, и мрак. Стоит ли после этого вам фантазировать, а мне придавать этому значение?»

Из моего письма явствовало, что Италия все-таки не выдумка, и это его несколько насторожило, однако ненадолго. К тому времени географический атлас был у него в руках, и он принялся за него с дотошностью ученого, смастерив предварительно циркуль. Получалось так, что от Неаполя, пробираясь на север, можно было достигнуть пределов России, при всех затяжках во времени, приблизительно в двухнедельный срок. Путешествие же морем до Одессы могло продолжаться дольше, но от Одессы до передовой крепости, в которой, прихрамывая, существовал Мятлев, было уже рукой подать. В течение нескольких месяцев он ждал двух сообщений: первого, в благоухающем конверте, о т т у д а, от Лавинии, со сроками намеченного вояжа, бегства, перелета, падения с небес; и другого — с помилованием. Однако время шло, и ожидание выглядело пустым. Кавказская война заметно захирела перед лицом крымских событий, куда потянулось все живое, полнокровное, жаждущее помериться силами с новыми врагами. Лишнюю кровь сначала проливали пригоршнями, щедро и самозабвенно, затем, когда ее осталось мало, вздумали поберечь, но теперь она текла уже сама, не считаясь с расчетами и героическими усилиями многочисленных своих благородных жертвователей. Наконец пришло письмо, но не от Лавинии, а от полковника Берга. От письма веяло крымской грустью и недоумением, чувствовалось, что пороховые ароматы уже не столь возбуждающие, а слепая жаж-

да подвига больше не подтачивает здоровый организм обладателя золотого оружия. «...Наши ржавые дымные пушки бессильны перед французской артиллерией, — писал он, — черномазые и англичане проворны и коварны, они расстреливают нас с большого расстояния, военные фрегаты выглядят старомодными игрушками, мы атакуем стройными парадными колоннами до тех пор, покуда от нас ничего не остается. Из Петербурга торопятся простодушные, слепые счастливики, страшась не прозевать победу, но вскоре разделяют участь остальных. Теперь, в отсутствие Коко, интенданты держат нас на голодном пайке. Если бы Вы, князь, не сделали инвалидом на Кавказе, Вы смогли бы умереть здесь от дизентерии...» Отчаяние развязало язык Мишке Бергу, и воин стал строптивым; на это указывало и демонстративное «князь» — маленький протест против многолетней самоупоенности...

Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди цветов... Мятлев встретил этого кузнечика однажды весной на берегу реки, когда лежал на зеленом свежем ковре, утопая в стеблях, лепестках, звоне. Этот допотопный посланец из счастливого неведомого мира возник перед ним неожиданно и бесшумно, остановился, тараща зеленые глазки. В них было дружелюбное удивление. Кузнечик поцокал, позвенел чем-то обо что-то, в ответ на что Мятлев нашептал ему множество ласковых слов. У кузнечика было суровое лицо аскета, поджатые губки казались постарушечьи скорбными, но маленькие глазки сияли, и острые локотки оттопыривались весьма изысканно. Он вновь проверещал о чем-то вечном, давно позабытом. «Ах ты, маленький гордец!» — сказал Мятлев, и понял, что кузнечик услышал его, и воспринял его слова как поощрение, и ускакал с бойкой самоуверенностью. В расплывчатых воспоминаниях о детстве уже присутствовало это тонкое существо, являющееся к нам, замечаемое нами лишь в минуты отчаяния, меланхолической сосредоточенности и сомнений в возможности счастливого продолжения жизни. Кто знает, не из петербургского ли парка проскакал он тысячу верст, чтобы напомнить отчаявшемуся солдату маленькую их тайну, ради которой они и живут на этом свете. Мятлев посвистал ему вслед, но гость не воротился, и только его торжествующий звон еще долго загромождал окрестность.

Он ждал письма о помиловании, а пришло повеление перевести его в инвалидную команду для использования во внутренних караулах. Это тоже выглядело милостью, ибо это означало, что его оставляют в покое, чтобы он беспрепятственно дохромал до своего естественного конца, пользуясь небольшими подачками от Кассандры. Он поселился в доме коменданта, в той самой светелке, которую некогда занимал полковник фон Мюфлинг. Адель упростила его заниматься с нею французским, и он согласился. Занятия протекали с переменным успехом, но постепенно круг его учеников расширился, ибо Адель привела к нему двух мальчиков, офицерских подкидышей, которые принялись за арифметику и историю под его руководством. Однажды, занимаясь с Аделью, он продиктовал ей по-французски: «Господин ван Шонховен выехал из Неаполя последним дилижансом». Адель принялась за писание, но вдруг остановилась и потребовала заменить диковинное имя на более благозвучное. «Хорошо, — рассмеялся Мятлев, — будь по-вашему». И продиктовал: «Господин Иванов выехал из Неаполя...», но тут почувствовал, что потерял интерес к развитию дальнейших событий.

От господина ван Шонховена не было известий. Даже при условии путешествия на мулах с длительными остановками в европейских гостиницах, даже при условии повышенного интереса к достопримечательностям, встречающимся на пути, заснеженный возок уже должен был оказаться где-то здесь, возле дома, и утомленный странник должен был бы распахнуть свои озябшие объятия. «...Иванов из Неаполя... — сказала Адель, — чушь какая-то... Чего ему там понадобилось, а?.. А вам не кажется, что доктор наш похож на лекаря Иванова?» Мятлев не нашел сходства, но вопрос его насторожил. «А как же могилка? — спросил он. — Ведь лекарь Иванов еще тогда утопился?..» — «Эээ, — усмехнулась Адель, — долго ли земли насыпать?» — и посмотрела на Мятлева выжидательно...

Тут он вспомнил, как однажды оказался невольным свидетелем тоскливого диалога, который вели в столовой комендантского дома Адель и доктор. Их голоса отчетливо доносились из раскрытого окна в мятлевскую светелку.

— Вы что, — спросила Адель вызывающе, — завидуете им?

— Нет, я ими просто восхищаюсь! — прохрипел док-

тор. — Я думаю, как им все доступно! Когда у человека голубая кровь, ему в жизни страшиться нечего: она сама за него старается, сама, сама...

— Вы бы лучше о себе старались, — откровенно посетовала она, — на себя бы посмотрели...

— А что мне смотреть? — засмеялся он. — Со мной все кончено. Моих невысоких качеств вполне хватило на полжизни. Пока жил, еще казалось: все устрою, пришью десять ног, отрежу восемь рук, вспорю сто животов, всем дам слабительное — это не предназначение? А теперь меня просто тошнит от этого, и все. И весь я грязный, липкий, а может быть, даже и подлый.

— Ну, начали, — возмутилась она, — наговорили!

— Правда, — сказал он. — Вон к Мятлеву ничто не липнет. Сколько в жизни зла принес, скольких погубил, а ничего — строен и молодецват; без ног, а пляшет; какие женщины ему ноги мыли! Ну разве не счастливчик? Конечно, мне бы вырасти в его доме, с его достоинствами, и я бы покуролесил, и мной бы восхищались. Теперь мы оба у разбитого корыта, это правда, но ему есть что вспоминать, счастливо жмурясь, а мне есть что оплакивать. Большая разница... у него самого... обманывать себя... чужие... совершенства... пристанища...

Мятлев скрипнул стулом, и они смолкли.

— «Голубая кровь, голубая кровь»... — сказала Адель сварливо, — вот у княгинюшки и впрямь голубая была: ее под замком не удержишь...

— Это какая же княгинюшка, — ехидно спросил доктор, — та или эта?

— Обойдемся без ваших намеков, — сказала Адель. — С вами разговаривают, так вы цените...

Мятлев подумал, что теперь-то, с чужими ногами, и подавно никуда не улетишь, что время легкомысленных мечтаний кончилось. Осталось доживать и лишь украдкой грезить о теплых бирюзовых нешумных волнах Неаполитанского залива...

Он вспомнил этот диалог теперь, когда заговорили о лекаре Иванове.

— Похож, похож, — поддразнила Адель, — вылитый лекарь Иванов. Он мне по ночам снится. Я, дурочка, женить его на себе хотела, думала — выйду замуж, излечу его от пьянства... А он сам излечился.

— Да не болтайте чепухи! — крикнул Мятлев. — Не-

возможно слушать! — и посмотрел в глаза Адели, и тут же ощутил, как что-то голубое бесшумно растеклось по жилам... И он подумал, что теперь его очередь торопиться к Лавинии в качестве брата милосердия...

89

Вставная глава

— Теперь очень трудно ручаться за благоприятный исход болезни, — сказал доктор Мандт, выходя из кабинета императора, — еще позавчера это было возможно, но после того, как государь рискнул отправиться на площадь...

Александра Федоровна выслушала его молча.

— Нынче жар слишком высок и с бредом, — сказал Мандт, — вчера бреда не было, я надеялся, что горячее питье...

— Может быть, мне поговорить с ним? — спросила императрица, и доктор понял, что она имеет в виду святое причастие.

Вчера действительно бреда не было, но когда Николай Павлович просил утром всех удалиться и оставить его одного в кабинете, когда он попросил, и едва тяжелая дверь захлопнулась, он тотчас увидел, как незнакомая дама бесшумно вошла в кабинет и уселась в кресло возле самого изголовья. Впрочем, нельзя утверждать, что она совсем была ему незнакомая. Ему даже показалось, что он ее хорошо знает, но ни имени, ни кто она такая, ни откуда он может ее знать — ничего этого он объяснить не мог.

— Ты кто такая? — спросил он, стараясь быть дружелюбнее, но она не ответила.

Она сидела к нему боком, поворотившись к окну, молчаливая, бесстрастная, чужая, в непонятном одеянии, в глубоком чепце. Ее поза не выражала ничего: ни скорби, ни ликования, ни предчувствия бури, ни предвкушения праздника — ничего... Она присутствовала.

— Ты меня боишься? — спросил он и тут же понял, что она-то его и не боится. — Вот дура, — сказал он шепотом, — дура, дура, дура, — и тут она исчезла. То есть она встала, не взглянув на него, и вышла. «Интересно, — подумал он, — какие-то случайные прошлые знакомства, уже позабытые лица, они соединились, слились и теперь

галлюцинируют передо мной». И он стал ждать нового появления незнакомки, старался не шевелиться, не дышать, скашивал глаза на кресло, закрывал, но женщина не возникла. Он поделился этим видением с дочерью.

— Это померещилось, — сказала Мария Николаевна с испугом, — видите, ничего же нет...

Он с досадой отвернулся от любимой дочери и подумал, что если бы не война, то есть пусть даже война, но не этот позор постоянных поражений, этот удручающий стыд, это оскорбительное для него и для всей России неожиданное бессилие оружия, если бы приходили известия о победах, как это и должно было бы быть, и все бы, радостно улыбаясь, только и говорили бы о победах, тогда, наверное, и проклятая простуда, прицепившаяся к нему, не была бы столь удручающа, а вот нынче все одно к одному... И в этой незнакомой недавней даме проглядывало молчаливое осуждение, словно она намекала на какие-то его вины, дура, сидела, отворотившись, вполоборота...

— Померещилось? — спросил он. — Ты уверена? — и попросил лимонное питье.

Мария Николаевна рассказала Александре Федоровне, что отец видел какую-то женщину, которая, как ему показалось, сидела возле его кровати, и даже описал ее наряд, и особенно ему запомнился ее глубокий чепец...

— Разве сейчас шьют такие? — пожалала мать плечами, но тут же печально усмехнулась: — Мы говорим вздор... Ему плохо. Доктор Мандт встревожен. При его слабом здоровье в его возрасте этот грипп...

У доктора Мандта в присутствии императора вспыхивала на лице неизменная профессиональная ободряющая улыбка, которая могла ободрить только дураков. Вообще все доктора раздражали его; их было много, и каждый откидывал его серое суконное одеяло и прикасался к телу какими-то холодными металлическими предметами, пальцами, просил открыть рот, так что приходилось присаживаться и разевать рот, представляя себя со стороны в самом глупом виде, похожим на карася, вынутого из воды. Это было унижительно тем более, что болезнь протекала сама по себе, а ухищрения докторов были сами по себе.

— Ваше появление на площади позавчера, — сказал доктор Мандт, — обострило грипп. В легких шумы. Вам не трудно дышать?

— Нет, не трудно, — сказал Николай Павлович с дет-

ским упрямством, хотя при каждом глубоком вдохе в груди покалывало и тотчас подкатывал кашель.

Позавчера он встал с постели и, стараясь ступать бодро, вышел к войскам, которые отправлялись на войну в Крым. Голова кружилась, поэтому он не сел, как обычно, в седло, а принялся объезжать полки в открытых санях. Его окружала свита. Войска были свежие — только что из печки. Они восторженно его приветствовали, но он-то знал, что и им, как и их предшественникам, не суждено вернуться. Чудес не бывает. Что-то такое случилось, что-то надломилось, треснуло, и армия, нагонявшая на мир страх, рассыпается, как карточный домик, и все, дотоле трепетавшие при одном упоминании о ней, теперь потешаются, тыча пальцами в ее неудачи...

Каждое новое известие с фронта звучало сигналом бедствия. Каждый новый запыленный фельдъегерь, примчавшийся от туда, выглядел последним оставшимся в живых. Великая армия — дивизии, полки и батальоны, одетые с иголки, пахнущие французскими духами, дегтем, свежими ремнями, табаком, тянущие носок на марше, все, как один, — великая армия, подобно великой реке, стремительно стекала к морю, чтобы уже не вернуться.

«Почему, — думал Николай Павлович, — почему, почему они все не в состоянии ударить, опрокинуть французов и англичан в море, ударить и вернуться, вернуться?.. Чем же это они не сильны? Почему, почему?.. — думал он, стоя на февральском ветру. — Почему эта масса сильных, красивых героев, одинаково удобно одетых, кричащих восторженное «ура», живых, сметливых, не может, не может?.. И все они потом отдают позицию за позицией и лежат, раскинув руки, и отдают позицию за позицией, позицию за позицией, запозицию, запозицию... — думал он, глядя на войска, построенные для прощания. — Может быть, виноваты генералы? Но ведь они все израненные, бывалые, преданные, не щадящие своих жизней, они же все... но почему, почему, почему?..»

Он стоял в открытых санях. Сани медленно двигались вдоль фронта. Войска кричали «ура». С утра жар усилился, начался сильный насморк, кашель, приходилось держать платок в кулаке наготове. Он кашлянул, щеки затряслись.

«Совсем постарел», — подумал доктор Мандт и сказал: — Ваше величество, мой долг предупредить вас, что

вы очень рискуете, подвергая себя холоду в гриппозном состоянии.

— Дорогой Мандт, — сказал Николай Павлович, — вы исполнили свой долг, предупредив меня, а я исполню свой и прошу с этими солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас.

Он понимал, что если напрячься и сбросить врагов в море, то и современникам и потомкам хватит этого, чтобы оправдать любые потери, но он также знал, что это уже невозможно.

Вернувшись с проводов, он почувствовал себя хуже, жар усилился. Все бестолково суетились вокруг, переговаривались шепотом, но ему казалось, что все говорят о крымском позоре, судят, рядят, рассуждают, воображая себя умниками. «Интересно, — думал он, борясь с кашлем и глухим раздражением, — если позволить им высказаться, что они наговорят? Они, — подумал он обо всех, — считают, что я из амбиции не заключаю спасительного мира. Дураки, они не понимают, что кровь ценится, пока она горяча, одно мгновение, а потом и всегда ценится только слава».

Нынче утром ему стало хуже. Сначала он беседовал со старшим сыном, Александром Николаевичем, а когда стало хуже, то есть жар вновь усилился и голова разболелась пуще, он отпустил сына, но не успел наследник выйти, как та самая незнакомка бесшумно опустилась в кресло и усталилась в окно. У него было странное ощущение: как будто он догадывается о цели ее визита, но не может сформулировать этого, не может назвать, не находит нужных слов. Конечно, какое-то туманное предназначение им ощущалось, что-то такое брезжило в сознании: кто она и с какой целью пожаловала, но только брезжило. Единственное, что он отчетливо сознавал, это то, что, боясь ее, презирая, даже ненавидя, все-таки ждет ее, боится и ждет, отвергает и тянется к ней.

Она сидела неподвижно, не глядя на него, но какие-то тайные нити тянулись меж ними, какие-то незримые волны лихорадочно, упруго сновали от нее к нему и обратно, и уже можно было обходиться без слов... В первый раз ее молчание показалось ему зловещим, неподвижность — роковой, но нынче этого ощущения уже не было; напротив, он теперь начинал понимать, что она явилась помочь ему, хотя, кажется, не совсем представляет, как

это сделать... как это сделать... Он даже огорчился, когда она исчезла вновь.

— Я ее боюсь, — сказал он Александре Федоровне, — она мне отвратительна, но я чувствую, что не могу без нее, не смогу... — и улыбнулся. — Это, видимо, от жара?

— Странно, — сказала она торопливо, — это что, снится?

— Не совсем, — сказал он, борясь с подступающим кашлем, — конечно, это в общем сон, но не такой, как обычно... У меня такое чувство, что я ее давно знаю, но она не нашего круга... круууга... га... га...

Александра Федоровна вскрикнула и уставилась на Мандта. Доктор откинул одеяло и прильнул к груди Николая Павловича. Император открыл глаза и сказал в продолжение разговора:

— Она мне дает понять, что она мне крайне необходима. Какова?..

Александра Федоровна машинально кивнула. Она сидела рядом, а казалась очень далекой... «Кто она?» — подумал Николай Павлович о жене. И ему захотелось увидеть незнакомку. Вообще он понял, что все члены его семьи и его ближайшие сотрудники с этой дамой незнакомы, ибо стоило ей исчезнуть, как тотчас появлялись Александр Николаевич, насупленный и озабоченный, или жена, или Санны, или Мандт, или прокрадывался Орлов, бормоча какие-то чуждые, пустые сообщения, — все они были знакомы, привычны, но расплывчаты и не совсем понятны.

— Там фельдъегерь из Крыма, — сказал Александр Николаевич, — и князь Меншиков просит вашего согласия...

«Просит нашего согласия, — подумал Николай Павлович с раздражением и болью, — просит согласия... согласен просить...» Боль сделалась невыносима. Незнакомка вновь сидела на прежнем месте, теперь он понимал, что она явилась спасти его от этой боли, от позора, от крушения. «Хотелось бы знать, какую цену ты запросишь, — сказал он ей, — с тебя ведь станет», — но в глубине души он уже догадывался о цене и просто делал вид, что ничего не понимает. Видимо, она обиделась на него, потому что демонстративно резко удалилась. Тут он почувствовал себя легче, словно что-то тяжелое внутри него наконец оборвалось.

— Ффу, — выдохнул он, — кажется, отпустило, — и оглядел молчаливых, напряженных присутствующих вы-

пуклыми поблекшими голубыми глазами, — этот февральский ветер... с ним шутки плохи...

Все вокруг растерянно заулыбались, закивали, задвигались, зажестичулировали, словно над новорожденным, и он подумал, что жизнь промелькнула как-то уж слишком мгновенно. И тут он вспомнил всю свою жизнь и себя самого в детстве и попросил всех удалиться, кроме старшего сына.

— Мне, кажется, лучше, и у меня есть идея, — сказал он Александру, — ты не думай, Саша, что я намереваюсь читать тебе нотации или делать напутствия, бог с ними, — и подмигнул ему, — там в столе у меня есть старые записки о моем детстве... и я хочу, чтобы именно ты почитал мне оттуда кусочки...

Он с удовольствием видел, как сын раскраснелся, листая старую тетрадь. Он закрыл глаза и услышал будто бы свой собственный молодой голос.

— «Мои родители известны всем, и я могу лишь к этому добавить, что я родился в Царском Селе, 25 июня 1796 года... Мне думается, что мое рождение было для императрицы Екатерины последним счастливым событием: она желала иметь внука, а я, как говорят, был большим и здоровым ребенком, так как даже она, благословляя меня, сказала: «Экий богатырь!..» Ко мне были назначены взятая от генеральши Чичериной шотландка мисс Лайон, а для ночных дежурств — г-жи Синицына и Пантелеева; кроме них при мне находились еще четыре горничных и кормилица — крестьянка Московской Славянки...»

— Состояние странное, — сказал Николай Павлович самому себе, — и болен и не болен, ничего не болит, даже страшно... — и снова закрыл глаза.

— «...При жизни императрицы Екатерины, скончавшейся 6 ноября того же года, мои братья и сестры, разлученные с отцом и матерью, оставались на попечении уважаемой и прекрасной женщины, графини Ливен, которую страшно любили и которая всегда была образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям...»

— Да, да, — сказал Николай Павлович, — мне кажется, что я никогда не делал зла сознательно...

— Рарá, — начал было Александр Николаевич, но отец показал ему жестом, чтобы он продолжал.

— «...Отец удостоил зачислить меня в 3-й гвардейский

полк. В Павловске я ожидал однажды отца в нижней комнате, и когда он возвращался, то я вышел в калитку малого сада ему навстречу. Он же, отворив калитку и сняв шляпу, сказал: «Поздравляю, Николаша, с полком. Я назначил тебя в Измайловский...» Однажды, когда я был испуган шумом пикета конной гвардии, стоявшего в прихожей моей матери в Зимнем дворце, отец мой, проходивший в это время, взял меня на руки и заставил перецеловать весь караул... Отец мой нас нежно любил и однажды подарил мне золоченую коляску с жокеем и парюю шотландских вороных лошадок... Образ нашей детской жизни был довольно схож с жизнью прочих детей, за исключением этикета, которому тогда придавали необычайную важность. С момента рождения каждого ребенка к нему приставляли английскую бонну, двух дам для ночного дежурства, четырех нянек или горничных, кормилицу, двух камердинеров, двух камер-лакеев, восемь лакеев и восемь истопников...»

Николай Павлович хмыкнул, не открывая глаз.

— Подумать только, — сказал он, — восемь истопников! — И подумал: «Какая жара! Восемь истопников... А потом начинаются болезни... Болезнь изнуряет организм, ослабляет, размягчает мозг... Чувствуешь себя неполноценным... и они там, в Крыму, заполнили все госпитали тифозными, дизентерийными, помешанными... уходят с развернутыми знаменами и сходят с ума... а эти дураки курьеры, словно машины, одинаково выпаливают и радостные вести и горестные...»

— «...Во время церемонии крещения вся женская прислуга была одета в фижмы и платья с корсетами, не исключая даже кормилицы. Представьте себе странную фигуру русской крестьянки из окрестностей Петербурга в фижмах, в высокой прическе, напوماженную, напудренную и затянутую в корсет до удушья. Тем не менее это находили необходимым. Лишь при рождении Михаила отец освободил этих несчастных от столь смешной пытки...»

Николай Павлович попытался сесть, железная кровать зазвенела под ним, но у него ничего не получилось. Сын качнулся было помочь ему, но отец показал, что этого не нужно. Александр Николаевич словно впервые увидел эту простую железную кровать поперек кабинета, зеленую кожаную подушку, на которой покоилась голова императора, дырявые туфли у подножия кровати.

— Ну, ну,— сказал император, — что же дальше?

— «...Спали мы на железных кроватях. Два волосяных матраса, обтянутых холстом, и третий матрас, обтянутый кожей, да две подушки, набитые перьями, составляли самую постель; одеяло летом было из канифаса, а зимнюю ватное, из белой тафты. Полагался также белый бумажный ночной колпак, которого мы, однако, никогда не надевали, ненавидя его уже в те времена...»

Николай Павлович вновь хмыкнул.

— И мы своим упрямством постепенно привели к тому, что колпаки были отменены, — сказал он с удовольствием, — это была такая нелепая традиция, что даже мы, дети, не хотели с нею мириться...

— Да,— сказал сын, — многое из того устарело и кажется смешным, жалким...

— Кто может знать, что устарело, а что нет?.. — прошептал отец и подумал, что шомпольные ружья у защитников Севастополя также давно устарели и бессильны против нарезных английских ружей.

— «...Скажу еще несколько слов о занимаемых нами помещениях. Я помещался с самого дня моего рождения во флигеле, занятом в настоящее время Лицеум...»

— Нет,— сказал Николай Павлович твердо, — мы должны это знать, мы должны стараться это знать... мы должны предчувствовать... Конечно, нам не все доступно, но мы должны стараться... Послушай, — вдруг сказал он тихо, — кто была та женщина, тогда, в Царском Селе, перед карнавалом, которая стояла возле кустов у эспланады в голубом платье с желтым зонтом?

— Какая женщина? — удивился сын.

— Я не мог ее узнать, а после она исчезла, — сказал Николай Павлович уже без интереса, — впрочем, читай дальше...

— «...Одно из последних событий этой эпохи, воспоминание о котором будет для меня всегда драгоценным, это удивительное обстоятельство, при котором я познакомился со знаменитым Суворовым. Я вошел в библиотеку моей матери в Зимнем дворце и увидел оригинальную фигуру, всю увешанную орденами, которые были мне неизвестны. Эта личность меня поразила. Я его засыпал множеством вопросов, а он стал передо мной на колени и имел терпение все показать и объяснить. Я видел его потом несколько раз во дворе дворца во время парадов следу-

ющим за моим отцом, который шел во главе конной гвардии».

«Но почему, почему, — подумал он, — почему я должен выглядеть смешным в глазах Европы? Бронированные пароходы развивают большую скорость, и парусные суда бессильны против них... А разве... но почему, почему?.. Когда генерал Ламсдорф бил ребенка линейкой по пальцам... когда он бил, это не оскорбляло... это не оскорбляло... но он при этом не злорадствовал, как какой-нибудь подлый француз... но почему, почему?..»

— «Отец переехал в Михайловский дворец; отъезд же нас, детей, последовал несколькими неделями позже, так как наши помещения не были еще окончены. Отец часто приходил нас проведать, и я хорошо помню, что он бывал чрезвычайно весел. Сестры мои жили рядом с нами, и мы то и дело играли и катались по всем комнатам и лестницам в санях, то есть на опрокинутых креслах; даже моя матушка принимала участие в этих играх... Помню, что всюду было очень сыро, и на подоконники клали свежеспеченный хлеб, чтобы уменьшить сырость. Всем было довольно скверно, и каждый сожалел о своем прежнем житье в Зимнем дворце. Само собою разумеется, что все это говорилось шепотом и между собою, но детские уши часто умеют слышать то, что им знать и слышать не следует, и слышат лучше, чем это некоторые предполагают. Я помню, что тогда поговаривали об отводе Зимнего дворца под казарму; это возмущало нас, детей, более всего на свете. Мы спускались регулярно к отцу в то время, когда он причесывался. Это происходило в собственной его опочивальне; он бывал тогда в белом шлафроке и сидел в простенке между окнами. Старый Китаев в форме гусара был его парикмахером и завивал букли. Как только прическа бывала окончена, Китаев с шумом закрывал жестяную крышку от пудреницы, и это служило сигналом камердинерам, чтобы войти в комнату и одевать отца.

Однажды вечером в большой столовой был концерт, во время которого мы находились у матушки и подсматривали в замочную скважину. Михаил, которому было три года, играл в углу один, в стороне от нас. Англичанки, удивленные тем, что он не принимает участия в общих играх, задали ему вопрос, что он делает, и он, не колеблясь, ответил: «Я хороню своего отца!» Как ни малозначущи были такие слова в устах ребенка, они тем не менее

испугали нянек. Ему запретили играть в это, но он упрямо продолжал, заменяя, правда, слово отец — семейным гренадером. На следующее утро моего отца не стало... То, что я здесь говорю, есть действительный факт».

«Бедный Саша, — подумал он, глядя, как сын с удовольствием читает эти старые смешные записки, — бедный Саша: он еще не понимает, каким нужно быть сильным и непреклонным, чтобы тянуть на себе эту страну, чтобы она могла тянуть на себе всю Европу. Каким нужно быть... каким нужно быть... Как нужно все это чувствовать, осязать, угадывать...» Ему вдруг захотелось погладить руку сына и сказать ему: «Прости меня, что я передаю тебе эту страну не в самый ее расцвет, а вот... ты видишь... как все неожиданно обернулось... а ты не сильный, не железный...»

«Бедный папа, — подумал Александр Николаевич, — какой ужасной трагедией обернулась теперь его самоуверенность и его сила, и как он мучается, не понимая, отчего это все так случилось...»

— Читай, читай, — сказал Николай Павлович едва слышно, — какая экскурсия...

— «Мы вместе с матушкой вернулись в Зимний дворец. Матушка лежала в глубине комнаты, когда вошел только что ставший императором Александр... Он бросился перед нею на колени, и я до сих пор слышу его рыдания... Ему принесли воды, а нас увели... Для нас было счастьем опять увидеть наши комнаты и, должен сказать по правде, тех деревянных лошадок, которых мы, переезжая в Михайловский дворец, забыли...»

— Позови Мандта, — сказал Николай Павлович, не открывая глаз.

Едва наследник удалился, как старая знакомая уже сидела в кресле, словно и не уходила. Появился озабоченный Мандт, а она (вот новость!) продолжала сидеть как ни в чем не бывало! Чего может желать женщина, так настойчиво, так дерзко, так откровенно, так прилипчиво навязывая свое общество? Ее бесшумное появление, молчаливое высидивание у его изголовья — бездарная попытка заинтриговать (нашли дурака, сударыня!). А после такой заинтригованный дурачок, распустив слюни, побредет за нею, держась слабеющей рукой за ее юбки...

Он бунтовал, иронизировал, негодовал, но знал, знал, что теперь она не сойдет с этого места, куда их руки

не соединятся. «Нет, нет, — крикнул он так, чтобы слышала только она, — я люблю другую!..»

— Ваше величество, — сказал доктор Мандт, склоняясь, — вы меня звали?

Николай Павлович открыл глаза и сказал со спокойной усмешкой:

— Эта женщина обещает мне спасение... Она сильнее вас, дорогой Мандт. Я только что вспоминал собственное детство, оно было совсем недавно, но ей нет никакого дела до моих сантиментов. Императрица Екатерина восторгалась моим богатырским здоровьем... Что скажете? Мне снова плохо, и я задыхаюсь.

— Не желаете ли вы, ваше величество, — сказал Мандт с расстановкой, — чтобы Баженов пришел помолиться с вами?

Николай Павлович не ответил. Он посмотрел на даму, она и не думала уходить. Мандт колдовал над ним, и прикосновения трубки вызывали резкую боль. Придет священник Баженов, чтобы он мог причаститься. На всякий случай?.. Таков давний уговор, его решение, он потребовал, чтобы если что-нибудь... «Как же я пойду с тобой? — спросил он у молчаливой дамы. — Ведь я сильно болен, и я люблю другую. Разве ты не понимаешь, что я не могу совершить предательство?» Она, по обыкновению, промолчала, но было ясно видно, что она все слышала и хочет, чтобы и он понял, что ее решение бесповоротно и тот, кто должен их соединить, уже ждет, а жалкие слова о предательстве — всего лишь жалкие слова. Она была красивой странной красотой, которая одновременно страшна и необходима, словно серебряный кубок, наполненный спасительным ядом, избавляющим от множества мучительных и неразрешимых ужасов, накопившихся за долгую жизнь.

Мандт отскочил от него со своим стетоскопом и поджал губы.

— Плохо, ваше величество, — сказал он с трудом.

— В чем же дело? — спросил император. — Воспаление расширяется, что ли?

— Хуже, ваше величество.

Николай Павлович закрыл глаза и спросил безразлично:

— Что же?..

— Начинается паралич...

Ему показалось, что дама кивнула. Он хотел улыбнуться-

ся ей, но не смог: все-таки она была чужая, чужая, пока еще чужая...

— Так это смерть? — спросил Николай Павлович, уставившись на Мандта.

Доктор был где-то далеко и даже как будто висел в воздухе, он теперь находился за прозрачной и непреодолимой стеной, и оттуда он прошептал:

— Вам осталось несколько часов, ваше величество.

И вот за окнами была уже ночь, хотя только что было раннее утро. Впрочем, это уже не имело никакого значения, как и то, кто появлялся возле его кровати и за кем... Наконец получилось так, что все окружили его кровать, словно выросли из пола, хотя все они тоже были за этой прозрачной стеной, и все они были еще во власти привычных правил, потому и двигались нелепо, как крабы, и говорили пустые фразы, подчиняясь этим правилам. «Неужели и я так двигался? — подумал он с отвращением и отвернул лицо к стене. — Как им не стыдно!» Однако, отвернувшись, он вновь увидел ее. Она сидела, и стена не мешала ей. Он протянул ей руку, но тотчас отдернул.

Сквозь прозрачную стену он увидел окно, в котором было утро. «Как быстро все меняется, — удивился он, — а дальше пойдет еще чаще...» И вдруг из той же стены выглянуло усталое, растерянное лицо, кажется, графа Орлова, и его старческие губы произнесли смешную фразу:

— Ваше величество, там вечерний курьер из Севастополя...

«Где это там? — подумал он, напрягаясь. — Кто это там? Севастопольский курьер из вечной ночи... вечернее чудо, которого больше не может быть...»

— Эти вещи меня уже не касаются, — проговорил он по складам с облегчением, — уже... уже... — и с благодарностью улыбнулся молчаливой даме, и вдруг сказал:— *Und grüßen Sie mir auch noch mein Liebes Peterhof...¹*

Было видно по всему, что она его одобряла. Он все теперь делал правильно и не ошибался, и говорил нужные слова, и смотрел только на нее, и уже без страха, хотя и без восторга, и страдал от усиливающегося удущья уже совсем не так, как час назад...

«Теперь, — подумал он, — я не могу отказать ей, хотя боюсь ее... Я боюсь тебя, — сказал он, — все-таки я боюсь тебя, я не люблю тебя... Ты слишком добра ко мне, и

¹ Передайте еще мой привет моему милому Петергофу (нем.).

я тебя боюсь...»—И, говоря всё это, он протянул ей руку. Ее ладонь была прохладна... Грянул свадебный оркестр. Он оглянулся на жену и растерянно пожал плечами, а эта, молчаливая, сгорающая от нетерпения, крепко держала его за руку и вела за собой.

— Господибожемой! — крикнул он в отчаянии, но оставшиеся уже не слышали.

Баженков рыдающим басом выпевал ему вслед подходящие слова.

90

Ночь была насыщена роковыми предзнаменованиями. Они царили во всем, начиная с низкого черного неба и кончая тягостным шепотом Мусы Саидова: «Лошади готов, кенязь». Мятлев в последний раз оглядел укромную светелку, подхватил сумку с тетрадами и письмами, одернул сюртук с чужого плеча и шагнул за порог. Старый товарищ — благородный лефоше — многозначительно шевельнулся за пазухой. «Быстро ходи, быстро ходи», — шелестел Муса и, подобно черному коту, бесшумно извивался по тропинке. За домом, за садом, во мраке едва проглядывали две заседланные лошадки. Муса протянул Мятлеву повод одной из них, и четыре тени неслышно двинулись через спящую крепость. Уже за рекой, у низкорослой кизиловой рощицы, под плач шакалов они уселись в седла и затрусили на север, держась в стороне от наезженной дороги.

Когда же передовая крепость скрылась за первым холмом, они пришпорили своих лошадок и поскакали, торопясь до рассвета проехать как можно больше.

Там, на севере, лежал Петербург. За Москвой, за Тверью. Там, в Петербурге, шумела незнакомая нынче жизнь, и новый молодой царь, разукрашенный слухами, готовился к коронации. А тот, с которым столько было связано, беспощадный и равнодушный, покоился в своей усыпальнице, так и не промолвив простого, ничего не значащего слова, по которому Мятлев мог обрести свободу. Долетали известия, что доброта нового молодого распостерлась на старых сибирских изгнанников и они вот-вот потянутся в Россию, на старые места. И только Мятлева обошла милость нового царствования...

Наконец первые признаки встающего солнца заколебались в воздухе. Они остановились. Муса протянул Мятлеву шершавую ладонь, затем низко поклонился, приложил ладонь к сердцу, поворотил свою лошадь и ускакал.

Теперь предстояло пробираться в одиночестве. Мятлев расстался с Мусой, испытывая сожаление. Этот пухлогубый немолодой мирный горец, тайно приведенный в комендантский дом Аделью, с упрямством пленника и великодушием святого взялся устроить судьбу бывшего русского князя и называл его «князь», а иначе называть отказывался.

«Ехай, ехай,— торопил он, — ищи свой баба, князь. Пусть русский цар будет плохо — князь пусть будет хо-рошо...»

Пусть будет, пусть будет. Силы, которые повеличавее нас, все расставляют по своим местам. Хромоножка мог торжествовать: его главный соперник, Медведь всероссийский, безопасно украшал собою императорскую усыпальницу, и все, что было меж ними, рухнуло безвозвратно, тоже, очевидно, туда же, поглотив и их долгое несоответствие друг другу и оставив самому Времени право решать истинную цену их любви, страданий, ненависти и надежд. Все было так... Но деревеньки с ветхими крышами, встречающиеся Мятлеву по дороге, были все те же, и все так же клонились к прудам ивы, и пыль вставала над трактом, и в Крыму погибали красивые беспомощные герои, и над Мятлевым кружил липкий страх при одной мысли, что его вновь настигнут, унижат, посмеют глумиться те же самые, покуда еще живые... Да и торжества не было, если не считать той минуты, когда известие о смерти императора докатилось до передовой крепости, когда захотелось крикнуть, взлететь, выбить стекло в окне, поцеловать Адель, напиться с доктором... Погасло. Сникло. И душа не та, и ноги чужие, да и смерть — это смерть, а не разрешение споров... Все это вздор: надежды на будущее, злорадное торжество, терпение лишь во имя этого, все это вздор и суета сует...

...И вот они расстались, и Мятлев поскакал, поскакал, ощущая трепетные вздохи благородного лефеше — не очень-то надежного выручателя из бед, но зато благородного, иностранного, деликатного, преданного, поскакал, забыв про израненные ноги, чувствуя себя сильным, молодым, видя себя красивым, достойным всяческих похвал,

поощрений, объятий... И, когда взошло солнце, он продолжал гнать свою бессловесную гривастую незнакомку, удивляясь, что столько лет не мог осмелиться на это предприятие даже ради самого господина ван Шонховена. В течение нескольких настороженных дней он и не пытался думать, где искать Лавинию, чтобы спросить у нее, когда же она намерена взмахнуть крылами. Он не пытался думать об этом, да и не смел, — а только о том, только о том, чтобы, завидев за собой вдали стремительно приближающийся комок пыли, ускользнуть, затаиться, не выдать себя сердцебиением, не оказаться схваченным уже который раз и вновь не претерпеть унижительную казнь.

Император-то умер, но все оставалось прежним, и только господин ван Шонховен улетел в Италию, далеко, необъяснимо, горько. В холодных петербургских письмах от немногочисленных доброжелателей не содержалось ровным счетом ничего, за что бы можно было ухватиться... Утешение, умиротворение, домашние эмоции, глухие намеки на природу, но без учета его отчаяния, его безысходности, его страсти и ее упрямства, одержимости, вечного, неистребимого шелеста ее крыльев, ветра, который всегда попутен от нее к нему и от него к ней...

Как будто все благоприятствовало успеху, но за спиной, на дороге, действительно возник стремительно приближающийся комок пыли, а в спине — знакомый холод, предвестник несчастья... Этот комок, в котором так наглядно и так удачно слились части дорожной повозки, спицы множества колес, фантастические лошади, деревянный кучер и живой, молодой, осязаемый прапорщик или еще кто-то, вытянувший шею, привставший на сидении, шевелящийся пересохшими губами... этот комок действительно приближался. Мятлев, устроившийся на ночлег за перегородкой на дикой станции, ни о чем не подозревал, как вдруг услышал хлопнувшую дверь, резкие шаги и чистый, звонкий, недоумевающий голосок, справляющийся о нем! И пока там, за перегородкой, все уточнялось, Мятлев был уже одет. Когда же прапорщик или кто там заглянул за перегородку, он увидел в полумраке высокого, спокойного, прекрасного, немолодого мужчину, направляющего на него пистолет.

— Господин прапорщик, — сказал Мятлев почти потечески, — если вы сделаете еще один шаг, я застрелю вас, а после и себя. Возвращайтесь в крепость и скажите,

что вам не удалось меня разыскать. (В этот момент прапорщик принялся тихо смеяться.) Я понимаю, как много вы теряете, не имея возможности доставить меня связанным... Но меня уже достаточно вязали, и я... (Тут прапорщик засмеялся громче.)

— Ваше сиятельство! — крикнул он. — Господь с вами! Вам помилование вышло! Да уберите вы пистолет! Меня Адель послала, чтоб воротить вас, сообщить, попрощаться! Полное помилование, ваше сиятельство! Поздравляю вас!.. Уф, как я летел, ваше сиятельство!!..

ЭПИЛОГ

Судьба сыграла со мной очередную шутку, выудила меня из тихой деревенской жизни и швырнула в распростертые объятия Российско-американского коммерческого общества, которое в скором времени отправило меня вместе с Марго за океаны... Мы жили в шумном городе Чикаго, постепенно утрачивая реальные представления о некоей мифической Михайловке, упомянутой кем-то в какой-то из постаревших бумаг. Губительные расстояния земли! Даже звуки желтозубого рояля не доносились к нам, когда Мятлев, снова наконец утвердившийся в своем имени, прикасался к его клавишам в надежде дотянуться до нас, распространить свои сигналы, дать понять, что жизнь (эта неизбежная злодейка) способна, оказывается, на великодушие.

Из трав и света рождались эти звуки, когда сильные, тонкие, нервные солдатские пальцы прикасались к остывшим косточкам, подводя первые горькие и восхитительные итоги минувшим дням... Где же вы, господин ван Шонховен? Какая сила внезапно прервала ваши скандальные ухищрения? Неужто и впрямь человеческий организм рассчитан на точное количество страданий и порывов, а что сверх того — уже свыше сил?

Кузнечика знакомое лицо вдруг выросло среди цветов... Это древнее божество — свидетель мятлевского детства и отрочества, прискакавшее от самого Петербурга, где оно живало когда-то у подножия трехэтажной крепости, этот маленький зеленый Пимен с морщинками на каменном челе, хохотун, стрекотун, распространитель слухов, ставший частью жизни, он вновь тарабанил, тараторил, лопотал

за каждым поворотом... Хотелось жить! Когда это бушует в нас, мы же не задумываемся, какие силы где-то там хотят прервать наше блаженство? Вот почему, пройдя сквозь ад, мы не теряем остатков доброты, великодушия, щедрости, ибо кому мы нужны иные?..

Мятлев так сладко погрузился в михайловский уют, зализывая раны, что первое время даже не страдал от запрета покидать уезд. Книги, вывезенные из Петербурга еще в давние времена, становились по шкафам. Статуи — свидетели его былого — удобно расположились среди дерев. Он плакал вечерами, не понимая столь долгого отсутствия господина ван Шонховена, и вздрагивал от каждого стука, предполагая либо самое худшее — продолжение казни, либо блаженство — возвращение Лавинии. Все же остальное было восхитительно и существовало само по себе, его не касаясь, даже полицейский исправник, наезжающий раз или два раза в месяц, самоуверенный дурачок лет двадцати семи, щеголь в зеленом сюртуке, подбитом желтым, не по уставу, шелком, но не злой, мельком повидавший свет, в меру наглый. В общем, уморительный уездный экземпляр, мучимый живым столичным преступником и пошлым провинциальным любопытством, которого ежели вовремя не остановить, будет задавать бесконечные дурацкие вопросы, а остановить — тут же начнет исповедоваться в амурных делах.

Однажды, кажется, на второй день после приезда князя, из зарослей парка с диким ревом, размахивая руками, вывалилось странного вида существо со знакомыми чертами и, путая русские и шведские слова, принялось ползать в ногах у вчерашнего солдата. Мятлев оцепенел пред этим ураганом, дрогнул, зажмурился было, но в хриплых звуках, исторгаемых чудовищем, в бакенбардах, в безумных карих глазах, в нелепом сочетании валенок и старого фрака с оторванной фалдой — во всем этом тайлось что-то, от чего нельзя было отворотиться. Какая-то тонкая многозначительная ниточка потянулась внезапно из другого мира, в котором и он, Мятлев, существовал когда-то; какие-то смутные, горькие намеки повисли в воздухе... Чудовище требовало, просило, умоляло, чтобы Мятлев его узнал, а, узнав, простил бы, но Мятлев превратился в камень. Человек в бакенбардах перечислил все свои прошлые заслуги и все перенесенные мытарства, но Мятлев лишь пожал плечами. Он помнил, конечно, некую условную фи-

гуру, почти что тень, лениво исполнявшую в прошлом его прихоти, тень, обладающую плотью, даже подверженную обидам, даже склонную к злопамятности, даже способную на предательство: по слабости ли, по подлости ли, по неведенью — черт его знает...

— Нет,— сказал Мятлев без солдатской участливости, но с солдатской твердостью, — я вас не помню и не желаю вспоминать.

С жутким ревом чудовище отпрянуло прочь и укрылось за ближайшими кустами. С того дня оно там постоянно маячило, но Мятлев его не замечал.

...Прошло много лет, прежде чем мы с Марго воротились в Россию и прежде чем в Бабкине мне на руки упали несколько пожелтевших давних конвертов из Михайловки. Письма были коротки и недоумевающи. Я бросил дела и отправился в путь. Мятлева уже давно на свете не было. Одичавшая Михайловка принадлежала неведомо кому. От прежнего владельца не осталось ничего. Дворовые после эмансипации разбежались кто куда. Единственный, кто хоть что-то мог рассказать мне о минувшем, был отставной полицейский исправник. Мне пришлось изрядно повозиться с ним, прежде чем он, почти под дулом пистолета, исписал корявым почерком несколько страниц, засорив их множеством пустопорожних автобиографических вздохов. В довершение ко всему записи свои он внезапно прервал, предложив мне послушать его романсы под гитару. Я отказался. Он надулся и долго морочил мне голову так, будто я — одна из его многочисленных пассий. Однако перед самым моим отъездом что-то такое в нем заговорило, и он набросал еще две странички, которые лишь добавили тумана. От предложенных денег он отказался. Мы расстались холодно...

«...В те годы был я молод и хорош собой. Назначение исправником в N-ский уезд Костромской губернии очень меня вдохновляло. Будущее свое видел я счастливым и ярким, отчего и настроение имел преотличное. Не успел я обжиться в новой должности, как в Михайловке объявился пропавший владелец. В нашем глухом уезде тогда каждая новая фигура превращалась в событие, а владелец Михайловки был окружен таким количеством легенд, слухов, рассказней, что всех переполошил своим возвращени-

ем. Особенно нервничал я, ибо этот человек, как явствовало из полученной мною инструкции, прибывал в свое имение под полицейский надзор. Я появился в Михайловке вскоре после его прибытия: вводить его, так сказать, во владение. Кого же я увидел перед собой? Пожилого мужчину, охромевшего на Кавказе, с простою палкою в руке, в светло-сером сюртуке по давно минувшей моде. Взгляд виноватый, разговор рассеянный, движения замедленные, будто он погружен в воду.

Я его застал за странным занятием. Он поручил людям вынести из сарая всякие мраморные фигуры, изображающие древнегреческих богов и героев, и расставить их в парке среди кустов. Конечно, выглядело это красиво: белое на зеленом, но что за затея?

Тут надобно сказать, что было мне о нем известно. В письме из Департамента говорилось, что этот человек опасный. Хромой, пожилой, лысеющий, но опасный, а я был той фигурой, от которой зависело, чтобы этот человек ничего противозаконного себе не позволил. В минувшие годы был он известен связями с французскими нигилистами, то есть принимал их у себя, обогревал, снабжал деньгами и подложными документами, хранил всяческие предосудительные произведения искусства, насмехался над обществом, занимался развратом, обворовал приятеля, и, наконец, кончилось все тем, что задурил голову одной знатной юной красавице и тайно бежал с нею в Турцию. Их, конечно, схватили, красотку вырвали из его рук, а его высекли и отправили в солдаты. Эта юная дурочка, обезумевшая под его гипнозом, все-таки норовила с ним соединиться, однако власти были начеку. И вот он по милости нашего нового государя воротился в Михайловку без права выезжать, а мне было строго-настроено велено наблюдать, чтоб прежних преступных связей князь не заводил.

В тот день, как я впервые у него появился, он предложил мне обедать с ним. Признаюсь, я его боялся. По молодости. Мне всюду мерещились нигилисты, за каждым кустом. Но я, конечно, виду не показывал, крепился. Кстати, о женщинах. Я ведь тоже не святой, а в те годы и вовсе им не был, и у меня случались истории (другому и не снились), однако я никогда ничего такого не позволял с женщинами, и даже с их стороны было больше мне неприятностей, чем им от меня. А ведь князь когда-то даже утопил одну из своих возлюбленных, хотя она была моло-

да и жить-то, наверное, как хотела! Во всем нужна мера. Представляю себе, как бы я стал топить, к примеру, ну хотя бы Катеньку Лапшину! Да она сама меня утопила бы при ее росте, бюсте и темпераменте. К счастью, моя страсть к ней была мимолетной. Она понадавала мне щелчков и вышла скорехонько замуж за престарелого купца, предвидя его скорое успокоение...

Итак, мы обедали с князем.

Должен сказать, что когда князь сидел и не выказывал своей хромоты, он был вполне нормальный и даже приятный мужчина. Одежду он носил не изысканную, но вольную, которая к нему шла. Он вообще был мужчина стройный, сдержанный и со слугами прост. Говорил спокойно, но безо всякого к вам интереса, и я чувствовал, что уйди я — он и не заметит.

Кстати, за столом неразговорчивого князя я вволю повспоминал о том о сем и, конечно, вспомнив Катеньку Лапшину и причиненные ею мне беды, не мог не вспомнить и другую бурную свою любовь — спасительницу свою от предыдущей любви, а именно Машеньку Сенину, голубокого ангела. Всю свою жизнь, а особенно в молодые годы, был я на поводу у собственного сердца, а оно жаждало если не страстной любви, то хоть ее подобия, но только с горячими поцелуями, непременно с горячими... И вот Машенька, прехорошенькая, горделиво-капризная, на которую засматривались даже столичные селадоны, но только засматривались да облизывались, ибо им всем она предпочитала меня. Правда, мы встречались редко, и со мной тоже бывала она капризна, но зато нисколько не горделива. Я уж было совсем, по своему обыкновению, распалился, как вдруг она уехала в деревню и вышла замуж за какого-то отставного военного... Это я к тому, что женскую душу понять невозможно, стало быть, невозможно понять и души всех тех красоток, над коими князь Мятлев имел власть.

В тот день, воротившись от князя, я первым делом навел справки относительно его последней жертвы. Оказалось, что дамочка эта, полячка по происхождению, в девичестве Бравура, а ныне госпожа Ладимировская, писаная, как мне стало известно, красавица, вернулась к законному супругу и укатила с ним в Италию. Одумалась. Хотя я теперь вполне понимаю князя, ибо сам прожил несколько лет в Варшаве, и не одна из тамошних паненок

вызывала у меня приступы тягчайшей и неотразимейшей страсти. Только непонятно, думал я, почему он а, эта гордая красавица, могла полюбить, то есть не полюбить, а обезуметь при виде этого хромого, неловкого, молчаливого развратника в очках, лысеющего, старого, опасного? Я в молодости был хорош собой, и на меня засматривались многие, не скрою. Так я же был выше князя, стройнее и легче на ногу. Я отлично танцевал, а мундир полицейского исправника в те времена придавал мне еще больший шарм. Был я хорошо начитан, в острословии редко кто мог со мной тягаться, но при этом было с избытком во мне сердечного тепла и верности, что даже самыми легкомысленными красавицами не может не цениться. Чем же он их все-таки брал, думал я, и особенно ту невероятную полячку, воспитанную в Петербурге и возвращающуюся в свете? Я, например, кроме вышперечисленных достоинств, обладал еще одним, а именно — виртуозным умением играть на гитаре и петь. Этому я научился еще в детстве, и с тех пор не одна гордычка падала ниц, услышав гитарные аккорды и мой голос. Я даже сочинял для дам стихи, а какая из представительниц слабого пола смогла бы устоять, едва заслышав: «Не удивляйся, что в лазури твоих голубеньких очей...» и т. п. «Так чем же он-то их брал?» — думал я.

Отношения мои с изгнанником были самыми предобрими: князь меня не то что терпел, а даже отмечал своим расположением и даже весьма благосклонно реагировал на мои рассказы, когда я, бывало, примусь живописать перед ним свои похождения и каждой знакомой дамы обрисую яркий портрет.

Князь был болен. Его мучали припадки. Я сам был свидетелем этих дурнот. Лицо белеет, на лбу — крупный пот, но глаза открыты, хоть ничего не видят, губы дрожат, как у дитяти, выражение виноватое, и он медленно подступает к вам... подступает... подступает... Однако скоро все и кончается. Посидит минуты две, и снова как ни в чем не бывало. Иногда, подступая вот так, предлагает вам деньги или какие-нибудь иные ценности. В первый раз я от растерянности даже принял от него несколько ассигнаций — так он настойчиво мне их вручал. Правда, припадки эти были не так часты: в день раза два-три, не более... Он объяснял, смущаясь, что это от раны в живот, полученной в юные годы, да я-то думаю, что истинная причина —

долгое прожигание жизни, разврат, темные дела, которые за ним водились. Вот, например, одна из моих бывших любовей, а именно Евдокия Шеер, была подвержена таким же припадкам, но она-то ни в каких сражениях не участвовала и ран никаких отнюдь не получала, кроме разве горячих моих поцелуев. Короче, больного человека надо было обихаживать, нужна была женская рука... И вот, представьте себе, приезжаю я однажды в Михайловку и застаю долгожданную перемену: князь выписал себе экономку! Откуда он ее выписал — не знаю, но дом сразу приобрел обжитой вид, и дворовые девки, что кружились бестолковым роем, как-то приутихли, умылись и принялись за дело. Не скрою, едва я узнал об этой новости, сердце у меня дрогнуло: уж не затевает ли князь прежних штучек? Уж не одна ли из его петербургских нигилисток примчалась сюда содействовать новым злонамерениям? Уж не та ли самая великосветская раскрасавица пожаловала в Михайловку под видом экономки, пренебрегши Италией и законным супругом?.. Гляди, брат, подумал я, не дай вспыхнуть огню. Всякие предположения натянули нервы до отказа. Но как же я успокоился, даже разочаровался, когда она наконец явилась передо мной: это была женщина уже давно немолодая, чуть повыше среднего роста, заметной худобы, одетая в глухое платье из серого гроденапля, даже, пожалуй, не платье, а платьишко, и на плечах лежал темно-серый платок, неоконченный какой-то, будто обрезанный... и вообще все было какое-то тоненькое, худенькое, востренькое, так что едва я все это разглядел, как тотчас и успокоился, и всякие подозрения, возникшие было в моей душе, начали затухать, ибо я сравнивал эти невыразительные формы со знакомыми мне бюстами красавиц, от которых на расстоянии ощущался жар... От этой же особы распространялся холод. Никаких намеков на великосветское, столичное, знатное, кроме, может быть, высокомерия этой приезжей, возмнившей себя незаменимой, ежели ей князь доверил распоряжаться своим домом. Особенно успокоило меня ее лицо. Оно было не белое с отблеском утренней зари, а скорее со смуглинкой, отчего казалось как бы даже выцветшим. На нем располагались два равнодушных серых глаза, а губы изгибались так, что можно было ожидать злой усмешки, хотя этого не происходило. Может быть, и ее, конечно, когда-нибудь кто-нибудь обожал, вкусы ведь бывают разными, хотя очень со-

мневаюсь. А нынче это была засушенная мумия, на которую и глядеть-то было тоскливо.

Однако, видимо, и она что-то такое там стоила, ежели князь вздумал доверить ей ключи от дома и свой покой. Как уж она распоряжалась по дому, с точностью судить не берусь, но одно замечу — все как-то утряслось у князя, и он ей полностью доверял и даже отправлялся на прогулку в старой коляске о двух конях, и неизменно в ее сопровождении. На меня же ключница эта глядела с недоброжелательством, и мои дружеские общения с князем постепенно прекратились...

...Да, я совсем позабыл еще одну забавную деталь. Эта ключница, пользуясь доверием князя, а вернее, его беспомощностью, совсем возомнила себя бесценным даром и вела себя так, будто отворотись она от князя, как он тотчас пропадет или еще с ним что-то случится. Она и на пять минут его не оставляла, выскакивала откуда-то, вылезала, выглядывала: на месте ли он. Конечно, вы скажете: похвальная заботливость, но выглядело это ненатурально, ибо известно было, какие деньги платит князь за работу. Чрезмерное усердие переливалось через край и вызывало с моей стороны усмешку. За это она, наверное, и невзлюбила меня. Что ж делать? Мой острый, все подмечающий взор приносил мне не только радости. Скорее всего она и князю позлословила обо мне, ибо с ее появлением он резко ко мне переменялся. Не скажу, что стал неучтив или недоброжелателен, но интерес ко мне потерял. Раньше, бывало, иногда спрашивал: «Какие новые романы сочинили?» Или: «А как вы полагаете, есть на свете гитарист совершеннее вас?», на что я обычно отвечал со смущением в том смысле, что откуда же мне знать, что где-нибудь, может быть, и есть, не исключено. Но затем вопросы прекратились, и стал я замечать, что князь точно обезумел. Все следил с тревогой: не ушла ли? Где она? Куда пошла?.. И лицо его при этом выглядело преглупым. Я было даже подумал, что князь влюбился в эту даму: в нашей глуши при его одиночестве и беспомощности можно было влюбиться даже в осину, а тут все-таки дама и по-французски говорит. Но это предположение живо меня покинуло, как смехотворное. Не мог он, не мог... Короче, она и ему внушила, что без нее он пропал, и он, как дитя, доверился ей, и шага без нее не делал, и потерять ее страшился:

В скором времени их совсем залихорадило. Князь вдруг вздумал открыть больницу для крестьян. Велел отремонтировать малый господский дом. Явился откуда-то настоящий доктор, тучный и пьющий, и ключница нарядилась в белый фартук и клобук. Смех, да и только... Но больных не было. Я перестал к ним ездить. У нас ведь как бывает: сначала все кипит, свистит, а после — пар вышел, и все позабылось. Так и надзор за князем: сперва с меня строжайше спрашивали: что он? как он? А время прошло — и никому не стало охоты им заниматься. То есть надзор оставался, но все больше на бумаге, так что, пожелай князь теперь прокатиться в Петербург, — никто бы ему не помешал. Только ему тогда было уже не до катаний.

И вот я перестал у них бывать, и лишь разные слухи до уезда долетали. Не вышло у них с больницей — начали они переделывать дом под школу для крестьянских детей. Но и тут у них что-то, кажется, не получилось, не знаю. Вдруг пошел слух, что князь совсем занемог.

Однажды ночью я пробудился от резкого, пронзительного крика. Проснулся — крик пропал. Он пропал, но эхо осталось — такая странность. Что-то меня кольнуло: дай, думаю, съезжу в Михайловку. Утром пораньше полетел. Еду, а сам слышу, как то ночное эхо продолжает, представьте себе, звенеть. Приехал в село и там узнал, что ночью князь помер.

Спрашиваю: «Был ли крик женский ночью?» Говорят, что был. «Кто же кричал?» — «Шахоня крикнула, всех разбудила». Это они ту самую ключницу так почему-то называли. «Как же это, остолопы, могла так крикнуть она, что в уезде за одиннадцать верст слышно было?» — удивился я. «А вот, значит, смогла», — сказал один из дворовых без смущения и с ехидством. Они вообще все у князя были ехидные и подлые...»

По некоторым слухам Лавиния Ладимировская, похоронив Мятлева, навсегда покинула Россию. Однако господин ван Шонховен в потертом армячке, по-видимому, продолжает пересекать заснеженные пространства, оставляя нам в назидание свои следы.

Вот так, господа!

ПОСЛЕСЛОВИЕ АМИРАНА АМИЛАХВАРИ

Отнюдь не тщеславное желание покрасоваться перед потомками побудило меня взяться за сей труд, а чувство глубокого долга перед дорогими мне людьми, растворившимися в вечности. В течение многих лет собирал я бумаги, имеющие отношение к этой житейской истории, располагал их по возможности в хронологическом порядке и дополнял отрывками собственных воспоминаний. Жизнь моего друга показалась мне недостойной забвения, и, не заботясь о пристрастиях потомков, я лишь собрал все, что было, в одно целое, заказал переплет из телячьей кожи, прикоснулся золотой краской к обрезу, и вот этот единственный экземпляр с торжественностью жертвоприношения пускаю плыть по волнам времен, покуда счастливый случай не вынесет его на благосклонный берег.

СОВРЕМЕННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Этот бесценный экземпляр в переплете из телячьей кожи, отлично сохранившийся в сундуках потомков безвестного отставного поручика Амирана Амилахвари, не захватанный пальцами любопытствующих бездельников, не тронутый мышами, счастливо избежавший банальной участи быть израсходованным на цигарки, на пакеты и по прочим надобностям, — этот экземпляр чудом попал мне в руки однажды в Тбилиси и поразил меня заключенной в нем драмой неведомых мне людей.

Мое участие в дальнейшей судьбе этого труда свелось лишь к некоторым дополнениям и переговорам с издателями, выразившими любезное согласие опубликовать за-

писки Амира́на Амилахвари, за что я остаюсь глубоко признательным.

Дополнения же, о которых я упомянул, сводились к следующему:

1) Я посчитал интересным для читателя вставить несколько эпизодов из жизни Николая I, так и назвав их вставными главами, которые должны были, на мой взгляд, несколько дополнить характеристику человека, которого Мятлев долгое время считал виновным в своих несчастьях.

2) К бесценному экземпляру, попавшему мне в руки, были приложены два письма, не использованные Амираном Амилахвари. Прочитав их, я ахнул: в них таилась разгадка самой таинственной из метаморфоз, которые претерпели герои записок. Видимо, письма эти были обнаружены родственниками отставного поручика уже не при его жизни, но из уважения к его благородному труду были аккуратно вложены меж последней страницей и тяжелым переплетом.

Надеюсь, что взыскательный читатель не сочтет излишним помещение этих двух писем в добавление к многочисленным длиннотам рукописи, ибо чем больше мы знаем о человеке, тем меньше у нас повода негодовать на его несовершенство.

Б. Окуджава

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

*В Санкт-Петербург, на Знаменской, в собственном доме.
Госпоже Ладимировской*

«Милостивая государыня,

крайние обстоятельства нашей семьи вынуждают меня выступить в защиту жизни и чести моего любимого брата. В Вас заключено все зло его жизни. Вы — причина его гибели... Ради своего эгоизма Вы стремитесь туда, к нему, не считаясь с тем, что каждое Ваше путешествие усугубляет его положение. Я не ведаю истинных причин, но я вижу, я точно знаю: все зло его жизни от Вас... Уже было готово положительное решение его участи, помилование было почти в наших руках, но Ваш новый вояж стал известен и снова привлек к нему внимание, неодобрение

вновь оборотилось в его сторону, гнев и раздражение вновь с Вашей помощью обрушились на несчастного калеку... Да, да, поймите же это, он старый калека, безногий нищий неудачник, больной, всеми отвергнутый человек. Ему недолго осталось... А Вы ради своих эгоистических прихотей, теща свое распаленное, извращенное воображение, готовы отнять у него последние годы жизни, искалечить его последнюю надежду — хотя бы умереть спокойно в своей постели. Сколько же можно его преследовать? Да не нужна ему Ваша жалость: она для него губительна! Вы ожесточаете против него власти...

Из своих вояжей Вы-то всегда благополучно возвращаетесь под уютный кров вечно снисходительного к Вам супруга — пусть нелюбимого, но зато обеспеченного и о б е с п е ч и в а ю щ е г о! К тому же он всегда готов простить Вам очередную выходку, преклоняясь перед «незаурядностью» Ваших чувств. Ах, эта незаурядность за счет других! Я знаю ей цену! Ах, эта великая любовь с мелким тщеславием! Как она мне отвратительна! Неужели не будет конца Вашим путешествиям? Или Вы намерены так вот и путешествовать с комфортом по России за моим несчастным братом? Поймите: он стар и болен, и беззащитен перед Вашим здоровьем и молодостью, и напором, и фанатичными идеями!

Оставьте его в покое! Его бы давно помиловали, когда бы не Ваше скандальное упрямство. Стоит Вам вернуться к супругу, зажить хоть ненадолго рассудительно и реалистически — и мой брат-страдалец будет прощен... Неужели Вы из тех, кто готов обречь человека на гибель, лишь бы доказать всем, что траур по любовнику Вам к лицу более, чем капот замужней дамы?..

Елизавета Мятлева».

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Госпоже Ладимировской. В Петербурге, на Знаменской, в собственном доме

«Мой ангел!

Злые языки поговаривают, что ты не перенесешь позора вторичного насильственного возвращения, что на тебе нет лица и воля твоя сломлена... Ничтожества! Что они

могут знать? Ты не пожелала встретиться со мной, но это только придало мне сил и жара понять тебя, и оценить, и восхититься. Только я одна могу знать, как мы, Бравуры, умеем самозабвенно служить любви, и ничего мы не ценим столь высоко и торжественно, как это умение. Когда в прошлом я надеялась обуздать и успокоить бурю, которую сама же поселила в твоей душе, и ставила тебе палки в колеса, и унижала тебя — все это я совершала, чтобы ты не сошла с ума, чтобы прожила свою жизнь пусть скучно, но сообразуясь с нравами хищников, которые нас окружают. Мой ангел, я ошиблась! Мой грех перед тобою неумолим! Запреты убивают таких, как ты, и ты это чувствовала еще совсем ребенком, пробираясь по снегу в объятия своего погубителя. Это судьба вела тебя, это Он руководил тобою... Я преклоняюсь перед тобой, и перед твоей любовью, и перед твоим выбором, и если я еще раз осмелюсь пожелать тебе покоя в постылых объятиях твоего законного супруга — прокляни меня!

Целую тебя тысячу раз, и плачу, и благословляю

твоя мама».

Дубулы

1971—1977

Булат Шалвович Окуджава

ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ

М., «Советский писатель», 1980, 544 стр.

План выпуска 1980 г. № 123

Редактор *З. В. Одинцова*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *Р. Я. Соколова*

Корректоры *С. И. Крягина* и *М. Б. Шварц*

ИБ № 1922

Сдано в набор 04.04.80. Подписано к печати 10.09.80. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 30,69. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2738. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Советский писатель», 121069,
Москва, ул. Воровского, 11.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Таврида» Крымского обкома КП Украины, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44, на Головном предприятии республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.

2 р. 30 к.

